

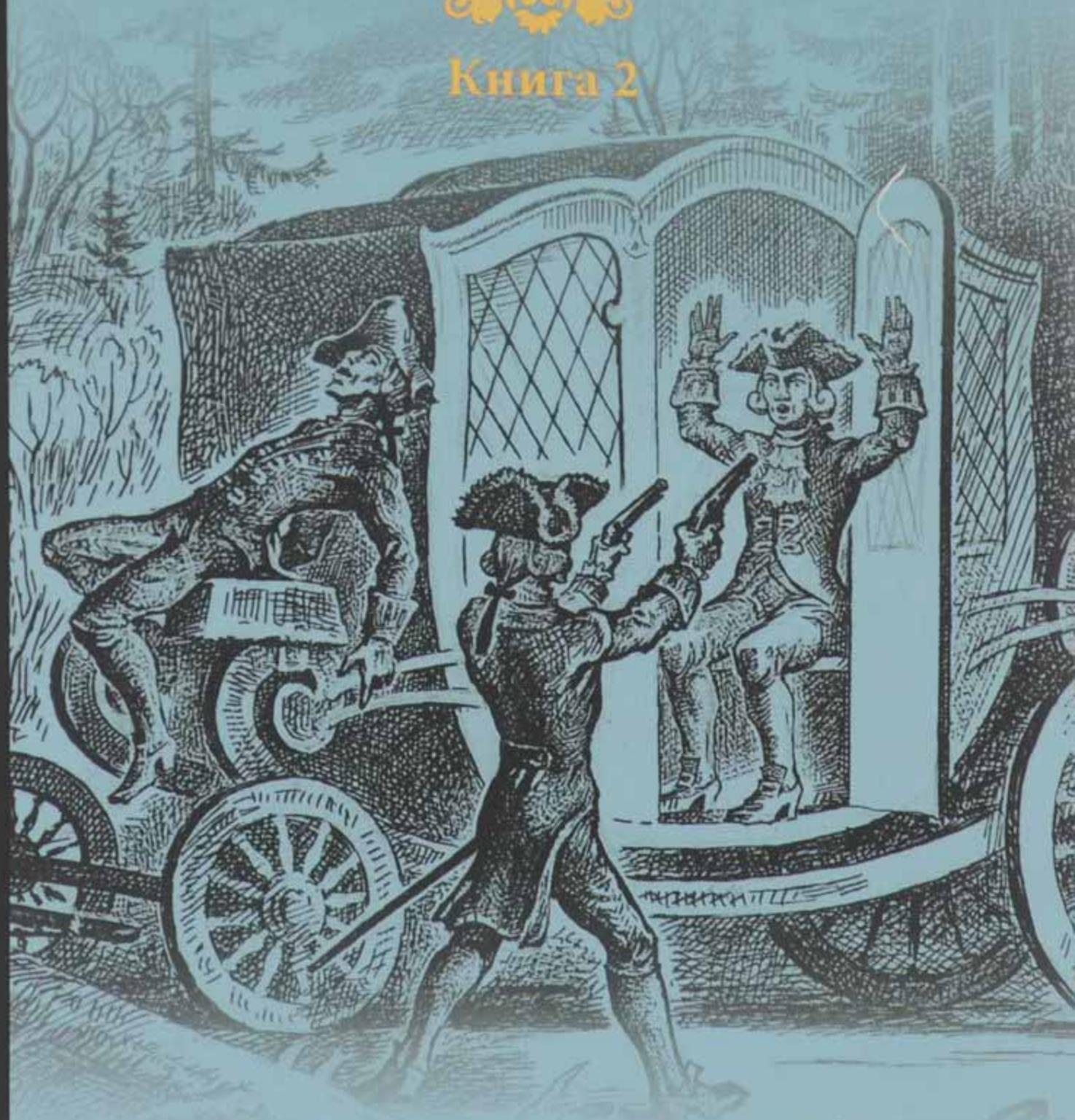
Валентин ПИКУЛЬ



СЛОВО И ДЕЛО



Книга 2



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ВАЛЕНТИН ПИКУЛЬ
Полное собрание сочинений



СЛОВО И ДЕЛО

Книга 2



ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



ФАВОРИТ, книга 1

ФАВОРИТ, книга 2

НЕЧИСТАЯ СИЛА

БИТВА ЖЕЛЕЗНЫХ КАНЦЛЕРОВ. МИНИАТЮРЫ

СЛОВО И ДЕЛО, книга 1

СЛОВО И ДЕЛО, книга 2

КАТОРГА. МИНИАТЮРЫ

БОГАТСТВО. МИНИАТЮРЫ

ЧЕСТЬ ИМЕЮ

МООНЗУНД

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 1

НА ЗАДВОРКАХ ВЕЛИКОЙ ИМПЕРИИ, книга 2

ПЕРОМ И ШПАГОЙ

БАРБАРОССА

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 1

ОКЕАНСКИЙ ПАТРУЛЬ, книга 2

ПСЫ ГОСПОДНИ. ЖИРНАЯ, ГРЯЗНАЯ И ПРОДАЖНАЯ. ЯНЫЧАРЫ

ИЗ ТУПИКА, книга 1

ИЗ ТУПИКА, книга 2

ТРИ ВОЗРАСТА ОКИНИ-САН

РЕКВИЕМ КАРАВАНУ RQ-17. МАЛЬЧИКИ С БАНТИКАМИ

СТУПАЙ И НЕ ГРЕШИ. ПАРИЖ НА ТРИ ЧАСА

КАЖДОМУ СВОЕ. МИНИАТЮРЫ

КРЕЙСЕРА. МИНИАТЮРЫ

БАЯЗЕТ

ГЕНЕРАЛ НА БЕЛОМ КОНЕ. МИНИАТЮРЫ

ПОЛЕТ И КАПРИЗЫ ГЕНИЯ. МИНИАТЮРЫ

РЕКВИЕМ ПОСЛЕДНЕЙ ЛЮБВИ. МИНИАТЮРЫ

Валентин ПИКУЛЬ



СЛОВО И ДЕЛО

РОМАН-ХРОНИКА ВРЕМЕН
АННЫ ИОАННОВНЫ



Книга 2
МОИ ЛЮБЕЗНЫЕ КОНФИДЕНТЫ

Москва • «Вече»

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ПЗ2

Составление, комментарии

А.И. Пикуль

Рисунок на обложке

П.Л. Парамонова

Пикуль, В.С.

ПЗ2 Слово и дело. Роман-хроника времен Анны Иоанновны. Кн 2. Мои любезные конфиденты / Валентин Пикуль ; [сост. и комм. А.И. Пикуль]. — М.: Вече, 2015. — 576 с. — (Полное собрание сочинений).
ISBN 978-5-4444-2938-9
ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

Знак информационной продукции 12+

Роман «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица пристрашного зраку» и «Мои любезные конфиденты». События, описываемые в романе, относятся ко времени дворцовых переворотов, периоду царствования императрицы Анны Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы русских людей против могущественного фаворита царицы Бирона, а также против засилья иноземцев.

УДК 821.161.1-311.6

ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4444-2938-9

ISBN 978-5-4444-2241-0 (Общий)

© Пикуль В.С., наследники, 2015

© Пикуль А.И., составление, комментарии, 2015

© ООО «Издательство «Вече», 2015

Книга 2

МОИ ЛЮБЕЗНЫЕ КОНФИДЕНТЫ

Летопись первая НА РУБЕЖАХ

Счастлива жизнь моих врагов...

Михайло Ломоносов

Дитя осьмнадцатого века,
Его страстей он жертвой был,
И презирал он Человека,
Но Человечество любил!

Петр Вяземский

Глава первая

Увы, коллегиального правления на Руси давно нет! Новое лихое бедствие надвинулось на страну — бумагописание и бумагочитание. На иноземный манер звалось это чудо-юдо мудреным словом-сороконожкой — б ю р о к р а т и у с.

Чиновники писали, читали, снова писали и к написанному руку рабски и нижайше прикладывали. Немцы недаром обжирали Россию — они приучали русских до самозабвения почитать грязное клеймо канцелярской печати. Словам россиянина отныне никто не верил — требовали с него бумагу. Остерману такое положение даже нравилось: «А зачем мне человек, ежели есть бумага казенная, в коей все об этом человеке уже сказано? Русский таков — наврет о себе три короба, а в бумаге о нем — изящно и экстрактно».

Над великой Российской империей порхали бумаги, бумажищи и бумажонки. Их перекладывали, подкладывали, теряли. Вместе с бумагой на веки вечные терялся и человек: теперь ему не верили, что он — это он.

— Да нет у меня бумаги, — убивался человек. — Где взять-то?

— Вот видишь, — со злорадством отвечали ему, — ты, соколик, и доказать себя не мочен, и ступай от нас... Мы тебя не знаем!

Но иногда от засилия бумаг становилось уже невмоготу. Тогда умные люди (воеводы или прокуроры) делали так: ночью вроде бы случайно начинался пожар. Утром от завалов прежних — один пепел. И так приятно потом заводить все сызнова:

— С бумажки, коя у нас числится под номером перьвым! Гараська, умойся сходи да пиши в протокол о ноздрей вырывании вчерашнем. Чичас учнем, благословясь... Образумь ты нас, грешных, Царица Небесная, заступница наша пред сушим и вышним!

А где же преклонить главу человеку русскому? Где лечь и где встать, где ему затаиться? Враги общенародные по душе нашей плачутся. Ишут они тела нашего, чтобы распясть его. Господи, зришь ли ты дела ихние, вражие? Горит душа... Русь горит!

И не только города на Руси — сгорали и люди, и костры сложившись, и звалось в те времена самосожженье людское словом простым и зловещим — г а р ь. Не стало веры в добро на Руси, едино зло наблюдали очи русские. В срубках из бревен, которые смолоу плакали, сбивались кучей — с детьми и бабками. Поджигали себя. Дым от гарей таких столбом несло в облака. В дыму этом утекали в небытие души людские — души измученные, изневоленные от рабства вечного, чрез огонь убегающие. Сгорали семьями, толпами, селами. Иногда по 30 000 сразу, как было то на Исети да на Тоболе, было так на Челябине да на Тюмени. И не надо даже апостолов, зовущих в огонь войти, как в храм спасительный. Нищета, страх, отчаяние — вот кремни главные, из коих высекались искры пожаров человеческих...

Г а р и те были велики, были они чудовищны. Но дым от них едва ль достигал ноздрей первосвященников синодальных.

— Жалеть ли их нам? — говорил Феофан Прокопович и отвечал за весь Синод: — Не стоят они и слезинки нашей... Ибо убытки души заблудшей сильнее всех иных убытков в осударстве русском!

Ропот же всенародный тогда утишали чрез —

«ХОМУТЫ, притягивающие главу, руки и ноги в едино место, от которого злейшего мучительства по хребту кости лежащие по суставам сокрушаются, кровь же из уст, из ушей и ноздрей и даже из очей людских течет...»

«ШИНОЮ, то бишь разожженным железом, водимым с тихостию или медлительностью по телам человеческим, кои от того шипели, шкварились и пузырями вздымались... Из казней же самая легчайшая — вешать или головы отрубать...»

«НА ДЫБЕ вязали к ногам колодки тяжкие, на кои ставши, палач припрыгивал, мучения увеличивая. Кости людские, выходя из суставов своих, хрустели, ломаясь, а иной раз кожа лопалась, а жилы людские рвались, и в положении таком кнутом били столь удачно, что кожа лоскутьями от тела отваливалась...»

Над великой Россией, страной храбрецов и сказочных витязей, какой уже год царствовал многобедственный страх. Чувство это подлейшее селилось в домах частных, страх наполнял казармы воинские и учреждения партикулярные, страхом жили и люди придворные в самом дворце царском.

Год 1735-й — как раз середина правления Анны Иоанновны.

Пять лет отсидела уже на престоле, нежась в лучах славы и довольства всякого. Наисладчайший фимиам наполнял покои царицы. Придворные восхваляли мудрость ее, академики слагали в честь Анны оды торжественные. Лучшие актеры Европы спешили в Петербург, чтобы пропеть хвалу императрице русской, и были здесь осыпаны золотом. Изредка (все реже и реже) грезились Анне Иоанновне дни ее скудной молодости, заснеженная тишь над сонною Митавой, когда и червонцу бывала рада-радешенька. А теперь-то лежала перед ней — во всем чудовищном изобилии! — гигантская империя, покорная и раболепная, как распятая раба, и отныне Анна Иоанновна полюбила размах, великолепие, исполнение в с е х желаний своих (пусть даже несбыточных).

— Колокол иметь на Москве желаю, — объявила однажды. — Чтобы он на весь мир славу моему величеству благовестил. Дабы всем колоколам в мире был он — как ц а р ь - к о л о к о л...

А жить-то монархине осталось всего п я т ь лет (хотя она, вестимо, о сроках жизни не ведала). Баба еще в самом соку была. Полногрудая. Телом крепкая. С мышцами сильными. На мужчин падкая. Черные, словно угли, глаза Анны Иоанновны сверкали молодо. Корявое лицо — в гневе и в страсти — оживлял бойкий румянец. Не боялась она морозов, в свирепую стужу дворцы ее настезь стояли. Платок царица повяжет на манер бабий, будто жена мужицкая, и ходит... бродит... подозревает... прислушивается.

Иногда в ладоши хлопнет и гаркнет во фрейлинскую:

— Эй, девки! Чего умолкли? Пойте мне... Не то опять пошлю всех на портомойни — для зазору вашего портки стирать для кирасиров моих полка Миниха! Ну! Где веселье ваше девичье?

И, отчаянно взвизгнув, запюют фрейлины (невывспавшиеся):

Выдумал дурак — плагьем шеголять
И многим персонам себя объявлять.
Что же он, дурак, является так,
Не мыслит отдать любезный мне знак?

Из соседних камор притащится постаревший Балакирев:

— Ты их не слушай, матушка. Лучше меня тебе никто не поет:

В государевой конторе
Сидит молодец в уборе.
На столе — чернил ведро,
Под столом — его перо...

Отсыревший горох скучно трещит в бычьем пузыре — это ползет шут Лакоста, король самоедский. За ним, на скрипке наигрывая, дурачась глупейше, явится и Педрилло. С невеселюю суетой, локтями пихаясь, ввалятся к императрице и русские шуты — князь Волконский, Апраксин да князь Голицын — Квасник. Нет, невесело царице от их шуток и драк, князь Голицын, уже безумен, однажды ножом себя резал, а Балакирева ей давно поколотить хочется.

— Ты зачем, — придиралась она к нему, — дурака тут разыгрываешь, коли по глазам видать, что себя умнее меня считаешь?

Балакирев императрице бесстрашно отвечал:

— Я, матушка осударыня, совсем не потому в дураках — почему и ты дура у нас. Я дурачусь от избытка ума, а ты дуришь — от нехватки его. Не пойму вот только: отчего я не богаче тебя стал?

И был бит... Дралась же Анна Иоанновна вмах — кулаками больше, как мужики дерутся. И столь сильны были удары ее, что солдата с ног кулаком валила. Зверья и дичи разной набивала она тысячами, удержу в охоте не ведая. Трах! — вылетали из дворца пули, разя мимолетную птицу. Фьють! — высвистывали стрелы, пущенные из окон (иногда и в человека прохожего).

— Ништо мне сдеется, — говорила Анна Иоанновна, собою довольная. — Эвон сколь здоровушша я, и промаха ни единого!

Одно беспокоило по утрам императрицу — тягость болезненная в низу чрева ее. Урину царскую выносили в хрустальной посудине на осмотр лейб-медикам — Фишеру, Кондоиди, Каав-Буергаве, Лерхе, де Тейльсу... Показали ее как-то и Лестоку, который от лечения Анны Иоанновны был отстранен, как прихвостень Елизаветы Петровны. Лесток ничего не сказал в консилиуме, но при свидании с цесаревной Елизаветой шепнул ей на ушко:

— Урина-то загнивает в пузыре у царицы. И оттого жития ей осталось немного... Ваше высочество, коли пять лет назад не смогли на престол вскарабкаться, так я вас сейчас подсажу!

Елизавета в страхе захлопнула ему рот душистой ладонью.

— Ой, Жано! — сказала. — Больно ты смел стал... Молчи.

.....

Инквизиция нерушимо дежурила на страже забав и покоя императрицы, а начальник ее, Андрей Иванович Ушаков, был крепко задумчив. Думал он думу неизбежную — как бы государыне угодить? Казна вконец уже разорена, и ныне Анна повсеместно прибылей для себя ищет. И любая Коммерция, любая Коллегия, Сенат высокий и Кабинет великий — все учреждения государства выгоды ей представляют. Одна лишь Тайная канцелярия людишек коптит заживо, члены им отрывает, топит в мешках с камнями, но доходов от пыток что-то не предвидится. «А нельзя ли нам, — мыслил Ушаков, — со страха общенародного прямую выгоду иметь? Ведь ежели россиянин в страхе содержится, то... разве же не даст? Даст, как миленький!»

И — придумал.

— Языки, — намекнул Ушаков. — Языки трепать надобно...

Во времени том, диком и безъязыком, когда всё замолкло на Руси, явились тогда кричащие «языки». Под праздники на дни Христовы стали из Тайной розыскных дел канцелярии выводить узников на улицы и по тем улицам проводили их меж домов, заставляя на людей безвинных, случайно встреченных, кричать «слово и дело»... Вот когда ужас-то настал! Каждый теперь пешеход и даже дитя малое, едва кандальных завидя, спешил укрыться, оговору боясь. Словно тараканы, забивался в щели народ... И текли золотые ручьи в канцелярию Тайную, а оттуда — прямо в покои императрицы. Страх, оказывается, тоже прибылен.

— Вижу, — сказала Ушакову царица, — что ты служишь мне с ретивостью. Я тебя за это взыскую своей милостию...

В царствование «царицы престрашного зраку» народ русский отвык по гостям ходить. И сам в гости не набивался. Жили в опаске от

слушачей и соглядатаев. Было! Ведь уже не раз такое бывало... Ты его, сукина сына, в гости к себе залучишь, от стола твоего он сыт и пьян встанет, а потом назавтра, похмелясь исправно, на тебя же донос и напишет: что говорили, что осуждали... Ой, худо стало на Руси! О, как худо, не приведи господь!

А в тюрьмах полно народу сидело после праздников. Виновны они — шибко виновны: первый тост за столом произносили с бухты-барахты, не подумав. Пили за кого придется, а не за матушку пресветлую, государыню Анну Иоанновну...

Не знал теперь человек русский, с какой ему стороны и беды поджидать. На всякий случай — отовсюду ждали. Доносы в те времена и вот такие бывали:

«...у него в доме печь имеется, в изразцах, в коих изображены зело орлы двухглавые. Поелику орел есть герб государственный, кой принадлежит токмо всемилостивейшей государыне нашей, и в том видно злостное оскорбление фамилии высокой, ибо неспроста... Герб на печных изразцах означает желание с ж е ч ь его!»

Взяли владельца печки за шкуру. И повели голубя. Уж как он плакал, как убивался... Домой он больше не вернулся.

В этом 1735 году, который рассекал пополам время правления Анны Иоанновны, как раз в этом году далеко на юге, над выжженными степями ногаев, стал разгораться красноватый огонь одинокой звезды. Это замерцал над скованной Россией полуночный Марс — звезда воинственная, к походам и кровопролитию зовущая...

В один из дней из покоев императрицы, арапов отшибив плечом и двери ломая, вывалился хмельной Миних, а в руке фельдмаршала, жилистой и багровой, тускло мерцал палаш.

— Войны жажду! — Миних объявил, и лицо его сияло. — Да здравствует честь... слава... бессмертие. Разверните штандарты мои — пусть все знают, что я иду...

«Гегельсберг» — это слово приводило фельдмаршала в трепет. Два года назад под этим фортом Гданска в одну лишь ночь Миних угробил три тысячи душ. Теперь мечтал он реками крови смыть с себя позорное пятно неудачи под Гегельсбергом... И тряся палаш в руке Миниха.

— Горе вам всем, сидящие на Босфоре! — взывал он...

Остерман, словно повивальная бабка, принимал все роды войны и мира. Сейчас он потихоньку, шума не делая, наблюдал, как в загнивающей утробине Крымского ханства созревает плод новой для России войны, и... «Не ускорить ли нам эти мучительные роды?».

Восковыми пальцами Остерман растирал впалые виски.

— Тише, тише, — говорил он Миниху, озираясь. — Здесь послы саконский и голландский, что они отпишут своим дворам? Что мы начинаем войну? Но войны ведь нет еще, слава Всевышнему...

Вице-канцлер ударил ладонями по ободам колес и (весь в подушках, весь в пуху и бережении от дворцовых сквозняков) въехал на коляске в сумеречные покои царицы. Здесь трепетали огни множества лампадок, сурово взирал с парсуны юродивый Тимофей Архипыч, а возле него висел портрет жеманного красавца и поэта — графа Плело, убитого под Данцигом. Анна Иоанновна сидела на кушетках и вязала чулок для Петруши Бирена, сына своего обожаемого.

— Боюсь я, — сказал ей Остерман. — Ваше величество, боязно Русь в войну бросать. А... надобно! Положение в стране столь ныне неблагоприятно, что можно бунта мужицкого ждать. Газеты европейские уже сколько лет гадают: к о г д а революция у нас будет? А дабы бунтов избежать, — усыпляюще бубнил Остерман, — мудрейшие правители всегда войною отвлекают народ от дел внутренних к делам внешним. Армия же при этом тоже неопасна для престола делается, ибо, батальями занята, она лишь о викториях славных помышляет...

Но прежде чем Россия вступит в войну с Турецкой империей, дипломатия русская в трудах пребывает, готова в политике тылы государства для безопасности. Договориться с шахом Надиром в Персию был послан князь Сергей Голицын (сын верховника, бывший посол в Мадриде). С дворами европейскими «конжурации» союзные подготавливал граф Густав Левенвольде — обер-шталмейстер царицы.

По ночам над избами русскими да над курениями украинскими тусклым светом разгоралась воинственная звезда Марс, и был тот свет в небесах — как рана, старая и болящая.

Быть войне! Снова быть крови великой!

О Русь, Русь... Тебе ведь не привыкать.

Глава вторая

Через слюдяные окошки возка Левенвольде мерещились всякие чудеса, спешащие вровень с его каретой, которая, скрипя кожей рессор, всю зиму колесила по зябкой, слякотной от распутиц, неудобной Европе...

В е н а, — и посол здесь говорил о турецкой угрозе для Австрии и России; Д р е з д е н, — тут Левенвольде вел долгие беседы с Августом III о делах польских и курляндских; вот и Б е р л и н, — король прусский просил Курляндию для себя, а Левенвольде извинялся за грубость Миниха... Миних вообще наделал забот дипломатам: по взятии Данцига, разгорячась, он объявил: «А чего там король прусский скрипит своими заплатанными ботфортами? Не взять ли мне у него Кенигсберг, паче того, к России городишко сей горазд ближе, нежели к Берлину...»

А за Неманом синел лес и волки долго гнались за каретой посла. Остановясь в Ковно на ночлег, Густав Левенвольде размышлял о бытии и смысле жизни человеческой. Ему казалось, что он — не он, что жизнь была, но где-то в прошлом. «Была ли жизнь?» — спрашивал себя посол, и колокол полночной церкви, как филин, ухал в тишине древнего Ковно. Казалось, все уже было — в избытке! Он достиг высот, о каких ранее не помышлял. Случись что-либо с Остерманом, и Левенвольде заступит его место. Дворы Европы и сейчас почтительно выслушивают Левенвольде, из-за спины которого торчат штыки неисчислимых армий прусских...

Среди ночи Густав проснулся весь в липком поту:

— Запрягайте лошадей! Еще час — и я... умру, умру!

Из ночной таверны лошади вертко вывернули карету за ворота. Снова потекли леса, под луною синели сугробы, низко присевшие перед таянием. Левенвольде разбудили в Митаве, но он велел не останавливаться. Митаву он рассматривал через окошко: обитель юности теперь была унылой и печальной; лошади сбежали на подталый лед, быстро вынесли карету на другой берег Аа; впереди раскинулась наезженная санками латышей прямая дорога на Ригу.

Здесь, в Риге, он придержал лошадей. И надел на лицо черную маску из тонкого батиста с прорезьями для глаз. Свое лицо ему казалось теперь чужим, и Левенвольде скрывал его... от чужих! За двором Конвента ордена Меченосцев, на узкой улочке, в пропасть которой с высоты глядится Саломея, рубленная из дуба, Левенвольде дернул дверное кольцо и сорвал с себя маску.

— Здесь живет маг и волшебник Кристодемус? — спросил он.

Навстречу вышел толстый человек в домашнем колпаке.

— Увы, — ответил он, — доктор Кристодемус, столь прославленный искусством врачевания, исчез таинственно и странно.

— Жаль! — огорчился Левенвольде, запахивая плащ. — Я чем-то болен, но не пойму — чем? Жизнь, как и раньше, течет, а я не нахожу в ней больше интереса и забавы.

— Я тоже врач, — ответил незнакомец, приглашая гостя внутрь дома. — Позвольте узнать, с кем я говорю?

— Я путешественник. Проезжий... через Ригу.

— Вы в зеркало давно смотрелись, проезжий путешественник? Левенвольде со смехом достал из-под плаща черную маску:

— Я не носил бы это, если б не заметил, что лицо у меня сильно изменилось. Отвратительно толстеют нос и брови, лицо мое хмуро постоянно, даже когда я весел или пьян ужасно.

— А что сказали вам врачи?

— Они все объясняли меланхолией неразделенной любви. Но они, глупцы, ошиблись: я люблю только себя, и эта моя любовь не может быть не разделенной мною же!

Врач сказал Левенвольде, чем он болен, и посол помертвел:

— Проклятье! Впрочем, как же я сам не догадался о своей болезни? Ведь лицо уже не то, что было раньше. Оно приобрело облик льва рассерженного. А это — явный признак...

— Вы были на Востоке? — осведомился врач.

— Нет! — разрыдался Левенвольде. — Виной тому крестовые походы: предки мои еще из Палестины вывезли сюда проказу, и вот... О наказание божье! От славы предков поражен их славный потомок... Мне ничего теперь не жаль, и менее всего мне жаль теперь себя. Прощайте! Я теперь стал богом, но... прокаженным Богом!

С лицом рассерженного льва, двигая бровями толстыми, с трудом волоча слоновьи ноги, Густав Левенвольде вернулся в карету.

— Поехали. На Венден. А оттуда — в Петербург... Отныне стану делать все, что ниспошлет мне Бог. Канавы на пути моем? Мне лень переплывать ее: согласен утопиться и в канаве. И чем ужасней все — тем все прекрасней... Едем!

«Нужна дорога мне — в дороге легче думать... Как страшен прокаженный мир, и в этом мире — Я! Теперь я стану в этом мире для других самым страшным...»

За Ригую леса сомкнулись, плотно обступая дорогу. Тишина, мрак, оторопь и — вой... «Пускай теперь другие их страшатся. Вперед, вперед, моя карета! Шумы же, лес... вы, волки, войте... а мрак — дави и ужасай. Ничто теперь не страшно Левенвольде!»

— Вон светится последняя корчма, — показал ему кучер. — Дорога опасна от разбойников; может, заночуем? Кажется, кто-то едет навстречу нам... спешит в Ригу.

— Остановись и прегради дорогу им моей каретой.

Он опустил маску на лицо и, засыпав порох в пистолы, вылез из кареты. Навстречу двигался возок, кучер на нем спал, ослабив вожжи. Удар выстрела, рука Левенвольде отлетела назад в грохоте, и кучер, так и не проснувшись, в крови свалился на дорогу. А в глубине возка, простеганного холстинкой бедной, таился молодой человек, испуганный и жалкий.

— Мне нужен ваш кошелек, — сказал ему Левенвольде и деньги из кошелька чужого рассыпал по дороге. — Теперь ответьте мне по чести: так ли уж дорога вам жизнь?

— Я лишь вступаю в нее. Спешу на свадьбу в Ригу к своей невесте... Будьте же ко мне милосердны!

Левенвольде выстрелил в него из двух пистолетов сразу:

— Ха-ха! Так поспеши в объятия тленности вечной...

В середине ночи карета сбилась с пути на Венден, колеса вязли в снежной жиже. Вокруг — ни огонька, ни возгласа. Только где-то вдали (очень и очень далеко) неустанно лаяла собака. Лошади, мотая гривами, по брюхо застревали в сугробах. «Вперед, вперед, вперед!» — гнали их ударами бичей.

— Вот это ночь! — ликовал Левенвольде. — Боже, благодарю тебя за радость, доставленную мне... Я даже весел, мне хорошо.

Дух разбоя и грабежа, этот дух предков Левенвольде, вдруг ожил в нем и радовал его. А лифляндские места были незнакомы курляндцу; Левенвольде дверь кареты распахнул и мрачно наблюдал рассвет, сползающий с холмов в низины. Лес, лес, лес... И вдруг он разом расступился, а в розовых лучах возник старинный замок. Высоко взлетал к небу шпиц кирхи, со дна озера вставали каменные стены, топилась печь на кухне замка, дым в небо уходил струею тонкой, залиvisto прогорланил петух...

Кони ступили на мост. Над воротами — герб баронов.

— Чей это замок? — спросил Левенвольде у стражи.

— Замок «Раппин»... здесь живут знатные бароны Розены!

Маршалок провел Левенвольде в покои для гостей.

— Скажите своему хозяину, — велел Левенвольде, — что у него остановился обер-штальмейстер двора имперско-российского и полковник лейб-гвардии Измайловского полка...

Его разбудили высокие голоса мессы. Играл орган, и ветер бился в окна, узкие, как бойницы. Левенвольде спустился в церковь. Молилась девушка — лет пятнадцати, красоты чудесной. Она его даже не заметила... Левенвольде навестил хозяина замка — седого поджарого барона Розена.

— Барон, вы, надеюсь, знаете, кто я таков?

— Да, маршалок мне доложил о ваших званиях. Мы счастливы принять вас у себя.

— Я прошу, барон, руки дочери вашей.

— Какой? У меня их три — одна другой достойней.

— Я безумно люблю именно ту, которая молится сейчас в храме вашего замка, так чиста и так возвышенна...

Старый барон согнул колено, скрипнувшее отчаянно в тишине:

— Какая честь! Моя дочь Шарлотта и не мечтала о столь высоком браке... Вы облагодетельствуете нашу скромную фамилию.

«Скорей, скорей — навстречу гибели!..» На полянах расцвели первые робкие ландыши. Было тихо и солнечно. От леса набегал ветер, разворачивая над крышей замка два трепетных штандарта — баронский (фон Розенов) и графский (рода Левенвольде).

Из-под нежной кисеи виднелись, словно раскрытые лепестки, розовые губы девочки. Левенвольде нерушимо стоял на каменных плитах церкви в дорожных грубых башмаках, и лицо льва затаило усмешку. Над этими людьми, что поздравляют; над этими женщинами, которые завидуют невесте... «Какая честь! — он думал, издеваясь. — Но прокаженным все дозволено».

Вечером он поднялся к невесте и силой принудил ее к ласкам. Горько рыдающую девочку он спросил потом — уязвленно:

— Итак, вы счастливы, сударыня, став графиней Левенвольде?

— Да... благодарю вас. Я так признательна вам...

— Вы в самом деле любите меня? Или послушались отца?

— Как можно не любить... — шепнула она губами-лепестками.

— Благодарю вас! — И он удалился, крепко стуча башмаками.

Когда утром к нему вошли, он был уже мертв.

Левенвольде сидел в кресле, глубоко утопая в нем; рука обершталмейстера была безвольно отброшена. Лучи первого солнца дробились в камне его заветного перстня. Старый барон снял перстень с пальца Левенвольде и протянул его дочери:

— Вот память нам об этом негодяе. Возьми его, Шарлотта, только осторожно... он с ядом! Все Левенвольде — отравители...

В глубинах замка прокричал петух. Из-под низко опущенных бровей скользнул по девушке строгий взгляд мертвого Левенвольде. В стене той церкви, где он впервые встретил юную Шарлотту, был сделан наскоро глубокий склеп. В мундире и при шпаге, в гробу дубовом, он был туда поспешно задвинут. И камнем плоским был заложен навсегда. К стене же храма прислонили доску с приличной надписью

и подробным перечнем всех постов, которые сей проходимец занимал при жизни бурной...

Смерть Левенвольде не прошла бесследно — в придворных сферах Петербурга началась передвижка персон, и кое-кто подвинулся, а кое-кто поднялся на ступеньку выше. И очень высоко подскочил Артемий Волынский!..

Недавно я посетил замок «Раппин» и долго стоял перед могилой Левенвольде, вглядываясь в уродливых львов на гербе знатной подлости. А надо мною, всхлипнув старыми мехами, вдруг проиграл орган — тот самый, который разбудил когда-то Левенвольде. Минувшее предстало предо мною: да, именно вот здесь, на этих серых плитах, молилась девочка, прошедшая свой путь по земле бесследно и невесомо — как тень... Как тень прошла она, унесенная ветром в забвение прошлого.

А на пригорке в забросе покоилось фамильное кладбище Розенов, обитателей этого замка. Я читал надписи на камнях и размышлял о времени: здесь лежали уже сородичи декабриста Розена. Время тихо и незаметно смыкалось над древними елями... В поисках дороги на Венден (нынешний Цесис) я долго блуждал по лесу — там же, где 250 лет назад заблудился ночью прокаженный Левенвольде.

Глава третья

Потап Сурядов, на Москве проживая, промышлял чем мог. Теперь, когда два года подряд неурожаем постигал Русь, императрица разрешила милостыньку свободно вымаливать. И от этого в городах теснотища возникла: нищие так запрудили улицы, что кареты барские порою не могли проехать... Потапу стыдно было руку тянуть — малый здоровенный, на целую башку всех выше, а когда шапку наденет, так и торчит надо всеми, словно колода... Стыдно! Лучше уж украсть, нежели руку Христа ради протягивать.

В морозы лютейшие гуляющий народ больше около фартин терся. Напьются вина кабацкого, а ночью спят. Иные, кто хмельного не желал принимать, тот прямо в баню шел — отчаянно и жестоко там парился. Полторы тысячи бань на Москве тогда было, а в банях все голые — возьми-кось сыщи меня! Первопрестольная всем сирым приют давала: улицы темнущие, идешь — черт ногу ломает, пустырей и садов множество, заборы гнилые, тки его — и повалится. Тут-то и раздолье тебе: свистнешь прохожему — у того душа в пятки скачет. Сам отдаст, что накопил, только бы до дому живым отпустили.

По привычке, еще солдатской, Потап бороду брил, и для той нужды были на Москве многие цирюльни, где тебя исправно за грошик выскоблят. Над питейными погребями висели гербы императрицы и красочные вымпелы развевались. Будто корабли, плыли в гульбу и поножовщину кабаки царские, заведенья казенные. А над табашными лавками рисованы на жести приличные господа офицеры, кои трубки усердно курят. Ряды — бумаженные, сайдашные, кружевные, шапочные, котельные, ветошные, калачные и прочие, — есть где затеряться, всегда найдешь, где свой след замести...

На Зарядье, в самом темном углу Китай-города, зашел как-то Потапушка в обжорку. Стукнул гривной по столу, что был свинцом покрыт, и запросил водки с кашей. А напротив старичок посиживал, чашку жилярского чайку с блюдца сосал, носом присвистывая.

— Величать-то тебя как, дедушка? — спросил его Потап.

— Допрежь сего, пока не рожден был, не ведаю, какво меня называли. Лета ж мои — по плоти, а духовные лета скрыты. Може, мне с тыщу и накапает. Да токмо сие рассуждение — ума не твоего.

— Чудно говоришь, старичок, — задумался Потап. — Вроде бы ты и не человек, а... Откель сам-то? Где уродили тебя экого?

— Да все оттуда... — задрал старичок бороду. — Со небес наземь упал я! Меня сам боженька на землю спихнул... Эвот как!

— Небось больно было тебе с неба на землю падать?

— Не. Даже приятно. Меня тихие анделы крыльями носили...

Потап озлился от вранья, вспомнил он страхи застеночные. И каши зачерпнул рукой с миски, стал бороду старика кашей мазать:

— Ой, и не ври ты, псина старая! Иде твои анделы тихие? Иде душа Иисуса Христа? Нешто они горя людского не видят?

Тут сзади какие-то бугаи зашли, навалились:

— Вяжи его! — И ломали Потапу кости. — Ен утеклый, видать...

Даже дых переняло, — столь сильно помяли. А напротив все так же мирно сидел старичок, с небес на землю упавший, и вся борода его — в каше гречневой, которая в коровьем сычуге сварена.

— Отпустите его, — сказал он вдруг, пятак вынув и положив его пред собой, стражей и сыщиков во искушение вгоняя.

Потап спиною слабость в фискалах ощутил и, путы рванув, стол сшиб. Вылетел на мороз. И там старичка под забором дождался.

— Отец ты мой, — сказал ему Потап. — Уж не чаял я защиты от тебя. Почто добром услужил мне? Ведь я тебя кашей испачкал...

Старичок вертко улицу оглядел, к уху парня приник.

— Идем, — шепнул. — Христу и Богородице явлю тебя.

— А и веди! — решился Потап. — Я вот Христу-то всю правду изложу: разве пристало людям русским таково далее маяться?

Иисус Христос имел жительство возле Сысского приказа (это как раз налево под горушкой, возле церкви Василия Блаженного, где ранее был приказ Разбойный). Дом у Христа имелся от казны даденный, ибо «спаситель» наш служил ныне мастером дел пытошных. Звался он Агафоном Ивановым, сам из мужиков вышел, похаживал теперь по комнатам в белой до пят рубахе, сытенько порыгивая, а округ него — всякие там крестики да иконки развешаны.

— Ноги-то вытри, — сказал Христос Потапу. — Чай, не в кабак ломишься, братик, а в наши горницы духмяные...

Стало тут Потапу даже смешно: нешто же, в рай входя, надобно ноги вытирать? Однако не спорил — вытер. Тут за стол его посадили, потчевали. А вина и табаку не давали.

— Это грех, — сказали. — Мясa тоже не ешь. — И при этом Потапа по спине гладили. — Ого, — на ощупь определил опытный Христос, — ты уже, чую, дран от кого-то был... Оно так и надо: сколоченная посуда два века живет... А что думаешь-то?

— О жизни думаю... Плохо вот! Жить плохо, — отвечал Потап.

— Прав, соколик мой ясный: спастись нам надобно.

— Да я бы спасся... Не ведаю только — как?

— Очистись, — строжайше велели Потапу.

— Я мало грешен. Видит бог — коли по нужде, а так — не!

— А ты и согреси. — И опять по спине его гладили.

— На што? — дивился Потап. — На што грешить-то мне?

— Чтобы потом и очиститься... А сбор святых, — молол ему Христос, — на Москве сбудется. Вот, когда-сь с Ивана Великого колокола вдарят, тогда — жди: мертвяки из гробов смердящих воздымутся. И все пойдут на Петербурх — там суд состоится... Страстный! Небо же явится нам уже новехонько — все в алмазах, и на нем узрят верующие чуден град Сион.

— А дале-то? — сомневался Потап. — Дале-то как? За притчею-то твоею, Агафон Иваныч, что видеть мне надобно?

— Сие не есть притча. Дале нам хорошо станется. Загуляем мы с тобой, праведные, в садах райских. Ризы у нас золотые, дворцы хрустальные, яства сладкие, а бабенычки молоды и податливы.

— Это какой же такой рай... с бабами? — дивился Потап.

— Мир здесь, на земле, духовен да будет! — внушал ему Христос. — А там, на небеси, за всю жизнь остудную оплатится тебе

сладостью утех мирских, плотских. Все наоборот обернется по уставам нашим. И сейчас, дабы рая достичь, ты женою не заводись. От жены смрад гнусный исходит — не надо тебе жены. А приходи к нам в Иерусалим новый и любую бабу для своих потребностей ты во благоухании избери...

Хотел Потап прочь уйти. Но в доме Христа-баламута столь тепло было и тихо, что поневоле телом заленился. Шапку под голову себе кинул, на лавке проспал до вечера. Потом его подняли, велели белую рубаху надеть и ко греху готовить себя.

— Да на что он мне сдался, этот грех ваш? — удивлялся Потап. — У меня и без ваших грехов своих хватает. На што зло копить?

Ввели его в горницы, Иерусалимом называемые. А там — народищу полно. И мужики и бабы, старые и молодухи, все шепчутся, какими-то листовками шуршат. Запели они согласно — по команде:

Сниде к нам, Христе, со седьмого небесе,
походи с нами, Христе, под белым парусочком,
сокаги с небесе, дух ты, сударик святой...

Выскочил посередь избы мужик — черт голый, а не мужик. Без порток. И заскакал среди баб, хлеща их неистово плеткою.

— Хлыщу, хлыщу! — кричал он. — Христа ищу, ищу...

Сначала мужики и бабы шли в стенку — одна стенка на другую, будто хоровод водили. Раздувались их «паруса» — белые рубахи, чистые. Потом богородица, карга старая и гнусливая, на престоле хлыстовском сидючи, пискнула — будтомышь:

— Пошли усе в схватку! Хватай друг друженьку... мни! мни!

Плюнул Потап в темноту, блудом хлыстовским напоенную, и ушел. «Спасаться и надо бы, — думал. — Да... к а к? Хорошо бы мастерство немецкое изучить. Скажем, замки дверные, безмены купеческие или пистолы воинские делать. Опять же — разве худо около дерева всю жизнь провести? Доски гладить, гробы собирать?..»

В кабаке Неугасимом ему знакомство выпало. Вошел в питейное господин молодой и долго Потапу в глаза смотрел. И, вдоволь наглядясь, так он заговорил:

— Сыне я дворянской, сержант гвардии, и могу тебя в крепостные свои определить. Хошь?.. Только — уговор: я тебе пять рублей дам, и ты моим рабом станешь. А потом я продам тебя, и с торгового ты с меня еще три рубля получишь... Стоишь ли ты того?

— Стою, — сказал Потап и заплакал. — Видит бог, — горевал он над кружкой, — пропала моя головушка... Ладно, господин добрый. Бери меня в оклад подушный за пять рублей. Продавай меня хоть черту за три рубли... Замерз вот я. В тепле давно не спал. Лучше уж в рабстве твоём крышу иметь над головой... Пошли!

И за пять рублей продал себя Потап обратно — в рабство.

Новый барин его — сержант Гриша Небольсин не в пример Филатьеву оказался добрым. Работами не принуждал, в маслице да в пиве не отказывал. Торговал он живым товаром и с того жил. Такие господа на Москве водились тогда...

Только пришел однажды Небольсин с похмелья, аж посинел:

— Прости меня, Потапушко. Вчерась я спьяну забыл цену за тебя просить. А просто подарил тебя... Сходи же умойся во дворе. Да гребешок у баб попроси расчесаться и не гляди звероподобно...

Сел барин в санки, Потапу велел на запятки вскочить. Поехали. Прыгали санки по сугробинам. Небольсин лошадей завернул, пошли они рысью под угорье Замоскворецкое — места Потапу знакомые.

— Тпррру-у... — остановились вдруг, и Потап обомлел.

Небольсин задержал санки как раз напротив дома Филатьевых; внутри двора бренчала цепь — медведь по кругу ходил, на проезжих фыркал. Потап на снегу присел, стал онучи разматывать. Пять рублей из-под лаптя достал и вернул их честно сержанту:

— Ты меня не покупал, я тебе не продавался. Из этого дома Филатьевых и пошли невзгоды мои. Хошь правду знать, так знай: я со службы царской бежал. А за твой перекуп и укрывательство беглого тебе же и худо будет... Прощай, барин, я зла не желаю!

Повернулся и пошел от сержанта прочь. Прямо в баню пошел, где на последнюю копейку всласть парился. А вокруг Потапа, от баб подалее расположась, фабричные с мануфактуры г-на Таммеса мылись. Были они хмельны и шумели. Парни вениками девок по мыльне гоняли, и вся баня веселилась. Между прочим, у одного фабричного пупок гнил. У другого сердце, словно птенец в гнезде, билось под кожей на груди — вот-вот выпорхнет.

— Ты, дяденька, не жалец, — посочувствовал ему Потап.

— Сам знаю, — отвечал тот, печалуясь. — Смолоду-то мне хорошо было: я за милостынькой промышлял. А потом, вот, дурак такой, на фабрику Таммеса попал. Думал, в люди здесь выйду. Опять же — свобода! С четырех утра до ночи у сукноделания пребудь, а потом гуляй душа, сколько влезет.

— Гулять-то мало, — усмехнулся Потап. — Когда же гулять, коли в четыре утра встанешь, а в полночь ляжешь? Выходит, и у вас жизнь никудышна. А я-то думал...

Тут к ним второй фабричный подошел да харкнул в Потапа.

— Это в науку тебе, чтобы ты от фабрик подалее бегал. Плонул не в обиду тебе, а чтобы показать — какого цвета души у нас!

— Никак... зеленые? — сказал Потап, живот себе вытирая.

— Мундёр красим, — отвечал фабричный. — Потому как война скоро опять будет...

А пока он там мылся с разговорами, люди проворные в предбаннике не дремали и всю одежку Потапа с собой уволокли. Одни онучи из убранства остались. Намотал их Потап вокруг ног, стали тут бабы над ним смеяться: «Хорош гусь!» Потап поначалу слезно и чинно банного компанейщика упрашивал:

— Ты почто за одежами нашими не следишь? Куды же мне на мороз идти? Теперь с ног до головы меня одевай во что хошь. Нет закону, чтобы в баню человека запускать одетого, а помытого нагишом выгонять.

Компанейщик таких, как Потап, и в грош не ставил.

— Еще поори мне тут, — отвечал, — так я от рогатки стражей покликаю. Со спины-то будто слишком ты сомнительный. Уж не бежал ли откель? Может, по тебе давно Сибирь-матушка плачет?.

— Дай ты мне хламину какую ни на есть, — взмолился Потап.

— Эва! — рассуждал компанейщик, ликуя от своего могущества. — Да мне вить на всех обворованных хламинок не напасть...

А служитель мыльный — старенький, лыком округ чресел костлявых опоясан — сдуру или в науку возьми да ляпни:

— Не иначе, как сам Ванька Каин твою одежду уладил. Нонеча он тута чевой-то вертелся с девкою своей.

— Цыц! — пригрозил ему компанейщик, и все замолкли.

Вечером всех обворованных погнали к реке Яузе, чтобы они, дрова для бани приготовив, могли «сменку» себе заработать. Компанейщик даже покормить обещал. Дрова на своем горбу к баням несли. Во дворе их пилили, кололи. Средь ночи вчерашний ужин на стол ставили. Потап от усталости головою на стол лег — дремал. Под утро растормошили его и одежду под нос суют.

— Твоя? — спрашивают.

Потап протер глаза: стоял перед ним Ванька Осипов, что еще малолетком при доме Филатьевых терся.

— А ныне, — говорил он, жмурясь, — я есть Каин прозванием. Одежку свою бери. Мне банное воровство не кажется, ныне я при воровской академии обучаюсь. Карманное дело прибыльней...

Рассветало над Москвою. Выбрались они на Красную площадь — в толпу. Ванька на миг отлучился. Тыр-пыр — в народе, словно угорь скользкий. Обратно выдернулся — уже при огромных деньгах: сорок семь копеек Потапу показывал, хвастал:

— Академия воровская меня всему обучила. Учил нас дворянин Болховитинов — грамотей изрядный... Како пальцы гузкой держать, како и кошелек тянуть, самому не пываясь. Есть на Москве и гениусы такие, что у баб серьги из ушей вынут, даже мочки не колыхнув...

Зашли в блинную, стали горку блинов съедать, макая их в масло топленое, в мед да в сметану. Потап о себе рассказал: а Ванька Каин пожалел его, на грудь припадая, поплакал малость:

— Как добра твоего не помнить, дяденька Потап? Нешто забыл я, как ты меня сечь отказался? За мою-то особу ты и мучение воинское на себя принял... Спасибочко тебе, Потапушка!

Тут Потап попросил у Каина:

— Деньги твои бешеные. Уж ты извиняй на просьбе меня, а поделись со мной. Хучь гривенником... а?

Ванька Каин, не споря, ему гривенник дал...

— Ведь ты благодетель мой, — и даже поцеловал Потапа.

— Теперь-то я, — сказал Потап, блины доев, — на твои деньги легкие и уйду далеко... Подамся прочь из Москвы. Надоела!

Морозы крещенские его за Брянском настигли. Потап уже не чуял, как до ближней деревни добраться. Дорога — все лесом и лесом, конца нет дебрям... жутко! И вдруг веселою искоркою засветился костер. По снегу лаптями хрустя, Потап к огню подался — от шляха в сторону. И видит: под елкой лошаденка стоит, сани-розвальни тут же, а возле огня мужик с бабой своей и детишки малые греются. Кипит в их котле варево, булькая...

Мужик из саней топор выхватил, да — на Потапа сразу.

— Уйди, ворог! — кричал. — Ворог ты... уйди, зарублю!

Потап для опасения «засапужник» вынул — ножик страшный:

— Да нешто я вас губить стану? Не ворог я... сам погибаю.

А баба металась у огня, а детишки ревели. А над ними лес шумел — темный лес, брянский, волчий, лисий, медвежий, разбойный!

— Окстись! — потребовал мужик, топора не опуская.

Потап перекрестил себя через лоб рукою замерзлою.

— Уж не нашего ли ты толка? — спросил мужик, топор отбросив. — Эй, мать, — жену позвал, — гляди, он двупало крестился...

Потап руки ему свои протянул.

— Не двупало, — сказал. — Толка раскольничьего не знаю. Но померзли руки мои. Не мог пальцы троеперстно сложить...

До огня его допустили. И каши дали. И доверились.

— Иду вот, — рассказывал мужик, носом шмыгая, — от господ Ераковых спасаюсь, на Ветку иду счастья да сытости искать. Един раз был там, ишо холост. Да выгнали нас на Русь обратно! Не хошь ли, добрый человек, с нами за рубеж российский податься?

— Далеко ль идти-то?

— Аж до самого Гомеля, там реча Сож течет, берега у ней серебряны, а донце золотое. Стоит остров посередь воды, а на острове том — город русский. И живут богато, и власти царской не признают. Огороды там велики, сады душисты, никто не ругается, никто не дерется, живут трезво, один другого любя по-голубиному. И тронуть не смогут нас там — земля польская, зарубежная.

— За рубеж-то небось опасно уйти?

— Да рубежа ты и не почувешь. Веревка там не висит, забора никто не ставил... Така ж земля, как и российская. А дышать легче. Уж ты поверь мне: второй раз туды следую...

И пошагали они за рубеж — на Ветку пошли.

Глава четвертая

Маленький шах Аббас («владыка мира и убежище мудрости») еще развлекался игрушечной сабелькой, а Персией самовластно правил Надир. Спешить некуда — грянет час, и ребенку поднесут напиток, от которого Аббас сразу лопнет. А кто станет тогда «владыкой мира и убежищем мудрости»?.. Конечно, он — сам Надир!

Надир лежал на оттомане в глубине шатра зеленого прозрачного шелка, который был раскинут под апельсиновыми деревьями. Ножки ложа его (чтобы гроза и молния не покарала Надира) были сделаны из чистого хрусталия; вчера инженер-француз отвел ручей из древнего русла и пропустил его под самой оттоманкой. Хорошо журчит ручеек, пробегая между хрустальными ножками; сладко благоухает сад, разбитый еще с вечера внутри шатра. Через янтарный чубук Надир неторопливо посасывал желтое ширазское вино, когда к нему в шатер внесли подносы с человеческими глазами. Большими серебристыми грудками, слезясь и закивая, облепленные мухами, лежали глаза с помутневшими зрачками.

— Меч Востока и солнце вселенной! Вот глаза, что бессовестно взирали на мир, недостойные видеть твою тень на земле...

Глаза вырывались у тех, кто не мог уплатить Надиру налога. Острием ножа, легко и ловко, НаDIR стал пересчитывать своих должников. Глаза отлетали один за другим, сочно шлепаясь в глубокую лохань. Сбившись со счета, НаDIR зевнул, явно скучая:

— Сколько же здесь всего?

— Две тысячи катаров, о величье мира!

(В каждом «катаре» — семь глаз.)

— А где сейчас посол московский? — спросил НаDIR.

— Он приближается к тебе, дрожа от страха...

.....

Он приближался... Под копытами коня соскальзывали в пропасть камни. Лицо князя Сергея Голицына иссушили горные ветры. От стужи снеговых гор посол проехал до зноя прибрежий, из-под тени елей он въезжал в прохладу рощ южных. Бурлили тут воды разные, ключами бьющие, воды ледяные и воды кипящие. На скалах пыжились фиолетовые ящерицы с безобразными головами, в бездонности неба парили коршуны. Мерно и звонко выступал конь посла России!

До чего ужасен мир Персии при НаDIR-шахе... Одиноко стоят караван-сарай; вокруг них, обглоданные шакалами, валяются ребра, позвонки и челюсти, оскаленные в смерти. Богатая страна превращена в пустыню. Люди одичали. Увидев всадника, житель убегает в скалы, прячется в камнях. Можно проехать всю деревню из конца в конец, и почти каждый крестьянин — одноглаз. А полные слепцы, глядящие на мир двумя гнилыми ранами, — это землепашцы, которые дважды податей Надиру не оплатили. На дорогах Персии сейчас мертво. Только изредка слышен стон, а вот и сам источник этого стога: бичами понукаемы, рабы на своих плечах несут к Мешхеду мрамор из Тавриза. НаDIR еще не стал законным шахом, а уже строит для себя дворцы, бассейны, башни и киоски для прохлады. А камни таковы, что люди, несущие их, кажутся муравьями. Все камни именами наречены: «Расход Мира», «Гордость Хоросана», «НаDIR-камень».

Хоросан — главная обитель НаDIRа, а Мешхед — столица Хоросана... Тысячи мастеров из Индии, Китая, даже из Европы наводят яркий блеск на этот город. По единому слову НаDIRа племена переселяются на пустоши, взрываются древние плотины, затопляя пашни, возводятся новые. Старые города — за неплатеж податей! — предаются огню, безглазые жители их сгоняются в пустыни (так было с

Щемахой, когда-то цветущей). По дорогам Персии везут в клетках к Надиру гирканийских тигров, халдейских львов, везут слонов из долины Ганга, медленно выступают татарские верблюды. Закутанные в шелка, под струистыми паланкинами, проносят к Хоросану невольниц для гаремов Надира — грузинок и черкешенок, сириек и китайнок, негритянок и полячек, украинок и русских.

Женщины Надиру противны, но пышность серала — свидетель его величия... Так пусть они едут, чтобы изнывать до смерти в золоченых клетках гаремов, в благоуханных садах, где так звончаты фонтаны, где так прекрасны розы!

А ночлеги на дорогах опасны. Старый караван-сарай, сложенный квадратом из камня, весь унизан кельями, а внутри его — двор, и во дворе сгуртованы кони путников. Голицын, запахнувшись в плащ, сидит на корточках перед костерком, в котле кипит вода. Из китайской чашечки князь поддевает пальцем густую мазь чайной эссенции, бросает ее в котел. Рука посла берется за чашку.

— Проверьте, кто ночует с нами в караван-сараях, — говорит он начальнику конвоя. — Нет ли худых людей под нашей крышей?

Офицер Перфильев скоро возвращается.

— Чисто, — отвечает он князю. — Два араба, один англичанин, семейство армянское да девка краковская, в гарем везомая...

Тихие черные тени возникли на пороге. Это — армяне.

— Господин, — просят они посла шепотом, — спаси нас от гнева божия, дай паспорта русские. Мы разорены, жилища наши уничтожены, а жен и дочерей наших осквернили грязные афшары...

Голицын отвечает армянам (а в горле — комок слез):

— По договору Рештскому, не имею права отнимать под корону российскую подданных его величества шаха персидского. Советую вам бежать... в Астрахань! Там множество единоплеменников ваших. Купцы армянские уважаемы на Руси, живут счастливо и богато, нужды и притеснений не ведая. Я все сказал вам, люди добрые...

С криком, из-под стражи вырвавшись, вбежала к нему полячка:

— Пан амбасадор! Добротливу пан москвичанин, бендже ласкови... мние везц помимо власней воле... Сбавеня мние!

Прекрасно было лицо юной краковянки.

— Дитька моя, — отвечал ей Голицын скорбно. — Цо я моц зробиць? Мы с тоба в крайовах нехристиански. А я — амбасадор москвичанский, но не посполитый... Жалкую по тоби! Бардзо жалкую...

Послышался звон мечей; вошли стражи в тесных кольчугах, надетых поверх грязных халатов; свирепо глядя на неверных, схватили

краковянку и увели. Среди ночи часто просыпался Голицын, слушал вой шакалов. Потом диким воплем резануло в тиши, и снова — тихо. Да, снова тихо. Князь уснул. В далеком и древнем селе Архангельском (вотчине дедовской) сейчас сыплется мягкий снежок, стегают меж берез косые зайцы.

В узкие бойницы окошек красным клинком вошел рассвет восточный. Караван-сарай уже пуст — все отъехали. А на воротах здания распята на гвоздях белая кожа, снятая с краковянки. В пустой комнате ворочался еще живой кусок красного от крови мяса.

— Езжайте все, — простонал Голицын. — Я догоню вас...

В пустынном караван-сараяе грянул выстрел.

По каменистой дороге цокали копыта коня посольского.

Голицын проезжал как раз через Гилян, недавно отданную Надиру — от неразумных щедрот Анны Иоанновны. Посольство русское въехало в Мешхед, когда небеса уже темнели. В голову князя и его свиты летели камни, пущенные шейхами или нищими. Обнаженные дервиши сидели на корточках в теплой пыли и, закатив глаза под лоб, проникались молитвами, искусно расковыривая щепочками свои язвы. Трупы умерших от голода валялись по обочинам рядом с дохлыми собаками, никем не убранные. В тончайший аромат персидских роз вривалось, смрадно и густейше, зловонье из канав проточных. А в тени кустов миндальных стояли наготове блудницы, держа в руках подушки и одеяла; непристойно крутя голыми животами, они распевали стихи в честь святого Хуссейна, сочиненные ими тут же (дар импровизации — дар волшебный: им где угодно можно удивить — только не в Персии!).

Князя встретил резидент русский — Иван Калушкин, молодой человек происхождения неизвестного, который, по слухам, чуть ли не из мужиков в дипломаты вышел; был он седой как лунь.

— Веди в дом, Ваня, да покорми чем-либо...

Ужинали при свечах. Говорили о Надире и политике в Персии: как будет далее? Надира надобно побуждать к войне с турками, ибо турки крымцев мутят, а крымцы рвутся в Кабарду — на Кавказ...

— Надир вечно пьян, — говорил Калушкин. — Оттого и визири его пьяны, войско пьет тоже, а с пьяными политиковать трудно.

— Скажи мне, Ваня, есть ли кто ныне в Персии счастливый?

— Вот только один Надир и счастлив, — отвечал Калушкин...

— Глаза мужикам нашим, — затужил Голицын, — пока еще не рвут за подати. А гаремы в Петербурге уже сыскать мочно. Народ наш приневолен так, что как бы Русь вся за рубежи не разбежалась.

— Зато вот от Надира не убежишь, — пояснил Калушкин. — По всем дорогам стоят рахдарамы, убивая каждого, кто к рубежам приблизится. Света же персам при Надире не видать. Коли кто имеет дерево плодоносяще, так сразу его срубают, ибо налог за него оплатить нет мочи. Лучше уж дерево срубить, нежели глаз своих чрез искусство палача шахского лишиться...

— Как рвут-то хоть? — спросил Голицын горестно.

— Они умеют. Щипцы особые. Или шилом раскаленным. Только зашипит глаз, и всё тут! Я видел... не раз. Оттого и поседел.

Долго молчали дипломаты. Гилянь уже отдана на растерзание Надиру, а они более не хозяева в политике. Петербург свысока считает, что лучше Остермана никто не разбирается в делах восточных... Оттого-то Остерману — слово решающее, последнее!

— Давай-ка спать, Ванюшка, а завтра мне аудиенц...

«Аудиенц...» НаDIR просто издевался над послом русским:

— Когда я иду на войну, так я сам иду. А что у вас царица такая лентяйка, всегда дома сидит? Пускай и она на войну идет... Будем мы с ней воевать честно: кто что у соседей своих захватит, то пусть и принадлежит победителю...

Конечно, от разбойника с большой дороги ничего другого и не услышишь. Сергей Дмитриевич заговорил в ответ о тучах пленников и рабов, которых держат власти персидские, о племенах Кавказа, которых шайки Надира силком уводят в глубь Персии, расселяя в местах гиблых, налоги зверские платить заставляя. О горечи женщин славянских, в гаремах Персии изнывающих...

— Что ты мне, скакуну лихому, о соломе рассказываешь? — орал на князя НаDIR. — В бумагах твоих Анна пишет, что она «великая». Не вижу я величья ее, если Московия не может отдать мне Баку и Дербент! Великая ли ваша страна — Россия? Спрашивал я об этом мудрецов своих, они мне отвечали, что Московия — большая, но про величье ее в книгах мусульманских ничего не сказано...

— Она великая! — вытянулся в гневе Голицын.

— Зачем ты врешь мне? — хохотал пьяный НаDIR. — Вы, словно шакалы в труп осла, вцепились в эти города — Баку и Дербент... Или у вас своей земли не хватает? Довольно меня обманывать. Я заключу, назло вам, мир с турками, мы объединим наши армии, и завтра наши трубы протрубят в Москве... Меня Аллах возвысил столь высоко, что я весь мир могу забрать под тень, падающую от меча моего... Скажи — ты посол полномочный или нет?

Голицын подтвердил. И чрезвычайность. И свои полномочия.

— Так где же мочь твоя чрезвычайная? Если не врешь, так своей волей прикажи отвести войска царицы прочь — за Терек их прогони обратно, чтобы я уже никогда не видел их в своих пределах...

«Гилян уже отдали на разбой и ужасы. Теперь Дербент отдай?» И князь — в злости — откланялся Надиру, который возлежал на диванах кверху животом, окруженный красивыми грузинскими мальчишками. А в углу шатра сидел придворный историк над раскрытой книгой, чтобы поведать в ней потомству о славных деяниях Надира, и НаDIR — тоже в злости — велел ему так:

— Излей с пера своего разума сладчайший сок моей мудрости. Запиши, что НаDIR (сын и внук своей сабли) отделал глупого посла Московии и тот уполз в нору, зализывая раны своей подлости!

Но Голицын главного от Надира добился: армия персов снова пошла под крепость Ганжу, занятую турками. Легкие на ногу, шагали бахтиары с толстыми затылками, раскачивая на ходу копыя. С гиком неслись по холмам воинственные курды, а за ними — жены их, расставлявшие черные шатры в долинах над ручьями. В кольчугах двигались грузинские князья с узденями, хвастливые, порочные и пьяные. Дымчатые быки тащили старинные кулеврины, которые не имели прицелов, но зато стволы их были покрыты сусальным золотом. Бесколесные пушки тащились по песку на бревнах, заменявших им лафеты. Зато вот ядра были высечены из прекрасного мрамора. И отшлифованы столь тщательно, что адскому труду рабов могли бы позавидовать и зеркала Версаля! Эти ювелирные ядра в чадающем грохоте выскакивали из кулеврин. И навсегда пропадали на болотах, далеко в стороне от Ганжи (стрелять персы совсем не умели). Голицын понял, что НаDIR своими силами Ганжи никогда не возьмет, и велел прислать из Баку русских опытных бомбардиров. Когда они прибыли, посол передел их в халаты, научил носить чалму, а сбоку им привесили кривые сабли, чтобы турки не узнали об участии русских в осаде Ганжи.

Русская дипломатия делала все, чтобы строптивый НаDIR шагал в общей упряжке с Россией. Довольный помощью от России, этот разбойник, казалось, уже забыл про Баку и Дербент. Но в один из дней прискакал курьер из Петербурга. Пальцы Голицына тряслись, срывая печати с пакета. Хрустел сургуч, с треском развернулась бумага...

— Небось худо там? — робко спросил Калушкин.

— Остерман пишет нам, чтобы мы Баку с Дербентом отдали. Крепость Святого Креста велено разорить, а рубежи российские за Терек отодвинуть... аж до самого Кизляра!

— До Кизляра? Ну, все пропало...

— Нет, не в с е! — ожесточился Голицын. — России без Каспия не бывать... Коли не Анна, так потомки наши вернут сей край от разбойников. А племена кавказски напрасно рыпаются: им без России в мире не жить. Их тут, как баранов, станут свежевать все, кому не лень, ежели они от Москвы глаза отвратят. Уходим мы с кровью сердечной — вернемся мы с кровью бранной!..

Сергей Дмитриевич отъехал домой в рядах русской армии, надолго покидающей эти края. Последний раз прожурчал солдатам сладкий Аракс, проголубели воды суражские. Вот Баку пропал за горами, дымно чадя из скважин огнями петролеума. Вот и Дербент остался зеленеть в садах виноградных. Войска вступили, на север шествуя, уже в степи кумыкские. А следом за русской армией, которая без боя уходила по приказу Остермана, врывались орды афшарские и курдинские. Грабя, бесчинствуя, насилуя. И каждой женщине разрезали сухожилия ноги правой: пусть всю жизнь хромает она теперь — в знак насилия, учиненного над ней в юности... Долго трещали в пожарах бастионы крепости Святого Креста, в огне погибало все, что закладывалось Петром Первым на века...

Остерману ведь ничего не жаль!

Ранней весной коляска Сергея Голицына вкатилась в уютную сень родового села Архангельского: оранжереи, колодцы, беседки, огороды, бабы, собаки, книги... Старый отец вышел на крыльцо.

— По кускам Россию-матку разрывать стали? — спросил сына.

— Не я, батюшка... не я виновен в том, что отдали Надиру.

Он снял перед отцом шляпу, поцеловал руку старого сенатора.

В звоне ручьев таяли снега, и пахло на Руси весною... Отец, повременив, сказал сыну:

— Ах, князь Сергей... сорок годков тебе всего, а как ты стар, как ты сед. Говорю тебе родственно: подале от престола держись, от Остермана подале. Ныне, по слухам, место губернаторское на Казани упалым стало... Просись на Казань!

— В эку глушь-то, батюшка?

— Укройся там, — отвечал отец. — Время ныне гибельное.

— А вы... как же вы, батюшка?

— Я свой век отжил, и смерть меня не страшит...

Возле бывшего верховника по-прежнему состоял Емельян Семенов — начитанный демократ из крепостных князя. Сейчас они совместно перечитывали «Принципы» итальянца Боккалини, который

в сатирах своих никого не щадил — ни монархов, ни политиков, ни монахов, ни придворную сволочь. Книга Боккалини была насыщена жадным дыханием свободы, пропитана лютейшей ненавистью к тирании.

— Эту бы книжищу... да в народ бросить!

Странная и крепкая дружба была между маститым старцем олигархом и начитанным простолудином-демократом. Книжку прочтя, они ее долго обсуждали и, аккуратно тряпочкой вытерев, кожу переплета промаслив, бережно на место ставили... Библиотека росла!

Глава пятая

Великая Северная экспедиция — честь ей и слава! — продолжала свою работу, и мореходы российские, вдали от разногласий двора и пыток застеночных, трудились честно и добросовестно на гигантских просторах России — от лесистой Печоры до вулканической Камчатки...

Много их было, этих героев, но среди всех прочих полюбили мы одного лейтенанта — Митеньку Овцына, красавца парня с бровями соболиными, с глазами жгучими... Где-то он сейчас пропадает?

Прошедший год был в тяжких трудах — рискованных. Даже бывалые казаки далее Тазовской губы пути на север не ведали, грозили экспедиции гибелью. Овцын велел своим людям, которые по берегу шли, до заморозу не жить в тундрах. А сам паруса «Тобола» воздел и шел на трескучий норд — шел, как слепой без поводыря. Слепцы хоть палку имеют, дабы опасность нащупывать, у Овцына же одна надежда — на лот! Вот и бросали они лот в мрачную глубину, балластиной свинцовой грунт пробовали. Лотовая чушка салом свиным смазывалась — она как ударится о грунт, потом лот поднимут, а там — на сале — отпечатки: песок, галька, тина...

А вокруг, куда ни глянь, тоска смертная от природы суровой: излучины, острова, поймы, снег лежалый, там песцы бегают, хвостами метеля... Пусто. Ни души. Оторопь берет. Но — ш л и!

— И не идти не можем, — говорил Митенька...

Выходцеву он велел маяки и знаки по берегам ставить. Тот, старик преславный, в геодезию, будто в бабу, влюбленный, не прекословя, по жутким трясинам лазал, выбирал места повыше — приметы ставил. У лейтенанта Овцына новый помощник объявился — бывший матрос Афоня Куров, который в это плавание уже за подштурмана шел. Борта дубель-шлюпа обдергались уже на камнях, словно их собаки злые из-

грызли. В иных местах — по ватерлинии — дерево бортов острыми льдинами в щепки перетерло. Мачты от частых ударов корпуса корабля раскачались в гнездах своих... Однажды среди ночи Афанасий Куров разбудил рывком лейтенанта:

— Шуга пошла... дело худо! Упасемся ли? Не вмерзнем ли?

Овцын лежал на койке, сколоченной будто гроб тесный, а корабельная собачка Ньюшка ноги ему грела. Митенька потрогал зуб во рту, шатавшийся, и легко встал. Исподнее за долгое плавание заковрижело. Сало, копоть, грязь — кой месяц уже не мылись. Бороду за отворот мундира сунул, подзортрубу со стола схватил, выскочил на верхний палуб.

— Ой, ой! — сказал, дивясь перемене; а вокруг шлюпа уже шипело, тихо шевелясь, белое сало шуги (еще день-два — и скует мороз Обь в панцирь, тогда всем им — гибель). — Буди команду, — велел Овцын кают-вахтерам, а сам ветер нюхал: откуда, думал, забирать его в паруса выгодней? — К повороту оверштаг! — скомандовал сердито. — По местам стоять...

Мучился: скует реку или не скует? Дубель-шлюп сильно укачивало на шипящем ледяном сале. Потом — бум! бум! бум! — стали они форштевнем на льдины напарываться. Иной раз удары по силе таковы были, что, казалось, мачты треснут.

И все же Митенька Овцын успел команду вытащить из пасти ночи полярной — ночи уже близкой, ночи ужасной, цинготной. «Тобол» вышел к Обдорскому зимовью, и тогда лейтенант повеселел.

— Якорь, — сказал, — кидай на всю длину каната...

Якорь плюхнулся в воду, а канат — шелк! — сразу перервало, тухлявый от сырости. Ну это уже не беда. Стоят на берегу избы добротные, для зимы заранее матросами строенные, и дрова лежат нарублены. Овцын был хозяином рачительным, вперед смотрящим...

— Други милые! — объявил он матросам. — Капустка сладчайшая да хрены едучие на Москве остались. Потому от болей скорбутных, кои вгоняют человека в печаль, учеными еще не исследованную, определяю вам в пропитание супы еловые пополам с водкой...

И самолично проследил, как варил боцман в котлах корабельных хвою зеленую. Получался настой крепкий, будто деготь. Хлебнешь раз — и глаза на лоб лезут: горько! Но мудрость народная говорит ясно: горьким лечат, а сладким калечат. И было заведено Овцыным к неукоснительному исполнению: матрос водки не получит, пока лекарство то — от цинги — не приемлет внутрь пред обедом. Зато

Митенька теперь был спокоен: команда не пропадет у него на зимовке. Мясо есть, избы теплые, дрова на ветерке просохли.

— А весной я вернусь, ребята, и опять поведем «Тобол» наш к норду — будем ломать ворота арктические...

В разлуку долгую целовались все под лай собак. Потом собаки налегли в тугие гужи, «самоедина» остол из-под нарт вырвал — и упряжка сразу побежала вдаль, мелькая лапами мохнатыми. Овцын упал на узкие нарты, махал товарищам рукавицей:

— Прощайте, братцы... до весны! Живите согласно...

И вот она, знаменитая столица стран полуночных, — Березов-городок, здравствуй! Где ты, Березов? Куда ты делся?.. Даже крыш твоих не видать, занесло окна и двери. Обыватели, словно кроты работающие, в снегу норы роют и по этим норам ходят по гостям семейно, с лучинами и шаньгами, при себе лопаты имея, чтобы из гостей обратно до дому добратся...

Березовский воевода Бобров встретил Овцына на въезде в город, рот у воеводы распялился в улыбке — от одного уха до другого.

— Ну, сударь! — облобызал он навигатора. — Слава богу, что возвратились. Хоть погуляем с вами. Все не так скушна зима будет. Да и госуда-рыня Катерина Лексеевна Долгорукая по вашей милости извелась...

— Неужто извелась?

— Ей-ей. Пытала меня уж не раз — скоро ль, мол, навигаторы окиян покинут да на стоянку зимнюю возвратятся?

— Окияна сей год опять не достигли, — понуро отвечал Овцын. — Мангазея древняя, куда предки наши свободно плавали из Европы, в веке осьмнадцатом затворена оказалась, будто заколдовал ее кто... За ласку же, воевода, спасибо тебе!

Первым делом наведалься Митенька в острог тюремный — к семейству князей Долгоруких, встретила его там Наташа с сынком, который подрос заметно, и поплакала малость.

— Хоть вы-то засветите окошки наши темные, острожные. Одна и радость нам осталась: человека доброго повидать.

Овцын спросил у Наташи — как князь Иван, пьет или бросил?

— Ах, пьет... Видать, неистребимо зло пьянственное.

А по вечернему небу перебежал вдруг кровавый сполох сияния северного. Замерещились в огнях пожары небесные, взрывы облачные. Потом природа нежно растворила над миром веер погасающих красок — словно павлин распушил свой хвост. Жутью веяло над острогом березовским...

— Наталья Борисовна, — вздохнул Овцын, — знали бы вы, сколь легки дни ваши здесь. Кабы ведали вы, сколь тяжелы дни питерсбургские. Может, ссылка-то ваша и есть спасение?..

Катька Долгорукая, как только о приезде Овцына прослышала, так и заметалась по комнатам. Из баночки румян поддела, втирала их в щеки, которые и без того пламенем пылали. Уголек из печи выхватила, еще горячий, и брови дугами широкими подвела. Телогрей пушной охабнем на плечи кинула себе (вроде небрежно) и глаза долу опустила. Даже надменность свою презрела — сама к гостю навстречу вышла со словами:

— Дмитрий Леонтьич! У нас день сей хлеба пекли. Не угодно ль свежим угоститься? Тогда к столу нашему просим...

Вот сели они за стол, а между ними лег каравай хлебный. Помолчали, тихо радуясь оба, что тепло в покоях, пусть даже острожных, что молоды, что красивы... Овцын протянул руку к ножу. Сжал его столь сильно, что побелела кожа на костяшках пальцев. И, каравай к мундиру прижав, взрезал его на крестьянский лад. Смотрела на него порушенная невеста покойного императора, и так ей вдруг ласк мужских захотелось. Из этих вот рук! Рук навигатора молодого...

— А из Тобольска-то пишут ли? — говорил, между прочим, Овцын. — Видать, депеш не прибыл еще. Докука да бездорожие... Чуете?

— Чую, — еле слышно отвечала княжна, а у самой слеза с длинных ресниц сорвалась и поехала по щеке, румяна размазывая.

Овцын послушал, как бесится метель за палисадом тюремным, и краюху теплого хлеба окунул щедро в солонку.

— Ну а книжки, княжна Лексеевна, читаете ли от скуки?

— Еще чего! Мы и на Москве-то от книжек бегали.

— Куда же бегали? — хмыкнул Овцын.

— А у нас забот было немало. По охотам с царем езживали, по лесам зверя травили... Опять же — балы! Мы очень занятые были!

— А-а... Ну, я до таких забав не охотник... По мне, так дом хорош тот, в коем книги сыщутся. У меня в доме родном полочка имеется. Я на нее книги собираю. Ныне вот, коли в Туруханск прорвусь на «Тоболе», дела по экспедиции сдам, жалованье получу... и Плутарха куплю себе! Читали?

— Слышала, что был такой сочинитель. Но... не девичье это дело Плутархами себе голову забивать. Вон Наташка у нас, та книгочейная... Раз иду, а она ревет, слезами обмывается. «Чего ревешь-то,

дура?» — я ее спрашиваю. А она мне говорит: «Изнылась я тут... без книжек, без готовальни моей». Ну не дура ли?

И вдруг Катька горячо зашептала на ухо Овцыну:

— А едина книга в острогу нашем сыщется... Сколь уж раз из канцелярии Тайной сыщики наезживали, сколь добра от нас разного выгребли! Всё искали... на царя намеки, на мово суженого. Да книжицу ту заветную спасла я... Сейчас покажу ее по секрету!

И вынесла книжицу, что была в Киеве (при академии тамошней) печатана в 1730 году, а в книге описано подробно обручение Катькино с юным императором... Овцын повертел книжку в руках:

— Хотите, доброе дело для вас сделаю?

— На добро ваше и своим добром платить стану...

Овцын книжицу (на Руси ныне запретную) взял да в печку сунул. Порухенная тут завыла — в голос, а Митенька еще кочергой в печи помешал, чтобы огонь сожрал эту книжку поскорее.

— Не с того ли плачете, княжна? — спросил он Катьку.

— Не с того, сударь... Прошлое-то пушай гиштория ворошит. А мне одни срам да тоска остались. Ох, мой миленькой! Чернобровенький-то ты какой... погибель моя! Да нешто не видишь, что изнылась я? Возлюби ты меня, сироту горемычную...

Дунуло за окнами, сыпануло по стеклам горохом снежным.

— Чего уж там скрывать мне! — сказала княжна Долгорукая. — Знай истину: люб ты мне... л ю б л ю!

И встала она рядом с ним, сама высоченная, копнища густых волос сверкала в потемках, вся жемчугами унизана.

— Ой, и стать же... До чего ты высока, княжна!

— А хочешь... Хочешь, я ниже тебя стану? Гляди... вот! Гляди, любимый мой: порухенная царица России на коленях пред тобою без стыда стоит... пред лейтенантиком!

Чего угодно ожидал Овцын, только не этого. Поднял он ее с колен вовремя. Двери разлетелись, и ввалился хмельной князь Иван Долгорукий с глазами красными от пьянства.

— А-а-а, — заорал с порога, — вот ты где, Митька... с Катькой! Ты этой паскуды бойся, — говорил он серьезно. — Я брат ей родной, от одной титки с нею вскормлен, а стервы такой еще поискать надобно... Она и себя и всех нас под монастырь или под топор подведет, верь мне, Митька!

Овцын ушел. Бухнула за ним дверь острожная, промерзлая, окованная железом. «Лучше уж, — думалось ему, — с казачкой здешней любиться». И со всей страстью зарылся Митенька в дела экспедици-

онные, дела самые сердечные. Заранее все делал, чтобы на этот раз окияна Ледовитого достичь. На дворе лейтенанта с утра до вечера народ местный толочся. Митенька всех выспрашивал — кто ведает древний путь кочей хлебных на Туруханск? И все записывал... Был он счастлив в службе своей и Афанасию Курову говорил:

— Моей особе, как никому, повезло. Я здесь сам себе голова, что хочу, то и делаю... Сам себе начальник!

Но женской нежности Овцыну никак было не избежать. Посредь зимы, отвернув к стене надменное лицо свое, отдалась ему невеста царская — Катерина Долгорукая, роду знатного, древнебаярского... Отдалась ему без стыда, не по-девичьи, а со всем пылом женщины, уставшей ждать. С тех пор у них и повелось: любились они ночами острожными, и караульные про то знали. Но — молчали, ссыльных жалеючи, а Овцына уважючи. Воевода же Бобров был мужик понятливый и доброжелательный, он сам той любви потакал.

— Кровь молодая, — рассуждал. — Она играет, и вы играйте... В эдаком-то раю, каков наш, иного путного дела и не придумаешь!

И куда бы теперь ни пошел Овцын, всюду Катька за ним тянулась. Он к атаману Яшке Лихачеву с инструкцией о розыске пути — она тоже придет и ту инструкцию от начала до конца прослушает, ни бельмеса не поняв в ней. А то, бывало, возьмет Овцын брата ее, князя Ивана, и ударится во все тяжкие для гульбы — к подъячему Осипу Тишину, а княжна — за ним притащится. Сядет на лавке в уголке избы, посматривает оттуда, блестя глазами, как пьет вино чернобровый сладкий любовник...

Осип Тишин как-то сказал ей, сильно охмеленный:

— Княжна, почто ты меня не поцелуешь? Нешто гордыню свою не переломишь? Лейтенанта, значит, целовать можно. А меня, выходит, и не надобно?

Овцын крепко (во весь мах) треснул подъячего в скулу:

— Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами... Понял?

— Вразумил ты меня, лейтенант... Я многое понимаю!

Так текли дни в Березове — на одном из концов Сибири.

Здесь пока все было в полном порядке.

Глава шестая

Иначе текли дни в Нерчинске — на другом конце Сибири, и здесь испокон веку не все было в порядке... Владыкой здесь служил рьяный патриот — Алексей Петрович Жолобов.

Сегодня с утра раннего был он в настроении недобром. Свинцово-серебряный завод Нерчинский (единный на всю восточную Сибирь) из Петербурга прикрыть хотели. А — почему?.. Да потому, что пока свинец из Нерчинска везут, он с каждой верстой дорожать начинает. И чем ближе к Москве — тем дороже свинец становится. Это же понятно: сама дорога обходится недешево! И когда свинец доедет от рудников до Москвы, то цена ему за один пуд — 2 рубля 71 копейка. Иноземный же свинец завозят в Россию из Европы по иной цене — в 1 рубль и 10 копеек за пуд...

— Неужто не понять дикарям столичным, — бранился Жолобов, — что Европа-то, задерись она, намного ближе к Москве, нежели Нерчинск... Но Нерчинск-то — н а ш город, и свинец тут нашенький! Русскому свинцу и предпочтение отдать надобно...

Секретарю канцеляции своей Жолобов в лоб плюнул:

— Иди, иди отседова. Видеть рожи твоей не могу. И просителей до меня не допущай. Я ныне злой и кого хошь палкой прибью...

Только он так распорядился, как двери — настезь:

— Слово и дело! Губернатор, клади шпагу свою на стол...

Секретарь в калачик свернулся, юркнул вбок, только хвост его и видели. А Жолобов кулаками двумя об стол трахнул и сказал:

— А ну! Коли такие смелые, так повторите...

Три офицера в дверях повторили приказ об его аресте.

Жолобов ботфортом треснул в окошко, чтобы в тайгу выскочить. Но его сзади схватили. Тогда он стол перед собою обрушил, тем самым офицеров напугав. А сам — шпагу успел достать.

— Слово и дело вам легко кричать. Но я не дамся!

Скрестились клинки. Три против одного. Лязг, дзень, зинь...

Алексей Петрович уже немолод, но одного офицера шпагой своей так и всунул за печку... Брызнула кровь!

— Не вкусно? — рычал Жолобов, сражаясь умело рукою сильной. — А ты меня добудь в бою... добудь... добудь!

Блеско и тонко звенели клинки. Кого-то еще рубанул сплеча.

Длинною полосой тянулась кровь вдоль половицы грязной...

Зверяя от крови, насмерть бился неустрашимый губернатор нерчинский — патриот и рачитель о нуждах отечественных:

— Сопляки ишо! Я и не таких груздей с пенька сшибал... На!

И точной эскападой он отбил второго офицера.

— Убью! — посулил третьему и последнему...

И убил бы (он таков). Но тут на крики раненых сбежались солдаты. В грудь губернатора частоколом уперлись ржавые багинеты, и тогда Жолобов понял, что не уйти.

Тычком вонзил он шпагу в лужу крови на полу.

— Ваша взяла... — сказал, сипло дыша.

Жолобова связали, и солдаты его на себя, будто бревно, взвалили. Столбиком, ногами вперед, через двери губернатора пронесли. И на улице в санки бросили. Прощай, прощай, славный град Нерчинск! Прости меня и ты, страна Даурия... увозят меня далеко, за делом нехорошим по «слову и делу» государеву.

— Прощай, каторга моя! — кричал губернатор из санок.

— Прости и нас, Петрович! — отвечали ему каторжные...

Долго везли его спеленатым. И доставили в Екатеринбург.

Увидел он над собой Татищева — генерал-бергмейстера.

— А-а, Василь Никитич, мурло твое хамское! — сказал ему Жолобов. — Я-то, старый дурак, думал, что граф Бирен меня забирает. А вышло, что по шее моей природный боярин плачется... Иди ко мне, Никитич... нагнись ближе: я тебе тайное из тайных объявлю.

Татищев нагнулся над ним, а Жолобов его зубами за ухо рванул. Стали его тут бить. И били, пока он не затих. Даже дергаться перестал...

— В узилище его! — велел Татищев. — Да от Егорки Столетова подальше, чтобы не снюхались... Будем вести розыск исправно!

Ночью в камору к Жолобову кто-то проник тихой мышкой:

— Алексей Петрович, это я... узнаешь ли с голоса?

— Не! Назовись, кто ты?

— Хрущов, Андрей Федоров я... экипажмейстер флотский, а ныне при горных заводах состою. Помнишь ли ты меня по Питеру?

— Ну здравствуй, Андрюшка... Ты чего явился?

— Помочь тебе желаю.

— Помоги... Эвон цепь на мне. Сумеешь выдернуть?

Хрущов в потемках нашупал тяжкую цепь:

— Нет, не могу. Татищев — зверь, спасайся от него. Может, повезет тебе, так в Питерсбург отвезут.

— Чудак ты, Андрюшка: у меня в столице иной враг — Бирен!

— Однако там и друзья сыщутся... хотя бы Волынский.

— Брось пустое молоть, — отвечал Жолобов, ворочаясь на соломе и цепью громыхая. — Волынский такой же погубитель, как и все. Мы себя ценить не умеем. И не приучены к этому. Эвон немцы! Задень одного — десяток сбежится, и тебя заклюют. А у нас так: бей своих, чтобы чужие пугались...

.....
Татищев уже всю трепал Столетова.

— Чего ради, — вопрошал строго, — в день тезоименитства государыни нашей матушки Анны Иоанновны ты в церкви не бывал?

— Пьян был, — винился Егорка.

Татищев наступал на поэта неумолимо, как рок, предварительно как следует материалы к следствию изучив и подготовив.

— Еще пункт! Когда ездил ты вино пить к крестьянину Ваньке Патрину, были там подьячие Ковригин да Сургутский, обче с комиссаром Бурцевым, и ты при всех власть божию лалял похабно и кричал зазорно, что, мол, время ныне худое настало, все от двора императрицы обижены пребывают, а боле всех винил графа Бирена. Вот тепер ты и скажи нам: кто тебе давал право людей, выше тебя стоящих, хулить?

— Прав своих от рожденья не ведаю, — отвечал на это поэт...

Егорка Столетов героем не был: всех, кого знал, попутал в оговорах сбивчивых. Длинной килой потянулся перед Татищевым список его знакомцев, пьяниц-сопитух, сородичей, друзей и прочего люда. Даже сестру родную, Марфу Нестерову, оговорил. Татищев тут же писал в Петербург, что мужа Марфы, мундшенка Нестерова, следует от вина царицы отставить, ибо... опасен!!!

Егорка просил, чтобы ему бумаги и чернил дали.

— На што тебе? — спросил Татищев. — Стихи писать?

— Буду проект писать. О торговле с китайцами. Я все продумал. Государыня от меня, ежели не казнит, будет доходу иметь в сто тыщ ежегодно. Дозвольте проектец выгодный сочинить?..

Стихи он писать умел, а вот на проекты оказался головою слаб. Наплел разной чепухи от страха, будто надобно табак продавать листами, не кроша их, а лошадей из Европы гнать прямо в Пекин и там продавать... Татищев от такой «изобретательности» поэта даже затосковал. Скоро пытошные избы были отстроены. Теперь от «слова» можно было к «делу» переходить: от допросов — к пыткам! Егорка Столетов трясся в ужасе пред будущим, и Татищев трясучку его приметил. А потому священнику, который перед пытками собирался Столетова исповедовать, он наказал:

— Что наговорит пред Богом — ты мне донеси словесно.

Поп даже на колени упал:

— Не могу! Тайна исповеди пред Богом сущим нерушима...

Татищев ботфортом ему все лицо в кровь разбил:

— Я тебе здесь и Синод, и владыка, и Бог твой!

Столетов на «виске» пробыл всего полчаса. За это время было дано ему сорок ударов. Из воплей поэта запечатлелись признания откровенные и ужасающие... Вот что выкрикивал Егорка:

«...фельдмаршал Долгорукий — главная матка бунта...»

«...а Ванька Балакирев цесаревну Лизку в царицы прочит...»

«...Елагин много говаривал: мол, все цари передохнут...»

«...у присяги я тоже не бывал — с презлобства...»

«...Елизавета сказывала: народ наш душу чертям продал...»

«...Михайла Белосельский с Дикою герцогиней плотски жил...»

«...царица сама дивилась, что народ покорен и бунта нет...»

«...газетеры в Европе скорую революцию нам пророчат...»

Изрыгнув с дыбы эти крамольные признания, Егорка взмолился:
— Ой, снимите меня... сил не стало... помираю!

Страшен был для Егорки Татищев. Но еще страшнее казался теперь Егорка самому Татищеву, который и не гадал, что дело это потянет столько имен, уйдет корнями в глубь императорской фамилии — с ее извечными сварами и раздорами из-за престолонаследия. Не только цесаревну Елизавету помянул Егорка в допросах, как претендентку на престол русский. Всплыло имя и «кильского ребенка», принца Голштинского, рожденного от Анны Петровны, дочери Петра I, и тоже имеющего права на престол... Татищев все больше погрязал в сыске и сам пугался. С допросов людей во всей яви проступала незаконность пребывания Анны Иоанновны на престоле, — Елизавета, вот кому сидеть надо на троне!

Татищев сам на себя беду накликал. Его ли это дело — людей пытать? Его дело — заводы строить, руды изыскивать. А он вместо этого столь загорелся инквизицией, что только огнем пытошным и дышал. Грозный Ушаков в столице не терпел, чтобы у него хлеб родной отнимали. Ушаков в Екатеринбург такое письмо прислал, что Татищев в тот же день избу для пыток ломать стал. Узников всех срочно в Тайную розыскных дел канцелярию отправил...

Жолобов на допросах, сколько его ни пытали, ничего не сказал. Зато на прощание он перед Татищевым высказался:

— Жаль, что я ранее такую гниду, как ты, не зашиб в лесу темном. Я тля махонька, есть пошире меня телята... Не думай, что своим боярством спасешься. Не рой могилу другим — сам в эту яму свалишься!

— Ах, Петрович, Петрович, — укорил его Татищев, — хоть бы в разлуку вечную ты мне словечко сказал хорошее...

— Пожалуйста! Чтоб ты сдох, собака паршивая. Бояр давить надо, от них Руси плохо... Не спасешься ты, других погубливая. Погоди, и тебя затравят. Вот на том свете мы тогда встретимся и рассчитаемся за все сразу — головешками с искрами да смолой кипящей...

Увезли их всех. Кляпы в рот забили, чтобы не болтали лишку, и увезли — к Ушакову. Татищев опять за горные дела взялся. Думал он, как бы поскорее гору железную Благодать для нужд российских освоить... Василий Никитич был велик и благороден как муж ученый, когда науками и промыслами занимался. И был он последним негодяем, когда, от наук отвратясь, желал двору услужить в целях рабских, холуйских, для себя выгодных...

Татищев сейчас частных горнозаводчиков трепал без жалости: требовал от них, чтобы дороги в Сибири строили, на реках пристани ставили. Особенно Демидовым от него доставалось. Татищев у них весь Алтай в казну отбирал. Никитич на химических опытах научно доказал, что в руде алтайской немало серебра имеется, и то серебро Демидовы от государства утаивали. Они, хитроумцы, так делали: на Кольванском заводе руду сплавляли в «роштейнт» (получалась черная медь), а для выделения серебра отвозили сплав на завод Тагильский. Там, на Тагиле, у них были печи для рафинирования меди. И там — по слухам! — они с в о ю монету тайно чеканили. Поймать их никак нельзя. Как только досмотрщики приедут, они мастерскую вместе с рабочими водой из озера затопляют. Уедет ревизия — воду откачают, мертвецов вынут, и опять пошли монету шлепать...

На Благодати уже закладывались первые домны, первые лопаты железняка уже были сброшены с горы вниз, когда на Урал прибыл изящный саксонец Курт фон Шемберг:

— Меня прислал граф Бирен.

Бирен с нетерпением ждал гонца из Екатеринбурга, и вот он наконец прибыл. Шемберг в письме сообщал его сиятельству, что отныне граф Бирен станет самым богатым человеком в Европе и никто уже не сможет сравниться с его финансовым могуществом, ибо источник богатства неисчерпаем... Обер-камергер усмехнулся:

— Трутти-фрутти... Где же оно, это богатство?

Гонец снял со своей спины торбу, бросил ее на стол перед графом. В мешке что-то тяжело стукнулось. Бирен шагнул к столу, и тут случилось чудо. Шпага графа — сама по себе! — задралась из-под кафтана, стала тянуться лезвием своим к мешку. Чернильный прибор поехал по столу, будто живой, и тоже прилип к мешку.

Пальцы Бирена, усеянные престнями, знобко дрожали.

— Что это? — воскликнул он в недоумении.

В мешке с Урала лежали куски породы магнитного железняка.

— И много, — спросил граф, — у меня такого чуда?

— Ц е л а я г о р а по названью Благодать...

— Боже! Где же я достану денег, чтобы купить ее?

Анна Иоанновна велела деньги для графа из казны отсчитать.

— Разбогатеешь — отдашь, — сказала она фавориту...

Напрасно из Сибири доносился ропот Татищева.

— Сообщите этому воришке, — разгневался Бирен, — что длинные моих рук вполне хватит, дабы с берегов Невы дотянуться до его глотки в Сибири...

Бирен теперь раскинулся широко — мимо него ничто не проходило. Татищев сочинил «Горный устав», и устав этот попал к Бирену. Граф его не утвердил, чтобы Татищеву тошно стало...

— Вообще-то русских очень много, но они слабая нация, — сказал Бирен фактору Либману. — Их можно разбивать поодиночке в полной уверенности, что, пока бьешь одного, другие не вступятся на его защиту... Они, как бараны, ждут своей очереди!

За будущее Бирен теперь был спокоен: по подсчетам Шемберга, гора Благодать обеспечит потомство графа вплоть до десятого колена. Можно жить, ни о чем не думая, если есть такая Анна, которая в переводе с греческого означает — благодать!..

Глава седьмая

Ночь была над Уфой — перепрелая, душная. Окно в избе перед спальем открыли. Хорошо и вкусно пахло от казачьих хлебов навозцем. Кирилов лежал на полатах с женою, добротной супружницей своей, на печи примостился сынок их — Петенька.

— Батюшка, — спросила жена, — почто не спишь, а маешься?

— Ульяны Петровны, — отвечал ей Кирилов, — мне сегодня от ханов степных взятка была предложена.

— Много ль? — оживилась жена, светлея лицом в потемках.

— А такая, что и на возу не увезем...

— За што ж тебе, батюшка, милость така от ханов выпала?

— А за то, мать моя, чтобы я город Оренбург в месте намеченном не фундавал. И вот я не сплю, размышляя. Коли ханам степным Оренбург на сем месте неудобен кажется, знать, именно там город ставить и надобно для пользы русской... А теперь — спи!

После молебна тронулись. Пятнадцать маршевых рот взяли шаг. В разливы трав поскакали казаки, мещеряки и башкиры.

Кирилов шел в поход, окруженный купцами индийскими и ташкентскими. Ботаник Гейнцельман в котомку травы редкие собирал;

ведал он историю древнюю, географию мира, геральдику, юриспруденцию — собеседник занятный. А живописец Джон Кассель умудрялся из седла шаткого виды разные в альбом зарисовывать.

От рудознатцев Кирилов получал известия радостные:

— Нашли соль и яшму... медь и порфир... серебро, мрамор!

Кирилов, словно кот на сметану, глаза в удовольствии жмурил: «Бывать России-красавице увешанной камнями драгоценными!» Мамет Тевкелев, мурза в чине полковничьем, скакуна шпорами истерзал, холмы обскакивая. Ногайкой — взлет — убивал лис и зайцев безжалостно. Вечером караван экспедиции нагнал казак яицкий — иссечен саблями, мотало его в седле, как пьяного, борода вся в крови.

— Башкирцы напали! — орал. — Людей побили, вozy пограбили!

Побитых захоронили, а вozy с припасами так и сгнули в степи. Ночью, сидя у костерка, Кирилов отписывал в Петербург, чтобы там не пугались. Зло башкирское он пригладил, сколько мог, для выгод будущих. А то ведь (он знал) в столице народишко трусоват: велят оглобли ему обратно ворочать, тогда — прощай всё... Ехали далее. Иногда навевывались к нему послы башкирские и киргизские. Просили города не строить, иначе бунт учинен будет. И запели над головами первые стрелы пернатые, запылали по холмам костры сигнальные — враждебные. По ночам кто-то, тяжкий реющий, словно демон, проскакивал мимо лагеря, сгнув стремительно — в топоте, в вое, в ржанье...

— Не бойсь! — говорил Кирилов. — Напужать нас желают.

Провиант кончился. Шли голодные. На ночевках окружали себя кострами, глядяваясь во тьму. Одни лишь казаки, ко всему привычные, сигали во мрак и возвращались под утро с бурдюками, полными башкирской бузы — пьяной и резкой; подвыпив, казаки беззлбно «бузили». В лесах почасту встречали бортников; боясь множества всадников, они быстро, как белки, залезали на деревья, скрываясь в густой листве, где тяжело и медвяно гудели пчелиные дупла. Иногда же отряд вступал на обширные луговые поляны, а там, в зное сладком, томились средь душистых трав долбленные колоды ульев; старики и пасечники в белых рубахах (очень похожие на русских) пластали ножами зыбкий и яркий мед. Кирилов не обижал людей промышленных, всех бортников и пасечников одаривал от души.

Достигли яма Стерлитамакского: сельцо убогонькое, но зато на диво живописно глядится в речные заводы, — от Стерлитамака уже повеяло жаром степным. Из пещерных дыр рвался воздух — то горячий, то лдяный. Ржали кони, гарцуя в робости. За сосновыми пере-

лесками плеснуло в глаза путникам зернь-песками, черными буграми распухали под ветром кочевые юрты. Когда же подошли ближе — ни юрт, ни кочевников: снялись все разом и ушли стремглав, пришельцев с севера убоясь... В последний раз брызнуло ярким цветом из зелени, и потекла навстречь песчаная желть.

А в этой желти блеснули воды Орские — конец пути.

Кирилов устало свалился из седла на землю. Шагнул к реке, камыши раздвигая. До чего же быстро текли воды! Виднелось дно чистенькое. На глубине, будто острые мечи, зигзагами метались темные рыбины. Нагнулся статский советник и зачерпнул воды ладонью, опробуя ее. Орская вода имела привкус горечи, едва внятной. Но пить ее можно!

— Компанент разбить тута, — повелел Кирилов. — Оренбургу стоять на сем месте. И с нею более никуда не стронемся...

Дикие тарпаны мчались, еще не ведая узды человека, прямо через лагерь. Били копытом людей, и кроваво светился их глаз... Крепость закладывали в девять бастионов, а при них — цитадель малая. Избы приказные. Изба пробирная, где руды химически изучать. Гарнизон и артиллерия вошли в крепость Оренбурга, как входят в дом, чинно и благолепно. Трижды, уставясь в марево южных стран, лупанули в небо из пушек (безъядерно), салютуя новому русскому городу, — городу в Н о в о й Р о с с и и!

Из-за гор уже понаехали богатые башкиры и киргизы, понаставили вокруг кибиток, долго издали присматривались они к быту крепости. Явились до Кирилова и, низко кланяясь, благодарили за постройку города.

— Теперь, — говорили ханы Кирилову, — ты уходи отсюда, здесь мы жить станем. А царице поклон скажи... молодец баба-царь!

Кирилов на это ханам так отвечал:

— Не за тем пришли, чтобы, город основав, уйти.

— Тогда с четырех дорог войною пойдем... Це-це-це!

— Я с миром прибыл сюда. Вместе с вами в мире жить будем.

— За миром с пушкой не ходят. А ты пушку привез...

— Пушка зверь такой: ты ее не дразни, и она тебя не тронет.

О просвещении и благополучии края радея, Кирилов надеялся, что и помощники ему таковы же станутся. Однако не так: толмач-полковник Мамет Тевкелев, живя побытом грабительским, хватал старейшин башкирских. Кирилов ласкою привлекал калмыков, киргизов и башкир: зазовет к себе, угощает и слова не скажет, когда старейшины со стола его все ложки, тарелки и бутылки с собой унесут.

Чего с них взять-то? Посуда — дело наживное, тарелки с вилками — тьфу! Они ведь не дороже Новой России. Но великая трагедия жизни для Кирилова уже определилась...

— Гей, гей, гей! — прокричала в Петербурге царица, трижды хлопнув в ладоши. — Человек мне потребен бывалый, крови людской не боящийся, дабы башкирцев усмирить... Кто годен?

Александр Иванович Румянцев — после того как доказал императрице, что финансов в России отродясь не бывало, — прозябал в казанских деревнишках (в ссылке). Хорошо хоть, что из-под топора выскочил. Ходил он теперь в зипуне, отрастил бородину. Косил с мужиками сено, в церквушке бедной подпевал причту баском генеральским... Было ему невесело. С женою не имел доброй жизни — от распутства ее позорного, а сын Румянцева — Петр* вдали от отца созрел. И часто глядел опальный генерал на дорогу, что терялась за лесами, а за лесами — Казань. Оттуда, из-за леса, можно было всякого ждать. Норов царицы тягостен и подозрителен: могут потихоньку удавить и в деревне!

Утром генерала разбудили — кто-то скачет со стороны леса.

Встал. Молитву скорую сотворил. Чарку водки принял «стомаху ради». Примчался курьер, и Румянцев его принял в избе.

— Откель? — спросил, весь в суровости озлобленной.

— От матушки-осударыни ея величества Анны кроткия.

— Та-а-ак, — задумался Румянцев и шомполом коротким туго забил в пистолет пулю; оружие возле локтя придержал, а пакет от царицы принял. — Разумение мое таково, — сказал. — Коли из столицы меня для худого ищут, так я вот... сразу же пулю в лоб себе запущаю. Ну а коли милость... что ж, еще послужу!

Анна Иоанновна сообщала указ сенатский: ехать ему в земли Башкирские, порядок в тех краях навесь, башкир и киргизов отечески вразумлять, но, коли в разуме не явятся, тогда поступать пржежестоко, крови не бояся... Румянцев слуг позвал:

— Стриги бороду мне под корень... Бриться! Баню топить. Мундир давай. Лошадей закладывай. Еду!..

Дорога дальняя, и, пока он ехал, Кирилов времени даром не терял. И другим житья спокойного не давал. У него в экспедиции все трудилось. Геодезисты край исходили, по картам его разнося; плавали по рекам, пристани намечая. Уже готовилась первая карта земель

* Будущий знаменитый полководец — граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796). (Здесь и далее примеч. автора.)

Башкирских, а карта — суть основа всего. Виделись уже в будущем заводы великие, рудники медные и шахты разные. Гейнцельман открывал не виданные на Руси травы, копал древние курганы и могильники; живописец Джон Кассель (человек по молодости азартный) в такую глушь забирался, где с него, с живого, чуть шкуру однажды не спустили. А другом верным Кирилову стал бухгалтер — Петр Рычков, безвестный паренек из Вологды, где набрался ума-разума от пленных шведов, и был Рычков до всего жаден, до всего охоч.

— Запоминай, Петруша, что деется, — советовал ему Кирилов. — Может, на старости лет, когда меня не будет, сядешь историю писать оренбургскую... От этой крепостцы Россия и дале пойдет, приводя народы здешние к повиновению. От Оренбурга нашего уже сейчас надо бы идти дальше... до Ташкента! до Туркестана!

А бунтующие орды уже осаждали Мензелинск, многие города разорили; в Уфимском воеводстве пожгли и пограбили деревни мещеряков и тех башкир, которые бунтовать противу России не желали. Под осень Кирилов выступил с отрядом из Оренбурга на Уфу, и по дороге им пришлось биться насмерть, чтобы живыми выбраться. В тучах пыли оседали кони, ржали прямо в лицо, и под пулями солдат, рея халатами, тупо бились головами в землю башкирские всадники... До Уфы он прошел, но каково-то теперь гарнизону зимовать в Оренбурге? Да, хорошо было мечтать над картами в кабинетах петербургских, и совсем не то получалось, когда ландкарта обрела суть лицемерия и ощущалась под ногами как земля Новой России... Книжки, атласы, глобусы и астролябии — все это осталось валяться в обозах, а перед наукою привозною пошли в авангарде пушки, конница и пехота. Татищев донимал его доносами, вредил посильно, а тут и без того сердце болело...

Опять пошла горлом кровь!

Румянцев прибыл в Мензелинск и застрял там надолго. На постоялом дворе ел кашу со шкварками, глядел на всех подозрительно. Кирилов при свидании с генералом признался:

— Ой, и горько же мне: не успею обрести, уже кровью обретенное обмываем... Александр Иваныч, ты жалость к людям имей!

Румянцев очень не любил, когда его учат.

— Велено мне тебя под своим началом иметь, — сказал он и письмо Анны Иоанновны показал Кирилову. — В мои воинские дела ты не лезь. Ты вот в обозе своем врачевателя зубов для башкир притащил. А я твоим башкирам последние зубы выбью! Государыня ко мне ныне опять милостива...

Румянцев был жесток — восстание топил в крови. Через холмы переползали пушки, и гром их разрушал последние мирные надежды.

Кирилов, в коляску залезая, сказал Рычкову:

— Едем, счетовод мой... в Петербург! Жаловаться стану...

Бухгалтер отвез его к семье — в Самару. Ульяна Петровна, мужа завидев, руками всплеснула:

— Батька ты мой! Да, никак, убили тебя?

— Не, мать. Дай отлежаться. Ничего не сказывай мне...

Кирилова провели в дом, он пластом лег на лавку. Почтительный Рычков отирал с его лица чахоточный пот.

— Памятников себе не жду, — заговорил Кирилов. — Но вот подохну когда, останется после меня край великий, край богатейший... России старой — Россия новая!

— Да кому нужна эта сушь да жарынь дикая? — причитала жена. — Бросим все, Ванюшка, уедем... В садах-то на родине небось уже малина — во такая! Крыжовник хорош... Пожалей ты меня!

— Ду-ура, — отвечал ей Кирилов с надрывом. — Ты видишь только то, что сверху земли. А я под землю гляжу.

— Вот и закопают тебя... под землю-то! А обо мне-то подумал? Как я без тебя жить стану?

Летом этого года необозримая туча пыли, поднятой тысячами конских копыт, закрыла небо на юге России, и над степями Украины словно померкло солнце. Жутко стало... Это повалила напролом — через владенья русские! — крымская конница хана Каплан-Гирея.

Крымчаки шли на Кавказ лавиной, чтобы помочь султану Турции в его борьбе с персидским шахом Надиром. Законов для татар не существовало: конница хана топтала русские земли, татары безжалостно убивали и грабили всех встречных. Галдящие рынки Кафы и Бахчисарая снова наполнились толпами русских мужиков и баб, девок и детишек, которых татары быстро расторговали по миру...

— Матушка, — подсказал Остерман императрице, — вот тебе и п о в о д к войне, дабы наказать дерзких.

— Миних того и ждет. На сей же год поход свершим. Башкирский бунт некстати случился. А в год следующий учнем Крым воевать...

Звезда Марса разгоралась над Россией все ярче и ярче.

Глава восьмая

Все семейство Левенвольде — отравители; в роду их издревле знают секреты старинных ядов. Левенвольде могут убить соперника незаметно — ядом медленным, вводящим в слабость плотскую или

в безумие. Из рода в род они передают фамильные перстни, которым позавидовали бы и Борджиа... Из перстней тех можно просыпать яд в бокал, можно слегка уколоть или оцарапать врага, отчего он умрет неизбежно и таинственно.

Но вот Густав Левенвольде, заболев проказой, сам отравил себя, и эта смерть освободила многих... Стала свободна его жена, которая теперь будет любить другого. Он развязал руки Миниху, которого люто ненавидел, и теперь фельдмаршал избавился от своего злейшего врага. Левенвольде освободил и графа Бирена, который уже не станет терпеть соперника в делах альковных с императрицей — делах сердечных, ночных и тайных.

Но больше всех радовался смерти Левенвольде вельможа Артемий Петрович Волынский. Надеялся он занять его место при дворе — стать обер-шалмейстером, чтобы лошадьми царскими ведать. Но чин этот передали врагу его — князю Куракину, вечно пьяному. Волынского императрица утешила рангом обер-егермейстера, дабы он охотами ведал... «Ну что ж! Куракина надо раздавить!»

Еще в начале лета он получил от двора пакет с приглашением к театру. Из пакета выпал «перечень», который Волынский внимательно перечел, чтобы, на театр явясь, дураком перед другими не казаться и содержание пьесы заранее на зубок знать:

«ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕЯ ИНЪ ТЕРМЕДИИ»

Лауринда, молодая девица добрая породы, хотя вытъти за мужь за богатого молодца, сама будучи убога, намеряется то учинить с посадскимъ человекомъ... Видимо то имеетъ быть, какъ она в томъ поступала... Протчее все — критика (то есть охулка) характеровъ, которая имели любовники опытни».

Волынский кликнул своего дворецкого Кубанца:

— Кафтан мне бархата лилового... парик присыпь погуще. Перчатки, шпагу, трость... Лошадей закладывать!

.....

Для действия комедиантского была строена зала деревянная. По стенкам, вдоль залы, стояли недоросли из Кадетского корпуса. Императрица из буфета своего жаловала их напитками, «к прохладению служащими». Офицеров она к руке допускала; они за ее здоровье вкушали по бутылке вина виноградного и кричали «виват». Солдат же, охранявших Летний сад от простого народа, поили от казны пивом и водкой «в довольство». Пока вельможи собирались в театр, итальянцы

из-за кулис на все лады Анну Иоанновну восхваляли. Прелюдия сия называлась «соревнованием благонравия».

Волынского в театре Иогашка Эйхлер повстречал, шепнул:

— Ягужинский, кажись, из Берлина скоро зайвится. Ой, Петрович, гляди, как бы греха опять не было: генерал-прокурор горяч. Да и ты не холоден — шибути вас лбами!

Настроение у Волынского испортилось: друзей мало, а с приездом Пашки из Берлина врагов прибавится. Тут к Летнему саду еще одна карета подкатила. Но куда как пышнее кареты Волынского, вся позлащена, а спицы колес из чистого серебра. Выперся оттуда сморчок какой-то, весь в шелках, с лицом брюзги и обжоры. Пошагал среди вельмож, никому не кланяясь.

— Кто невежа сей? — спросил Волынский у Иогашки.

— Это кастрат Дреер, певун славный.

— Вот я палкой его! Почто наперед меня лезет?

— Сей каплун тыщу двести рублей берет из казны за арии...

Волынского даже замутило. У него в имениях 1600 крепостных мужиков, а он с них, сколь ни тужится, 400 рублей в год содрать не может... И такие деньги летят на арии кастрата!

— Каплунов всяких, — сказал обидчиво, — терплю только на столе своем, чтобы под соусом в сухарях подавали...

Летний дворец был иллюминирован, светился — как китайский фонарь, весь в гуще боскетов еловых. Дворец-то деревянный, но выкрашен под мрамор и оттого издали великолепен казался. Еще недавно здесь Нева плескалась, но берег — стараниями Еропкина и Миниха — забыли. Еропкин тоже был здесь, прохаживался под руку с адмиралом Соймоновым, который волком глядел в сторону Волынского... «Еще один враг! И рядом с другом», — мрачно размышлял Волынский. А из грота, выложенного туфом, звенели фонтаны. В водяных струях, лампонами подсвеченных, сверкали заморские раковины. Толченное стекло, закрепленное в сводах, вспыхивало подобно бриллиантам. На морских конях куда-то по своим делам ехал Нептун с трезубцем; позолоченный живот Нептуна с толстым пупком обмывали невские воды. Вдоль парапета выстроились, как солдаты, «гениусы нужные» — Флоры, Мореплавания, Архитектуры, Фортуны и Терпсихоры. С птичьего двора кричали птицы диковинные, из-под куполов галерей тучами вырывались голуби... Таков был сад Летний при Анне Иоанновне.

Между тем девки неаполитанские и флоренские (любимицы Рейнгольда Левенвольде) пели неистово. Котурны их гремели, под потолки

сыпались трели. Вторили девкам нездешним голоса архиерейских певчих. В рясах и валенках стояли они за сценой, бася немилосердно. Каждый певчий изображал из себя добродетель — Смирение, Любовь, Благодарность и прочие невиданные в жизни штуки, какие только в театре и можно узреть. Волынский был от интермедии далек: встреча с Пашкой Ягужинским язвила сердце. И не шел из головы кастрат Дреер, такие деньги из казны шутя загребавший.

— Иогашка, а наши-то певчие за сколько спелись?

— Ну, рублев пять на всех им под конец дадут...

Неподалеку от персон важных сидел и пиит ТрEDIAковский.

— Чего этот губошлеп тут сидит? — снова спросил Волынский.

— По должности академической. Ныне ТрEDIAковский к переводам иностранным приставлен. Да и патрон у него изрядный.

— Чей же он клеотур? — допытывался Волынский у Иогашки.

— Князя Александра Куракина, тот еще с Парижу патронствует.

— Князя-то, — отвечал Волынский, подумав, — мне бить и неудобно, кажись. Так я душу на ТрEDIAковском отведу.

— На что вам, сударь, бить поэта невинного?

— А так... Поэту больно будет, а патрону его кисло.

В театре, над рядами вельмож и дам, потянуло дымком.

— Никак горим? — принялся Волынский.

— Не, — утешил его Иогашка. — Это кой день леса полыхают.

— Как бы столица не спеклась в яичко от пожаров тех.

— Солдаты тушат. Мох горит, научно торфом прозываемый...

В перерыве между действиями выступал аглицкий мастер позитуры, без ног уродившийся. И этот убогонький, без ног будучи, вместо того чтобы скромно милостыньку просить, изволил на заднице своей плясать танцы потешные. А императрица велела придворным его деньгами одаривать. Черепеха-Черкасский целый кошелек золота монстру кинул. Волынский же при этом прочь удалился. Чтобы не платить. Ибо денег лишних не имел. Ему все эти позитуры на ягодицах не показались изрядными. Из театра он удалился...

За ягдтгартемом (где косуль да оленей содержали, чтобы Анна Иоанновна в убийстве нужды не испытывала) он Балакирева встретил.

— Чего ты скушный такой, Емельяныч?

Балакирев пожаловался, что живот у него что-то схватывает. Да в нужник вельможный его не пускают солдаты.

— Ну ладно. А живешь-то как?

— Языком кормлюсь. А расплавиваюсь боками.

— Не гневи бога, — отвечал Волынский, удаляясь. — Зато у тебя кусок хлеба верный. А вот у нас... эхма!

Иван Емельянович, животом страдая, заволокился в Красный сад, где в теплицах растили клубнику для царицы. Лето жаркое, наверно, клубника скоро поспеет. В кустиках прилег Балакирев, о жизни своей рассуждая. «Хорошо бы, — думал, — повеситься мне. Вот хохоту-то было бы!..» Живот болел; шут вспоминал, что съел сегодня: полкалачика с утра, две оплеухи от Бирена, рыбкой на кухне угостили, Левенвольде в нос ему дал, после царицы суп из раков остался недоеден — так он доел, после чего и палок попробовал...

— Ла-ла-ла-ла, — слышалось в саду императорском.

Средь огородных грядок появился Рейнгольд Левенвольде, обер-гофмаршал. Балакирев из кустов следил за ним. «Вот человек: не жнет, не пашет... везуч, проклятый! Даже невесту сыскал такую, что в России одна-единица — Варька Черкасская, богаче ее нету...»

— Ла-ла-ла... тирли-тирли, — напевал Левенвольде.

Нагнулся он к земле, что-то заметив. Потом шляпу снял и шляпою своею что-то бережно укрыл на грядках. Затем опрометью убежал, резвый и довольный... Балакирев из кустов вылез, прошел на огород. И шляпу Левенвольде поднял. А под нею — вкусно наливалась первая клубничка. Куда он побежал, этот баловень судьбы, шут смекнул сразу. Конечно, понесся за Наташкой Лопухиной, любовницей своей, чтобы угостить ее первой в этом году клубничкой.

Балакирев огляделся: никого не было.

— Что ж, пригласи, — сказал. — Угости ее ягодкой сладкой.

И, нагадив поверх клубнички, он все добро свое шляпою закрыл. Залез обратно в кусты, затаился... Шаги, чу! Ах, мать моя! Рейнгольд Левенвольде вел в огород царицы не Наташку-шлюху, а невесту свою — княжну Варвару Черкасскую, дочь кабинет-министра. Галантно сопровождал ее до грядок и руку к сердцу прижал:

— Вы — божество мое! Любовь моя безмерна к вам, и вот ей доказательство прямое... Вы только поднимите шляпу, чтоб до конца прочувствовать, сколь велико мое к вам чувство нежное.

Черкасская ту шляпу резво подняла.

— Ах, негодяй! — воскликнула она.

Цепляясь широким платьем за кусты шиповника, мимо Балакирева пробежала разгневанная Варька; кольцо обручальное она сорвала с пальца и швырнула — под ноги жениху:

— Презренны вы... Прощайте навсегда!

Со стороны театра доносился божественный голос наемной певицы Анжелики Казанова, которому из-за кулис вторили могучие русские басы — Смирение, Любовь, Благодарность и прочие.

Театральное зрелище заканчивалось. Среди зелени садов, потемневших к вечеру, затихали последние аккорды чужеземной оперы... Своей оперы Россия еще не знала — русским людям было тогда не до опер!

Корабль пришел в Петербург издалека, и в шорохе упали паруса, выбеленные солнцем, продутые ветрами странствий. В пути за этим кораблем гнались алжирские скампаеви, не раз трещали боевые фальконеты, пушки осыпали пиратов ржавыми гвоздями, которые долго лежали в ведрах с крысиной кровью, уже загнившей (раны от такой отравленной картечи долго не заживали)...

Конец пути — вот он, зеленый бережок. Устал корабль, но еще больше устали люди, плывшие на нем. Искатели судьбы! Бродяги и артисты, наемные убийцы и женщины продажные — все пламенно взирали на русскую столицу, богатства, славы и любви от нее вожделя. Возле таможни царской затих корабль, и пассажиры робко ступили на топкий берег, полого до воды сбегавший. Крутились крылья мельниц за домами Двенадцати коллегий, а беленькие козы, тихо бляя, паслись на травке.

Все с корабля уже сошли. Одни с багажом, другие с жадными, но пустыми руками. Смеркалось над Невой, но день не угасал. Матросы, обняв один другого, уходили вдаль, горланя перед пьянкой неизбежной. Подумать только: еще вчера хлестало море прямо в лица пеной, еще вчера в потемках трюма гуляли бочки. А теперь паруса, свернутые в трубки, словно ковры, приникли к реям, и — тишина... Уверенно ступая, шхипер сошел на берег. В сиреновом свете белой ночи он разглядел фигуру одинокого пассажира, который смотрел на город, из воды, как сказка, выставший, а возле ног его шуршала скользкая осока.

— Синьор, а вы почему не ушли?

— Я не знаю, куда мне идти.

— И в России у вас нет даже знакомцев?

— Я никого не знаю здесь.

— Как можно! — возмутился шхипер. — На что вы надеялись, отплывая в Россию? К вам никто не подойдет, вы никому не нужны...

— Я надеялся только на свой гений, синьор шхипер.

— Гений — это дрянной товар... Сейчас я следую в остерию, чтобы напиться хуже разбойника. Ступайте же и вы за мною. Вам, может, повезет, и вы кого-либо встретите среди пьяниц!

В остерии путешественник присел на стул. Закрыв глаза, он стал прислушиваться... Вот немцы говорят, вот англичане, вот французы, гортанно и крикливо — это русские... И вдруг его как будто обожгло родным наречьем — итальянским! Вскочив, он подбежал к столу, за которым восседали два приличных господина в коротких паричках, каких богатые вельможи никогда не носят. Такие парики — на головах мастеровых.

— Синьоры, я прямо с корабля... Вы говорите языком моим же!

Господа в париках ремесленников привстали благородно:

— Я живописец и гравер — Филиппо Маттарнови.

— Я декоратор театральный — Бартоломео Тарсио...

От них он получил вина и сел меж ними. Высокий ростом, кости крепкой, с лицом приятным. Вина пригубив, он остатки его в ладони себе вылил и руки под столом ополоснул.

— Меня зовут, — он начал свой рассказ, — Франческо Арайя, я родом из Неаполя. Родители мои незнатны, но природа рассудила за благо наградить меня даром композиций музыкальных. Синьоры! Я удивлен, — воскликнул Арайя, — почему ваши лица остались каменны? Неужели слава обо мне еще не дошла до этих краев?

— Ты знаешь такого? — спросил Маттарнови у Тарсио.

— Увы, — вздохнул декоратор. — А ты?

— Впервые слышу, — отвечал гравер...

Франческо Арайя поникнул головой, большой и гордой.

— Пять лет назад, — продолжил он рассказ, — я поставил свою первую оперу «Berenice», а вслед за нею прозвучала на весь мир вторая — «Amor per regnante».

— Но... где они прозвучали? — спросили живописцы дружно.

Арайя улыбнулся: кажется, его принимают за мошенника.

— Синьоры! — выпрямился он. — Мои оперы впервые услышала Тоскана и... Р и м! Сам гордый Рим рукоплескал мне, а Тоскана носила меня на руках. Вы не поверите, синьоры, сколько у меня было любовных приключений из-за этой славы, которая подстерегала меня из-за угла, как убийца свою неосторожную жертву.

— Тоскана — это хорошо, — причмокнул Маттарнови.

— Рим — тоже неплохо, — добавил Тарсио. — А прекрасная Тоскана издавна славится своим очаровательным *bel canto*.

— Но сосна еще не рождает скрипки, — засмеялся Арайя. — Скрипку из сосны рождает труд. И я способен быть трудолюбивым, что для художника всегда составит половину гения... Итак, синьоры, я продолжаю о себе. Две оперы прошли с успехом, четыре женщины

вонзили стилеты в свои ревнивые сердца, не в силах перенести моей холодности. Но, славу принеся на легких крыльях, мне оперы мои в карман не нашвыряли денег. А я желаю золота, синьоры! Почему бы, решил я тогда, не попытаться мне счастья в стране ужасной, но в которой можно скорее обогатить себя, нежели в Тоскане или в Риме...

Художники заказали себе еще вина и угостили нувелиста.

— Мальчишка! — пыхтел Филиппо Маттарнови.

— О блудный сын! — вторил ему Бартоломео Тарсио.

— Вы не рукоплещете? — обомлел Арайя. — Вы... ругаете меня?

— Вернись на корабль и убирайся домой. Таких, как ты, здесь очень много. Бездарные глупцы бросают родину, дома, родителей, невест и, на золоте помешавшись, мчатся в Петербург..

— Я не бездарен! — вскинулся Арайя. — Бездарны все другие!

— Сядь, не хвались... Послушай нас, — сказали ему мастера. — Итальянская капелла еще поет здесь, это верно. Но звучат под этим небом ее последние вокализы. Иди сюда поближе, чурбан, мы скажем тебе правду... Здесь, при дворе царицы русской, монстров более всего жалуют. Вот ты и научись писать зубами. Огонь петролеума глотай. В кольцо скрутись иль воздух насыщай зловоньем — тогда ты станешь здесь в почете. Один лишь обер-гофмаршал Рейнгольд Левенвольде покровитель нашего пения. Но сама царица и фаворит ее, граф Бирен, обожают грубые шутки театра немецкого. Театра площадного! Чтобы пощечины! Чтобы драка до крови! Чтобы кувыркание непристойное без штанов... Тогда они довольны. Разве же эти грубые скоты поймут божественное очарование высокого *bel canto*?

— Плыви домой, — добавил Маттарнови в конце рассказа.

Франческо Арайя долго сидел над вином, почти ошалелый:

— Я проделал такой ужасный путь, чтобы достичь этой варварской страны... Почему вы сочли меня бездарностью? Перед вами — труженник, уверенный в своем гении... Я заставлю Россию прислушаться к моей музыке. Скажите: есть ли в этой дикой стране опера?

— Нет оперы. И долго еще не будет.

— Так я создам ее! Пусть я буду автором первой русской оперы. Не верю я, что Россия от моих услуг откажется...

— Пойми, растяпа, — ответил ему Маттарнови. — Россия никогда тебя не услышит. Россия будет петь свои песни, похожие на стон. Тебя может услышать не Россия, а только д в о р императрицы русской. Здесь — не Италия, песен твоих не станут петь на улицах. А при дворе с тебя потребуют... ты знаешь — чего?

— Не знаю, — отвечал Арайя.

— Им л е с т ь нужна. Хоралы и кантаты! Ты будешь погибать в презренном славословье, и музыка твоя умрет навеки там же, где и родится, — во внутренних покоях Анны Иоанновны...

Франческо Арайя наполнил чашку вином и высоко поднял ее.

— В таком случае, — сказал, — я остаюсь. Вы говорите — нужна им л е с т ь? О-о, знали б вы, мазильщики, сколь музыка моя подвижна. Писатель или живописец — они всегда несчастны. Они обязаны творить конкретно. Вот хорошо — вот плохо! Вот краска белая, вот — черная, синьоры... Совсем иное в живописи музыкальной. Влюбленный в женщину, в честь красоты ее создам я каватину. Я ночью пропою ее, безумно глядя в глаза возлюбленной, и будем знать об этом двое — она и я... Зато потом, — смеялся Франческо Арайя, — я эту каватину без стыда при дворе п р о д а м! Названье ж каватине дам такое: «Величье Анны, Паллады Севера», и купят дураки. Да, купят — за названье! Неплохо, а?.. Ха-ха! И мне отсыплют золота прещедро, поверив лишь в название мое. А мы с любимой будем тешиться над дурачеством людской, звоном золота себя улаждая.

— Он не дурак, — заметил Маттарнови декоратору и показал рукою на окно остерии, за которым совсем не было ночи. — Сейчас светло, — сказал художник. — По этой улице, что Невской першпективную зовется, ты следуй прямо от Невы. Там встретится тебе речонка, по названью Мойка, ты ее перейдешь и путь продолжишь. Когда увидишь лес вдаль и шлагбаум опущенный, здесь — городу конец. И будет течь река по имени Фонтанная. По берегу ее ты заверни налево. Увидишь вскоре дом, вернее же — услышишь пенье. Вот там, на Итальянской улице, живут артисты наши. Войди без хвастовства, будь вежлив и почтителен к кастратам славным... И помни, что судьбу свою решать всегда нужно не ночью, а лишь на рассвете!

Перекинув через плечо конец плаща, Франческо Арайя входил в столицу русскую, чтобы покорить ее. Не знал он тогда, одинокий пешеход на пустынной улице, что отныне вся жизнь его пройдет в этой полуночной стране, и здесь он станет счастлив, как творец.

Итак, дело за оперой. В это жуткое русское безголорье, где все сдавлено инквизицией, пусть ворвется и его музыка — легкая, игривая, сверкающая, как фейерверк! Она вспыхнет в узком и душном закуте царского двора, — и... там же угаснет.

Подумай, Франческо, еще не поздно: может, лучше вернуться на пристань, сесть на корабль и отплыть домой? Нет, Франческо Арайя останется в России, ибо он жаждет золота... Много золота!

Глава девятая

Князь Алексей Черкасский света белого неувидел от страха, когда узнал, что Варька кольцо обручальное Левенвольде вернула. Ссориться с Левенвольде очень опасно.

— Дура! — кричал кабинет-министр на дочку. — Ты же и себя и меня погубила. Сама ея величество тебя за обер-гофмаршала свата-ла... Да и кому ты нужна со своим рылом? Погляди на себя в зеркало: перестарок уже, двадцать четыре годочка прожила в девках.

Решил князь спастись от гнева Левенвольдова. Варьку спешно за рукоделье усадил, чтобы она горбатой Биренше туфли серебром вышила. Жену свою кабинет-министр заставил для самого Бирена жемчужные нашивки для постелей связать... Пугался князь.

— Может, — дочери говорил, — тебя и впрямь за Антиошку Кантемира выпустить? Пушай уж мамалыжник сей дохлый пользуется всем, что я накопил...

Варька капризничала, рыдая горестно:

— Не хочу за Антиошку! Не хочу за обер-гофмаршала... мне бы прыщика какого... хоть заваященького! Нешто не сыскать?

— Дождешься, что выдам тебя за истопника Ивашку Милютина, ныне он богат. Эвон какие милютинские ряды в Гостином Дворе возвел... Вот возьму и отдам ему тебя с потрохами!

Велел Черепаша-Черкасский дворне ружья готовить да голубей ловить для дочери. Желал он меткой стрельбой Варькиной умаслить гнев императрицы. И писал кабинет-министр об успехах дочери самой Анне Иоанновне в депешах курьезных: «Иное попадает княжна, иное кривенько. Садили голубя близ мишени, и стрелила в крыло, и голубь ходил на кривобок, а в другой раз совсем убила его...»

Анна Иоанновна в это лето увлеклась запусканьем змеев под небеса. Руки царицы, тетиву луков татарских рвавшие, удерживали змея любого, и плыли они над крышами столицы, драконами страшными разрисованные, пока не пропадали совсем в поднебесье.

— Ай да забавушка! — восклицала Анна, радуясь...

В городе же нельзя было уже окон открыть — петербуржцы задыхались от дыма, который наполнял столицу. Вокруг трещали леса в огне, выедало в пламени мхи. Ушаков рыскал по округе, выскивая поджигателей. Люди злоумышленные жгли и бояр на Москве; подозрительных бабок, к колдовству склонных, хватили здесь и там, обливали их смолою, сжигали на кострах публично, чтобы народ страхом проникся. Но это не помогало: две столицы полыхали из года в год. А бешеные собаки, вывалив из пастей сочные пенные языки,

носились по городам, кусая солдат караульных, детишек и проезжих. Однажды и во дворец к Анне Иоанновне ворвались два таких пса, вволю погрызли придворных. Леса вокруг Петербурга стали сводить под корень: чтобы пожаров не было, чтобы разбойным людям негде прятаться было. Всюду царили страх, неуютство, смятение...

Европейские газеты открыто печатали, что надо ждать смены правителя на престоле русском, а от народа русского — бунта кровавого. И все чаще в «курантах» иноземных мелькало имя отверженной и забитой при дворе цесаревны Елизаветы. А в народе русском постепенно складывалась вера, что только Елизавета Петровна, круглолицая плясунья, простоватая, рыжеволосая, смешливая, — только она, девка воистину русская, может дать облегченье всем людям. Но Елизавета пока сидела смиренхонько...

Волынский с калмыком своим, верным Кубанцем, поехал к себе на дачу по Петергофской дороге. День выпал жаркий, дымно оплывало над взморьем солнце. Словно челноки в машине ткацкой, ерзали по дороге императорской — туда и сюда — драгунские разъезды, дабы путников проезжих от разбоя случайного оберечь.

Не было таких мыслей, которые бы Артемий Петрович мог скрыть от своего дворецкого, и сейчас затужил доверительно:

— Дожили, чтоб оно все треснуло... По своей же земле русский дворянин не знает как живу-здорову проехать. Из народа-труженика мы народ в разбойника превратили. Да и сыскать как? По себе ведаю: когда мне худо, я бы первым кистень взял и пошел бы...

Вдруг со звоном вылетели стекла из окон. Карету вздыбило. С ее боков, хрустя, посыпался лак. Возок Волынского столкнулся со встречной каретой, сцепясь с нею осями колес; лошади с испугу занесли на обочины, вся упряжь сразу перепуталась. Артемий Петрович был на поступки скор — сразу палку схватил и стал бить кучера на чужих козлах. Бил всласть — он любил подраться.

И вдруг над ним раздался голос — властный, строжайший:

— Брось палку, Петрович... Твой кучер виноват более моего!

У Волынского даже руки повисли — трость выронил.

Из окошка взирал на него генерал-прокурор империи Ягужинский.

Долго молчали заклятые враги, один в карете сидя, другой посреди дороги стоя. Мотали лошади головами, грызли удила, а два дышла торчали над ними крестом, словно распятие. Затем граф Ягужинский не спеша из кареты выбрался, и Волынский сразу заметил, что

берлинское пиво не впрок пошло ему: постарел Пашка, сугорбился, в пальцах трясучка, ногу волочил, след на песке оставляя.

— Вот уж не ожидал, — сказал генерал-прокурор, — что первого тебя встречу, Петрович... Что скажешь утешного?

Отошли они подальше от людей челядных. А вот слов не было.

— Кто же замест тебя в Берлине послом русским остался?

— Посадили курляндца фон Браккеля, будто русского не нашли...

Говорят, — прищурился Ягужинский, — ты после смерти Головкина уцелился на его место в кабинет-министры попасть. А назначили-то меня... Верь, что чести этой не искал. Конъюнктур здешних, петербургских, из Берлина было не разгадать. Может, подскажешь?

— Охотно! — прорвало Волынского на искренность. — В берлоге кабинетной один медведь — Остерман, и то графу Бирену неугодно. Вот и везут второго — т е б я! Бирен надежду возымел, что ты зубы Остерману все выломаешь. Остерман же, напротив, уверен, что ты на Бирена ринешься с кулаками, как прежде бывало... Уж ты прости, что правда с языка сорвалась! Но, по примеру римскому, скоро мы все, яко Нероны, станем побоище гладиаторов наблюдать издали... Кто кого свалит и жив останется?

Высоко над ними, в дыму, свиристел крохотный жаворонок.

Ягужинский травинку сорвал, кинул ее губами бескровными.

— Худ боец из меня ныне... состарился. Коли на мне конъюнктуры строят, то битвы потешной не бывать. Умру я скоро, Петрович...

И так он это сказал, что Волынского даже передернуло.

— Не умирай ты, господи! — отвечал с надрывом (даже ласково). — Коли ты в Кабинете, так хоть двое русских противу одного немца. Умрешь ты, граф, и... не меня! Не меня изберут! Нет, станет два немца противу одного русского, да и тот русский — князь Черепаша-Черкасский, слова доброго не стоит.

Ягужинский на это смолчал. Похромал к своей карете.

— Петрович! — окликнул издали. — А это ведь ладно получилось, что я тебя раньше не повесил... Теперь т е б е шумы устраивать! Т е б е Остермана и Бирена сваливать!

Два дышла разъехались, распятие поломав, конюшие распутали упряжь, настегивая лошадей. Поехали. Один — в столицу, другой — на дачу... Кубанец искоса на господина своего посматривал:

— Чего сказал-то враг этот? Грозил? Али как?

— И не поймешь. Какой он теперь враг! Вроде бы и Пашка, а вроде бы и нет Пашки. Случилось ему в старости расслабиться духом... Самобытство свое потерял Ягужинский, и, чую, драки уже не будет.

Базиль, мыслю я так, что Пашка долго не протянет. И место его в Кабинете ея величества опять будет упалое. Нешто же и в этот раз не меня туда посадят?

Кучер нахлестнул лошадей. Волынский откинулся на валики пышных диванов, простеганных фиолетовым лионским бархатом.

— Я-то еще самобытен! — выкрикнул. — Мне теперича шумы устраивать! Я любому, кто на пути встанет, плотку зубами вырву...

Обер-прокурор Маслов теперь неслыханного требовал: персонам знатым указывать стал, какво им мужика беречь надобно. Пуще всего Маслов нападал на князя Черкасского, как на самого богатого помещика, и за это кабинет-министр дышал на Маслова злобой яростной, неистребимой...

— Да не грози мне, князь, — отвечал ему Маслов. — Я своей суровости к алчности вельможной не отменю. Мужик русский за рубеж утекает. Еще десяток таких лет, и Россия вовек потом не оправится. Мало вам, што ли, своих нищих? А вы, министры высокие, еще из Польши наших беглых крестьян воротить желаете...

Стоном выла земля русская, земля богатейшая, земля плодородная. Два года подряд, будто в наказание какое, побивало Русь по веснам заморозом нечаянным, потом жаром опалило нужду мужичью. Сгорало все на корню! И нужда подперла уже под кадык самый: на Пасху святую, когда бы жизни радоваться, маковой росинки в рот не попало. Вновь, словно саранча серая, нахлынули нищие на Москву и Петербург, от христорадцев не стало в городах спасения...

— В чем дело? — удивлялся Остерман в Кабинете. — Когда немец встречает добропорядочного нищего, он дает ему р а б о т у. Когда русский встречает лентяя-нищего, он дает ему м и л о с т ы н ю... Отсюда и явилось изобилие попрошак — от безделья!

А что мог сделать Маслов? Манна небесная на русский народ еще никогда сама не просыпалась. Единое дело провёл он — указ! Дабы земля дворянская впусте не лежала, пускай мужик на ней сеется, в свои закрома зерно сгребет. И указно повелел обер-прокурор помещикам исполнить все это «под страхом жесточайшего истязания и конечного разорения...»

— Как они с мужиками, так и я с ними буду...

Дунька, умница его рябая, на колени пред мужем пала.

— Батька мой родной, — заплакала, трясясь, — отступись ты с миром... Экие персоны противу тебя стенкою встали! Неужто, себя и меня не жалея, проломишь ты их слабым мненьем своим?

— Лоб себе расшибу, — отвечал Маслов, — но не отступлюсь...

На этот раз свидание его с императрицей было долгим и мучительным. Бирен тоже при этом присутствовал, но больше помалкивал. Анна Иоанновна завела речь о войне близкой, войне разорительной, ныне много денег понадобится. Да еще решила она чиновникам в столице, противу иных городов империи, в два раза денег больше давать, потому как Петербург — парадиз (что в переводе на русский — рай означает). Теперь Маслов для нее где хочешь достань, вынь да положи, — чтобы из ада рай сделать.

— Ваше величество, — отвечал Анисим Александрович, низайше кланяясь, — корень зла в бессовестности помещиков состоит. Подати палкой выколотить — наука невелика. А вот недоимки с народа за прошлые годы собрать — больно, словно зуб вытянуть. Нонеча уже в с я Россия... в с я, поверьте мне, состоит в должниках вашего величества, и должники те разбегаются куда глаза глядят!

— Не все же должны нам, — заметил Бирен озабоченно.

Маслов на каблуках туфель, сверкнувших стразовыми пряжками, резко повернулся в его сторону. Он знал, что Бирен к нему благоволит, и разговаривал с графом всегда открыто, без утайки.

— Верно, ваше сиятельство, не все... Однако нам грозит оскудение полное и безлюдье провинции — вот что страшно! Деревня скоро станет пуста: кто в города — милостыню просить, а иные — в лес, кистенем пропитание добывать. Из того в печали горестной я пре- бываю, и прошу высочайшей милости...

— Что умыслил-то, прокурор? — спросила его Анна подавленно.

И тогда Маслов ударил ее, словно в лоб.

— Вот что! Крепостное право надобно в законность привести. А для этого сначала мужикам непременно воли прибавить...

— Эва надумал! — удивилась Анна, поглядев на Бирена.

— А я не понял его, — ответил Бирен. — Переведите мне...

Анна Иоанновна повторила ему слова Маслова по-немецки.

— Пусть он делает что хочет, — засмеялся Бирен. — Я ведь не русский помещик, а только обер-камергер двора русского.

Но императрица поддернула рукава голубой кофты. Красный платок на ухо ей сбился. Туфли царицы шлепали по паркетам.

— Зато я, — сказала, побагровев от гнева, — помещица российска! И всей России есть хозяйка... Думаешь ли, Анисим Ляксандрыч, что болтаешь тут?

— Ваше величество, — снова поклонился ей Маслов, — не ваших прав ущемления домогаюсь, а лишь ничтожно и покорнейше воли прошу для людей, ущемленных всячески от рождения.

Бирен тяжело вздохнул. Что он вспомнил сейчас? Может, свою бедную мать, собиравшую шишки для герцогского камина? Или острый запах конюшен — запах его юности — вошел ему в ноздри, как память обо всех унижениях, пережитых им смолоду? Он вздохнул...

Анна Иоанновна в ответ заявила Маслову:

— Моими дедами так уж заведено, чтобы воли мужикам не давать, а помещику о довольстве их всемерно и отечески печься.

Бирен куснул ноготь. Анна Иоанновна взглядом, полным муторной тоски, вызвала на себя его ответный спокойный взгляд.

— Я в русские дела не хочу вмешиваться... трутти-фрутти! А впрочем, я посоветуюсь. Хотя бы с моим гоффактором Лейбой Либманом... он имеет верный взгляд на дела финансовые...

— Румянцев-то генерал, — неожиданно сказала Анна, — был прав: финансов в России нету. А есть только подати и недоимки. Европа смеется над нами, а мы плачем. И те недоимки хоть из глотки, а надобно вырвать. У меня эвон война с турками на носу виснет... Что же я? Возьму твоего Лейбу, граф, и с ним воевать пойду? Много я с жиденком твоим навоюю.

— Пожалуйста! — кивнул Бирен. — Вот перед вами стоит господин Маслов: честнее этого человека я никого больше не знаю. Собогаволите же ему все недоимки с народа и собрать для вас. Пусть он давит помещиков, а помещики пусть прессуют крестьян...

— Ты слышал, что тебе сказано? — спросила императрица.

Маслова дома жена встретила, сообщила, что приходил английский врач Белль д'Антермони, целый час сидел.

— Чудной он, — рассказывала Дунька. — Молол мне о разностях, будто тебе надобно отравы беречься. Про женщин сказывал, что есть у них перстни на пальцах. Камни в перстнях у них — то голубые, то розовые, и следить надобно за столом, чтобы цвет их не переменялся: иначе — беда будет!

Маслов выругался, шпагу в угол комнат закинув. В эти дни граф Бирен получил от него письмо. Маслов предупреждал Бирена, что завелись люди, желающие его, Маслова, погубить... Тут как раз вернулся из Берлина и генерал-прокурор — Пашка Ягужинский.

.....
Презнего согласия между ними не получалось. Обер-прокурор Маслов еще сражался с несправедливостями. А вот генерал-прокурор уже сник, и при дворе видели теперь Пашкину спину — согбенную.

Покорность бывшего буяна сильно озаботила графа Бирена:

— Что с ним случилось? Я рассчитывал, что он, приехав домой, сразу расшибет в куски Остермана. А тут надо бояться, как бы Остерман не загнал Пашку под стол...

А счастливчик Рейнгольд Левенвольде скоро позабыл Варьку и утешился в своем потаенном гареме, составленном из разнокожих женщин. Миних приехал из Польши в Петербург — громкогласный, звенящий амуницией, рыкающий на всех, богатый, толстый... Эти два обстоятельства отозвались в далеком Лондоне, где угасал посол русский — князь Антиох Кантемир. Он вновь обрел надежды на счастье с «тигрицей», как величал поэт княжну Черкасскую; он оценил приезд Миниха как подготовку к войне, и — в случае победы Миниха — Кантемир мог претендовать на корону царя Валашского и господаря Молдавского...

Впрочем, князю Кантемиру вскоре предстоит некоторые неприятности. Европа готовит к печати книгу — о России и русских.

Глава десятая

В е т к а! Вот она, обитель беглых людей русских. На реке Сож, в поймах ее и на островах, по берегам приятным, белеют мазанки слобод раскольничьих — Марьино, Луг Дубовый, Крупец, Грибовка, Тарасовка, Миличи...* Брызжет ярью малина над частоколами, несут детишки грибы из леса, над нехитрым мужицким счастьем стоят в карауле на крышах аисты польские...

С тех пор как Петр I разгромил скиты Керженца, а Питирим нижегородский (этот волк в рясе) пожег на кострах 122 000 раскольников, — с тех пор и стала зарубежная Ветка райским местом для всех несчастных, воли ищущих. В лесах Черниговщины, совсем недалеко от Ветки (но уже в России), лежало грозное, тишайшее Стародубье — там тоже «гнезда» были. А здесь, по реке Сож, словно город большой и вольный, цвела, шумела, пела, гуляла, сеяла, колосилась, жала, ела, пила и справляла свадьбы зарубежная непокоренная Русь!..

По всей стране вышел запрет от царицы, чтобы простые люди серебра монетного не имели. Ветка — напротив — имела серебра много. Епископа им своего захотелось. Серебро — в ход. Епифания Реуцкого, которого Феофан на Соловки ссылал, от солдат отбили, привезли на Ветку: священнодействуй! Земли в округе Ветки пану Халецкому принадлежали; пан на Ветку приедет — ему полный воз

* Ныне Ветка — поселок Гомельской области на юго-востоке Беларуси.

денег насыплют, за это пан своих смердов тиранит, а русских не тронет. Жизнь тут вольная: царя нет, пыток нет, поборов нет, — цветет в зелени садов, хорошеет и богатеет зарубежная Русь... По утрам гудит колокол церкви, и храм этот — единый, где за Анну Иоанновну крестьяне не молятся, а на Синод палаческий отсюда харкают, как на падаль поганую...

Вот сюда-то, в этот мир, и попал гулящий Потап Сурядов.

До Ветки следуя, он сильно сомневался — не изгонят ли?

Мерещилось, будто его тут станут пытаться о правилах веры: как креститься — двупало или трехперстно? Потапу все равно было — хоть кулаком крестись. Боязно было поститься да молитвами себя утруждать, — за годы эти гулящие отвык Потап от набожности церковной.

Однако опасался зря. Живи, трудись, не обижай других и сам обижен не будешь. Не было тут постников да молитвенников. Беглые солдаты и матросы галерные, мужики вконец разоренные, люди фабричные, но больше всего — крепостных! И нигде Потап столько богохульства не наслушался, как здесь, на Ветке, особо в дни первые... Ходил по деревням ветковским какой-то старый бомбардир с ружьем ветхим за плечами.

— Люди! — взывал он. — Заходите прямо в меня, будто в храм святой... Вот престол храма! — ударял себя в грудь. — Вот ворота царские! — и при этом рот разевал. — А вот и притворы служебные! — на уши свои показывал...

Всех таких, как Потап, «из Руси выбеглых», собрали гуртом, и монашек веселый, руками маша, командовал:

— Которые тут еще не мазались, ходи за мной... Перемазаться греха нет! У нас, как и везде на Руси, молятся. Вот аллилуйя лишь сугубая, хождение посолонное, а вместо слова «благодатная» употребляют следует «образованная». Миро у нас свое, сами вдосталь наварили. Вот и пошли дружно — перемажем вас!

Кисточкой чиркнули Потапа по лбу, запахло гвоздикой и ладаном. Отшибли в сторону. За ним другой лоб подставил. Потом «перемазанных» отпустили на волю вольную, и тут каждый должен был сообразать — как жить далее. Потап — по силе своей — в паромщики подался. Ветка очень большая, народ в ней никто не пересчитывал, но в иные времена, говорят, до 100 000 скапливалось; на воде много деревень стоит, одному — туда, другому — сюда ехать, вот и крути громадным веслом с утра до ночи. Но еда была обильная, сон кре-

пок и сладок в садах душистых, никто не гнался за тобой с воплем: «Карау-ул, держи яво!..» Чего же не жить?

Росла борода у Потапа — русая, с рыжинкой огненной, кольцами вилась. По ручьистым звонам, через темную глубину и русалочки омуты, гонял он паром бревенчатый, ходуном ходило весло многопудовое, играла сила молодецкая. Иной раз так разгонял паром, что врзался он в берег с разлету: падали бабы, просыпая ягоды из лукошек, визжали девки, а кони ставили уши в тонкую стрелку.

В садах берсень и вишенье поспевали. Иногда и грустно становилось. Отчего — сам не знал, но вспоминался тревожно край отчий. И здесь тополя да вязы над водой никли, и здесь курослеп желтый да щавель красненький — а все не то... Будто не хватало чего-то!.. Речь поляков начал понимать. Украинскую — тоже. И кричали петухи по утрам. Заливисто и бодряще, как кричали они на Руси...

— Ах ты жизнь моя! Не сходить ли мне на Русь в гости?

Но его строго предупредили:

— Того не смей. От нас едино лишь начетчики-грамотеи ходят, по Руси «гнезда» вьют, они тропы заповедные знают. Тебя же ишо на Стародубье пымают. Есть там полковник такой — Афанасий Прокофьев Радичев, он людей толка нашего свирепым огнем палит. Серебро возами у нас вымогает. И ходить нельзя: визнают что-либо — опять нам выгонка на Русь под ярмо станется...

Через поляков доходили до ветковцев слухи неясные. Говорили за верное, будто Миних уже отъехал на Украину, готовясь противу турка воинствовать. Армия же русская из Польши домой тронулась, а впереди себя гонит толпы беглецов русских. Всякого, кого увидят, обратно с собою уволакивают. Помещики же русские беглецов тех на границе ловят — кому какой достанется (тут уж не разбираются), и опять в рабство вечное закабаляют...

Но пан Халецкий однажды приехал, утешал ветковцев:

— Не бойтесь, хлопы москальски! Миних покинул земли Речи Посполитой, а обратно не вернется. Ваше государство иными заботами отягщено сейчас — поход на Крым готовят...

Кинуло цвет в завязь — твердую, кислую. Старики сулили хороший урожай яблок и груш. Крепко спал Потап на сеновале, ноги и руки разбросав по травам благоуханным. Снился ему Колывань-городок, где на Виру он калачи покупал... потом с калачом в руках его пред

полком явили. Костер развели, и забили барабаны... Сам граф Дуглас схватил Потапа за ногу и потащил его к профосам, чтобы живьем его сварить в котле кипящем...

— Вставай, дурень! — сказали в ухо ему. — Выгонка учалась!

Воссю стучали солдатские барабаны. Поздно было спасаться: три полка армейских, войско драгунское и казачье уже окружило слободы ветковские. Ветка горела, полыхали по берегам деревни. В огне корчились белые яблони, ревел в хлевах запертый скот, мчались через сады, ломая изгороди, длинногривые кони. Выскочил Потап на улицу да — к реке. Тут его ружьем по голове так ладно пригладили, что он покатился... Мужиков вязали накрепко. Баб отгоняли в сторону. Детей по телегам кидали. Через всю слободу шла старуха и, приплясывая, творила злобное причитание:

Не сдавайтесь вы, мои светики,
Змию царскому — седмиглавому,
Вы бегите от него еще далее —
Во горы высокие, во вертепы...

Тем и кончилась райская жизнь. Разлучив матерей с детьми, мужей от жен оторвав, гнали через рубеж, обратно в Россию, в рабство неизбытное... За ними догорала Ветка, еще вчера отряхавшая белые цветы. Потап в страхе был: что отвечать допытчикам, ежели спросят — кто таков и откуда сам?

Всех паромщиков к труду приспособили. Должны были они церковь, на Ветке бывшую, за рубеж перетаскивать. На переправе же через Сож церковка опрокинулась — бревна ее далеко уплыли. Решили хоть алтарь спасти. Артельно потащили на Русь алтарь, и Потап свирепо налегал в лямку. Гроза была ночью. Молния как фукнет с небес — будто, язва, из пушки прицелилась. От алтаря божиего — пырх! — одни головешки остались. Людей пожгло, Потапу бороду огнем опалило... Полковник Радищев разрешил ветковцам забрать с собою мощи нетленные от старцев святой жизни. Потап на себе тащил гроб старца какого-то Феодосия, а в гробу что-то подозрительно стучалось. Напрасно он мучился: когда на русской земле гроб открыли, там — никаких мошей, одни косточки.

Так-то вот приволоклись «выбеглые» в Стародубье. Афанасий Радищев тут объявил, что сидеть надо тихо. А подушный налог теперь, яко с отступников, будут с них двойной собирать. Годных же к службе воинской сейчас в рекруты запишут. Потап ног под собой

не чуял — спастись надо. Тут сбоку от него объявился человек незнаемый, который совет дал.

— Вишь, вишь? — сказал, на Радищева указывая. — Вишь, как зоб у него распухает? Сейчас в гнев войдет и льва библейского собой явит... Коли спастись, так беги до города Глухова: тамо, слышал я от людей знающих, каждому дается сразу по бабе, по шапке, по волу, по сабле и по жупану... Станешь казаком вольным!

И Потап бежал...

В преддверии большой войны генерал Джеймс Кейт объезжал украинские засеки и магазины, где все припасы давно сгнили, еще со времен Петра I сваленные в кучи. Появился на Украине и Карл Бирен — инвалид, брат фаворита. Начались его достопамятные зверства: гарем развел из девок малолетних, заставлял баб щенят на псарне грудью выкармливать...

Бунчуковый товарищ Иван Гамалея сидел в писарской избе войска Лохвицкого. На подоконнике дозревали арбузы. Один уже треснул. В раскол его, в самую-то сласть, в мякоть яркую набивались окаянные мухи. Бунчуковый писал жалобу графу Бирену — на братца его Карла Бирена:

«...в сиятельстве своем подманил на бахче девку малую Гапку, увел в садик за куренями и, учинив той девочке гвалт ее паненству и много своим мужским бесстыдием над оною паствячися, аж до смерти оную размордовал, отчего и умерла Гапка на день второй...»

Упала тень от дверей — загородила солнце. Бунчуковый глаза от писанины оторвал, на прищельца незваного глянул. Стоял перед ним молодой парубок, ростом под потолок, ноги босы и черны от пыли, рот широк, скулы остры от голода, а глаза голубые.

— Чего тобі? — спросил Гамалея.

— Пособи, пане, — отвечал тот. — В казачестве бы мне осесть.

— А ты кто таков? Чего-то я тебя на кругу не видывал.

Назвался парень Потапом (видать, беглый). Взял бунчуковый плетку, на стене висевшую, опять Гапку вспомнил.

— Иды, — сказал, — я тобі в сечевики зараз выведу...

Вывел Потапа на двор. И стал лупцевать, ожигая справа налево. Большая свинья терлась об тын, ко всему равнодушная, и гремели по-

верх тына горшки, раскаленные на солнце, один об другой стучаясь. А бунчуковый ожигал Потапа исправно, приговаривая:

— Оть, москальска хвороба! Развелось вас тут, бисово сямя!

Вывался Потап от бунчукового, убежал. И так стало обидно, что упал он в лопухи посередь площади. Шумела, горланила и плясала над ним в реве быков душная воловья ярмарка. А он лежал и плакал в лопухах, серых от пыли теплой...

— Ой, чоловики ридны! Бачьте, як москаль убивався...

Обступили Потапа хохлы. Стали горилкой потчевать. Давали тю-тюна нюхать с рук жестких, мозолистых. Пахло от стариков чесноком да яблоками, разило от штанов парубков дегтем колесным, и цветасто реяли ленты зубастых крепкошекких молодок.

— Тю! Тю тобі, — говорили все ласково. — Не убився...

Было это с ним в городе Глухове, где на себе изведаль, какова вольность казачья. Под вечер ярмарка опустела. Арбузы лежали на арбах — любой бери. Волы дышали в темноте, как люди, устало и раздумчиво. Потап начал свою жизнь по косточкам разбирать. С чего же начались все несчастья его? Вспомнил он дом Филатьева на Москве и тот день, когда барин послал его на выучку к принцу Гессен-Гомбургскому, чтобы искусству сечения он обучился... «Может, — размышлял Потап, — мне бы тогда судьбу и повернуть? Надо бы не отпираться, как следует выпороть Ваньку Осипова, который ныне Ванькой Каином стал?..»

Прошел не день и не два. Волы привозили арбы с солью и арбузами. Волы увозили пьяных хохлов по домам. Вставали зори над садами и ложился мрак — теплый и волнующий — на землю, радугами осененную. А он все думал. И понемногу сложил в голове своей такое: «Окол народа завсегда толкусь, вот мне за всех и влетает. Не лучше ль жить от народа подальше?»

Даже плечами передернул — столь страшно от людей уходить. Но все же встал и пошел. На этот раз уходил Потап далеко — на Дон или на Кубань (сам не знал пути-дороги). Травы стояли высоко — по грудь. Солнце пекло нещадно. Изредка куреня встречались в степи. Там деды сидели в портах широких. Были деды молчаливы в древней и мудрой старости. Иногда выбредал Потап на засеку покинутую. Еще издали вышка виднелась, на вышке той сложен хворост горяч. Коли поджечь его, начнется тревога по всей Украине, поскачут в седла чубатые хлопцы, завоют их матери, долго будут бежать за конями девки («Татарин! Татарин идет...»). Но татар пока нету — чисто в степи утром. А закаты здесь быстротечны и неминучи, как смерть человеческая. Тьма, звезды, прохлада...

В одну из ночей высокий курган встретился. В тени его Потап и залег. Тихо потрескивал костерок, да скрежетали в ночи, будто сабли, острые иссушенные травы... Задремал Потап, сквозь сон слышал он лепет ветра, шелестевшего золою. Очнулся же от мягкого топота копыт. Глаза протер, спросонья даже оторопел.

— Эй, кто тут?

Прямо над ним нависала бездонная пропасть неба, и над этой пропастью вырастал неведомый... в с а д н и к.

Торчала над головой его остроконечная шапка.

— Добрый ли ты человек? — спросил его Потап с опаской.

— Поган урус, — услышал в ответ.

В воздухе свистнуло, жесткая земля, в кольцо собравшись, вдруг захлестнула его горло удавкой мертвой.

— Ах! — вскрикнул он от резкой боли, и что-то сильное потянуло его прочь от погасшего костра, потащило по земле.

А земля эта (такая нежная и мягкая) вдруг обернулась для него злой мачехой. Когтями, кустами, корнями, травами она раздирала тело Потапа, и катилась под ним в даль неизбежную, а топот лошадиных копыт то удалялся, то вновь настигал его. И разом померкло все, и погасли звезды на небе...

Очнулся, глубоко дыша. На шее уже нет аркана. Но зато намертво связаны за спиной его руки. Всадник слез с коня и стоял над ним; вдруг нагнулся, одним рывком поставил Потапа на ноги, снова запрыгнул в седло.

Ногайка взлетела — бац по коню. Еще взлетела — бац по Потапу.

Конь сразу тронул рысцей. Потап — за ним, и аркан от луки седла тянулся к рукам его. Было уже поздно исправлять судьбу. Так они и бежали рядом: конь с человеком и человек без коня.

Начиналось полонное терпение... Он попал к ногаям!

Глава одиннадцатая

Когда «Тобол» с разлету уперся форштевнем в зеленоватые льды, поначалу решили — проскочим. Так думал и Овцын.

— Пчел бояться — меду не пробовать! — сказал лейтенант и велел якорь бросать...

В темную глубь длинным буравом впивался канат, сверля пучину. Где-то там, в таинственном полумраке стылых вод, распугивая рыбин, сейчас якорь ляжет на грунт, острым бивнем клешни своей возмутит вечную чистоту векового безмолвия...

- Стоп! Кончай травить, слабинку выбери.
- Взял якорь? — спросил от штурвала Афанасий Куров.
- Взял, — поежился Овцын. — Стоим крепко.

Было всем зябко. Плотный лед лежал рядом, закрывая дубель-шлюпу путь в океан. Берег едва угадывался вдали. Холодный день угасал, весь в искристом мерцании. Стали ждать, когда разомкнется ледяная преграда. Верилось в опыт прежних походов. Трое самоедов, взятых в плавание, сидели в трюме на корточках, посматривая искоса, чмокая языками. «Распаления» льда не сулили.

Первым умер корабельный плотник. Овцын наблюдал, как рядом с якорным канатом медленно тонет его тело в белом саване. Вот он уже едва виднеется... синева затопила все... Прощай, товарищ!

- Я лягу, — сказал Овцын своему подштурману.

В каюте уперся ногами в переборку, свистнул собаку Ньюшку, чтобы легла рядом, его грея, и больше лейтенант не вставал. Сны были тяжкие, нехорошие. Приходила к нему в снах княжна Катерина Долгорукая, мучила в поцелуях — влажных и грубых. Проснувшись, Овцын почесал ногу. Опять зачесалось... Что там такое? Задрал штанину... Так и есть: скорбут!

- Началось, — сказал Овцын и упал на подушки.

Куров вполз в каюту на коленях (уже не мог ходить).

- И ты? — спросил его Овцын. — А что наверху?

— Не распалило. Умер матрос Шаламов... Подниметесь?

- Сейчас... встану.

А мир был светел, ветер свеж, в смерть не хотелось верить. Как ослепителен был вечный блеск мира полуночного!..

Следя за тонущим покойником, Овцын встряхнулся.

— Эх, навигаторы, — сказал недовольно. — Да шлюп-то наш давно сносит льдами. Куда же вахта смотрела, раззявы?

Куров тронул якорный канат, он подался свободно, безгрузно. Выбрали его на палуб, и Куров показал лейтенанту лопнувший от перегрева конец.

- Бросай второй! — велел Овцын и полез обратно в каюту.

А там — чад лампадки перед иконой Николы, грязь засаленных мехов, качка постылая и удушье, течет по бортам сизая плесень. Снова лег, стараясь «услышать» грунт. Второй якорь забирал плохо. Одна чугунная лапа у него давно была сломана. Лед ночью стал напирать, двигая «Тобол». Умер хороший человек — рудознатец Медведев, и Овцын уже не мог подняться на палуб.

- Без меня, — попросил. — Видит бог, я ослабел...

Скоро на вахте остались только квартирмейстер с учеником геодезии да с ним двенадцать солдат. Остальные полегли на рундуках — в тоске. Дубель-шлюп всю ночь напропалую стучал носом в ледяной барьер, словно в двери нерасторжимые. Смерть стояла рядом... Доколе ждать?

— Позови ко мне самоедь, — сказал Овцын кают-вахтеру.

Проводники-самоеды вошли и затрясли головами: лето необычно холодное, лед не раздвинется, скоро уж осень, и тогда... Слабеющей рукою Овцын разлил водку по чаркам. И свою чарку поднял.

— Вам верю, — сказал проводникам... — Вы здешние...

Отпил полчашки, и водка в чашке его вдруг стала красной. Испуганно вытер рукою рот — ладонь в крови. Тогда он допил вино одним махом, выслал проводников прочь, созвал консилиум. И коллегиально порешили: у й т и... Когда загудели паруса, а дубель-шлюп рывком накренился, скорость набирая, Овцын чуть не заплакал. Адмиралтейству ведь пером на бумаге всего не рассказать. Да разве поверят ему в столице, что лед за лето не мог растаять? «Под солнцем-то?» — спросят его, и станут адмиралы над ним потешаться, как над врунишкой...

— Афоня, — позвал он Курова, — кажись, мне самому в Питер-сбурх надобно ехать, дабы от попреков отбиваться словесно.

— Как же вы? Сами ног не волокете.

— Лишь бы на урочища выйти, опять хвою пить станем. А ехать надо. Боюсь не за свою карьеру, а за судьбу дела нашего. Докажу адмиралам, что «Тобол» еще отворит эти ворота смертные...

Болезнь скорбутная — сам не знаешь, что за штука такая. Недаром она женщиной в соблазнительных снах является на зимовках. Но как только «Тобол» вышел на урочище Семи Озер, люди сразу повеселели. Вылезли наверх, сами патлатые, зубы у всех шатаются, а уже полегчало... Ожили!

Наконец «Тобол» зашел под высокий берег Березова, высился над обрывом частокол острожный и торчал шатер церкви ветхонькой. Уже и осень подступала. Сильная гроза — с эхом, длившимся очень долго, — разрывала небосвод над тундряной юдолью. Священник Федор Кузнецов, на диво трезвый, служил панихиду по тем, кто навеки остался в мрачной глубине, возле кромки зернистых льдов...

Овцын стоял среди матросов своих, тонкая свечечка оплывала в его руке. Горячее дыхание обожгло затылок ему. Навигатор не обернулся. Конечно, это... о н а! И своей рукой Митенька нащупал Катькину руку, узкую и влажную от волнения любовного. Из церкви они вышли вместе. На паперти стоял майор полка Тобольского, которого Овцын

не знал. Оказалось, майор Петров Петр Федорович прислан в Березов недавно — надзор фискальный за Долгорукими иметь. Человек он был разумный, зла никому не желавший, к Овцыну отнесся с почтением, в гости к себе зазывал.

Екатерина Долгорукая рядом стояла, глаза опустил.

— И вас, княжна, — поклонился ей майор Петров, любовь тайную приметив, — прошу ко мне с лейтенантом жаловать...

В гостях у майора было хорошо. Майорша Настасья (из рода Турчаниновых) книжницей оказалась. Говорили за столом о разном. О бобрах березовских, кои, словно войско, свои дозоры от собак местных имеют; караулы бобры несут посменно — как солдаты. О грозах судачили березовских, естество которых человеком еще не изучено. О мамонтах дивных, кои в лед вмерзли, и научно в этих краях еще многое человеку должно открыться... Катька Долгорукая от слов умных заскучала, но вида скуки наружно не показывала. Ни жива ни мертва сидела женщина, вся — от груди до коленок — наполнена любовным томлением. А под самую полночь стук в окошко раздался — это подьячий Осип Тишин, пьяный, до гостей рвался.

Майор Петров встал, подьячего стукнул и на улицу выбросил.

— От винного питья устали мы все, — сказал майор сердито. — Дай с человеком умным тверезо душу в разговорах отвесть...

Обратно до острога Овцын провожал Катерину; за кладбищем она шубу на себе широко распахнула, грудью припала к нему. Целовала горячо — как и та, ужасная, что являлась в каютных снах, влажно и грубо, не по-девичьи! И каждый раз говорила:

— Охти мне! — И, губы обтерев, опять с жаром целовалась. — Охти, сладко мне... Ни на каких царей не променяю тебя!

Сказал он ей, что отъезжает с рапортом в Адмиралтейство. От разлуки убивалась Катька на погосте кладбищенском, где торчал крест царской невесты — княжны Меншиковой. Причитала навзрыд, по-деревенски. Гладил он плечи Катькины, но тоску ее звериную, ненасытную не осуждал: из темени сибирского безмолвия светят ему огни столицы, вихри проспектов питерских, блеск и суета. Она же остается здесь, в кольце снегов навеки закована.

— Только не брось меня! — умоляла Катька. — Не позабудь... един ты! Вернись ко мне, Христом-Богом тебя заклинаю...

В пути до Тобольска опять Овцын заболел. Лежа в узких санках, слушал он, как протяжно свистят полозья под ним, видел перед собой вертлявые хвосты остяцких собак, считал безутешные версты. А на почтовом дворе Тобольска его оgoroшили новостью:

— Царица-то наша войну ведет. Ведомо ли о том в Березове?

— Дошла весть об осаде Минихом Данцига.

— Вы, березовские, словно с печки свалились... Какой там Данциг? Тая война давно кончилась. Новая грядет — с турками!

Война была нужна! Анна Иоанновна и сама это знала. С тех пор, как ее головы коснулась корона, она ни чего не приобрела, лишь теряла и разбрасывала прежде нее завоеванное. Бесчестье мира Прутского было еще свежо в памяти народной, — пора опять выйти на просторы Причерноморья, ногою твердой стать на Азове, а гнездо разбойничье — ханство Крымское — полному разоренью предать.

Там, за морем, в Константинополе, — Большой Порог и Большая Дверь, а в Бахчисарае — Малый Порог и Малая Дверь, и вот теперь пора (через Дверь Малую) отворить пред Россией Дверь Большую! Момент для войны был удачный: Турция еще связана войной с Надиром, а хан крымский Каплан-Гирей ушел с конницей помогать туркам в делах персидских... Был канун великого почина!

И в самый этот канун вдруг струсил Остерман. Как всегда в опасные моменты карьеры, Андрей Иванович перед императрицей такой вид принял, будто уже помирает. И стоять не может — ноги его не держат. Но императрицу на этот раз он не разжалобил: сесть вице-канцлеру империи она не разрешила.

— Коли, Иваныч, стоять тебе неумогу, — сказала царица, — так ты на печку обопришь, а я глаза отведу, будто слабости твоей не замечаю. Да говори, чего удумал ты?

Остерман повел речи свои робкие — напряженно:

— Экономическое положение государства таково, что при потрясении военном банкротства ожидать надобно. Я вам вещал и ранее, что боязно войну начинать. Да и... что даст война? И до нас смельчаки находились, Крым воевавшие, а... Крым-то стоит нерушим! Помните хотя бы поход князя Василья Голицына при царевне Софье. Он войско русское до самых ворот Крыма довел, замок от дверей ханских поцеловал и... ни с чем назад обратился. Крым силен! — доказывал Остерман. — За ханом же крымским сам султан турецкий зубы скалит, и с ним нам не совладать...

Анна Иоанновна с постели соскочила, кулаки воздела.

— Я не дурочка тебе деревенская, которую морочить можно! — закричала густо. — Сам же в войнищу экую нас втравливал, а теперь — в кусты? У меня машина воинская уже запущена...

Остерман с трудом себя от печки тепло отклеил:

— О чем речь? Любую машину всегда можно остановить.

— Армию ты остановишь, а... Миниха? — спросила Анна Иоанновна. — Ежели ты, граф, такой уж смелый, так попытай судьбу свою: попробуй оттяни Миниха от войны... Что затих?

Развернулась к нему широченной спиной, рукою махнула:

— Ступай вон и лишнего не сказывай мне. Как послушаю Артемья Волынского, так, может, и прав егермейстер мой, что плывешь ты, Андрей Иваныч, каналами темными... Что на уме у тебя? О чести-то государства Русского подумал ли хоть раз?

Остерман из-за спины поймал ее багровую, как у прачки, руку, покрыл ее поцелуями, весь в рыданиях притворных:

— Ваше величество, мне ваша честь дороже чести государственной. Я — весь ваш... за вас на костер пойду... на муку!

— Ступай вон. Ты не понравился мне в сей день...

Россия — в ярком блеске оружия, в согласном топоте ног, в реве верблюдов и ржании лошадей — уже стремглав катилась в войну. И графу Остерману лишь мизинцем шевельнуть, чтобы армада эта замерла как вкопанная. Но ему конечно же не сдержать Миниха, который на увертки Остермана говорил всюду открыто:

— Я растопчу это гнилье ботфортами, я раздеру вице-канцлера своими шпорами, если он славы меня лишать вознамерится...

А война уже началась!

Война началась боевым соперничеством двух немцев — Миниха и генерала фон Вейсбаха, который управлял войсками на Украине и считал, что он должен командовать армией, а не Миних... Борьба закончилась поражением Вейсбаха: за ужином у Миниха он вдруг схватился за живот и тут же умер.

— Так тебе и надо, старый дурак, — сказал при этом Миних, явно радуясь.

Но теперь фельдмаршал никак не мог сдвинуть с места генерала Леонтьева, перед которым ставилась задача — идти прямо на Крым и брать его.

— Вот хлеба уберут, — зевал Леонтьев, — тогда и двинусь.

— Генерал! Что вы о хлебах печетесь? Пока я беру Азов, вы должны двигаться на Крым... Хлеба и без вас уберут на Украине.

— Жарко сейчас, — упорствовал Леонтьев. — Ближе к осени, по холодку, проворнее и солдат пойдет и конь побежит...

Леонтьев дождался осени, взял 42 000 человек и 46 пушек — пошел на Крым, чтобы предать его огню и мечу. Война Турции объявлена не была, ибо армия русская стучалась сейчас не в Большую

Дверь, а лишь в Малую... Была чудесная пора, над Украиною стояли погожие, ясные дни. Не холодно и не жарко. Леонтьев, имея при себе двух личных поваров, сибаритствовал в роскошной карете. Армия его шагала вдоль Днепра по землям Сечи Запорожской. Татары на встречу русским пустили пал — выжгли траву; но с пожарами они поспешили. Леонтьев выступил в поход позже, и уже успела вырасти в степи свежая травка... Казалось, все складывается удачно: не так страшен черт, как его малюют!

В октябре армия вступила на дикие земли ногаев. За Конскими Водами завиднелись зловещие колпаки улусов разбойничьих. Войску был отдан приказ: смести ногаев, дабы открылся путь к Перекопу. Дрались воодушевленно — побили всех, сбатовали скотину, нагрузили добром верблюдов, наелись мяса вдосталь, — пошли дальше с бодростью. Русским в этих краях пощады никогда не было. Не было пощады и татарам от русских. Одни только женщины, дети и скот имели право на жизнь (собак и тех убивали)...

Небо вдруг затянуло тучами, просочились на землю дожди. Потом закружил снег. И снег растаял. Растаял снег, и ударил мороз. Стой! Ноги лошадей разъезжались на гололеде, копыту конскому было до травы не пробиться. Тысячи лошадей сразу пали в степи. А затем стали умирать и люди. Не от ран — от болезней и холода. Армия Леонтьева превратилась в походный лазарет: половина ее несла на себе другую половину армии. Но еще ш л и! Прав был фельдмаршал Миних: нельзя поздней порой выступать через степи ногайские на Перекоп крымский...

Далеко-далеко в степи обозначилась точка в конце горизонта. Что это такое? Лишь к вечеру сблизилась. Это ехал из Крыма прасол — торговец скотом (из запорожцев). Его взяли за шкуру тулупа, втащили в шатер к Леонтьеву.

— Есть ли впереди лес? — спросил его генерал.

— И кошки высечь нечем, — поклонился ему прасол.

— Есть ли впереди вода? — спросил генерал.

— Ни капли, — отвечал прасол.

— Сколько отсюда до Перекопи? — спросил генерал.

— Ден десять, а то и боле того, — отвечал прасол...

Близ Каменного Затона держали военный совет. В шатер бился ветер, снегу намело на целый фут. Черными комками лежали на снегу солдаты. Выстелив шею и ноги выпрямив, умирали лошади. Встав злыми мордами против метели, покорно и неприступно высились над степью воинские верблюды... Из шатра прокричал Леонтьев:

— Играй поход: идем обратно — на зимние квартиры!

9000 человек навсегда остались в степи, так и не увидев Крыма, где их так страстно ждали толпы невольников. Никакой Гегельсберг не мог сравниться с этим бессмысленным походом... Леонтьева отдали под суд. Но он был племянником царицы Натальи Кирилловны (матери Петра I), а таких людей судить неудобно. Всю вину за неудачи свалили на покойника фон Вейсбаха: мертвый, он уже не мог оправдаться...

С большим запозданием прибыл в Петербург курьер от Миниха. Увы, Азова фельдмаршал не взял. Остерман с этим письмом (почти ликующий) предстал перед императрицей:

— Ну вот, матушка, как по писаному: в Крыму нам не бывать, а хваленый Миних болтуном оказался... Что мы скажем Европе?

Анна Иоанновна долго молчала.

— Объяви во всех Европах, что мы войны и не начинали. Была лишь экспедиция воинская, дабы наказать ногаев, кои наши украинские рубежи набегами беспокоили...

Европа почтительно выслушала эту басню — и не поверила. Так начиналась эта война, очень нужная для России. Быть нам в Крыму или не бывать?.. По деревням и городам срочно вербовали рекрут. Самых здоровых. Чтобы в пальцах подковы гнули. Чтобы в зубах у них изъяну не было. Чтобы честны они были — беспорочны. А летами — от пятнадцати до тридцати... Такие вот годны!

Глава двенадцатая

Барон Иоганн Альбрехт Корф, обозленный на весь двор вольнодумец, ныне пребывал на посту «главного командира» императорской Академии наук. Близ его кабинета — спальня, за спальней — лаборатория, где пахнет всякой чертовщиной от порошков загадочных и смесей алхимических. В раскаленных колбах он жаждет золото открыть или... А вдруг, вне чрева материнского, возникнет за стеклом реторты гомункул человека? Барон кафтан скинул, рукава сорочки выше закатал, в руках его, больших и волосатых, ощущалась сила (но ленивая сила). Он ругался, выискивая мудрость в книгах древних — из «Драгоценной жемчужины» Лациния Калабрского, из «Последнего завещания» Луллия, из потаенных рукописей чернокнижников... Впрочем, Корф был настолько богат, что в получении золота через огонь и не нуждался. Детей он не любил, и, появившись гомункул из колбы, барон вышвырнул бы его на помойку. Просто он был любопытен...

Ему помешал лакей, появившись на пороге:

— Педрилло прибыл... Вот карточка его, барон, в которой он представлен так: «Слабоумный любитель гданской водки, друг Тосканского

герцога, Тотчаский комендант Гохланда, экспектант зодиального Козерога, русский первый дурак, скрипач известный и славный трус ордена Святого Бенедикта»... Что делать с ним? Прикажете впустить? Иль гнать в три шеи?

— Изо всего, что мы прочли, — ответил Корф, — мне важно лишь одно: «скрипач известный». Шута Педрилло знать я не желаю, а вот синьора Пиетро Мира допустить... Синьор, — сказал барон входящему шуту, — как хорошо, что вы со скрипкой. Рассейте меня музыкой. Но без гримас, пожалуйста, и без кривлянья. Здесь вам не двор, а я не дурак придворный...

Педрилло, сморщенный и старый, играл ему на скрипке.

— А вы прекрасный музыкант. К чему вам это шутовство?

— Ах, сударь мой, — ответил шут. — Одною композицией ведь не будешь сыт. А у меня семья в Венеции осталась. И старость если не близка, то близится... Пора подумать и о детях. Что я оставлю им? Вот эту только скрипку? — усмехнулся он.

— А кстати, дайте-ка мне ее сюда. Какая ей цена?

— Четыре луидора, барон почтенный.

— Когда и где платили? Она звучит чудесно...

— Есть мастер удивительный в Кремоне. Когда я покидал отечество, ему было лет уже за девяносто. Но он трудился по-прежнему. И никогда не брал за скрипку или виолы дороже четырех луидоров.

Вспыхнув лаком, скрипка шута взлетела к жирному плечу Корфа. Смычок в руке барона вдруг с нежностью коснулся струн.

— Ого, черт побери... Я в этом деле смыслю кое-что. А ваш старик из Кремоны — отличный мастер. Кладу вам сорок!

— Чего кладете? — удивился Педрилло.

— Конечно, луидоров... Вы не забыли — как имя мастера?

— Страдиварий.

— А-а, знаю, знаю. Он ученик великого Амати... Хотите, я покажу вам свое собрание? — Корф провел шута в отдельные покои, где в пламени свечей темнели лебединные виолы, где скрипки тихо тосковали о смычках; Корф хвастал: — Вот скрипка из Бресчия, а эту, сделанную Гранчиано, пора ремонтировать... Вот Теклер, вот Серафино! Есть даже тирольские, хотя я их не люблю. Сам я играю очень редко. Я больше пью вино, когда мне тошно от людского свинства. Итак, уступите мне вашего Страдивария за сорок...

После шута явился к Корфу поэт Василий Трелиаковский, принес он «командиру» свою новую книгу: «Новый способ российского стихосложения», и барон рукопись от поэта любезно принял.

— Благодарю за вниманье к убожеству моему, — поклонился ему Третьяковский. — Если б не вы, барон, меня бы давно забодали быки здоровые... Патрон мой, князь Куракин, хотя и кормит-поит, но в награду требует, чтоб я пасквили стихотворные на Артемья Волынского слagal. И отказаться я не смею, а... страшно мне! Когда дверей сходятся две половинки, то палец между ними лучше не совать. А меня, пиита бедного, вельможи меж дверей своих и головой совать готовы без жалости... Что им мой писк!

— Я вас не дам в обиду, — утешал его Корф. — Что этот князь Куракин? Я его чаще вижу под столом, где его, пьяного, ногами попирают. А — вы? Кто вы?.. Вы — Прометей, и ваше имя принадлежит истории. Поэта будет помнить вся Россия. А остальные люди, кто не способен к творчеству, все это г и л ь... Увы, — вздохнул вдруг Корф, — вот и архивный червь, глотая смрад бумаг старинных, может, прогрызет и мое жалкое имя...

Он вызвал академического типографа Кетрица. Вошел тот — важный гусь, весь в бархате, весь в кружевах. Барон Корф свернул рукопись Третьяковского в трубку потуже и сразу треснул «гуся» по башке, чтоб спеси поубавить:

— Болван! Печатай это поскорее. Пусть шлепают твои машины неустанно. И помни, что поэты ждать не любят...

Барон Корф в пику всем оборонял и поддерживал русского поэта (человека робкого, но талантливого). Барона занимало положение поэта при дворе. Третьяковского держали в черном теле. Анна Иоанновна — по глупости своей — видела в Третьяковском лишь развлекателя (вроде шута). Поэты, живописцы, музыканты — они, да, состоят при дворе, ибо более им кормиться негде. Но Третьяковский — не развлекатель, это ученый-языковед. И барон помышлял дерзостно: Третьяковского полностью за Академией укрепить... При чем здесь двор? При чем здесь пьяный меценат Куракин? Поэты — суть служители государственные.

Корф был ворчун, всем недовольный. Анне Иоанновне он свое неудовольствие показывал. Бирену в лицо дерзил. Иногда он выражался при дворе так, что, будь он русским, его бы уж давно вороны по кускам растащили. Но у него — заслуги перед престолом, за ним — надменное рыцарство Курляндии, и трогать его опасно. Оттого-то Корф — безбожник, книголюб, алхимик — мог делать все, что в голову взбредет, и не любил советовников иметь.

Сейчас он нежно влюбился во фрейлину Вильдеман, которая приходилась племянницей фельдмаршалу Миниху. Но дорогу Корфу переступал камергер Менгден, вице-президент Коммерц-коллегии. Корф предложил ему бороться за руку и сердце Вильдеман:

— Назовите мне ваше любимое оружие.

— Яд! — засмеялся Менгден вызывающе.

— Что ж, — согласился Корф, — дуэлироваться можно и этим оружием подлости... Давайте так: вы мне дадите яд, а я вам свой подсыплю. Кто из нас быстрее приготовит противоядие, тот выживет и станет обладателем руки и сердца юной Вильдеман...

— Я пошутил, — отрекся Менгден. — Нет, мне с вами в химии не соперничать. Уж лучше шпага! И чтобы... поменьше свидетелей.

— Согласен и на то. Драться уедем на родину, в Курляндию.

Любовная тоска перебивалась размышлениями о запущенности дел академических. В этом году Корф образовал «Русское собрание» при Академии, где русские занимались толкованием русского языка, — это хорошо: пусть возникнет «Толковый словарь» языка российского. Корф видел явное: ученые — все иноземцы, и коли кто понадобится, то зовут опять из Европы. Но... до каких же пор? Бернули взялся обучать Ададунова, и опыт сей показателен: Ададунов стал великолепным математиком... Россия сама должна поставлять ученых, подобно рекрутам; таковые сыщутся, только искать их никто еще не пробовал. Как раз в это время опустела академическая гимназия, и Шумахер вошел с докладом к барону.

— Вот и хорошо, — решил Корф. — Наберем школяров из русских, дабы в России имелись свои ученые.

— Их нету, русских ученых, — ответил Шумахер.

— Нету потому, что не озаботились их создавать. Из юношей ума здорового, способных и к трезвости склонных, выйдут незаурядные славянские Ньютоны.

Шумахер рассмеялся — так, словно доску сырую распилил.

— Русские, — сказал он, — к тому неспособны, барон.

— Можно подумать, вы это проверяли уже на русских?

— Все они — воры и пьяницы! — бодро откликнулся Шумахер.

Корф отцепил от обшлагов кафтана пышные кружевные манжеты, небрежно бросил их на стол, словно перед дракой.

— Послушайте вы... невежа! — сказал барон с презрением. — Я ведь не посмотрю, что ваш тесть Фельтен супы ея величеству варит. Для меня кухонное родство с русской императрицей не имеет никакого значения. И я достаточно силен физически, чтобы одной рукой

вышвырнуть вас из Академии — прямо в Неву — вместе с вашими дурацкими убеждениями...

Шумахер тут склонился перед ним и показал при этом барону Корфу свои оттопыренные уши с их тыльной стороны, где они были розового цвета, как у поросенка.

При дворе продолжали спорить: «А все-таки любопытно знать: кто же умнее всех на Митаве — Корф или Кейзерлинг?»

— Напрасен этот спор, — вмешивался Корф. — Вы, живущие хитростью, спорите не об уме. Вы спорите о том, кто из нас хитрее. Так я вам скажу, что хитрее всех наш лошадиник Волынский. Граф Бирен прав: когда имеешь дело с этим человеком, держи при себе камень, чтобы ударить Волынского в зубы прежде, чем он вцепится тебе в глотку...

Обер-егермейстеру до всего было дело — совал свой нос Артемий Волынский даже в дела коннозаводства, хлеб у своего врага, князя Куракина, отбивая. Со стола своего Волынский не убирал книг по гиппологии научной: «Королевский манеж» Антуана Плювиля, «Гиппика або наука о конях» поляка Дорогостайского и «Книга лекарственная о конских болестях» Петра Шафирова... Лошадей он любил, и когда жил в Персии, то много полезного о лошадях на Востоке узнал и домой хозяйственно вывез... Впрочем, любимым делом долго не пришлось заниматься Волынскому, оторвали его от лошадей — велели судить Жолобова, из Сибири привезенного.

— Вот этого мне еще не хватало! — огорчился Волынский. — Но против рожна царского не попрешь, коли карьер надо делать...

Поначалу допросы шли в подвалах Летнего дворца. Плыл по Неве лед осенний, река долго не вставала, и никак было крамольников в канцелярию Тайную (в крепость, за Неву) не переправить. Целых два месяца дали Жолобову и Столетову на поправку здоровья, кормили их на убой с царской кухни. Даже лекарями обихаживали. Это признак нехороший: значит, к мучениям адским готовят.

Волынский знал Жолобова раньше и — уважал его.

— За что тебя тиранят, Петрович? — спросил он Жолобова.

— За тридцатый год, за кондиции, я тогда орал много.

— А тут иное писано: будто воровал от казны!

— Все мы воры, — отвечал Жолобов. — А таких, как ты, еще поискать на Руси надобно. От твоих грабительств на Казани людишки по сю пору плачутся...

Такая честность не по нутру пришлась Волынскому.

— Эй-эй! — нахмурился он. — Вроде бы не меня, а тебя судят. Где бы милости моей тебе поискать, а ты судью своего же воров кличешь... Да знаешь ли ты, что я тебя под топор засуну?

— Нашел чем удивить человека русского! И это про тебя-то, дурака, говорят, что ты умный?..

Понял тут Волынский, что Жолобов на жизни своей давно крест поставил — ему теперь ничего не страшно. А по вечерам, после допросов и очных ставок, утомленный, Волынский говорил Кубанцу:

— Ежели когда-либо, не дай-то бог, меня судить станут, об одном буду молиться: иметь дух столь высок, какой Жолобов ныне перед смертью имеет... На плаху его пошлю, а уважать буду!

— Хотите, я разве веселю вас анекдотом галантным? — отвечал ему дворецкий Кубанец. — Наталья Лопухина дочку породила вчера.

— Во, кошка немецкая! А ведь от света не уйдешь. Теперь мне Наташку поздравлять надо ехать... Ладно, не сломаюсь.

Памятуя о высоком положении Натальи Лопухиной при дворе, иноземные послы спешили поздравить статс-даму с разрешением от бремени. Все поздравления принимал мрачный, как сатана, муж Наташки — Степан Лопухин, который сказал Волынскому:

— А ты разве дипломат? Или не знаешь, куда с поздравкою надо ехать? Езжай прямо на Мойку — в дом Рейнгольда Левенвольде, который уже не первый раз мою Наташку брюхатит.

— Ах, Степан Васильич, — отвечал ему Волынский, — взял бы ты арапник подюжее, каким лакеев своих порешь, да устроил бы Наташке хорошие посекации... Нешто так можно, чтобы все над тобой смеялись?

— Один-то мой, — усмехнулся Лопухин. — Я это знаю. Остальные все в Левенвольде удались. Давить мне их, што ли?

Наталья Лопухина — самая красивая женщина при дворе Анны Иоанновны. Красоты и живости не теряя, даже талию сохранив тончайшую, она (при здоровье отменном) уже на другой день после родов в свете являлась... Всех ослепляя! Всех затмевая!

Сейчас она была в ссоре с Рейнгольдом, который ни разу не навещал ее, пока она ребенка рожала. От злости на любовника статс-дама переходила к нежности, и камень перстня ее (подарок от Левенвольде) то вспыхивал розово, то становился голубым, как небо, — в зависимости от настроения женщины.

— Отравить? — рассуждала она. — Или к себе приблизить?

В эти дни Остерман расщедрился, устроил прием в доме своем. Анна Иоанновна наказала ему: «Нехорошо, Андрей Иванович, первый ты человек в осударстве моем, а на гостей еще копейки ломаной не истратил. Уж ты не поскупись...» В палатах вице-канцлера ревели трубы. Меж деревьев, что росли в кадках, похаживала, губы поджав, Марфа Ивановна Остерман и глазами по сторонам стреляла — как бы чего не украли, как бы лишнего чего не съели... Лопухина от нее даже веером загородилась. Бриллианты вице-канцлерши вселили в ее душу зависть. «Ежели продать Сивушное да Макарихи, — думала Наталья, на весь мир негодуя, — то, чай, и у меня будут такие...»

Кто-то шепнул ей сзади на ушко, сладострастно и нежно:

— Ах, вот ты где... счастье мое.

Это был он! Лопухина, даже не обернувшись, отвечала:

— Я вас ненавижу, сударь, не подходите ко мне...

Рейнгольд Левенвольде встал прямо перед нею — беспощадно соблазнительный и яркий, как петух в брачном оперении.

— Ты сердисься? — спросил он, хохоча. — За что?

— Вы неумелый любитель, — отвечала ему Наталья, трепеща тонкими ноздрями. — И более махаться* с вами я не стану. Найдутся махатели и другие — поопытнее вас, невежа!

— Дитя мое ненаглядное, — сказал ей Левенвольде, — ну стоит ли огорчаться глупостями? Разве не я выказал тебе знаки признательности? Даже когда обручался с дурую Черкасской ради того лишь, чтобы из ее шкатулки осыпать тебя бриллиантами.

— Все послы до меня наведывались, о тужениях моих справлялись. Один вы изволили где-то отлучаться... Даже супруг мой Степан Васильич (боже, золотой человек!) и тот не раз меня спрашивал: «Чего же о т е ц не едет?»

— Я ездил на свои Ряппинские фабрики, — пояснил ей Левенвольде. — Я не последний фабрикант бумажный, и я... поверь, близок к отчаянию! Ах, если бы не тряпки... нигде нет тряпок! Полно отрешев на Руси, но тряпок для бумаги нет. Никто из русских не желает с обносками своими расставаться. Мне говорят: им нечего носить. Хоть раздевайся сам, весь гардероб пусти на тряпки...

Тут стал он хвастать произведениями фабрики своей. Бумажный пудермантель, чтобы в час куаферный, когда столбом взлетает над прической пудра, тем мантилем красавица могла укрыться. А вот

* М а х а н и е — так в XVIII в. называлась любовь, флирт. М а х а т е л ь — любовник. Эти выражения часто использовались в быту и в поэзии того времени.

бумажные картузы, в которых удобно жареных гусей или индюшек хранить в дороге длительной. А разве плох стаканчик из картона? Удобный и дешевый, попил из него и выбрасывай — его ведь не жалко... Наталья разодрала пудермантель в клочья, рванула с треском картуз бумажный, стаканчик растоптала каблуком туфли.

— Другие-то мужчины, — прослезилась она, — когда к ним женщина пылает, ей бриллианты дарят, а вы... Как вам не стыдно бумагой соблазнять меня? Вы поглядите только на эту Остерманшу... Какая наглость! Так блистать...

— Ах, вот в чем дело, — догадался Левенвольде. — Вот отчего твои прекрасные глаза наполнены слезами... Меня ты любишь, это я знаю. Но хочешь, как всегда, лишь камушков блестящих.

— Хочу! Но только не от вас, мужчина подлый и неверный.

— Согласен и на это, — ответил ей Рейнгольд. — Ты их получишь в этот раз не от меня, а... от самого князя Черкасского.

— Нельзя же, — вспыхнула Наталья, — чтоб вы еще и махателей для меня избирали. Я сама избираю их для себя.

— Мы избираем не любовника тебе, а только... бриллианты! — тихонько прошептал ей Левенвольде.

Лопухина окликнула лакея с подносом. Взяла от него бокал с лимонатисом... Левенвольде отпрянул в сторону.

— Оставь эти шутки! — крикнул он, бледнея.

Лопухина со смехом показала ему перстень — розовый.

— Не бойся, дурачок. Уж если я тебя и отравлю, то сделаю так, что ты и не узнаешь, отчего помер...

Наутро после бурной любовной ночи Наталья Лопухина проснулась и заметила, что на пальце нет заветного перстня.

— Верни сейчас же... это мой! Ты подарил мне его... Верни, верни, верни. Прошу тебя, Рейнгольд: я так к нему привыкла...

Левенвольде дал ей пощечину — она забилась в рыданиях.

— Тот перстень больше не получишь. Смотри сюда...

Он раскрыл шкатулку и выбрал из нее старинный перстень в древнем серебре, и был в нем камень — черный, как кусок угля.

— Теперь носи вот этот. И помни: в цвете он не меняется. Заклинаю всеми святыми — будь осторожна, Наталья, этот яд опаснее всех других. От него человек умирает в страшной тоске. А русские вельможи, поверь, будут тебе лишь благодарны. Остерманша позеленеет от зависти, когда увидит твои бриллианты.

Лопухина примерила черный перстень на свой палец.

— Ты не сказал мне главного — кто этот человек?

— Он очень вредный. Его боятся все. Со своими проектами он забирается даже в наши дела — дела Курляндии, чего простить ему нельзя... Черкасский-князь будет тебе особенно благодарен!

— А-а-а, — догадалась Лопухина, — так это обер...

Рейнгольд захлопнул ей рот.

— Не надо говорить, — сказал он ей. — Будь счастлива, дитя. И, что ни делаешь, все делай с улыбкою очаровательной. Кто же поверит, что ты, Венера русская, способна яд просыпать в бокал соседу? Никто и никогда... И даже я, любовник твой, не верю в это... О, как ты хороша! О, как прекрасна ты!

Был холодный и ясный день. Анисим Александрович Маслов проснулся дома, на своей постели. Вчера было много пито у Платона Мусина-Пушкина, человека приветного, старобоярского. За окном белело свежо и утешно — ночью выпал первый снежок. Еще с детства Маслов любил эти дни, когда первые снежинки робко сеются на землю. И всегда радовался этим дням. А сегодня снег испугал его.

Он приподнялся, и волосы его... остались на подушке.

— Дуняшка, — позвал он жену, хватаясь за лицо (и брови отпали сами по себе). — Проснись, женка... Кажется, не мытьем, так катаньем, а меня добили. И даже не больно! — удивился он. — Но отчего такая тоска? Боже, какая страшная тоска... Ой, как скушно-то мне! — вдруг дико заорал Маслов...

Навзрыд рыдала у постели жена — верная, умная:

— Горе-то, горе... Сказывала я тебе — отступись!

Маслов ладонью сгреб с подушек на пол свои волосы:

— А вот и не отступился... Выстоял! Ой, как скушно мне...

Потом день померк, и глаза обер-прокурора лопнули, стекая по щекам его гнилою слизью. Боли не было. Но яд был страшен, разлагая человека заживо. Язык распух — вылез изо рта. Желтыми прокуренными зубами Маслов стиснул его. Говорить он перестал.

Вскоре он умер, а граф Бирен переслал его семье заботливое, сочувственное письмо. По первопутку, по снежку приятному, повезли Маслова на санках в сторону кладбища... Ох, как обрадовались его смерти в Кабинете — князь Черкасский даже возликовал.

— Никого! — говорил Остерману. — Никого более на пост обер-прокурорский не назначать. Хватит уже крикунов плодить...

Бессовестная Лопухина вскоре явилась при дворе с таким убранством на шее, что все ахнули от сияния алмазов. Но тут к ней подо-

шла, от гнева трясясь, княжна Варька Черкасская и стала рвать кольцо с красавицы продажной.

— Отдай! — кричала фрейлина статс-даме. — Отдай, воровка... Это мое... это из моего приданого!

Лопухина отбрасывала от себя руки княжны:

— Врешь, толстомясина... отпусти! Мне подарили...

— Кто смел дарить из сундуков моих?

Таясь за спинами лакеев, уползал черепахой князь Черкасский.

— Я знаю, за какие дела тебя бриллиантами украшают... Я все знаю! — орала Варька и лезла в лицо Лопухиной, чтобы оцарапать ее побольнее, чтобы красоту эту мраморную повредить.

Статс-дама с фрейлиной постыдно разодрались, как бабы чухонские на базаре. А были здесь и дипломаты иностранные, которые все примечали. Виновных с бранью выгнали из дворца. Велели дома тихо сидеть. Долгий путь проделали эти бриллианты, пока от сундуков Варькиных добрались до шеи Лопухиной, но об этом знали лишь самые высокие персоны в империи...

А где похоронили Маслова, того до сих пор никто не ведает.

Поле осталось ровное — будто и не жил никогда человек.

Глава тринадцатая

Маслов умер как раз в те дни, когда в морях Европы затихал небывалый шторм. Страшная буря пронеслась в морях Северных, она захлестнула зеленую Бретань, долго трясла меловые утесы Англии.

Шторм затихал... Некий издатель шел по берегу моря, когда увидел, что волны прибивают к берегу сундук. Издатель вытащил его из воды, разбил ржавые замки. А внутри сундука лежала рукопись — «Letters Moscovites» («Московские письма»). И вскоре Париж выпустил в свет книгу с предуведомлением от издателя, что автор книги, очевидно, погиб в море нынешней осенью. Все понимали: буря была, корабли гибли, сундуки на берег выкидывало. Но никто не находил в сундуках никаких рукописей. Это обычная уловка издателя, дабы оставить автора в неизвестности.

Автор где-то здесь, он среди нас... О нем известно лишь, что он итальянец. Массон высоких степеней. Он был арестован в Казани на пути в Сибирь, когда ехал с русскими учеными в экспедиции Витуса Беринга на Камчатку... «Вы, мадам, уже читали?»

Осенью все знатные англичане спешают в графство Сомерсет, чтобы там, на теплых водах Бата, пережить слякотную зиму. Бат — это

Версаль на британский манер. Возле купальных терм, строенных еще холеными римлянами, отец короля Лира создал уютный уголок. По преданью, в этих водах Балдуин излечил себя от проказы, и памятник прокаженному королю теперь глядится с высоты в бассейны — весь в язвах, страшный... Какой заразы не подцепишь в этих батских ямах! Любовь, о всемогущая! Она цветет и здесь — в воде бассейнов под взглядом королей давно усопших...

В эту осень князь Антиох Кантемир тоже отбыл из Лондона на воды Бата. Посол был болен, а дух его сатир угас вдали от России. Теперь он лишь приглаживал пороки людские. И восхвалял князь нищету, печаль, смирение. Персон вельможных Кантемир уже не беспокоил острием пера своего. Паче того, сидя в Лондоне, князь Антиох даже переделывал сатиры, писанные в юности, чтобы убрать из них любой намек на личность. И муза поэта — вдали от родины — бес- сильно сложила ошипанные крылья.

Меня рок мой осудил писать осторожно...

Возле заставы Бата посла встретили бродячие музыканты и сопровождали его коляску через город, пока не сыскал себе квартиры. Повадились ходить к послу брюхатые эскулапы, наперебой предлагая свои услуги. С утра звучала музыка со стороны купален, по гравию дорожек скрипели колеса, дразняще звенел с улиц смех женский...

— Боже, отчего я так несчастен? — страдал князь Кантемир.

Утром ему принесли холстинные штаны и куртку для купания. Повсюду качались паланкины, в которых наемные бродяги несли женщин, одетых в длинные коричневые капоты. Посол России бросился в спасительные термы. К нему уже плыла английская ундина, толкая пред собой дощечку буфета. В буфете же плавучем хранились табакерка, коробочка с мушками и вазочка с леденцами. Кантемир поплыл за красоткой. Он развлекал ее рассказами о своих болезнях. О спазмах в желудке, о слабости груди, о меланхолии привычной. Холстинные штаны и куртка, намокнув, тянули поэта на дно. Прелестница его покинула... После купанья Антиох вернулся домой на носилках. Выпив три стакана горячей воды, поэт завернулся с головой в одеяло и быстро заснул.

Вечером его разбудил визг ставни и далекая музыка. Выл в подворотне ветер. Кто-то поднимался по скрипучей лестнице, держа в руке свечу, и тени стоглавые метались по стенам. Вот он вошел и брякнул шпагой. Задел за стул и чертыхнулся. Потом на стол перчатки свои шлепнул и произнес:

— Это я, не пугайтесь... ваш Гросс. Нас ждут дела, посол: пакет из Петербурга, от вице-канцлера Остермана.

Секретарю посольства Кантемир сказал:

— Читайте сами, добрый Генрих... Я слепну. Умираю я...

— Ну, бросьте, — отмахнулся секретарь. — Вы ж молоды еще!

Гросс прочитал письмо. Остерман внушительно и жестко приказывал послу расправиться с «Московскими письмами», изданными в Париже. Остермана заботил сейчас перевод книги на язык английский... Он требовал от Кантемира:

«...всякое возможное старание прилагать, чтоб изготовленный на английском языке с оной книжки перевод к печатанию и публикации в народ пущен не был, но наипаче она книга, яко пасквиль, надлежащим образом и под жестоким наказанием конфискована и запрещена была...»

— Мне рук не хватит, — сказал Кантемир, — чтобы из купален Бата до министерств парижских дотянуться. Какое «жестокое наказание» могу я англичанам учинить?

— Посол, велите подать мне вина, — сказал Гросс.

— Я только воду пью. Я же сказал, что умираю... Вы не могли бы, Генрих, достать мне книгу Демо о возношенье человека к Богу?

— Вы в самом деле, — засмеялся Гросс, — на водяном пойле и духовном чтении протянете недолго... Пока я пью вино, вы, князь, оденьтесь потеплее. Сейчас погоним лошадей обратно — в Лондон!

Прибыв спешно из Бата в Лондон, посол сразу отправился в кофейню «Какаовое дерево», где застал французского посла Шавиньи.

— Я, — сказал он Шавиньи, — поставлен в неловкое пред вами положенье. Мне из России предписано добиться сожжения в Париже «Московских писем» через... палача! Возможно ль это, граф?

— Конечно нет, — ответил Шавиньи. — А разве в этой книге оскорблено достоинство его величества короля Франции?

— Нет. Но в ней оскорблено достоинство ея величества императрицы всероссийской Анны Иоанновны.

— Во Франции ее зовут царицей, и нам, французам, нет дела до ее капризов... К тому же мой посол, — добавил Шавиньи, — в «Московских письмах» правдиво сказано, под каким ужасным гнетом пребывает народ русский. Иль вы осмелитесь отрицать это?

— Кто автор этой книги? — наобум спросил его Кантемир.

— Он потонул, по слухам... Спросите у морей и океанов!

— Как передать слова мне ваши в Петербург?

— А так и передайте, что Париж... далек от Петербурга.

Полыхали костры на улицах, разведенные для обогрева караульных. Под вечер в доме графа Бирена собрались — все в тревоге! — братья графские, Густав и Карл Бирены, граф Дуглас, Менгдены, Бреверны, Ливены; явился вице-канцлер Остерман, натертый салом гусиным; принц Гессен-Гомбургский приехал, и Кейзерлинг прибыл (безбожный Корф не пришел, всех презирающий). Из русских же здесь был один — великий канцлер Алексей Черкасский, угодлив, толстомяс, противен и пыхтящ...

— Произошло нечто ужасное, — говорил Остерман, в платок пуховый кутаясь по-бабьи. — В Париже, в этом средоточье скверны, недавно вышла зловредная книжонка «Lettres Moscovites». В тисненье первом она мгновенно раскупилась. Париж охотно слизал тот яд, что по страницам густо так набрызган и... Это б не беда! Мало ли чего в Париже не выходит. Но «Письма из Москвы» стали колесить по всей Европе... Вот вред! Вот катастрофа!

— Там обо мне сужденья есть? — спросил граф Бирен хмуро.

— Никто не пощажён, — ответил Остерман и на глаза себе поспешно козырек надвинул. — Особливо же, ваше сиятельство, достается всем добрым немцам, у правления Россией состоящих. В книжонке той придирчиво изложено бедственное положение простонародья русского. Все тягости налогов. И система сыска политического со знанием дела выявлена. — Остерман нюхнул табачку, но не чихнул, табакерку аккуратно спрятал. — О пытках в застенках наших изрядно говорится в книжке этой.

— Да врут, наверно, все! — заметил Бисмарк, шурин Бирена.

— Увы. Там наши тайны многие открыты.

Вперед выступил принц Людвиг Гессен-Гомбургский.

— Надеюсь, — заявил, — что о моей персоне благородной там сказано лишь самое хорошее и мой полководческий гений прославлен?

Остерман, съежась в коляске, отвечал принцу с презрением:

— О дураках в той книжечке — ни слова нет.

Принц сел и стал ждать, когда граф Бирен позовет к ужину.

— Нас кто-то ловко п р е д а л, — точно определил Кейзерлинг.

Бирен вдруг взялся за поручень коляски Остермана и одним могучим рывком закатил вице-канцлера в угол, подальше от гостей.

— Кто автор? — спросил. — Из-под земли достать... Даже если он спрятался в Канаде, все равно — найти и жилы вытянуть ему!

Слой пудры, осыпавшись с парика, лежал на плечах вице-канцлера, и Бирен машинально (не по дружбе) сдул ее с кафтана Остермана, словно пыль с мебели.

— Но автор книжки анонимен, — ответил вице-канцлер.

— Ну хватит дурака валять! Уж вы-то знаете наверно...

— Догадываюсь, что сочинитель этот — Франциск Локателли. Но это и не о н! — со скрипом рассмеялся вице-канцлер.

— Как вас понять?

— А так... Откуда мог заблудший итальянец за краткий срок пребывания в России столь много вызнать тайн двора нашего и секретов государственных? Нужны годы... автор сам должен быть русским!

— Если это не Локателли, тогда к т о же нас предал?

— Не знаю. Но этот человек, судя по всему, отлично знает не только меня, но и близок к в а м, мой граф любезный!

Бирен ногой отпихнул коляску прочь от себя.

— Но только не дерзить мне! — крикнул он Остерману. — Тебя давно пора смолой измазать... Пишите в Лондон князю Кантемиру, чтоб не жалел золота, и пусть та книжка хоть в Англии не выйдет. Я не затем стараюсь, хлопочу, чтобы меня чернили за грехи чужие... Вы слышите? Все — прочь. Я спать хочу! Пошли все вон... А ты, мой славный Кейзерлинг, чего расселся тут, будто король на именинах? Проваливай и ты. Принц Гессен-Гомбургский, ты что — не слышал разве? Иль ужина ждешь?.. Дурак проклятый, холуй, ферфлюхтер подлый... Вон!

Опережая других, в дверях застряла туша князя Черкасского.

— Да протолкните его! — распорядился Бирен.

Кантемир уже не раз по приказу Остермана отыскивал за границей авторов статей о России, от имени Анны Иоанновны он угрожал переломать ноги и руки писателям (будучи сам писателем!). Посол часто рассыпал угрозы перед редакторами лондонских газет, жаловался на издателей в суды и парламент. Ответ всегда был одинаково: «Английский народ волен, и правительство не имеет права стеснять свободу его мысли...» Шутники, да и только! Попробуй доказать это Остерману или Анне Иоанновне. Но сейчас Петербург был особенно настойчив: книга Франциска Локателли напророчила в Европе н е и з б е ж н о е и с к о р о е падение немецкого засилия в России...

А вся клубная жизнь Лондона — в его кофейнях. Спасибо еврею Якобу, который в 1650 году открыл первую харчевню в Оксфорде, — с тех пор джентльмен не мыслит дня прожить без кофейни. С утра до

ночи здесь весело и интересно (иные и домой уже не ходят, в кофейнях спят и даже умирают). Несет от каминов теплом, кипят громадные чайники. Снуют лакеи, разнося газеты свежие и трубки с табаком. Здесь у актера бедного ты купишь билет в театр, здесь писатель продает свои вдохновенные творенья. И тут же, в гвалте клубном, политики порой решают судьбы мира...

Посольский кеб доставил Кантемира к парламенту, близ которого чадно дымила жаркая кофейня «Голова турка». Тут послу посчастливилось застать милорда Гарингтона. Милорд выслушал Антиоха.

— Но я-то здесь при чем? Я лишь министр, а не издатель.

— Прикажете издателям не печатать «Московских писем».

— А... закон? — спросил милорд. — Где вы сыщете закон, который бы воспрещал британцу говорить и писать, что он хочет? Вам известен хоть один билль в парламенте по этому поводу?

— Но вы же министр... вот своей властью и запретите!

— Но воля министра в Англии — ничто перед законом.

— Как можно? В книге той задета честь императрицы нашей...

— Ну и что ж такого? — поразился Гарингтон. — У нас любой газетчик пишет про короля своего открыто, и никто на это не обращает внимания... Я не понимаю, отчего ваша императрица столь щепетильная особа, о которой и слова нельзя сказать? Вы просто дурачите меня, посол! — обозлился милорд. — Не может же разумный человек преследовать другого за его критику...

Кантемир отступил в бессилии. Анна Иоанновна вскоре указала Антиоху, чтобы он сам написал «Московские письма». Европа хватится их читать — ан, глядь! — это не Локателлевы, а другие «Письма», где мудрость государыни и благоденствие ее подданных во всей красе предстанут. И князь Кантемир засел за писание того, как хорошо живет людям русским и во всех краях империи только и слышно, как гудит набат хвалы мудрому правительству Остермана — Миниха — Бирена — Бревернов — Менгденов и прочих...

С кривой усмешкой Генрих Гросс заметил послу:

— Не скушно ли, поэт, вам делать то, чего бы лучше не делать?

— Вся власть от бога нам дана, — отвечал сатирик.

— Вот, кстати, вспомнил, — сказал Гросс, хитрейший проходимец и масон. — Хотите посмотреть на человека, который на Остермана чуму наслал? Он ныне здесь... в Лондоне. Его можно застать по вечерам в кафе у Ллойда. Не съездить нам? Не посмотреть?

— Что значит — посмотреть? Его я должен связанным доставить в Петербург для наказания сурового.

— Ну что ж. Попробуйте связать, посол...

В кафе у Ллойда (что на Ломбард-сити) князь Кантемир бывал не раз: там всегда для русской службы сыщешь и капитанов опытных, и мастеров шить паруса, там все известия с моря — самые свежие!

— Вот он, Локателли, — исподтишка показал Гросс. — Сидит под барометром. Тот, что ни сух, ни жирен. Собою смугл. Глаза большие. И нос громадный. Торгует секретами лекарств ко здравью любви и страсти пылкой... Рискнете подойти к нему, посол?

Кантемир шагнул к Локателли, приподнял шляпу:

— Уж не вы ли это по России знатно путешествовали?

— Прекрасная страна! — причмокнул Локателли. — И люди славные, но им не повезло на управителей... А я вам, сударь, понадобился, очевидно, не ради снадобий моих?

Локателли незаметно растворил два пальца, словно циркуль: это был масонский вызов — брата к брату. Еще два знака на скрещенных пальцах, и Гросс, как рыцарь ложи Кадоша, вдруг понял, что Локателли на много градусов выше его в масонстве всемирном. Тогда пальцы Гросса — за спиною посла — сложились в щепоть, означая повинование профана метру. Локателли усмехнулся, довольный своим могуществом над людьми. Он бросил вилку поперек ножа: особый знак — «приказываю... повинуйся!».

При этом он заметил Кантемиру:

— Знайте же! Если хоть один волос падет с головы моей, то все великие и тайные силы, что магически лежат на теневой стороне мира, все эти силы будут приведены в действие, и машина Великого Братства Человечества, искушенного в тайнах вольных каменщиков, будет работать до тех пор, пока от вас, посол, не останется в гробу сухой порошок... А теперь — прочь от стола!

Гросс властно подхватил Кантемира за локоть, потянул из кафе Ллойда на улицу — прочь от этих глаз, прожигающих насквозь. Трясь в потемках кеба, князь Антиох сказал:

— Таинственно масонства естество. А ваше братское согласие столь могущественно, что я желал бы принадлежать вашему ордену.

— А вы нам не нужны, — отвечал Гросс сухо. — Вольные каменщики не признают власти земных правительств. Внешние владыки мира сего для нас только гниющий т л е н!

Анна Иоанновна звала на свою половину Елизавету Петровну.

— Ну, сударыня, — сказала цесаревне, — небось уже слышана о побасенках Локателлевых? Мне да министрам моим Европа гибель скорую накликает. А пишу так: сидеть тебе на престоле моем!

Елизавета бухнулась в ноги императрице:

— О чем вы, матушка? Да и в мыслях у меня того не бывало...

Большие грубые руки Анны Иоанновны обрушились на нее.

— Моей смерти выжидаешь? — кричала императрица. — Так вот на же тебе... Убью! В монастырь заточу! Дымом удуш, словно крысу! Не бывать тебе, шлюхе казарменной, на престоле дедов моих. После меня сядет на Русь твое чадо, кое от племянницы моей уродится...

Тишком, гвалту не делая, велела императрица Ушакову:

— Ты, Андрей Иванович, доподлинно для меня выясни, с кем этот Локателлий аудиенцы здесь имел? И мне доложи праведно...

Тайная розыскных дел канцелярия задним числом перебрала всех лиц, с которыми виделся Локателли в Петербурге и с кем добрался до Казани, где и был тогда арестован. Имена астронома Делиля, офицеров флота из экспедиции Беринга подозрений особых не вызвали. Но ведь кто-то был, сумевший передать для Локателли рассказ правдивый о бедствиях народа русского... Кто он, человек сей?

— Ну вот, матушка, — вскоре доложил Ушаков, — как и велела, я выяснил, что две персоны беседы приватные с Локателли имели... Назвал бы их тебе, да страшно называть, — помялся Ушаков.

— А ты не бойсь — руби сплеча.

— На подозренье двое у меня: Волынский и барон Корф всяко тут с Локателлием возились... Уж не масоны ли персоны эти знатны?

Анна Иоанновна умом пораскинула:

— Не станет же Волынский корову бить, которая ему молоко дает. А... Корф? Верно, что безбожен он и философ проклятый. Но он же предан мне. Смешно сказать, под сорок мужику, а он, кажись, в меня влюблен, и то мне лестно... Все возраженья на «Московские письма» издать чрез Кантемира поскорее надо. Издать во Франкфурте-на-Майне, благо сей город пупом является в Европе. Ступай...

...Ученые долго спорили об этой книге Локателли. Заезжий итальянец лишь выпустил в свет книгу. А кто собрал весь материал для нее? Историки догадываются, что это сделал Артемий Петрович Волынский, кандидат на высокий пост кабинет-министра.

В этом году Волынский уже ступил на острие ножа и дальше будет идти вдоль самого лезвия, балансируя ловчайше над пропастями добра и зла. Сделав зло, он сделает и добро.

Глава четырнадцатая

Положи меня, как печать, на сердце твое;
как перстень на руку твою; ибо крепка, как
смерть, — любовь моя; люта, как преиспод-
ня, — ревность моя; стрелы ея — стрелы
огненные.

Песнь песней, VIII, 6

Из всех сибирских крамольников Егорка Столетов слабее всех душой оказался — на него-то сразу Ушаков прицелился, слабость эту приметив по опыту, и первый вопрос поставил ему такой:

— Ну ладно. Простим тебе в с е, прежде показанное тобою, ежели сознаешься — что еще, более тягчайшее по злоумышлению, ты за собою или за другими показать можешь?

Егорке бы молчать, а он разболтался:

— Князь Михайла Белосельский с герцогинею Мекленбургской, матерью принцессы Анны Леопольдовны, блудно жил. И для похоти травками тайными себя и ее окармливал. А сама герцогиня сказывала Михайле, будто сестрица ее, Анна Иоанновна, живет с графом Биреном на немецкий лад, не по-нашески. А губернатор Жолобов того графа Бирена колодкой сапожною на Митаве лупливал. И говорил, что за разодрание кондиций того Бирена убить готов...

— Стой молотить! — заорал Ушаков и велел всем лишним из допросной комнаты удалиться (такие слова не каждый слышать должен).

Князь Михайла Белосельский с умом на допросах держался:

— От герцогини Екатерины Иоанновны Мекленбургской я отведал разок любительски, травок ей не давал, а ради интереса мужского сам пробовал, в чем каюсь и прошу снисхождения у судей моих...

Ком обрастал. Трясли массу людей уже, поднимали дела старые, еще от Преображенского приказа оставшиеся. Но изворотливее всех оказался князь Белосельский*, ужом вылезал из любых тисков.

— Тебе бы, князь, у нас служить, — похвалил его Ушаков.

Белосельский даже свой грех плотский с Дикою герцогиней (уже покойной) сумел каким-то чудом на невинного Егорку Столетова перевалить. Тому бы молчать, а он опять понес на себя.

* Князь М.А. Белосельский (1702–1755), впоследствии адмирал и президент Адмиралтейств-коллегии; по делу Столетова был сослан в Оренбург на вечное житие; ни в чем не сознался; один из первых русских навигаторов Аральского моря; является родным дедом княгини Зинаиды Волконской, известной своей дружбой с декабристами и А.С. Пушкиным.

— Греховно помышлял, верно, — говорил Егорка. — Ежели другие с герцогиней лежали, то и мне полежать с ней часто хотелось...

Тут пришло время и Балакирева трясти (за ним немало смелых афоризмов числилось). Бирен в назидание велел Ушакову:

— Только не бейте шута по голове: голова Балакирева еще пригодится, чтобы смешить всех нас в скверные минуты жизни...

Как только Балакирев в застенках пропал, в народе ропот пошел. Ропот из Питера на Москву перекинулся. Шутки шутками, а тут стало императрице боязно. Б у н т а — вот чего боялась она и велела Балакирева, не мучая, вновь ко двору своему вернуть. Понемногу арестантов распахивали: кого под плети, кого под клещи, кого под топор. Казалось, люди выжаты уже до последнего вздоха. Многие показали с пыток и то, чего никогда не было. Но тут вмешалась Анна Иоанновна, жалости никогда к людям не имевшая, и повелела об Егорке Столетове особо:

— Чрез священника синодского сподобить преступника таинств святых, и, когда душою размякнет, священнику его допросить. А коли не скажет дельного, то опять пытаться нещадно...

Дважды нарушалась тайна церковной исповеди: один раз в Екатеринбурге — Татишевым, вторично в Петербурге — самой императрицей. С последними каплями крови исторгли из Егорки признание такое:

— А когда в Нерчинске голод был, то четверть муки двенадцать рублей стоила. Я же по шесть копеек имел на день, и от тех копеек нищим подавал. И, подавая, просил я нищих в Сибири Бога молить, чтобы на престоле цесаревна Елизавета была...

И вот снова вздернули на дыбу Алексея Петровича Жолобова; после клеветы и низости раздался в застенке покорный голос:

— Мне ли бояться вас, проклятых мучителей? К иноземной власти народа русского нам все равно не приучить... Коли где колокола звонят, так все слушают: «Уж не к бунту ли? Мы бы рады были». А на Митаве, будучи комиссаром рижским, я Бирена и правда, что бил не раз. И тому случаю радуюсь. А ныне передайте ему, что я его не забыл. И есть у меня вещичка курьезная, из Китая вывезенная. Двенадцать чашечек, одна в другую вкладываются. Подарю их...

«К чему бы эти подарки?» — Ушаков не понял и Бирена позвал. Пахло в застенке пытошном кровью тлетворной и калом человеческим: люди, бедные, боли нестерпимой не снеся, под себя ходили. Бирен вошел в застенок, нос платком зажимая, глянул на Жолобова:

— Но я этого человека не знаю...

Жолобов — голый — был подтянут на дыбе к закопченному полтку, и с высоты он харкнул в графа сиятельного:

— Ах, мать твою так... ты меня не знаешь! Коли не знаешь, так чего же за чашечками китайскими прибежал?

Под ним развели огонь. Жолобов опустил голову.

— Сейчас, — простонал он, — буду я тебя судить, граф. Слышал ли ты о пире царя вавилонского Валтасара? Много народу погубил Валтасар, много блудил и грабил... вроде тебя, граф! А когда осквернил он сосуды священные, на стене дворца его рука неведомая начертала слова предивные: «Мене — текед — фарес»!

— Он безумен, снимите его, — сказал Бирен.

Ушаков огрел Жолобова плетью, стыдить его стал:

— Мужик ты старый, а на што сказки разные сказываешь?

— Сие не сказки, — отвечал Жолобов, телом вытягиваясь. — В душу народа российского, яко в сосуд священный, наплевали вы. Но и сейчас рука неведомая пишет уже на стенах палат ваших, что все зло сосчитано, вся пакость взвешена, все муки учтены. А мои слова... даже не вам, палачам!.. они самодержавью — упрек!

— Да снимите же его, — велел Бирен.

С тех пор как Анна Иоанновна — в презлобстве своем — сослала на Камчатку сержанта Шубина, цесаревна Елизавета скучала много. Продовольствие она от двора имела, а в любви пробавлялась тем, что бог пошлет. И бог не обижал сироту — когда солдата пошлет, когда монашка резвого. Цесаревна в любви не тщеславна была: хоть каторжного подавай, лишь бы с лица был приятен да на любовь охочим. С подругой своей Салтыковой, урожденной Голицыной, цесаревна посещала по ночам даже казармы гвардейские. Иностранные послы доносили дворам своим, что из казарм Елизавета Петровна выносила «самые жгучие воспоминания».

А жить ей невесело было. Локателли какой-то там книжку пропечатал — она в подозрении. Егорка Столетов сболтнул что-то с «виски» — опять ее треплют. Тетенька на руку была тяжела: била Елизавету всласть, в мерцании киотов, при дверях запертых. С горя цесаревна однажды в церковь придворную пришла, в пол сунулась.

— Боженька, — взмолилась, — да полегчи ты мне... полегчи!

В церкви было хорошо, хвоей пахло. Темные лики глядели с высот. И пели на клиросе малороссы... ах, как они пели! От самого полу Елизавета подняла на певчих свои медовые глаза. Стоял там красивейший парень. Верзила громадный. Лицо круглое, чистей-

шее. Брови полумесяцем. Губы — как вишни. И пел он так, что в самую душу цесаревны влезал... И про Бога забыла Елизавета: «Н у, э т о т — м о й!» — решила твердо. Даже ноги заплетались, когда шла к полковнику Вишневскому, который при дворе Анны Иоанновны регентом хора служил.

— Сударь мой, — спросила ласково, — уж какой-то там певчий новенький у вас? Экие брови-то у него... ну, словно сабли!

— Он и на бандуре неплохо играет, — отвечал полковник. — Зовут его Алешкой Розумом, я его недавно вывез с Украины, где в селе Лемешах он стадо свиное пас...

По-женски Елизавета была очень хитра. Пришла она к Рейнгольду Левенвольде, который по чину обер-гофмаршала всеми придворными службами заведовал, и тут расплакалась:

— Уж самую-то малость я для себя и желаю. Листа лаврового от двора просила, так и то дали горсточку, будто нищенке какой. Дрова шлют худые, осинового: пока растопишь их, слезьми умоешься. Одно и счастье осталось — церковное пение послушать...

Левенвольде вскинулся в удивлении (он, не в пример другим немцам, к Елизавете хорошо относился):

— Ваше высочество, и лист лавровый и дрова березовые пришлю вам завтра же... из дома своего! А церковь придворная для вас никогда не затворена. О чем вы просите, принцесса?

— Дайте мне Розума Алексея, — вдруг выпалила цесаревна. — Уж больно мне голос его понравился... Пусть утешит!

— Ваше высочество, берите хоть кого из хора.

На миг закрался в душу страх — перед императрицей.

— А тетенька моя по Розуму не хватится? — спросила.

— Да кому он нужен, болван такой... забирайте его себе!

Елизавета дом имела в столице — на Царицыном лугу, но жить не любила в нем. Ей больше Смольная деревня на берегу Невы нравилась, близ завода флотского, который для нужд корабельных смолу гнал. И вот — с бандурой через плечо — пришагал певчий в Смольную деревню. Елизавета свечи зажгла, всю дворню разогнала. Вдвоем они остались... И проснулся свинопас под царским одеялом, а рядом с ним — пресчастливая! — лежала сама «дщерь Петрова».

Стали они тут жить супружно. Оба молодые. Оба здоровые. Оба красивые. Им было хорошо. Играл свинопас цесаревне на бандуре своей, пел для нее песни украинские. А на столе Елизаветы были теперь галушки в сметане, борщи свекольные, кулеши разварные. От такой пищи Розум даже голос потерял. А цесаревну стало развозить,

как бочку. Поехала она смолоду вширь — платья трещали. От стола вечернего да в постель. Иных забот и не было.

Певчий знай подставлял себя под поцелуи цесаревнины.

— И не надо мне даже короны! — говорила ему Елизавета. — Лишь бы дали пожить спокойно, чтобы в монастырь не сослали.

— Воля ваша, — отвечал скромный фаворит. — А мне бы только поесть чего-либо со шкварками. Да чтобы горилкой за столом не обнесли меня. Я вам так скажу, Лисаветы Петровны, краса вы писаная: судьбой премного доволен. Ежели б не случай, так и поныне бы хряков хворостиной гонял. По сю пору мне свиньи еще снятся!

Средь ночи Елизавета проснулась, подушки поправила.

— А отчего тебя, Лешенька, Розумом кличут? — спросила, зевая сладостно. — Или умен ты шибко?

— Да где мне умным-то быть! — отвечал Розум. — Это батька мой, коли пьян напьется, так всегда про себя сказывал: «Ой, що то за холова, ой, що то за розум у мини...» За это и прозвали так.

— А зваться Розумом, — рассудила Елизавета, — отныне тебе смысла нету. Я придумала: будешь ты Разумовский, и я тебя в экономы свои назначу, дабы дурного о нас никто не подумал...

Елизавета и сама не заметила, как вокруг нее сложился двор. Из людей молодых, башковитых, мыслящих, за родину страдающих. Это были захудалые дворяне — братья Александр и Иван Шуваловы, Мишка Воронцов и прочие; своим человеком среди них и заводилой каверз разных был лейб-хирург Жано Лесток... Все они кормились близ цесаревны, еще не ведая, какая высокая им предначертана судьба. Но даже неистовой энергии этих людей не хватало на то, чтобы разбудить Елизавету от обжорной и ленивой спячки.

Елизавету разбудит от этого сна удивительный человек, имени которого она сейчас даже не знает. Как сказочный рыцарь к спящей царевне, он придет к Елизавете, издалека — совсем из другой страны, прямо из Версаля! А сейчас она сыто живет и тому рада...

.....
На Сытном рынке людей казнили, и первой скатилась голова Жолобова... Перед смертью он успел крикнуть в толпу:

— Эй, сударики! Почем сегодня мясо человечьё?

— Подешевело! — отвечал ему из толпы голос дерзостный...

Столетову отрубили голову, когда он был уже почти мертв после пыток. Обезглавленные трупы — под расписку — сдали причту храма Спаса Преображения, чтобы похоронили, кандалов с трупов не снимая. Так погиб первый поэт России, песни которого можно было

п е т ь, не сломав себе языка при этом. Ибо до него, до амурных романсов Егорки Столетова, стихи таковы писались, что не только пропеть их, но порою выговорить было невозможно...

Прощай, Егорка! Худо-бедно, но ты свое дело в этом мире, как мог, так и сделал, и на этом тебе спасибо нижайшее. Через 200 лет (при прокладке рельсов трамвайных) найдут твои кости, перепутанные цепями. Но отшвырнут их в сторону, как неизвестный прах.

История умеет вспоминать — история умеет и забывать!

Глава пятнадцатая

Корф не оставил своих мыслей о русских юношах, которые бы в науку приходили. Но тут новые дела отвлекли его. Анна Иоанновна велела Корфу — через каналы научные — сыскать в Европе доброго мастера дел литейных. Чтобы он ей колокол отлил, да не просто колокол, а... ц а р ь-колокол! В ответ на это парижский литейщик Жермен ответил Корфу, что русские ш у т я т; знаменитый колокол «Бурбон» на Нотр-Дам весит 650 пудов, а это... предел!

Анна Иоанновна с огорчением выслушала об отказе Жермена:

— Пишите на Москву дяденьке моему Салтыкову, чтобы мастеров сыскал природных. Со своим проще дело иметь: коль не справятся, драть их будем как коз сидоровых...

Москва издавна вздымала к небесам золотые главы своих храмов. Кто не знает на Руси знаменитых голосов «Сысоя» и «Полиелейного»? От них рассыпались на весь мир дивные перезвоны, для человека радостные, — сысоевский, акимовский, егорьевский и будничный. Секрет красоты звонной еще и в том, что в Европе сам колокол раскачивают, а на Руси колокол не тронут — в него языком бьют. Ныне же Иван Великий стоял пуст: не благовестил. Уже два царь-колокола повисели под облаками, но ликовали они недолго — разбились. А теперь в симфонию заутрен московских надобно включить могучую октаву третьего царь-колокола — небывалого.

Московскому губернатору Салтыкову, дяде царицы, били челом два человека Маторины — отец Иван да сын его Михайла.

— Сможете ли отлить? — сомневался граф Салтыков. — Велено мне застрашать вас, прежде чем за работу возьметесь.

— На словах да клятвах, — отвечали ему отец с сыном, — колокола не отольешь. Не станем божиться. Повели начать, а мы уж постараемся... Осколки от «царей» прежних переплавим, олова еще догрузим.

А сколько уж там пудов получится, пушай после нас внуки колокол вешают, коли у них весы добрые сышутся.

— Ой, не завирайтесь, мастера! — грозился Салтыков...

И рыли в Кремле яму глубокою; больше миллиона кирпичей обжига особого спекли в печах и теми кирпичами опоку выложили. Холодна яма в земле, мерзнут в ней работнички. Но скоро здесь забушует геенна огненна, и тогда кирпич красный станет цвета белого — велик жар! Но и страх зато велик. Старик Маторин и сын его Михайла — люди смелости небывалой: такими деньгами стали ворочать, какими бы и Миних не погнушался. Тысячи рублей летели в эту прорву сырую, в пекло ямы будущей плавки, и говорил отец сыну:

— Ладно, колокол мы им отольем. А вот сышутся ли гениусы на Руси, чтобы эту махину сначала из ямы вызволить на свет божий, а потом водрузить и выше — на Ивана Великого? Как бы храм не присел к земле от тяжести колокольной...

Заревел в яме огонь. Нестерпимый жар сразу истребил бороды у Маториных, седую — отцовскую, русую — сыновью. Пеплом осыпались брови с опаленных ликов мастеров. Подбегали солдаты с ведрами — водой литейщиков окатят, а сами прочь от пекла бегут. Но случилась беда: металл прорвало клопочущий, огонь сожрал бревна машины подъемной, все прахом пошло. В глубокой яме, которая светилась в ночи, словно глаз издыхающего вулкана, осталась груда металла, который не скоро теперь остынет. Старик Маторин, плача, ушел... Возле ямы остался сын. Прожженную рубаху его раздувал жаркий ветер, летящий вихрем из ямы литейной — столбом к небу.

— Велено мне драть вас, — напомнил граф Салтыков...

Старый Маторин от горя заболел и вскоре умер. А молодой Михайла Маторин, тятеньку похоронив, начал вторую отливку колокола.

— Погоди драть, осударь, — сказал он Салтыкову. — Из-под кнута добрых дел не выскакивает...

Вновь забушевал в яме вулкан — бурлило там и плескалось, грохоча яростно, плавкое олово, навеки скрепляясь со звончатой медью. Москва плохо спала в эту ночь: любопытные да гуляющие теснились для «приглядки», а солдаты били их палками, разгоняя. Колокол — дело государево: на нем сама императрица должна быть изображена. Особенно же лез ближе к пеклу один недотепа юный с раскрытым от удивления ртом. Ему тоже палкой попало.

Под утро в розовом пламени родилось на колоколе изображение самой Анны Иоанновны в пышных робах, державшей в руках регалии власти самодержавной... Маторин прочь от ямы отошел:

— А теперь дерите, кому не лень! Я свое дело сделал...

Стал народец прочь разбредаться. Иные, судача о чудесах человеческих, прямо в кабаки ранние потянулись, чтобы за чаркой обсудить все, как и положено православным.

А юный недотепа с раскрытым от удивления ртом отправился из Кремля в Заиконоспасскую академию, где его встретил Митька Виноградов:

— А тебя, Мишка, ректор сыскивал... Ломоносова спрашивал!

— Не знаешь ли, Митька, за делом каким?

— Указ, сказывают, из Сената объявился. Будто двадцать душ из учеников надобно для Академии питерской.

— Удастся ль нам, сирым, в науки попасть?

— Ты попадешь, оглобля такая, — утешил его Виноградов. — Ты у нас даром что ротозей, а мух ноздрями не ловишь. Тебя возьмут.

— А тебя, Митька? Ты меня разве хуже?

— Могут и под скуфьей до самой смерти оставить...

Указ Сената предписывал ректору: «...из учеников, кои есть в Москве в Спасском училищном монастыре, выбрать в науках достойных двадцать человек, и о свидетельстве их наук подписаться...» Более двенадцати не нашли! На широкую дорогу физики и химии из стен монастыря выходили лишь двенадцать недорослей, и среди них — Ломоносов с Виноградовым... Явился в тулупе козлином поручик Попов, повез учеников в Петербург.

Хорошо ехалось! Даже зуб на зуб не попадал — столь ветром прожигало; одежка-то на всех худая. На дворах постоялых, у притолок стоя, только рты разевали студенты, на других глядя — как едят да пьют. Поручик Попов задерживаться не давал:

— Чего раззявились? Нужду справили? А тогда трогай... Ню!

И прыгали вновь по санкам, кутаясь плотнее, один другого обнимая, чтобы не застыть. Крутились перед ними хвосты кобыльи.

Хорошо ехали. Смолоду ведь все кажется хорошим...

Взвизгнул шлагбаум, осыпая с бревна снег лежалый, открылась за Фонтанной речушкой улица — прямая, каких в Москве не видывали. По улице резво бежали санки... Петербург! Из окон желто и мутно свет лился на перспективу знатную. Фонари зябко помаргивали, слезясь маслом по столбам. И никто из бурсаков опомниться не успел, как санки раз за разом поскидались на широкий простор реки, словно в море ухнули... Не в а! Двинуло сбоку ветром, над конскими гривами запуржило. Мчались кони прямо меж кораблей, которые вмерзли в лед до весны.

— Эвон и Академья ваша, — показал поручик варежкой.

Был день 1 января — Россия вступала в новый, 1736 год.

Город, в котором жил и творил великий Трелиаковский, был наполнен всякими чудесами. С трепетом душевным приобрел Ломоносов в лавке академической книгу Трелиаковского о сложении стихов российских... Дивен град Петра, чуден!

— Ну что ж, — сказал Корф. — Надо бы их встретить поласковой. Велите эконому академическому Матиасу Фельтену, которому я 100 рублей уже дал, чтобы он постели для них купил. Столы, стулья... Кстати, сколько стоит простая кровать?

— Тринадцать копеек, — отвечал Данила Шумахер.

— Вот видите, как дешево. А я целых 100 рублей отпустил... У эконома Фельтена еще куча денег свободных останется!

— С чего бы им остаться? — вздохнул Шумахер.

— Можно, — размечтался барон Корф, — сапоги и башмаки им пошить. Чулки гарусные. И шерстяные, чтобы не мерзли. Белье надо.

— Гребни! — заострил вопрос Шумахер.

— Верно, — согласился Корф. — Каждому по два гребня. Редкий, чтобы красоту наводить. И частый, чтобы насекомых вычесывать... Дабы сапоги свои охотно чистили, по куску ваксы следует выдать. Я думаю, там еще целая куча денег у Фельтена останется.

— Да не останется, барон! — заверил его Шумахер.

Шумахер был опытен: от ста рублей ни копейки не осталось. Матиас Фельтен приходился братом тому кухмистеру Фельтену, на дочери которого был женат Данила Шумахер, — такова родственная подоплека этой «нехватки». Когда тихий дымок над ста рублями развеялся и проступило над Академией серое чухонское небо, статс-контора выдала еще 300 рублей («до будущего указу»). Матиас Фельтен ранее, до службы в Академии наук, содержал павлинов в зверинцах Анны Иоанновны и теперь всюду хвастал:

— От павлинов ни одной жалобы не имел...

Ошеломленные переменой в жизни, студенты пока тоже не жаловались. До ушей барона Корфа бурчание их животов не доходило. Надзирание за бурсаками поручили адъютанту Адаурову, ученику Бернулли. Математик этот разрешил сложнейшие формулы, но никак не мог решить простой задачки. Матиас Фельтен утверждал, что купил двенадцать столов, а студенты сидели за двумя столами... Возникал вопрос: куда делись еще десять столов?

— Ребятки, — осторожно намекал Ададулов, — уж вы мне, как отцу родному, сознайтесь: не пропили ль вы десять столов?

— Да нет, мы столов в кабаке ишо не относили...

По бумагам выходило у Фельтена, что он купил для студентов на рубахи 576 аршин полотна, а студенты приняли только 192 аршина. По бумагам 48 аршин им выдано на «утиральники», а они утирались подолами. Но есть студентам (невзирая на знатное родство Фельтена с кухмистером самой императрицы) совсем не давали. Злее же всех от голода был Прошка Шишкарев, и, будучи нравом прост, он кричал слова зазорные, слова подозрительные.

— Вот! — орал Шишкарев. — Хоша про немчуру и говорят, будто не воры оне, однако мы в самое немецкое воровство вляпались...

И случился грех: в муках неизвестности пред суровым будущим Алешка Барсов спер у Митьки Виноградова два рубля, а у Яшки Несмеянова стащил «платок шелковый да половинку прутка сургуча красного». Велик грех Алешкин! Бить надо Алешку! Нехорошо ты ведешь себя, Алешка! Последнего сургуча лишил ты товарища своего...

— Послушайте, — удивлялся в канцелярии Корф, — не надо быть Леонардом Эйлером, чтобы догадаться: ведь там еще куча денег у Фельтена осталась.

— Да ничего не осталось! — клялся Шумахер.

А тут еще указ вышел: Алешку Барсова «высечь Академии наук у адъюнкта Ададулова при собрании обретающихся там учеников...». Все собрались и с лицами пристойными смотрели, как секут Барсова.

— Как же дале будет? — кричал пламенный Шишкарев, заводила главный. — Эвон Мишка Ломоносов дубина какая вымахал! Ему же не прокормиться с кухни научной... Кады-нибудь до ветру пойдет, в канаву завалится, и все тут!

Скоро до того дошло, что только два студента на лекции ходили. Остальные «ответствовали, что они у себя не имеют платья и для того никуда из палаты выходить не могут».

— Пострадать надо, — говорил робкий Несмеянов, у которого Барсов сургуч спер. — Может, немцы потом и сжалятся над нами.

— Еще чего — ждать! — неистовствовал Шишкарев. — Робяты! Там же много денег отпущено бароном Корфом на нас... Куда же они все подевались? Идем до Сенату, клепать на всех станем!

— Ой, ой! — испугался Несмеянов.

— Чего ойкаешь? Я вот тебе в глаз врежу — ты у меня до Сенату без порток побежишь... Идем, робяты! — взывал Шишкарев. — Пу-

щай Сенат деньги на прокорм дает нам в руки, а не эконому Матьке Фелькину, чтоб он сдох, стерво немецкое!

Стали писать прошение о нуждах (не подписался под ним только Несмеянов). Адауров, заговор усмотрев, стал их отговаривать:

— Нева-то движается — путь опасен от Академии до Сенату...

— Идем! — махал бумагою Шишкарев. — Кидай жребью, робяты, кому страдать за общество студенческое...

Выпал жребий Виноградову и Лебедеву. Пошли. У депутатов в руках — палки, чтобы лед щупать. В иных местах лед тонок был, кое-где вода выступала. Какой уж день в Сенате было тихо. С того берега Невы никто не ездил. И вдруг — на тебе! — явились студенты и стали шум делать перед старцами. Началось строгое следствие.

— Вот вам, барон! — злорадствовал Шумахер. — Вы мне тогда не верили, а так оно и случилось. Ученых среди русских не выискалось. Зато бунтовщики быстро созрели. Жили мы себе тихо и мирно, и вдруг в наши стены ворвались варвары... Вы когда-нибудь слышали такой гвалт? Им не сладкий нектар науки надобен, а — к а ш а!

— Каша тоже нужна, — отвечал Корф, недоумевая, как быстро из его благих начинаний родился бунт в Академии. — Однако не спешите с выводами. Изберем самого злого профессора, чтобы устроил он экзамен студентам... Кстати, кто у нас самый злой из ученых?

Шумахер подумал и сказал:

— Вот академик Байер — хуже собаки! Так и рычит, будто его мясом сырым кормят. И по-русски ни единого слова не знает...

— Пусть этот Байер и экзаменует русских бунтовщиков.

Перед экзаменом Шумахер велел бить батогами Шишкарева:

— Это ты, русская свинья, утверждал, что мы, немцы, воры?

— Я! — не уклонился от правды Шишкарев.

— Тогда — ложись... Адьюнкт Адауров, а вы проследите.

— Ах, Прощка, Прощка... На што ты этот муравейник растревожил? Говорил ведь я тебе... как отец родной.

Академик Байер вызывал каждого по отдельности. Двери запирал на ключ, чтобы испытуемый в науках юноша не сбежал. Иногда из-за дверей раздавался звук — будто пустой горшок расколотили. Слышалось грозное рычание академика...

Вылетел из дверей смятенный Барсов, плача:

— Академик сказывал, будто я в науках никуды не годеи...

Вылетели и другие! Пришла очередь Шишкарева.

— А мне хоть бы што, — сказал он, веселясь.

Долго мучили и пытали Шишкарева. Но вдруг двери растворились, выскочил из них академик Байер. Держа за руку бедного Шишкарева, он промчался вдоль коридора, будто метеор...

Так они достигли дверей барона Корфа.

— Рекомендую, барон! — сказал Байер. — Всех прочих превзошел и даже стихи по-латыни сочинил. Смело читал Вергилия и Овидия, Цицероновы письма знает. Своею охотой, никем не побуждаем, греческий язык постиг... Ко всему прочему, юноша жития столь благородного, что похвалы вашей вполне достоин!

— Как зовут? — спросил Корф, и Шишкарев назвал; барон был очень удивлен. — Так это вы, сударь, бунт в Академии учинили?

— Я! — признался Шишкарев, взирая со смелостью.

— Ну что ж. Поздравляю. Экзамен вы сдали...

Ломоносов в этой истории не участвовал.

Ему выпала иная судьба.

Глава шестнадцатая

Всю зиму валялся Потап на вшивых кошмах в степном ногайском улусе... Было обидно: взял его в полон ногаец — маленький, кривоногий, одноглазый. Попадись такой в иной час, пальцем бы раздавил, словно гниду поганую. А вот ведь... «Не я его, а он меня!»

Ближе к весне приехал в улус татарин с лошадьми. Без оружия, но с плетью, рукоять которой была сделана из козлиной ноги. Накинул он на шею парня аркан и погнал его перед собой, словно барана. Долог был путь, и всю дорогу распевал песни татарин. Однажды под вечер очнулся Потап на мосту. Текла внизу гнилая мутная вода — пополам с мочой лошадиной. Открылись ворота каменные. На воротах тех сидела сова — не живая, а тоже каменная. И сверху, уши наострив, смотрела сова на Потапа — мудро, тяжело и неласково...

Это был Перекоп, а ворота те назывались — Ор-Капу.

Они ступили на мост, и татарин обжег Потапа плеткой.

— К ы р ы м! — сообщил он, радостно ощерив зубы...

Город Перекоп был грязен и зловонен. Татарин завел Потапа в какую-то хижину, выскобленную (уж не когтями ли?) в завалах песчаника. Хлопнул дверью скособоченной, и с потолка, со стен — отовсюду на голову и плечи с шорохом просыпался мелкий песок.

— Б л ы к! — сказал татарин и, выложив кусок вяленого балыка, ушел; только потянулся Потап к этому куску, как вдруг, откуда ни возь-

мись, молнией возник рыжий котище; кот вцепился зубами в балык и вместе с ним исчез стремительно, будто нечистая сила.

Татарин вошел в хижину. Увидел, что балыка уже нет, и решил, что ясырь сыт — можно теперь гнать его дальше.

— Б а з а р! — выкрикнул он, заставив идти Потапа на продажу.

Потап даже по сторонам не озирался (все тут постыло и тошно), а татарин понукал его плеткой. Потап на это даже не обижался. Он словно понимал: поймай он татарина, и тоже погнал бы его впереди себя на аркане, потому что в этой многовековой вражде иначе нельзя...

Еще через день в расщелине гор показался город.

— К а ф а! — сообщил Потапу татарин.

И стало легче, когда увидел, что он не один здесь. Отовсюду текли — гуськом, как журавли, одним арканом связанные, — толпы ясырей-пленников. Если падал кто, стар иль немощен, татары ловко вырезали из него пузырь желчный, нужный им для приготовления мазей, и оставляли человека гнить, где лежит. Собаки татарские начинали пожирать мертвого — всегда с носа, который откусывали с визгом. Осторожно тащили по обочинам носилки с девочками, хорошо откормленными, одетыми в шелк, — несли их продавать.

Все дороги в Крыму ведут в Кафу... А за гвалтом базарным уже синело море, и там качались мачты кораблей, которые к вечеру, забитые живым товаром, уплывут далеко-далеко. Татарин поставил Потапа на продажу, сорвав с парня рубашку, чтобы все видели сильные мышцы ясыря. Как и все торговцы вокруг, стал визжать татарин о том, что у него продается ясырь — самый свежий, самый глупый, самый сильный, самый bestолковый. Но многие, оглядев мощную фигуру Потапа, отступали с плевками.

— А, поган урус! — говорили они и давали за Потапа такую низкую цену, что хозяин-татарин тоже плевался...

Простоял так до полудня. Даже знакомцами обзавелся. Из разговоров разных уяснил Потап, что русские рабы — самые дешевые тут. Ибо татары их считают хитрыми, коварными, злыми, непокорными. Заведомо известно, что русский все равно у б е ж и т.

— Это уж так, — вздохнул Потап. — Бегать мы привычные...

Торговцы заманивали богатых турок на молоденьких пленниц:

— Рудник всех добродетелей мира! Ты только засунь в рот этой красавице своей благоуханный в святости палец...

Иной богач заставлял девочку укусить его за палец — по прикусу судил, будет она сладострастна в любви или нет. Страшно было По-

тапу видеть, как отрывали детей от русских баб, от украинок и полек. Татары безжалостно продавали жену от мужа, а мужа от жены. Сердце иссохло от женского воя. И дно думал Потап: «Поскорей бы уж купили меня... чтобы уйти отсель и забыть это место!» Солнце давно стояло высоко, один корабль уже отплыл от берегов Крыма, распластав скошенные паруса, и — судя по всему — татарин снизил на Потапа цену...

Нехорошо пахло горелым мясом. Проданных тут же клеймили каленым железом. Ставили тавро, как на лошадей. Кому на грудь или на руку, а иному прямо на лоб. Базар уже опустел, когда в толпе показался какой-то знатный турок. Большая свита сопровождала пашу. Будто Вавилон какой двигался — и негры, и албанцы, и черкесы, и запорожцы. Среди них шагал красивый великан в пышных одеждах, при сабле, в шелковых зеленых шароварах. Был он по силе и росту — под стать Потапу, могли бы силенкой помериться.

И вдруг, подмигнув, он спросил Потапа по-русски:

— Давно ли, земляк, попался? Сам-то откуда ты будешь?

Потап, обрадованный, отвечал охотно — со слезами.

— Да не плачь... А меня Алешкой Тургеневым кличут*. Меня граф Бирен погубить решил, да я не пропал, вишь! Царица-то наша, слышь-ка, на меня глаз свой кинула. На любовь с нею совращала. Бирен-то это приглядел и сослал меня в Низ — в полки порубежные, чтобы живым мне не выйти. Да я, вишь, уцелел. Вот приплыл сей день из Константинополя бусурманского... Кому что выпадет! А ты, — спросил Тургенев, — давно ли тут стоишь на солнцепеке?

— С утра околеваю здесь... не пивши, не емши.

— А я тебе совет дам, — вдруг зашептал Тургенев. — Когда тебя шупать да торговать станут, ты ерепенься. Кулаками маши. Ори громче. И не давайся! Чтобы все непокорность твою видели. Тогда ты цену на себя собьешь, и тебя з д е с ь продадут — в Крым же!

— А ежели дороже купят меня? — спросил Потап.

— Тогда... беда, брат. Ушлют за море — в Алжир или в Тунис, а то еще дальше... Вовек будешь для родины ты потерян.

Потап упал на колени перед Тургеневым.

— Барин! — выкрикнул с мольбой. — Уж вижу я, что богат ты и одет мурзою... Окажи милость божецкую — купи ты меня!

* А.Р. Тургенев (ум. в 1777 г.) — прапрадед И.С. Тургенева. Благодаря красоте своей этот Тургенев был замечен одной турецкой «султаншей», которая и помогла ему бежать из плена; позже, в царствование Елизаветы, был советником Ревизион-коллегии.

— Э, нет, — отвечал Тургенев. — Того не могу, хотя кошелек у меня и не пуст. Покупать ясыря могут только мусульмане, евреи и братья католические, которые в черных шляпах ходят. Коли такой капуцин подойдет — не бесись: он тебя купит и в Европу увезет, тогда ты большой мир повидаешь и в Россию можешь вернуться...

Потап был продан лишь к вечеру. Буянил, рвался, не давал себя трогать. Даже укусил одного турка. Потом устал. Притих. С утра не ел. Не присел ни разу. Солнцем темя накалило. Тут к нему подошел небогатый татарин, неся на спине своей моток проволоки медной. Потолковал о чем-то с торговцем, и моток проволоки перебросил на спину Потапа.

— Давай тащи, холера худая... Устал я, — сказал по-русски. — Чай, к ночи до дому доберемся. Ты голоден? Я тоже жрать хочу...

Ночью они добрались до татарского улуса. Вроде маленького городка. Лаяли во мраке собаки. От дворов пахло жареными орехами. Навоз гнилостно расползался под ногами, противно квасясь между пальцами босых ног. Татарин толкнул узкую дверь в сакле:

— Кидай сюды проволоку. Пойдем поужинаем, что аллах послал!

Татарина работать не заставишь: его дело разбойничать. Все за него должны делать рабы, и рабы в с е делали. Ленивый ум крымских разбойников даже не замечал, что ясырь из Московии мечеть складывал в виде креста православного, что в стенках бани татарской окошки прорезал на русский лад, а гарем возводил — как терем московской боярышни. Из конских подков, стоптанных в набегах на Русь, ковали ясыри для татарина острые кривые сабли. Шлемов татары не знали, если и носили, то трофейные. Русские ладили для крымчаков посуду из меди, мастерили седла, бурки, шили чувяки юным татаркам. Русские выдывали в Крыму дивный сафьян, плети-нагайки, мячи для игр, кушаки, шнурки, мяли кожи и войлоки; были русские токарями, пекарями, чулочниками и чубучниками. Из Крыма произведения русских рабов расходились по миру — вплоть до Лиссабона, обогащая бездельников-татар.

Потап попал в кабалу к Байтуфану, которого бабушка его Акси́нья называла на свой лад — Богданом. Бабушка Акси́нья сама из краев воронежских, из дворян рода Тевяшевых, ее татары еще в девках взяли, в Крыму она и пустила корни свои по миру бусурманскому. Внуки — кто где, одни уже в землю ткнулись, посеченные саблями, другие в янычарах служат, а Байтуфан при бабушке остался — мастерскую содержит...

Сердитый кашель верблюдов разбудил Потапа.

— Вставай, сокол ясный, — сказала ему бабушка Аксинья. — День-то нонеча какой... развиднелось, а ночью дождь был. — И тронула старуха его рукой. — Не печалуйся, не век горевать будешь...

Вышел Потап на воздух. Невдалеке протекала речонка.

— Бабушка, что это за речка така?

— Кача, милоч.

— А там-то подале... храм, что ли?

— Там супостаты волосок из бороды своего пророка хранят.

— Чудно! — удивился Потап. — И все мне вчуже кажется.

— А ты бойся привыкнуть, как я, грешная...

Байтуфан на продажу для ногайцев пули выделывал и Потапа с утра к работе определил. Каковы были стрелки татары — говорить не надо: за сорок шагов они пулю через перстень простреливали. Ногайцам и этого мало казалось. Две пули следовало скрепить воедино проволокой, скрученной в пружинку. При выстреле пружина растягивалась между летящими пулями. И две пули сразу врывались в тело человека, а между ними (словно удар сабли!) оставалась рваная рана от скрученной проволоки, — таковы пули татарские...

Потапу показали, как надо скреплять пули пружинкой.

— Ладно, — ответил он...

Был у Байтуфана еще один ясырь. Старик уже, он еще с крымских походов при князе Голицыне сюда попал. Когда-то пушкарем в стрелцком войске служил. Глаз у него вытек. В ступнях старца — мелко рубленый конский волос, чтобы не убежал. Ходить ему больно было. Коли заторопится куда — так на четвереньках по-собачьи проворно бегал. Хмуро глядел земляк одним глазом на молодого ясыря.

Спросил он Потапа без ласковости:

— Видать, ты из волости Дурацкой из города Глупова?

— Неучен, это верно, — согласился Потап.

— А я тя поучу... Хошь?

— Поучи, батюшка, ежели што не так делаю.

Взял старик шкворень, которым ворота запирают, и «поучил» Потапа вдоль спины. Речи же его были при этом вразумительны:

— Теи пули противу наших земляков супостаты готовят. А ты, кила московская, для Магометки стараешься?

— А как надоть? — оторопел Потап.

— Гляди, как надо, ежели души испоганить не желаешь...

Показал ему старый солдат, как следует пружинку ту испортить, чтобы в полете она сломалась, и тогда пули татарские бесцельно в разные стороны разлетятся.

— За науку спасибо, — низко поклонился Потап. — А эвон бабушка-то Аксинья про это мне ничего не сказывала.

— На то она и бабушка, чтобы внуков жалеть. Делай, как я велю тебе. Ежели не покоришься — расшибу тебя, пес!

Звали стрельца Агафоном, но со двора позвали:

— Селим! — и он откликнулся тут же:

— Чего надо?

Потап к нему пристал с вопросами:

— Какой же ты Селим, дядя Агафон! Или обусурманился?

— Вера, брат, дело пустое. Погоди, и к тебе подступятся. Вот приведут на майдан, штаны велют снять. А кончик кола бараньим салом намажут. Вставят кол тебе в задницу концом жирным и предложат: или за Магомета молись, или... ткнут тебя!

— Ну а дале-то как? — допытывался Потап.

— А дале поведывать не стану, — отвечал ему Агафон-Селим. — На себе испытасшь, какова вера лучше — быть живу иль быть мертву?

Потап вокруг осматривался. Веры и впрямь здесь никакой не было. Русские люди «бусурманились» часто и легко. Попавшие в рабство к евреям — по синагогам шлялись. Фратры же своих ясырей в католическую «прелесть» искушали. И было в Крыму много греческих храмов, куда русские тоже забегали — по привычке. Молитвы скоро забывались рабами. Но была одна, совсем не божественная, которую все в Крыму знали, передавая ее из поколения в поколение... Вот она, эта молитва: «Боже, освободи нас, несчастных невольников, из земли бусурманские. Возврати ты нас, господи, к ясным зоренькам, к водам тихим, в край веселый — меж народ крещеный!» С этою скороговоркою ложились. С нею же и день новый встречали. Это даже не молитва — с т о н всех умирающих от тоски по родине. Однако Потапу многое внове даже любопытно казалось в Крыму, и до тоски смертной он еще не дожил.

— Погоди, завоешь, — сулил ему Агафон. — Еще как завоешь!

А в один из дней Агафон принес откуда-то полный графин желтого, как янтарь, болгарского вина. Выпили, и он сообщил:

— На майдане слышал за верное, будто наши на Крым собираются с армией неисчислимой... Одно плохо, — загрустил пушкарь, — Русь уже не раз на Крым хаживала. А как до Перекопи дойдет, так и... от ворот поворот.

Был тихий вечер. По двору гуляли беззаботные и веселые татарки в шальварах. Жевали они смолки пахучие. Ногти на пальцах их рук и ног были покрашены красным лаком. Эти яркие ногти какой уже раз приводили Потапа в ужас:

— Во страх-то где... Будто мясо сырое когтями рвали!

Потапу в рабстве повезло. Байтуфан изо всех татар был самым хорошим татариним. Воспитанный своей русской бабушкой, он, кажется, не прочь был бы и на Русь выехать.

— Да, говорят, плохо там у вас, — делился он с Потапом. — Будто и царица у вас непутевая. Бедно живете вы в России, а здесь у нас хорошо... И работать не нужно!

Бабушка Аксинья позвала Потапа:

— Иди-кось сюды, я тебе покажу самое дорогое свое...

Зазвала к себе в комнаты. Полно тут кувшинов на полу стояло, словно в лавке посудной. Лежали на оттоманках ветхие паласы. Пыльно было. За окнами сакли дождик сыпал — тихонький, серенький (совсем как в России). Открыла бабушка сундук, долго рылась в нем. Извлекла икону святого Николая Можайского, приложила к ней.

— Вот ему и молюсь, — сказала, губы ладошкой вытерев.

— А за что ты, бабушка, Николу Можайского почитаешь?

— Он с м е ч о м представлен — воин! А на майдане сей день опять шумели кадии, будто русские в поход собираются... Я здесь состарилась уже. А коли наши придут, брошу все и домой уйду.

В сторону кладбища татарского пронесли покойника. На следующий день сходил туда Потап — посмотреть. Сторож кладбищенский долго следил за Потапом издали, потом по-русски браниться начал:

— Ну чего ты шляешься, какого рожна потерял тут?

— Да я так, дяденька. Написано тут, гляжу, мудрено.

— Ах, дурень! Написано тут: «Буюн бана иссе, ярын сана дыр». А по-нашенски это значит, что все подохнем. И здесь у татар мудро об этом на камнях высечено: «Сегодня — ты, а завтра — я!» Теперь давай проваливай. А то мулла увидит и меня палкой отколотит, что я неверного до правоверных могил допустил... Ты сам уйдешь или мне бить тебя?

— Сам уйду, сам...

Была ранняя весна 1736 года. Крым вооружался.

Глава семнадцатая

Академия де-сиянс проводила громадную работу. Сейчас надо было составить сложнейшие таблицы для определения времени по высоте солнцестояния. Все академики говорили, что для этих расчетов ученому нужно самое малое — три м е с я ц а.

— Дайте мне, — сказал Эйлер. — Мне нужно всего три дня!

И сделал за три дня. Но от напряженного труда ослеп на правый глаз. Когда Эйлер умрет, люди не скажут, что перестал жить, а скажут так: «Эйлер перестал вычислять...» Одноглазый гений жил в цифрах. И в море цифр ему было хорошо, как моряку в океане. По вечерам — короткий отдых, когда секретарь Фусс прочитывает ему газеты немецкие, а Эйлер в это время (чтобы без дела не сидеть) занят с магнитами. Стол перед ним, а на нем — пластинки; передвигая их, он слушает известия мира и силы магнетизма изучает.

— Довольно, Фусс, вам спать пора. Итак, до завтра...

Он открыл окно. Ладожский лед еще не прошел. Улица была пустынна. Лишь вдалеке, размахивая шляпой и танцуя, шел человек. Высокий, молодой, красивый и нарядный, он что-то напевал.

— Наверно, выпил лишку... Забавно тратят люди время, когда могли бы с большой пользой логарифмы вычислять!

Но это был не пьяный, а — вдохновенный композитор.

— О сударь мой! — сказал он Эйлеру, в окне его заведя. — Я так сегодня счастлив, закончив новое творенье. Не знаю, приходилось ли вам когда-либо испытывать восторг творца?

— Бывало, — буркнул Эйлер из окна. — И не реже вас!

Незнакомец с улицы представился, взмахнув шляпой:

— Меня зовут Франческо Арайя, я завтра с музыкой своей буду играть у графа Левенвольде. Но я наполнен ею так сегодня, что вам хотел бы что-либо из нее исполнить... Позволено ли будет?

— Bravo! — ответил Эйлер и позвал лакея, чтобы тот впустил в дом композитора и клавесин к окну придвинул.

Франческо Арайя, с порога скинув плащ, присел за инструмент, пальцы его обнажились из-под манжет, хрустящих черными кружевами.

— Название композиции такое — «Сила Любви и Ненависти».

— Я слушаю... извольте.

Он заиграл, а Эйлер поднял глаза к потолку, мысленно проведя через него диагональ. Расчет кубатуры помещения занял немного времени, но этот вдохновенный шелапут, кажется, еще не скоро кончит тарабанить...

— Вы не устали? — спросил его Эйлер, церемонно привстав.

— Как вы нетерпеливы, — возмутился тот, — я только начал. Прислушайтесь пассаж вот этот... И — как он показался вам?

— Вы в самом деле гениальны.

Исполнив свое сочинение, Арайя признался:

— Поверьте мне, я душу всю вложил.

— И это видно, — ответил Эйлер. — Но меня заинтересовала не ваша музыка, а... з в у к и.

Франческо Арайя был поражен:

— Я создавал не звуки, а музыку! Вы отвечаете ли, сударь, за те слова, что произносите столь легкомысленно?

— Вполне, — сказал на это Эйлер с улыбкой доброю. — Тем более что я живу в стране с таким суровым климатом, где за слова людей привыкли вешать... Что делать! Я до безумия влюблен в Большую Медведицу, и вот на корабле, наполненном моими иксами и тангенсами, переселился я поближе к Северу... Пойдите же, куда вы?

Удержав артиста, Леонард Эйлер продолжил:

— Ваша музыка взволновала меня, как... подраздел богатой науки об акустике. Слушая вас, я невольно задумался об отношении между колебаниями струн и воздушной массы. Вы случайно не извещены — применял ли кто-либо из композиторов логарифмы для различия в высоте музыкальных тонов?

— Пожалуй, лучше мне уйти, — сказал Арайя, берясь за шляпу.

Эйлер смешал магниты на столе и воскликнул:

— Так и быть! Я напишу научный трактат о музыке.

Арайя возмущен был до предела:

— И это... все, что вы можете сказать о моей музыке?

— Еще не все. Гармония звуков непременно должна объединиться с гармонией красок. Я не побоюсь выдвинуть в науке новейшую гипотезу — музыка должна быть в и д и м а слушающему ее!*

Арайя нахлобучил шляпу на пышный парик.

— Ты пьян... иль сумасшедший? — заорал он, убегая прочь.

Леонард Эйлер со вздохом произнес ему вдогонку:

— Это тоже гипотеза — гипотеза о сумасшествии Эйлера... А впрочем, — задумался математик, — я опять опережаю свое время.

На следующий день Арайя играл в покоях Левенвольде — на Мойке, в доме пышном и богатом. Он сумел понравиться обер-гофмаршалу. Оперу его поставили в придворном театре. Анна Иоанновна была ею довольна. Играя с князем Черкасским в квинтич на бриллианты, она прослушала музыку с удовольствием. Кантата же Арайи называлась так: «Состязание Любви и Усердия».

* Л. Эйлер впоследствии написал трактат о новой теории музыки (СПб., 1739) и выдвинул идею об отношении звуков к краскам. Эта идея его не умерла в России — в 1910 г. А.Н. Скрябин сочинил первую светомузыкальную симфонию «Прометей».

В кантате этой были такие куплеты:

Можно ль найти более усердия,
чем у тебя, августейшая самодержица,
и любовь более пылкую,
чем любовь твоих подданных?
Как не счесть звезды на небе —
так невозможно исчислить твои славные деяния.
О смелость композитора! Ты
потерпела аварию среди океана добродетели.
Солнце не нуждается в похвалах,
как и божественная русская императрица...

— А он и впрямь гениален, — сказала Анна Иоанновна. —
Такого-то нам и надобно...

Придворные с восторгом окружили композитора:

— Ах, синьор Арайя! Как вы тонко поняли нашу добрую императрицу, как вы справедливо очертили ее ангельский характер...

Осыпанного милостями и золотом, его повели к присяге. У святого алтаря композитор, которому рукоплескали Рим и Тоскана, поклялся верой и правдой служить «ея императорскому величеству государыне...». Арайя, спору нет, был талантлив и трудолюбив. Он писал оперы. Балеты. Кантаты. Музыка его была приятна для слуха. Синьор Франческо Арайя почти всю жизнь провел в России, но Россия его не запомнила. Она не стала петь его арий. Хотя первая опера в России — это его опера!

Арайя приобрел печальное бессмертие...

Музыка надрывалась в ужасных воплях, оплакивая человека.
Шли ряды полка Ингерманландского — скорбные.
За ним — три фурьера верхами. Трубачи и литаврщики.
Шел поручик, весьма одинок, держа багровое знамя.
Шталмейстер. И — шестерка лошадей в пополах траурных.
Два маршала и чиновники коллегий российских.
Шагал рыцарь в светлых латах из серебра.
Шел флота лейтенант с белым распущенным знаменем.
Потом, опустив голову, двигался рыцарь в черных латах.
Гарцевал конь покойного (тоже в трауре).
Без субординации шли, разевая рты, синодальные певчие.
Голосили!

За певчими — духовенство столичное, чины синодские.
Выступал бригадир, плача. За бригадиром — полковники.
Нехорошо завывали на Невской першпективе смертельные гласы труб.

В окружении ассистентов пронесли на подушках вещи: каску — рукавицы — шпоры — шпагу — знак Александра Невского — знак Андрея Первозванного — жезл командорский.

По бокам процессии преображенцы несли пудовые свечи.

Показалась и сама колесница печальная...

— Кого хоронят-то? — спрашивал народ, по обочинам стоя.

А в гробу лежал он, генерал-прокурор империи, его высокое сиятельство, графы Павлы Ивановичи Ягужинские, что ранее звались от императора «оком Петровым».

Теперь это «око» затворилось.

Каждоминутно с фасов крепости стреляли пушки.

Ягужинского опустили под пол церкви Вознесения, что в лавре Александро-Невской. Войска по обычаю воинскому дали троекратный салют из ружей. И тогда пушки замолчали. И разбрелись средь кочек могильных провожающие. И кареты разъехались. И тогда на кладбище опять стало тихо...

Генерал-прокурора на Руси не стало!

— А мне опять думать, — сказал граф Бирен своему фактору Лейбе Либману. — Сначала умер обер-прокурор Маслов, теперь горлопан этот... Кого еще я могу противопоставить мерзавцу Остерману, который день ото дня наглет, набирая силу в государстве?

За окнами графской кареты скользила, почти не задевая Бирена, будничная суета Невской першпективы.

— Может... Волынского? — подсказал Либман. — Он верен вам.

— Он верен, как верны пантеры мамелюкам в Египте: сегодня она ласкова, а завтра рвет глотку своему повелителю...

Анна Иоанновна смерти всегда боялась (даже чужой). Имени покойного в разговоре с Остерманом старалась не упоминать.

— На место упалое кого думаешь поднимать? — спросила.

Чихнул Остерман, и стало тихо в апартаментах царицы.

— Н и к о г о, — ясно ответил Остерман.

— А как же империи без надзору прокурорского быть?

— Ваше величество, — уверенно заговорил Остерман, — за время мудрого царствования вашего нравы в народе вы столь исправили своим личным примером, что отныне и без генерал-прокурора нам обойтись можно, ибо кротость ваша тому способствует...

Так и сделали — прокурорский надзор уничтожили.
Теперь была открыта дорога любому беззаконию.
Воруй... грабь... режь... насилиуй... убивай... жги!
Если ты богат и знатен, тебя никто не осудит.

Но на смену «остермановщине» из тени престола уже медленно подкрадывалась осторожная вороватая «бионовщина». Два паука в банке одной никогда не уживутся. И будут жрать один другого, лапы друг другу отрывая, пока один из них не испустит дух.

А далеко от двора и Петербурга жила особая Россия — Россия трудов и подвигов, поисков и находок. Краины страны определяли будущее развитие Российской державы. Этим окраинам нужны были не сахар и не шелк, не пудра и не павлины, не Педриллы и не Арайи, — только г о л о в ы — природные, разумные, дерзостные! Химия, металлургия, геология, физика — вот суть наук промышленных, и было решено отправить за границу трех учеников...

Выбрали из студентов — Ломоносова, Виноградова, Рейзера!

Барон Корф вышел к ним, чтобы проститься перед разлукой.

— Я верю, — сказал он, — что вас ждет славное будущее. Кто-либо из вас троих да будет прославлен! Может, это станете вы, — сказал он Рейзеру. — Надеюсь и на вас, сударь, — повернулся барон к Виноградову. — Или... вы? — неуверенно произнес Корф, глянув на Ломоносова. — В любом случае, — заключил барон свою речь, — я уверен в силе разума вашего, и пусть знания, обретенные вами за границей, обратятся в глубину России, которую вы должны прославить своей ученостью...

После чего Корф отправился в Курляндию, где на лесной поляне (рано на рассвете) он бился с Менгденом за руку и сердце прекрасной фрейлины Вильдеман. Пронзенный шпагой выше третьего ребра, Корф был сражен бесславно на поле чести и возвратился в Петербург, где его ждала отставка от дел академических.

— Безбожников я не люблю! — сказала ему Анна Иоанновна.

Корф, страдая от раны, с трудом согнулся в поклоне.

— Безбожники, — отвечал, издеваясь над ханжеством императрицы, — необходимы великому государству так же, как и святоши, помазанные лампадным маслицем... Ах, ваше величество! Приговорите же меня к делам самым безбожным и самым безнравственным.

И его сделали дипломатом (он укатил в Европу). Но все-таки, пока он правил академией, ему удалось свершить хоть одно доброе дело — Корф устроил судьбу трех безвестных юношей... «Как-то они там сейчас? Куда влекут их паруса европейской учености?»

Петр Рейзер делается заправским уральским горняком.
Дмитрий Виноградов откроет «китайский секрет» и создаст для России фарфор, прозрачный и лучистый.

А вот Ломоносов... Кем станет Ломоносов?

Море жизни человеческой было очень бурным. Но и паруса судебных людских насыщены ветрами до предела.

Эпилог

Кардинал Флери вошел в покои Людовика XV.

— Мы напрасно пренебрегаем Россией, — сказал он королю. — Не ошибается ли Франция, отворачиваясь от страны, которая велика уже по своей неисчислимой пространственности?

— Пространство еще не делает империи, — отвечал король.

— Но в выгодах политики Версаля было бы разумней признать Россию за империю. Весь мир уже не называет Анну Иоанновну царицей, лишь Французское королевство упорствует на этом титуле...

— Варварская окраина мира! — отмахнулся Людовик.

— На этой-то окраине мира, — улыбнулся едко Флери, — мы, просвещенные французы, потерпели стыдное поражение при Данциге. Не послужит ли гибель экспедиции графа Луи Плело хорошим уроком вашему величеству?

— Флери, — возмутился Людовик, — уж не затем ли вы пришли в столь поздний час, чтобы учить своего короля на сон грядущий?

— Королей, увы, никто не учит, — покорно согласился кардинал. — Короли обязаны сами учиться на собственных ошибках. И вы не забывайте, что я был вашим наставником, когда вы еще были дофином. Вспомните, как я по утрам сек вас розгами! Как раз по тем пухлым местам, которыми вы ныне усаживаетесь на престол...

— Ученье впрок пошло, — засмеялся Людовик, оживляясь.

— Послушайте ж меня, — продолжал Флери. — Недовольство русского народа растет. Не пора ли нашей стране учесть всю силу этого гнева, чтобы в политике Версаль использовал затем Россию, и дружбу с нею, и штыки русские... Вы посмотрите на Австрию!

— Чушь! — сказал король, не желая смотреть на Австрию, извечную противницу Франции.

— Однако такая «чушь», как дружба с Россией, дает Вене возможность использовать в интересах Габсбургов легионы русских

непобедимых армий... Побольше бы и нам такой «чуши»! — с жаром воскликнул Флери.

— Русские, — сказал король, — ленивы и медлительны.

— Хороший механик, — подхватил Флери, — способен оценить достоинства машины, даже когда она находится в состоянии покоя. А сейчас чудовищная машина России начинает двигаться.

— Она развалится на ходу... Флери, чего вы от меня хотите?

— Я хочу разумности в политике, ваше величество.

— Время разума не наступило. Когда мне говорят о России, я руководствуюсь лишь чувством...

— Брезгливые чувства вашего величества могу расшевелить напоминаньем не вполне уместным... Позволено ли будет?

— Да!

— Несчастливая цесаревна Елизавета, дочь Петра Великого, была ведь нареченной невестой вашей. Эта женщина могла бы по праву стать королевой Франции... Если же этого не случилось, то Франции было бы удобно сделать Елизавету императрицей российской! Политика двора русского движется Остерманом лишь в каналах интересов двора Венского. Но сбросьте власть насилия немецкого, и русские придут в объятия Франции... в ваши объятия, король!

Людовик XV задумался:

— Ваш трюк забавен, но... погодите, кардинал! Сейчас Россия устремляется против нашего друга — Турции. Сначала мы проследим издалека, чем закончится эта возня. Если русские станут побеждать, тогда — да, я согласен. Но я свято верю в другое: турки замучают армии Миниха в тех необозримых степях, где от жары мозг у людей закипает в черепе, как деревенская похлебка в медном котле.

.....

А человек, который был нужен кардиналу Флери для связи с Россией, находился рядом...

Это был Сенька Нарышкин — бывший придворный развеселого двора цесаревны Елизаветы Петровны.

Покинув родину, он нашел прибежище в Париже.

Сенька был не просто беглец от ужасов лихого царствования Анны Иоанновны — это был политэмигрант!

В его душе зарождалась м е с т ь...

Он замышлял страшные планы: как вовлечь Францию в борьбу против иноземного засиления в России?

Во сне ему виделась Елизавета — с короной на голове.

Нарышкин уже приметил дорогу, по какой Флери ездил в Версаль, и ему часто хотелось вспрыгнуть на подножку кареты, чтобы сказать всесильному кардиналу:

«Ваша эминенция, вмешайтесь в дела русские... Что вам стоит потратить несколько кошельков золота? Поверьте, это для Франции неубыточно! Зато Франция сыщет на востоке друга верного — Россию... Кровавой Анне на престоле российском не быть — быть на престоле кроткой сердцем Елизавете!»

Летопись вторая БАХЧИСАРАЙ

Покрыты тенью бунчуков
И доли, и холмы сии...

Семен Бобров

Глава первая

Народ татарский в покое быть никогда не жадают для своего обыкновенного облову (т. е. для взятия пленных. — *В.П.*) и корысти, и жадают всегда войны и кровопролития, отчего оне, яко хищники, полнятся и богатеют...

Граф Петр Толстой

На костях стоит великая Русь, на костях стоит — издревле, нерушимо, многострадально. Копни ее заступом возле Пскова иль Ладоги — оскалится череп предка нашего в ухмылке извечной. Вскрой курган за Воронежем иль у Чигирина — рассыплется скелет, цепями повитый; блеснет из праха серьга девичья, никого не радуя. Москву вокруг изрой дотла — всюду кости, кости, кости людские.

И — мечи.

И — шлемы.

И — стрелы.

И — топоры...

Чуток сон старой Руси. Тихо дремлют дебри замшелые, над синим болотом выпь плачет. А по берегам речек присели к земле погосты

дедовские, и плывет в небе (над крестами церквей ветхих) красная одичалая луница...

Какой же век сейчас на Руси? Все равно — какой.

Так было во времена Мамая, так будет и ныне — в веке осмнадцатом, в веке Вольтера и Ломоносова.

Сколько ни подливай в шербет виноградного хмеля, все равно татарин невесел, пока не заполучит пленного ясыря. Нет набега на Русь — и сразу нищает мир мусульманства. Опытные дипломаты отписывают ко своим дворам из Константинополя: «Скоро опять предстоит набег на Русь, ибо в Великой Порте не стало няnek и кормилиц для детей сераля...» От набега до набега живет татарин лишь памятью о прошлом разбое. Вот когда было веселье! Тучами гнали рабов из Руси — и крепких мужчин, и красивых девушек, и русских мальчиков. Тогда-то татарин пять лет подряд валялся на вшивых кошмах, ничего не делая, обогащенный. А теперь откинь полог юрты и увидишь своих жен, что пекут тощие просяные лепешки, дети играют арканами, которыми еще недавно батовали ясырей, словно скотину... Плохо татарину без грабежа! Совсем погибает татарин!

Но вот приходит корабль из Турции, выносят с него кафтан и саблю — в подарок хану крымскому от султана турецкого. А сие означает: п о х о д! — и татарин уже в седле. Четыре лошади его скачут ноздря в ноздю — только успевай с усталой на свежую перескакивать. Высоко (аж до самого подбородка) вздернуты колени татарина. Овчинный тулупчик (до пупа только — короток) вывернут на татарине шерстью наружу. Шапка острая торчит высоким колом. Весь он скрючился. Визжит от восторга... Вот таким, именно таким знала е г о Русь! И еще этот запах — острый запах нечистого тела, лошадиной мочи и прокисшего сала бараньего. О, как ненавистно это зловонье чистоплотной и опрятной Московии!

Неслышно летят по Руси татарские лохматые кони. Без возгласа проносится черная туча всадников, и несть числа им («аки песок»). Тихо спит в гуще лесов русский народ, еще не ведая, что он обречен. А вокруг уже разложены татарами костры — в огненном кольце пробуждаются люди. Татары хватают всех подряд, без разбора, они режут каждого, кто защищает себя. Выводят скот, жгут дома, тащат добро. Гонят свиней в овины и с четырех сторон поджигают их, чтобы ни одна свинья не спаслась от гибели. Люди не успели опомниться, как — связанные и полуголые — они уже гонимы навстречу рабству.

Выгоняют их прочь из Руси — быстро, безжалостно. Кто бы ни отстал — старик или младенец, — убивают тут же. Татары спешат на просторы родных степей, прочь из мрачных лесов Московии. А в степи дают отдых коням, начинают делить добычу. И тут же сквернят женщин на глазах мужей и детей; свершают обряд обрезания над мальчиками; рвут из рук в руки девочек, которых можно продать для гаремов; вспарывают — на виду у всех — животы ясырей, и, вывалив теплые кишки в тазы, татары пальцами ковыряются в парных внутренностях, чтобы по изгибам кишок людских предугадать свою дику татарскую судьбу...

Добыча поделена, кони отдохнули: пора в путь! Тысячи рабов бегут под палящим зноем, осыпаемые ударами нагаек, пока перед ними с лязгом не опустится мост ворот Ор-Капу, — впереди лежит проклятый Крым. А с ворот Ор-Капу глядит в прожелтевшие степи старая мудрая сова. Так же сурово и строго глядела она и во времена Мамая: нет, ничто не изменилось в веке осьмнадцатом — здесь все по-старому!

Русь — трудолюбива и скопидомна: по зернышку собирала она хлеб в житницы. Степь, дикая и жадная, ленивая и жестокая, налетала в жнитво. Била Русь в сполох, «бежала беж» под стены городов деревянных, бросая в поле плоды труда своего. Но туча вражья — числом несметна, «аки песок», — настигала русичей, арканила стар и млад, и Русь внове замирала... Опять у нас на Руси и мертво и пусто! Опять в Степи — и сыто и прибыльно!

Еще Владимир Мономах горько печалился в словах таких: «Станет поселянин пахать на лошади, и придет половчин, и ударит стрелою, и возьмет лошадь, и жену, и детей, да и гумно возжжет». Золотая Орда раздавила силу и счастье Руси и отхлынула в степи Причерноморья; оттуда-то (много столетий подряд) завистливо сторожила она предков наших, посверкивая узкими жадными очами... Крымские ханы отписывали на Москву — честно: «Ино чем мне быти сыту иль одету, ежели вас не пограбив? Сколь вашей земли убытку будет, столь нам прибытку!»

От проклятой Степи несло на Русь смрадом, зноем, жутью и рабством ужасным («Оттоле-то нача мы страхе одержати!»). С опаскою входил в Степь человек русский. Манило его обратно — в лес душистый, в духоту прелого листа, в кукушечий «гук», в малинник сладкий, в шмелиный зной. Китай тоже боялся Степи с севера, как мы ее с юга боялись, но Китай отгородился от нее стеной. Россия же

такой стены не имела — л е с был для нее Великой русской стеной. В дебрях валили русичи дубы, строили засеки, чтобы «поганец» на Русь не проехал. Крепили броды и лазы через реки; в воде на бродах «били частик» (мелкие колья вверх остриями), дабы лошади «поганские» по дну реки ступать не могли...

Крым сам по себе невелик. Но за ним стоит, рея бунчуками пашей, могучая империя Османов, а вокруг, подступы к Перекопу ограждая, лежат степи — все в травах конских, что по грудь человеку, и там кочуют племена — юрты буджакские, ногайские, кубанские, едисанские, жамбуйлукские и едичкульские. А на окраине Бахчисарая — сакля из глины, скрепленная навозом конским. Потолки в ней провалены, нет лавок и дверей, лишь одно слепое окошко. Это поольский двор — для русских дипломатов. «И воистину объявляем о том строении — яко псам и свиньям в Московском осударстве далеко покойнее и теплее!»

Вот из этой-то сакли из века в век сражалась с врагом русская дипломатия — многострадальная, как и страна ее. Нет окаяннее должности на Руси, нежели быть послом в странах восточных. Еще до хана не доберешься, как набегут всякие мурзы: тому шубу дай, тому соболей, тому панцирь, тому зуб рыбий. Не отбиться от волков этих! Бывает, еще и палками посла отколотят. Не знаешь, что и хану потом дарить (все уже растащили). Но, едва Русь откупится от татар, чтобы в году сем набега не учиняли, как хан крымский своих послов шлет на Русь. Хуже набега иногда такое посольство! По шляху Муравскому едут послы в несметном числе (опять «аки песок») и рвут Русь, грабят ее казну, выедают житницы. А за выкуп пленных татары особо требуют, п л а т и опять! Издавна Россия имела особый налог — «полоняничной»: деньги с народа брали, чтобы пленных вызволить. Полонное же претерпение ставилось на Руси в такую муку мученическую, что даже крепостные, из Крыма убежав, д е л а л и с ь н а в с е г д а л ю д ь м и в о л ь н ы м и...

Русь крымцев боялась, ибо они до Москвы доходили, но вот Москва в Бахчисарае еще не бывала. Только запорожцы рыскали по Черноморью, дабы «зипунов татарских поискати». Медленно и робея, Русь выходила из леса — на просторы степные. Для бережения границ своих она «сторожи» ставила, от коих затем великие города родились — Воронеж да Белгород, Оскол да Елец и многие прочие. Но еще прежде (безуказно и незванно) люди, воли алчущие, бежали на Дон, и стали они там казачеством. От Москвы получали донцы за службу грамоты похвальные, бочки с вином и порохом. Платили же

Москве охраною границ ее да грабежами на Волге и смутами. Вот это-то разудалое войско и было первым погранвойском на Руси!

За четыре столетия Крымское ханство лишило Русь населения числом около 5 000 000 человек. Но недаром же русских дешево ценили на рынках Леванта и Кафы — о н и б е ж а л и. Даже дети и женщины. Бежали в цепях. Бежали со стрелами, торчащими из спин. Архивы тех лет наполнены немудреными повестями: «Ушел татар бегом пеш, и шел степью пять недель, а ел на степу траву-катран, а брел ночь, а в день лежал, татар бояся...» Тяга к родине была велика: жены бежали (без мужей), мужья бежали (без жен), матери бежали (без детей) и дети бежали (без матерей). Даже дряхлые старики уходили из рабства, хотя они по старости уже и не помнили «чьим прозвищ родич слыли». И, наконец, бежали на Русь сами же татары, порожденные в Крыму от русских женщин, — татары, которые даже русского языка не ведали.

Рабство забрасывало россиян далеко — до Египта, до Мальты; на острове Мадейра звучали песни русских Настенок и Аксютток, а поэтический мост Ринальто в Венеции так и звался мостом Слез: здесь столетиями плакали в разлуке славяне. Благочестивые Людовики не жалели денег на рынках Леванта, чтобы приобрести русских схизматов для галер флота французского. Но уже в XVII веке Европа начала стыдиться иметь рабов русских, и через всю Европу пролегла «дорога свободы»; от Венеции в земли Кроатские и Венгерские; через Моравию и владения Литовские — на Киев, а из Киева — на Путивль (так шагали из плена на Русь). Венеция печатала особые бланки, которыми снабжались русские беглецы. На бланке том — лев Святого Марка, и просьба ко всем встречным кормить путника и давать ночлег ему бесплатно; капитанам кораблей вменялось везти путника безвозмездно «во славу божию» (под страхом штрафа в 25 дукатов). Когда же беглец попадал на родину, дьяки заставляли его писать «сказку» о своих мытарствах, осматривали повреждения телесные: «голова рассечена до мозгу», «жилы перебиты, персты не гнутся». Каждому давали по рублю на лечение, каждого беглеца одаривали из царской казны иконкой...

Вот ты и дома, человек русский! Иди же — ищи свой дом.

Но иногда татары сами отпускали раба русского. Для этого товарищи должны были за него перед татарами поручиться. Отпущенный же обязан собрать у родни денег для выкупа своего. Это и был знаменитый к а б а л! Если не смог кабала с себя снять, должен обратно

вернуться — в рабство. И позор тебе, если обманешь своих товарищей. Тогда татары ступкой выдавливали им глаза. Отрезали уши и пальцы. И молотком выбивали все зубы. А ноги ломали дубинами... «Товарищ» — это слово ценилось на Руси!

Тит Федоров, юный рейтар строя пешего, в жарком деле под Уманью в 1661 году «стрелен татаровья из луки по брюху». Раненого утащили татары в Крым, где пролежал год в червях и гноище. Выправился. И тягуче потекли годы... Где-то бушевали стрельцы, были Гангут и Полтава, стали на Руси брить бороды, а он жил рабом. Так прошли целых 70 лет, когда татары отпустили его в кабал. Впервые распахнулись перед ним ворота Ор-Капу, за которыми пролегла через степь сакма — дорога на Русь, дорога на родину.

Он помнил город, в котором родился, — В е н е в...

Дойдет ли старик? От Киева на попутных обозах «волокся», в Муромских лесах разбойники ему лошадь подарили. Седой человек, с улыбкой на губах пепельных, не узнавал мест. Вот и поля родимые. Вот и березы шумят, как раньше... Где же тут дом его?

Семья ужинала при свечах, когда дверь открылась и предстал он перед ними — перед своими потомками. Назвал себя, вспоминая родственников, давно отживших. Сказал плача:

— Кабал на мне... в сорок рублев!

— Но мы же тебя не знаем, — отвечали ему сидящие за столом.

Тит Федоров сказал потомкам своим:

— Грех говорить тако: я же ваш прадед двоюродный.

— Много таких... шляются по дорогам.

— Сорок рублев... каба́л на мне! Или снова в ад?

— Эй, люди! Покормите дедушку со стола лакейского...

Он стал ч у ж и м . Его кормили на кухне, как нищего странника. Тряслась рука древнего рейтара, несущая ложку к губам пепельным. И шумели над ним березы, которые в юности его едва от земли поднялись. Тит Федоров снова вошел в дом, поклонился хозяевам:

— Прощайте уж... Мир вам всем, а я иду обратно!

И пошел старик обратно той же дорогой. Но теперь он спешил. Ибо за него поручились перед татарами. Нельзя подвести товарищей. Кончились русские леса — потекла перед ним проклятушая сакма, избитая копытами, занавоженная. И парили над степью ястребы...

Мир был прекрасен, а столетье осмнадцатое — удивительно!

Мысль человеческая уже стремилась ввысь — к новизне решений. Человек на ощупь исследовал пути к равенству и братству. Уже творил Вольтер и уже страдал за свою дерзость.

И только здесь все оставалось как прежде.

Как было во времена Мамая — так было и сейчас...

С высоты Ор-Капу сова внимательно проследила, как через мост прошел под ворота старик, вернувшийся в лютое рабство.

Читатель, я не сказочник, и эта повесть — не сказка. Это жесточайшая быль земли Русской... С глубокой верой в торжество справедливости я открываю новую летопись этой кровавой хроники.

Глава вторая

Ночь, ночь. Всегда ночь. И не проглянет свет.

Только изредка, святых празднуя, в «мешок» каменный монастыря Соловецкого спускают для князя Василия Лукича Долгорукого трапезу скудную со свечкой малюсенькой — в мизинец младенца.

— Веруешь ли? — спросят, бывало, сверху князя.

— Верую, — казнится в муках заточенный Лукич. — Верую истово, но обнадёжьте меня: какой ныне год в мире шествует?

— О времени сказывать тебе не велено. Будь свят...

А сны-то... сны какие! На что вы снитесь?

Только единожды старец Нафанаил вывел его из «мешка» наверх, дынею парниковой потчевал, тогда-то Лукич в бане помылся, и были разговоры со схимником — умные, политичные. Тогда год на Руси шел 1733-й... А ныне? «Какой же ныне? Неужто Анна Иоанновна еще жива? Или меня з а б ы л и?» Лукич не терял веры в то, что ежели на Руси еще царствует Анна, она его простит. Обязательно! Потому простит, что сама баба, а он, дело прошлое, в объятиях ее нежился...

И вот брызнул сверху ослепляющий узника свет:

— Вылезай...

Полез наверх, весь содрогаясь в немощных рыданиях. Снова повели Лукича в мыльню, помыли его; возле окошка постоял — звезды видел! И повели его в трапезную, где стол был накрыт. У ликов письма древнего отмолясь ретиво, Лукич сел за стол, но душа его не принимала лакомств. Неслышной тенью, почти бесплотен, явился перед ним Нафанаил; старец еще больше состарился, согнулся в дугу, шел мелкими шажками, а лицо старика уже в кулачок ссохлось. Присев напротив Лукича, сказал Нафанаил без сожаления:

— Меня Всевышний призовет к себе вскорости. Может, это наше свиданье, князь, и есть последнее... Давай поговорим перед разлукой вечной, неизбежной для всех...

— Год-то ныне какой? — первым делом спросил Лукич.

— От Рождества Христова пошел тысяча семьсот тридцать шестой...

— Господи! — ужаснулся Лукич. — Мне-то взаперти казалось, будто сама вечность продлилась. А, выходит, всего три лета минуло со свиданья нашего... Не знаешь ли, доколе еще терпеть мне?

— Того не знаю. Но... Россия терпит, и ты терпи.

— Утешил... ой, беда! — Тут проснулся в нем старый дипломат, и Лукич стал выведывать у старца: — Что нового в Европах? Какие войны учались, какие короли померли? Что при дворе нашем слышать? А конъюнктуры ведаешь ли тонкие, придворные?

Черносхимник отвечал ему со знанием дела:

— Французы, как и прежде, сторонятся от России, будто чистый от немытого, лишь австрияки подлые нас к выгоде своей используют. Со времени падения Данцига вниманье русское обратилось к рубежам татарским. Оно и любо бы всем патриотам истинным. Однако конъюнктуры тоже есть немалые. И тонкие, и грубые, и всякие. Бояться надо нам, — сказал Нафанаил, — как бы война с султаном не обернулась для России жертвами напрасными... Те люди, что душой страдают за Россию, власти не имеют боле. Вся власть в руках той мрази, которая свои лишь интересы во всем изыскивает.

Нафанаил откупорил вино, придвинул князю хлеб.

И яблоки предложил. И мед в тарелке подал.

— Волынский... как? — спросил его Лукич.

— Единый человек из русского боярства, — ответил старец, — который прошмыгнул меж ног чужих, и ныне власть ему дана большая. И скоро, судя по всему, получит власть он вышнюю.

— Какую ж?

— Граф Ягужинский умер, а в Кабинете царском — лишь двое и остались: сам Остерман да князь Черкасский, ротозей известный. Сенат Петров столь захирел, что слова молвить боится. Теперь же твой Волынский весь в хлопотах, чтобы в Кабинете сесть, яко кабинет-министру.

— А сядет ли? — спросил Лукич.

— Он сядет, — старец ответил. — Ибо за него сам Бирен!

— Вот как? Выходит, этот граф в чести по-прежнему?

— И процветает в пышности. А ныне в ожиданьях он...

— Чего же ждет граф Бирен? — насторожился Долгорукий.

— Он смерти ждет одной... Фердинанд, герцог Курляндский, что в Данциге проживает, стар уже. И страждет сильно от болестей последний герцог из рода Кетлеров могущественных. Вот Бирен-граф и поджидает, чтобы корону герцогства его на себя примерить!

— Да кто же даст ее ему? — вдруг возмутился Лукич.

— Дадут, ибо Курляндия вассальна от Речи Посполитой, а в Польше коронован Август Третий, и сей саксонский выродок от Петербурга ныне сильно зависим... Вот он и даст.

— Берлин того не спустит, — возразил Лукич. — Пруссаки сами издревле зарятся на земли прибалтийские.

— Берлину с нами не тягаться: Россия в земли те уже вступила и не уйдет... Ты кушай, князь. Не плачь, князь, кушай.

— Я ем, я ем... да мне невкусно! Отвык от пищи...

— Привыкнешь снова, коль спасешься.

— Возможно ль то?

— Все мы под богом ходим, князь. Любое царствование, даже самое злосчастное, и то всегда кончается одним — кончиною правителя. А слухи и до нашей обители доходят...

— И что слыхать? — с надеждою воззрился на него Лукич.

— Слыхать, что Анна Иоанновна вступает в кризис, всем женщинам природой предопределенный... Но бойся, князь: с годами императрица все жесточее делается. В могилу еще многих затолкает.

— Типун тебе на язык, отец Нафанаил!

— Да, мне давно молчать бы след... Последние слова произношу я в этом мире. Я скоро ведь отправлюсь к нашим праотцам...

Так говорили до утра, и ночь над Соловками пошла на убыль, а в подвалах монастыря уже залопотали мельницы, меля муку для трапезы заутренней. Нафанаил поднялся, на клюку опершись:

— Прощай теперь.

Князь Долгорукий обнял старца, дивясь тому, как плоть его была легка и кости сквозь одежду ощущались.

— Еще спросить хочу: что родичи мои, в Березове?

— Живут, и все.

— А князь Дмитрий Голицын... он не казнен еще?

— Нет. При Сенате он. Но тужит, а не служит...

И опять ночь — как вечность. Снова «мешок» в камне.

С тех пор как вернулся сын из Персии, куда ездил к Надиру, князь Дмитрий Михайлович Голицын, старый верховник (а ныне сенатор), в Петербурге зажился. Но службы по Сенату избегал — не к о м у служить! Чтобы не попусту время проходило, князь Дмитрий метеорологией занялся. Пытался он выведать закономерность наводнений в Петербурге. Наблюдал за полетами птиц. И всему виденному доподлинные записи вел.

— В науке человеку, — говорил он, — можно более, нежели в политике, сделать. Ибо наука область ума такова, куда власть имущие по дурости своей залезать боятся, дабы дурость ихняя пред учеными видна не была... Жаль, что я ныне на восьмой десяток поехал, а ежели б юность вернулась, я бы всю жизнь свою иначе строил — в науки бы ушел, как в лес уходят.

Близ князя неизменно состоял Емельян Семенов, вроде секретаря княжеского. Этот умница был правою рукою старца сенатора. Вместе они читали, мыслили, спорили, сомневались. А книг в доме князя Голицына заметно прибавилось.

— Вот, Емеля, — говорил князь, — на что угодно деньги истрать, на вино сладкое, на красавиц утешных, на посуду или мебели дивные, — все едино потом жалеть станешь. И только книги всегда окупают себя, на всю жизнь дают полную радость.

Старый верховник сыновей своих отучил от двора царского. Сергею-дипломату место на Казани приискал, Алексею велел на Москве сиднем сидеть. При себе же сенатор младшего своего брата Мишу содержал; Миша на 19 лет был его моложе, по флоту в немалых чинах состоял и не смел присесть перед сенатором. Сейчас его в Тавров посылали корабли строить, но старший Голицын его придержал:

— У меня хирагра опять разыгралась, ты не уедь скоро — за меня на бумагах подписываться станешь...

Подписываться теперь приходилось часто. Князя Кантемиры, почуяв, что сила не на стороне Голицыных, вели против верховника дела кляузные. Потатчику о «мечтаниях по конституции» веры при дворе не было, а Кантемиры пребывали в почете, особливо князь Антиох, которого Остерман жаловал... В этих делах понадобился Голицыну человек канцелярский, и такого нашли. Звали его Перов, он тяжбное дело за Голицына повел, подчистки ловкие в бумагах делал, чтобы тяжбу скорей в окончание привести. На этом-то Перова и поймали... Дело уголовное!

Уголовное, но попал-то Перов не в полицию, а прямо в лапы к Ваньке Топильскому, который в канцелярии Тайной — шишка великая.

— Ты нам не нужен, — сказал ему Ванька, дорогой табачок покуривая. — Но твоя нитка далеко тянется... Другие нужны, повыше тебя, мелюзги! Осознай сие, иначе мы тебя, как кота, удавим.

Перов, в страхе за судьбу пребывая, сразу понял, чего хотят от него допытчики. Для начала составил письмо покаянное: что слышал в доме Голицына, что видел, что хулили при нем...

— А мне за это ничего не будет? — спрашивал трясясь.

Ванька Топильский утешил его:

— Не! Легонечко посечем и отпустим с миром... живи себе!

Анна Иоанновна однажды в Сенате встретила Голицыным:

— Вот и ты, князь... Здравствуй, давненько мы не видались. Ну-ка, покажи мне хирагру свою!

Дмитрий Михайлович протянул к царице свои обезображенные руки с раздутыми зелеными венами, и она сказала:

— Вот Бог-то и наказывает... Не ты ли, когда престольные дела вершились, кричал, что «царям воли надо убавить?»

— Кричал, ваше величество, и дельно то кричал.

— А Василий-то Лукич ишо сомневался: «Удержим ли власть?»

— Верно, ваше величество, Долгорукый-князь сомневался.

— А как ты ему тогда говорил в утешение?

— Говорил я так ему в утешение: «Удержим власть, Лукич, и без царей на Руси обойдется...»

— Да за такие ободрения, — отвечала императрица, — не Лукичу, а тебе, князь, в Соловецком мешке сидеть бы надо!

Остерман при встрече склонился в низком поклоне:

— Счастлив заверить вас, князь, что вскорости я буду иметь удовольствие добраться до вашей шеи...

Голицын поделился своими страхами с Семеновым:

— Ну, Емеля, кажется, подбираются... плачут по шее моей!

— Может, князь, сожжем кое-что заранее?

— Не с м е т ь! Книги да бумаги — гиштории принадлежат. Даже не помышляй: пусть я погибну, но книги останутся... Книга — не человек: ее за одну ночь не состряпаешь, это человека можно губить, а книгу беречь надобно!

От первого на свете Бисмарка (который был портняжкой в Штендале) и до последнего все были скроены и пошиты одной иглой на один манер. Буяны и хамы, бесцеремонные и грубые. Сожрать гору мяса, как следует напиться, убивать зверье и людей без разбору — вот это они всегда умели... Таков же был и Лудольф фон Бисмарк, по воле случая заброшенный в Россию, где стал он свояком всесильного графа Бирена. Теперь, сидя в Петербурге, герой этот порывивал на прусского короля своего:

— Дурак! Гогенцоллерны не умеют ценить Бисмарков...

Женитьба на сестре горбатой Биренши предопределила прекрасное будущее Бисмарка. Разноцветные паркеты в покоях на Миллион-

ной — будто ковры; а потолки — зеркальные, в коих отражение люстр чудесно по вечерам. В садках висячих, среди деревьев сада зимнего, плавали живые рыбы и каракатицы. Награжденный после Польской кампании орденом Орла Белого, посиживал Бисмарк в доме своем, и если бы сейчас ему попался на глаза король его, то Бисмарк наплевал бы на этого Гогенцоллерна. Что значит кайзер-зольдат со своими жалкими пфеннигами и кружками пива в сравнении с величием двора петербургского?..

Без стука, как свой человек, явился граф Бирен.

— А он... у м е р, — сообщил граф с обаятельной улыбкой.

Бисмарк даже подскочил:

— Курляндский герцог? Фердинанд? Какое счастье...

— Нет, — возразил Бирен, — умер всего лишь вице-губернатор лифляндский, некто фон Гохмут.

Бисмарк сразу остыл, в безразличии:

— А мне-то что за дело до него?

— Тебя, свояк, прошу я заступить его место. Фельдмаршал Ласси, генерал-губернатор краев балтийских, занят с войсками на войне... Хозяином в Риге станешь ты!

— Что делать мне прикажешь, граф?

Бирен любовно тронул Бисмарка за жилистое, как у беговой лошади, колено, обтянутое нежно-голубым атласом.

— Пора бы догадаться, — сказал, — что короны на земле не валяются. И если свалится она с головы тупого Фердинанда Кетлера, ты ловко для меня ее подхватывай... А что еще? От Риги до Митавы всего часа четыре скачки бешеным аллюром. Следи за настроениями в дворянстве. Есть в Курляндии барон фон дер Ховен, владения которого в Вюрцау. Он враг мой давний, его ты сразу обезвредь. Ну что толкую я тебе? — засмеялся Бирен. — Чего не скажешь ты, то за тебя расскажут пушки русские... Ты понял, друг?

— Ясно.

— Поезжай. А помогать тебе в подхватывании короны будет из Европы Кейзерлинг — он всегда был самым умным на Митаве!

Потсдам маршировал с утра до ночи, но Европа на эти мунстры прусские обращала тогда мало внимания. После графа Ягужинского послом в Берлин направили фон Браккеля, пособника графа Бирена... Был обычный плац-парад, король Фридрих Вильгельм принимал его сегодня вместе с сыном — кронпринцем Фридрихом, и под конец мунствования он подозвал фон Браккеля:

— Петербург может спорить со мной. Я уже стар и не смогу ответить. Но... бойтесь моего Фрица! — и показал на сына.

Парад закончился, кайзер-зольдат крикнул:

— Постарались, молодцы! Всем по кружке доброго пива!

Садясь в карету, король вдруг пожалел о таком ужасном мотовстве и приказ свой переменял:

— На двух парней — по одной кружке пива... Поехали!

На опустевшем плацу остался кронпринц. Маленький, шустрый, с быстрым взглядом, пронизывающим вся и всех. Под раскатами барабанного боя уходил в казармы полк Маркграфский, впереди шагал офицер — Алквиад, телом смуглый, как мулат, и красивый.

— Манштейн! — позвал его кронпринц. — Сегодня вечером прошу прибыть ко мне. Не удивляйтесь, но я зову вас на частную квартиру, где я живу в тепле, как частное лицо, вдали от королевской стужи...

Вечером они секретно встретились.

— Итак, — сказал кронпринц Манштейну, — вы рождены в России, ваши поместья в Лифляндии, где ныне проживает ваша матушка фон Дитмар, вы учились в Нарвской шулле, русский язык знаете, как немецкий... Думаю, что этого достаточно.

— Ваше высочество, — обомлел Манштейн, — откуда вам известно все о скромнейшем офицере полка прусского марк-графа Карла? Я изумлен...

— А как вы относитесь к русским? — последовал вопрос.

— Мой отец служил Петру Первому, был комендантом в цитадели Ревеля, и я, рожденный в пределах русских, не имел повода относиться к народу русскому скверно. Скорее, отношусь хорошо!

— Согласен с этим, — отвечал Фридрих. — Я тоже хорошо отношусь к русским медведям, хотя... — Кронпринц поднял руку, кладя ее на плечо великана. — Сейчас, когда вдруг заболел герцог Курляндский, всюду только и слышишь: Митава... Бирен-граф... корона древняя... Кетлеры... Все это чушь! Я не король еще, но королем я буду и уверен, что Пруссии с Россией воевать придется. А посему, любезный мой Манштейн, прошу ответить честно...

— Я честный человек, кронпринц!

— А нужен честный офицер, который бы уже заранее давал отчеты о русской армии. Вплоть до деталей самых пустяковых.

— Мне, дворянину, — отвечал Манштейн, потупясь, — не подобает заниматься шпионажем. Этот промысел слишком унижителен.

— Шпионаж — не промысел, а лишь ученье о противнике. Но если это и промысел, то он происхождения божественного... Выходит, я ошибся в вас: вы не склонны стать моим шпионом честным?

— Не понял вас, кронпринц. Прошу меня уволить...

— Нет, стойте, черт бы вас побрал!

Манштейн замер в дверях. Дымила свеча. Фридрих выждал.

— Нельзя быть таким олухом, — сказал кронпринц, бледнея. — Вы Библию читали хоть единожды? А разве сам Господь не был первым шпионом в мире? Возьмите «Книгу чисел», в главе тринадцатой вы найдете суждение Всевышнего о пользе, благородстве шпионажа. Я вас не воровать прошу, а наблюдать... Теперь — садитесь!

Манштейн сел, покорный. Он был разумен, тонок, наблюдателен. Фридрих заговорил так, будто уже все решено меж ними:

— Сейчас получите отпуск для посещения родителей в русских Инфлянтах. У вас будут на руках самые отличные аттестаты. Просто превосходные! Храбрость и разум ваши — это тот душистый мускус, о котором не кричат на улицах... Далее, — продолжал кронпринц, — назревает война с Крымом, и офицеры с военным образованием России нужны. От службы не отказываться! Задача первая: пробейтесь в адъютанты к кому-либо из русских военачальников... Задача последняя: станьте лицом самым близким к фельдмаршалу Миниху, ибо этот человек водит всю армию России, а по чину генерал-фельдцейхмейстера главенствует над русскою артиллерией...

— Мне все понятно, высокий кронпринц.

— Тогда... держите паспорт! Вы нежный сын и тоскуете по своей матушке. Вот и поезжайте в свои поместья. А я вас не забуду и все эти годы буду следить за вами, как наседка за цыпленком.

— Вы сказали... г о д ы ? — обомлел Манштейн.

— Да. Приготовьтесь к долгой разлуке со своим кронпринцем, с которым вам предстоит встретиться, когда он станет вашим королем. И не забудьте проштудировать главу тринадцатую из «Книги чисел»! Я не буду повторять, что там изложено от силы божественной... Меня интересует Россия в с я: вплоть до устройства мужицкой сохи, вплоть до длины ружейного багинета. Русские для меня еще загадка: это либо прирожденные рабы, либо... Боюсь так думать, но иногда они кажутся героями античного мира!

Манштейн прибыл в Лифляндию, быстро перешел на русскую службу и появился в Петербурге. Ведь он не просто офицер, каких много, а получивший военное образование, и этим был любопытен для всех. Его представили Анне Иоанновне, его заметили при дворе. Манштейна сразу прибрал к рукам принц Гессен-Гомбургский, нуждавшийся в завидном адъютанте. Миних тоже положил свой глаз на Манштейна.

— Таким, как ты, — сказал ему фельдмаршал, — не место торчать при этом принце... Ступай ко мне. Я тебя возвеличу!

...В этом году Фридрих вступил в переписку с Вольтером — в этом году рабская страна Россия вступила в борьбу с рабовладельческим ханством Крыма.

Глава третья

Еще зима была студеная, когда пришел в Петербург караван белых двугорбых верблюдов из Китая, привез он камни новые. Для торгов эти камни выставлялись в Итальянской зале, и были аукционы публичные. Императрица всегда на торжище присутствовала, много камней для себя скупая. Камни из Китая были еще сыры, необработанны, а чтобы красоту им придать, Анна во дворце своем мастерскую имела.

Морозы стояли крепкие, устойчивые. Деревья на першпективах — в кружевном серебре, будто кубки богемские. Снег хрустел под ногами прохожего люда. Петербург просыпался раненько... Вот кому нужда была раньше всех вставать, так это миллионщику Милютину. Ради чести в истопниках у царицы служил и поднимался часа в четыре утра, чтобы к пяти уже в ливрее быть. Печи топил в спальне царицы, оттого-то и Анна и граф Бирен его своим человеком считали.

Императрица истопника давно уже не стыдилась. Видел он груди ее великие, ступни ног румяные, будто кипятком обваренные.

— Благодати-то в тебе сколько! — похваливал ее истопник...

Анна Иоанновна поднималась всегда в шесть утра.

— За доверие твое к особе моей, — раздобрилась однажды, — жалую тебя во дворянство... Целуй! — И ногу из-под одеяла выставила.

Молодой дворянин (мужику за шестьдесят уже было) поймал пятку ее величества и вкусно поцеловал.

— А на гербе твоём велю печные выюшки изобразить...

Еще темно за окнами узорчатыми, а она уже в мастерскую спешит. Там два ювелира заспанных — мсье Граверо и подмастерье Иеремия Позье станки налаживают, ремни приводные тянут. В тисках уже зажат китайский камень (голубое с красным). Позье ногами вертел станок, императрица с резцом работала. Стружку драгоценную Позье в шляпу себе собирал. Испортив камень, царица щедро бросила его туда же — в шляпу.

— Мерси, — отвечал тот и кланялся при этом...

Высокие свечи в шандалах горели ровным пламенем. Вдруг раздался грохот ботфортов кованых, залязгали шпоры — это Миних явился. За год прошедший (на харчах варшавских) Миних еще боль-

ше размордател. Раздался вширь. Из штанов торчало всеядное пузо фельдмаршала.

— Ну, матушка, — сказал подходя, — благослови.

Затих резец станка, и Анна поцеловала его в лоб:

— Благословляю тя, фельдмаршал... Когда едешь-то?

— Сей день. Сей час.

Анна Иоанновна даже всплакнула:

— Одарить ли тебя чем? На дорожку бы... а?

Миних затряс перед нею жирной дланью — протестуяще:

— Не, не, матушка! Не сейчас... С викторией одаришь.

И замолчали оба. Что ж. Можно ехать.

— Победные конкеты, — сгоряча брякнул Миних, — заранее к ногам твоим кладу, матушка. Сам я с армией Бахчисарай истреблю, а корпус Петра Ласси станет Азов брать. Да хорошо бы калмыцкого хана Дундуку-омбу расшевелить, чтобы по кубанским татарам ударил...

— Езжай, фельдмаршал, — перекрестила его императрица. — И помни: еще не все злодеи истреблены мною. Голицыны да Долгорукие еще по углам ядом брызжут... Из этих фамилий ты никого в чины офицерские не смей производить. Служить им только в солдатах...

Из двorca Миних отправился домой — на Английскую набережную, где имел дом, от Меншикова ему доставшийся. Катил в санках мимо длинных мазанок, в коих размещались постоянные дворы для иноземных мастеров, мимо вонютиных кабаков, возле которых тряслись на морозе полураздетые пропойцы. Фельдмаршал швырнул в народ питейный горсть медяков, велел пить за его виктории... Во дворе дома уже готовили обоз в дорогу дальнюю. Для Миниха был оснащен крытый кошмами возок — с печкой, ломберным столом и горшком для нужд естественных, чтобы на мороз не выбегать. В карете уже засел друг фельдмаршала — пастор Мартенс. Тут же во дворе крутился и адъютант — капитан Христофор Манштейн, отваги и силы непомерной; он был верен Миниху, как родной сын... Жене своей Миних сказал:

— Сударыня, прошу вас выдать денег для меня.

— Сколько угодно вам, сударь?

— Бочку! Миниху много не надо.

Он по-хозяйски проследил, как ставят внутрь возка плетенки с вином, несут из дома окорока медвежьи, в корзинах тащат запеченные в тесте яйца. Из подвалов выкатили бочку с червонцами. Если при Бирене для взяткобрания состоял фактор Лейба Либман, то в доме

Миниха штабной работой занималась его жена — все взятки брала она, а Миних оставался чист, аки младенец. «Я взятков не беру», — говорил он (и это правда: не брал)...

Потирая замерзшие уши, к нему подошел Манштейн:

— Нас ждет слава бессмертная. Не пора ли трогать?

— Да. Я сейчас.

Миних зашел в дом, чтобы проститься с семейством.

— Сударыня! — сурово сказал жене, не целуя ее.

— Сударь мой! — сказал сыну, грозя ему пальцем.

Акт нежности был закончен. Миних резко повернулся, шагнул с крыльца в хрусткий сугроб, плюхнулся на кошмы возка.

Сытые кони взяли с места, выкатили за ворота.

— Пошел... к славе!

— Аминь, — провозгласил пастор Мартенс и открыл карты. — Дорога очень дальняя, а первая станция в Тайцах... Банк, господа?

Денег много. Вина и продовольствия хватает. Нет только женских ласк. Но Миних и тут извернулся. Задержась в Москве, фельдмаршал велел князю Никите Трубецкому сопровождать его до армии. И чтобы жену свою непременно с собою взял. И княгиню Анну Даниловну к своим рукам хапужисто прибрал. Вроде походной жены.

Миних в рассуждениях был прям и груб, как бревно, обтесанное тупым топором. Женщине он заявил — без апелляций:

— Мадам, вы до конца войны состоите при мне. Жалею только об одном: кампания закончится конкетом быстрым. Я медлить не люблю! А мужа вашего, чтобы не скулил, слезы напрасные источая, я сделаю генерал-провиантмейстером... Довольны ль вы?

— О да! Мой муж доволен будет тоже...

На том и порешили. Поехали дальше. С музыкой.

Казалось бы, бюрократы — людишки слабеньки, сидят с утра до ночи по канцеляриям и скребут перьями по бумажкам разным. Но это не так: бюрократия всегда сопровождает деспотию, и тем она сильна. Сама она, бесстрастная, не рвет ноздрей, но канцелярщина невнятна бывает и к стонам людей, замученных ею...

Напрасно зывал в Петербурге честный моряк Федор Соймонов:

— Флот уже погиб от засилия бумажек разных. Ни людей, ни кораблей, ни дел иройских отныне не видать — одни бумаги над мачтами порхают... Неслыханно дело приключилось: канцелярия противу флота на абордаж поперлась, и флот она победила!

Движением бумаг по флоту руководил «великий» Остерман, управляя директивно «под опасением жесточайшего истязания». Опять клещи, опять кнуты, снова топоры и клейма... А где же героизм? Президент в Адмиралтейств-коллегии, адмирал Головин, которому сам бог велел дать Остерману по зубам, чтобы в чужие горшки не совался, вместо того окружил себя иностранцами и во всем власти угождал. Остерман (смешно сказать) уже белый мундир адмирала на себя примеривал. Хорош он будет с гнойной ватой в ушах, с костылями и коляской, весь обложенный пухом, на палубе галеры при крутом бейдевинде...

Соймонова вице-канцлер как-то спросил:

— Кстати, а какой на флоте самый безопасный корабль?

— Есть один, — отвечал Соймонов. — Его вчера на слом в Неву привели. Слышите, стучат топоры? Его на дрова рубят...

Бюрократы убеждены, что им любое дело по плечу, и Остерман уже просил императрицу, чтобы ему чин генерал-адмирала дали.

— Да ты совсем уж обалдел, мой миленький, — сказала Анна...

Сейчас для нужд войны созидались два флота сразу. Один на Днепре, другой на Дону. Замышлено было: спустить их по весне к югу и ханство Крымское охватить с двух морей, с Черного и Азовского, армиям с воды помогая. Но не было лесу, мастеров не хватало, работные люди разбегались, не стало и совести... Страх, внушенный директивами, витал над мачтами, а страх — совести не товарищ!

— Ой и полетят наши головы, — толковали на верфях в Брянске.

— Быть нам всем драну и рвану, — судачили на Дону...

Заранее собирались силы. Две громадные армии шли на Киев, сжимаясь в боевой кулак единого компонента. Из-под Варшавы шагала армия Миниха в 90 000 человек. С берегов Рейна, что пронизаны солнцем, тяжело и неотступно двигалась на родину славная армия Петра Ласси; маршрут ее лежал от стен Гейдельберга через владения Римской империи, минуя Краков... Много повидали в долгом пути богатыри русские! А на юге рано растеплело, побежали ручьи, кое-где на горушках уже и травка проклюнулась. Ранней весной 1736 года фельдмаршал Миних тронулся через степи на Дон.

— Толмача мне надобно сыскать доброго...

Явили ему походного толмача Максима Бобрикова: сам будучи из донских казаков, мужик ведал почти все языки восточные.

— Откуда у тебя опыт сей? — удивлялся Миних.

— Опыт от опыта же, — отвечал Бобриков...

Миних прибыл в крепость Святой Анны*, что стояла на границе турецкой, близ самого Азова, — тут его лихорадка сразила.

Миниха сажали и снимали с лошади, будто куклу деревянную.

Азовский комендант прислал к нему посла-адъютанта.

— Мой паша, любимая тварь Аллаха, — сказал посланник, — надеется, что высокоутробный Миних, любимая тварь своей царицы, не со злом прибыл в края эти... Великая Порта войны с Россией не ведет, а комендант Азова не подавал поводов к недовольству вашему!

Максим Бобриков перевел речь посла, как по писаному, не боясь при этом Миниха тварью назвать. Фельдмаршал дал ответ:

— Поклон паше азовскому посылаю, а боле пока ничего...

А вокруг Азова немало пикетов и кордонов понаставлено. Стали их ломать солдаты. И немало вокруг деревень татарских. Всю ночь с фансов цитадели стучала дежурная пушка, предупреждая жителей, чтобы спешили в крепости от русских укрыться. Но жители бежали прочь, в сторону кубанских татар (единоверцев своих). Миних, форпосты взломав, позвал до себя генерала Левашева, который под Азов прибыл с Кавказа, где недавно отдали Надиру Баку и Дербент... Левашев был злобен от потерь земельных, настроен запальчиво-воинственно.

— Вот и войю, — кратко наказал ему Миних. — А когда прибудет фельдмаршал Ласси, команду над армией ему сдашь. Я поехал...

И отправился в Царичанку, где собирался главный штаб его. Лагерь жил по шатрам и хатам (шумно, сытно, безалаберно и хмельно). Тут были принц Гессен-Гомбургский, генерал Леонтьев, брат графа Бирена — Карл, инвалид известный, Штоффельн, Гейн, прочие... Были здесь еще два генерала — опытные и зверски драчливые: Юрий Лесли из дворян смоленских и Василий Аракчеев из дворян бежецких. Лесли — потомок короля Дункана, но из прошлого удержал в памяти только девиз своего древнего герба: «Держись в седле крепче!» На высохшем теле смоленского воина — латы бронзовые, в которых дед его на Русь прибыл. Русские солдаты любили Лесли, произнося его фамилию на свой лад: Е с л и... Лесли был храбр и справедлив, как рыцарь, он терпеть не мог принца Гессенского.

— Трусые всегда жестокосердны, — говорил благородный старец. — Можно заставить людей страдать ради дела, но нельзя же страдания людей обращать в свое удовольствие...

В войске принца Гессенского секли солдат преобильно, а раны свежие солью или порохом присыпали. Зато в шатрах генерал-аншефа Леонтьева кормили исправно. Генерал содержал кухню богатую, двух

* Крепость Святой Анны положила основание городу Ростову-на-Дону.

поваров имел. Русского крепостного Степана и наемного француза Жана. Если генерал бывал недоволен соусом, француз отделялся внушением. А русского повара Леонтьев заставлял выпить два стакана перцовки. Закусить же водку велел двумя копчеными сельдями. После чего Степана сажали перед шатром на цепь и два дня не давали глотка воды... Иностранцы спрашивали генерал-аншефа:

— Отчего, сударь, с французиком вы столь сердечный?

— А француз может мне пулю в лоб залепить. Зато кровный брат по вере... на то он и брат, чтобы все терпеть...

Манштейн ко всему виденному зорко присматривался.

— Я сделал странный вывод, экселенц, — сказал он Миниху однажды. — Каждый русский в отдельности разумен, смел и самобытен. Но в массе своей русские тупы, пассивны и раболепны.

— Не думал об этом, — отвечал Миних. — И вам не стоит. Лучше проведайте стороной: что с провиантом для похода?

— Трубецкой жалуется, что волы отстали, плохо тянут обозы.

— Зовите сюда этого трясуна!

Явился, раболепно согнутый, князь Никита Трубецкой; друг Феофана Прокоповича, сам стихи писавший, он был низок, отвратен, угоден всем, кто выше его. При веселой Екатерине I князь теленком ревел на ее пирах, а с набожной Анной Иоанновной князь горько рыдал пред иконами. Нет, не всегда поэты благородны!

— Иди сюда... ближе, ближе, — сказал ему Миних.

Князь приблизился, и фельдмаршал без жалости нарвал ему уши. За волов, которые медлительны. За хлеб, которого все нету.

— А теперь ступай. Да жене своей скажи, чтобы причесалась. Я ее к вечернему чаю зову. А тебя при сем чае не надобно...

В тени распахнутого полога шатра показалось большое чрево княгини Анны Даниловны, уже беременной. Дамой она была бойкой, языкатой, бравою... С такою никогда скучно не будет!

Утром фельдмаршала навестил вездесущий проныра Манштейн:

— Князя Трубецкого нельзя допускать до части комиссариатской, он вороват, ленив, продажен... Он испортит нам всю экспедицию!

А в спальне фельдмаршала еще пахло духами княгини.

— Ну, что делать? — спросил Миних, искренне огорчаясь. — Чем-то я должен его протезировать! Ах, мой милый Манштейн... От Анны Даниловны я получаю столько бурного огня, что можно простить и копать от ее муженька. Какая дивная женщина досталась мне на старости лет... Посылайте гонца под Азов: прибыл Ласси или Ласси не прибыл?

В эти дни Миних сообщал в письме императрице, что русская армия носит его на руках, солдаты называют его не иначе как «соколом» и «столпом всего Отечества»... Это он хватил через край!

Совсем другой человек — фельдмаршал Петр Петрович Ласси! Скромный ирландец, он связал свою жизнь с Россией и служил ей преданно и верно. Сейчас он возвращался из корпуса Евгения Савойского, где солдаты русские бились за интересы венские. Австрийский император дал Ласси титул графа, но Петр Петрович в России титулом этим никогда не пользовался. Ласси — умный человек — понимал: с Минихом ему не тягаться. Миних его перешибет всегда, ибо силен при дворе... Не в пример Миниху, Ласси любил и щадил солдата русского, и солдат русский Миниха только боялся, а Ласси он душевно жаловал и уважал за мужество.

Сейчас он поспешил к Азову — так, что не однажды загорались оси колес его почтовой кареты. Багаж был немудрен. А за каретой Ласси — в отдалении — скакали конвойцы. Азов был недалек, когда татары напали. Сшибли с седел казаков, батовали их арканами. Ласси выскочил из кареты — без мундира, в сорочке. Успел выпрячь одну лошадь. Шпор на ногах не было — ударил ее пятками. Петли аркана, раскручиваясь, просвистели над его головой. Ласси пригнулся, и веревка скользнула по плечам... Лошадь понесла наметом!

Так и прибыл Ласси под Азов: без конвоя, без кареты, без мундира, без багажа... Левашев доложил ему, что осада Азова ведется, а вчера с моря уже показался флот турецкий.

— Ладно, — отвечивал Ласси, запрыгивая в сапу.

Ночью он продвинул войска на сорок шагов. Турки вышли из крепости, отбросили их обратно. Ночь наполнилась звоном лопат — противник быстро засыпал нарытые русскими траншеи и сапу. Ласси спокойно допил кофе, подтянул на руках скрипящую кожу краг.

— Сейчас пойду я, — сказал он, обнажая клинок...

В полном мраке дрались у палисада. Ласси сбросили в ров, сверху на него прыгнули сразу два турка. Одного он принял на шпагу — лезвие с хрустом обломилось. С бруствера выстрелили и попали в ляшку Ласси, старик упал. Казаки спасли его от пленения, а после боя, отвечая на попреки в ненужном азардовании, Ласси говорил:

— Как же я могу требовать мужества от подчиненных, ежели сам не окажу мужества того примеры достойные?

Лекарь ковырялся в его ране, а фельдмаршал курил трубку.

— Посылайте гонца в Царичанку, — наказал Ласси. — Пусть Миних ведает, что я к Азову прибыл, но Азов еще не взят, и когда возьмем его, того не знаю...

Итак, война началась. Но это еще не война.
Были капли крови. А будут реки ее!

Глава четвертая

Политика — наука, но тогда об этой науке помышляли как о сочетании хитрости и подлости бесовской. Крепкие союзные договоры соединяли две страны — Россию с Австрией, Австрию с Россией, и Австрия имела от России множество выгод, а Россия от Австрии — одни хлопоты и расходы непомерные... Попросту говоря, русские от такой «дружбы» кукиш имели! Европейские дипломаты говорили: «Tu, Austria, nube», что значило: «Ты, Австрия, брачуйся!» Но политики Вены выражались еще точнее: «Belli gerant alii tu felix Austria nube» («Пусть другие ведут войны, а ты, счастливая Австрия, заключай браки!»). Это верно: без пролития крови, только через альянсы любовные, Вена умудрялась добиваться больших политических выгод.

Но сейчас война. Она не ждет. Дело теперь за Австрией...

— Пусть Австрия войдет, — хлопнул в ладоши Остерман.

Момент был наисладчайший, как любовная судорога. Настал тот волшебный миг, ради которого строилась вся политическая система Остермана. Сейчас, из этого удобного кресла, он произнесет только одно слово, и великая империя Габсбургов, во всем своем торжественном великолепии, развернет штывы против Турции. А тогда уже никто не скажет, что Остерман продавался Вене напрасно: русские интересы окажутся соблюдены, как супружеская верность...

И вошел барон Остейн, посланник венский. Скучающий:

— Я так крепко спал... А что случилось, граф?

— Не притворяйтесь, — рассмеялся Остерман, довольный. — Русская армия начинает движение в сторону Крыма, и вот мне пишет Миних, что уже в этом году будет в Бахчисарае и Азове, в следующем году — в Очакове, а затем водрузит свои боевые штандарты над сералем султана турецкого — в самом Константинополе... Каково, барон?

Посол австрийский прищурил рыжий глаз:

— И ради этого вы разбудили меня в такую рань?

В печи уютно трещали поленья. Иней украшал окна.

Остерман нарочито медленно сложил письмо Миниха.

— Я не всегда понимаю Вену, — сказал, настороженный. — Союзный договор обязывает вас выступить заодно с Россией.

— И не подумаем! — был веселый ответ Остейна.

— Но вы подумали, что за интересы венские Россия выставила для нужд австрийских целый корпус на Рейне под командой опытного Петра Ласси? Этот корпус уже бьется сейчас под Азовом...

Остейн невозмутимо зевал, прикрывая рот тыльной стороной ладони, и от зевков посла блистательной Вены запотели камни в перстнях. Остейн потер их о бархатный камзол и начал так:

— Вы, что же, и меня за сумасшедшего считаете? Так вот что я скажу вам, вице-канцлер... На помощь Австрии не рассчитывайте, у нас совсем иные намерения: не помощь, нет, а лишь п о с р е д - н и ч е с т в о к м и р у с турками мы вам предлагаем.

— Как? — Остерман чуть не выпал из кресла.

Остейн с видом гуляки кривенько подмигнул ему:

— А вы разве надеетесь победить? Не советую...

Вся система Остермана рушилась в пропасть.

— Но что я скажу императрице? — простонал он.

— Скажите ей, — учил его Остейн, — что флаг моего великого императора Карла Шестого сейчас уже реет в волнах Черного моря, Вена плавает по Дунаю до самых гирл. И мы, австрийцы, не обрадуемся, если увидим на Черном море еще и флаг российских кораблей! Эта война дорого обойдется для вас, граф.

Уже послышалась угроза, и Остерман всхлипнул:

— Вы хуже турок... хуже, хуже, хуже!

И тут барон Остейн ринулся в ответную атаку:

— Другое Вену сейчас волнует: когда же состоится бракосочетание принца нашего Антона Ульриха Брауншвейгского с принцессой вашей Мекленбургской — Анной Леопольдовой? К т о деньги брал за все от Вены? Я слышал, будто вы их брали!

— Виною задержки со свадьбой не я... не я...

— А кто же? Кто посмел противиться этому браку?

— Сама принцесса, да простит мне бог! Она его не любит...

— Бог вас простит, но только не Вена! Кому нужна ее любовь? Нам нужен только брак, и больше ничего. А до любви и поцелуев нам, венцам, нет и дела...

— Принц же Антон, — поникнул Остерман, — слишком робок, он не способен пылкость проявить в делах амурных.

— Послушайте, мой граф, — заметил Остейн, — мы же с вами не сводни. И сводим не любовников, а государства... Вот умер Ягужинский, — вдруг сказал посол, — место его в Кабинете свободно. А принц Антон Брауншвейгский — юноша огромных классических дарований, по праву должен заседать в Кабинете и в Военной коллегии. Но для этого нужен сущий пустяк — бракосочетание его с принцессой.

Остерман двинул бровями — козырек сам упал на глаза ему.

— Ну, хватит! — обозлился он. — С вопросом этим обращайтесь к Бирену... С меня уже довольно. Прощайте... Господин Эйхлер!

Явился Иогашка Эйхлер, весь в шелку лиловом, будто соткан из сплошных тюльпанов, он учтиво пропустил Остейна в двери, которые и затворил за ним.

— Ай-ай, — сказал Иогашка. — Вот наказание нам... Какая подлость венцев! Версальцы так бы не поступили.

— Молчи хоть ты, ничтожество в шелку...

Остерман плакал (непритворно). Между тем сани посла австрийского уже заворачивали на Мойку, к дому обер-камергера. Граф Бирен хмуро выслушал Остейна о том, как гениален принц Антон, какая свобода ума, какое благородство чувств, какое бурное желание быть полезным русской нации... Не хватает ерунды: из жениха Анны Леопольдовны ему надо превратиться в мужа, остальное приложится — и место в Кабинете под боком императрицы, и место в коллегии Военной под крылышком Миниха.

Бирен стал грызть ногти (ужасный признак). Граф еще не потерял надежды сосватать принцессу Анну Леопольдовну со своим сыном Петрушей Биреном... Ладно. Пускай этот венский петух распускает перья и дальше. Пускай он трещит, пока не иссякнет.

— Жду вашего ответа, граф, — закончил монолог Остейн.

Бирен не спеша встал. И вдруг начал орать:

— Вена здесь не хозяин! Если же ваш принц Антон такой мудрый, как вы его расписываете, то я сегодня же вышвырну его обратно в Вену, которой явно не хватает мудрецов... Ваш принц, которого Россия кормит-поит, лишь для того и принят в Петербурге, чтобы произвести потомство от принцессы. Но я клянусь, черт побери, что даже на это он не способен! А если дети и родятся, — мстительно закончил Бирен, — то я желаю одного: пусть они будут похожи на любого прохожего, только не на своего отца...

Остейна шатало, как пьяного:

— Я... не... мы... Вена... ох!

— Вот именно! — воскликнул Бирен. — Как вы мудры! И вот вам дверь, в которую вы, уходя, не промахнитесь от испуга...

Вот если б Остерман с такой же страстью сражался за русские интересы, как это делал Бирен в интересах собственных!

Принц Антон Ульрих Брауншвейг-Люннебургский — это незаконное дитя русской истории — был совсем не глуп, и, повзрослев, он понимал, что ввергнут в хаос страстей отнюдь не любовных, а только политических. На нем сказалась поговорка: «Ты, Австрия, брачуйся!»

— Я пятый туз в колоде карт игральных, — говорил Антон о себе и, бродя по залам дворца, морщил губы, изъеденные оспой.

Принц был лишним для страны, в которой мерз; лишний при дворе, где его ненавидел Бирен; принц был лишний и для своей невесты Анны Леопольдовны, которая презирала его с какой-то слепой, яростной ненавистью.

— Уходите! — кричала девочка на жениха. — Я вас видеть не могу. Вы мне несносны, мерзки, отвратительны... Прочь от меня, не приближайтесь. А коснетесь меня, и я в вас плюну, плюну, плюну...

Антон все переносил, забываясь в чтении древних авторов.

Анна Иоанновна иногда утешала юношу.

— Ваше высочество, — говорила она ему, — высокие персоны не для пылкости и сходятся, чтобы жить вместе. Это мужики да мастеровые по любви женятся. А для высоких персон — и принципы высокие...

Он понимал и это. Лишний в России, принц не смел покинуть эту страну без согласия всемогущего дяди своего, императора Карла VI, который и устроил это выгодное для Габсбургов сватовство с домом Романовых, — и не раз Антон просил императрицу:

— Отправьте меня на войну. Мне легче умереть, чем жить без пользы, ни от кого, кроме вас, ласки не наблюдая...

А ласка пришла совсем неожиданно — от человека, про которого ходили по империи ужасные слухи. Это был обер-егермейстер Волынский, и этот зрелый человек (умен и дерзок) первым подал Антону руку приязни. Мало того, Артемий Петрович был столь находчив, что умел стать незаменимым и в окружении его невесты. Сейчас Волынский сделался как бы посредником между двумя враждующими лагерями.

— Ах, принц почтенный, — он говорил не раз Антону, — поверьте мне, который женскую породу изучил: принцесса Анна лишь по наивности капризна... — А юную принцессу Волынский убеждал попроще: — Коряв, то верно. Но не с лица же воду пьют. Антон, же-

них ваш благородный, достоин быть любимым, вы счастливы с ним будете...

Анна Леопольдовна была во много раз глупее жениха. Сейчас она перешла Рубикон — превратилась из девочки (без юности!) сразу в самку, жившую лишь низменными инстинктами. Последний год она провела как в угаре, вся в лени, в надменности и капризах. Безграмотная, с отвращением к занятиям, она жила (насыщенно и бурно) лишь в тайных удовольствиях с послем саксонским. А граф Линар, распутный дрезденец, повелевал девочкой как хотел. После объятий с ним принцесса погружалась в темный сон. И просыпалась лишь тогда, когда приходило время нового свидания. Казалось, больше ей ничего уже и не надо... Анна Леопольдовна ходила по дворцу растрепой, в халатах-затрапезах, в платке, как царственная тетушка; принцесса не мылась сутками, в постели ела, на люди ее было никак не вытащить. Такова-то была эта невестушка — исчадь Дикой герцогини, и верно говорят, что яблоку от яблони далеко не падать.

А на беду свою Анна Леопольдовна была прилипчива в дружбе. И привязывалась к людям, как собака. Однажды подарив доверенность свою мадам Адеркас, она уже только одну ее и слушалась. А та воспитывала подростка-девочку на свой лад.

— Всякий муж противен, — внушала мадам Адеркас, — зато каждый любовник сладок. И пусть мир пополам треснет, но так будет!..

Недавно Бирен вывез из Курляндии многочисленное семейство баронов Менгденов. Юлиана Менгден, попав в придворный штат, стала самой близкой наперсницей принцессы. Юлиана была девица злая, ловкая, хитрая. Она сразу поняла, что говорить надо:

— Ваше мекленбургское высочество, не поддавайтесь на брак с принцем Брауншвейгским... Как он прыщав! Как он несносен! Зато как очарователен граф Линар, посол саксонский... ах! ах! ах!

Анна Леопольдовна ответила ей самой нежной дружбой. И в один из дней принцесса соединила руку Юлианы Менгден с рукою красавца Морица Линара:

— Вот тетушка моя, императрица, она умна... Чтоб слухи подлые пресечь, она графа Бирена на горбунье женила, на которую тот и смотреть не хотел (Линар тоже не выносил вида Юлианы Менгден!). Когда я стану близ престола русского, я обручу вас тоже. Но, милая моя Юлиана, ты сразу знай, что только я одна буду любить Линара моего... Довольны ль вы?

Заранее она копировала царствование своей тетки и (заодно с пороками его) переносила в царствование будущее. Но заговорщики не

учли, что слухами мир полнится. И вот приползла к Анне Иоанновне лейб-стригунья ноготочков царских Юшкова, насплетничала:

— Матушка ты наша сладкая, велик грех в дому твоём обнаружен! И таки уж сильные персоны замешаны, что не лучше ли мне умолчать, дабы не быть от тебя заживо растерзанной?

Анна Иоанновна ответила бабе глупой:

— Иль не ведаешь ты, что едино правды от людей жалую?

Юшкова ей на ухо что-то нашептала, императрица сразу выросла в гнев, Ушакова кликнула, долго совещалась с ним наедине.

— Не верю я, чтобы племянница моя на такой срам была способна. Однако ты проследи... Уличи!

— Принц Антон, — отвечал Ушаков, сочувствуя, — робок уж больно. Девицу неопытну надо по малости искушать, чтобы страсть пробудить в ней. Принц же только книжки читает... Рази это жених? Тут бы ему красным бесом перед ней хаживать!

— Сколь много с матерью ее мучилась, — нахмурилась Анна, — а теперь неужто и дочка вся в матку пошла?..

Ванька Топильский единым махом домчал до Ушакова:

— Линар выехал! Не иначе как для альянсу амурного...

Был поздний час, когда кони великого инквизитора всхрапнули возле дома камер-юнкера Брылкина. Кто-то пискнул на дворе при виде генерала из Тайной розыскных дел канцелярии, будто мышь, кота учуявшая. В приемной сидели при свечках двое: сам Брылкин, камер-юнкер принцессы, и воспитательница ее — мадам Адеркас.

— Вечер добр, — сказал Ушаков. — Вы никак в карты играете?

— В бириби, — обомлел Брылкин.

— Коли в бириби играть, — заметил Ушаков, в карты обоим заглядывая, — то потом целоваться надобно... Целуешь ты мадаму?

— Иногда, — проямлил Брылкин, холод смерти почуя.

Ушаков табачку нюхнул из тавлинки, велел камер-юнкеру:

— Ты, Ванька, пока уйди... не до тебя нам!

Брылкин (ни жив ни мертв) уволокся. Ушаков на Адеркас глянул, да столь бойко, что мадам эта чуть со стула не свалилась.

— Вызнано, — сообщил ей инквизитор, — что вы, мадама, в Париже и в Дрездене дома веселые содержали с девками публичными. А вот как вы стали воспитательницей принцессы русской... этого уж, простите покорно, даже я дознаться не смог! А срам-то велик...

Ушаков взял шандал со свечами и шагнул в покои соседние. А там две головы покоились на одной подушке: Линара и принцессы. Линар сразу пистолет схватил, срезал свечи пулями.

— И не стыдно вам? В странах добропорядочных, когда мужчина с женщиной уединяются, препятствий им уже не чинят...

Во мраке любовного алькова прозвучал голос инквизитора:

— Собирайтесь, граф, в Дрезден ехать, чтобы пред своим королем виниться. Не за тем вашу милость послом в Россию назначили, чтобы вы девиц знатных портили. А вы, ваше высочество, за мною следуйте. Вас давно тетушки венценосные поджидают...

Анна Иоанновна наотмашь стегала племянницу по лицу:

— Мерзавка! Срам-то какой... что в Европах о нас подумают? Мы от тебя законного наследника для престола ожидаем, а ты...

Под ударами кулаков тетки кричала девочка:

— Вам можно, а мне нельзя?..

— Молчи, язва! С матерью твоей извелась, а теперь и ты?

Анна Леопольдовна вдруг ожесточилась от побоев:

— Графа Морица Линара любила и буду любить всегда. А принца Антона, мне силком навязанного из Вены, ненавижу и презираю.

Анна Иоанновна озверела от таких признаний:

— В уме ли ты? К иконе... на колени... покайся.

Схватила принцессу за волосы, потащила к киоту. Головой била ее об пол. А когда девочка поднимала глаза, то видела над собою Тимофея Архипыча («Дин-дон, дин-дон... царь Иван Василич!»).

— Покайся! — грозно требовала тетка у племянницы.

Плечами вздрогнув, отвечала ей та — люто и грубо:

— Клянусь пред сущим! Морица Линара до гробовой доски любить стану, а принца Антона до милости своей не допущу...

— Тащите ее! — рассвирепела Анна Иоанновна. — Волоките прямо на портомойню... чтобы штаны гренадерам стирала!

А потом в ужасе императрица разрыдалась:

— Господи! Ведь то, что она понесет в чреве своем, э т о после меня должно с престола всею Россией править...

.....

Позор был велик. Чтобы слухи пресечь, решили скандала шумного не делать. Казни никого не предавать. Камер-юнкера Брылкина сослали капитаном в гарнизус Казанскую, мадам Адеркас снабдили презрительно золотом за молчание и отправили за рубеж с «дипломом похвальным»; король Август III сам догадался посла Линара отозвать...

На почтовом дворе за Ригой расстались Линар и Адеркас.

— Вы столь богаты теперь, — сказал Линар, — что, наверное, вновь откроете свое великолепное торжище?

Мадам Адеркас за рубежом России осушила слезы.

— Дьявол вас раздери! — закричала она. — Клянусь честью, если вы навестите в Дрездене мое заведение с зеркалами, я с вас, бесстыдник, денег не возьму. Но мы весело пожили в Петербурге...

Вот и Дрезден, где Линара поджидал разъяренный канцлер Брюль.

— Вы напрасно думаете, — сказал он послу, — что с вами случилось лишь забавное приключение... Чему вы смеетесь, граф? Или вам не ясно, что Саксония поддерживает свою честь лишь добрыми отношениями с Петербургом? Без России сейчас мы — ничто...

Линар без робости ответил канцлеру:

— Хотите, я предскажу свое блистательное будущее?

— Сомневаюсь... висельник, — поморщился Брюль.

— А вы не сомневайтесь. Когда принцесса Анна Мекленбургская займет в России место на престоле, тогда... О, подумайте же сами, Брюль: что она сделает в первую очередь?

— Для начала она забудет вас!

— Меня забыть никак нельзя, — отвечал Линар. — Еще не родилась такая женщина, которая могла бы забыть меня. И первое, что сделает Анна Леопольдовна, достигнув власти, — это вызовет меня к себе. Да, да! И тогда я стану править Россией, точно так же, как и правит ею сейчас Бирен, отчего и советую Саксонскому королевству относиться ко мне с уважением, как к будущему императору России!

Графа Бирена эта история даже не возмутила — обрадовала.

— Выходит, девочка рано созрела для любви, — рассуждал он с женою, горбатой Бенигной. — Если это так, то принца Антона Брауншвейгского надо отшибить от ложа брачного подальше, а принцессе Мекленбургской подсунем нашего сыночка... Под одну корону — обоим! И тогда мы, замухрышка, станем править всей Россией.

— Ненадежен и рискован план этот, — говорила жена.

В запасе Бирена имеется вариант другой:

— Мы женим нашего сына на цесаревне Елизавете...

— Вот это ты умней придумал, — соглашалась горбунья. — Мекленбургских да Брауншвейгских русские скорее с престола погонят. А цесаревна Елизавета — дочь Петра Первого, и за нее надо держаться.

— Смотри! — воскликнул Бирен. — Елизавету бедную все при дворе шпыняют, никто ей слова ласково не скажет. И только я, умнее

всех и дальновидней, с Елизаветой добр, приветлив и сердечен... Но пока надо молчать. Сейчас меня тревожит иное: сломают ли турки шею Миниху? Или у этого ольденбургского вола шея такова, что на ней дрова колоть можно?

Глава пятая

Кривая ногайская сабля, выкованная из подков конских, билась у самого бедра хана. Тяжелый колчан со стрелами крутился возле полы грязного халата, задевая высокий ковыль. Звеня кольчугами, за ханом Дондукой-омбу шли тысячники, его суровые раскосые воины — Сендерей, Бахмат и сын Голдан-Норма. В свите хана калмыцкого как почтенные гости и советники два атамана казачьих — Данила Ефремов да Федор Краснощеков...

Дондука-омбу поднял свою орду на войну, и орда Калмыцкая, союзная России, навалилась на орду Кубанскую, союзную татарам. И была сеча кровава. В переблеске сабельном, в воплях гибельных, визги воинов калмыцких покрывало в степи — могучее, казачье:

— Руби их в песи... круши в хузары!

Пять тысяч кибиток татар кубанских предали полному разорению. Еще никогда калмыки не ведали таких побед, как эта... Резня была страшная! Из мужчин никого в живых не оставили: от орды Кубанской уцелел только скот (всегда ценный в степи), дети да женщины; отягщенные небывалой добычей, калмыки вернулись в низовья волжские, шел у них пир горой. Один раз уже перегнали молоко кобылье, и получилось хмельное аркэ, но атаманы были недовольны вином:

— Слабовато, хан. Вроде кваска... не шибает!

Дондука-омбу, чтобы донцов уважить, велел гнать аркэ во второй раз, и вино, пересидев в кожаных чанах, из слабосильного аркэ превратилось в резкое и буйное арзэ.

— Гони и дальше, хан, — подначивали донцы.

Погнали молочное вино на третий раз, и получилось харзо, от которого казаки запели. В юрт калмыцкий приехали мурзы знатные с выражением покорности. Краснощеков посла кубанского ткнул носом в свой закорюченный походный чувяк.

— А раньше ты чего думал? — спросил его по-татарски.

Атаман Данила взял двух мурз за шкирки и покидал их, словно щенят, в шатер к Дондуке-омбу:

— До тебя пришли, хан. Жалости просят... прими!

Послы татар кубанских заверили хана в своей рабской покорности, но тут в разговор вмешались атаманы донские:

— Ты, кал свинячий! Дондуке ваша покорность не нужна. Отныне и веков во веки покорность свою изъявляйте России, а хан Дондука с этого годочка лишь подданный царицы нашей...

Мурза ощерил зубы (каждый зуб — как желтый ноготь).

— Мы согласны, — прошипел он, — слизывать гной с мертвецов, умерших от оспы, но подданны России никогда не станем.

Краснощеков концы усов заложил себе за уши.

— Это твой гость! — крикнул он хану. — Так угощай его!

К тому времени вино харзо пересидело срок, и теперь стало оно хоруном, который пить уже нельзя. Дондука-омбу протянул кубанскому мурзе чашку с ядовитым кумысом:

— Пей. Ты мой гость... я люблю тебя!

Посол стал отказываться, ссылаясь на сытость. И в доказательство рыгал столь густо, будто на болоте гнилые пузыри лопались.

— Эй! — велел Дондука-омбу тысячникам своим. — Расширьте послу плотку, чтобы хорун проскочил в него, нигде не задерживаясь...

Сендерей и Бахмат схватили мурзу за уши и тянули их в разные стороны, пока уши не оторвались. Потом уши эти швырнули на прожор собакам своим и сказали:

— Вот теперь кумыс легко проскочит в тебя... пей! — И тот выпил. И завыл. И помер.

— Остальных послов, — приказал хан, — в заложниках оставлю. Я пойду на Кубань опять. И буду ходить, пока не состарюсь. После меня дети пойдут, а за ними внуки. И станут они разорять улусы ваши, пока вы не исчезнете за горами Кавказа или не покоритесь...

Прибыл в ставку калмыцкую из Петербурга адмирал Федор Соймонов, привез от царицы грамоты, подтверждавшие ханство Дондуки-омбу.

— Теперь, — сказал ему адмирал, — ежели кто возжелает тебя из степей выгнать, вся Россия за тебя встанет. — В шатер внесли подарки от императрицы. — А ты, — продолжал Соймонов, — одари нас конницей своей. Нужны всадники твои под Азовом, пусть на Крым войной ходят, там пожива орде твоей богаче будет...

В этом году калмыки вступили в семью русскую, и отныне будут служить России саблями — честно и неустрашимо, а калмыцким верблюдам теперь идти далеко — до самого Берлина!

Кампания начиналась удачно. До Миниха уже дошли известия о победе орды калмыцкой, его достигали и слухи о том, что граф Бирен желает ему сломать шею на войне с турками.

— О шее же моей, — утверждал фельдмаршал, — заботы графа излишни: она все выдержит, ибо шея моя не лакейская, как у Бирена, а крестьянская...

Отчасти он был прав: дед Миниха землю пахал. Страсть самоучки к строению плотин на реках выдвинула его в люди. Грубая живая кровь германского простонародья еще не угасла в Минихе (она угасала сейчас в его сыне, утонченном поэте и музыканте, который пришел на все готовенькое). И эта кровь давала себя знать — в повадках, в хитрости, в напористости. Если Миних видел цель, он перся на нее, словно бык, уже не разбирая дороги. Ломал любые преграды, сшибая все препоны на пути, давя при этом множество людей, бодаясь и рыча...

Сейчас для него главное — попасть в Крым, а честолюбие в душе графа было непомерно. На святой неделе, готовясь к походу, как к смерти, фельдмаршал исповедался перед другом, пастором Мартенсом.

— От малого жажду большего! — признался Миних честно. — Малое — чтобы царица отдала мне необъятные поместья Вейсбаха, которого я на тот свет спровадил. Больше же — хочу быть великим герцогом украинским, чтобы короноваться мне в Киеве!

Мартенс захохотал:

— Ничего у тебя не выйдет — хохлы короны не имеют.

Миних поразмыслил над этим историческим казусом:

— Но что стоит ее заказать хорошему ювелиру?

Рука пастора, держащая крест, невольно опустилась.

— Ты не пьян ли, друг мой? — спросил он нежно.

— Нет, я не пьян... Заранее знаю, что ты скажешь далее: самые великие войны — это самые великие бедствия. Но есть ли другой путь для меня? — спросил Миних проникновенно. — Мое имя должно восхитить мир до берегов Канады, или... лучше гибель!

Мартенс сунул крест за пазуху, хлопнул его по спине:

— Пойдем в избу, Бурхард... выпьем!

Миних шел за интимным другом своим и плакал. Это были жгучие слезы — от желаний, уязвляющих глубоко и тяжело. Был перед ним порог избы хохлацкой, который он переступил, как порог славы.

Тут наблюдательный Манштейн доложил ему:

— А стремена в кавалерии турецкой коротки. Оттого-то турок выше русского всадника поднимается, когда рубит его со стремян своих... Не укоротить ли и нам их в кавалерии?

Миних бросил на стол фельдмаршальский жезл, и он сверкнул на трухлявых досках, среди объедков, бриллиантами. Миних отвечал:

— Того не надо! Мои кирасиры крепки в седлах... Зато следует изъять из армии все алебарды, яко оружие старое и в бою неловкое. Взамен офицерам выдать карабины со штыками... Фу! — приняхался фельдмаршал. — Чего это от компанента моего козлом несет?

— В лагерь прибыли полки ланд-милиции, а штаны всем им новые из козлиной замши пошиты, вот и доносит ветром...

С ненасытной яростью Миних ударил жезлом в бочонок, и кровью просочилось вино, забрызгав стены деревенской халупы.

— Хоть трупом безжизненным, но я должен побывать в Бахчисарае! — провозгласил он. — Верю, что с нами Бог! Бог со мною...

Собралась на Днепре несметная армия при 119 пушках. Каждый полк отныне, согласно приказу фельдмаршала, имел при себе по двадцать рогатин — да столь великих, что одну из них с натугою немалой шестеро солдат несли. Привезли и пиво в бочках необъятных. В лагере зашевелились греки-маркитанты. У них прикупали маслице постное, ветчину, осетрину и белужину, икру паюсную и зернистую, муку гречневую, водки и вишневки, сок лимонный, табак и уксус, сахарок кенарский, кофе, чай зеленый и черный.

— А вот хлебушка мало, — толковали солдаты. — Привез нам князь Трубецкой «толчь» от сухарей. А на крошках сухарных долго не протянешь... Одна надежда на генерала Если: взялся он провиант от Киева до самого Крыму дотащить, обозом...

Явились к армии Миниха и врачеватели со своими ящиками-двуколками. А в ящиках тех — вещи мудреные и страшные. Пилы для ампутаций. Шкворни для раноприжигания. Пулеискатели — вроде ножниц. Молотки и коловороты, чтобы под черепом в мозгах ковыряться. Щипцы для зубодрания. Плоскогубцы — пули из костей выдергивать. Шила для нарывопротыкания. Шпатели для накладывания мазей. И все это было сделано из стали, латуни, фарфора, искусными гравюрами дивно украшено. А иные инструменты даже в золото оправлены. Но от той красоты никому не легче — паче того, врачей на армию не хватало. Если солдат умел брить или кровь пускать, его сразу в полковые цирюльники зачисляли.

— Не дай-то бог, — говорили ветераны, — ежели на походе ранят. Явная смерть — только в муках. Лучше уж пусть убьет сразу. Оружие у татарина хлесткое, оно раны учиняет жестокие...

В первых числах мая армада русская двинулась на Крым, и казалось, уши лопнут от скрипа колес обозных. Волы ревели, кони ржали, верблюды отхаркивались вокруг себя. Армия шла в колоннах, готовая

быстро перестроиться в каре. А тогда в чеканном квадрате, окружая себя частоколом рогаток и ошетиная пиками, она недоступна станет для нападений татарских. Змеясь вдоль Днепра, спускалась армия к югу; вот достигла она заброшенной Сечи Запорожской, и, палима звенящим зноом, потянулась далее... Никто не видел неприятеля — мертвые земли лежали впереди. Казалось, не будет конца этим травмам, солончакам и пространству безысходному.

Офицеры внушали солдатам:

— Не робей! По слухам верным, Перекоп нынеча в запусте. Шанцы осыпались, рва там нет, мы в Крым на телегах вкатимся...

Однажды авангард армии выдвинулся далеко вперед, и тут на него разом напали татары. Померкло солнце, закрытое тучей летящих стрел. «Ох!.. Ай!.. Ой!» — вскрикивали люди, пораженные ими. Успели отправить гонца назад, к армии. Миних взял отряд для «сикурсу» — поспешил на выручку. Поздно! Кольцо татарской конницы вокруг авангарда уже сомкнулось. Фельдмаршала погнали прочь, Миних едва ускакал на лошади. Тогда двинулся вперед Леонтьев с четырьмя полками, и татар оттеснили. К месту боя, нещадно пыля, подошла вся армия.

— Вот тут, — распорядился Миних, — сложите убитых татар, а в ряд им класть русских, чтобы каждый мог наглядно сравнить...

Армия прошагала мимо мертвцов, и все видели: татар набито много больше русских солдат. Это сразу воодушевило войска. А офицеры пленных татар спрашивали:

— Сколько же войску твой калга-султан имеет?

— Сто тысяч, и калга стоит перед вами... ждет.

Между тем при первой же задержке в марше принц Гессен-Гомбургский проворно пересек своих солдат, будто так и надо. Манштейн с улыбкой обозрел через трубу печальные горизонты:

— Кажется, это последний приступ вдохновения у принца. Скоро войдем в пределы, где флора даже розог не производит...

Степь обездодела. Армия вышла на Татарские колодцы; здесь тоже не было воды, но землю копни — и в яме скоро наберется лужица. Из этих ям, к земле прикнув, сосали воду — люди, лошади, волы, верблюды. Миних напористо разрушал колонны, строил каре: обозы с багажами в середину, вокруг — в порядке четком! — полки, полки, полки. И впредь так двигались: квадратом через степь... А по буграм, по травмам, по курганам рыскали наметом быстрые татарские всадники. Зевать нельзя: чуть в стенке войск прореха образуется, татары — шмыг туда и рвут припасы для себя, секут людей, багаж у офицеров грабят.

— Куды же начальство глядит? — зароптали в рядах солдаты. — Пятьсот шагов сделал и снова стой. Кому упряжь поправить, кому узлы перевязать, а всему множеству нашему в каре томиться. Полчаса движемся да потом целый час стоим. Эдак до Крыма не дойдем!..

Часто встречались на пути скифские курганы, и Миних жадно их раскапывал. Однажды ночью вскрыли грудь высокой насыпи в степи. Манштейн держал в руках горящие факелы, светя над потревоженной могилой. И увидели все прекрасную покойницу, лоб которой обвивали черные узкие косы. Как хороша была она, эта нетленная мумия, вся в зеленых струях одежд, вся в золоте, в камнях, в сиянье, вся в ароматах древних благовоний.

— Какое дивное виденье! — воскликнул Миних и вдруг, нагнувшись, он скифскую княжну облобызал. — Манштейн! — призвал фельдмаршал адъютанта. — Целуй и ты ее... целуй! Клянусь, такого откровения еще никто не испытывал...

Пальцы фельдмаршала уже рвали крупные серьги из ушей мумии, он обдирает со лба княжны золотые лошадки, при свете факелов нестерпимо ярко вспыхивали древние камни украшений. И всюду, одержимый страстью, Миних искал (и находил!) древнейшие монеты мира для своего минц-кабинета.

Пастор Мартенс, между прочим, обнаружил, что здесь свободно растет спаржа. Стали генералы русские и немцы есть спаржу, растущую в дикости, и похваливали ее.

— Велите солдатам, чтобы тоже спаржу ели...

Но солдата русского травую не прокормишь: ему нужен хлеб кислый, мясо жирное, чеснок едучий. Скрипя тысячами колес, в нерушимой фаланге строя, армия России, казалось, не шла по степи, а текла и текла — все ближе к Перекопу, в самое пекло рабства, из которого не раз беда на Русь приходила и куда враг с добычею возвращался, еще ни разу не отмщенный.

Принц Гессен-Гомбургский в эти дни собрал у себя офицеров иностранных, которые при нем служили, и сказал им:

— Фельдмаршал Миних ради замыслов честолюбивых желает погубить нас. Не проще ли связать фельдмаршала, яко сумасшедшего, а всю армию скорее назад повернуть?

Манштейн тоже был в кругу принца и среди ночи разбудил Миниха, доложив графу о заговоре против него.

— Сопляк! — отвечал Миних, перевернувшись на другой бок.

На ночлегах, в пространстве замкнутого рогатинами каре, весь скот и лошади оставались внутри и за ночь выедали под собой каждую

травинку. Когда поутру армия снималась с бивуака, оставался после нее пыльный, перепаханный копытами квадрат голой земли.

А среди ветеранов, кои еще Полтаву помнили, шагали и отроки — почти мальчишки. Так же, как и старики, изнывали они в мундирах, терпеливо несли на плечах бревна рогатин или пудовые ружья. Солдатам этим из бедных дворян было лет по тринадцать-четырнадцать... Детство тогда кончалось очень рано, и с отроков послушных тогда уже спрашивали, как со взрослых.

— Вперед дети мои! — рычал на них Миних из коляски. — Кто остановился, тому с м е р т ь...

Под ногами армии вытаптывались луга диких тюльпанов.

Глава шестая

А за Конскими Водами безводье полное, от зноя пиво бурдой вскипало в бочках. Солнце пекло темя, мозг расплавляя, и начались смерти. Быстрые и нечаянные, как молнии. Мертвых бросали в степи, обморочных кидали на телеги навалом — везли дальше, пока не очухаются. Хрипели, умирая от жажды, волы украинские; выставив по земле вспотевшие шеи, ложились в тоске плачущие лошади. И страшно-страшно ревел на привалах скот, не поенный целыми сутками; для нужд армии гнали его в центре каре, бережа от нападений татар. Но отступать было уже некуда, армия покорно держала «дирекцию прямую»...

17 мая 1736 года русское каре с ходу уперлось в Перекоп.

Максим Бобриков долго всматривался в пыльную даль.

— Перед нами ворота Ор-Капу, — сообщил он Миниху.

— Ор-Капу? А что это значит?

— Очень просто: Капу — дверь, а Ор — орда, вот и получается, что Перекоп сей есть «дверь в Орду».

Двери эти были нерастворимы!

Миних для начала вывел армию на пушечный выстрел от врага; пот обильно катился через его мясистый лоб, собранный в могучие складки.

— Передайте войскам, — наказал он Манштейну, — что за Перекопом ждет их вино и райская пожива. Но если стоять здесь, как стоял при царевне Софье князь Василий Голицын, то все они передохнут. Ад — только здесь! А за этим валом — райские кущи!

Но 185 турецких пушек зорко стерегли вход в Крымское ханство. А над воротами Ор-Капу гордо реяли хвосты черных кобыл. И старая мудрая сова сурово глядела на пришельцев из стран прохладных...

Миних только тут понял, что его обманули лазутчики: на телегах в Крым не въедешь, крепость необходимо штурмовать, а противу 185 пушек он притащил сюда свои 119 орудий.

— Стол! Чернила! Перо мне! — потребовал Миних.

С помощью Максима Бобрикова стал он писать хану крымскому, что явился сюда, дабы предать ханство его разорению, а первое условие для переговоров — сдать Перекоп. Это нахальное письмо отослали. Стали ждать реприманды. И вот из ворот Ор-Капу выехал мурза:

— Мой хан, глубокий рудник всей мудрости мира, из которого каждый выносит по крупице разума, ничего не слыхал о войне с Россией. Мой хан (да увековечит Аллах его величие под небосводом!) удивлен гостям у ворот дома своего... Каковы причины привели вас сюда? Если набег на города ваши, то Бахчисарай невиновен в этом — мой хан Каплан-Гирей не отвечает за дерзость диких ногаев...

Миних выслушал перевод толмача спокойно:

— Спроси его теперь, Бобриков: сами отворят ворота перекопские или нам, поднатужась, ломать их надобно?

Бобриков долго думал, а потом рявкнул на мурзу знатного:

— Россия пришла — отворяй Крым, пес худой!

Мурза вытянул плетку, указывая на «двери в Орду»:

— А ключей от них не имеем... Гарнизон крепости Перекопа составлен из янычар константинопольских, вот с ними и договаривайтесь! Татар же в Перекопе нет...

К фельдмаршалу подошел Манштейн, сообщил:

— Продовольствие кончилось. Князь Никита Трубецкой обманул ваше сиятельство — обозы не прислал... Что делать станем?

— В с е м п а т ь, — отвечал Миних устало...

И на виду Перекопа вся армия попадала на землю, изможденная до крайности. Дошли! Но так ведь доходили не однажды и предки их. Дойдут до Перекопа и... возвращаются, на пути умирая. Бывалые люди сказывали:

— За воротцами этими дивная земля лежит, текут там реки виноградные, а по садам барашки курчавые бегают. Сарацинское пшено, рисом прозываемое, и полушки у татар не стоит... На огородах фруктаж редкостный произрастает, какого у нас на Руси даже знатные бояре никогда не едали!

Миних в эту ночь, кажется, глаз не сомкнул: «Быть в Крыму или не быть?..» Еще затемно строились полки, в компанент стаскивали больных и обозы, чтобы маневрам не мешали. В строгом молчании

уходили ряды, колыша над собой частоколы ружей. Священники, проезжая на телегах, торопливо кропили солдат святою водицей. Погрязая по оси колес в песок зыбучий, тяжело ползли мортиры и гаубицы. Рассвет сочился из-за моря, кровав и нерадостен, когда войска вышли на линию боя. Миних, восседая на громадной рыжей кобыле, проскакивал меж рядов солдатских, вещая повсюду открыто:

— П е р в о г о, кто на вал турецкий взойдет, жалую в офицеры со шпагой и шарфом... Помните, солдаты, об этом!

Янычары жгли костры на каланчах каменных, ограждавших подступы к Перекопу. А ров на линии столь крут и глубок, что голова кружилась. И тянулся он, ров этот, за столетия рабами откопанный, на целых семь верст — от Азовского до Черного моря. Но воды в нем не оказалось (татары — инженеры никудышные).

Миних пылко молился перед баталией:

— Всевышний, Ты меня услышал — воды там нет во рвах проклятых, и я благодарю Тебя за это. Так помоги мне ров преодолеть...

Фальшивым маневром он отвлек врага на правый фланг, заводя армию слева. Окрестясь, солдаты кидались в ров, как в пропасть. Летели вслед рогатины и пики. Мастерили из них подобие лестниц и лезли наверх, беспощадно убиваемые прямо в лицо... Дикая бойня уже возникла на приступе каланчей. Топорами рубили дубовые двери. Внутри фортов врывались с криком; врукопашную (на багинетах, на ятаганах) убивались люди сотнями. Дело теперь за валом Ор-Капу, и тогда ворота в Крым откроются сами по себе. Пять тысяч тамбовских мужиков уже лопатили землю, готовя сакму для проезда в Крым, чтобы через Ор-Капу протащить великие обозы великой армии...

В боевом органе сражения взревели медные трубы пушек.

— В о т о н! — закричал Миних, когда на валу крепости, весь в дыму и пламени, показался первый русский солдат. — Манштейн, скажи же... Кто бы он ни был, жалую его патентом офицерским!

Манштейн вернулся не скоро, ведя в поводу раненую лошадь. Он был неузнаваем: в грязи, в крови, его шатало, вдоль лба адъютанта был срезан саблею татарской лоскут кожи.

— Что с тобою, молодец?

— Сущая безделица, экселенц. Я ввязался в драку за каланчу. Там целый батальон турок мы вырезали на багинетах... А тому солдату, что на фас взошел первым, чина давать никак нельзя!

— Но разве он не герой? А я дал слово армии...

— Да, он герой, — сказал Манштейн, опускаясь на землю (и рядом с ним легла умирающая лошадь). — Но он князь Долгорукый...

солдат Василий сын Михайлов, ему пошел всего пятнадцатый. А по указу царицы велено его п о ж и з н е н н о в солдатском звании содержать...

Миних в гневе топнул ботфортом:

— А я — фельдмаршал, слово мое — закон!

К шатру Миниха подскакал Максим Бобриков.

— Ура, — сказал хрипло, кашляя от пороха. — Паша перекопский парламентаря шлет. Он нам оставит крепость. Но просит ваше сиятельство, чтобы гарнизу янычарскую свободу выпустили вы — без ущемления их чести воинской...

Миних откинул парчовый заполог шатра, крикнул Мартенсу:

— Бокал венджины мне... скорее! Сейчас судьба моя сама на шею мне кидается. Буду же целовать ее поспешнее, пока она не вернулась...

Он выглотал бокал венгерского, решение принял.

— Я выпускаю их! Скачи, Бобриков... Я выпущу всех янычар из Перекопа. Со знаменами и барабанами. Но передай паше, чтобы с фасов цитадели ни одной пушки не снимали... Скачи, скачи, скачи!

Янычары из Перекопа вышли, и Миних всех их объявил пленными. Турки схватились снова за ятаганы, но было уже поздно.

— Загоняйте янычар прямо в Россию... хоть до Архангельска гоните их, бестий! А которы заропшут, тем по шее надавайте.

Нерасторжимые двери, ведущие в Бахчисарай, медленно разверзлись, и в ворота крымские хлынуло воинство русское. В шатер к фельдмаршалу явили солдата Васеньку-героя. Миних поцеловал мальчика в раздутые, грязные от пороха щеки. Сорвал с Манштейна шпагу и перекинул ее Долгорукому. Свой белый шарф повязал ему на шею.

— Хвалю! Носи! Ступай! Служи!

В походной канцелярии, когда надо было подпись оставить, Васенька Долгорукий, заробев, долго примеривался к перу:

— Перышко-то... чего так худо очинено?

Окунул он палец в чернила, прижал его к бумаге. Выяснилось, что азбуки не знает, и Васенька тут расплакался:

— Тому не моя вина! По указу ея величества велено всех нас, малолеток из Долгоруких, грамоте во всю жизнь долгую не учить...

Войска растекались по узким канавам улиц, заполняли город воинственной суетой. А всюду — грязь, песок, навоз, кучи пороха. Валялись пушки русские с гербами московскими (еще от былых походов столетия прошлого). Кажется, и дня не прожить в эдаком

свинстве и запустении, какой в Перекопе царил. Солдаты офицеров спрашивали:

— А где же тут земля-то райская, которую нам сулили?

За Перекопом им неласково приоткрылся Крым — опять степи голые, снова безводье, пустота и дичь. Парили ястребы. И цвели тюльпаны, никого не радуя. Сколько уже веков входил сюда человек русский, и всегда только р а б о м.

Теперь он вступал сюда в о и н о м!

— Ну а ныне, господа, генералитет, решать нам главное, — объявил Миних в консилиуме. — Ласси держит Азов в осаде и возьмет его. Леонтьев послан мною вдоль берега моря, дабы крепость Кинбурн брать, и брать будет бестрепетно... А н а м? — спросил Миних.

Принц Гессен-Гомбургский титулом своим подавлял многих других офицеров во мнении, и некоторые с ним соглашались.

— Возвращаться надобно, — заговорили поеживаясь. — Нас в Крыму гибель ждет верная, неминуемая. Великое дело уже произведено: ворота Ор-Капу взломаны, почина сего предостаточно!

Генерал-майор Василий Аракчеев, вида безобразного, с волосами жесткими, что из-под парика немецкого на виски лезли, был в том не согласен и требовал утверждения виктории первой:

— Не ради же Перекопа мухами солдаты наши по степям дохли! Надобно ныне дальнейшие выгоды из успеха изыскивать...

— А чем армию накормим? — ехидно вопрошали у Миниха.

— Назад — к винтер-квартирам! — призывал генерал Гейн.

Миних долго терпел, потом громыхнул жезлом своим.

— Довольно! — заорал, весь красный от натуги. — Надоели мне плутования ваши. Коли мы к татарам забрались, так надо все горшки на кухне им переколотить. А лошадей своих из татарских же яслей накормим! Сидеть же в Перекопе нельзя — надо идти и в е с ь Крым брать. Клянусь именем господним, когда до Бахчисарая доберусь, я там камня на камне не оставлю... все переверну!

Принц Гессен-Гомбургский поднялся резко, напуганный:

— Безумствам вашим я не слуга. К тому же болен я...

Миних отомстил трусишке — по справедливости:

— Больным отныне, дабы зараза не пристала, руки не подавать! И никто принца за стол свой сажать не смеет, ибо хвороба его прилипчива... Выносите литавры! Пусть бьют поход!

Армия, гулко топоча, дружно вставала от костров. Принц Гессен-Гомбургский разъезжал по лагерю на лошади.

— Беденькие вы мои, — говорил солдатам, — мне жаль вас. Сатанинская душа в Минихе: он вас в Крым на погибель завлекает...

А стратегия фельдмаршала была проще репы пареной: он требовал от армии лишь одного — маршировать, пока ноги тащат.

— Райские кущи ждут нас, — вещал он, трясаясь в карете...

Чтобы отпугнуть татар подалее от армии, Миних к ночи повелел генералу Гейну в авангард выступить. Пошли враскачку гренадеры, драгуны тронулись, землю сотрясая, ускакали вперед казаки. Донцы с ходу вломились в стан вражеский, и Каплан-Гирей бежал от них. Но Гейн, подлый, казаков не поддержал в отваге: он провел ночь в мунстровании полков своих. Татары увидели, что за казаками никто не идет более, и порубили их всех. Острым клинком вонзился в небеса рассвет, когда к Гейну подпылил Миних — с армией и обозами.

— Брось шпагу, подлец! — обрушился он на Гейна. — Я тебя в авангард для боя выслал, а ты, шмерц худой, героев ранжируешь?

Давно уже не видели Миниха в таком гневе. Разорвал на Гейне мундир, ботфортом в бешенстве колотил Гейна под тощий зад:

— В строй, собака... рядовым! Пожизненно солдатом... так и сдохнешь! Лишить его дворянства...

Напрасно Гейн, на колени рухнув, молил о пощаде. Его затолкали в строй, на плечо взвалили тяжеленное ружье. Тут к нему подошел мальчик-офицер князь Василий Долгорукый и при всех треснул его по роже.

— Ой, не бей меня! — завопил Гейн. — Я генералом был...

— Можно бить, ибо уже не дворянин ты. Шагай вперед, хрыч старый.

Зарокотали барабаны. На шее юного офицера трепетал шарф белый. Перчатки с крагами высокими, до локтей. Жарило солнце сверху.

И здесь в очах сего героя виден жар,
И храбрость во очах его та зрима,
С которыми разил кичливых он татар!
Се Долгорукый он и покоритель Крыма...

Так будут писать об этом мальчике позже.

Пылили пески, а из расщелин земли разило серой.

— Быдто в ад шествуем, — рассуждали офицеры.

Пастор Мартенс заметил, что спаржа кончилась.

— Ну и бог с ней, — печально отвечал Миних...

Бризы морские не остужали жары полуденной. Лица, затылки и руки солдат были от загара багрово-красными. Белые соцветия горчайшей полыни утром всходили солнцу навстречу. А к вечеру живность степная уже сторала на корню. К ночи все травы, безжалостно убитые солнцем, катились в незнаемое шуршащими клубками перекасти-поля. Но кое-где, упрямо и презлюще, напролом вылезал из земли дикий и яростный варвар — чеснок! Живучий, он не сдавался...

— И нам ништо, — веселели в шеренгах. — С чесноком-то мы татарина сдюжаем. Еще бы Если обоз притащил... хлеба ба!

Пастор Мартенс проснулся в обширной карете Миниха:

— Не слишком ли ты увлекся, друг мой? Может, принц Гессенский и прав, говоря, что лучше было бы — назад повернуть?

— А мы с тобой сейчас не в Европе, — резко отвечал Миних дру-гу. — Если бы я водил за собой армию какого-либо курфюрста, я бы и повернул на винтер-квартиры. Но Всевышний, явно благоволя ко мне с высоты, вручил мне армию русскую, а эта армия любит, когда ей приказывают властно: в п е р е д!

Армия дружно топала. Вспыхивали песни и гасли в отдалении авангардов. До отчаяния было еще очень далеко.

Так же далеко, как и до Бахчисарая!

Глава седьмая

Кто на Руси не знает сыщика Редькина? Все знают. Особенно памятен он вора, разбойникам, краденого перекупщикам, девам блудным и прочим народам независимым... Редькин был человеком смысла, и зачем небо коптит на белом свете — это он знал твердо:

— Состою при уловлении сволочи. Человеку российску ныне вздохнуть не мочно от притеснений казенных. Где бы ему дома покой дать, ан — нет: вору всякие последний кусок у него отымают...

Этот Редькин в сыщики из крепостных мужиков вышел. Был он зверино-жесток. У него под караулом многие «естественно» помирали. В отместку вору жену Редькина насмерть побили, детям Редькина ноги на костре пожгли. Но это его не смирило, только озлобило. Казнил же он ворье таким побытом — кулаком по башке трахнет, после чего вора можно тащить на кладбище.

Одно вот плоховато: был Редькин в ранге капитанском не умней тех молодцов, коих излавливать по присяге обязан. И текла под окнами

сыскной конторы его величаявая мать Волга (рыбки от нее на всю Русь хватало). Шумела, цвела и голосила ярмарка у Макария! Чаше всего долетало оттуда — родное, всем понятное, привычное:

— Кара-а-аул... гра-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а!

Всю зиму прошлую, когда Ваньке Каину привелось Потапа на Москве встретить, Ванька игры господские разумом постигал. Недавно царица Анна Иоанновна (сама игрок в карты отчаянный) издала указ, чтобы картежников ловить, деньги у них отбирать, а коли кто из игроков «подлого состояния» обнаружится, того брать в батоги нещадно... Конечно, плод запретный слаще: после указа этого стали метать картишки пуще прежнего. Только теперь при дверях закрытых.

Для обучения обману игорному ездил Ванька Каин в проезжее село Валдай, где красота и распутство женщин издавна на Руси славились. Здесь же и шулерская академия находилась. Валдайцы учили играм — в фараон, в квинтич, в пикет, в бириби и прочие науки. Постигнув тайны игры, Ванька Каин приоделся гоголем и завелся до весны по блинным да по питейным московским.

А там по временам тогдашним вот такие песни распевались:

Дверь в трактиры Бахус отворяет,
полны чаши пуншем наполняет.
Там дается радость,
в уста льется сладость
Дайте же нам карты —
здесь олухи сидят

Какая там война? Какое рабство народное? Таким ребятам, как Ванька Каин, это все ни к чему. По кабакам да притонам, словно золотая рыбка, он плавал. Было ему о ту пору 22 года, парень вырос смышленным, на лицо пригожим. Чтобы его за господского человека принимали, он брился исправно. Деньги от игры выручая немалые, по старой памяти и воровства прежнего тоже не чурался.

Как-то в Зарядье встретил наставника своей младости — Петра Камчатку; чисто одетый, вор под локтем курицу тащил. Сказал:

— Шастай мне вслед — будет добрый обед...

И перекинул курицу через забор во двор чужой, где богатый закройщик Рекс проживал. И завыл Камчатка, ворота тряся:

— Люди, моя курочка-ряба к вам залетела... Ой, пустите!

Открыли им ворота, воры проникли во двор Рекса, примечая — какие запоры тут, каковы двери, как окна на немецкий манер створятся. Курицу поймали на огороде и ушли.

— А ночью раструску сделаем, — сказал Камчатка. — Колька Жарков да Филька Куняев, Столяр да Жузла с Лягаем будут... ша!

На ночь Москву рогатками перекрывали, стражи дежурили.

— Кто идет? — у прохожих спрашивали.

— Да мы с добром, — отвечали им воры.

— А чего несешь, коли с добром?

— Да вино ташу... Товарища вот нет, чтобы выпить.

— Ну иди сюды — я тебе товарищем буду.

Так-то воры свободно через рогатки проходили. А после «раструски» закрыйщика в Зарядье собрались гулящие вместе. Стали вино пить, из соседней бани девок позвали. Говорили воры о разном.

— Вот я, — сказал Ванька Каин, — я ведь Боженьку кажинный день благодарю, что подарил Он мне судьбу легкую. Гляди, компания, до чего погано народец живет. А мы, воры, в довольстве пребываем. Государыня наша Анна Иоанновна, дай ей бог здоровья, по «слову и делу» государеву людей казнит мучительно. А нам с ней незаботно живется... Отчего так? Да потому, что от нас, от воров, она озлобления к властям своим николи не наблюдает.

Умен Ванька! Лягай (пьяный) сказал Жузле (трезвому):

— А вот еще осударь Петра Лексеич был. Я, когда хорошо заживу, парсуну его на стенке повешу, чтобы почитать...

Петр Камчатка (смурной он был) еще винца ему подлил.

— Жуй! — сказал. — А сам себя ты не повесишь?

— На што мне себя вешать? Зеркало — это вот хорошо повесить. Кады на осударя погляжу, кады и на себя гляну!

Петр Камчатка стал Ваньку Каина обнимать:

— Устал я от жития воровского. Жену хочу заиметь, чтобы детишки округ меня бегали. Сколь еще мне под мостами ночевать? А ведь у меня, — признался Камчатка, — имя божие есть: я, Смирнов Петр, сын солдата полка Бутырского, ко флоту матросом причислен. Я и паруса шить способен! Честным трудом могу себя содержать...

— Брось, есаул, — отвечал ему Каин. — Жизни не начнешь новой, пока деньгами не разживешься. Давай не грусти, а лучше махнем к Макарию, где ярманка богатуца: нагребим вволю...

— Пошли, есаул! Веди нас, — загалдели тут воры, а девы банные, от которых вениками пахло, обнимали их, сильно пьяные.

— Есть на Волге капитан Редькин, который брата нашего в пучки вяжет... Не! — отказался Камчатка. — Я, может, и схожу до ярманки ради гуляния. Но в есаулы пора уже Ваньку Каина брать...

И, лошадей по весне закупив, шайка потянулась на Волгу; когда входили в леса Муромские, леса заветные, Ванька Каин кушак подтянул, чистым голосом завел свою любимую:

Ой, да не шуми ты, мати — зеленая дубравушка,
Не мешай ты мне, добру молодцу, думу думати...

Попалась им за лесом деревенька убогая. Жуляй с Колькой Жаровым пошли посередь улицы, приплясывая:

Мы не воры, мы не плуты, не разбойнички,
Государевы мы люди — рыболовнички.
Хо-хо! О-хо-хо!
Как у тетки у Арины мы словили три перины,
А у кума у Степана увели горшок сметаны.
Хо-хо! О-хо-хо!

А на околице сидела древняя бабуся, глаза которой давно устали видеть свет божий, и вздыхала она горестно:

— О-хо-хо... И откель оне такие берутся? Креста на них не видеть — одни востры ножики болтаются!

.....
Макарьевская ярмарка прославилась себя мошенничеством, и село Лысково, что раскинулось под сенью монастыря, прославилось тем же. С середины XVII века сюда воры московские, как на праздник, хаживали. Богатая жизнь цветет под шатрами купеческими, возле стен святой обители. Тут и перса увидишь с бородой красной, индусы приворотными камнями торгуют, ломаются от товара ларьки заезжих греков, подплывают к Макарьеву пышные баржи армян астраханских.

Первым делом попер Ванька Каин казну у одного армянина. Деньги краденые тут же на берегу в песок закопал, а над кладом воры шалашик соорудили. Замки повесили на продажу. Веники березовые. У входа положили полосу меди красной. Петр Камчатка вроде купца в шалаше уселся. Кому догадаться, что тут деньги закопаны?.. А попался Ванька на Дворе Гостином: там его купцы сызранские безменами так отделали, что замертво лег и дышать перестал. Очнулся, а на шее

уже «монастырские четки» привешены, иначе говоря — стул Ваньке на башку нацепили. От ноги же цепь тянется. Делать нечего. Либо погибать, либо... Заорал Ванька на всю ярмарку:

— Имею за собой слово и дело государево!

Разбежался народ при таком признании. Сняли «четки» с него, перевели в контору под запоры железные. Ну тут уж не зевай. Со «словом и делом» не шутят. Петр Камчатка явился во двор острога под видом купца богомольного, раздавал арестантам калачи и пряники, просил за него Богу молиться. Ваньке Каину он тоже калачик сунул (еще теплый) и шепнул:

— Троица ела, стромык сверлюк трактирь...

А это значит: ключи от цепей в калач запекли. Ванька Каин часовому две гривны дал, взмолился душевно:

— Купи мне красного товару из Безумного ряду на Дворе Гостином, где недавно был я знатным купчином...

Принес ему тот бутылку. Каин хлебнул для храбрости, остальное вино солдату отдал. Замки разомкнув, бежал он — и прямо к Волге, на перевоз. Срежь народа затолкался. А на берегу, глядь, баня топится. Одежонку сбросил, голый между голых, закрутился он с веником... Из бани же, чисто помытый, он голым решил идти. Веником закрылся малость и явился прямо в сыскную контору. Нагишом пал в ноги Редькину и стал ему плакаться:

— Купец я московский, тятеньки-маменьки у меня стареньки. Вот послали меня к Макарию, а тока в баньку зашел попариться, как с меня сняли все, что было, и денежки увели... Прикажи, государь ласковый, мне бумагу на проживание выдать. Коли бумаги жаль, ты шлепни меня печатью казенной по заднице, чтобы все знали — купец я честный и хороший...

Но Редькина не проведешь: он и не таких орлов видывал! Велел он Ваньку на лавку класть по всем правилам — для сечения. Потом Редькин большую книгу раскрыл, в которой у него поденная опись велась — кого и когда обчистили на ярмарке. Читал он ее, говоря:

— А не ты ли, сын сукин, вчера келью святого старца Зефирия вычистил? Не ты... Ладно. Дайте ему парочку с прискоком. А вот суконщик Нагибин краденое дышло рази не от тебя принял?

От битья кнутом орал Ванька Каин:

— Ой, родненькие мои! Да не чистил я келью святого старца Зефирия... Нагибина-суконщика и знать не знаю. Ой, маменьки!..

Пришел черносхимник Зефир и слезно заявил, что вора по голосу узнает. Втащили потом суконщика Нагибина, до того на допросах

разукрашенного, что он и родную мать признать бы уже не мог. И тот суконщик тоже подтверждал охотно:

— Он самый! Пымался. Дал мне дышло, а сам дале понесся...

Ванька Каин примолк на лавке, а за столом чин фискальный сидел, протоколы держал допросные. Ванька на всякий случай (более по привычке) ему подмигнул, а чин тоже — луп-луп! — глазом рожим: своя своих опознаша.

— Два фунта тебе... с походом вешаю, — шепнул Ванька.

Миг-миг... луп-луп! — сошлись они на четырех фунтах, иначе — на четырех рублях выкупа. Но Редькин — душа чистая, неподкупная.

— Сейчас, — сказал, — я тебе все кости из мяса повынимаю...

И стал бить, отчего Ванька предал друга своего Камчатку.

— А шалаш у него лубяной, — показывал, — там замки повешены и полоса меди лежит. А есть вор Камчатка сын солдата бутырского, из матросов беглый... Вот он и Зефирия чистил, он и дышло краденое передал. А я сын купеческий, в чем свидетельски икону целую...

Камчатку арестовали, а шалаш лубяной разорили. Чин же лупоглазый взятку от воров даром не брал. Явил он в контору сыскную фальшивого купца с ярмарки. И была ставка очная.

— Ангел ты мой! — воскликнул «купец», Ваньку Каина в конторе обнимая. — Вот встреча... Чего это ты здесь сидишь?

И, в глаза Редькину глядя, лжесвидетель исправно показал, какой Ванька хороший купец, на Москве у него папеньки с маменьки без сынка шибко печалуются... Так-то вор на свободе оказался, и сразу кинулся Каин на берег, где шалаш стоял. Выгреб из песка казну армянскую и побежал в село Лысково, где его шайка поджидала. Загуляли они по фартинам, понакупили ружей себе, пороху, вина и табаку, рубахи понадевали новенькие, воровских разговоров послушали. В селе Лыскове тогда много шаек отдыхало, есаулы опытни были.

— Я вот, — один такой есаул рассказывал, — из Алатыря пришел, городок хороший. Брал его с пушками. Велел воеводе ключи на тарелке вынести, а с горожан контрибуцку взял, как енералы с супостатом делают. Плохо, что ребятки мои запьянствовали, а то бы я и дальше пошел — до Саранска, где воевода Исайка Шафиров, говорят, слаб. Пушек боится. Инвалидов при нем всего семеро...

— Ша! — решил Ванька Каин. — Пойдем Саранск грабить. Нам и пушки не надобно. Воеводу с его инвалидами мы зашекочем...

И пошли воры на Саранск, грабя деревни встречные. Редко мужик попадет на дороге. Разбойников завидя, телегу с лошадьёю кинет, а сам в лесу спасается. Но однажды встретили шайку боль-

шую, видать сколоченную из мужиков от барства беглых. Есаулом у них был солдат отставной, у которого ног подчистую не было. Его мужики-разбойнички на стуле таскали. Вагагу Каина приметив, он на стуле своем запрыгал, крича:

— Когда хас на мас, то и дульяс погас!

Теперь, коли слова эти прозвучали, не шевелись, иначе прирежут. Стали их трясти мужики. Посыпались наземь пятаки медные.

— Это деньги не дворянские, — угадал есаул мужицкий. — А кто христьянина грабит, тот враг заветам божиим... Эй, — скомандовал есаул, — всех сразу без мучительств повесить! А тебя, — сказал он Каину, — мы сожжем сейчас безо всякого мучительства...

И опомниться не успел, как его к дереву привязали. А вокруг него мужики лес товарищами Ваньки разукрасили — кого за глотку, кого за ногу, кого за руки. Зажгли потом бересту едучую, стали под Каина хворост пихать, чтобы горел он скорее (без мучительств).

— Постой, есаул ласковый! Не казни меня... Великую тайну тебе я открою. Вели только руки мне развязать.

— Развяжите руки ему, — разрешил есаул безногий.

Ванька Каин из-за пазухи колоду карт вынул.

— Ой, господи, — огляделся ловко. — Пенька-то нет поблизости, чтобы метнуть. Вижу один пенечек, да не дойти... Эх, люди добрые, ослобоните и мои ноженьки быстрые!

— Развяжите и ноги ему, — велел есаул.

Ванька Каин не побежал.

— Скажи, чтобы престол твой к пенечку отнесли. Да пусть сами отойдут далее, чтобы никто не слышал тайны моей великой...

Есаула с честью отнесли мужики на полянку.

— А и дурак же ты! — сказал ему Каин на этой полянке. — На что же ты наделся, козел безногий? Я ведь удеру от тебя сейчас.

— Э-э, нет, — заявил солдат. — Я тебя стрелять буду.

— Ну ладно, коли так, — согласился Каин, — открою тайну, и никто о том никогда не узнает. Короля бубнового видишь в руке у меня? А вот — рест! И скажи теперь, куда делся король?

— В рукав спрягал, — догадался есаул.

— Смотри в рукав мне. Трясу его... Где король?

— Не знаю... пропал.

— Верно! Так и я сейчас пропаду. Гляди — рест!

И ушел в лес. Есаул сунул руку за армяк, но пистоля за пазухой уже не было. Только карта лежала — король бубен.

— Ну и вор... всем вора вор! — поразился солдат.

.....

Не удалось им дойти до города Саранска... От этого города в один теплый день пролетело над лесами нечто. И было это нечто не птицей, не ковром-самолетом сказочным. Вроде бы человек летел и... пронесло его над бором сосновым. Не стало снова!

За дальностью Саранска от властей земных, кои за деяния народа ответственны, того полета чиновники пока не приметили. А то бы они летуна этого спросили со всей строгостью:

«От начальства дозволение летать имеется?..»

Глава восьмая

Солнце выше — и конница татарская за горизонт прячется, а на каре русское тучей летят мухи заразные, которые с навоза, прямо с падали разной, с лужи поносной на солдата садятся.

Солнце ниже — и мухи отлетают прочь, зато каре теперь облипают татары, во мраке слышен визг их, горят по увалам костры сигнальные, скачут в топоте, стрелы вокруг тысячами невидимо рассыпая.

Маркитанты за паршивый окорочишко уже по шести рублией драли. Потом и маркитанты отстали от армии: опасно было. Миних, дабы войско воодушевить, велел бочки с вином открывать для угощения. Но вино лишь на миг веселило, а потом еще хуже бывало от зноя, и тогда фельдмаршал приказал:

— Всем в рот — п у л ю!

Бочки с вином откатили в арьберггард каре и там давали его пить для «ободрения» лишь тем, кто изнемог и упал. Остальные же сосали пули свинцовые, меж зубов их перекатывая, как леденец, сухими языками, — верно! — жажда от свинца вроде приглохла.

Хлеб армия искала в заброшенных деревнях татарских. Был он или обгорелый, не дожженный врагом, или в земле укрыт, червями жирными пронизан. Колодцы же брали солдаты с бою, словно крепости... Возьмут его, а там уже свалена скотина битая — разлило из глубин земли скверной. Татарину — тому хорошо: он кобылу свою опрокинет наземь, носом в шерсть ей на брюхе зароется, насосется власть молока кобыльего — ему и воды не надобно...

— Иде же этот рай, о коем нам сказывали?

К вечеру, когда тебя уже ноги не держат, на ручных жерновах, будь любезен, зерна для себя намолоть. А дровишек в Крыму не достать. Солдаты теста сырого поедят, а утром пошли дальше... От самого Перекопа в глубину земли Крымской протянулся след нехороший: начался в войске русском понос кровавый.

И настал день, когда Миних созвал офицеров:

— Рацион отныне таков: каждому офицеру по шляпе зерна насыпем, и делите на всех! Кто виноват в голоде армии? Не я, не я, — отрезся фельдмаршал. — Провиантмейстеры на Украине уже все по тюрьмам рассажены. А князь Трубецкий, видать, нужд наших не ведает.

— Лесли-то обоз с хлебом тащит? — спросил Аракчеев.

— И притащит, ежели от татар отобьется.

— Обозу-то? От татар? Да никогда обозу от татар не отбиться...

15 июня армия подошла к городу Гёзлову, который солдаты русские окрестили на свой лад — Козловом; Миних велел всем молиться:

— Козлов этот — святыня ваша: здесь крестились князья киевские, отсюда христианство на Русь вышло...*

Город уже горел, подпаленный турками, из дыма едва виднелись минареты большой мечети Джума-Джами. А далеко в море уплывали паруса кораблей — это, увозя рабов и богатых евреев, турецкий гарнизон спешил в Константинополь. Из города горящего выходили люди почтенные. Несли они к русским хлеб-соль на золотом блюде. Это гёзловские армяне-изгои, издавна верившие в Россию и неизменно ей преданные в любом изгнании. Миних передал хлеб-соль Манштейну, а золотую тарелку, украшенную дивным узором, скопидомно в свой шатер забросил. Максим Бобриков, радуясь случаю, уже вел беседу с армянами — по-армянски.

— Вступайте смело в город, — говорили ему армяне. — Турки зажгли дома только христианские. А в Гёзлове вы сыщете еще очень много золота и серебра, посуды медной, хлеба разного, материй шелковых, свинец остался от султана и даже пушки... Даже пушки!

Нашли и жемчуг и парчу. А хлеба оказалось в городе столь много, что надолго армии хватит. Но это был — увы! — хлеб не ржаной, а белый. Не берегли его солдаты, считая за лакомство господское, которое насытить неспособно. И щедро сыпали пшеницу верблюдам. Давали зерна лошадям, сколько съесть могут, отчего в Гёзлове от перекорма немало пало русской кавалерии.

А на окраинах соленой грязью пузырилось Сасык-Темешское озеро. Генеральный штаб-доктор армии, Павел Захарович Кондоиди,

* Гёзлов (Козлов) — ныне город-курорт Евпатория; в описываемое время город находился под властью не крымского хана, а турецкого султана. Утверждение Миниха, что здесь свершилось крещение князя Владимира, несправедливо: принятие христианства состоялось, по преданию, в Херсонесе-Таврическом, который находился примерно на месте нынешнего Севастополя.

увещевал всех, что *in sale salus* (здоровье в соли). Ученый грек и сам полез и других затащил в тузлук соленый. Сидели там, пыхтя и потея, в грязи по уши, фельдмаршал Миних со всем своим генералитетом. Кондоиди напрасно призывал солдат:

— Кто любострастною хворью болен, сюда... сюда идите!

В грязь озера солдаты не полезли, а говорили так:

— Гляди-ка, все генералы наши, видать, нехорошо болящи...

Бездна сверкающей духоты копилась над лиманами. И пахло близ моря необычно — не по-русски. Небо казалось низким — хоть руками его доставай. Миних в азарте вскрывал могильники древние. Мучил солдат землекопством и сам измучился; древнее царство Керкинита, отшумевшее когда-то в этих краях, не давало ему покоя. Успокоился, когда нашел монету редчайшую: с одной стороны ее — имя царя Скимура, а с реверса изображен был скиф с боевым топориком.

Неожиданно прорвался в Крым большой обоз с конвоем. Привел его отважный генерал Юрий Федорович Лесли, — в крови была, от крови потемнев, его шпага! Солнце раскалило на старике панцирь. Полмесяца не вылезал обоз из схваток рукопашных, идя через степи от магазинов украинских. Ведь это было чудо, что они прорвались. При генерале адъютантом состоял сын его (тоже Юрий); Лесли побивались иноземцы: за отцом и сыном водилась слава, будто по ночам они убивали католиков и лютеран. Возможно, что и так: у них в роду с религией не все в порядке было, — оттого-то предок их и удрал в Москву; древнее рыцарство Шотландии осело потом в лесах Смоленщины, переварилось тут, перебродило, и получилась острая закваска. Лесли были истинными патриотами России...*

— Лесли, — сказал Миних генералу, — ты спас мне армию. Когда еще обоз прибудет к нам с Украйны?

— Об этом знает княгиня Анна Даниловна...

Из Гёзлова стал Миних распускать по Крыму слухи ложные, будто совсем плохи его дела, пора ему спастись к Перекопу. Татары, до которых этот слух дошел, предали разорению все пути, что русскую армию из Крыма выводили. Каплан-Гирей всей мощью ханства своего стал на подходах к Перекопу, путь отступления заграждая.

Того только и надо было Миниху:

— Теперь вперед... идем в Б а х ч и с а р а й!

* Один из внуков генерала Ю.Ф. Лесли — Александр Лесли (1781–1856) был первым в России, кто в 1812 г. стал создавать партизанские отряды, действовавшие на Смоленщине.

Бахчисарай — «дворец садов». Леса крымские, по сути дела, и есть сады. Только заброшенные. Шумят на склонах гор вечнозеленые памятники первым труженикам Крыма — генуэзцам и финикийцам, давно отмершим в веках. А когда пришли в Крым татары, они не пожелали продолжать труд, начатый раньше их, и потому сады одичали. Сады превратились в леса, и цвели в лесах-садах одичавшие груши, виноград, шелковица, маслины и померанцы. Нюхал русский солдат и не понимал, что нюхает он лавры и оливки, каперсы и шафран...

Столица ханства Крымского была тогда велика, хороший всадник на добром скакуне объезжал Бахчисарай за день. Золото и мрамор наполняли дворцы и бани, мечети и мавзолеи, в прохладных бассейнах гаремов купались разнокожие рабыни, откормленные в лени. Но не добычи жаждали воины русские — отмщения! Только святого отмщения... По дороге на Бахчисарай ничто татарами тронуто не было. Войска неожиданно вступили в царство полного изобилия и довольства всякого. Мешали только горы, через сумятицу которых было никак не пропихнуть тяжелое каре. Кругом ущелья и овраги. По горным кручам ташили пушки. Трудно было. Много провианту бросили по дороге. Смерти продолжались, и могилы русские тут же обнимала буйная ароматная зелень...

Принц Гессен-Гомбургский опять стал заговоры делать.

— Связать надо Миниха, — убеждал он офицеров, — а армию домой отвести. Я спасу вас от гибели...

Истомленная адским зноем, армия в конце июля вышла к столице ханства. Бахчисарай столь искусно был спрятан в теснине Чурук-Су, что можно мимо пройти и не догадаться, что здесь укрыт город. Люди уже вповалку лежали на земле, а все окрестные высоты обложили турки с татарами, постреливая издалека.

— Генералу Шпигелю, — наказал Миних, — больных снести в обоз. Вагенбурги обложить рогатинами. А со мною пойдут одни здоровые...

Пробили зорю вечернюю, и войска, воспрянув от земли, тронулись. В порядке идеальном, в тишине полнейшей. Таясь в ущельях, армия обошла врага стороной и на рассвете выросла под самым Бахчисараем. Уже и город был виден, как кинулись на них янычары. Владимирский полк сильно помяли, стали пушки отбирать, рубят прислугу на стволах орудий.

— Лесли! — позвал Миних. — Вот вам повод отличиться...

Старый генерал пошел на янычар, его солдаты катили пушки. Ядра чугунные, разбрызгивая песок, крушили деревья, плотно спросиися. Янычары бежали от штыков русских. В предместье города уже возник копящий язык пламени. Бахчисарай — словно заколдованный замок: как армию в него ввести, если нет дорог, а лишь тропинки и тропинки! Выются они по отрогам горным, среди садов и кладбищ...

— О, проклятье! — ругался Миних. — Есть ли такая столица в мире, в которую не ведет ни одна дорога?.. Эге! — обрадовался он, опуская трубу подзорную. — Я вижу, там, со стороны нордической, кажется, можно въехать в город по-людски, а не по-татарски...

С опаскою в Бахчисарае появились русские солдаты. Повсюду лежали, брошены среди улиц, мертвецы. В канавы скатывались, как арбузы, отрезанные головы женщин. Валялись тут же младенцы с распоротыми брюшинами. Греки... армяне... русские... поляки! Все христиане были вырезаны. Не тронули татары лишь миссию иезуитскую в Бахчисарае, и монахи ордена Игнатия Лойоллы отступили вслед за янычарами. Миних распорядился:

— Библиотеку «Езуса Сладчайшего» не трогать...

Но монахи поступили варварски: перед бегством своим свалили библиотеку в подвал миссии, а в подвал выпустили все вино из бочек. Казаки загуляли. Иные с хохотом в монашеском вине даже купались. И плавали солдаты в погребах, среди книг учености невнятной, и книги утопали быстро, в вине намокнув. Миних въехал в Бахчисарай на пегой кобыле, через мост каменный вступил фельдмаршал во дворец ханский. Увы, он был уже не первым здесь — не триумфатор! Во дворе ханском, между банями и конюшнями, суетливо метались солдаты. Глаза разбегались от обилия добра и блеска мишуры восточной. Но брать не брали ничего — глазели больше... Ведь каждый повидать хотел это зловредное жилище ханов, откуда столько страданий Русь претерпела! Исполнилась мечта, еще дедовская: вот он — очаг несчастий многовечных...

— Гнать всех вон! — велел Миних. — Я стану тут обедать.

Манштейн его сопровождал, внимательный и быстрый.

— Запоминай все, — сказал ему фельдмаршал. — Императрице сочини дворца описание подробное, и с первым курьером отправим...

Бассейны из белого мрамора. Повсюду чистые циновки. Все стены сложены из разноцветного фаянса. Прошли в сераль, над коим возвышалась башенка, откуда евнухи за женами хана надзирали. Здесь был рассыпан в суматохе бегства бисер яркий для вышивания. На пороге лежала нитка жемчуга. Миних ботфортом, шпорою звенящим, поддел

курильницу для ароматных благовоний. Шпагою разнес фельдмаршал вдребезги кувшин шербетный из желтого стекла.

— Пусть погибает! Нам все равно не вывезти отсюда...

Манштейн увлек его в Посольский зал, где еще пахло кофе, свет лился щедро через двойные окна. Здесь, в этих комнатах, униженно страдала честь государства Русского. От этих вот дверей послы московские должны были п о л з т и до ханского седалища и не имели права взор поднять на хана татарского...

— Вот тут и расположимся для насыщенья брюха, — решил Миних, распуская широкий пояс на громадном животе. — К столу зовите генералитет мой. И офицеры пусть заходят.

В разгар обеда Миних раздул ноздри, принюхиваясь:

— Никак горим? Ого! Нас уже подпалили...

Огонь трещал в покоях соседних. Генералы вставали от стола, дожевывая куски мяса, дохлебивая вино из бокалов, — поспешали спасать себя. Бахчисарай сгорал быстро, как куча хвороста.

— Великолепно! — загордился Миних. — Татарам мы оставим кучу головешек... Огня подбавьте, молодцы! И не жалейте ничего. Где генерал-поручик Измайлов? Прошу ко мне... Берите войско, зарядите пушки и следуйте на Ак-Мечеть*, где все предать разоренью тоже...

Под густой чинарой, верхушка которой уже горела, Миних засел за писание реляций к императрице:

«Мы полную викторию получили... наши люди в таком сердце были, что никак невозможно было их удержать, чтобы в Бахчисарае и в Ханских палатах огня не подложили... Об этих палатах Ханских и о городе на французском диалекте сделалное Капитаном Манштейном описание при сем прилагаю».

Бахчисарай догорал. Осталась от него только немецкая реляция Миниха да опись Манштейна на французском диалекте... Ну, так и надо!

А за всем этим опять начался страх. И был он велик. Миних без прика опустился на колени в шатре своем. Мартенс положил на плешь графскую ладонь душистую, и ладонь пастора дрожала. Фельдмаршал молился о спасении... Армию он завел далеко. Перекоп остался

* Ак-Мечеть — ныне областной город Симферополь; в описываемое время был главным духовным центром мусульманства в Крыму, здесь жили калга-султан, шейхи татарские и дервиши.

позади. Россия и магазины ее с арсеналами — за тридевять земель. А флот султана уже стоял у Кафы, сбегали на берег галдящие толпы янычар воинственных. Татары отступили в горы — их снова тьма («аки песок»). Каплан-Гирей, хан крымский, гонит свою конницу на выручку ханства. Уж не защелкнут ли замок в воротах Крыма?

— Мы, кажется, в капкане, милый друг, — сказал пастор и нежно погладил лысину Миниха. Потом он постучал по его черепу пальцем. — Здесь есть какие-нибудь планы? — спросил он вежливо. — Или молитвы лишь одни?

— Осталось уповать на Бога, — ответил другу фельдмаршал...

Распахнулся шатер, и адъютанты швырнули к ногам Миниха янычара в пышных одеждах, на поясе его бренчали золотые ложка с вилкой. Это был перебежчик — из грузин родом, и Максим Бобриков имел счастье побеседовать теперь по-грузински. Слушая рассказ перебежчика, Миних стал воодушевляться. Парик надел. И шпагу пристегнул. И даже приосанился. От страха он перешел к надежде... Янычар сказал, что калга-султан ждет Миниха в Кафе, и по дороге от Бахчисарая до Кафы татары заранее истребляют все живое. Русские встретят голую пустыню.

— Даже собак убили всех! — переводил Бобриков. — Сады под корень рубят, чтобы нам ни единого яблочка не перепало...

Миних с улыбкою повернулся к Мартенсу:

— Сам бог послал мне янычара этого. Выходит, турки ждут меня у Кафы? Ха-ха... Отлично! Пойдем на Кафу... Как это здорово, что наши планы совпадают; они ждут меня у Кафы, а я собрался идти как раз на Кафу... Чудесно! Великолепно!

Он тут же разослал лазутчиков по Крыму:

— Пусть трезвонят всюду, будто мы идем на Кафу...

И армия пошла — прямо на Кафу. Половина войска уже тряслась на телегах, больная. Другие еле ноги волокли. Зной усиливался, бедствия людей были неимоверны. Но солдаты шли. И вдруг эта армия...
п р о п а л а. Калга-султан был растерян:

— Саблей добытое, ханство саблей и защитится. Но я не могу рубить саблей то, что неосяземо, как призрак ада...

Русская армия будто растаяла в степном безбрежии. В глубине своего железного каре она уводила из рабства толпы невольников. Небо застилалось от пыли и навозной трухи, взбаламученной многими тысячами босых ног. Шли домой украинцы, поляки, французы, немцы, литовцы, венецианцы... Русские тоже уходили домой, держа «дирекцию» прямо на север! Кафа их не дождетя.

Глава девятая

Обычно, когда начиналась война с русскими, послов России турки на цепь сажали, как зверей, в угрюмой башне Еди-Куль; послы там и сидели, замирения выжидая: в тюрьму же их отводили турки через Красные Ворота, которые для устрашения «освежали» накануне свежей человеческой кровью. Но теперь... теперь Россия выросла: она опасна! Сам великий визирь в коляску посадил посла русского Вешнякова, с любезностями довел его до Адрианополя и отпустил до дому.

Босфор был густо заставлен кораблями, паруса их загодя просушены и как следует заштопаны; они готовы вывезти население турецкой столицы. Весть о том, что русские взяли Перекоп — поразила; взятие Гёзлова — ужаснуло, а падение Бахчисарая — потрясло всю империю Османов, которая ощутила издавек как бы подземный толчок. Теперь султан намерен бежать — в Каир или на Кипр... Возле него послы австрийский и французский, оба дают советы разумные, Вена и Версаль готовы быть посредниками к миру...

Кардинал Флери навестил Людовика XV в Версале:

— Ваше королевское величество, дым татарского Бахчисарая щиплет ноздри Франции, привыкшие вдыхать ароматы вечернего жасмина. Наш посол при султани, маркиз де Вильнев, уже предупрежден мною. Он убеждает этих скотов в шальварах, что выход из поражения есть. Но для этого не следует султану идти на поклон к Австрии: брать в посредники Габсбургов — как исповедаться у старой лисы.

Возросшее могущество России ошеломляло и короля Франции.

— Напротив, — отвечал он кардиналу. — Вы пока не мешайте туркам лезть в дружбу с Веней. И пусть Австрия на турецкой же шкуре распишется в фамильном коварстве Габсбургов... Флери, учитель мой, — спросил Людовик вдруг проникновенно, — неужели нашей великой и блестящей Франции предстоит в будущем считаться с большой и неумытой Россией?

Кардинал молча раскланялся. С улыбкой. Он был умен.

Римская империя простерлась широко, и на Балканах она — соперник Турции: вражда извечная за обладание славянскими народами... Сейчас же император Карл VI рассуждал:

— Пусть эти глупцы русские во главе с заурядмаршалом Минихом возьмется с татарами в необозримых степях, где ветры раскаленные сушат кости их дедов, а дожди моют черепа прадедов их. Мы, австрий-

цы, захватим-ка под шумок Боснию, а потом что-либо придумаем в свое оправдание...

Рука старого императора погладила русые локоны Марии Терезии.

— Дитя мое, — сказал ей император, — учись обманывать, чтобы потом повелевать. Я скоро стану пленом, и великая империя Габсбургов останется пусть в женских, но зато надежных руках...

Мария Терезия почтительно поцеловала синеватую руку отца.

День как день. Скоро обед на восемьсот персон. Надо еще обдумать форму оконных карнизов в охотничьем дворце. И вдруг курьер:

— Русские взяли Бахчисарай, они идут стремительно на Кафу... Угроза есть, что русские штандарты появятся в Босфоре!

Обед отложен. Карнизы более не занимают воображения. Были званы лейб-медики, императору пустили кровь. Бахчисарай изменил политику Австрии: от ехидного посредничества к миру надо переходить к войне. Из друга турецкого надо быстро обернуться в противника Турции. Медлить нельзя: надо спасать от русских гирла Дуная...

— Учись, дочь моя, — сказал Карл VI, отправляя курьера в Петербург, к послу Остейну. — Нельзя, чтобы такой пирог слодали русские. Пусть знает Анна Иоанновна: мы тоже ножик точим над Балканами, готовые всегда кусок отрезать пожирней для Австрии...

В один из дней Остейн сообщил Остерману, что Римская империя отныне находится в состоянии войны с Турцией.

— Не понял вас. На чьей стороне вы решили сражаться?

Остейн всплеснул руками.

— Бог мой! О чем вы спрашиваете? Мы же союзники!

Остерман довершил свою месть за прежнее поражение:

— Вена в союзе с нами способна выступить и против нас в союзе с турками. И никто бы даже не удивился этому...

И вот тогда Флери снова предстал перед Людовиком.

— От измены венской, — сказал ему король, — мы снова в выигрыше. Отныне турки будут слушать только нас, французов. А спасая Турцию от разгрома, мы сохраним выгодную торговую клиентуру на Востоке. Баланс же равновесия военного в делах Европы невозможен без наличия гирь турецких. Кардинал, я вас прошу как можно реже напоминать мне о России! Я отношусь к этой стране, как к большой ненасытной женщине: и вождедею к ней, но и боюсь, что с нею мне никак не справиться...

Бахчисарай — Версаль — Петербург...

В этом бестолковом треугольнике, углы в котором никак не совместимы, король запутался. Но кардинал Флери, политик дальновидный, за дымом Бахчисарая смог разглядеть могучую Россию, и в центре треугольника Флери проставил рискованную точку. От этой точки и начнется безумный вальс Франции, вальс грациозный и вполне пристойный, подзывающий цесаревну Елизавету Петровну в версальские объятия...

Бахчисарай! Кто не знал его раньше, тот узнал в этом году.

Каплан-Гирей вернулся на пепелище бахчисарайское.

— Так угодно Аллаху, — сказал он.

Был ли хан в этот миг зол на русских? Вряд ли...

Ибо, если бы Каплан-Гирей пришел на Москву, он испепелил бы ее так же, как русские Бахчисарай; таков век осьмнадцатый, и победитель в веке этом, чтобы его победу признали, обязан быть разрушителем. Каплан-Гирею было лишь жаль сейчас, что не сохранилось тени над его головой. А возле хана согбенно ютился улем (мудрец придворный), мудрость которого простиралась столь далеко, что однажды был даже бит палками за бредни явные, будто королевство Англии находится на острове...

Каплан-Гирей в горести повелел улему:

— Брызни в утешение на меня соком сладкой мудрости.

Мудрец не заставил себя ждать и тут же брызнул:

— Только новым набегом на Русь мы спасем нашу веру и наши порядки. Как горный поток весной, мы сметем всех неверных и нагайки всадников повесим на воротах Петербурга. Мы пригоним из Руси тысячи женщин с могучими бедрами. Мы будем иметь в услужении много русских мальчиков. Мы водрузим столы пиров наших на согнутые спины мужчин русских. Мы тучами погоним рабов в Кафу, чтобы правоверный татарин всегда был богат и весел. Чтобы никогда не осквернил он себя трудом, ибо труд тяжкий есть удел неверных рабов, а нам сам Аллах повелел не иметь пота на наших лицах...

Но султан турецкий скоро прислал Каплан-Гирею в подарок ларец искусный; внутри ларца на бархатной подушке, змеей свернута, лежала шелковая петля, которой хану и советовали удавиться...

Над могилами солдат русских цвел горький миндаль.

В степях за Сечью Запорожской не угасала звезда Марса.

Азов еще не пал, и это воодушевляло турок.

Ногайцы и татары убивали курьеров Миниха, и Петербург жил в неведении, что творится с армией внутри Крыма.

Глава десятая

Ласси в белой рубашке, прилипшей к острым лопаткам, сидел на барабане, обгладывая тощего курчонка. Перед ним лежал Азов.

— Триста гренадер, — прикидывал фельдмаршал, руки об вытоптанную траву вытирая, — семьсот мушкетеров да полтысячи казаков... Хватит ли? Да, хватит, чтобы овладеть палисадом.

Донской флотилией командовал вице-адмирал Петр Бредаль.

— Галера из Таврова подошла? — спросил его Ласси.

— Сейчас на ней отправлюсь в море. Плашкоуты и прамы к бою готовы. На паромех установлены большие мортиры... История, фельдмаршал, любит повторяться: я при Петре Великом делал то же, что делаю сейчас, — опять беру Азов у турок... Ха-ха!

Ласси поднялся с барабана, указал в даль моря:

— Турецкий флот идет под парусами. Его бояться нам?

— Не надо... Им мелководье не позволит подойти ближе для подмоги гарнизону. Турецкий флот останется за баром, а мы свои прамы и дубель-шлюпы протащим даже по песку.

— Вы с моря бросьте ядра в турок. Да как следует раскалите их сначала на жаровнях.

— Есть! Мы их прожарим докрасна...

Взрывая воду мутную ударами весел, тяжело прошла галера. За нею проскользили прамы. И потащились в сторону Азова паромы с пушками. От ядер раскаленных в крепости начались пожары. Все складывалось хорошо. Солдаты и матросы уже привыкли к канонаде постоянной. Так было вчера, так будет и сегодня...

Земля вдруг встала на дыбы! Громадный столб огня и дыма взметнуло к облакам. Летели в стороны от крепости ошметки тел людских, кобыльи ноги, колеса от телег татарских, лохмотья сена и соломы — горящие. Это взорвался в Азове турецкий склад пороховой.

Взволнованные, поднимались с земли солдаты русские.

— Ну, вот и все, — сказал Лесси. — Прошу капитуляции!

Паша азовский Мустафа-ага в письме ответном умолял Ласси не торопить его со сдачей: он должен еще подумать, прежде чем решиться. Пока паша думал, русские войска взломали палисады.

— Беречь людей, — учил Ласси офицеров перед атакой. — Солдаты наши не трава, они растут для армии не быстро... Соотношения потерь я требую такого: на сотню убитых турок вам разрешаю потерять лишь человек пятнадцать-двадцать, но никак не больше!

С тем и пошли на штурм. Капитуляцией окончилось дело под Азовом: население Ласси из города выпустил, а гарнизон был выведен из

крепости без почестей — под охраной русского конвоя. Невольников из рабства вызволили. Забрали много пушек бронзовых. Внутри Азова камня на камне не осталось.

— Василий Яковлевич, — обратился Ласси к генералу Левашеву, — позвольте вам в презент преподнести поганый этот городишко, из-за которого Россия столь много крови потеряла. Отныне крепость снова наша, а вы азовский губернатор... Прошу — начальствуйте!

Едва успели навести порядок в городе, как прискакал гонец:

— Из Петербурга я... Ея величество писать изволят.

Ласси прочел письмо-приказ от Анны Иоанновны:

— Войскам подняться по тревоге. Идем на Крым, где Миниху везет. Идем соединить две армии!

Армия тронулась из-под Азова вдоль побережья. Ласси ехал на лошади в авангарде войск. Офицеры парики сняли, жаркие полынные ветры растрепывали им волосы. Рубашки истлели от пота. Далеко в степи авангард заметил трех казаков.

— Откуда вы, робяты? — спросил их Ласси.

— Идем на Бахмут, ищем корпус Шпигеля.

— Не врете ль вы? На что вам дался Шпигель?

— А в Крыму Миниха уже не стало — убрался...

Петр Петрович еще раз проглядел послание императрицы, в котором она требовала идти в Крым через Перекоп. Ласси рассвирепел:

— Нагаек им... по двадцать! Не казаки это, а лазутчики татарские, нарочно посланные, чтобы нас с пути на Крым отворотить.

Дали каждому по двадцать. Казаки встали с земли:

— Воля ваша, а только Миниха в Крыму не стало.

— В обоз их! Под конвой...

Пошли дальше, а к вечеру снова встретились казаки.

— Куда вас черт несет, ошалелые?

— Да мы боимся... татары тут. Мы армию Миниха потеряли.

— А где она была?

— Да шла на Украину...

Опять лазутчики? Нет, быть того не может. Ласси со вздохом развязал свой кошелек. Дал встреченным казакам по рублю.

— За что нам? — удивились те.

— За спасенье моей армии. А в обозе ваши товарищи арестованы. Я им по двадцать нагаек всыпал. Скажите, чтобы шли ко мне. Я бил их понапрасну, и за позор свой от меня получают тоже по рублю...

Армия нагнала авангард свой, стоявший на месте в степи. Генералы обступили фельдмаршала, пившего чай возле костерка.

— Отчего стоим? Почему движение прикончено?

Ласси долго следил за полетом ястреба в вышине. Крылья сложив, птица рухнула с высоты. И тяжело взлетела снова, неся добычу в когтях жестоких. Не сразу Ласси собрался с мыслями.

— Отсюда правды не видать. Боюсь, — ответил генералам, — что план кампании уже разрушен. Спасибо встреченным казакам. Если б не они, мы в Крым бы влезли, а обратно бы уже не вышли. Случай мимолетный спас армию от истребления... Велите солдатам нашим отдохнуть у этой речки, а завтра повернем и мы на Украину.

Ястреб забирался под самые облака. Со страшной высоты слышался слабый писк уносимого в небо зайца.

«Что же там с Минихом? Почему отступил?..»

Босые ноги солдат ступали через камни раскаленные, через лужи поноса, через трупы лошадей и верблюдов, замученных в артиллерийской упряжи. Мухи густо облепали живых и мертвых. Коляску Миниха трясло и бултыхало на рытвинах бездорожья татарского. Закрыв глаза, с пулей во рту, фельдмаршал жаждал уснуть. Возле него, держа на сердце тряпку мокрую, изнывал пастор... Люди иногда ложились на землю, в тоске смертной закрывали глаза. На последних милях пути в степи бросали умирать не только солдат, но и офицеров. Лишь 17 июля примчался адъютант, горланя издалека:

— Пере-е-еко-оп!..

И город этот, грязный и блошливый, вдруг показался райским убежищем для солдат великого похода. Входили в улочки, среди строений глиняных, с радостью: отсюда, казалось, и до России уже рукой подать. Радовались сухарям, скопленным в Перекопе:

— Р ж а н ы е, господи... даже не верится!

Миних армию довел. Доташил. И был мрачен:

— Не этого я ждал, и не этого ждут в Петербурге. Как я теперь отлаюсь от попреков при дворе?.. Нет ли ошибки в расчетах наших?

Манштейн, обхватив голову, сидел над списками армии:

— Ошибки нет, ваше сиятельство. Под легендарным жезлом своим вы из Крыма вывели всего лишь п о л о в и н у тех войск, которые недавно в Крым вводили.

— Но убито и в полон татарами взято всего лишь две тысячи моих солдат. Неужели остальные просто умерли?.. Кто виноват?..

«И хотя я, — записывал Манштейн, — большой почитатель графа Миниха, однако я не могу вполне оправдать его ошибки

в эту кампанию, стоившую России 30 000 человек... Миних часто без надобности изнурял солдат своих».

Курьерская почта заработала снова, и Миних узнал, что Ласси взял Азов, а генерал Леонтьев отобрал у турок крепость Кинбурн. Оба они справились с цитаделями вражескими, имея неслышанно ничтожные потери в людях своих. И это малость окрылило Миниха.

— Велико счастье мне выпало, — говорил он Мартенсу, — что Густав Левенвольде, мой враг жестокий, сдох уже! А то бы мне отчет суровый держать за потери свои. Меня б сожрали эти господа! А ныне граф Бирен ко мне не придиричив. Даже ласков... Эй, кстати, позовите-ка сюда принца Гессен-Гомбургского!

Явился тот на зов фельдмаршала.

— Высокий принц, — сказал ему Миних, — я не стану спрашивать, зачем вы смуту сеяли в войсках противу моей досточтимой особы, которая при всех дворах мира столь прославлена. Но зачем вы письменно жаловались на меня графу Бирену?

— Я? На вас? — возмутился принц. — Позвольте, граф, я благородный человек и никогда бы не позволил...

— Вы благородный? Как это приятно. — Миних бровями двинул. — Так, значит, не писали в Петербург, что я дурак пьяный? Что я давно уже спятил? Что я гарем таскаю в обозе армии? Что я в безумии своем войска гублю напрасно?

— Как вы могли подумать! — огорчился принц.

Миних из портфеля извлек письма принца к Бирену:

— Вот ваши пакости! Конечно, спору нет, вы очень благородный человек. Но обер-камергер императрицы нашей Бирен благородней вас оказался. И все ваши пасквили на меня мне же и переслал... Что скажете теперь, принц благородный?

— Скажу, что вы невежа.

— Немного вы сказали... Я в Гессене бывал не раз, — упивался Миних в издевательствах. — Хороший городок. Покладисты там девки. И пиво там варить умеют. И надо ж так — не повезло всем гессенским на принца! Ступайте прочь, навоз в ботфортах лакированных!

Ночью Миних получил письмо из столицы — прямо из Кабинета императрицы. Накрыл его ладонью и сказал Мартенсу:

— Даже не распечатав, заведомо знаю, о чем тут писано. Ругают меня за то, что к Перекопу армию вернул... А разве я виноват?

Генерал-провиантмейстера, князя Никиту Трубецкого, он изрядно отколотил в шатре своем — при свидетелях.

— Вор! Вор! — кричал фельдмаршал, свалив князя на ковры и топча его ногами. — Мира постыдись... Ты жену слушайся, благо она умней тебя, дурака. А теперь встань... Анна Даниловна породит вскорости, так я тебя, сукина сына, в генерал-лейтенанты жалую. Что рот раскрыл? Кланяйся...

Князь Никита кланялся. Так и жили. Война затянулась, и каждый год Анна Даниловна исправно по младенцу приносить будет. Миних был мужчина в соку, еще крепкий. И князь Никита оттого-то быстро в чинах повышался... Эх-ма!

Ласси вызвали в Петербург, императрица ему заявила:

— Очумел, что ли, Миних мой? Из Бахчисарая обратно приехал на Перекопь... Видана ли где ретирада постыдная? Ныне я по Воинской коллегии желаю охулить его. А тебя прошу осуждать Миниха... Ну?

Фельдмаршал поклонился Анне Иоанновне:

— Судьею Миниху я не стану, матушка. Нет, уволь старика. Еще не ясно, как бы я поступил, в Бахчисарае на месте Миниховом окажись. А ежели честны будем, то признать надобно, что Миних войско между Сциллою и Харибдой проташил и цел остался...

Анна Иоанновна руками развела:

— Бахчисарая в карман мне не положил он. А половину армии угробил по болезням да по нужде бесхлебной... — Открыла табакерку, взяла понюшку табаку: — Нюхни и ты! От Крыма мне и польза вся, что Миних табачку прислал с осьмушку. И смех и грех! Презентовал, как дуру деревенскую. Суди его за ретираду эту!

Ласси твердо отказался прокурорствовать и намекнул:

— Выход есть для России: с н о в а Крым брать.

— А ежели я тебя попрошу взять его? Возьмешь?

Ласси коротко подумал, тряхнул бублями паричка:

— Возьму!

— А удержишь ли Крым за мной?

Без промедления отвечал Ласси:

— Н е т!

— И ты не способен? — поразилась императрица.

— Россия, — внушал ей фельдмаршал, — еще не созрела до того, чтобы Крым в своих руках удержать. Причин тому немало, а главная — удаленность крымская от магазинов воинских и беспредельность степей, нас от Крыма отделяющих...

Миних уже разводил свою армию по квартирам на Украине. Войска усталые растянули вдоль нижнего течения Днепра — по городкам,

станицам, хуторам. Солдатам было наказано всю зиму трудиться: чтобы льда на Днепре не было! Как появится лед — сразу пешнями его дробить. Это для той цели, дабы татары на правобережье не смогли конницей перескочить. Труд великий, непостижимый — такую речичу, как Днепр, до самой весны содержать безледной...

Но только пригрелись на винтер-квартирах, как ворвались на Украину татары. Атаман казачий Федька Красношеков двое суток подряд (без отдыха!) скакал напересечку «поганцам». И на рассвете дня третьего, когда кони уже спотыкались в разбеге, казаки с калмыками настигли татар в гиблой местности, что зовется Буераки Волчьи. Вот там и стали их бить. И сеча была яростна, как никогда. Всех татар побили. Из неволи выручили три тысячи женок и детишек, взятых в полон татарами на хуторах украинских... Миниха этот набег татарский застиг перед самым отъездом в Петербург:

— Гидра опять воскресла! Или напрасно я Бахчисарай сжег?

Офицеры армейские здраво рассуждали:

— Сколь ни ходи войною на Крым, а нам, русским, все равно не бывать покойну, покуда весь Крым вконец не покорим. И воевать еще детям и внукам нашим, а земля Крымская должна русской губернией стать... Вот тогда у рубежей тихо станется!

Миниха в столице встретили неласково. Спрашивали в Кабинете, куда он тридцать тысяч душ людских задевал, ежели их в списках убитых не обозначено?

«Ладно, — негодовал Миних, — только бы до императрицы добраться... отобьюсь!» Встретились они, и на попреки Анны Иоанновны зарычал фельдмаршал:

— Да это не я — это Ласси виноват во всем! Кабы не он, тугодумец такой, я бы из Крыма не ушел. Пока он до Азова добрался, пока под Азовом с турками канители разводил...

И свалил всю вину на Ласси — безответного.

— Ты, матушка, сама ведаешь: твой Миних прям и честен, оттого тебе с ним и хорошо. Два фельдмаршала у тебя — как-нибудь поладим. А вот третьего не надобно... Убери ты из армии моей принца Гессен-Гомбургского, чтобы не грыз темя каждому!

— Без принца нельзя, — возразила царица. — Титул его высокий большую честь армии российской оказывает.

— Ну, ладно, — покривился Миних. — Коли нельзя без принца, так дай мне другого... хотя бы жениха этого — принца Антона!

Миних перескочил на темы амурные, — легко, будто играючи. И так зашутил императрицу фривольностями, что она все попреки забыла.

— Фельдмаршал ты мой любезный, говори, чем наградить мне тебя за поход крымский и мучения твои?

— Да ничего мне, матушка, от тебя не надобно. Мне бы только свет очей твоих видеть. Вдохнуть то, что ты выдохнешь...

— Нет, ты проси, проси! — настаивала императрица.

Миних долго жался, потолоки узорные разглядывая.

— Вижу, — сказал, что не уйти мне от тебя пустому. Ладно! Чтобы тебя не обидеть, согласен принять в свое владение поместья украинские, которые ране Вейсбаху принадлежали... Бедняга-то умер! — всхлипнул Миних. — А имения его в казну перевели... Дай!

Анна Иоанновна прикинула: «Ой, как велики те поместья выморочные... страшно велики и богаты!» Но делать нечего.

— Бери, — сказала, и Миних оказался Крезом...

Покидая царицу, он (хитрец!) хлопнул себя по лбу:

— Ах, голова моя! Все позабывать стал...

— Ну, говори. Чего еще, маршал?

— В армии состоял в солдатах отрок один. Он первым на фас Перекопа вскочил. Так я ему, матушка, чин дал.

— И верно сделал, — похвалила Анна Иоанновна.

— Да отрок-то сей из князей Долгоруких, матушка...

Царица нахмурилась:

— Не отнимать же мне шпагу у сосунка...

Васенька Долгорукий был единственным из этой фамилии, кто стал офицером в царствование Анны Иоанновны.

Пройдет много лет, и многое на Руси переменится. Васенька станет Василием Михайловичем, в 1771 году он повторит набег на Крым и повершит дела Миниховы: Долгорукий не только Бахчисарай спалит, но проведет богатырей русских до берегов Тавриды южной, узрит Кафу, огнем и мечом утверждая славу воинства российского.

От отечества он получит почетный титул — К р ы м с к и й!
С этим титулом он и войдет в историю государства...

А вот грамоты так и не познает. Во всю жизнь, занимая посты высокие, останется Долгорукий безграмотен, и всегда будет он обвинять... п е р ь я:

— Опять перышко худо зачинили — не могу писать.

Мир праху его солдатскому! Памятником от него остался потомству долгоруковский дом на Москве (ныне Колонный зал Дома союзов).

Глава одиннадцатая

И совсем потерялся среди волн арктических маленький дубель-шлюп «Тобол», принадлежавший Великой Северной экспедиции... Лейтенант Овцын с палубы не уходил. Сбоку от рулевого стоя, привязав себя к нактоузу компаса, помогал рулевому штурвалом работать. А внизу шлюпа — мокрынь, стужа, кости ломающая, сухари подмоченные, гуляет в трюме одинокая бочка с квашеной капустой. На верхний дек вылез подштурман Афанасий Куров.

— Отвязывайтесь, сударь! — он лейтенанту крикнул, и ветер разорвал его слова, относя в океан. — Сменяю вас...

Овцын с палубы не ушел. Пенные потоки сшибались в шпигатах, колобродя в узостях, как кипящие ключи. Корабль нес над собой громадные полотнища парусины, и «пазухи» кливеров были до предела насыщены свежаком. Отвернуть с курса их мог заставить только лед, а потому шлюп «Тобол» дерзал бороться с полярной стихией.

«Тобол» прорвался за Гусиный Нос, где на урочище хранили моряки запасы провианта. Пошли далее, и скоро в корпус дубель-шлюпа стали биться льдины. Расштанное судно потекло, изнутри его наспех конопатили матросы, грели на жаровнях смолу, стучали мушкетями плотники. Приблудная собачонка Нюшка, которая, в калачик свернувшись, так уютно согревала по ночам ноги Овцыну, теперь озлобленно облаивала тюленей. Сильный туман тянуло вдоль берегов Обской губы, а пресная вода замерзла в бочках... Худо!

— Впереди уже лед, — доложил лейтенанту Куров.

— Ты глянь за корму, Афоня... Там тоже лед.

В промоине полыньи корабль качало меньше.

— А нас относит в сторону... Течение сильное, вертлявое.

— Кажется, сломало лапы якорей... Эй, боцман!

Текли безжизненные берега. Тоска и запустенье. Хоть волком от безлюдья вой... Но долг есть долг, и Овцын продолжал работу. Геодезиста с рудоизнанием послал на шлюпке — для съемки берегов на карту, для рудоискания. Они вернулись еле живы.

— Т о п ь, — заявили кратко. — Добра не жди!

Никита Выходцев, мужик тобольский, признался Овцыну:

— Митрий Леонтьич, ты как хошь, а я скажу тебе открыто. Вертай назад, покуда целы. Мороз в баранку скоро закрутит, все передохнем здесь за милую душу...

Лейтенант созвал консилиум. В каюте запалили фитилек, светил он чадно. Овцын мнение каждого выслушал. Сам удивился, когда подумал, сколько учеников он выпестовал! Матросы все — мещане да

казаки, а он обучил их наукам разным, а теперь они разумно говорят, как навигаторы толковые... В заключение он и сам сказал:

— Дивлюсь я! Наши предки давным-давно ходили в Мангазею, сей легендарный город, наполненный у края ночи мехами драгоценными, золотом и костью. А мы не можем пройти дорогою предков наших!.. Отчего? Видать, справедливо предание в краях местных, будто предки наши не из Оби в Енисей, а — наоборот! — с Енисея на Обь хаживали. Мы же здесь бьемся-бьемся... как башкой в стенку, все в этот лед проклятый! Ладно, будем стучаться и дальше. Все по местам стоять, к повороту генеральному — на курс обратный...

Глубокой осенью «Тобол» пришел в Обдорск, а на зимовку перебралась команда шлюпа в город Березов — ближе к людям.

.....
Постылой жизнью проживали ссыльные в остроге Березовском. Князь Иван Долгорукийпил пуще прежнего, а Наташа страдала с детьми своими. Чай бы нужен! Чай от пьянства хорошо спасает, все нутро пьяницы от вина промывает. Да где взять чаю в Березове?

Катка же, невеста царская, жила весь год в томлении любовном, Овцына с моря поджидая. Младшие братишки Ивана, князья-отроки Николашка, Алешка да Алексашка, выросли заметно в заточении — стали узкоголовы, с плоскими от безделья ладонями, сварливые. Самый младший из Долгоруких — Александр уже попивать стал, на взрослых глядя; лейтенанта Овцына завидев, говорил ему отрок так:

— Чего пустой к нам ходишь? Чего винца не носишь?

Овцын повидался с князем Иваном Долгоруким:

— Не ты ли, Алексеич, братца малого в пьянство вовлек?

За мужа своего ответила лейтенанту Наташа:

— С моего голубя ненаглядного и того станется, что сам пьет. Нет, сударь, Алексашка по высшему велению запил.

— Это как же вас понимать, Наталья Борисовна?

— А так... Порушенная царица наша братца спаивает.

В долгие ночи полярные сладостны объятия любовные. До чего же жгучи поцелуи женщины, которая царскую корону на себя примеряла. Все это уже в прошлом для Катки, и осталось ей, ненасытной, только одно: чтобы на груди ее лежала голова чернобрового любовника в чине скромном — лейтенантском...

Под утро Овцын как-то спросил Катку:

— Зачем ты, Катерина, братца к винопитию приучила? Как бы, гляди, худа не случилось. Вино в радости хорошо пьется, а коли в горе пить — еще горше станется...

Хорошо было Овцыну зимовать в городишке заштатном. Березовский воевода Бобров — мужик добрющий, майор Петров с женою — люди грамотные, книжечейные. Обыватели тоже неплохи, доверчивы, ласковы. Природа суровая да пища грубая нежностям не мешали. Приятно было Митеньке и друга своего встретить, Яшку Лихачева — вора бывшего, а ныне казака доброго. Яшка предупредил лейтенанта:

— Ой, Митя, молчать не стану — честно поведаю. Тут, пока ты на «Тоболе» путей до Туруханска ищешь, подьячий Оська Тишин к Катерине Лексеевне твоей липнет, будто смола...

Лейтенант знал, что любим Катькой — пылко, до безумия. А подьячий Тишин — гнусен, пьян, и воняет от него.

— Атаман, — сказал лейтенант, — дураков на Руси учат.

— Золотые слова, Митя: подьячего поучить надобно...

Зажали они прохиндея в темном углу и стали вразумлять. Овцын разок по зубам треснул и отстал. А потом метелили Тишина на кулаках двое — атаман Яшка Лихачев да Кашперов, провинциал старомодный, который во всю жизнь далее Березова не выезжал. Потом Овцын с князем Иваном Долгоруким пошел в баню париться. Туда же (день был субботний) и Тишин приволокся. Подьячий обиды вроде не держал. Помимо веника, он в баню вина еще притащил. В предбаннике компания вино то сообща выпила. Говорили о разном, кому что в голову взбредет. А князь Долгорукий, охмелев, сказал:

— Фамилия наша совсем пропала. А все эта вражина виновата!

Тишин тоже в разговор сунулся.

— О каких врагах говоришь, князь? — спросил он Ивана.

— Да об этой толстозадой, кою народ наш глупый императрицей считает, а она корону царскую на титьках своих носит!

Подьячий едва от испуга оправился:

— Уйти мне от вас, а то греха не оберешься... Тебе бы, князь, за государыню нашу, голубицу пресветленькую, Бога молить денно и ночью.

Долгорукий еще вина себе подлил.

— А много ты, — спрашивал, — видел людей, которые бы за ту курвищу маливались? Погоди, придет времечко, за все сочтемся. Мы здесь сидим в снегу по макушку, а корни-то от зубов еще не выдернули... Болят они, корни эти! У нас и в Париже конфиденты тайные сыщутся, они за нас, бедных, хлопочут...

— Уйду я, — изнывал подьячий. — Слышать вас страшненько!

— Может, донести желаешь? — наседали на него Долгорукий. — Ну, доноси! Тебе же первому башку срубят... Да где тебе доносить! —

отмахнулся ссыльный князь. — Ты в Березове тоже варнаком сделался, а Сибирь доносчиков не терпит.

— Коли не я, так майор Петров донесет.

— А майор не станет поклепствовать: он человек честный...

Тишин — к Петрову: мол, так и так, зло явное наблюдается.

— Помалкивай! — отвечал майор. — Много ты в мире добра и зла разбираешься... Молчи уж, а то тишайше пришибем тебя здесь!

Тишин, чтобы себя оберечь, на всякий случай за рубль подговорил одного сопитуху, чтобы тот «слово и дело» за собой сказал. Тот как раз в белой горячке пребывал и стал орать на весь Березов. Повезли его, орущего, к саням привязав, в Тобольск, где он и рассудка лишился. Стали его палачи на дыбе трепать, а доносчик про курочку-рябу чепуху несет. На этот раз беда миновала жителей березовских. Но Тишин не успокоился — зло свое затаил. Катьку иногда встречая, говорил ей со значением:

— Так поцелуешь меня аль нет? Дай, красавушка, хоть разочек под тебя подвалиться. Утешь ты меня, Христа ради.

— Ты под каргу свою старую подваливайся, сколько хошь.

— Ой, пожалеешь ты! — угрожал Тишин. — Я ведь, когда в губернии жывал, законы царские изучил. Могу и со свету сжить...

— Я сама любого из вас сживу! — отвечала Катька...

Овцын всю зиму по-прежнему с людьми своими занимался. Натаскивал их в навигации и в астрономии, матросов писать и считать учил. Преподавал знания, без которых корабля в море не вывести. И душевно радовался, что умнеют подчиненные, стараются.

— Быть вам после меня офицерами, — ободрял он их...

Отправил рапорт в Петербург о плавании бывшем. «А от болезни цинготной, — сообщал Адмиралтейству, — ныне мы н и к т о никакой тягости не имели». В этом была заслуга его великая. Таких «безцинготных» плаваний в Арктике еще не ведали до Овцына на флоте российском. Но ему даже спасибо никто не сказал. Во времена те страхолюдные народу было не до Овцына, и не знали о нем в России... А лейтенант под парусами дубель-шлюпа своего науку русскую двигал во мрак ночи арктической!

Иван Кирилов тоже науку продвигал в желтизну степей оренбургских. А рядом с ним двигал пушки генерал суровый — Александр Румянцев. Несоответствие получалось: одной рукой для башкир школы строить, другой — в этих же башкир кидать ядра огненные!

А башкиры бунтовали. Оренбург обкладывали конницей, ни одного обоза в город не пропуская. Оттого в гарнизоне много народу за зиму вымерло — от голода, от стрел.

Кирилов говорил Пете Рычкову:

— С народом надобно не в сердцах общаться, а с сердцем! Любого злодея давайте мне — я ласкою из него пса верного сделаю...

Пока генерал Румянцев с пушками развлекался, Кирилов волею своей указал штрафы с башкир снимать, чтобы они жито на семена торговали, стал их к труду на медных заводах приохочивать, а платить за работу велел честно — хлебом! Все эти «мягкости» сурово осудил в своих доносах к императрице Василий Никитич Татищев: возводил он вину на Кирилова, что тот «весьма много оным вора́м (бунтовщикам-башкирам) в указах своих послабил». Где только Кирилов шахту какую откроет или завод новый поставит, Татищев тут как тут — опять с доносом. Мол, и шахта обвалится, мол, и завод этот сторит; Кирилов же, если верить Татищеву, лишь о своих доходах печется («на свою персону прихлебствует»).

А в это время Кирилов с женою и сыном-малолеткою, бывало, куску хлеба радовались. Царица ему копейки из казны в карман не опустила: мол, и так проживет. Семью статского советника подкармливал Петя Рычков, у которого в Вологде родители да дядья были очень богаты с торговли. Но бодрости Кирилов не терял.

— Гляди, Петрушка, — говорил он Рычкову, — худо-бедно, а мы движемся... Сколь уже бастионов и городов заложили, карты составили. Эльтон солнечное затмение пронаблюдал, ныне он нижнюю Волгу описывает. Илецкая соль на рынок от нас поехала. Флот на море Аральском заведем. Гейнцельман, ботаникус ученый, немало уже травок ко здравью человека сыскал. Живописец Джон Кассель не токмо рисует, но и дипломатничает в орде хана Абулхайра... Чего бы не жить нам с тобой? Да вот, брат, помирать надо.

И ложился он помирать на лавку. Уже привычно. Топилась печка кизяком душистым. Через окошко — размером в лист бумаги писчей — текло светом пасмурным. Приходил священник. Приносил «святые дары». Убивалась с горя жена, руки своего кормильца целуя. Пугался сынишка, когда Кирилова к смерти причащали.

Но Иван Кирилович снова оживал.

— Ульяны Петровны, — жене говорил, — мундир мне... еду!

Издавеча он соблазнял в письмах и рапортах императрицу посулами: «...земля черная, леса, луга, рыбные и звериные ловли». Недостатка у Оренбурга ни в чем нет — нужны только люди, чтобы край

этот заселить и промышленно освоить. Он знал, чем надо искушать царицу-дуру: Кирилов посылал ей наборы камней оренбургских — порфир, яшму, агаты и малахиты редкостные. А по Руси уже струились слухи такие: есть далече земля, где воля вольная, а царем там сидит советник один, — и в с е х принимает с радостью. Из деревень нищих, из городов сожженных уходили искать эту землю солдаты беглые, каторжники да люди гулящие...

— Принимать всех, — распорядился Кирилов, — всех, хотя меня за это и не помилуют. Буду писать патронам своим, чтобы людей крамольных отныне не ссылали в края гиблые, где совы с них мясо дерут, а слали бы к нам...

И была у Кирилова мечта, еще давняя, устремленная к берегам морей, вечно ликующих, издревле Русь зовущих.

— Петя, — признался он однажды Рычкову, — неужто пришло время, когда от мечты той отказаться надо? Видать, уже не побываю я в Индии... Ладно, не я, так другие. Кликни Джона сюда!

Явился живописец-англичанин Кассель, почтительный.

— Джон Иваныч, вы еще молоды. Я уже не способен до Индии ехать, но хочу вас послать... Поверьте, страна эта — удивительна! Россия вас никогда не забудет, ежели вы ее в политике соедините дружбой с народом индийским. Согласны на путешествие?

— Я только что вернулся из орды казахской, — ответил Кассель, — а там с меня живьем чуть не спустили шкуру. Я не пришел еще в себя, а вы мне предлагаете вояж опасный... Нет, не могу!

Петербург еще не ведал, что Кирилов населяет Новую Россию беглыми крепостными и солдатами. Они здесь оживали. Соха уже воткнулась в целину, и первые борозды украсили землю — черную, жирную, сытную... Сенат вошел к императрице с прошением от Кирилова.

— О чем он просит, этот прибыльщик? — удивилась Анна Иоанновна. — Ежели виноватого не в Сибирь на шахты ссылат, то где еще страшнее место найти, чтобы верноподданных запугать?

— Ваше величество, — вмешался князь Дмитрий Голицын, — только взгляните на карту. Вы ошибаетесь! Русский человек Сибири давно не боится, ибо чем дальше от Петербурга, тем вольготнее и прибыльнее живет. Даже каторга не стесняет мужика нашего больше, нежели стеснен он в отеческой части России. Хотите и далее народ свой пугать — так пугайте не Сибирью, а Оренбургом...

— Уговорил! — произнесла Анна Иоанновна и глазами стрельнула злобно на старого верховника.

Осенью 1736 года прибыл в Оренбуржье первый обоз с ссыльными из России. С утра сыпали тяжелые дожди, земля намочка, чавкала под ногами, леса шумели печалью. Поддерживаемый своим бухгалтером, Иван Кирилов вышел обоз встретить.

— Теперь заживем, — говорил. — Население прибывает...

Подводы подъехали, а на них люди под дождем моknут. Да люди ли это? Приехали обрубки какие-то, от бывших людей оставшиеся. Привезли их — прямо из пытошных, после клещей и огня. У кого носа нет, у кого уши обрезаны, кто без глаз, кто обезножен. Словно куски мяса сырого завернуты в тряпки грязные. А одна бабка старая была на дыбе совсем изуродована. Перебитые руки ее к двум доскам привязали, чтобы кости срослись поскорее. И она, убогая, эти доски-руки под дождем растопырила. Так и сидит на телеге, будто квелая курица...

Кирилов, спотыкаясь, подошел к прибывшим.

— Господи, — простонал, — да кто ж вы такие?

— Присланы, барин... город городить. Прими уж...

— Не оставь в милости, — кричали вразброд, — не гони нас от себя. Совсем пропадем... Дай хоть помереть под крышею!

Ближе к ночи Кирилов велел печи топить, перья заточил.

— Я не стану молчать! — жене он сказал. — Ульяны Петровны, вы спите, а я писать сяду... в Петербург. Бессовестный я был бы человек, если бы промолчал, когда народ тиранство такое терпит, а членовредители в чинах высоких кровью их умываются. Прислали вот... от Ушакова да от Феофана Прокоповича — один по гражданским делам лютует, другой за духовные дела казнит.

Статская советница за голову схватилась:

— Батка ты мой драгоценный, да опомнись ты! С кем спорить-то хочешь? Ты думаешь, во дворце не знают о пытках? Или уши царицы заткнуты? Всё кровососы знают, они сами тому потатчики...

Кирилов озаглавил доклад свой: «О пытках и публичных наказаниях, о натуральных смертях, о долговременном держании (в тюрьме, понимай) и о прочем, к тому же касающемся». Деловито разбил он доклад на пункты, за каждый из которых его могли на колесе четвертовать. В избе уфимской сидючи, под шум дождей осенних, советник статский обличал Анну Иоанновну в преступлениях против народа...

На полатях причитала жена, беду предчуя.

— Оставь, — молила мужа. — Замучают ведь тебя изверги. Подумай о себе, где ты завтра проснешься? Вот приедут и схватят, как

Жолобова схватили! Не гляди, что далеко забрался — у них руки-то длиннее твоих.

— Не мешай, мать, — отвечал ей Кирилов. — Я не за тем сюда ехал, чтобы весь срам российской жизни пред дикими племенами вы-являть наглядно... Уймись ты, все равно напишу и отправлю!

Средь прочих пунктов Кирилов спрашивал у властей столичных: в чем состоит воспитательный смысл вырываний ноздрей до обнажения носоглоточной кости? На что уродовать человека, созданного по подобию божиему? И почему, спрашивал, людей под следствием томят многие годы: войдет в тюрьму молодым, а выходит стариком, и ему говорят: «Извини, брат, ошибка вышла...»? «Калек, к труду неспособных, — писал Кирилов, — вы вот мне прислали, а подумали ли в Петербурге, что калеками Арала и степей не освоить?..»

Великое дело свершил Кирилов — многие тысячи людей он спас от огня и дыбы пытошной.

Императрица указала Ушакову и Феофану Прокоповичу:

— Образумьтесь! Допрос виноватого не обязателен пыткой быть. Эдак-то вы всех людей мне переломаете... Помучай немного, но не тирань, и, пока не ослабел еще, сразу в Оренбург его!

Глава двенадцатая

Париж... За казармами полка «черных гусар» на улице Дэзе кучер придержал карету на развороте, и кто-то стукнул в заднее окошечко. Кардинал Флери выглянул: стоял на улице молодой человек лет тридцати, одетый дворянином-жентильомом, как видно поджидавший здесь проезда всесильного кардинала... Флери распахнул дверцу, ногою в туфле атласной он откинул подножку.

— Вы очень ловкий малый! Надеюсь, — он спросил с усмешкой, — вы не попрошайка! Не прожектер? И вы не станете претендовать на изобретение вами красивых мыльных пузырей?

Незнакомец уверенно сел рядом с кардиналом:

— Я не отягчу ваше святейшество надоеданием долгим и бессмысленным... Дорога эта (я знаю) ведет в Версаль, куда я не ходок. Мне нужен с вами разговор — открытый, без лукавства.

— Простите, не пойму — кто вы? Ваш акцент необычен.

— Я... р у с с к и й.

— О! — умилился кардинал. — Все русские любопытны для француза. Итак, вы можете рассказывать. Но для начала назовите себя.

— Имею честь. Я рода знатного. Царица русская Наталья Кирилловна, мать Петра Великого, мне родня ближайшая... Нарышкин я!

Семен по имени, а ныне проживаю изгнанником в Париже, где затаился под вымышленной фамилией — князь Тенкин.

— Что вас заставило, мой друг, покинуть родину?

— Насилье и бесправье. Все дело в том, — рассказывал Нарышкин, — что я был обручен, хотя и тайно, с дочерью Петра — цесаревной Елизаветой. Король французский может не гнушаться мною, ибо мы с его величеством являлись женихами одной и той же женщины.

— Уж не она ли вас ко мне послала?

— Нет. Я убежал давно, лет пять назад. Успел окончить здесь Сорбонну, науки разные постиг... И разговор у меня к вам, кардинал, особый и серьезный. Скажите мне вы, представляющий политику короля, доколе же Франция будет терпеливо слышать стоны русские? Не пора ли Версалию вмешаться в дела российские?

— Наш разговор становится опасен, — ухмыльнулся Флери. — Ну что ж. Так, может, даже лучше... Послушайте теперь меня. Французы здравый смысл привыкли заменять остроумием. Я, слава богу, человек неостроумный. Я здраво мыслю. Да, верно, что Россия необходима Франции как друг. Но, посудите сами, что мы, французы, можем сделать?

— Проникните на Русь хоть кончиком иглы, — ответил Нарышкин, горячо и пылко. — А за иглой протянется и нитка. Вы знали б, кардинал, как честь русского имени унижена сейчас. Вы знали б, сколько недовольных в России, готовых перевернуть престол!

— Но это невозможно...

— Возможно это, кардинал! Поверьте, если цесаревну Елизавету, которая живет в обидах, растормошить, будя в ней надежды, тогда дворянство встанет за нее! А... Долгорукие? — спросил Нарышкин. — Голицыны князья? Они же были главными в году тридцатом, когда в день черный для России воссела на престоле женщина с лицом мужским, корявая и злая...

— Поворот, — сказал вдруг кардинал. — Сейчас мой кучер опять придержит лошадей, и вам, я думаю, лучше спрыгнуть здесь. Время для протягивания иглы с ниткой для Франции еще не наступило. Но сейчас я увижу своего короля и доложу о нашем разговоре.

Нарышкин покинул карету кардинала, и она, грохоча колесами по булыжникам, завернула на дорогу к Версалию. Казалось, еще недавно сидел он в Александровой слободе, пил вино с Балакиревым, ездил на охоту с Жолобовым, была с ним рядом цесаревна. Еще недавно он играл на флейте с Василием Тредиаковским... На мосту Понт-Нефф Нарышкин остановился и долго смотрел на мутную Сену.

Ему сейчас очень хотелось квасу или клюквы.

.....

А за деревней Смольною, близ которой жила Елизавета, с пырхом взлетали из-под снега куропатки. Под сугробами рдела в изморози яркая клюква. Чухонки местные собирали ее, везли в город на волокушах... Петр Михайлович Еропкин ныне здесь же проживал. Строил он монастырь Невский и как сосед частенько виделся с цесаревной. Мало того, архитектор был помещик небедный, а потому Елизавета Петровна деньги у него одалживала.

— Вот управлюсь когда, — обещала, — так верну тебе!

Но Еропкин понимал: никогда она не вернет, пока цесаревна, а ежели корону наденет императорскую, так вряд ли вспомнит о долгах прежних. Но он давал щедро, потому что было ему цесаревну жалко: добрая она, красивая, смешливая и... обижена от двора Анны Иоанновны! Сошелся архитектор и с челядью цесаревны — зубастыми, башковитыми грамотеями. Воронцовы и братья Шуваловы, Александр и Петр, жили трезво, без плотоядства — больше мыслили, спорили. Парни себе на уме, начитанные, хваткие. Возле них крутился, словно шутейный фейерверк, бесшабашный и ловкий Жано Лесток — на все руки мастер, в любой дом вхож, новостей столичных собиратель. А любимец цесаревны Алексей Разумовский пил да ел, в разговоры умные, как и цесаревна, не мешался.

Именно здесь-то, в свите Елизаветы Петровны, наслушался Еропкин речей об экономике государства — горьких, зловещих и тяжко ранящих. Александр Шувалов, не таясь, говорил зодчему:

— Ежели насилие духа народного и дале продлится так-то, России в первый ранг никогда не выбиться. Спасти отечество от разорения могут лишь силы новые. Надобность пристала в людях молодых, азартных, до наук охочих, коим честь русская всего дороже. А так... на карачках вслед за Европою ползти будем!

Еропкин, от двора милостями осыпанный, большой барин, весь в шелках и бархатах, был патриотом — он тоже страдал:

— Такова славная история от прадедов наших... О боже! Неужто все величье Руси падет от насилия этого? Вот и обер-егермейстер Волынский шибко печалится о том же...

— Его печаль ина будет, — смеялся Воронцов Мишка. — Мы вошки махоньки, а он теля широченная, в нашу щелку не пропихнется.

Изредка архитектор бывал наездами на Васильевском острове, где соседствовал домами с Соймоновым; адмирал ему говорил:

— А ты напрасно в дружбу мне Волынского вяжешь. Я этого сударика не люблю. Казнит мучительски, а ворует грабительски.

— Да не ворует он давно, весь в долгах!

— Долги еще не есть доказательство бедности. Мне с Волынским никак не по пути: я карьер ради нужд отечества свершаю, а он себе в удовольствие... Разве не так, Петра Михайлыч?

Архитектор убеждал адмирала:

— Поверь мне, что Волынский — гражданин небезучастный, душою скорбит за отечество не менее твоего, Федор Иваныч.

Соймонов только отмахивался:

— Знаю я скорби его... На хвосте у графа Бирена паук этот высоко взлетает. Ныне в кабинет-министры метит, и вот беда — пронырнет ведь! Таким супостатам, как он, всегда везет.

— Не беда, а счастье то будет, — возражал Еропкин. — Кто там, в Кабинете, разлегся? Черкасский-Черепаша спит день-деньской, а Остерман в одиночку Россией ворочает. Волынский-то Черепашу живо разбудит, а Остермана, будто клопа, придавит... Нам же, русским, от того лучше станется!

— Уж и не знаю, будет ли когда русским людям лучше? А пока что с каждым летом все хуже и хуже... Прощай, отъезжаю я.

— Далече ль?

— Да нет, до Кронштадта надобно съездить, а по весне снова тронуть в края дальние. Скреплять буду дружбу калмыцкую с народом российским. На старости лет меня дипломатом сделали, и сам не пойму, с чего мне честь такая?

Вечером на лошадях запаренных вернулся Еропкин в Смольную, навестил усадьбу цесаревны. В доме Елизаветы всегда под утро спать ложились, когда на шумятся с вечера, наедятся, нассорятся... Тихо на этот раз сидели за столом Шуваловы с Воронцовыми.

— Чего притихли-то? — спросил их архитектор.

— Кидай шубу на лавку, — привстал от стола Воронцов.

А вертлявый Лесток выпалил:

— Феофан Прокопович богу душу отдает...

— Не с того ль загрузили, други мои?

— С того... Вот сообща гадаем: коли умрет Феофан, будут из тюрем выпускать невинно мучимых или не станет послабления по делам синопским? Только, Петр Михайлович, ты уж за порог нашего мусора не выгаскивай. Что мы говорим тут — пусть в Смольной и останется.

— Я пытошным заведениям — не слуга... Не донесу!

Разумовский в одних подштанниках за столом сиживал.

— Беда с вами! — сказал. — Языки до полу отрастили, теперь их чешете. Давайте пить лучше. Случись что, с трезвого спросят. А пьяный всегда на безумие сослаться может... Ну, начнем?

Феофан умирал на речке Карповке, что течет среди дач и лесов, шум столицы не достигал ушей его. Умолкли за стеною палат владыки лудошники, гудошники, балалаечники. Девка белая, шлепая босыми пятками, уже не несла к изголовью его фужер стекла богемского с янтарным токаем...

Итак, смерть пришла! На подушки жаркие владыка откинулся, кадык дергался под бородой черной — в кольцах, как у цыгана. Феофан воззвал в пустоту:

— О глава, глава! Разума упившись, куда ся приклонишь?

Что ж, спасибо судьбе: он истинным был владыкой над людьми крещеными. Шесть лет подряд состязался Феофан с Ушаковым — кто больше народу истребит? Разница меж ними невелика: Феофан замучивал людей «во славу Божию», а Ушаков старался «во славу государеву». Вся жизнь владыки Синода прошла между школой и застенком; он жил в страхе скотском и умирал в страхе, как умирают только палачи...

Феофан сам пытками руководил! Можжились перед ним тела людские, шатались кости в суставах. И человека снимали с дыбы, как мешок, в котором кости уже свободно болтались. Поэт и философ, Феофан помнит, как у раскольника одного глаза в орбитах лопнули. С именем Христовым стопы выдергивали из голеней, а плечи выбивали из лопаток. Кололи иглами «овец заблудших», жгли их серой...

— Ой, страшно мне! Гриша, Гришенька... свет возжи!

Возле Феофана обретался юноша — Теплов Григорий, которого родила от владыки молодуха-монашенка. А чтобы грех покрыть, Теплова за сына истопника выдавал, отсюда и фамилия пошла такая — Теплов, мол, от печек теплых произошел этот юноша.

— Гриш, а Гриш... — позвал Феофан сына.

— Чего угодно, ваше преосвященство?

Феофан сыночка напутствовал в жизнь будущую:

— Ты зубы-то отточи... Грызи всех, кои встревать на пути станут. Волком будь, Гришенька! У меня смолоду врагов столько было, что не ведал — куда ступить. Я только при Анне Иоанновне, благослови ее бог, и вздохнул спокойно. А то ведь, бывало, не спал...

Умер он. Владыку уложили в гроб, облили его воском, чтобы не смердил по дороге, и повезли в Новгород, где и закопали. Вот и преклонилась его голова, разуму и страхов упившись. Поменьше бы на

Руси таких «просветителей»*, у которых в одной руке вирши духовные о любви к ближнему, а в другой — плетка-семихвостка...

Как только Феофана не стало, по России легкий трепет прошел: это забились сердца замученных им и вздохнули колодники в «мешках» тюрем монастырских:

— Сдох зверь ненасытный! Теперь нам легче станется...

Горой лежали непервершенные дела по инквизиции духовной. Куда их деть? На больших телегах привезли их в Тайную канцелярию. Да, наворотил покойничек... Ушаков велел телеги на двор завезти.

— Сам-то крышкой накрылся, — сказал Ушаков, — а нам теперь не ешь, не пей, чужой навоз раскапывай... Ванюшка! — позвал он Топильского. — Ты все эти дела единым махом в ажур приведи...

Ванька Топильский был на расправу скорым:

— Андрей Иваныч, я все духовные дела разгреб. Утомился с ними. Иных людишек и на волю отпустил, сердце-то, чай, не каменное.

— Милосердие — это хорошо, — похвалил его Ушаков. — Ты у меня мастак, Ванька. Зри в оба! По слухам придворным, я так ведаю, что ныне государыня наша, голубка ясная, к Дмитрию Голицыну подбирается... Зажился старичок на этом свете. Пора уж ему... Ты зри!

Поздно вечером в кабинет начальника Тайной розыскных дел канцелярии втерся бочком славный юноша — собою приглядный, ухоженный.

— Теплов я, сын истопника владыки синодского... Не пригожусь ли по делам вашим тайным? Может, чей разговор подслушать надобно? Или к персоне подозрительной в дружбу войти? Я бы это смог... А сколь жалованье у вас? Много ль положите?

Выяснилось, что Гриша Теплов — художник. Но парсуны писать не брался! Виньеточки рисовал нарядные. Родословные деревья развешивал по стенам домов боярских. С того и жил. Понятно, нуждался. Деньги всегда нужны молодому человеку.

По льду на лошадаках Соймонов в начале 1737 года отбыл в Кронштадтскую крепость жалованье флотскому офицерству произвесть. Опушенный красивым инеем, под берегом Котлина застыл корабль с

* Феофан Прокопович вошел в историю русской литературы как заметное явление. Но литературоведы никогда не касаются (очевидно, умышленно) гнусной изнанки этого тирана. Но зато антирелигиозная литература, издаваемая в СССР, в полной мере раскрыла палаческий образ Феофана. Исторический же романист не вправе наводить на палачей «хрестоматийный глянец».

несуразным именем «Петр I и II», а командовал кораблем этим Петр Дефремери... На казнь смертную осужден, он от смерти с помощью Соймонова был избавлен.

— Мне и теперь, — рассказывал он адмиралу, — ходу в карьер совсем нет. Политика наша Франции бережется, а посему меня, как француза, даже в море не отпускают.

Федор Иванович ему деньги отсчитал, поздравил — событие в жизни человека, когда один раз в году жалование выдали. Дефремери по этому случаю графин с вином на столе водрузил.

— Мой тост двойной будет — за Францию, которая дала мне жизнь, и за Россию, которой я шестнадцатый год служу.

Выпили. Копчушки астраханские — на закуску.

— Оно и ладно, — сказал Соймонов, жуя. — Каждый раз, как в тарань зубами вцепишься, сразу Каспий поминается... Помнишь, Петрушка, как хорошо было нам на Дербент плавать? Молоды были...

Дефремери поник головой:

— Сломалась моя жизнь после сдачи корвета «Митау». Друзья все пропали... во льдах! Где Овцын Митька? Где Харитоша Лаптев?

— Не печалься, — утешал его адмирал. — Я тебе так посоветую: езжай-ка ты под Азов, в Донскую флотилию, которой Бредадь командует. Бредадь — вояка славный, сам из норвежцев, я ему напишу о тебе. Он примет. И будешь ты, воюя, при нужных делах состоять.

— А разве война походом на Бахчисарай не кончилась?

— Миних растревожил гнездо осиное, теперь татарва жалит нас. А на войне ты себя побереги. Не ядром пугаю. Заразы бойся — чумы...

В чине капитана III ранга Дефремери отъехал на Азовское море. В пути он не был одинок: часто встречались санки с офицерами армейскими и флотскими — все поспешали на юг, в разлив близкой весны, и было ясно: до победы еще далеко... Ехали! Ехали! Ехали!

Кто на войну едет? Конечно, больше молодежь.

Глава тринадцатая

Ну и вывездило сегодня... Вот это ночь так ночь!

Струится мороз под копытами, режут снег полозья санные.

Приятный брег! Любезная страна!

Где свой Нева поток стремится к пучине.

О! прежде дебрь, се коль населена!

Мы град в тебе престольный видим ныне...

Ровно в полночь сменяются караулы империи Российской. Вершатся салюты у полковых знамен, возле судебных зеркал и казенных печатей, над ящиками с деньгами. Зорко берегутся от гнева простонародного дворца царские, дома вельможные, здания посольские.

Всюду кордегардии. Гауптвахты. Мосты. Шлагбаумы...

В коридоре пред спальней царицы офицер выкрикнул:

— Стой! Замри!

А впереди еще целая ночь. До утра стоять здесь.

Мимо часовых, после проигрыша в карты счастливицу Рейнгольду Левенвольде, волоча на себе чудовищные пудовые робы, императрица протиснулась в двери опочивальни. Караулу пожелала басом:

— Спокойной вам ночи, охранители мои!

Быстрым шагом, ни на кого не глядя, в мысли тайные погружен, сиятельный граф Бирен пронырнул в спальню к царице. Дверь закрылась за ним, любимый арап Анны Иоанновны надел белую чалму с аграфом алмазным, встал у порога... Во дворце — тишина.

А утром Анна Иоанновна наказала:

— Людей из кавалергардии послать на дом князю Дмитрию Голицыну — станет ли князь волноваться? И что он, князь Голицын, сказывать при аресте станет, о том никому не объявлять, а мне дословно рапортовать... Ясно?

Старик был болен — его из постели вытащили. Допрос вели во дворце Зимнем, близ самой спальни императрицы, и она, пред судьями не показываясь, из-за ширм потаенно слушала, о чем говорят... Вышний суд все подряд в одну кучу свалил: клязвы Антиоха Кантемира, отлынивание Голицына от службы под видом болезни-хирагры, донос чиновника Перова и... гордыню!

— Не залепляйте глаза мне, — отвечал Дмитрий Михайлович. — Не проще ль будет прямо сказать: судим тебя, князь, за то, что в смутный год тридцатый желал ты республики аристократической!

В конце допроса ему подсунули листы для подписи, но хирагра старая мешала князю, он брата Мишу позвал, тот за него расписывался, а князь Дмитрий Михайлович при этом Ушакову сказал:

— Ежели б для пользы отечества Российска сам сатана из пекла ко мне явился, я б советы его мудрые тоже принял...

Ушаков сунул руку под парик, скреб себе лысину:

— А повторить, князь, слова сии смог бы?

— Отчего же и нет? — И князь повторил (а Ушаков записал).

Записав же, он сразу императрицу в спальне ее навестил:

— Ваше величество! Голицын уже сатану в помощь призывал!

— Это в дому-то моем? Видать, ему вышний суд империи не страшен. Тогда учнем судить его Генеральным собранием...

Генеральное собрание — из самых знатных вельмож. За председателя в нем князь Алексей Михайлович Черкасский. Приговор над стариком начинался восхвалением гениальной мудрости царицы Анны Иоанновны, причем все судьи вставали из кресел и, обратясь к иконам, благодарили царицу за «матерное» охранение законного правосудия в государстве... Сатану тоже не забыли — о нечистой силе в последнем § 13 было помянуто (в таких словах: «...еще и злее того яд тот изблевал»).

Суд творился с пяти часов утра, еще под покровом ночи, а в восемь утра уже все было оформлено указом.

«И хотя он, князь Дмитрий, — указывала Анна Иоанновна, — смертной казни достоин, однакож Мы, Наше Императорское Величество, по Высочайшему Нашему милосердию, казнить его, князь Дмитрия, не указали; а вместо смертной казни послать его в Шлютельбург...»

После чего осужденному сказали:

— Ступай домой и жди смиренно...

Дома у Голицына отобрали все кавалерии орденские и шпагу; бумаги опечатали, караул приставили при капрале и при сержанте; больной старец начал сборы недолгие в тюрьму Шлиссельбурга.

— Там как раз ныне фельдмаршал князь Василий Долгорукий сживает, чаю, Емеля, с ним мне скушно не будет...

Емельян Семенов помогал ему вещи укладывать. Голицын брал в крепость кружку, ложку, солонку, «кастрюлик с крышечкой», сковородку, вертел, два костыля инвалидных, порты байковые, колпак на голову, рубаху из шерсти и куль муки ржаной... Говорил:

— Хорошо, что дети мои взрослые — не малыми покидаю их. А ты, Емеля, за книгами моими присматривай... не дай им пропасть!

Явился в дом Ушаков для конфирмации, увидел книги:

— Макиавеллия гнусного или Юстия Липсия нету ли?

— Многое ты понимаешь в них! Конечно, есть.

— Книги эти опасные, их велено по империи сыскивать.

Снял он с полки один из томов, листанул — стихи.

— Не вредно ли? — обратился к секретарю Семенову.

Это были сатиры Боккалини, и Емельян выкрутился:

— Да нет. Тут песенки разные... о любви галантной.

Из Тайной канцелярии снарядили целый обоз с командой воинской, чтобы забрать книги из подмосковного села Архангельское. Голицына стали увозить в Шлиссельбург; слезно простился старик с братцем Мишею, расцеловался с Емелею, дворня князя пришла в покой к нему, мужики и бабы кланялись в ноги «страдальцу».

— Лошади стынут, пошли, — тянули Голицына на улицу.

Дмитрий Михайлович стражей от себя отстранил:

— Я еще не прощался... с книгами!

И перед шкафами книжными опустился старый книгочей на колени, словно перед иконами святыми. Приник к полу и разрыдался:

— Друзья мои, прощайте. Вы мне счастье дали!

Его подхватили, рыдающего, и поволокли в сани. Императрице было доложено, что Голицын перед дорогою в Шлиссельбург не иконам, а книгам молился. Те книги надо проверить — не сатанинские ли?

.....

Караул при доме Голицына снят не был. Сержант регимента Семеновкого, Алешка Дурново, пошел в место нужное. В дыру зловонную напоследки заглянул и увидел, что средь дерьма бумаги лежат.

Не погнушался гвардеец — достал!

Эти письма, невзирая на запах отчаянный, сама императрица читала. Писал их Сенька Нарышкин, который в эмиграции под именем Тенкин затаился от гнева божьего. Особых секретов Анна Иоанновна не выведала, но зато пронюхала, что цесаревна Елизавета была тайно обручена с этим самым Сенькой.

— Во блуд-то где... Ай-ай, ну и девка!

Звали Третьяковского к царице, явился он — в робости.

— Ты почто якшался с Сенькой Нарышкиным?

— Ваше величество, беден я... на дому его жил, от стола его кормился. А за это обучал его на флейте танцы наигрывать.

— Пошел вон... лоботряс!

На пламени свечи Анна спалила письма парижские.

— Ищите далее, — повелела. — А сержанта Алешку Дурново за проворство похвальное трактую я десятью рублями...

Емельян Семенов (в камзоле голубом, в парике с короткими буклями, перо за ухом, а пальцы в чернилах) по дому хаживал. Губы кусал. Думал, как бы спасти что от сыщиков? Когда инквизиторы давали ему бумаги подписывать, Емеля подмахивал их не гражданской скорописью, а полууставом древним. Это — от ума! Пусть лучше сочтут его за человека, старины держащегося, нежели примут за гражданина времени нового... Когда караул устал, приобвыкся к дому, стал Еме-

льян Семенов жечь письма из портфеля княжеского. Лучина уже разгорелась в печи, пламя охватывало пачки голицынских документов. Но тут вбежал сержант Алешка Дурново и заорал:

— Ага-а... попались!

Руки себе спалил, но письма из пламени выхватил. Семеновым сразу заинтересовался Андрей Иванович Ушаков:

— Человек приметный. Хитрый. А с лица благоприятен...

Библиотека князя Голицына задавала всем работы тогда. Ванька Топильский в книгах не разбирался. Сунулись за помощью в Иностранную коллегию, но Остерман ответ дал, что его чиновники «показанных языков не знают». Выручил всех академик Христиан Гросс:

— Дайте-ка сюда... О-о, да тут пометки на латыни!

Семенову пришлось сознаться: это мои пометки.

Ушаков бомбой, арапа отшвырнув, вломился в комнаты императрицы:

— Матушка, новое злоумышление открыл я.

— Не пугай ты меня, Андрей Иваныч, что там?

— Выяснил я ныне, что вся дворня князя Голицына грамотна, в чем злодейский умысел усмотреть мочно. Пишут же мужики не коряво, а даже лепо. Мало того, иные из крепостных галанский, шпанский, свейский и французский языки ведают. А один из дворни князя, некий Емелька, Семенов сын... ой, страшно сказать, матушка!

— Да не томи, Андрей Иваныч... говори.

— Латынь знает, — сообщил Ушаков, глаза округлив.

— Латынь? — Царицу даже пошатнуло. — Это на што же мужику по-латинянски знать? Добрые люди того сторонятся, а он...

Ушаков арестовал Емельяна, начал с ним по-хорошему:

— Ты вот что, парень, скажи мне по совести, зачем господин твой бывший, князь Дмитрий, дворню языкам обучал?

— Сам князь Голицын, — пояснил Семенов, — языков иноземных ни единого не ведал. Но книги зарубежные читать желал. И вот крепостных обучал чрез учителей, дабы они переводили ему с книг.

— А ты в каком ныне состоянии пребываешь?

— Был в крепостных. Сейчас вольноотпущенный. Сочтя меня за человека образованного, князь Голицын отпустил на волю меня, ибо стыдно стало ему грамотного в рабстве содержать.

— А зачем тебе, Емеля, грамотность понадобилась?

— Не хочу псом помереть, — дерзко отвечал Семенов. — А человеку, ежели он человек, а не скотина худая, многое знать свойственно.

— Подозрительно рассуждаешь, — прищурился Ушаков...

Анна Иоанновна так рассудила:

— Всех из дворни Голицына, которые грамоте обучены, бить кнуром нещадно. А того молодца, что латынь ведаёт, п ы т а т ь!

Семенова ввели в камеру для пыток. Горел там огонь. Палач вращал на пламени щипцы с длинными ручками. Тень дыбы запечатлелась кривою тенью на кирпичной стене, заляпанной пятнами крови.

— Огнем тебя умучать велено, — сообщил Ушаков.

Палачи сорвали с Емели одежду, и он спросил:

— Хотел бы знать — в чем вина моя?

Великий инквизитор империи Российской хихикнул:

— К тому и приставлены мы здесь, чтобы вины сыскивать. — Он велел палачам выйти и сказал Семенову наедине: — Вот, Емеля, пропадешь ты здесь. А ведь я большой человек в государстве... могу своей волей тебя от пытки освободить. И даже... даже в люди тебя выведу! Ко мне, — сообщил доверительно, — в службу тайную всякая гнида лезет, принять просится. Ученые же люди не идут. А мне такие, как ты, разумные да язычные, тоже надобны. Хошь, приму?

Семенов молчал. Ушаков бросил ему одежду:

— Закинься! Не стой голым... Эх, Емеля, Емеля! Ты думаешь, зверь я? Да нет, милый. Это я сейчас Ушаков, которого все дрожат. А ране... как вспомню, плачу. В лаптях, голодный, всеми затертый. Ох, настрадался я. И каторги хлебнул. Да, Емеля, все было. Я ведь людей жалею, как не жалеть их, подлых? Ну? — спросил. — Идешь ко мне? И сразу кафтан получишь при шпаге. Соглашайся, сынок... Сам простой человек, до всего дошел, я простых людей-то люблю!

— Нет, — ответил ему Семенов.

— Не горячись. Раскинь умом. Я спасенье тебе предлагаю. За один годок службы у меня ты на всю жизнь сытым будешь.

— Не надо. Лучше пытайте.

— А ежели я тебя уничтожу? — спросил Ушаков вкрадчиво.

— Все смертны. Кто раньше. Кто позже.

Андрей Иванович указал секретарю на огонь:

— Да ведь смерть-то для тебя непроста будет... Не бахвалься! Сунь-ка для начала руку туда — жарко ли?

Семенов вдруг шагнул и руку на пламя горна водрузил.

— Да погоди, дурень... Я пошутил. Сядь! — Ушаков сказал потом, с укоризною головой покачивая: — Отчего ты мук не боишься?

— Оттого, что у всех людей тело душой управляет. А мой дух столь закален в упражнениях умственных, что он у меня в подчинении стоит. И с телом слабым, что хочет, то и творит!

— Ну, ладно, — призадумался инквизитор. — Посмотрим теперь, как ты сумеешь тело свое душе подчинить...

На пытках Семенов молчал. Ему подсовывали шифры тайные, в доме найденные, — он говорил, что «забыл за давностью». Нитки тянулись далеко — от Парижа до Березова, но секретарь ничего не выдал. Его оставили «для передышку», а затем приговорили ехать к армии, где и служить «до скончания века».

— Вот и ладно, — ободрился он. — В армии сгожусь...

Его привели в канцелярию, а там Ванька Топильский как раз выпускал под расписку на волю доносчика — Перова:

— Напиши здесь так: мол, дерзать более я не стану.

— Да не дерзал я, — отвечал Перов. — Где уж нам!

— Дерзал или не дерзал — это дело десятое. Но существует у нас форма законная, чтобы человек, от нас уходя, поклялся, что он «дерзать более не станет»... Пиши!

С улыбкою наблюдал за ними измученный Семенов.

— Много ты, тля, получил с доноса своего? — шепнул он Перову. — Ты же не только людей погубил... т ы б и б л и о т е к у погубил!

А всю дворню князя Голицына избил кнутами: и велено было людям ученость свою «предать забвению». Что знал — забудь.

.....

Не было тогда на Руси таких прекрасных жемчужин, как библиотека князя Дмитрия Михайловича Голицына. В громадных сундуках привезли ее под конвоем из села Архангельского, кучей свалили в сырых подвалах Канцелярии от конфискации. Напрасно Академия наук зывала к Ушакову и к самой царице — ученым ни единой книжечки так и не дали!

А в подвал тот проникли два могучих в о р а...

Первым залез туда охотник до чтения Артемий Волынский, таскал он из подвала к себе на Мойку книги связками. Жадно хватал редчайшие уникамы (иногда рукописные). Политика и ситуации ее, схожие с нынешними на Руси, — вот что занимало его. Волынский жаждал из книг открыть тайну непостижимую — что будет дальше?

С факелом в руке в подвале появился и Бирен:

— А-а, друг Волынский, ты, кажется, меня опередил...

Разграбили они книгохранилище Голицына, изъяв из него все самое ценное*. Остальное же растащили по своим закутам сошки помельче их, побоязливей. Анна Иоанновна не была умна. Но даже ее скудного ума хватило, чтобы понять одну истину:

— Иногда книгу важнее уничтожить, нежели человека...

Глава четырнадцатая

Всю зиму страдала земля Украинская, земля прирубленная. Сколько ни трудились гарнизоны армейские, Днепр было не обколоть ото льда пешнями. Мороз крепчал, беря реку в полон естественный. А по ночам — через лед! — татары набегали на Украину, чтобы в отмщение за Бахчисарай кого убить, кого пленить петлей аркана...

Да, год предстоял тяжелый. Австрия вмешалась в войну, но от этого никому на Руси легче не будет. Турки уже подготовились: громадная армия янычар кишмя кишела в плавнях Дуная.

Слава и богатство Минихом уже сысканы; украинские поместья, подаренные ему царицей, были колоссальны. Нужен трезвый расчет: «Я свое уже получил, могу и в канцелярии теперь посидеть...»

С этим Миних вручил Анне Иоанновне рапорт об отставке.

— Негоже то, — рассудила императрица, — чтобы главный мой командир во время войны, когда насущные службы от него всеми ждуются, уволен был от полков своих... Абшида, хоть умри, не дам!

Напрасно Миних стал ссылаться на имена великих полководцев, которые среди войны чистую отставку получали; имена Монтекуккули, Шуленбурга и Кенигсека не произвели на царицу впечатления.

— Нет уж, — сказала. — Взялся за гуж, не говори, что не дюж!

Стали совещаться, что в кампанию 1737 года делать. Договорились в Кабинете так: на Крым пойдет Ласси с армией, генеральные же силы с Минихом во главе возьмут Очаков.

— Там и Бессарабия недалече, — приосанился Миних.

А сам думал: «Ежели мне короны украинской не добыть, буду стараться Валашское царство устроить и попрошу валашскую корону для себя». Правда, на эту же корону зарился из Лондона князь Антиох Кантемир, но Миних рассчитывал его оттолкнуть. В эти сладостные грезы о коронах вонзился скрипучий голос Остермана:

* После московского пожара 1812 г. около 200 книг из библиотеки Д.М. Голицына вдруг всплыли в Москве на толкучке; их оптом скупил известный библиофил граф Ф.А. Толстой, от него они перешли к историку М.П. Погодину и переданы были ученым в Публичную библиотеку. За последние годы советскими историками была проведена большая работа по изучению подбора голицынской библиотеки.

— Не забывайте, что отныне мы состоим в комплоте воинском с венцами. А император Карл желает, чтобы мы армию свою послали прямо на Хотин и далее — до Буковины... там нужна армия!

Фельдмаршал встал. Грузный кулак Миниха обрушился на столик перед императрицей. А столик был слабенький — ножки треснули, все бумаги и чернила полетели на пол.

— Не смей слушаться австрияков! — забушевал Миних.

Анна Иоанновна даже уши себе захлопнула:

— Ой, как ты кричишь, фельдмаршал...

— А я говорю, матушка: не слушаться их, подлых! Вена опять солдата нашего себе подчинить желает. Император цесарский единой дворни имеет столько, что, вооружи ее, и можно Азов брать. За цесарцев Россия уже не раз кости свои по Европе раскидывала... Я буду кричать, матушка! Вена для себя Боснии ищет, для того и солдата русского просит, а мы Австрии служить не нанимались...

Остерман притих, боясь Миниха во гневе. Дядька он здоровенный, стгоряча еще тпнет жезлом по черепу — никакой парик не спасет. Анна Иоанновна долго крестилась на парсуну Тимофея Архипыча (юродивого), а рядом висел портрет графа Плело (поэта французского). Отмолясь, она воспрянула.

— Фельдмаршал прав, — заявила, косо глянув на Остермана. — Уж давно мне в уши дудят, что ты, Андрей Иванович, на подношения от венского двора живешь, да не верила я. А ныне сомневаюсь: может, и есть грех за тобой?.. Пушай, — провозгласила она, — австрияки сами тесто себе месят, а у нас русская квашня взопрела...

Перед отбытием к армии Миних хитроумно заручился поддержкой графа Бирена, которому писал наильстивейше: «...а понеже оный мой важный пост требует великой ассистенции милостивых патронов, того ради беру смелость вашего сиятельства, милостивого государя моего, просить меня и врученную мне армию в милостивой протекции содержать, а недостатки мои мудрыми советами вознаграждать».

И покотил он в гиблом настроении. В пути его нагнал блестящий поезд лакированных карет, — это спешил на войну, чтобы запастись мужеством перед женитьбой, принц Антон Ульрих Брауншвейгский. Поехали дальше оба в одной карете, качаясь на диванах пышных, застланных коврами. На дорогах часто встречали нестройные толпы новиков, которых гнали к Киеву сержанты. И темнел взор фельдмаршала при виде молодняка новобранного. По опыту похода прежнего Миних догадывался, что половину этих парней он оставит лежать в степи — замертво, на поживу ястребам...

— В этом году, — поделился он с принцем, — я форсирую Днепр на том самом месте, где шведский король Карл XII переправлял свою армию перед баталией Полтавской.

Принц Антон уточнил, что Карл XII форсировал Днепр не перед битвой, а после Полтавы, и Миних обозлился: «Щенок сопливый, кого он учит? Глупец... мозгляк... поганый венец!» Он прибыл к армии, а в лагере, расположась в шатрах с лакеями и кухнями, фельдмаршала уже поджидала веселая княгиня Анна Даниловна.

— Сударыня, — сказал ей Миних, — где ваш муж?.. Князь Трубецкой, — наказал он ему, — дела наши таково в эту кампанию складываются, что вам следует ожидать приращения семейства. Исходя из этого, вам предназначено снова быть генерал-провиантмейстером, чтобы могли вы детишек своих без нуждения прокормить...

Манштейн честно заявил фельдмаршалу:

— Трубецкой — вор, он загубит поход всей армии.

— Молчи хоть ты, — отвечал Миних. — Я и сам это знаю. Да куда денешь Анну Даниловну?

В сенях дома Соймонова, что на 11-й линии Васильевского острова, прижился медведь ручной. Когда на дворе морозы трещали, адмирал мишку к себе в кабинеты пускал, и там возились со зверем семейно — сам хозяин, жена его и дети адмирала. Медведь добро людское понимал, ревел страшно, но когтей ни разу не выпустил...

Жизнь была хороша, и жилось всем в охотку!

Посреди разврата придворного, царских почестей избегая, Федор Иванович был счастливым мужем и отцом. Дома у него все в порядке, достаток скромный, но все обуто, одето, каждый цену копейке знает, дети не балованы, ничего для себя не просят, а довольствуются тем, что дадут, от праздности все домашние отучены.

— Дети малые, — учил Соймонов, — у них и обязанности должны быть малыми, кои исполнять они по большому счету обязаны. А лень, главная злодейка барства нашего, из дому моего изгнана...

Мело за окнами. Трещали в печах поленья еловые.

Дарья Ивановна однажды сказала мужу:

— Ты уж прости, друг мой, что в душу к тебе влезаю. Но мниться мне стало, что задумчив ты лишне... С чего бы так?

— Верно заметила ты, Дарьюшка, что маюсь я. Получил я загадку одну, которую разгадать не способен. С того и мучаюсь... Все два года последние, куда ни приду, везде слышу похвалы себе. Допытываться со стороны я начал, откуда похвала эта исходит, и нежданно глаза мне сама царица открыла.

— Не к добру, — испугалась Дарья Ивановна.

— Когда я от хана Дондуки-омбу вернулся, отчет при дворе давал, а царица сказала, что аттестовал ей меня обер-егермейстер Волинский, разум мой выставлял перед нею всячески.

— Да вы же враги с ним злейшие! — сказала жена.

— Враги... еще с Каспия, — согласился Соймонов. — Оттого и не понять, какая эму-то выгода меня при дворе расхваливать? Где бы ему топтать меня и злословить, а он... похвалы расточает.

Уютно в доме адмиральском. Лакей вьюшки в печах задвигал на ночь. Детишки уже спали за стенкой. При отблеске свечей ярко вспыхивали рыжие волосы жены. А на столе лежал разворот карты новой, над которой трудился сейчас гидрограф. Не морская карта — показывала она земли кочевий калмыцких (недаром же ездил!).

Жена сказала ему на манер старой боярыни московской:

— Уж ты прости меня, бабу глупую и неразумную, я делаю мужним не советница. А только выслушай.... Подале будь, любезный Федор Иваныч, от обер-егермейстера Волинского. Сам ты не раз говорил мне, сколь человек он худой и зловердый.

— И, однако, Дарьюшка, — отвечал он жене, — коли обер-егермейстер ко мне благоволит, я обязан ему решпект свой выказать...

На будний день решился: велел на Мойку себя везти.

Волинский валялся по кушеткам персидским, ничего не делал и был скучен. Кубанец, лоснясь лицом от жира лакейского, доложил:

— Господине мой, хватайте кий потяжелее. К нам старопамятный враждователь приехал — адмирал Соймонов Федька!

Волинский палку взял и отдубасил ею дворецкого:

— Много ты воли взял о людях судить. Проси адмирала.

Соймонов вошел. Руки не подал. А сказал так:

— Не ожидал ты, Петрович, меня в дому своем видеть. А я вот явился... Враги мы с тобой, и ты знаешь сам, что не люб ты мне повадками своими тиранскими. Отчего же, Петрович, ты решился надо мною патронствовать?

— Эге-ге-ге! — отвечал Волинский, дверь запирая плотно, чтобы никто не слушал. — О каких врагах говоришь ты мне, не разумею. Нет, не враги мы с тобой, Федор Иваныч, это ты лишку хватил. Иные враги у нас водятся, и враги те для нас обоюдные. Мне тебя возвеличивать — в радость! Учен и честен. Близ денег казенных не испакостился ты. Спины не гнешь. И гордый, и простой... Садись давай сюда. Ей-ей, поверь, с тобою я сейчас бесхитростен. Не отвращайся от меня. Я сам к тебе собирался ехать. Ты оказался благороднее меня: взял и приехал. А мне вот... мне гордыня помешала!

До глубокой ночи беседовали. Много в их памяти воскресло, никогда не меркнувшее. И служба на Каспийском море при Петре I, и бои отчаянные, и гульба несуетная в младости лет, когда дым стоял коромыслом... Прошлое, хотя и трудное, казалось сейчас простым и ясным, а вот будущее пугало. Никак его нельзя представить!

— День будущий, — говорил Соймонов, — не любит, когда его поджидают, сложа руки на колених. Его делать самим надобно.

— Я делаю, — намекал Волынский. — Потихоньку. Не спеша. Хочешь правду знать, так знай: я будущее кую иной раз и через подлость. А как иначе? Там, наверху, на честности не проживешь. Пусть судят вкривь меня и вкось: Волынский худ, Волынский горд, Волынский жаден... Ты это все отбрось, Федор Иванович. Пустое все... Ведь я душою исстрадался! Верь мне...

Распрошались они сердечно.

— Еропкин вроде бы и прав, — сказал Соймонов. — Тебя, Артемий Петрович, скоблить надо... Один раз поскоблишь — мурло барское проступит. Второй раз потрешь — министр завиднеется. Ну а в третий раз поскребешь — вот и гражданин показался!

Поутру Волынского дворцовый скороход разбудил:

— Велено вам во дворец ехать поспешные.

Анна Иоанновна встретила его в затрапезе, а это знак был добрый — значит, уже своим человеком считала.

— Петрович, — сказала императрица, волосы черные под платок бабий пряча, — недобрые слухи от Кирилова доходят: прибыльщик мой кровью исхаркался. Вот и позвала тебя для совета: кого бы на место Кирилова, коли помрет он, в Оренбург назначить? Соймонова ты мне дельно в Орду подсказал... Может, адмирала-то и пошлем в степи?

Но теперь, когда Соймонов стал его конфиденентом, Волынскому совсем не хотелось разлучаться с адмиралом. Федор Иванович нужен ему здесь, в столице, чтобы сообща делами ворочать. Посоветовал он Анне Иоанновне адмирала далеко не отсылать. Мало ли что случится! Хвать, а нужный человек уже под боком.

— Ну, коли не Соймонова, — рассудила императрица, — так я Никитича Татищева туда зашлю, благо немцы мои невзлюбили его. Пусть подальше от столицы трепыхается...

.....
Волынский и Соймонов — до чего они разные... Пятнадцать долгих лет эти люди враждовали между собой и только теперь сошлись накрепчайше, чтобы расстаться навсегда — уже на эшафоте!

В истории русской их именам стоять рядом...

В эту весну долго держались морозы в Петербурге.

Глава пятнадцатая

А в Оренбуржье уже растеплело... Кирилов перед смертью жену с сыном из избы выслал, Рычков руку его в свою взял и заплакал.

— Не плачь, друг мой. Весна скоро... хорошо будет...

А умирал он в черной меланхолии. Раньше мыслилась ему земля райская: сады в цвету белом, дети пригожие в чистых рубашках, жеребиный скок по холмам чудился в ржанье вольном, да чтобы бабы вечером шли с поля домой с граблями, сами веселые.

— Не удалась жизнь, — говорил Кирилов.

Все случилось иначе: скорбные виселицы на распутье шляхов, пальба пушечная, лязг драгунских подков и мужики без ноздрей, и бабы пугливые. Кирилов, на лавке лежа, содрогался телом:

— Не хотел ведь того, иного желал... Прости меня, Боженька; может, и не надо бы мне сюда ехать?

В полном отчаянии он отошел в жизнь загробную. И рука его, к далекой Индии протянутая, упала в бессилии. Снег уже таял, когда его хоронили. Петя Рычков тащился под тяжестью гроба, и край гробовой доски больно врезался в плечо оренбургского бухгалтера.

Великого рачителя и наук любителя не стало у нас!

В ту же ночь, когда умер Кирилов, в ту самую ночь (странное совпадение!) открылась в Шлиссельбурге дверь темницы князя Дмитрия Михайловича Голицына... Увидел узник палача с топором большим и сразу все понял:

— Неужто меня, будто скотину, рубить станете?

Ванька Топильский даже взмок от жалости:

— Прости, князь. Но так велено...

— Да уж знаю, кем велено, — ответил Голицын и стал ворот рубахи расстегивать, чтобы шею для топора освободить.

— Может, перед часом смертным сказать чего-либо желаешь? Так ты скажи. Мне приказано тебя выслушать.

— Сказать уже нечего мне, — усмехнулся Голицын. — Повторю лишь то, что говаривал в Кремле московском семь лет назад, когда кондиции наши царицею разодраны были... «Пир был готов! Но званные гости оказались недостойны его. И те, кто заставил меня тогда плакать, будут плакать до л е е моего...»

Солдаты из полу одну половицу вынули.

— Ложись вот так, — велели, — а голову эдак-то свесь...

— Чистоплотна царица наша, — сказал Дмитрий Михайлович, ложась. — Пуще всего боится она, как бы ей полы не испачкали кровью.

— Князь, — спросил Ванька, крестьясь, — спокоен ты будешь или лучше повязать нам тебя по рукам и ногам?

— Я уже м у д р, — был ответ. — Я не дрогну!

В проеме половицы видел он подпол темничный: сыро там, грязно, крысами пахнет... Жестокий удар настиг его сверху.

— Держи его, — суетился Топильский, — выпускай кровь!

Из обезглавленного тела долго вытекала кровь в подпол.

Потом солдаты опять половицу на прежнее место настелили. Всадили для прочности два гвоздя по углам. Топильский прошел вдоль ее — славная работа, даже не скрипнет! Порядок был полный, будто ничего и не случилось. Только голова сенатора в уголку лежала, от тела отделенная, с глазами широко распяленными.

Много знала та голова. О многом она грезила...

— Хосподи! — прослезился Ванька. — Помилуй мя, грешного.

Вошла в камеру старуха — улыбчивая, ласковая, чистенькая немочка, и ее наедине с телом оставили. Взяла г-жа Анна Краммер голову мертвую и примерила ее к телу сенатора. Ловко и быстро (работа издавна привычная!) она пришила голову Голицына к телу его. Затем шею мертвеца туго перекрутила шарфом и вышла из темницы, довольная.

— Где деньги-то мне за труды получить? — спросила Краммер по-русски. — Не обманете меня, сиротинку бедную?

В ограде Благовещенской церкви, что стоит среди крепости Шлиссельбургской, появилась могила с «приличною» надписью:

НА СЕМ МЕСТЕ ПОГРЕБЕНО ТЕЛО КНЯЗЯ ДМИТРЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА ГОЛИЦЫНА, В ЛЕТО ОТ РОЖДЕСТВА
ХРИСТОВА 1737, МЕСЯЦА АПРЕЛЙА 14 ДНЯ, В ЧЕТВЕР-
ТОК СВЕТЛЫЯ НЕДЕЛИ, ПОЖИВЕ ОТ РОЖДЕНИЯ СВОЕ-
ГО 74 ГОДА, ПРЕСТАВИЛСЯ.

Ушаков по-божески с Анною Краммер расплатился и велел на казенный счет отвезти ее в Нарву, где проживала эта «дивная» мастерица. А императрице он доложил, что князя убрали без шума и чисто.

— Вот и ладно, — ответила Анна Иоанновна, довольная. — Все-таки добралась я до шеи его. А то выдумал, черт старый, мечтанья несбыточные, дабы царям самодержавными на Руси не быть... Велите же родне покойника объявить, что князь Димитрий естественной смертью помре от хворей застарелых. Хирагра более мучать его не станет. А ты, Андрей Иваныч, разорь гнездо голицынского дотла, не жалей никого и не бойся гнева божия... С Богом я сама договорюсь!

Ушаков помялся:

— Матушка, да как мне гнездо разорять, ежели сын Голицына на твоей же племяннице Аграфене женат? Нешто тебе свою родную кровь не жалко?

— А ты ей, дуре, повели от меня, чтобы мужа бросила. Другого женишка ей сыщем! Да подумай сам, как бы извести Голицына князя Сергия, что на Казани губернаторствует. Уж больно хитер да молчалив, голыми руками не ухватишь его. Опять же, у меня будучи перед отъездом к шаху Надиру, напиток пьян отказался. Я к таким людям подозрительна. Не жди добра от трезвенников...

Но изводить князя Сергия не пришлось. Когда в Казань дошла весть о гибели отца в застенке Шлиссельбурга, губернатор в рыданиях вскочил на лошадь и поскакал из города в поле отъезжее.

Черные тучи клубились над лесом. Громыкнул гром.

— Всевышний! — закричал Сергей Голицын, к небу обращаясь. — Есть ли место для правды в мире твоём или забыл ты о людях?..

Молния клинком обрушилась на него с небес...

Князя нашли на другой день — он лежал с головою, обугленной от нестерпимого жара.

— Велико предзнаменование сие! — радовалась Анна Иоанновна. — Сам Бог заодно со мною. Я только подумала о человеке дурно, как Бог сразу его и покарал. Выходит, божествен промысел мой!..

Вера в этот «промысел» больше не покидала императрицу.

Еще земля не просохла на могиле Кирилова, как бурей налетел на Оренбургский край Татищев:

— Плохо здесь все! Напортили тут... изгадили!

Родовитый дворянин ничего не прощал простолюдину.

— Человек из подлого состояния вышедши, — утверждал Татищев, — географии познать не способен. Вот и карты все, Кириловым сделанные, худы и неверны. Так и ея величеству отписывать стану...

Карты Оренбургского края были правильны! Татищев и сам знал это. Но спесь старобоярская задушила в нем справедливость. Аки пес, слюною брызжа, накинудся потом Никитич на канцелярию:

— Почто порядку уставного не вижу? Отчего бумага дельно не пишете? А ты чего тут расселся, будто мухомор какой?

Встал перед ним (руки по швам) рослый юноша:

— Рычков я Петр... при бухгалтерии состою.

— Бухгалтер? Ну, значит, ты и есть ворюга первый!

Донос за доносом — на мертвого. Брань и кулаки — живым.

Попался на глаза Татищеву ученый ботаник Гейнцельман:

— А ты почто на носу своем очки водрузил? А ну, сними их сразу же. — Робкий ботаник очки снял и поклонился Татищеву. — Ты меня зришь? — спросил его Татищев. — А коли так, так на што тебе очки эти нашивать?

Выяснилось, что «ботаникус» по-русски едва понимает.

— Ах, так? — озверел Татищев. — Так за што же ты, очкастый, деньги за службу брал? Гнать его в три шеи отсюда...

Только выгнал немца, как напоролся на англичанина:

— Джон Кассель я, живописец и бытописатель здешний...

Изгнал и британца за компанию с немцем.

— Всех прочь! Набрал тут Кирилов дармоедов разных, которые и по-русски-то не разумеют. А в дерзостях еще мне являются...

Скоро из иноземцем остался в Оренбургской экспедиции только британский капитан Эльтон. Но Татищеву просто было до него никак не добраться: Эльтон описывал земли, что лежали возле того озера, которое называется его именем — озеро Эльтон (возле Баскунчака).

Коли уж взялся ломать, так ломай, чтобы все трещало.

Вот Татищев и сокрушал...

А когда все начинания Кирилова были уже во прах повержены, тогда Татищев нацелился на... Оренбург!

Пригляделся он к городу и сказал с подозрением:

— Город-то... ой как худо поставлен!

Тут сразу все закачалось.

— Перенести Оренбург, — распорядился Никитич. — Перетащим его в место лучшее, какое я отыщу...

Очень был деловит Татищев и небывало скор на руку:

— Эвон место ниже по реке, возле горы Красной... Посему и приказываю: кириловский Оренбург задвинуть за штат, а новый город офундовать у Красной горы!

Только в России такое и возможно: поехал Оренбург со всеми причиндалами на место новое, а там еще с весны трава пожухла, дров совсем нету, люди там мерли, как мухи, сами неприкаянные, опаленные солнцем...*

А на том месте, где Кирилов заложил столицу степной России, жизнь угаснуть не смогла. Сначала там прижился тихий городок,

* При следующем губернаторе, И.И. Неплюеве, в 1742 г. город Оренбург был снова перенесен на другое место, где поныне и находится. На месте же «офундования» Татищевым нового Оренбурга влачила жалкое существование казачья станица Красногорская.

где жители топили сало да мяли кожи; мужчины взбивали масло, а женщины долгими зимними вечерами вязали дивные пуховые платки. Кирилов верно соорудил город, на добром месте, и сейчас там живет гигант промышленный — по названию О р с к!

После Кирилова даже могилы не осталось, но он еще ждет памятника себе. Только не в уютном Оренбурге, а в грохочущем металлургией, огнедышащем нефтяным заревом Орске... Т а м! Именно там надо ставить памятник российскому прибыльщику, который умер в нищете, оставив потомству богатства несметные.

В одной коляске отъезжали Гейнцельман с Касселем.

— Ну что ж, — сказал ботаник, опечаленный. — Пока я проживал в Оренбурге, мое имя стало известно в Европе. Теперь мои каталоги флоры местной вся Европа изучает в университетах.

Живописец английский отвечал ботанику немецкому:

— А я успел описание казахов и башкир сделать с рисунками... Поеду издавать атласы в Лондон и тем на родине прославлюсь...

Приехав в Самару, они зашли на почтовый двор. Стали пить вино, поглядывая на кучу навоза, сваленного посреди городской площади. Солнышко уже припекало, и навоз курился волшебным паром. Гейнцельман, задумчивый, сказал:

— С нами получилось так оттого, что русские ненавидят иноземцев, причинивших им немало бедствий.

— Неправда! — возразил Кассель. — Русские ненавидят иноземцев, при дворе царицы состоящих. Но мы же не придворные прихлебатели, наши труды царице и не нужны — они нужны России... Нельзя так с нами поступать, как поступил Татищев!

Красавец петух заскочил на верх навозной кучи и радостным клетотом созвал куриц самарских.

— Нальем пополюе, — предложил «ботаникус». — И выпьем сейчас за благородного герра Кирилова.

— Да, — прослезился Джон Кассель, — что касается сэра Кирилова, то мнения наши сходятся: это был настоящий джентльмен!

Ученые допили вино до конца и (пьяные, шумные, огорченные) разъехались, чтоб навсегда затеряться в безбрежии мира человеческого. Нехорошо поступили с ними. Даже очень нехорошо!

Если ты ненавидишь графа Бирена и всю придворную сволочь, возле престола отирающуюся, то зачем свой гнев бессильный обращать на ботаника, на живописца, на математика?

Ведь не все наехавшие на Русь были плохими!

Эпилог

Юрий Федорович Лесли зимовал возле Калиберды на кордонной линии. В хатке-мазанке украинской генерал по-стариковски на печи кости свои грел.

И тянулись в ночи его древние, как вечность, песни:

Густо сидят Лесли на берегу Годэ,
на берегу Годэ,
у самой горы Беннакэ...

Заревом осветило окошки хаты — это вновь запылали смоляные бочки на вышках сигнальных. Жгли их запорожцы, зимовавшие на этих вышках с осени — при саблях, при горилке, при тютюне. Тревожно ржали в палисадах казацкие кони... Тревога! Тревога!

Лесли стянул на груди застежки старинного панциря, в котором дед его приехал на Русь при царе Алексее Михайловиче. Поверх панциря накинул шотландский рыцарь тулупчик козлийный. И разбудил сына-адъютанта, храпевшего молодым сном на лавке:

— Юрка, проснись: татары скачут... И помни завет рода нашего: «Держись в седле крепче!» Дай саблю, сын...

Отряд в 200 клинков, звеня амуницией, пошел на татар. Впереди, с худым лицом подвижника, прикрыв седины париком пышным, скакал на лошади генерал.

В безысходную неясность опрокинулась отчая Шотландия с ее легендами. В степи украинской не было горы Беннакэ, и теперь уже не Годэ, а звонкоструйная Калиберда протекала под заснеженным ивняком...

— Да вот же они! — вскинулась сабля Лесли.

И увидели воины русские, как по горизонту, пленяя его от края до края, неслышной теменью («аки песок») проносится вражья конница. Казаки шпорили своих лошадей усталых:

— Геть, геть!

Снег был глубок, сыпуч. Через целину шли кони тяжело (все в паре). Взрывали грудью они сугробы снежные. Мело.. мело... мело поземкой искристой. И разгорались в небе звезды вечерние.

— Отец, татары уходят, — сказал сын отцу-генералу.

— Вижу сам. Гнать, гнать их... дальше, дальше!

Ночь опустилась на Украину, а они все гнали татар.

Звезды померкли в небе, а они все гнали и гнали их.

Выгнали за Днепр татар, и за Днепром гнали дальше...

Когда же татары поняли, что только 200 клинков достигают их, тогда они остановились, «аки песок» сыпучий.

При свете морозного дня тускло замерцали тысячи сабель.

— Молитесь, дети мои! — воскликнул Лесли.

Степь наполнилась звоном стали. Храпели кони, кричали люди.

Лесли — в кольце врагов — сражался львом, старик был опытен в рубках сабельных. Пластал старый воин татар от уха до плеча.

Но перед смертью он увидел то, чего бы лучше никогда не видеть. На шею сына аркан накинули татары, как на собаку, и потянули Юрку прочь из седла.

— Отец, — донесся голос, — держись в седле крепче!..

Клинки татарские сошлись над храбрым рыцарем, и заблистали враз, рубя седого ветерана на куски.

Весь отряд Лесли был выбит. Почуввав прореху в обороне русской, всей мощью конницы своей татары — от Калиберды — ринулись опять на Украину, пленя, грабя, насилуя и убивая без жалости.

Февраль затуманил столицу, он пригревал заснеженные крыши Петербурга — чуялась весна ранняя... Миних в пасмурном настроении велел везти себя во дворец. Приехал и долго стоял в передней, обдумывая — что он скажет императрице. Решился!

— Матушка пресветлая, — заговорил напористо, входя в покои царицы, — генерала Лесли на кордонах побили. Кто ж знал, что татарва на самую масленицу набег свершит. Напали и на кордон полковника Свечина, но тот пять часов отбивался до самой ночи, и отбил сам и отбил у татар малороссиян плененных...

— На что ты принес мне это? — отвечала Анна Иоанновна. — Я с утра радовалась, а ты в меланхолию меня вгоняешь.

Миних скрипнул ботфортами.

— Война наша тяжкая, — вздохнул с надрывом. — Ну-ка посуди сама, государыня, каково беречь кордонную линию, ежели она протянулась на тысячи верст, а людей не хватает.

— Их и всегда на Руси не хватало! Это напрасный слух идет по Европам, будто в России людей — как муравьев в муравейнике. Бог нас просторами не обидел, сие верно. А излишка людского на Руси еще никогда не бывало. Гляди сам: мрут всюду, а кто не мрет, те разбегаются... Где взять, коли брать негде?

Миних понял, что Анна Иоанновна запускает камушки в его огород. Прямо она не винила фельдмаршала в неисчислимых жертвах, но дала понять, чтоб впредь людишек поберег.

— Ничего, — заговорил он, утешая царицу, — скоро дожди потекут на Украине, снега расквасят, травка зазеленеет, опять пойдем... Я тебе, матушка, из Крыма бочку каперсов привезу. Ежели в суп какой каперсы класть, от них суп бывает вкуснее.

— Мне лавровый лист нужен, — отвечала царица.

Миних воодушевился:

— Растут и лавры в Крыму поганском... Скажи, для чего тебе лавры надобны?

— Да кто ж без них обойдется? Они и в супах хороши, ими и героев венчать можно...

Так закончилась эта зима.

Нет, ничего не дал России поход на Крым.

Русская армия, взбодрись!

В новом году тебе все начинать сначала.

Летопись третья ДЕЛА ЛЮДСКИЕ

И мы ходили-то, солдаты,
по колен в крови.
И мы плавали, солдаты,
на плотках-телах.
Тут одна рука не може —
а другая пали,
Тут одна нога упала — а другая стои.
А где пульей не ймем —
так мы грудью берем.
А где грудь не бере —
душу богу отдаем.

Из старинной солдатской песни

Глава первая

Перо в руке Анны Иоанновны вкривь и вкось дергалось по бумаге. Писала на Москву дяденьке своему, вечно пьяному Салтыкову: «Нетерпеливо ведать желаем, яко о наиглавнейшем деле, об лежащих в Кремле святых мощах угодников... особливо большая царская карета цела ль иль сгорела?» Ничего ей не отвечал дяденька, Москвы всей губернатор. Притаился там и сидел тихонько. Боялся, видать, правду сущую доложить племяннице.

1737 год навсегда останется памятен для России — в этом году Москва от свечки сгорела. И верно, что от свечки, которой красная цена — копейка! Баба-повариха в доме Милославских (что стоял у моста Каменного) зажгла свечку пред иконой и ушла, забыв про нее. Свеча догорела, подпалив икону, и пошла полыхать! От этого-то огарка малого огонь дотла сожрал Первопрестольную. Жилья москвичам не стало. Дедовские сады, такие душистые и дивные, обуглились. Бедствие было велико.

Не забыл народ русский той свечки грошовой, и даже в пословицу она вошла. Выжгло тогда Китай-город и Белый город; архивы древние не уцелели. Кошек и собак на Москве не осталось — все в пламени погибли. Кремль изнутри выгорел. Жар от огня столь велик был, что он даже в яму литейную проник, где покоился, готовый к подъему, Царь-колокол. Когда солдаты набежали, водой из ведер его остужая, от колокола тогда и откололся краешек маленький (в 700 пудов весом).

Не успела Русь опомниться от беды, как исчезли в пламени города Выборг и Ярославль. Полыхала и столица, которая едва от наводнения оправилась. Петербург горел от самых истоков Мойки до Зеленого моста, от Вознесенья до канала Крюкова, и все это жилое пространство обратилось в горькое пепелище. Прах вельможных дворцов на Миллионной улице перемешался с прахом убогих мазанок слободок рабочих. Тысячи зданий и тысячи людей пропали в огне. Знающие люди сказывали, что пожары те неспроста.

Тайная розыскных дел канцелярия подвергла подозреваемых в поджоге таким лютым истязаниям, что все они, как один, облыжно вину за пожар на себя взяли. По приказу императрицы Ушаков окунул несчастных в бочки со смолою, чтобы горели они спорчее, и сжег людей на том самом месте, откуда пожар начинался, — на улице Морской (что ныне зовется улицей Герцена).

В этом году, будь он неладен, людей на костры ставили и по делам духовным, отчего смерть не слаще. Татищев на Урале сжег башкира Тойгильду Жулякова, который сначала православие принял, а потом в мечеть молиться пошел («учинил великое противление»). Сожгли за отступничество от Бога и капитан-лейтенанта флота Андрея Возницына...

Антиох Кантемир из Лондона дым костров тех учуял.
Даже в стихах этот дым воспел:

Вот-де за то одного и сожгли недавно,
Что, зачитавшись, стал Христа хулити явно...

До чего же никудашно на Руси стало!

Ненадолго оставим Россию, читатель, и навестим Францию: там у нас завелся один хороший знакомый — Б и р о н.

Славен во Франции со времен незапамятных род могущественных герцогов Биронов. Их подвигами украшены великие битвы под знаменами с бурбонскими лилиями. Были они политиками, маршалами, пэрами, адмиралами. Резали они в подворотнях католиков заодно с гугенотами. И резали они гугенотов в постелях заодно с католиками. Даже король Генрих IV, уж на что был мужчина серьезный, но и тот побаивался этой отчаянной семейки.

Сейчас во Франции в чести живет и в пышности благоденствует герцог Бирон де Гонто. Уж много лет ничто не смущало души маршала. Угасли миражи пылкой младости, остыл любовный жар в его сердце, звоны шпор уже не звали старца на битву. Бирон так бы и умер, ничем не потрясенный, если бы...

Если бы не получил письма из Петербурга.

— Какой-нибудь пройдоха имеет дело до меня!

Писал ему сам фаворит императрицы русской. Писал о том, что в годы забытые один из семейства Биронов покинул Францию, после чего осел в краях курляндских. Потомком же его являюсь я, сообщал граф Бирен герцогу Бирону и просил герцогов во Франции признать графа в России за своего сородича.

— Забавный случай! Вот повод посмеяться нам...

Это нахальное письмо герцог Бирон де Гонто с собою взял в Версаль и с чувством читал его там вслух — при короле, при дамах. Все веселились оттого, что митавский проходимец вдруг стал претендовать на родство с французскими Биронами:

— Шулер и лошадиник пожелал быть дюком!

Однако Версаль был отлично извещен, какую роль играет Бирен при царице русской, и в Петербург ответил герцог с учтивостью. Мол, его род настолько знатен, столетиями он находился на виду всей Европы, генеалогия его известна, отчего н и к т о из рода Биронов не мог пропасть в краях остзейских неприметно. «Вот если б вы, — с юмором писал маршал Бирон графу Бирену, — вдруг оказались герцогом владетельным... тогда другое дело!»

Граф Бирен, ответ дюка прочтя, был возмущен:

— Он рано стал смеяться надо мною. Такие шутки могут перелиться в истину. В этом году звезд сочтанье возникло для меня в порядке идеальном. А год тысяча семьсот тридцать седьмой станет

для меня благодетельным, ибо эта цифра не делится на два, на четыре, на восемь...

Больше всего в жизни Бирен боялся «двойки»!

В этом году герцог Саксен-Мейнингенский просил руки его дочери — Гедвиги Бирен, которая имела несчастье с детства быть горбатой. Но граф Бирен послал герцога ко всем чертям:

— Я знаю этих вертопрахов-мейнингенцев! Им не рука нужна моей горбуньи, а только кошелек ее, чтобы дела свои поправить.

Вчерашний конох, мать которого собирала по лесам в подол еловые шишки, уже гнушался иметь своим зятем герцога.

1737 год, тяжелый для России, был удачным для него.

Глава вторая

Долгий срок, с 1562 по 1737 год, Курляндией правила династия Кетлеров. Анна Иоанновна была замужем за предпоследним, которого русские на свадьбе опоили водкой насмерть. Сейчас в старинном Данциге, в доме под желто-черным штандартом, умирал последний Кетлер — герцог Фердинанд, и Европа ждала смерти его, как собака ждет сочной кости... Кому достанется его корона?

Курляндское герцогство издавна было вассалом Польши, но сама Польша сейчас в подчиненье у саксонцев. Август III обязан России короной польской, которую добыл для него фельдмаршал Миних пять лет назад под стенами Данцига. Третья корона, курляндская, для Августа — лишняя тяжесть. Кому вручить ее?

Вопрос не прост. Он слишком сложен...

Август III не прочь подарить корону Кетлеров своему брату сводному, принцу Морицу Саксонскому. Этот залихватский мужчина уже успел побывать в объятиях Анны Иоанновны, она совсем раскисла от его лихой «партизанской» любви. Тогда князю Меншикову пришлось пушками вышибать Морица из Митавского замка...* За Морица Саксонского стоит и Версаль, ибо принц был французским маршалом.

Но... Вена-то не согласна! Ей, загребущей и завидушей, желательно обрести для себя и курляндскую корону. Император Карл VI любил устраивать племянников. Антона Брауншвейг-Люнебургского он уже примазал в женихи Анне Леопольдовне. Но в арсеналах Вены имеется еще в запасе принц Брауншвейг-Бевеернский, и этот выбор Карла VI

* На территории Латвии находится один из старейших заповедников — остров Морица на озере Усмас, где сохраняется «дуб принца Морица»; под этим дубом в 1727 г. М. Саксонский скрывался от войск Меншикова после неудачного сватовства к герцогине Анне Иоанновне.

одобряли в Англии, где царствовала ветвь Ганноверская, родственная дому Брауншвейгскому.

Но... ах, читатель, мы забыли про Берлин! Берлин же очень не любил, когда при разных дележах поживы его забывали.

— Я ведь тоже не дурак, — утверждал там кайзер-зольдат, — и я отлично знаю, на каком языке говорит курляндское дворянство. Это язык немецкий — мой язык... Митаве необходим владетель из Гогенцоллернского дома! Пожалуйста, взгляните на маркграфа Бранденбургского: достоин, прям, некриводушен. Он неумен — зато он и неглуп. Сын, покажись и мне уж заодно. Я так давно тебя не видел... Дела, дела!

Удивительно!

Неужто же корона Кетлеров такая драгоценность, что даже Вена и Версаль не брезгают иметь ее в своих руках? Что там хорошего, в Курляндии запустелой? Леса шумят, и волки бегают, в песках клокочет пасмурное море... Уныло и дико в герцогстве, как на заброшенном кладбище. Постыдно нищая, бесправная страна, где у крестьян нет даже горшка, чтобы сварить похлебку, — страна эта была недавно сказочно богата, как Эльдorado.

Ведь был (еще вчера!) блестящий век, когда в Митаве правил герцог Якоб, подвижный финансист и забияка. От этих берегов унылых шли корабли, и желто-черные штандарты взвивались в устье африканской Гамбии, их видели в Карибском море. Древние лабазы либавских гильдий еще хранят, дразня воображение, дивные запахи имбиря, кокосового масла и корицы. Из колоний заморских Курляндия начерпала золотом, нахватала кости слоновой и тростника сахарного.

Но как мало надо стране, чтобы разорить ее! Всего лишь одна война Петра I со шведами, лишь одно чумовое поветрие — и вот Курляндия разорена.

Курляндские конъюнктуры сложны.

Кому же, черт побери, сидеть с короною на Митаве?

Говорят, что среди множества кандидатов затесался и какой-то неведомый граф Бирен... Европа его плохо знает:

— Бирен? А кто это такой?

— По слухам, обер-камергер императрицы русской.

— Ха-ха! Но он-то здесь при чем? Прислуживать царице за столом — этого мало, чтобы претендовать на корону.

— Да он, мадам, не только камергер. Он еще и...

— А-а, тогда понятно!

Фердинанд Кетлер доживал свои дни под желто-черным штандартом, а Европа уже играла короной его, словно мячиком. Бирен верил в черную магию чисел, число 1737 было неделимо на два.

.....

Мутный свет множества свечей озарил поутру дворец Зимний, сложенный воедино из трех домов частных. Петербуржцы уже знали: императрица пробудилась (в экую рань!). Анна Иоанновна, кофе отпив на манер немецкий, проследовала в туалетную комнату. В баню русскую государыня хаживала очень-очень редко; дамы митавские научили ее водою пренебрегать; императрица лишь протирала по утрам свое лицо и тело «распушенным маслом». Сильный блеск кожи покрывался густым слоем разноцветной пудры.

Недавно гамбургский мастер Биллер сделал для нее набор из сорока предметов. Тут и флаконы дивные, сосуды в золоте для мазей и помад — все пышно, блещуще, помпезно. А зеркала высокие волшебным образом это чудо отражают... Век бы так сидела, мазалась и помадилась! С огорчением императрица стала замечать, как по вискам ее от самых глаз разбежались первые морщины. В углах губ четко оформились борозды угрюмых складок. Как страшна старость! Ей жить и любить еще хотелось и насыщать богатством сундуки свои, которые горой лежат в подвалах дворцовых... После туалета императрица проследовала в бильярдную, где ловко разыграла партию с дежурным арапом.

Появился Бирен — ласковый, как кот перед хозяйкой.

— Анхен, — шепнул ей на ушко, — вот уж никогда не догадаешься, кто прибыл в гости к нам.

Императрица с треском засадила шар в узкую лузу:

— Знаю! Ты звездочета Бухера давно ждешь из Митавы.

— Нет, Анна, бедный Бухер спился... Увы, злой рок для мудреца! А помнишь ли Митаву нашу?

— Ой, натерпелась там! — вздохнула Анна.

— А помнишь ли друзей митавских?

— Да где они? У нас с тобой их мало было...

— Ты вспомни, Анна, — с улыбкой намекал ей Бирен, — зима мягчайшая в Митаве, наш сад в снегу, и шпицы замка в инее. Собаки лают, из кухонь дым валит, в конюшнях пахнет сладко... Неужели тебе не догадаться, кто прибыл в нам?

— Нет, милый, не могу. Скажи.

— А помнишь ли ту ночь в Митаве, когда послы московские нам привезли кондиции, пропитанные вольнодумством?

— О, не забыла, помню... Зла того не истребить!

— А кто собак из замка на прогулку выводил?

— Брискорн был паж... такой мальчишка шустрый.

Бирен вышел и вновь вернулся в бильярдную, введя за руку прекрасного юношу. Анна Иоанновна даже обомлела. Мальчишкой был, а стал... «Как он красив!» Брискорн, смущаясь, кланялся. Кафтан на нем нежно-лазоревый, весь в черных кружевах. И туфли в пряжках с изумрудами. Парик расчесан по последней моде, изящно завит и украшен бантом на затылке. А в ушах Брискорна — бриллиантовые серьги...

— Мой паж! — и бросилась к нему, как муха на патоку.

Брискорн задыхался — от пота бабы, от тяжести груди императрицы, от духов и острого мускуса. Бирен нахмурился: как бы не пришлось ему опять немного потесниться (такие случаи уже не раз бывали). Анна Иоанновна влюбленно смотрела на Брискорна, он был ей мил еще и потому, что напоминал о невозвратном прошлом, когда она была моложе.

— Рассказывай... откуда ты сейчас?

Брискорн ей отвечал учтиво и достойно:

— Я еду из земель германских, учился в Йене у знатных профессоров, год прожил в Геттингене, где король британский недавно для Ганновера университет образовал. Науки философские постиг, насколько мог, и затосковал я по отчизне бедной. Но на Митаве скучно показалось мне, и вот... вас навестил.

Вдруг резко прозвучал вопрос от Бирена:

— А ты проездом до Митавы не заезжал ли в Данциг?

— Был в Данциге. Отночевал три ночи там.

Анна Иоанновна понимающе глянула на Бирена.

— Скажи нам честно, ты герцога Курляндского Фердинанда не видел ли случайно?

— Как дворянин курляндский, — ответил бывший паж, — я долгом счел представиться ему проездом.

— А... как он? Плох? — с надеждой спросил Бирен.

— Он дышит, как мехи органа в церкви старой...

Бирен, повеселев, сказал:

— Пойдем, мой милый геттингенец. Сейчас мы сядем в сани, я покажу тебе столицу варварской страны, где ты увидишь многое такое, что в Йене иль Ганновере не встречал...

В дверях граф повернулся, заметив властно:

— Брискорна во дворце я не оставляю... я так хочу!

Поначалу обер-камергер юношу даже очаровал. Бирен ведь умел разным бывать. Хотел обворожить — и пел сиреной, голос его становился звучным, будто арфа, когда он колдовал мужчин и женщин.

И сотрясались стены дворцов и манежей от раскатов этого голоса, если граф входил в гнев. Дипломаты так и говорили:

— В этом бесподобном человеке сразу три персоны обитают: Бирен вкрадчивый, Бирен-властитель и Бирен в злости. Первый очарователен, второй невыносим, а третий просто ужасен...

В ярости граф разрывал на себе кружева, над которыми годами слепли крепостные мастерицы. Его жена, горбунья Бенигна, боялась мужа пуще огня. Шпынял ее, убогую, даже на людях, не стесняясь. Зато детей своих Бирен трепетно и нежно обожал. А дети, выросшие средь низкопоклонства, были исчадьем ада...

Отец их даже в знатности своей способен был слушать, повиноваться обстоятельствам. Они же — никогда! В злодействе рождены, зачаты средь злодейств, сыновья графа Бирена, казалось, с детства и готовили себя в злодеи. И старший Петр, и младший Карл — распущенны, надменны, склонны к пьянству. Они уже тогда по гвардии считались подполковниками и кавалерию Андрея Первозванного носили на своих кафтанах, которой боевые генералы не имели. Их шутки были таковы: или парик поджечь на голове вельможи, или чернила выплеснуть на платье фрейлины. К сыновьям граф Бирен приставил легион гувернеров. Но ученики волтузили своих педагогов палками, когда хотели. Иные пытались жаловаться графу, но Бирен таких отправлял в смирительный дом, приказывая впредь считать их сумасшедшими. По утрам петербуржцы видели их иногда на улицах — под стражей, с вениками в руках, педагоги подметали мостовые Невского проспекта...

Бирен был ласков к гостю своему — Брискорну, и геттингенец поражался прекрасной памяти хозяина. Бирен читал и знал немного. Но у него была прекрасная библиотека, и все прочитанное хоть однажды Бирен помнил точно. И знаниями своими умел вовремя пользоваться. При случае он уверенно выкладывал их в обществе.

Пребывание в доме обер-камергера Брискорн использовал удачно. Он сделал выводы, и эти выводы ужасны были.

Его тянуло к людям ученым, хотелось покопаться в книгах Корфа, заманчиво виднелась за Невую Академия де-сиянс, но граф таскал его в манеж, на куртаги, в зверинцы и на стрельбища.

Иногда из души Бирена с болью прорывалось — затаенное:

— Не боюсь я Вены, презираю Версаль, плевал я на Берлин. Для меня существует лишь один соперник — принц Мориц Саксонский... Это страшный человек для меня!

Мориц Саксонский — блестящий стратег, храбрый полководец, авантюрист отчаянный и любовник всех женщин, которые только имели счастье попасться ему на дороге.

Сегодня он проснулся в постели чьей-то жены.

— Надо ехать! — вскочил принц, быстро одеваясь.

— Куда вы, друг мой?

— Сначала в Дрезден.

— Зачем? Или Парижа мало для безумств ваших?

— Короны — не пуговицы, на земле не валяются.

— Ах, боже! Хоть поцелуйте меня на прощание...

— Некогда!

Загнав сорок восемь лошадей, принц был уже в Дрездене, где его совсем не ждал брат — король и курфюрст. А саксонский канцлер Брюль пугался каждый раз при виде Морица.

— Ваше величество, — шепнул канцлер Августу III, — приглядывайте за своим братцем: как бы он не перепутал гардеробы и не надел на себя вашей короны вместо той, которую всю жизнь ищет!

Мориц Саксонский, волнуясь, свернул в трубку две золотые тарелки. В штопор закрутил бронзовый канделябр. Взял кочергу от камина и кушаком обвязал ее вокруг камер-лакея. Поглошая сорок шестой бокал вина, он сказал брату:

— У меня осталось теперь только три выхода. Первый — покончить жизнь самоубийством. Второй — добыть корону Курляндии. А третий — изобрести корабль, который бы плавал в Америку без помощи весел и парусов...

Мориц взял колоду карт, и она треснула в его пальцах, разорванная пополам, чего не мог сделать никто из силачей. Опоясанный кочергой камер-лакей валялся в его ногах, умоляя принца распоясать его, но Мориц размышлял, не замечая лакея.

Август III отвечал брату:

— Избавь наш Дрезден от твоих похорон и не мучай себя механикой. Относительно же короны... ты не воображай, что будешь угоден на Митаве, ибо давление русской политики мы ощущаем здесь постоянно. Однако могу тебя утешить: ты ничем не хуже Бирена, а я ратифицирую диплом на того герцога, которого изберут в курляндском ландтаге открытым голосованием...

— Значит, все-таки избрание? Отлично. Я сажусь за сочинение писем на Митаву, где меня еще не забыли и забудут не скоро... Ого, сколько бочек с вином было там выпито!

— Пиши. Но сначала распоясай моего лакея...

За столом Морица застало известие из Данцига о смерти герцога Фердинанда Кетлера. В Дрездене давно поджидали русского посла, барона Кейзерлинга, но — по слухам — он остановился в Митаве, чтобы способствовать избранию графа Бирена.

— Борьба обостряется! — воскликнул Мориц.

И перо еще быстрее забегало по бумаге. Это перо Морица, как и вся жизнь его, было бравурно, пламенно, талантливо. Принц был в душе демократ. Вот какие перлы выскакивали из-под пера его: «Небольшая кучка богатеев, жадных до наслаждений тунеядцев, благоденствует за счет массы бедняков, которые способны существовать лишь постольку, поскольку обеспечивают бездельникам-богачам все новые наслаждения. Совокупность угнетателей и угнетенных образует именно то, что принято называть о б щ е с т в о м».

Мориц Саксонский был чрезвычайно опасен для Бирена, ибо он мыслил, он кипел, он бунтовал! Недаром же этого человека безумно любила славная женщина Андриенна Лекуврер...

А кто любил Бирена?

«Дин-дон, дин-дон... царь Иван Василич!»

Бирен с воплями вломился в комнаты императрицы.

— Анхен! Мы пропали, — зарыдал он. — Это ужасно... Ты прочти, что пишет твой бывший поклонник... Мне с ним не совладать!

Бирен протянул к ней «афишки», разосланные по городам и весям Курляндии агентами принца Морица Саксонского.

«...вы уже предвидели настоящее бедственное положение и, надеюсь, произвели на этот случай выбор в мою пользу... Вы поверите в готовность мою умереть, сражаясь за вас, если надо будет сражаться!»

Бирен уже не вставал с колен, плачущий:

— Я ухожу! Мне с этим головорезом не справиться. Ты же сама знаешь, Анхен, какой это человек... Ты сама рассказывала, что в молодости он тебя изнасиловал, несчастную, после чего ты и полюбила его... Откуда я знаю? — закричал Бирен, вскакивая. — Может быть, ты его и сейчас еще любишь?.. Анхен, Анхен, — горевал Бирен, — я пропал... О боже! Неужели каббалистика мрачных чисел меня обманула?

— Не дури, — вдруг жестко произнесла императрица. — Наш Кейзерлинг уже в Митаве. Я послала гонца вдогонку ему, чтобы барон

там и сидел, а в Дрезден пока не ехал. Сейчас все зависисит от того, кого изберет курляндский ландтаг. Вот ты на избрание божие, друг милый, и уповай...

Она стала писать указ, в коем предписывала властям словить принца Морица, яко разбойника, ежели он близ рубежей обнаружится. «Сей указ, — заключала Анна Иоанновна, — содержать секретно и никому, кто бы ни был, о том не объявлять, и для того перевод его на немецкий язык тут приложен, дабы лучше вразуметь смогли...»

Громогласный бас императрицы оглушил скороходов:

— Гей, гей, гей! Готовить курьера до Риги поспешного...

Спокойствием своим она внушала Бирену надежду; вернувшись к себе на Мойку, граф наказал Брискорну:

— И ты, мой паж, тоже скачи в Ригу — прямо к генералу Бисмарку. Не вздумай лошадей жалеть! Лети, как ветер... А шурин мой, brave Бисмарк, уже знает, что ему делать дальше. Ты понял? Так скачи... Поверь, о з о л о ч у!

Лучшие лошади в Европе, лошади из конюшен Бирена, всхрапнули возле подъезда. Брискорн запрыгнул в глубь возка и — поскакал. Но поскакал совсем не в Ригу; он прибыл на мызу Вюрцау, что стоит на Аа-реке, где проживал могущественный ланд-гофмейстер Курляндии, барон Эрнст Отто Христофор фон дер Ховен — злейший враг всех Биренов!

— Лучше быть рабами России, — сказал Брискорну фон дер Ховен. — Переживать непогоду следует не под маленьким, а под большим деревом...

Ланд-гофмейстер натянул перчатку, пошитую из шкуры змеиной. Желто-черные штандарты реяли над унылыми лесами. Малиновый плащ с подбоем из горносталя стелился за Ховеном по лазурным паркетам замка Вюрцау. Старый барон напоминал пса, у которого вздыбилась шерсть на загривке...

Без выборов не обойтись, как и без пушек — тоже!

Глава третья

Бранные мышцы солдат уже напряглись для битв. Пора бы и двигаться армии на Черноморье, но Миних от похода скорого что-то отлынивал, осторожничая.

— Травы-то еще нет, — говорил он. — Травы дождемся...

На этот раз решено было по рекам к морю спускаться, а князю Трубецкому велено от Миниха — кораблями же — хлеб и осадную артиллерию под Очаков доставить. Вообще фельдмаршал не признавал за флотом боевого значения и корабли с телегами часто путал.

— Разница между телегой и кораблем невелика, — утверждал фельдмаршал. — Телега по земле едет, а корабль по воде плывет. Но все одинаково грузы должны перевозить...

В русскую ставку прибыло немало офицеров из стран европейских. Иные втуне надеялись пронаблюдать, как об стены Очакова будет Россия лоб себе разбивать. Особенно много соглядатаев прислала Вена, и цесарцы на руках носили принца Антона Брауншвейгского; племянник императора Карла VI, он был для них — как бог, что Миниху явно не нравилось:

— Здесь бог един — великий Миних!..

Из русских генералов состояли при армии — Аракчеев, Тараканов, Леонтьев, князь Репнин, Бахметьев, прибыл из Оренбуржья и Румянцев. Миних его невзлюбил; Румянцев же меж тем водил солдат в лесок, где они веники тысячами вязали.

— Если собрались париться, — язвил Миних, — то баню я вам обещаю... Только кровавую баню!

— Нет, фельдмаршал. Коли татары степь подожгут, нам пожара не загасить. А вениками завсегда огонь степной и тушат...

Из числа своих приближенных Миних более всего побаивался талантливого шотландца Джеймса Кейта, соперника в нем подозревая. Кейт справедливо требовал от фельдмаршала точности:

— А разве князю Трубецкому можно провиант доверить?

— Не съест же он его, — увиливал Миних.

— А пушки сумеет он доставить к Очакову?

— Уверен. Князь обещал мне спустить прямо к Очакову плашкоуты с хлебом и пушками.

— А где план Очакова, который мы должны брать?

— Нет плана! — огрызнулся Миних. — И так возьмем. Знаю лишь одно, что конфигурация цитадели Очаковской шестиугольная.

— Как же, — настаивал Кейт, — без плана на штурм идти?

— Бог! — отвечал Миних. — С нами Бог.. Ясно?

С верфей брянских спустили по Десне к Киеву множество кораблей. Плоские, как блины, они были способны перевалить пороги днепровские, годны и на мелководьях лиманов черноморских. Пехоту сажали на корабли, вручали солдатам весла многопудовые. Офицеры флота тут же наспех учили солдат, как ловчее воду веслом загребать, как по вечерам мозоли на ягодицах залечивать. И наполнился Днепр чудесным видением флота, который в свои паруса ловил ветер попутный. А на передней галере, подставив солнышку громадное пузо, величаво плыл к славе сам Миних.

— Вот и травка показалась, — говорил млея, а рядом с ним возлежала на коврах смешливая Анна Даниловна, которой родить впору...

Тянулись Днепром вдоль рубежей с Речью Посполитой, за Кременчугом открылись перед армией безлюдные места Сечи Запорожской — скоро уже и Переволочная, где после Полтавы безутешно рыдал королевус шведский. Миних выбил трубку о борт корабля, тишком признался пастору Мартенсу:

— Ума не приложу, как до Очакова добираться станем...

Сгрузились на берег. Бойко заторговали греки-маркитанты, чуя поживу. От скрипа многих тысяч телег болели уши. Гнали скотину гуртами — на прозор великой армии. Возле кобыл-маток, тыкаясь носами под животы их, бежали бархатные жеребятки. Лохматые и грязные верблюды, гримасничая, с недовольством тянули пушки. Золотистые быки, весне радуясь, игриво бодали пугливых коров. Среди массы животных, колесниц и орудий солдаты проносили рогатки, похожие на тараны. В довершение всего раздался дикий женский вопль... Вблизи порогов днепровских, посреди шума военного компанента, княгиня Анна Даниловна породила здоровую крикливую девчонку, которую нарекли в честь царицы — Анною.

— Разве же это армия? — брезгливо говорили австрийцы и наблюдатели стран прочих. — Это ведь табор дикий. Орда какая-то...

Казалось, сам черт ногу сломает в этой неразберихе. Но вот Миних в ярком халате вышел из шатра, взмахнул жезлом:

— Пошли! Дирекция — на Бендеры!

Войска тронулись, и сразу обнаружилось, что порядок все-таки существовал. Орда превратилась в армию, покорную дисциплине, и даже любая корова, обреченная в пути на съедение, казалось, заняла надлежащее ей место. Поднялась тут пыль, пыль, пыль... Ох, и пылица! Потянулись обозы, обозы, обозы... Они были столь тягостно велики, что арьергард армии подходил к лагерю на рассвете, когда авангард уже поднимался в путь. Даже сержанты гвардии имели для нужд своих до 16 возов с барахлом. А багаж генерала Карла Бирена ташили сразу 30 быков и лошадей, 7 ослов и 15 верблюдов...

Стоило армаде русской застрять на минутку, как после нее земля оставалась будто выбритой, — несчастный скот успевал сожрать под собой каждую травинку. На походе, при появлении Миниха, detachment лейб-гвардии до земли склонял свои знамена. Вдали от столицы фельдмаршал уже принимал царские почести, на которые церемониальных прав не имел! Считая знания свои всеобъемлющи-

ми, Миних по вечерам в шатре своем учил Анну Даниловну, как ей следует давать грудь младенцу.

— Да не учи ты меня, Христофор Антоныч, — обижалась дама. — Это уже шестой у меня... Как-никак и без твоих инструкций выкормлю!

Ласси поднял свою армию на поход раньше Миниха; она струилась на Крым степями приазовскими; здесь меньше было пышностей, но зато больше внимания к людям, отчего войска и шагали напористо.

Далеко протянулась вдоль берега моря сакма, пробитая татарами и ногайцами. Дико тут все, одичало. Выходя из Азова, фельдмаршал Ласси встретил разрушенный Троицкий острог на Таган-Роге и заложил тут крепостцу с пушками*.

Гигантской тысяченожкой, ошетинясь багинетами ружей, двигалась армия на Перекоп; иногда солдаты видели, как в морской дали, тяжело и неотступно, выгребают из блеска синевы галеры. Следуя морем близ берегов, ноздря в ноздю с армией Ласси, проходила Донская флотилия вице-адмирала Петра Бредалья.

Перед кораблями расстилалось древнее Сурожское море, а в море том нагуливали жирок громадные осетры, резвились в Азовье вкусные севрюги. А порою галерные весла было не повернуть в воде от густоты косяков леща, судака да частой тюльки. Иногда корабли теряли армию, но лагерь ее моряки легко обнаруживали ночью — по зареву костров, освещавшему ширь небесную. Ласси дождался флотилию в устье реки Кальмиус**. Выше по течению этой реки находилась местность печальная, где во времена ветхие случилась несчастная для Руси битва с татарами на Калке...

Здесь армия Ласси застряла, не в силах переправить через Кальмиус пушки тяжелые. Бредаль вызвал Петра Дефремери:

— Бери сорок плашкоутов — мост для армии сооруди.

Дефремери, веселый и загорелый, как дьявол из преисподни, поставил на реке корабли бортами, словно понтоны, и армия прошла через настилы плашкоутов — с лошадьми, с обозами, с артиллерией. Бредаль потом созвал морских офицеров:

— Господа, флот до Берды*** мы еще дотянем. А затем карты можно выбрасывать. Потянемся, как слепые, вдоль берега...

* На месте этого укрепления впоследствии (1769 г.) был заложен город Таганрог, населенный тогда же выходцами из Белгорода и Воронежа.

** Позже здесь возник цветущий город Мариуполь, ныне морской порт и металлургический центр на юге страны.

*** На мысе Берда позже (1827 г.) был заложен Бердянск, курортный город с грязелечебницами.

За Бердою моряки видели с кораблей тучи ногайских всадников, которые с берега осыпали гребцов стрелами. Берег по траверзу поплыл куда-то вбок. Армия из виду совсем пропала. По ночам уже не светили ее дружественные костры, вселяющие бодрость.

— Огибаем косу длинную, — насторожились моряки.

Адмирал Бредадь, полуголый, с ножом у пояса, словно пират, шатался по палубе с православными святыми в руках.

— Сей день, — из святцев он вычитал, — на Руси святого Виссариона поминают, а посему греха нет, ежели назовем косу Виссарионовской...

Со стоном и хрипом вырывалось дыхание из груди гребцов. Соль морская разъедала ладони. Трудное это дело — грести, денно и ночью ворочая пудовые весла в ртути тяжелых вод морских. Только успеешь ткнуться носом в днище, чтобы вздремнуть, как тебя уже сверху ногой пихают: «Вставай, Ванька, по тебе весло плачет...»

Опять уперлись в косу, долго-долго огибали ее с юга.

Бредадь заглянул в святцы:

— Сей день на Руси святого Федота празднуют. А посему назвать косу Федотовской и на картах то начертать...

За этой косою догорал костерок. Плашкоут мичмана Рыкунова врезался в берег, матросы с ружьями кричать стали:

— Эй, у огня! Свои люди иль чужие?

Встал от костра казак с ложкой в руке:

— Православные будем... Нас нарочно от армии оставили, чтобы сообщить вашему флотскому благородию: гребите и далее вдоль бережка, а Ласси с войсками уже в Геничах* стоит.

— А что это за Геничи такие?

Казак попробовал каши из котла, долго чесался.

— Кажись, не город, — ответил.

— Село, может? — спрашивали с корабля.

— Того не знаю. Не бывал ишо там.

— А где же они, твои Геничи?

— Там... — И казак махнул рукой в ночь темную.

Рыкунов доложил об этом Бредадю, и тот хватил чарку перцовой. Вояка отчаянный, лихой навигатор, он не растерялся.

— Весла... на воду! — скомандовал.

Вздрогнуло море от единого удара тысяч лопастей, и тронулись в неизвестное прамы и дубель-шлюпы, боты мортирные и кончебасы,

* Ныне город Геническ — районный центр Херсонской области, порт и железнодорожный узел на Азовском море.

а за ними пошла мелочь прочая, на которых гребли люди, иные море впервые видевшие. Вскоре эскадра вышла вдоль берега на Геничи. Оказалось, что это улус татарский — грязный, зловонный, блошливый. По бортам кораблей кисли топкие, нехорошие берега, в командах было примечено, что вся рыба куда-то исчезла.

— Может, вошли в реку ядовитую? — сомневались люди.

— Залив или пролив тайный, — утверждали другие.

Дефремери, чтобы споры пресечь, шагнул к борту, зачерпнул горсть воды и глотнул ее одним махом.

— Это море, — сказал. — Но гнилое море. И вода здесь противная. Дайте рому глотку ополоснуть от мерзости этой...

Бредаль долго колдовал над худыми картами:

— Не знаю, что и писать ради навигации точной. Куда вошли? Но разумею, что соленых рек не бывает... Пишу: м о р е!

Так они забрались в Гнилое море (по-татарски — Сиваш).

Ласси созвал совещание офицеров — армейских и флотских.

Говорили:

— Как войти в Крым и как из Крыма выйти?

— Вопрос плохо скроен и пошит негоже, — отвечал Ласси. — Надо спрашивать, как в о й т и в Крым, а уж как выбираться из него, об этом посудим, когда в Крыму побываем.

— Перекоп закрыт! — утверждал Бредаль. — С года прошлого татары умней стали, и воротца эти захлопнули намертво. Ежели через Перекоп ворвемся в Крым, то обратно не выскочим...

Галеры проплывали в ночи, трепеща стрекозьими крылами весел. Крупные звезды рассыпало над саклями геничскими. Крым был уже близок — как локоть, который зришь, но вряд ли укусишь.

Ласси показал рукою вдаль:

— Видите? От самого Крыма в Гнилое море вытянут длинный язык косы Арабатской, которая заводит прямо в логово хана крымского. Вот ежели армия перепрыгнет с берега матерого на косу Арабатскую, тогда мы сразу в Крым вскочим. И окажемся в Тавриде с той стороны, с которой не ждут нас татары, сидящие в Перекопе...

Послышался вой; из трескотни цикад, из гуши ночных трав вырвались, словно демоны, четыре тысячи всадников.

— Чух... чух-чух... чох-чих! — кричали они.

Это прибыла калмыцкая конница от хана Дондуки-омбу. Возглавлял ее свирепый, как барс, тысячник Голдан-Норма. Барабаны забили поход. Тяжко взрывая воду веслами, проследовали мортирные боты под командой Дефремери; солдаты вязали в ряд пустые бочки, стели-

ли их по морю, и этот «мост» перекинулся через Сиваш. Искрились белые пески, пропитанные солью и ракушками. Армия перешла по бочкам через пролив, не замочив ног, и солдат русский ногой босою ступил на зыбкий песок Арабатской косы...

Не верилось! Разве можно поверить в такое?

Без единого выстрела, не пролив капли крови, армия Ласси уже стояла на крымской земле.

— Всем по чарке, — велел фельдмаршал. — И более чарок не будет. Воду беречь. Ни колодцев, ни родников здесь нету. Пошли!

Мост из бочек остался у Геничей неразрушен (на случай внезапной ретирады). И начался поход. Беспримерный в истории войн!

Шли русские по косе Арабата — как по лезвию острого ножа, воткнутого прямо в сердце ханства проклятого, ненасытного.

— Солдаты! — говорили офицеры. — Отныне любой из вас — генерал. Маневр свой обдумывай. Действуй спокойно. Сильный слабого ободряй. Молодые ближе к ветеранам держитесь... Помощи не жди, ее не будет. Россия за тридевять земель осталась!

Миних своим солдатам думать не разрешал:

— Здесь думаю один я! Да и зачем им думать, если я уже все продумал? «Солдатский катехизис» века прошлого учит: «Армия оленей, руководимая львом, сильнее армии львов, руководимой оленем». Это верно! Оленям только и осталось, что во всем льву повиноваться — м н е!

Старинный шлях уводил армию на Бендеры — совсем в другую сторону от Очакова. Когда турки уверились, что русские идут на Бендеры, Миних круто развернул армию на юг — прямо на Очаков, только сейчас обнаружив перед противником свои истинные планы. Солдаты зашагали целиной, спаленной заживо. Для воодушевления слабых без устали рокотали барабаны, грохотом своим они покрывали колесные визги. Гобоисты дудели в полковые гобои.

Армия шла в трех каре, и птица с высоты поднебесной видела, как ползли через степь три громадных щетинистых жука... Вместе с русскими воинами шагали сейчас на Очаков хорваты и сербы, венгры и греки, македонцы и валахи, молдаване и болгары; в седлах качались усатые сонные запорожцы. Любой народ, что страдал от турок в при-теснении, имел своих сынов в русской армии.

Каре уплывали, как корабли, в душный угар степей.

Утопая в мучнистой пыли, почасту падали люди.

— Воды... хоть капельку, — просили упавшие.

Ревел скот. Непоеный. Второй день. И третий.

Скотина умирала на земле — рядом с людьми.

И люди умирали на земле — подле скотины...

— Усилить шаг! — рычал Миних из окошка кареты.

Фельдмаршала нагнал усталый Манштейн:

— Очакова не видать, а люди умирают как мухи.

Миних высунулся из окошка кареты — красномордый.

— Это не новость, — отвечал он. — Русские умирают молча. А вот я помню французов... Так они визжали перед смертью. Передайте от меня казакам, чтобы поймали хоть одного татарина...

Поймали! С расспросу пленного выяснилось, что обмануть хитрого врага фальшивым заходом на Бендерский шлях все же не удалось. Очаков сильно укреплен, а гарнизон его усилен отборными войсками из босняков и арнаутов. Армия напряглась в марш-рывке, торопясь выйти к Очакову. Померкло солнце, и впереди возникла туча багрового дыма: турки подожгли степь. Сухие травы сгорали со свистом. Пыль, перемешанная с пеплом горьким, забила горло. Люди дышали раскаленным прахом и... шли! шли! шли!

Травинки не осталось после пали. Доска — не степь.

Фуражиры возвращались пустые.

Где-то послышалась стрельба. Миних заволновался:

— Всему есть конец, и кажется, мы выходим к цели...

Высоко в небе взметнуло язык рыжего пламени.

— Неужто снова паль пуцают? Сгорим, братцы...

Миних из кареты перебрался в седло — поскакал.

Вернулся обратно растрепанный, почти счастливый:

— Это не пожар в степи — турки жгут свои форштадты...

«Наша армия, с темнотою ко городу пришед, обступила город кругом и, как пришли, в ружье становились, несмотря на салютацию с города из пушек, и тако до свету в ружье пребывали...»

Они пришли! А за рвом глубоким, с нерушимых фасов бастионов, смеялись над ними турки. Они бы смеялись еще больше, узнай только про Анну Даниловну... Рано утром из разведки вернулась кавалерия, успев за ночь обскатить побережье по дуге лимана.

— Мы пропали — ни одного корабля в лимане! Князь Трубецкой опять обманул армию. Не только хлеба, но даже осадной артиллерии к Очакову не прислал.

Манштейн добавил с лестью, пропитанной тонким ядом:

— Это могло бы устроить кого угодно, только не вас, мой эксселенц. (Миних начал сопеть.) Конечно, — продолжал Манштейн, — ваше сиятельство имеет случай блеснуть своим гением и... Не взять ли вам этот Очаков голыми руками?

Глава четвертая

Число пушек в этой империи громадно!

Х.-Г. Манштейн

— Глас свыше — это глас пушек! — сказал фон Бисмарк.

Из окон башни рижского замка виднелась полноводная Двина, заставленная кораблями. Прошел торговец с коромыслом, на котором висели для продажи связки свечей сальных, словно гроздь бананов. Русская девка-франтиха торговала из корзин лубяных лимонами. Заезжий архангелогородец ташил на базар несуразный куль мороженой трески. Говорливые бабы несли в сырых тряпках скатки сочного творога. Поражало в Риге обилие евреев на улицах; местные шейлоки как будто ничего не делали, но всегда при деле находились... А за рекою видел Бисмарк — поля, луга, леса, укрывавшие Митаву; крутились крылья мельниц и высились там шпицы пасторатов, похожие на мызы баронские.

— Латы мне! — приказал фон Бисмарк.

Слуга стянул на лопатках губернатора тесемки латные. Из груды перчаток Бисмарк выбрал боевые — уснащенные стальными лепестками. Шпагу он отбросил — взял палаш. Войска построены. Пушки заряжены. Более ждать нельзя! Бисмарк закинул латы плащом и, звеня коваными ботфортами, пошагал вниз по лестнице. Ударом ноги он распахнул двери замковой башни, вышел на набережную, сел в карету.

— Дирекция — на Митаву! — приказал офицерам.

А вслед за regimentом с пушками ехали... кибитки. Десятки и сотни кибиток, и все они пустые, затянутые черным коленкором, как гробы. Народ в ужасе шарахался по сторонам. Он уже знал эти кибитки — в таких вот самых возят в Сибирь преступников. «Глас свыше — это глас пушек!» — восклицал Бисмарк...

В эти дни король прусский не отпускал от себя фон Браккеля, посла петербургского. Однажды он ему сказал со всею прямою короля-солдата:

— Ставлю на тысячу червонных (золотом, конечно), что все мы останемся с большим носом, а герцогом на Митаве станет... Ну как его? Опять забыл... Вот этот долговязый парень, который в карты по вечерам с царицею играет. Не могу вспомнить, как его зовут. Бирен, что ли?

Фон Браккель выпучил глаза — как пузыри.

— Да быть того не может! — зорал посол России. — Императрица Анна всем в Европе обещала в дела курляндские не мешаться!

Тогда король прусский стал щекотать фон Браккеля, будто щенка, который даже повизгивал. При этом он говорил ему:

— Сознайтесь королю... хотя бы ради сплетни! Сознайтесь же, что русские полки стоят возле Митавы с пушками.

— О нет, король! Вас в заблуждение ввели агенты легкомысленные... Выборы герцога будут абсолютно свободны!

— Не сомневаюсь, — отвечал король. — И верю: каждый может избирать хоть кошку. Но... под прицелом русских пушек.

Да, кажется, граф Бирен скорее возьмет Митаву, нежели граф Миних поспеет с Очаковым. Внутри столицы осиротевшего герцогства уже засел, вроде шпиона, пройдошистый барон Кейзерлинг. Хитрец рассчитывал на то, что Митава продажна, что здесь немало развелось охотников услужить Бирену. Особенно порадеют в его пользу те «рыцари», что положением своим при дворе и богатством русскому самодержавию обязаны до гробовой доски.

Под Очковом, где решается честь России, нет пушек. Но зато пушки есть под Митавой, где решается судьба Бирена.

Между Петербургом и Дрезденом часто пролетали курьеры. Они скакали в Европу обязательно ч е р е з Митаву, где Кейзерлинг вскрывал печати на их сумках; дипломат прочитывал всю переписку царицы, дабы знать любые оттенки конъюнктур придворных.

А пока что барон ложью клеивал всем глаза.

— Выборы будут совершенно с в о б о д н ы, — убеждал Кейзерлинг. — Выборы — это глас свыше, глас божий!

Ландгофмейстер герцогства Курляндского почтенный старец фон дер Ховен уже с утра был в панцире (как и Бисмарк). В молельне долго он стоял перед распятием. А на стене висел оттиск дюреровской «Меланхолии»: суровая женщина грустила над песочными часами, и часы эти, казалось, по капле источали из себя тоску и тягость чувств земных...

— Гроза над Аа, клубятся тучи над Митавой нашей!

Ховен вышел к сыновьям. Их мечи короткие были укрыты под плащами, а рукояти в перчатках проволочных сжаты.

— Послушайте, — он им сказал в напутствие. — Крестовые походы принесли пользу лишь тем умникам, что догадались сидеть дома и не совались в дела Гроба Господня. Но были дураки, которые шагали в Палестину целых сорок лет, пока о них не позабыли жены и дети. Вернувшись же, вот эти остолопы в Европе оказались лишними! Сам папа римский взялся их пристроить, чтобы крестоносцы не издохли под заборами. Взамен угодий пращуров наш предок Ховен приобрел в злодействах вот этот замок на Вюрцау... Что вы молчите, мои ребята?

— Внимаем мы тебе, отец наш!

— Похвально ваше послушание... Я много жил и много передумал, — сказал старик. — Нам предстоит решать вопрос: куда идти нам дальше и... за кем идти? И вывод мой таков: пусть лучше русские сочтут Курляндию своей г у б е р н и е й, пусть в замке Кетлеров живет российский губернатор, но... только бы не этот негодяй!

Был средний час в истории курляндской. И каждый рыцарь или бюргер был предан делам обыденным, когда ландгофмейстер фон дер Ховен открыл собрание ландтага.

Он начал речь с высокой кафедры:

— Рядом с нами находится великая Россия, курляндцам суждено самой природой стоять лицом к ней. Московская империя очень быстро растет и набирает силы. Она — младенец, рвущий тонкие пеленки! Доверьтесь мненью моему: если Россия с кровью пришла в соседнюю Лифляндию, то справедливо будет нам без крови допустить ее в Курляндию.

— Под русским быдлом не бывать! — закричали с мест рыцари. — Пусть уж лучше курляндец сиятельный Бирен владеет нами.

Но тут поднялась тощая шпажонка геттингенца.

— Я за Россию тоже! — объявил Брискорн. — Иль мало вам, остзейцам, было унижений от надменных шведов? Довольно распрей! Кончайте с этим раз и навсегда... Курляндия пусть станет заодно с Россией, которая, как дуб могучий, укроет наш народ под тенью своих ветвей. Но — только не Бирен! Я все сказал... Dixi!

Раздался тяжкий грохот с улиц. Ворота ратуши разъехались, и прямо в гущу избирателей «свободных» тупою мордой всунулась большая пушка. А перед пушкою стоял, похохатывая, сам Бисмарк, свойственник биреновский. Без парика был генерал, крепко пьян, в зубах его дымилась трубка, сверкали латы, а в жилистой руке торчал палаш.

— Кончайте быстро этот балаган! — возвестил зычно. — Великая государыня наша, ея величество Анна Иоанновна, в дела чужие никогда не мешается... Бог вам судья! Вы вольны избирать кого угодно. Но все же знайте, что желателен лишь Бирен.

В подтверждение слов этих артиллерия открыла пальбу над Митавой, стреляя для остротки пыжами войлочными, которые горели, будто шапки, падая на крыши зданий с огнем и дымом.

— Узнаю руку наглеца, протянутую к священным реликвиям предков наших... Вон отсюда, чужеземный мерзавец! Вон!..

Это крикнул Брискорн. Держа перед собой шпагу, бывший паж герцогини Курляндской бежал прямо на Бисмарка. Но блеснул отточенный палаш — и геттингенец рухнул на плиты ратуши.

Фон дер Ховен, побелев лицом, возвысил голос:

— Здесь уже пролилась первая кровь. Обнажим же и мы мечи наши! Сопровитвайтесь насилью, рыцари... — Громадное семейство Штакельбергов всех оглушало.

— Желаем Бирена в герцогии... — кричали они.

— Выборы, — продолжал Бисмарк, палашом размахивая, — дело совести каждого. Но посмотрите-ка на улицы Митавы...

Ого! Вокруг ландтага стояло множество кибиток.

— Ландтаг может голосовать и п р о т и в Бирена! — закончил Бисмарк. — Но после этого всем вам предстоит прогулка на казенный счет в страну пушистых зверей — Сибирь!

Стучали пушки над Митавой.

— Лучше Бирена не найти! — надрывались рыцари в чаянии золотых ключей камергерства, чинов высоких на русской службе и земельных гаков с новыми рабами. Бисмарк шагнул на кафедру, отеснив ландгофмейстера.

— Вы же знаете лучше меня, — сказал он собранию, — что имения герцогства обложены миллионными долгами. Потому и герцогом на Митаве должен быть человек очень богатый... А кто здесь самый богатый? Все вы — нищие, как крысы сельской кирхи. Крику от вас много, а денег мало...

— Богаче Бирена никого нет! — кричали опять «фамильно» семьи Бергов и Штакельбергов, Бухгольцы и Берггольцы, фон Мекки и фон Рекки, Нироты и фон Ботты, Унгерны и Бреверны. — Самый богатый в Курляндии граф Бирен... Он один может спасти нас!

Замолкли пушки, и грянул орган. Когда молебен благодарственный отгрохотал под сводами, старый фон дер Ховен плюнул в пьяную рожу фон Бисмарка.

— Плюю в тебя, ибо ты заменяешь здесь своего господина. Старика тут же сунули в кибитку и повезли.

Сколько лет возили его — он не знает, потеряв счет времени, как и та дюреровская женщина с суровым лицом, грустящая под шорох вечного осыпания песка. Но однажды Ховен проснулся и понял, что лошади из кибитки его выпряжены. Старик выбил дверь и выбрался из возка. Кибитка стояла у самого порога его дома в Вюрцау... С опаскою Ховен прошел в опустевшие залы. Нетопленные каминные стили в древней кладке стен. Мебель уже вся вывезена. В погребках — ни одной бутылки вина. Только на стене еще висел лист жестокой правды — «Меланхолия». Старик заплакал:

— Хоть мертвые в гробах, но... отзовитесь!

Скрипнула дверь. Появился человек в черной маске, в прорезях которой виднелись обвислые веки осторожных глаз.

— Надеюсь, — сказал он весело, — теперь вы поняли, сколь опасно шутить со всемогущим герцогом Курляндским. Вот вам письмо от его светлости, и пусть оно не смутит духа вашего. В нем герцог извиняется, что вынужден отобрать у вас имение Вюрцау*. Можете уходить отсюда. Вы более — никто, вы не имеете права выражать удивление или возмущение... Идите прочь!

— Но где же моя жена? Где мои сыновья?

— Жена скончалась за отсутствием вашим. А сыновья... Один, по слухам, в армии саксонской. А младший убежал в Канаду, где вырезает краснокожих. Ищите для себя иной ночлег. А здесь, в имении Вюрцау, сиятельный герцог Бирен отныне устраивает замок для своей придворной охоты...

Уходя, фон дер Ховен сорвал со стены дюреровскую «Меланхолию». Часы жизни источали страдание — глубокое, почти неземное.

Глава пятая

Фельдмаршал в сердцах выговорил Анне Даниловне:

— Сударыня, вы распустили своего мужа, совсем уже от рук отбился. Теперь, на потеху всему миру, я вынужден брать Очаков без осадной артиллерии...

Но княгиня Трубецкая уже поднаторела в боевых походах и на испуг не давалась; она ответила Миниху:

* В 1812 г., когда все курляндское дворянство присягнуло в верности Наполеону, семейство Ховенов осталось верно дружбе с Россией, за что Наполеон тоже отобрал у них Вюрцау.

— Мой муж не виноват, коли телега корабля надежней...

Посреди золы и пепла сгоревших трав возник, плескаясь разноцветными шелками, роскошный и объемный, шатер фельдмаршала. Пригнувшись низко под его навесом, внутрь пронырнул австрийский атташе при русской армии — фон Беренклу.

— Неужели это правда? — воскликнул он. — Существуют законы батальные, и брать Очаков сейчас — значит преступать традиции.

— Русская армия тем и живет, что разрушает традиции.

— Но... вспомните хотя бы Гегельсберг! — сказал Беренклу. — Здесь, под Очаковым, вы прольете еще больше крови.

— Россия людьми богата, — отвечал Миних. — Если их не жалеют во дни мира, то я других не добрее и не стану жалеть людей во дни военные — ради конкетов.

— Но знайте, граф: турки — отличные стрелки. Они переколотят всех ваших солдат, как негодных собак.

Миних чуть не вытолкнул цесарца прочь:

— Эй, только не учить меня! Солдаты русские — это вам не собаки. И вы не упорхните в Вену раньше времени — сначала убедитесь, что они будут погибать храбрецами...

Когда имперский атташе удалился, Миних потаенно признался Мартенсу, другу близкому, другу сердечному:

— Конечно, мой падре, этот цесарец прав: штурмовать Очаков — безумие! Любой уважающий себя полководец в Европе, подойдя к такой цитадели, счел бы за разумное повернуть армию обратно. И никто бы не упрекнул его на ретираде. Но... здесь не Европа!

Остатками воды, уже загнившей в бочке, Миних ополоснул лицо после бритья. Велел созвать в шатер генералитет. И генералам объявил:

— Читайте вам приказ: «Атака придает солдату бодрость и поселяет в других уважение к атакующему, а пребывание в недействии уменьшает дух в войсках и заставляет их терять надежду к виктории...» Очаков этот мерзкий станем брать штурмом! Промедли мы — и из Бендер подойдет громадная армия визиря, сплошь из янычар жестоких состояща! Решайтесь...

Громыкнула с фасов Очакова пушка; первое ядро разбилось возле шатра, раздирая шелковый заполог, и принц Гессен-Гомбургский сразу доложил Миниху, что он смертельно болен.

— Только не умрите без причастия. А вы, принц Антон, — спросил Миних, — не заболеете по праву титула своего?

Принц Брауншвейгский поклонился:

— Мне перед женитьбою страхом болеть не пристало...

Ворота Очакова раскрылись, словно заслоны больших и жарких печек. Густые толпы янычар с ятаганами побежали на русский лагерь. Их встретили казаки саблями, а бомбардиры били из полевых пушек. Усеяв поле трупами, янычары убралась в Очаков, и ворота медленно затворились за ними.

Генерал Кейт снова начал придираться к Миниху:

— Штурм — ладно! Но... где же план Очакова? Отсюда я вижу только стены, на которых выставлены головы казненных христиан. Подобных наблюдений для штурма мало. Кто скажет, господа, как построен Очаков? Сколько пушек? Какая геометрия его фасов?

Миних этого не знал и отпустил генералов от себя.

— Друг мой, — с укоризною сказал ему пастор. — Нельзя же постоянно рассчитывать лишь на удачу в делах военных, как в игре картежной. Генерал Кейт прав, и если там глубокий ров, то... Скажи, чем ты его засыплешь?

— Проклятый Трубецкой! Он не привез фашинник... Где генерал Румянцев со своими банными вениками?

Явился Румянцев и сообщил, что они все веники съели.

— Как съели? — поразился Миних.

— А так, — мрачно отвечал Румянцев. — Взяли и съели. Хлеба-то ведь нет, Трубецкой не привез муки, опять сподличал...

После его ухода Миних набил трубку табаком, сказал:

— Все ясно, падре. Фашин нет. Веников нет.

— Как же солдаты пойдут через ров?

— Пойдут по трупам.

— Но там же... ров.

— Вот они и засыпят его... трупами!

Было жарко. Солнце стояло высоко. Лучи били вниз.

Миних не успел объявить штурма — он начался сам по себе, помимо воли фельдмаршала, и Миних был вынужден, как запоздавший гость, примкнуть к его буйной стихии. Случилось это так...

Еще с ночи послали с лопатами большой отряд солдат и землекопов — для возведения редута. Ночка выпала темная, места вокруг незнакомые, и оттого заблудился отряд в предместьях города. Блуждал он среди садов и кладбищ, ели солдаты какие-то ягоды — не русские. Заборов, разделяющих владения, здесь не было: каждый турок окапывал свою усадьбу канавой. И вот русский отряд мужиков и солдат всю ночь мыкался по этим канавам, словно леший их там водил. А к рассвету закатился под самый глянис Очакова и залег там. Нечаянно образовался аванпост для штурма...

Миних, узнав об этом, велел отряду землекопов под глянисом и оставаться, артиллерию же наказал перетаскать в сады.

— Мне нужен пожар, — горячился он. — Пожар в Очакове!

Пожары часто вспыхивали в городе, но гарнизон быстро гасил их. Солдаты измучились, редуты копая. Небо прочеркивали, словно кометы, огненные полосы раскаленных на кострах ядер. Утром удалось пушкарям вызвать в Очакове сильный пожар.

— Горит! — разбудили Миниха. — Здорово полыхает.

— Хорошо. Пусть канониры стреляют прямо в очаг пожара, чтобы турки не смогли его угасить...

Огонь уже охватывал улицы в центре города.

— Боюсь, что турки потушат этот пожар. Дабы этого не случилось, надо всех басурман вытащить на стены... Где Кейт?

Явился Кейт (мрачный). Миних ему рта не дал открыть:

— С двумя полками выступайте под стены крепости.

— Как близко? На ружейный выстрел?

— Да! И старайтесь выманить весь гарнизон на стены...

По раннему холодку безмолвно тронулись полки. Вдали виднелось море, а там — полно кораблей турецких. Кейт приказ исполнил: его солдаты стрельбою выманили турок на вал, а пожары в Очакове сразу стали усиливаться...

— Ну, как там Кейт? — спрашивал Миних.

— Кейт в огне, — отвечали ему. — Он стоит под валом.

— Скачите к нему. Пусть продвинется еще ближе...

Кажется, Миних решил избавиться от своего соперника. Манштейн застал Кейта сидящим на земле за кустом винограда. Генерал-аншеф зажимал пальцами рану на плече. Кровь била сильно, все пальцы Кейта были ярко-лаковыми от крови. А повсюду, в самых невообразимых позах, валялись убитые стрелки... Манштейн сказал:

— Фельдмаршал приказал продвинуться еще дальше.

— Куда дальше? — спросил Кейт. — На тот свет?

Манштейн помчался обратно к шатру ставки. Миних кусал белые от пыли губы. Было ясно, что штурм обречен на бесполезное кровопролитие. Но уже били полковые литавры, зовущие пели гобои и флейты. Ухали ядрами пудовые мортиры. Поспевая за ними, залфировали маленькие пушчонки-близнята... Миних приказал:

— Теперь пусть Кейт выходит из-за редута.

Солдаты с мужеством исполнили первый приказ фельдмаршала, когда их вдруг настиг, коварный и жестокий, второй приказ.

— Немыслимо! — заорал Кейт, стоя среди убитых. — Если нас здесь умерщвляют без отщипления, то... куда же я двинусь теперь из редута? Манштейн, вы же грамотный офицер, так оглянитесь вокруг меня: храбрецы уже лежат труп на трупе...

Повинуясь окрику генерал-аншефа, русские солдаты все же вышли из-за редута. На открытой местности турки стали безжалостно истреблять их пулями. Мортиры осыпали их горстями ржавых гнутых гвоздей, оставлявших в теле болезненные раны... Манштейн возвратился к Миниху со словами:

— Кейт не выдержит. Там и железо согнется.

— Кейт не выдержит, так солдаты его не согнутся...

Миних качнулся в седле, его длинные, как кинжалы, шпоры испанского образца вонзились коню в бока, жестоко раня животное.

— Вперед! — велел он своей пышной свите.

Кавалькада всадников, блещущая бронзой и сталью, парчой и золотом, неслась за Минихом, вся в пыльной бестолочи сражения. Дым несло от Очакова, застилало море и даль степную.

— Ах! — вскрикнул юный паж, кулем слетая с лошади.

Свита пронеслась над ним, топча убитого...

Войска под командой Румянцева и Карла Бирена продвинулись до глянса, и Миних вдруг сказал Манштейну:

— Лети опять до Кейта — пусть входит в город...

Потеряв много крови, бледнее смерти, Кейт отвечал:

— Смешно! Если моих солдат решил убить фельдмаршал, то мог бы расстрелять нас и без штурма... В какой вступать мне город? Вон стены высятся, будто в Иерихоне, а как я заберусь на них? Когда меня вперед послали, мне дали хоть одну лестницу?

— Но таков приказ, — отвечал Манштейн...

Огонь между тем бушевал над Очаковым, треск пожаров был слышен уже издалека. Войска сходились ближе к глянсу, полки змеились среди садов. В окружении Миниха возникло замешательство. Все чаще падали под пулями офицеры конвоя. Под принцем Антоном Брауншвейгским раненая лошадь жалобно заржала, подломясь в ногах передних.

Австрийские атташе бросились к Миниху:

— Поберегите принца! От жизни его высочества зависит судьба престола российского... Нельзя же так рисковать.

— Но я не звал принца скакать за мною следом...

Однако стрельба турок была столь губительна, что Миних тоже завернул обратно. А на прощание он крикнул Румянцеву:

— Город, слава богу, горит. Вы продолжайте натиск...

Войска кругами сходились вокруг крепости. Со стороны лиманов, прямо по мелководьям моря, вздымая тучи брызг, проскакала конница казачья. Наконец солдаты вышли ко рву и тут встали.

— Ров непреодолим, — доложили Миниху.

— Но стоять там, где стоят, — велел фельдмаршал упрямо. — Коли уж до рва добрались, то ретирады не будет...

Вот когда начался ад! Атакующие сбились в кучу под стенами крепости — ни вперед, ни назад. Турки, ожесточась, засыпали их бомбами и пулями. Однако солдаты русские не отступили. Они ждали, что генералы разберутся в обстановке и все поправится. Им казалось, что возникла заминка, — не больше!

Но генералы были бессильны против упрямства Миниха.

Прошел один час — под бомбами армия еще ждала.

Минул час второй — продолжали стоять, умирая...

Бессмысленная смерть: стой и жди, когда в тебя прицелятся и поразят без помехи. Из горящего Очакова несло смрадом и горячим вихрем, в котором кружились крупные искры и головешки. Плечи храбрецов осыпало раскаленным пеплом.

Миних навестил фон Беренклу:

— Я вам говорил, что ваших солдат перебьют, как собак...

На третьем часу бесцельной выдержки, убедясь, что их послали на верную смерть и бросили, русские п о б е ж а л и. Сразу же распахнулись ворота Очакова, из них выметнули вопящие толпы, и турки стали зверски добивать бегущих. Ни один раненый не уцелел — они погибли сразу под кривыми всполохами ятяганов.

— Мы погибли... о боже! — кричал Миних в отчаянии.

В ярости он засадил свою шпагу в землю до самого эфеса. Рвал на себе кафтан, хрипел, выл. Потом фельдмаршал рухнул наземь и покатился в низину большим чурбаном. Воя, он грыз землю.

— Где честь и слава мои? Великий боже, ты меня покинул!

Теперь уже все понимали, что Миних погубил армию.

К нему подошел с распятием суровый Мартенс:

— На тебя смотрят люди... в с т а н ь!

Он поднялся, почти безумный начал искать виноватых:

— Кейта ко мне! Подлец, он сорвал мне штурм...

Перед ним предстал измученный ранами Кейт.

— Ты почему стоишь здесь живым? — орал на него Миних. — Только ты один виноват в том, что солдаты бегут...

Жаркий ветер, рванувшись от Очакова, сорвал парик с головы шотландца, и заплескались космы его седых волос. Кейт положил ярко-красную ладонь на вычурный эфес боевой сабли.

— Фельдмаршал! — отвечал Кейт с угрозой в голосе. — Можете говорить что угодно, но прошу вас помнить, что я нахожусь при ору- жии и чести еще не потерял...

Миних горько рыдал, грызя костяшки пальцев.

— Все пропало... все и навсегда! — бормотал он жалко.

И вдруг...

Могучий порыв горячего вихря швырнул Кейта прямо на Миниха.

Фельдмаршал упал, сшибая на своем пути пастора.

Мартенс опрокинул стол в шатре, звончато билась посуда.

А с высоты, закрывая всех своим шелестящим куполом, рухнул на людей прогоревший шатер... Что случилось?

Именно сейчас, когда казалось, что все потеряно, случилось то, чего никто не ожидал. В крепости Очакова от пожара взорвались гигантские запасы порохов. Из-под обломков шатра Миних выпутывался с восторженной бранью, упоенно рыча:

— Виктория! Мы победили... Урра-а!

Этим взрывом разом убило 6000 турок в крепости (запасы пороха были в Очакове велики). А сколько неприятеля покалечило — того неизвестно. Над тем местом, где рвануло до небес боевые магазины, теперь нависло черное облако. От массы порохов, сгоревших в единое мгновение, сразу стало нечем дышать.

— Манштейн! Трубу мне... быстро.

Миних через оптику увидел, как турки поспешно снимают со стен Очакова бунчуки, сдергивают с пик головы казненных христиан, бросая их в ров, наполненный телами. Потом заревели с фасов варварские трубы, прося русских не стрелять. На вертявой кобыле с отстрелянными ушами выскочил из цитадели баши-чаус, посланный от сераскира. В парламентера никто не выстрелил, и баши-чаус, тираня кобылу нагайкой, проскакал среди русских воинов до самого шатра Миниха. Максим Бобриков устало выслушал его и повернулся к фельдмаршалу:

— Вам повезло, граф: сераскир просит перемирия.

— Даю, даю, даю, — согласился Миних.

Но Румянцев издали уже слал своего гонца, который после бешеной скачки почти выпал из седла на землю.

— Не надо перемирия! — закричал он. — Не надо, не надо... Гусары наши и казаки уже ворвались в Очаков с моря!

Миних пришел в себя. Отряхнулся от пепла.

— Козыри опять в моих руках... Бобриков, перетолмачь послу, чтобы передал сераскиру: теперь фельдмаршал Миних перемирия не дает. Российская армия примет лишь дискрецию полную. С пушками, знаменами, бунчуками, багажом и всем гарнизоном...

Грянул новый взрыв большой силы. Одна из стен Очакова, дрогнув, медленно упала, обнажая внутренность цитадели. Спасаясь от огня, стали выбегать из города жители. Кидались в море обожженные. Сераскир со своим гаремом тоже хотел к морю пробиться. Казаки плетью загнали их обратно в крепость. Только одна галера с беглецами успела уйти, другие были потоплены на виду всей армии. Флот турецкий, боясь плена, обрубил канаты якорей; воздевши паруса, он поспешил в Стамбул, чтобы ужаснуть Турцию (а заодно и Францию) падением Очакова...

Миних сиял, но Беренклу подпортил ему настроение:

— А все-таки Очаков взят не полководческим искусством, а единственно лишь случайностью. Так воевать нельзя.

Венский атташе был прав. Миних замешкался с ответом, но тут к нему приблизился настырный генерал-аншеф Кейт:

— Я требую суда. Пусть суд отыщет истинного виновника, кто под огонь людей поставил бессмысленно и жестоко!

Мимо шатра фельдмаршала проводили толпы пленных. Турки, татары, ногайцы, спаги, негры, арабы, босняки, арнауты... Немало было женщин с детьми. Одиноких красавиц офицеры тащили к себе, юную черкешенку вытянул из толпы и Манштейн:

— Теперь будешь со мною. А прошлое забудь...

Из колонны пленных с криком рванулись люди.

— Мы — греки! — кричали они, воздевая руки.

Миних повернулся к штаб-доктору Павлу Кондоиди:

— Вы тоже византиец... поговорите с земляками.

Кондоиди скоро вернулся со словами:

— Проща грецкая — шлузуть в ружкой армий зелают.

— Принять всех греков волонтерами! — распорядился Миних. — А пленных гнать и дальше: России рабы нужны...

Серыми хлопьями оседал на землю пороховой угар. В шатер к фельдмаршалу проник принц Гессен-Гомбургский:

— Вы можете меня поздравить — я чувствую немалое облегчение от болезни, секрет которой врачам неведом... Господин архиятер, — обратился он к Иоганну Фишеру, — не можете ли вы меня вылечить?

Ученый врач, автор книги «Старость и продление жизни», Фишер отвечал принцу, что в аптеках Европы не сыскать лекарства от трусости.

— Но русская фармакопея, ваше высочество, считает, что чеснок и каша гречневая способны придать человеку храбрости...

— Я не свинья, — обиделся принц...

Всю ночь в шатрах гремела музыка и звенели бокалы.

Миних с Анной Даниловной принимали поздравления.

— Да здравствует великий Миних! — кричали подхалимы...

Пастор Мартенс (хитрый) подмигнул Манштейну:

— Наш экселенц п о ч т и велик...

С факелами в руках по садам и холмам бродили офицеры с солдатами. Собирали убитых для общего отпевания. Уложили по могилам 24 000 трупов.

Глава шестая

13 июня был составлен диплом на избрание Бирена в герцоги курляндские, а ровно через месяц, 13 июля, курфюрст Саксонский и король польский — Август III, ратифицировал его в Дрездене. После чего австрийский император Карл VI утвердил Бирена в титуле «светлости». Две русские кавалерии (голубая и красная) опоясывали идеальный торс стройного и сильного мужчины, который умудрился на безделье и обжорстве не завести себе пуза...

Бирен навестил свою замухрышку Бенигну:

— Ну, горбатая обезьяна, рада ли ты? Ведь теперь из графского «сиятельства» ты выскочила прямо в «светлость»... Сяду-ка я да напишу герцогу Бирону в Париж, — что он теперь ответит мне?

В приемной было не протолкнуться: полно вельмож, униженных чужим величием, полно дипломатов с поздравлениями. Естественно, всех волновал один важный вопрос, и дипломаты спрашивали:

— Ваша светлость, когда вы намерены сесть на Митава?

— Из Петербурга я — ни шагу! — отвечал Бирен раздраженно. — Прошу не забывать, что я не только герцог Курляндский, но еще и обер-камергер российский. Митава может стерпеть мое отсутствие. Но что станет делать без меня двор петербургский?..

В этот день, по случаю падения Очакова, Анна Иоанновна обедала на троне под балдахинном, и Бирен с особенной любезностью менял тарелки перед нею — по праву обер-камергера.

Лейбе Либману он сказал:

— Всех пленных турок, добытых под Очаковым, я забираю для нужд своих. Буду строить дворцы в Курляндии, и мне нужны ра-

бочие руки. А дабы пленных пресечь от бегства, надо отвратить их от мусульманства. Пусть пасторы обратят их в веру лютеранскую и переженят агарян на латышках...

Был зван в манеж граф Бартоломео Франческо Растрелли — архитектор славный, о котором преизрядно писано, что «инвенции его в украшении великолепны, вид зданий его казист; может увеселиться око в том, что он построит...». Такого-то и надобно!

Новоиспеченный герцог велел графу Растрелли:

— Мне нужен сказочный дворец в Руентале и резиденция в столице моей*. Я золота не пожалею, а ты не поскупись на пышность... Чтобы конюшни были — как дворцы! Колонн побольше всюду расставь, чтобы издали видели — здесь живет не какая-то пигалица, а сам герцог!

Выедавая казну русскую, спекулируя направо и налево, Бирен за 600 000 альбертовых талеров выкупил из долговых закладов все имения прежних Кетлеров; Анна Иоанновна отказала в его пользу «вдовью» долю имений курляндских. Бирен показал себя жадным, но здоровым хозяином. Понимая, что с голодного раба толку мало, он проявил заботу о крестьянах. Издал особый регламент, который попросту списал из старых указов герцога Якоба. Своего ума не хватило, но зато ума хватило, чтобы использовать чужой ум... Бирен возмутил дворянство, создавая в стране экономии, похожие на большие общественные фермы; он возводил полотняные мануфактуры. Доходы увеличились, но непомерно выросли и расходы.

— Я дожил до того, что мне уже не стало хватать на содержание своей персоны. Кажется, я никогда еще не был таким нищим, как сейчас, — жаловался герцог повсюду. — Даже уральская гора Благодать не может спасти моих финансов.

Лейба Либман уже не мог справиться с обширной бухгалтерией герцога. В помощь гоф-фактору прибыли из Европы Исаак Биленбах и прочие жулики без роду и племени, алкавшие серебра и злата от России. Бирен внушал своим факторам:

— Я вам плачу, чтобы вы думали. Много думали!

Винная монополия в Курляндии ненадолго выпрямила финансы. Потом факторы обложили налогом корчмы на проезжих дорогах, что приносило Бирену 150 000 гульденов в год.

— Но этого мне мало. Думай, Лейба... много думай!

* Растреллиевский дворец в Руентале недавно реставрирован; герцогский замок в Митаве был полностью разрушен немецко-фашистскими захватчиками, ныне восстановлен.

Либман думал не только о герцоге, но о себе тоже, а все свои деньги складывал в банки Гамбурга. Он стал при дворе большим барином. Жену свою с детишками по-прежнему содержал в Митаве, а в Петербурге жил с любовницей. Полногрудая и разгульная Доротея Шмидт его утешала.

— После сладкого, — говорил ей Лейба, — всегда наступает горькое. Мы в России лишь гости, а удирать без миллиона обидно...

Доротея Шмидт, при дворце царицы принятая, имела трех детей. Первого она прижила от врача Каав-Буергаве, второго от Лейбы Либмана, а недавно родила и третьего — от принца Антона Брауншвейгского. Был у нее и муженек — портняжка, добрый малый.

— У меня-то уже трое! — говорил он жизнерадостно.

Таковы были тогда нравы придворные...

Но чем богаче и знатнее становился Бирен, тем тревожнее была его жизнь. Тишком, лишнего шума не делая, стал герцог скупать богатейшие поместья в Силезии, в Богемии, в Мазовии.

— На корону герцогскую нельзя рассчитывать, — признавался он жене. — Надо иметь вдали от России надежный угол, где и спрячемся, когда нас русские погонят отсюда палкой...

«Бог свидетель, — писал в эти дни Бирен, — что я устал от жизни. Годы, недуги, государственные заботы, огорчения и работа все возрастают... Вся тяжесть дел ложится на меня, ибо Остерман валяется в постели!» В этом году Бирену исполнилось 47 лет, а жить ему осталось еще долгих 35 лет.

Веселая жизнь продолжалась.

— Кто украл мою буженину? — завопила Анна Иоанновна.

Тарелка была пуста: сочный ломоть буженины исчез.

— Андрей Иванович, — голосила императрица, — сыщи мне вора. Где это видано, чтобы у самодержицы русской, вдовы бедной, во дворце же ее последний кусок вору стащили?

Возле нее крутились, как всегда, шуты: князь Голицын-Квасник полоумный, князь Никита Волконский без штанов, граф Апраксин — дуралей от природы, Педрилло со скрипкой стоял на одной ноге, словно аист, а Лакоста с пузырем таскался по паркетам на четвереньках, будто паралитик...

— Видели! — кричали шуты. — Тут Юшкова что-то жевала...

Призвали лейб-стригунью коготочков царских:

— Ты буженину ея величества слопала?

— Пресвятые богородицы, — клялась та слезно, — да ведь то не буженинка была. Я пресфорку святую жевала...

Иван Емельяныч Балакирев рассмеялся и сказал, что воругоу он съест — с поличным. Таилась под лестницей дворца, в закуте темном, никому не ведомая беглая калмычка, грязная и косая. Полно было тряпья вшивого на ней. А вокруг валялись кости, обсосанные дочиста, обглоданные столь тщательно, будто они в собачьей будке побывали. Тускло и гневно глядели из мрака трахомные глаза дикой калмычки... Представили воровку пред очи царские:

— Ты кто? И почто мою буженину съела?

— А не все тебе буженина! — отвечала калмычка безо всякого почтения. — Надо когда и другим буженинки попробовать...

Анна Иоанновна засмеялась, от гнева остывая:

— Ишь ты какая смелая! Быть тебе за это при особе моей. И впредь, что я не доем, ты за меня дожирать станешь. Будешь отныне моей лейб-подъедалой. А зваться тебе велю Бужениновой.

Буженинову, недолго думая, крестили на греческий лад, стала она Авдотьей Ивановной. Сводили калмычку в баню, из колтуна ее вшей выгребли, в прическу много разных булавок и жемчужин натыкали, одели ее в шальвары на манер турецкий, и гилянды бусин на шею навесили. Авдотья тут на мужчин стала поглядывать с интересом дамским, природным.

От стола же царского летели в нее куски жирные:

— Буженинова! Эвон огузочек я не доела... лови!

Веселая жизнь продолжалась. Блистательный красавец Франческо Арайя преподносил царице новые кантаты; дивную музыку свою он сочетал с грубейшей лестью: игру Педриллы на скрипке композитор называл бездарной. Шуту с маэстро спорить не приходилось. А недавно, в потеху себе, Анна Иоанновна утвердила новый орден в империи — Святого Бенедикта, который носился в петлице на красной ленте, и орденом этим она шутов с престола награждала.

Иные из генералов злобились:

— Скоморохи паскудничают, а крест Бенедикта святого похож на крест Андрея Первозванного, коим героев отличают...

С оговору Франческо Арайя, креста не получил Педрилло и был опечален невниманием. Но скоро объявил шут при дворе, что на козе решил жениться. Тут как раз и очаковские торжества поспели. С пышной церемонией Педриллу во дворце обручали. Вели «молодых» в спальню камергеры царицыны, а жених за веревку тащил «невесту» на постель, усыпанную хмелем брачным. Императрица с придворными от хохота заливалась, радуясь забаве:

— Невестушка-то жениху не дается... Охти мне, лопну от смеха! Эй, Буженинова, хватай молодуху за рога. А ты, Квасник, держи ее за ноги, чтобы не брыкалась...

Педрилло большую поживу учуял от потехи этой, и, козла избражая, с козою он непотребствовал. После чего придворные по приказу царицы проходили мимо постели новобрачных, одаривали шута кошельками... А ведь тут были и фрейлины юненькие, невесты непорочные! Бог с ними, с фрейлинами, но здесь же находились и послы иноземные! Что они теперь о России по дворам своим в Европу отпишут?.. В самый разгар сатанинского веселья грохнула дверь — это вышел прочь шут Балакирев, человек честный.

Так завершились при дворе торжества очаковские, и столь мерзостно помянула царица павших под Очаковым воинов.

О Муза! ты чего отнюдь не умолчи —
Повеждь или хотя с похмелья пробурчи!

Иностранцев в царствование Анны Иоанновны поражало неустройство России: возводили мало, а больше ломали. Полученное от предков держали в запусте, и ничто не береглось с рачением. Всего-то седьмой год царила Анна Иоанновна, а вокруг Петербурга уже повыбибли зверье охоты ее бессовестные. Особенно же куропаткам и зайцам от царицы доставалось. Стрелок отличный, царица промаху не давала: горой перед ней мертвых зверей складывали. Теперь, разбойников бережась, она вокруг столицы леса пущие под корень сводила. Пни торчали всюду... пни, пни!

Волынский за природу страдал отечески, граждански.

— Эдак-то, — говорил он Ване Поганкину, — после нас место пустое останется. А где же внуки наши резвиться станут?

Ваня Поганкин составлял реестры ученые птицам и зверям, кои на Руси водятся. Волынский велел егерям зверей и птиц сетями отлавливать. С бережением везли их под столицу и там на волю выпускали... А с императрицей он даже поспорил однажды:

— Не пора ли теперь молодые леса насаждать?

— Не за тем рубила, Петрович, чтобы ты внове сажал.

— О потомстве помыслить надобно. Оно, потомство наше, говорить о нас яко о варварах станет... Хорошо ли?

— Мне еще забот о потомстве не хватало? Пущай сами разбираются. Или ты хочешь, чтобы меня разбойники из лесу прирезали?

— Бунты народные, — отвечал Волынский, — как тому античная история учит, завсе на площадях городских рождаются.

— Это где было-то? У нас на Руси бунты в лесах да степях зачинаются. И ты мне, Петрович, эту античность оставь... Жениться тебе надо. Сколь годков-то тебе, егермейстер?

— На сорок восьмой перелез, — отвечал Волынский.

В таком возрасте мужчина считался тогда молоденьким.

— Парнишка ты еще! Да за тебя любая пойдет. Слышала, что сватаешься к сестре архитекта Еропкина, а невесте скоро двадцать лет будет. На што тебе девка-перестарок? Пожелай только, и я сговорю за тебя Машку Головкину, внучку канцлера покойного.

Видать, пока герцог добр к нему, и царица добра будет. Стал Волынский дерзко помышлять о высоком предначертании своем. До Головкиных наезживал теперь — больше водою, на гондоле пышной. Дюжие дядьки-гребцы рассекали веслами невские воды. За ширмами из алого шелка возлежал на подушках, как сатрап восточный, Волынский под паланкином, дерзкие планы в душе лелея... А по утрам егермейстер бывал спокойнее. Проснувшись, слушал, как в высоких бутылках, изюминками заправленные, бродили кислые щи. Открывал одну из них — и щи фонтаном били в потолок, обляпывая капустой пухлоруких купидончиков. Пил жадно, кадыком ворочая. Лениво смотрел, как Кубанец крылом гусиным пыль с мебели сметает. Завтракал вельможа сыром французским и тертой редькой... Дела тайные сохранять Волынский всегда умел, но не было у него тайн, которых бы дворецкий его Кубанец не ведал. С ним он делился открыто:

— Как бы мне события ускорить? Чаю, что быть мне скоро на взлете. Порог под ногою ощущаю. Может, царицу презентовать чем? У меня на крайний случай редкостная вещица есть, каковую в природе не сыщешь... Баба-то волосатая еще живет на коште моем. Содержу ее в достатке. Может, подарить царице?

Весь в переживаниях, ехал Волынский на Хамовую (позже Моховая) улицу, где в остроге зверье размещалось. Проживали тут две львицы африканские, которые с малюсенькой английской собачкой дружили и ту собачку никогда не обидели. В клетках порскали черно-бурые лисы. В саду важно гуляли белые медведи. Волынский построил специальный амбар для обезьян, которых по его распоряжению яблоками кормили, молоком поили. Орел сидел на суку, с подрезанными крыльями. А на цепях метались два грозных бабра (сиречь — леопарды лютые). Артемий Петрович навестил и особые

покои в зверинце, где бабу свою содержал. А баба та заросла волосами, будто леший какой. Бриться же ей, вестимо, не давали.

— Здравствуй, Марья, это я... От стола моего вдоволь ли тебе еды отпускают? Не жестко ль спишь?

Баба волосатая в ноги ему падала:

— Кормилец ты мой, барин! Отпусти ты до дому меня... не мучь. Сколь лет на цепи сижу со зверьми, сама зверем стала. На што я тебе? Наказал меня Господь Бог бородой мужскою...

— Э, нет! — отвечал Волынский. — До деревни я тебя не пушу. И не сбеги от меня: коль поймаю — выдеру!

В самом деле, место такой редкостной бабе только в Кунсткамере, а ежели помрет, плавать ей до скончания мира в банке со спиртом. Жаль, что помер государь Петр Алексеич, а то бы он за этот «раритет» золота не пожалел... И, снова бабу под замок пряча, решил Волынский: «Волосатику до поры побережем. Может, еще когда откупаться придется? Тогда эта загадка природы меня выручит...»

Здесь, на Зверовом дворе, застал однажды Волынского скороход от царицы. Анна Иоанновна требовала его до себя. Быстро с Хамовой улицы вывернул он в карете на Итальянскую, помчался во дворец Летний. В покоях императрицы и Остермана застал. Даже сердце у него екнуло: «Или беда или... п о р о г?»

Анна Иоанновна, опечаленная, сказала ему:

— Австрияки-то никудышны в делах воинских, турки разбивают в Боснии армию их. Ныне же в Немирове конгресс будет мирный. Готовься представлять мнение мое. Тебе, егермейстер, не впервой дипломатом быть... Езжай, а я отблагодарю тебя!

В груди даже дух перехватило от высоты полета. Волынский понял, что успех его в Немирове — это и есть порог Кабинета.

Долго не понимал, что произошло, парижский маршал Бирон де Гонто, потом написал письмо Бирену, что он безмерно счастлив иметь в странах полуночных столь славного своего сородича, украшенного многими доблестями, и прочее, и прочее...

Правда, вскоре случился казус, озаботивший генеалогов!

Нашелся в Лотарингии аптекарь, из ума выживший, который через газеты публично по всей Европе объявил, что он тоже принадлежит к ветви герцогов Биронов.

Любая историческая нелепость должна иметь смешное окончание, и маршал Бирон де Гонто признал своим сородичем и захудалого аптекаря. Это признание он объяснял в Версале:

— Мне даже любопытно, что заведомые проходимцы решили почему-то украшать свое ничтожество именно моим славным именем и моим древним гербом. Но, признав родственником коновала митавского, почему я должен отказать в удовольствии лотарингскому микстурщику?

...Герцог Курляндский теперь именовал себя уже не Биреном, а Бироном (хотя предки его писались еще грубее — Бюрены). Соответственно, читатель, и мы впредь будем так называть его. Именно под таким именем, незаконно себе присвоенным, Бирен и вошел в нашу историю.

Глава седьмая

Татары еще сидят в Перекопе и ждут, когда армия Ласси повторит маневр Миниха прошлогодний, чтобы в Крым проскочить. А они уже здесь — на косе Арабатской! Идут, и слева от плеча солдата бурлит море Азовское, а справа загишало море Гнилое... Наконец татары разгадали обман русских. Менгли-Гирей (новый хан Крыма) сорвал свою орду от Перекопа, на лошадях она ринулась к южному побережью — к самой оконечности косы Арабатской, чтобы там встретить русскую армию на подходе, и русские волею природы сразу окажутся в ловушке! В этот рискованный момент среди окружения Ласси начался бунт. Заговор против полководца созрел между генералами...

Ночью, когда фельдмаршал дремал возле костерка, его обступили во мраке зловещие фигуры.

— Ретируйте войска назад! — сказал граф Дуглас.

— Еще шаг вперед по косе, и... с м е р т ь.

— Чьей смерти вы убоялись? — спросил Ласси.

По карте генералы стали ему доказывать:

— Мы на пути к гибели. Движение по косе к югу опасно. Пока турецкий флот не закрыл для нас капкан у Геничей, надобно бежать обратно в степи, спастись за стенами Азова...

— Молчать! — вскочил от костра Ласси. — Или не знаете, что нет предприятий на войне, кои не были бы сопряжены с риском?

Ему грозили. Его пытались уговорить.

— Надо отступать, фельдмаршал, — требовали генералы. — Не упрямяйтесь, Менгли-Гирей перегнал конницу от Перекопа в конец косы Арабатской — как раз туда, куда ведете вы нас. Одним ударом хан крымский дела свои поправит, а нам с кончика ножа даже спрыгнуть будет некуда... Здесь — вода, там — вода!

Ласси долго молчал. Потом сел на барабан, кожа которого, обветренная и сухая, скрипела под ним. Он плюнул в пламя костра и велел разбудить чиновников походной канцелярии.

— Вот этим господам, — он показал на генералов, обступивших его, — немедля выдать пасы до Киева... А чтобы в бессердечье меня потом не попрекали, даю в дорогу им конвой почетный в двести драгун конных. Пусть идут!

Фельдмаршал остался без генералов. Но с ним — солдаты, офицеры; с ним и калмыцкие тысячи на конях. С ним и моряки флотилии Бредаля, которая во мраке ночи сонно шевелила веслами галерными. Ласси долго ворочался на песке. В генеральских страхах была и доля истины. Они... п р а в ы! Армия сейчас — словно капля воды, стекающая по длинной ветке, и где-то есть конец, когда капля нависнет и сорвется, падая... к у д а?

Утром вернулись генералы. С понурым видом прощения просили. И пасы рвали, бросая клочья их себе под ноги — на песок.

— Прощаю вас, — сказал Петр Петрович. — Но доверия прежнего от меня не ищите. Черпайте, господа генералитет, примеры доблести от подчиненных своих, кои не пасов, а викторий жаждут...

Армия шагала дальше — по краю крымского лезвия, по гребню острому косы Арабатской. За тяжким покоем Гнилого моря угадывался, маня, зеленеющий Крым...

Армия Ласси не ведала, что творится в армии Миниха: Очаков был далек от них, дым его пожаров несло по другой стороне Крыма.

Очаковское пожарище благоухало смрадом трупным: мертвецы турецкие разлагались под руинами обгорелой цитадели. Над фасадами крепости зыбко дрожали в горячем воздухе гнилостные испарения. Держать на этом гноище армию становилось опасно.

— Не пора ли нам уходить?

Миних сознавал, что двору венскому он неугоден. Ибо цесарцы хотели русскую армию себе подчинить. Сделать ее послушным орудием венской политики. Но фельдмаршал желал самостоятельности — для себя! И сейчас, прослышав о разгроме турками австрийских легионов, Миних со злорадством сказал:

— Манштейн! Ну-ка затащите ко мне фон Беренклу...

Венский атташе явился, и Миних заворчал:

— Не вы ли, сударь, утверждали, что русская армия — дикая и воюет не по правилам? Любопытно знать, каковы же правила в вашей армии, если ее в клочки разносят басурмане?

Цесарский майор ожесточился:

— Инструкция предписывает вам, фельдмаршал, следовать со своей армией на Бендеры, дабы положение нашей армии облегчить.

— Опять русским ваше г... месить? — рявкнул Миних. — Может, сознаетесь, майор, по чести: зачем ваш император старый в эту войну залез, как в лужу?.. Молчите? Понимаю вас.

— Вена не забывает, что наш принц Антон Брауншвейгский скоро станет отцом российского императора, и наш долг..

— Да бросьте! — отмахнулся Миних. — Едина цель у вас, чтобы солдат российских не допустить до Дуная и княжеств валашских. Но мы там будем! Так и отпишите в Вену...

— Вас ввели в заблуждение советники ваши.

— Нет! Я введен в истинность намерений ваших из всего опыта общения с вами. А на Бендеры я пойду — торжествуйте!

— Аминь, — произнес пастор, утишая фельдмаршала (Мартенс боялся, что в запальчивости Миних наболтает много лишнего).

Фон Беренклу удалился, и Манштейн спросил:

— За что вы так безжалостны с ним были, экселенц?

— Беренклу подлейше в Вену депешировал, что русские солдаты и вправду хороши, а я, великий Миних, будто недостойн носить чин австрийского капрала. Из Вены это письмо переслали в Петербург, и... Вот копия с него, которую мне Остерман с любезностью переправил, чтобы кровь мне испортить.

В шатер шагнул штаб-доктор Павел Кондоиди и доложил, что в итальянской Мессине вспышка чумы. Следует отныне окуривать почту и курьеров.

— Мессина далека от нас, — ответил фельдмаршал. — А мы идем на Бендеры и, окуренные порохом, уже не заболеем. — Он повернулся к Бобрикову, спрашивая: — Что значит слово «Бендеры»?

Походный толмач развел руками:

— Не могу перевести, ваше сиятельство. С турецкого на русский лад получается такое: «Я хочу».

— А я вот не хочу... Бендер! — смеялся Миних. — Просто мне желательно сейчас отвести армию подальше от Очакова, в котором скопище трупов грозит нам гиблым поветрием...

В глубине лимана Днепровского моряки тем временем заложили шанец Александровский (и не ведали, что на месте этого шанца вырастет город благодатный — Херсон!). Казачья вольница улетала в степи, преследуя ногайцев, сама будто ветер степной, кони неслись под донцами, почти не касаясь травы... В Очакове спешно укрепили

артиллерию, понаехали из России инженеры воинские; на кораблях с песнями и гвалтом прибыли в лиман коши запорожские, — всех их оставили крепость стеречь. А сама армия без торопливости потянулась шляхами в сторону Бендер.

— Что-то не подгоняют нас, — судачили офицеры. — Видать, маршал ради австрийцев ног ломать не желает. А вот об Ласси ничего не слыхать: не пропал ли со всей армией?

.....
— Один раз, — сказал Ласси, — мы врага обманули. Но сейчас, кажется, Менгли-Гирей обхитрил нас. Сам хан поджидает армию в ауле Арабат, а мост из бочек у Сиваша, нами оставленный для ретирады, татары разрушили. Выход один: обмануть врага вторично.

С моря шла крутобокая скампавея под квадратным парусом и под веслами, которые взмахивались ровно, будто крылья большой птицы. С ходу она врзалась в берег — полезла форштевнем на яркий, слепящий от солнца песок. В воду, засучив штаны повыше, прыгнул с борта скампавеи капитан Дефремери.

— Флот! — прокричал издали. — Флот подходит турецкий...

— Так деритесь с ним, — ответил Ласси. — Нам, сухопутным, с кораблями не совладать... Передайте привет Бредалю.

Порыв ветра рванул с гребня косы песок, сыпанул по людям, — сухо и жестко. На галере снова зарокотал, хлопая, парус. Скампавею качнуло, приподняв, и Дефремери на прощание сообщил:

— Буря! Еще вчера ждали... Буря поспешает!

С барабана, стоявшего перед Ласси, ветер сорвал карту и унес ее в небо — к большим и черным тучам, плывущим от Крыма. Скампавея отходила прочь, в знойных вихрях пропадала вдаль Арабатская коса, от которой несло жаром, словно от печки. Парус брали в рифы матросы, одетые на голландский образец — в штанах до колен, в чулках рыжих, в шляпах, на горшки похожих. А на веслах трудились солдаты — полуголые, черные от загара, спины у них белые от соли. Над людьми гудела раздутая шквалами парусина, а двенадцать пар весел, вырубленных из русского ясеня, настойчиво вздымали воду под бортами скампавеи.

Дефремери показал вдаль, спрашивая Рыкунова:

— Плохо вижу... Скажи-ка, Мишка, что там виднеется?

— Турок бежит под флагом капудан-паши...

Вдоль опасных мелководий, иногда днищем по отмелям чиркая, скампавея Дефремери поспела к флотилии, когда круто заваривался шторм. Корабли уже рвало с якорей. А на иных командирами рядовые

матросы служили (не хватало офицеров). Вдоль горизонта, будто отбитая по веревке, протянулась линия парусов турецкой эскадры. Бредаль опустил трубу и сказал не печалься:

— Они мористее, оттого море трепать их станет больше...

Всю ночь било флотилию на волне. Прибой был жесток и крут. Счастливы, кого волною на берег выкидывало. Иные же корабли через многие течи тонули. Сутки подряд летел смерч воды через косу Арабатскую, посереде которой, цепляясь за гребень ее, спасались люди и спасали из воды что попадется. Бочка там, пушка, канат, весло — все давай. Из 217 выпелов флотилия Бредалья в одну ночь потеряла 170 выпелов. Только чуть потишало, вице-адмирал приказал:

— Это еще не горе! Стать в дефензиву...

Дефензива — оборона. Отрыли окопы, вдоль косы наставили пушек корабельных, обложились ядрами. Горели всюду костры, чтобы прожарить ядра докрасна. Развевались на ветру лохмотья матросских голландок. В улыбках сверкали солдатские зубы.

— Иди к нам, турка, мы тебе кузькину мать покажем...

От бортов вражеской эскадры сорвались разлапистые якоря и грузно потонули в море. На флагмане капудан-паши раздался сигнал к огню. Тут и русские стрельбу открыли. Да столь удачно, что душа радовалась. С косы было видно, как ядра летят и в бортах застревают. Оттуда — дымок, потом дымище, а затем, глядишь, и огонь показался. Дефремери командовал батареей, поучал неопытных канониров, чтобы не всё в борта целились — надо и рангоут сворачивать, надо паруса ядрами разрывать. Четыре часа длилась баталия, пока турки не ушли «в великом замешательстве». Бредаль велел мичману Рыкунову взять корабль, спуститься на нем к зюйду и выяснить, что там с армией.

Мичман прошел вдоль косы, но там, где вчера еще видели лагерь войска, теперь не было ни души. Опустела коса Арабатская, лишь на песке еще виднелись следы солдатских ног. Рыкунов пробежал под парусом еще с десятков миль и лишь тогда заметил небольшое войско.

Приблизились к берегу.

— Эй! — окликнули идущих по косе. — А где же армия?

К воде подошел офицер, его прибоем с головой окатило.

— Армия? Того знать не положено.

— Я делом пытаю: кто вы такие и куда идете?

— Мы из армии Ласси, а идем прямо на Арабат — до самого конца этой треклятой косы.

— Там же хан крымский засел, он погубит всех вас!

— На то и посланы, — отвечали с берега. — Видать, не уцелеем. Но зато туркам глаза отведем от армии... Вот и шлепаем!

Прибой снова нахлынул с моря. Офицер отряхнулся и (весь мокрый, весь непреклонный) побежал нагонять войско свое.

Армия фельдмаршала Ласси п р о п а л а с косы.

Она — как та капля, что долго сочилась по длинной ветке и вдруг исчезла сама по себе, высушенная ветром, уничтоженная солнцем!

Где она? Этого не знали даже татары...

Ни дождинки с неба. Вода в лиманах затухла, а Днестр и Буг стали зелеными от цветения. Жарко было...

Армия Миниха шла на Бендеры — по выжженным лугам, через пепел «палевый». Солдаты шагали вдоль Буга, мечтая поскорее войти в лесную прохладу. В рядах слышалось — мечтательное:

— Бруснички бы...

— Малины!

— Родничок бы встретить...

Но даже кустарник, который желтел на берегах, и тот безжалостно выжгли татары на пути армии русской. Скот падал тысячами. Оставался лежать в степи, гнилостно вздуваясь боками. Драгуны давно топали пеши, неся на себе седла и амуницию. Иные плакали: разлука вечная с лошадьёю — как с человеком близким (жестока она и огорчительна).

Но как бы ни велики были тягости походные, ни одного дезертира армия Миниха не знала. Их было много, очень много, таких беглецов, в дни мира. Но никто из русских воинов не убежал с войны — и это особенно поражало иностранных атташе, что при российской армии состояли для наблюдения.

В поисках лугов для пастьбы Миних с разгону форсировал Буг, надеясь выискать нетронутые поляны. Через топь армия искала травы, цветов, родников и прохлады. Сравнительно еще немного отошли они от Очакова, а до Бендер было очень далеко.

— Остановите армию, — сказал Миних. — Надо подумать...

Все уже решено: в Бендерах им не бывать, и Миних писал к императрице: «Ни о чем более, как о способном и безопаснейшем обратном марше, размышлять принужден я находился...» Здесь, на просторе степей, фельдмаршал раскрыл свои карты: Бендеры в этой кампании брать ему не хотелось.

— Идем на винтер-квартиры? — спросил его Манштейн.

— Да, — отвечал Миних, — потянемся на Украину...

Пастор Мартенс говорил Миниху правду в лицо:

— Вы не победили в этой кампании. Вы ее выиграли, как профиты в карты. Везучий человек искусен кажется и без дарований. После всех ошибок, допущенных вами под Очаковым, вы заслуживали быть разбитым полностью и плавать в луже крови...

— Победителей не судят! — огрызнулся Миних.

— Но их осуждают время и потомство. Удачи же случайные не выковывают победы прочной. Я вам, мой друг, добра желаю и говорю — постерегитесь! Ведь батальное счастье переменчиво, как непутевая женщина. Сейчас вы славны перед Европой, но можете стать и смешным...

Армия топала на Украину, Миних порою задумывался:

— Кто мне скажет, куда провалился Ласси?

До него доходили слухи, будто армия Ласси уже разгромлена в Крыму, перебежчики и лазутчики клятвенно сообщали, что в Кафе уже торгуют целыми связками русских солдат. Будто редиску, вяжут татары пленных в пучки и продают за море по дешевке, ибо добыча хана велика... Верить? А почему бы и нет?

Глава восьмая

После сожжения Бахчисарая столица ханства Крымского переехала в Карасу-Базар*... Гортанно провыли с минаретов муэдзины, первый намаз свершился, и город восстал к будням. А будни — не работа (труд принадлежит рабам), правоверные будни — это кейф, это десятая чашка кофе с пастилою розовой, это долгие беседы о ласках жен, особенно удачных за ночь минувшую.

Карасу-Базар оживал... Под укромной сенью платанов Таш-ханэ открылись ларьки и кофейни. В горшках, серебром оправленных, подают здесь гостю мясо молодых жеребят. Льется в чаши светлый жир баранов, и течет шербет. Тайком (лишь в задних комнатах) струится желтое вино, запретное в раю мусульманском. Сидят на мягких войлоках мудрецы-кадии. Пишут завещания и делят по закону имущество покойных. А за шелковой ширмой — суэта, поспешный говор, там мелькают мужские тени, и видны через шелк взмахи обнаженных рук. Это привезли вчера новенькую рабыню, еще девственную, и теперь опытные покупатели ходят смотреть ее и щупать. От кузниц уже понесло жаром — полуголые рабы куют лошадей татарских. Завизжали точила, на которых правят янычарские сабли. В темных щелях

* В 1944 г. Карасу-Базар был переименован в город Белогорск, районный центр в Крыму неподалеку от Симферополя.

лавчонок с барахлом сидят еврей-крымчаки, веры не потерявшие, но одетые уже как татары, и говорят они по-татарски.

Если послушать говор базарный, так много новостей (и самых свежих) узнаешь в этот утренний час:

— Почтенный Мустафа-ага, кладезь премудрости, ездил вчера на Арабат продавать оливки. Все силы Аллаха собрались там, чтобы встретить поганых гяуров саблей.

— Да продлит Аллах дни нашего ханства, и урусы уже не выберутся с косы Арабатской, им уже нельзя вернуться и к Гениче — наш доблестный хан утопил бочки моста их в Сиваше.

— Торгуйте и покупайте спокойно, чтящие пророка: саблей живущее, ханство татар саблей живет и саблю защитится...

День обещал быть хорошим. Но вдруг громыхнул гром при ясном небе, и это показалось многим странным. Вслед за этим воняющее порохом ядро влетело прямо в гущу базара. Оно разбило свинцовое ложе фонтана и, кувыркаясь, опрокинуло лоток с шипящим маслом, в котором жарилась сладкая скумбрия.

Первым опомнился чалмоносный мудрец-кадий.

— Это уже не от Аллаха! — сказал он и, подобрав полы халата повыше, побежал домой, чтобы успокоить своих восемнадцать жен.

А рабы в кузницах отбросили молоты и стали с надеждою гром загадочный слушать. Один из них подхватил с земли ядро, упавшее на базар с неба, и осмотрел его со всех сторон:

— Да это ж наше — русское... откуда оно?

60 000 татарских сабель зря сверкали у Перекопа, напрасно сидели татары и возле Арабата, возле боевых костров впустую стучали барабаны-дасулы, бились бубны-дарие и ревели зурны. В ожидании подхода русских по косе татары курили тысяча первую трубку и слушали сказки, что рассказывали им бродячие дервиши...

Еще когда началась буря на море, Ласси сказал:

— Ну и пусть они там сидят. А мы их снова обманем...

Армия вошла в Гнилое море. Сильная буря согнала прочь воду, Сиваш обмелел, и русская армия ворвалась в Крым — прямо в устье Салгира; вдоль этой речонки (которая была для татар — как Волга для русских) Ласси повел солдат прямо на Карасу-Базар...

Менгли-Гирей, оскорбленный, заявил:

— Разве это барсы? Это хитрые шакалы, которые не ходят по дорогам, а лазают под заборами. Но мы поклялись на Коране, что в этом году русским в ханстве не бывать...

Он нагнал армию Ласси в 30 верстах от Карасу-Базара. Страшен был удар несметных полчищ татарских, когда они от Арабата — на полном разбеге коней! — надели на солдат русских, чтобы растоптать их всмятку, изрубить в куски и куски эти разбросать потом вокруг себя на поживу коршунам...

Сначала туча стрел упала на русских воинов, и стрелы эти, треща, вонзались в деревья, тупо бились о камни их железные наконечники. Солдаты с бранью вырывали стрелы из тел своих...

— Разбить татарву! — повелел Ласси...

Русские встали непрошибаемой стеной. На них обрушилась кричащая волна татар. Она разбилась об эту стенку и потекла обратно, вскипая кровавой пеной бессилия.

Ласси руку вытянул:

— Пушкам — залф! Коннице — марш!

Погнали татар.

— Успех запечатлеть укреплением его, — проговорил Ласси.

И вот первое ядро уже летит в майдан Карасу-Базара, сокрушая фонтан и сшибая лоток со скумбрией. Карасу-базарцы бежали вслед за ордой Менгли-Гирея, ища спасения на пепелище Бахчисарая. В захваченном городе остались только греки и армяне. Еще топились бани столицы, еще не остыл кофе в узорных кофейниках, еще за ширмою стояла нагая рабыня (так и не проданная).

— Предать огню гнездо поганое! — распорядился Ласси.

Выжгли и эту столицу Крыма, чтобы неповадно было татарам на Руси хищничать. Ласси досмотрел гибель города до конца. Когда стали потухать от него последние головешки, он сказал:

— Теперь нам следует отойти назад. Здесь скалы нас сжимают, и дороги худы больно... — Вокруг него собрались офицеры, виктории радуясь. — А вы не радуйтесь, — молвил Ласси. — Сейчас мы ханство гнусное за пупок держим. Но за глотку нам его уже не дано схватить. Враг увертлив и опасен... Ежели Менгли-Гирей умен будет, то все мы погибнем в Крыму, как цыплята в котле с маслом кипящим...

Ласси поступил правильно, что не стал держаться за Карасу-Базар, — он вдруг резким маневром оттянул свою армию назад, плотно сомкнул ее с вагенбургамы обозов. Вышли на долину, где звенели ключи с желтоватой водой, попив которой люди одуревали, будто от белены. Ласси дал солдатам отоспаться на траве. Посреди широкой равнины Менгли-Гирей, отчаясь, вновь напал на них. На этот раз вели татар в атаку муллы и шейхи с дервишами. Несли они в руках Кораны из мечетей крымских, вещали всем эдем сладостный

с толстыми гуриями... Подумать только! Сколько раз ходили татары на Русь, кормясь от грабежа, все вырезая, все выжигая, все расхищая. Казалось им, что Аллах всемогущ и всегда постоит за правоверных. Но русские пришли сюда с отмщеньем — и небывало-яростно кинулись в битву татары...

Казачи взмолились перед фельдмаршалом:

— Христом-богом просим — дозволяйте спешиться...

Оставив лошадей в бережении от пуль, казаки дружно вломились в костоломье рукопашного боя. Лезли на татар кучей — словно в драку, когда дерется станица со станицей. Татары трижды отбрасывали казаков от себя. Но, кровь вытерев и раны перевязав, казачье снова устремлялось в побоище:

— Пошли усе! Святой Микола, не выдавай...

В порядке стройном, под грохот барабанов, в низину боя, неся квадраты своих штандартов, скатывались полки регулярные. В железной дисциплине — ряды солдат, а мужество их — непревзойденно.

Мерный шаг. Поступь четкая. Рук взмахи. Блеск оружия.

Крымское солнце ярчайше осветило эту картину, и войско регулярное золотым слитком вспыхнуло на малахите гор таврических.

Ласси не удержался при виде такого великолепия.

— Ай, молодцы! — он закричал. — Нет силы, чтобы сокрушила вас, ребята!..

Голдан-Норма в нетерпении крутился перед Ласси в седле, а под калмыцким воином конь кружил волчком. В деревянных колодках стремян прочно застряли чувяки тысячника, расшитые бисером.

— Любезный друг, — сказал ему Ласси. — Сейчас, чувствую, татары прочь побегут. Вам их преследовать жестоко...

Голдан-Норма спросил — как далеко ему врага гнать?

— Насколько хватит сил у лошадей... Хоть до моря!

Перед массивом регулярной армии России татары присели, будто их по башке треснули. Растерялась орда — побежала. Тогда понеслись вослед им калмыки, траву топча, смятение сея. Зрелище было восхитительное! Они выхватывали стрелы из колчанов. На тетиву прилаживали быстро. Разили врага, преследуя его потом на саблях. Калмыки молнией домчали до синих гор и...

Горы скрыли калмыков от русской армии.

— Не пропадут небось, — говорили повсюду.

Армия заспешила на север, снова к морю Гнилому, спеша, пока татары не очухались от поражения. Была еще одна опасность: ведь от

ворот Ор-Капу мог выйти, отрезая пути домой, турецкий гарнизон из янычар. Армия шагала торопко. День, два, три...

— Калмыки вернулись? — часто спрашивал Ласси.

— Нет. Как ускакали от нас в погоню за татарами, так и пропали за горами. Уж не переметнулись ли к басурманам?

Ласси на всем пути следования армии рассылал вокруг отряды летучие — партизанские. Они палили улусы татарские, чтобы не воскресла сила нечистая, сила опасная. Большие стада захватывали, и Ласси весь скот повелел гнать перед армией — в Россию.

Солдаты шли на родину веселые.

— Эдак-то ладно! — говорили. — Гляди, мяса сколь бегаёт. Уж коли маршал и мясо на Русь поташил, знать, и нас вытащит...

Из арьергарда примчался гонец — в смятении:

— Татары прутся на нас... туча пыли несется!

Пушки развернули назад. Скакала яростная конница, гоня перед собой толпу каких-то людей, и, бляя жалобно, бежало много-много баранов... Пылища столбом! Канониры выглядывали из-под пушек, фитили едко чадили в их руках.

— Да это же не татары... Калмыки возвратились!

Голдан-Норма сразу рухнул в ноги Ласси:

— Прости, батька, я глупый...

Извинялся он, что не прошел Крым от моря и до моря. Оказывается, калмыцкая конница — неутомимая! — добежала до самого Бахчисарая. А там они сгоряча догнали и доломали все, что не успел разрушить Миних в прошлом году. Тысячу знатных мурз татарских пригнали в полон калмыки, а баранов — даже не сосчитать...

Ласси утешал Голдан-Норму:

— Не порицания, а похвалы достойны воины твои...

Победоносная армия вышла к узости Сиваша, стали здесь наводить мост, чтобы уйти из Крыма. Янычары прибежали из Перекопа, из дальней Кафы тоже подходили враги, — казалось, на этом мосту враги и задушат русских... Ласси поднял сухонькую длань.

— Вот теперь, — сказал, — когда мы одною ногой уже в России, можно и не беречь пороха... Пушками их избейте. Жарь!

Под ядерным градом противник отхлынул в степь. Переправа прошла спокойно. Ласси встретился с вице-адмиралом Бредалем:

— Надо бы морем имущество воинское отправить, дабы здесь не сжигать его напрасно. Подыщи офицера дельного, чтобы он и больных забрал до Азова.

— А раненых?

— Раненых армия на себе понесет...

Этот удивительный рейд армии по глубоким тылам противника по сути дела был рейдом п а р т и з а н с к и м.

Глава девятая

Возглавить экспедицию Бредаль назначил Дефремери:

— Мортирный бот мичмана Рыкунова сохранился от бурь лучше иных кораблей, вот его и возьмешь под команду свою...

Инструкция, перебеленная писарями, была скроена из семи пунктов. Бредаль задержал палец на чтении пункта четвертого:

«Неприятелю, каков бы он силен ни был, отнюдь не отдаваться и в пользу ему ничего не оставлять. Впрочем, имеете поступать по регламентам и по прилежной своей должности, как честному и неусыпному капитану надлежит».

Дефремери расписался внизу приказа и обиделся:

— Не возьму в толк я, отчего служителю военному, присягу давшему, прописные истины письменно указывают?

Бредаль травничек у окошка на свет поглядел. Там, на донышке фляги, еще осталось немного рома, и он наполнил чарки.

— Оттого, — отвечал выпивая, — что на совести твоей грех капитуляции уже имеется. Кто фрегат «Митау» на Балтике сдал? Кто к смерти позорной за это присужден был?

— Я.

— Ты! Пей вот, и ветра тебе попутного...

Дефремери выпил и вытер рот немойтой ладонью:

— Ладно! Ежели турка встретим, то эта вот чарка и была моей последней услугой в жизни беспокойной... Я пошел!

Палуба бота мортирного припекала пятки. Смола в пазах между досками, запузырясь, лениво вскипала.

— Что у адмирала-то сказывали? — спросил Рыкунов.

— Да опять старьем попрекали... Не ведаю, как и доказать, что, от Франции рожденный, я России ныне слуга верный.

— Лови ветер! — заметил боцман, и паруса раздулись.

Выбрать якорь — дело пустяшное. Пошли они на Азов...

Плывется им хорошо... Четверо «близнят» да мортирка старенькая глядятся с бота в синь азовскую. Утешно лежать на палубе ночью, под небосводом из черного бархата, который расшит яркими звездами.

Дефремери с Рыкуновым больше отдыхали, а корабль вел боцман Руднев...*

Мичман до войны придворный яхтой «Елизавета» командовал, и Дефремери спрашивал:

— Мишка, а чего ты яхту покинул?

— А ну их к бесу, — отвечал Рыкунов. — Императрицу-то я не катал морем, она воды боится. Зато Бирена с его горбатихой из Питера до Петергофа немало потаскал... Набьются по каютам вельможи, нам и присесть негде. Гальяон по часу занимали, будто протоколы пишут... Службы никакой, только угождай им всем. По мне, так на войне лучше, — здесь при деле я...

Руднев — из туляков, Рыкунов — тверской дворянин, а Дефремери — француз из Гавра, одним ковшом они умывались, из одного котла кашу ели. Хорошо им было вдали от начальства, поступай в море как знаешь — по совести.

— Только в море и живешь по-людски, — говорил Руднев.

Вечерами мортирный бот подходил к берегу, забирался в камыши, спустив паруса. Корабль ночевал в зеленой тишине, отдыхая каждой доской своей от трудного бега по волнам. В обнимку с пушками дремали люди. Переступая через спящих, выходил на палубу жирный черный котик, любитель живой рыбы, по прозвищу Султан, он мылся лапой и подолгу глядел в камыши... В морской безлюдной пустыне, как сигналы опасности, вспыхивали яркие зрачки кота, еще недавно жившего в улусе татарском, пока не достался он победителям — как трофей военный.

«Мяу-у», — и, распушив хвост, уходил кот с палубы...

А на рассвете, ломая форштевнем осоку хрусткую, корабль под парусом снова выползал на широкий простор. От камбуза несло уютным дымом — солдаты жарили оладьи из муки кукурузной. Жизнь морская не нравилась им, и матросов они спрашивали:

— Чудно нам! Как же ты, парень, не боишься плавать по морю, на коем столько уже людей погибло?

— А твои родители каково умерли?

— Вестимо, дома — в постели.

— А ты после этого не боишься в постель ложиться?

— Ну, ежели побьют вас? Ведь вы в воду упадете.

— А тебя побьют — на землю падешь... Какая разница?

Противный ветер надолго задержал экспедицию возле Федотовой косы. Заякорясь намертво за рыхлый грунт, отстаивались в тени берега.

* Это предок командира легендарного крейсера «Варяг», капитана I ранга В.Ф. Руднева (1855–1913).

Лодки с грузом амуниции отстали. Совсем неожиданно затишье службы было нарушено возгласом с вахты:

— Турки! Эскадра идет не наша...

Дефремери насчитал за тридцать вымпелов и сказал:

— Созываю для совета консилиум спешный.

А сам думал: «Будто смеется надо мной судьба. Опять история, как прежде... Но в этот раз выбор сделан, а последнюю чарку уже принял!» Первым на консилиуме говорил боцманмат Руднев:

— С эскадрой боту не совладать, а погибать надо с шумом.

Держал речь мичман Михаил Рыкунов:

— Это верно сказано. И нуждаюсь я только об одном: как бы перед гибелью нашей поболее напакостить врагу подлому?..

Прибавили парусов. Мортирный бот дернуло вперед от напора ветра. Турецкий флагман боялся близиться к мелководьям, но тридцать плоскодонных галер, почуяв легкую добычу, уже гнались за русскими и настигали их. Первые ядра пролетели над мачтой бота, Дефремери утешал солдат:

— Все у нас — как на земле родимой. Вы не пугайтесь. В стихии морской, для вас несвычной, скоро останусь один я!

— Окружают нас, — шепнул мичман Рыкунов.

— Вижу, но мы успеем... Смолу из трюмов подать.

Боцманмат выкатил на верхний дек бочку. Дефремери ударом топора высадил из нее днище. Бочку дружно покатали вдоль корабля, и она тягуче извергала на палубу черные потоки горючей смолы.

— Нагоняют нас! Сейчас возьмут на abordаж.

— А мы ветер забрали хорошо — поспеем до берега... Эй! — закричал Дефремери. — Ташите порох из крюйт-камеры.

Зажав под локтем картуз тяжелый, он сам пробежал по кораблю. Щедро сыпал поверх смолы искристый порох. Паруса напряглись, выпученные ветром. До земли было еще с полмили, когда-mortирный бот врезался в отмель, с шипением выполз килем на песок.

Парус бессильно захлопал, ветер щелкал фалинями.

— Всем на берег... с ружьями! Быстро, ребята!

Здесь было мелко и рябило до самого берега. По плечи в воде уходили к земле матросы и солдаты. Несли на себе больных. Жалостливый мичман Рыкунов нес кота черного, часто оборачивался назад, крича что-то...

Дефремери глянул еще раз на галеры турецкие, которые обступали бот, все в рычании фальконетном, все во всплесках тяжелых весел, на

которых сидели, скованные цепями, голые рабы. Он достал огня из печи камбуза, где варился горох к обеду, прижег фитиль и стал ждать. Кто-то цепко схватил его сзади за плечо.

Это был боцманмат Руднев.

— Ты почему не ушел? За борт... прыгай, дурень!

— Я не дурней тебя, — отвечал Руднев. — Смерть приятъ в одиночку худо. Ты не брани меня: вдвоем нам станет легче...

С берега видели, как над кораблем вздыбилось белое облако — это Дефремери бросил огонь в кучи пороха. Мортирный бот, окруженный галерами врага, стало разрываться в пламени. Со свистом, обнажая черные мачты, мигом сгорели паруса. Флаг русский догорал, подобно факелу. Огонь добрался до крыйт-камер, а там взорвались разом запасы картузов и бомб mortarных. Корабль выпрыгнул из моря и рухнул вниз грудой дымящихся обломков.

— Дефремери-и!.. — закричал Рыкунов.

Мичман кинулся в море. За ним — еще двое матросов.

Где вплавь, где ногами дно нащупывая, спешили они, чтобы тела погибших от турок выволить. Остальные уходили дальше — в самую жарынь степей, опасаясь погони с кораблей турецких. Мичман Михаил Рыкунов записан в документах «безвестно пропавшим». В числе пленных его тоже никогда не значилось...

«Потомству — в пример!» — писали на старых памятниках.

Бредаль, черство отчеканил в рапорте ко двору царскому, что, мол, капитан III ранга Петрушка Дефремери поступил согласно данной ему инструкции. Анна Иоанновна перекрестилась при чтении — и все... Больше ни звука. Ни шороха. Ни восклицания. Никто не пропел над павшими героями «вечную память».

Российская империя этого подвига не заметила.

1737 год — да будет он памятен! В этом году родилась святая формула российского флота:

ПОГИБАЮ, НО НЕ СДАЮСЬ.

Дефремери ждала печальная судьба — он был забыт. А имена тех, кто повторил этот подвиг, уже золотом гравировали на досках мраморных, их имена понесли корабли на бортах своих.

Дефремери — как облако: проплыл над морем и растаял в безвестности. Историки прошлого писали о нем: «И погиге память его с шумом...»

Глава десятая

Издревле протянулся великий шлях, связавший кровно две большие страны, два великих народа — Киев с Москвою!

Тревожно и любопытно проезжать между селами, от города к городу. Часто встречались команды воинские, спешащие на юг — к славе. Катились назад арбы тяжкие с больными и увечными воинами. Толпами и в одиночку топали бурсаки, кто на Киев — искать учености, а кто прочь от Киева — в бегах от наук мудреных... Таборами, словно цыгане, тянулись от Глухова до Нежина греки торговые. Проезживал и ясновельможный пан в карете парижской, озирая мир хохлацкий через стекла брюссельские. Серый от пыли, кружкой у пояса брэнча, шагал монах по делам божеским — бодрый и загорелый, воруя по пути все, что плохо лежало. Шли через степи, солнцем палимы, кобзари с бандурами...

Много виноградной лозы на хуторах мужицких. Дыни-то зреют какие — будто поросята греются между грядок. Цветет тутовник в «резидентах» украинской шляхты — под сочными звездами. Много могил встречает путник на пути древнем. Есть и такие, которые время уже прибило дождями, а ветер давно обрушил кресты. Но иные еще высятся курганами в лебеде и ромашках, великие битвы умолкли тут, пролетают теперь над павшими тучи и молнии новых времен.

Влекут волы обозы с солью бахмутской, с ярь-медянкою севской; тащат лошади, в хомуты налегая, обозы московские — с порохом, с ядрами, с бомбами. Русский путник, по шляху следуя, замечает душевно, что народ украинский нрава веселого, склонен к песнопению и домостроительству; хозяин жене во всем повинуется, на бабу свою — даже пьян! — руки никогда не подымет... Жизнь на Украине вольготнее и душистее, нежели на Руси, и Артемий Волинский, в Немиров едучи шляхом длинным, эту вольготность ощущал. Но мысли его перебивались помыслами о делах военных, делах каверзных — политических...

Пушки к осени докуривали остатки былой ярости — слово теперь за дипломатами. Дым сералей бахчисарайских расщекотал ноздри и Бирону; обязанный России за корону курляндскую, герцог отныне зависел от ее политики, и теперь интересы русские стали ему намного ближе. Перед отъездом Волинского в Немиров он позвал его к себе.

— Конгресс в Немирове, — сказал Бирон, — немирным и будет. Остерман шлет от себя брюзгу Ваньку Неплюева да еще барона Шафирову, брехуна старого. А я, Волинский, на тебя, как на своего человека, полагаться стану... И — возвеличу, верь мне!

Волынский с Шафировым был готов ладить: человек умный, толковый, породнясь с русской знатью, он и держался едино нужд российских. А вот Неплюев, хотя и русак природный, но способен подстилкой ложиться под каждого, что его старше чином. Явный остермановский оборотень, лжив и низкопоклонен, без капли гордости великорусской!

Австрия терпела от турок стыдные поражения. А отчего? Да наврались на славян, которые грудью на Балканах встали, дорогу на Софию австрийцам закрыв. Сами в рабстве турецком, турок ненавидя, славяне не желали и рабства германского.

На въезде в Немиров коляску Волынского встретил Остейн, посол царский в Петербурге.

— О, вот и вы! — воскликнул приветливо. — Пока грызня с турками не началась, обещайте нам, что русская армия поможет Австрии, которая всю тяжесть войны с османами на себе тащит...

Волынский из коляски не вылез и так ответил:

— Ежели Вена способна сорок тысяч придворной челяди содержать, то, надо полагать, и без русских солдат обойдется... Забрейте лбы лакеям венским — вот и армия наберется!

Грызня началась. Но не с турками — с союзниками.

Возле древнего городища Мирова, что притихло за Винницей, запылится городишко Немиров; здесь шумело жупанное панство, суетно на улицах от торговцев закона Моисеева; лавок же в Немирове гораздо больше, чем жителей, но, кажется, в лавках тех больше воздухом торговали... А вокруг города рыщут конные татары, боязно было спать от кровавых гайдамацких всполохов.

В трех шатрах, раскинутых на окраине, разместилась русская дипломатия. Немиров был хорош — в прудах, в левадах, белели под луной его мазанки; вечерами шли с водопоя гуси, как солдаты, в каре гогочущие. Прослышав о приезде Волынского, понаехали со Львовщины паны высокожондовые — Собеские, Потоцкие, Ланскоронские да Мнишехи. Артемий Петрович густо хмелел от вудок гданских да от старок краковянских. Королевич польский Яков Собеский (друг славного поэта Сирано де Бержерака) мочил усы в медах прадедовских, «пшикал» ядом в сторону Московии, зато Версаль он похваливал... Подарил королевич Волынскому голландское перо из стали, вделанное в ручку, и Петрович рад был подарку:

— И не мечтал о таком! У нас и царица гусиным пишет...

Подсел к ним ласковый патер-иезуит Рихтер, преподнес Волынскому пухлое генеалогическое сочинение.

— Пан москальски добродию, — стал вгонять Волынского в тщеславное искушение, — род Волынских есть род княжеский, как доказано в книге моей. Гордитесь же: Волынские намного древнее Романовых, вы имеете больше прав всю Русью владычить...

От непомерного винопития с поляками он даже заболел. Немировский эскулап решил: «Эти москали все стерпят!» — и пустил ему кровь пятнадцать раз подряд, отчего Артемий Петрович чуть было на тот свет не отправился.

— Скажи мне, дохтур, — пугался он, в шатрах отлеживаясь, — мессинская чума не добралась ли уже до Немирова?..

Россия на конгрессе требовала от турок всю Кубань, весь Крым, все земли Причерноморья до гирл Дунайских, а Молдавию и Валахию желательно было видеть княжествами свободными, с русским народом дружащими: Волынский при этом настаивал:

— И верните Тамань нам, яко древнейшее княжество Тьмутараканское, в коем угасла жизнь русская, но должна вновь возродиться!

Остейн протесты учинял — коварные:

— Как же вы прав самостоятельности для Валахии просите, если мой император Валахию под свою корону уже забирает? Кроме валахов, Габсбурги историей призваны иметь отеческое попечение еще над молдаванами, сербами, хорватами, босняками.

— Чтобы нудить о том захватничестве, — отвечал ему старый Шафиров, — надо сначала виктории свои предъявить. А коли вас турки лупят, так вы тихонько себя за столом ведите...

С умом в глазах наблюдали послы турецкие, как ссорятся соперники над дележом пирога османского. Рейс-эфенди помалкивал: пусть эта свара пуше умножается, а за Турцию всегда постоит Франция! Однако притязания венские лили воду на мельницы турецкие, и русская дипломатия требования свои умерила:

— Мы твердо желаем от Турции получить то, что уже потеряно ею: Азов, Очаков, Кинбурн! От татар же основательно требуем, дабы они укрепления Перекопа срыли, пусть там ровное место будет. И того мы требуем не ради прибылей земельных, а едино лишь ради спокойствия государства Российского!

По ночам в дом, где жил рейс-эфенди, стал шляться хитрый Остейн, убеждал турок, чтобы ни в чем не уступали русским, а лучше бы уступили венцам. Навещал он и русских дипломатов:

— Узнал от турок, что Крыма они вам никогда не отдадут, а ежели станете упорствовать, то нам войны и не закончить...

— Спесь венская всему миру известна! — отвечал Волынский запальчиво. — Ежели завтрава мы от турок Софию болгарскую попросим, то вы небось Киев для себя захотите... А еще, — заключил Волынский, — нужна России свобода плавания кораблей по всему морю Черному, вплоть до Босфора византийского.

— О ваших непристойных дерзостях я Остерману доложу! Я знаю, куда вы метите... С моря Черного вы, русские, желаете червяком через Босфор вылезть в море Средиземное, а тому не бывать!

— Бывать тому, — усмехнулся Волынский. — Не я, так дети мои, а не дети, так внуки мои в океаны еще выплывут...

Турки, рознь в соперниках учуяв, говорили теперь так:

— Вы уж сначала между собой не раздеритесь, а потом и к нам приезжайте, чтобы о мире рассуждать...

Конгресс разваливался. Однажды на прогулке Остейн стал резко угрожать Волынскому карами в будущем:

— А вы забыли, что принц Брауншвейгский, племянник императора нашего, станет вскорости отцом императора российского, и он, родственник дому Габсбургов, отомстит вам за вашу неприязнь к Вене... Советую от упрямства отказаться!

Волынский чуть кулаком его не треснул! Но испугался двух собак злобной эпирской породы, которые сопровождали посла венского. Артемий Петрович решил хитрее быть и навестил послов турецких. Встретили они его дружелюбно, говоря так: «Мы бы сыскали средство удовольствовать Россию, но римский цесарь нам несносен; пристал он со стороны без причины для одного своего лакомства и хочет от нас корытоваться...» Волынскому турки честно признались, что готовы с Россией мириться, согласны отдать ей завоеванное, но султан никак не может уступить земли и русским, которые турок побеждают, и австрийцам, которых турки побеждают.

— Тогда что же от Турции останется? — спрашивали.

— Вы, министры искусные, — отвечал им Волынский, — и сами рассудить способны, кого прежде всего надобно Турции удовлетворить и кто в этой войне ваш коварный ненавистник!

— Мы понимаем, — сказал рейс-эфенди, — что Блистательной Порте воевать страшно не с цесарцами, а с вашей великой российской милостью. Османлисов кругом в мире обманывают, и только Версаль ведет себя достойно. Король Людовик верит, что, пока Порта висит

внизу Европы, словно гиря, до тех пор равновесие стран европейских соблюдено будет в сохранности...

Турки во время беседы угощали его кофе и ликерами французскими. Потом вышли в сады. Гуляли возле пруда, в стоячих водах которого плавали нежные кувшинки. А на другом берегу пруда бегал Остейн в волнении небывалом. Посол венский мешка с золотом не пожалел бы, лишь бы узнать — о чем говорит Волинский с турками? Остейн даже ладонь к уху прикладывал, но немировские лягушки, радуясь вечерней теплыни, развели ужасную квакотню...

— Видите посла Австрии? — показал Волинский на Остейна. — Он сейчас на другом берегу и потому неспособен помешать нам. И как хорошо мы говорим с вами сейчас, когда одни — без Австрии... Давайте же мирить наши страны... без Вены!

Самовластие Волинского в переговорах, изворотливость его не по душе пришлись Ваньке Неплюеву, который в этом усмотрел дерзость. Остерману он доносы посылал на Волинского — как раз кстати. Немцы придворные учуяли, что Бирон готовит возвышение для Волинского, и хотели они Волинского заранее утопить. Между Немировом и Петербургом шла отчаянная кляузная переписка, которой руководил Иогашка Эйхлер. А чтобы письма к Волинскому на почте не вскрывали шпионы Остермана, герцог Бирон позволил Иогашке посылать их «под кувертом его светлости».

Ради политических выгод отечества своего Волинский с турецким рейс-эфенди сдружился, тот посулы и подарки от России охотно принимал, а за это сбивал спесь с посла Австрии.

— Вы, — говорил он Остейну, — всего полгода с нами воюете, побед еще не одержали над нами, а земель для себя просите на Балканах вдвое больше русских, которые крови немало пролили. И потому, рассуждая по справедливости, Блистательная Порта не Вене, а Петербургу угодить должна...

Вот тогда Остейн перетрусил и решил сорвать переговоры о мире. Для этого ему надо лишь уехать из Немирова, и конгресс сам по себе рассыплется... Он так и поступил. Тихий городок опустел. Покинули его и русские. Приблудная собачонка долго-долго бежала за каретой Волинского, который два месяца ее подкармливал. Когда вдали показалась Винница, собачонка испугалась чужих собак и повернула обратно — к Немирову...

Мира не было — война продолжалась. Снова нужны солдаты brave, очень нужны офицеры грамотные!

Великолепных солдат России было не занимать, а грамотных офицеров страна уже готовила.

Первый в России кадетский корпус назывался Рыцарской академией... Вставали кадеты-рыцари в четыре часа утра, а ложились спать в девять часов вечера. В голове у них все за день перемешается: юриспруденция с фортификацией, алгебра с танцами, а риторика с геральдикой. Учили не чему-либо, а в с е м у на свете, ибо готовили не только офицеров, но и чиновников статских. Бедные кадеты жили при интернате, «дабы оне меньше гуляньем и непристойным обхождением и забавами напрасно время не тратили!». Парни уже под потолок, но жениться им не давали, пока в офицеры не выйдут, под страхом «бытия трех годов» в каторге...

— Вот и осень настала — не сухая, дождливая.

— Ой, и скушно мне... На што мне это?

А цесаревна Елизавета радовалась:

— Робят-то сколько! Молоденьки еще... Одеты как!

Кафтаны на кадетах были сукна темно-зеленого, по бортам обшиты золотым позументом; рота гренадерская — в шапках, со штыками на ружьях, а рота фузилерная шла с фузеями драгунскими; капралы (отличники учебы) алебарды тащили. Галстуки у кадетов были белые, головы у всех изрядно напудрены и убраны в косы, которые на затылке перебиты черными ленточками.

— Капралов я до руки своей жалую, — прокричала Анна Иоанновна, довольная зрелищем. — А рядовых пивом и водкою трактую...

После «трактования» водкой стали кадеты на лошадях вольтижировать, а иные перед царицей танцевали и музицировали. Елизавета Петровна вдыхала воздух осенний — глубоко и жаднуще: все ей было занятно и хотелось девке самой плясать с кадетами на мокрой траве, но она царственной тетеньки боялась.

— Когда кончат? — ныла принцесса Анна Леопольдовна. — И опять дождик идет... домой хочу... снова не выпалась!

Издали пялились на царицу слуги — крепостные кадетов, а с ними была громадная орава собак разных мастей. К императрице подвели стройного юношу, который начал ее стихами убажывать:

Ты нам, Анна, мать — мать всего подданства,
Милостью же к нам — мать всего дворянства...
Корпус наш тебя чрез мя поздравляет
С тем, что Новый год ныне наступает...

Да. Близился Новый для России год — год 1738-й, и Анна семь лет уже отцарствовала, а кадеты из детей превратились в юношей.

Для того что ты помощь христианска,
Уж падет тобой Порта Оттоманска,
А коль храбру ту... коли... Анну ту...

Кадет, волнуясь, сбился и замолк пристыженно.

— Ну! — рывкнула Анна. — Чти дале мне, что помнишь.

— Забы-ы-ыл.

— А прозвище-то свое фамильное не забыл еще?

— Сумароков я Александр... по отцу Петров буду.

Анна Иоанновна загнала стихослагателя в строй. Сумароков? Да еще сын Петра? Вот язва нечистая... Напомнил он ей год 1730-й, гонца из Москвы Петьку Сумарокова и кондиции те проклятые.

Она повернулась к генералам, хмурая:

— У меня в империи уже два пиита имеются — Якоб Штеллин да Василий Тредиаковский, и других плодить пока не надобно. Сумарокова сего трактовать не следует... не порадовал!

И, грохоча робами, царица направилась к карете. За нею, в самом хвосте пышной свиты, проследовала и цесаревна Елизавета. Бессовестно красивая, цесаревна с улыбкою всматривалась в лица юношей. Вот Лопухин... Санька Прозоровский... Мишка Собакин... князь Репнин... Петька Румянцев... Ванечка Мелиссино... Адам Олсуфьев... Лешка Мельгунов... И не знала она, что проходит сейчас мимо людей, которые станут знамениты в ее царствование! Возле Сумарокова цесаревна задержалась.

— Не робей, Сашенька, — сказала. — Да с чего это вы, поэты, непросто так пишете? Сочинил бы ты про любовь мне...

Прыгая через лужи, она побежала нагонять царицу, подобрав края пышного платья, и кадеты видели румяные лодыжки крепких ног девки-цесаревны. Сумароков вдогонку ей, отвечая будто мыслям своим потаенным, послал уже не парадные словеса, а — сердечные:

Честности здесь уставы.
Злобе, вражде — конец!
Ищем единой славы —
От чистоты сердец...
Так-то вот человеки
Должны себя заявить:
Мы золотые веки
Тщимся возобновить!

Кадетов загоняли в корпус. Крепостные слуги накидывали плащи на их мундиры. Радовались собаки, забегая впереди всех в холодные дортуары, где на столах лежали огурцы и хлеб, а поверх были горкой наляпаны хрен и горчица (тоже казенные). Рыцарская академия кинулась с ревом за столы, вечно голодная, сытости жаждущая! Ели.

От столов господ-юношей летели тощие куски жалких остатков. То — слугам в руки, то — собакам в пасти! Ели.

Немировский конгресс мира не принес, зато смотр кадетов в Петербурге навел переполох на врагов России: сильная армия русских теперь обещает быть еще сильнее от офицеров образованных... Остейн как раз в это время добрался из Немирова до Вены; император Карл VI был уже немощен и не мог дать ему пощечину.

За отца его ударила доченька.

— О жалкий человек! — сказала Мария Терезия. — Зачем вас посылали в Петербург? Чтобы устроить скорую свадьбу принца Брауншвейгского с принцессою Мекленбургской. Это не исполнено вами... Зачем вас посылали в Немиров? Чтобы приобрести земли славянские, а русских принизить. Это тоже не сделано вами...

Император обежал глазами череду придворных:

— Маркиз Ботта! Вы поезжайте в Петербург послом моим.

В объемном чреве Марии Терезии шевельнулся младенец.

— И помните, — добавила она послу, — самая ледяная камера в крепости Шпильберг всегда готова принять вас, если принц Антон в новом году не станет мужем принцессы Анны Леопольдовны...

Маркиз Ботта с почтением облобызал пергаментную руку императора, а потом блаженно приник к руке его дочери, пышной и сдобной, как венская булка утренней выпечки. Он поспешил отъехать. Австрия была напугана, боясь новых кровопролитий в Сербии, и просила Францию вмешаться в замирение. Анна Иоанновна писала цесарю в Вену, что Россия согласна на посредничество Версаля. Но дела наши, сообщала она Карлу VI, не таковы уж худы, приличный мир следует добывать в будущих битвах, и к этим битвам Россия вполне готова.

Миних и Ласси уже развели громоздкие армии по винтер-квартирам. Фельдмаршалов вызвали в Петербург, и Ласси спокойно ждал, что его не похвалят... Верно! Все лавры были предназначены для сумрачного чела Миниха. Жена и дочь его получили ценные подарки за взятие Очакова, а сына Миниха за счет казны отправили на воды заграничные (для лечения). Ласси, человек наблюдательный, заметил, что императрица растеряна.

— Столько денег на эту войнишу улетело, — жаловалась она. — А конца и края ей еще не видать. Знала бы, что так станется, так и не связывалась бы... Фельдмаршал мой, — сказала Миниху, — тебе опять кампанию свершать надобно. Да так ударить по нехристям, чтобы они уже не встали с карачек...

Величаво развернулась к Ласси:

— А тебе, Петра Петрович, надо Крым в карман положить...

Ласси склонился в нижайшем поклоне. Повинуясь, он понимал: что ни клади в дырявый карман, все вывалится из него. Бирон твердил, что следующий год будет неудачным для России, ибо число 1738 делимо на два.

Глава одиннадцатая

Саранск затих в бездорожье гибельном. В лесах окружных заливаются соловьями разбойнички. Городок — как на ладони, видный глазу от окраины до окраины. Тускнеют маковки церкви, в которой как раз вчера стреха упала и четырех богомолиц в лепешку раздавила. При каждом доме ульев немало, и, запутываясь в волосах обывателей, летают меж садами и огородами пчелы старательные. Уж столько лет прошло, а воеводу здесь сидит по-прежнему Исайка Шафиров (брат дипломата, внук московского органиста).

— Над возвышением своим не тужусь, — говорил он...

Да где ему и тужиться, если каждый год наезжали фискалы, чтобы по 78 копеек с каждой саранской души для казны содрать. А денег таких ни у кого не было. А у кого и были, тот, вестимо, отдавать их не хотел. По закону правезному, честь по чести, Исайку фискалы на цепь сажали, словно медведя ученого, и держали в амбаре на цепи, пока обыватели не откупались. Когда с воеводой беда случалась такая, саранчане говорили:

— Складывайтесь, люди, кто сколько может, и станем мы воеводу нашего из кабалы выручать...

Любили его саранчане за то, что Исайка тихо жил, не грабил, как другие воеводы, к бабам чужим не приставал, одной своей кухаркой Матреной весь век довольствуясь. И ценили его саранчане, как собаку, которая домашних своих уже не кусает. Да, хорошо проживал Исайка Шафиров: отсидит разок в году на цепи — и опять гуляй душа!..

Но еще с весны стал воевода примечать, что неладное творится в кузнице Севастьяныча. Мастерит кузнец, заодно с подъячим Сенькой Кононовым, предмет некий — назначения непонятного. Не раз уж Исайка спрашивал кузнеца:

— Уж не задумал ли чего худого? Ты не подведи меня под «слово и дело» государевы, тогда вместе пропадем.

— Ты, воевода, не бойсь, — отвечал кузнец. — Просто нам с Сенькой топтаться тут надоело — решили до облаков слетать.

— Гляди... Ты однажды с каланчи уже летал носом в землю. Нешто тебе еще мало рыла разбитого? Скovyрнешься снова...

В один из дней кузнец разыграл жребий на палке — кому взлетать? Тыком упадет палка или плашмя ляпнется? Выпало лететь на этот раз подъячому, а кузнец на земле должен остаться. В час утра ранний, чтобы никто не помешал, «самолет»* свой они поднимали в воздух с лужайки загородной. Петухи кричали прощально.

Страшно стало тут Сеньке, когда полетел он. Чуть было не задел крыльями колокольни, вровень с ним ворона кружила, потянулся внизу лес густой, ногами подъячий иногда верхушки берез задевал. Оглянулся назад — город не видать:

— Прости-прощай, Саранск... вернусь ли жив?

Влекло его, тянуло ветрами вдаль. А воздух-то какой здесь — ни тебе дыму, ни духу навозного, чистая благодать в грудь вливается. И снизу, от леса, парило до небес духмяным соком смолы.

Летел он. Летел. Летел. Даже не верилось:

— Господи, никак лечу? Да где посадишь-то меня?

Севастьянычу — тому хорошо: небось уже и скотину на выгон выпустил, сейчас с женою и детишками пищу вкушает утреннюю. В самом деле перетрусил подъячий. Под облаками молитву скорейшую сотворил...

Скоро ли, долго ли (от волнения все сроки спутались), показался город вдаль. А какой — неизвестно, но не Казань. И ветром «самолет» так и несло между храмов божиих, прямо на базарную площадь...

Снизился Сенька, а внизу народ — как муравьи. Заржали в упряжи телег крестьянские лошадки. Только было от ремней привязных себя ослобонил, как — глядь! — отовсюду бегут на него горожане. Кто с дубьем, кто с вилами, кто с рогатиной:

— Вот она, сила-то нечистая! Убивай его, люди добрые...

* К сожалению, до нас не дошло сведений об устройстве этого летательного аппарата. Известно лишь, что он передвигался по воздуху. Вряд ли этот «самолет» подъячего с Поволжья мог иметь тип планера или надувного аэростата, ибо, судя по всему, это сооружение имело какой-то загадочный двигатель. Ныне забытый исторический романист Ф.Е. Зарин-Несвицкий в 1914 г. выпустил книгу «Тайна поповского сына», посвященную трагической судьбе этого русского «летчика».

Тогда, опережая вилы, готовые в бок ему впороться, подьячий (умудрен жизнью) прокричал слова спасительные и губительные:

— Слово и дело за мной государевы!..

Словно вкопанная замерла толпа. Вмиг покидали орудия злодейства своего и врассыпную ударились по домам, чтобы на шею колду замкнуться, и — «знать не знаю, ведать не ведаю!». А к подьячему подошел воевода с солдатами. В цепи его заковали и вместе с «самолетом» повезли в Петербург с немалым бережением...

Всю дорогу до столицы дивились и спрашивали Сеньку:

— И не страшно тебе было летать без согласия начальства?.. Смелый ты парень, но теперь за все ответишь...

Однако в столице не страшны оказались для Сеньки застенки ушаковские. Самородком из Поволжья заинтересовалась Академия наук и сам великий Леонард Эйлер. Впрочем, ученым он не достался: подьячего начал обхаживать герцог Бирон, и стал летун жить на коште его курляндской светлости — на харчах бироновских, спал на пуху и атласе. И теперь, на потеху императрицы, парил он над фонтанами Петергофа, над кущами придворных дерев, что были на иностранный манер подстрижены, будто куклы. И свободно мог плевать сверху на кого хотел. Над париками вельмож вразброс торчали его ноги...

Анна Иоанновна велела изобретателя пред собою явить.

— Целуй, — сказала и руку выставила.

Возвышение человека состоялось в исправности!

Зато Волынский вот, напротив, возвышался без исправности. По дороге из Немирова до февраля 1738 года застрял он на погорелище московском, зажился там и детей к себе из столицы вызвал. Деньги проел свои, потом Кубанца послал в канцелярию Конюшенную, велел там потихоньку 500 рублей казенных свистнуть.

— Гость идет до меня косяком, будто рыбка в сети. Гостей ублажить надо... чай, не последний я человек в империи.

Ждал он сигнала о возвышении своем, и многие тогда пред вельможей знатным заискивали. Бирон горой стоял за Волынского, поднимал его на бой против Остермана... выше, выше, выше! Явились как-то к герцогу дворянчики курляндские — фон Кишкели трясучие, отец и сын. Стали показывать ему, как отлично они умеют конверты клеить, но никто их не ценит за это. Жаловались Бирону, что от Волынского в делах конюшенных «давление» испытывают. И это им, образованным остзейцам, уже стало невмоготу...

— Давит он вас? — спросил герцог у Кишкелей.

— Давит... И пятьсот рублей из казны стащил.

— Правильно поступает, — отвечал Бирон со смехом. — А если вам в России не нравится, можете убраться обратно в Митаву...

И тогда фон Кишкели затрепетали. Особенно же колотило фон Кишкеля-старшего — того самого, который породил фон Кишкеля-младшего. Что делать? Послал фон Кишкеля-старший дочерей своих с письмом к арапу Анны Иоанновны, что возле дверей царицы всегда торчал. Тот жалобу паскудную принял, императрице ее передал.

Анна Иоанновна гневалась на Волынского:

— Губернатором его в Киев! А на большее не способен...

Но Волынский гнева царицы не боялся — Бирон его не выдаст. И князь Черкасский тоже принял сторону Волынского. Великий миг близился — торжество неминуемо, как смерть. Торопя события, Артемий Петрович с детьми по морозцу выехал в Петербург. На заставе встретил его союзник верный — Иогашка Эйхлер, который цеплялся за Волынского, большую силу в нем чуя.

— Обнадежь меня, — взмолился егермейстер.

Иогашка взобрался в карету, запахло духами.

— Быть вам наверху! — отвечал кратко и дельно...

Волынский на диванах кареты заерзал в нетерпении; руками он стал изображать, как голодный человек пихает в рот себе еду; при этом он, жестикулируя, говорил Иогашке:

— Гляди на меня! Когда счастье к человеку идет само, надобно его хватать и в себя поскорей заглатывать, пока другие его проглотить не успели...

Придет время, и слова эти азартные в вину ему поставят. А сейчас он просто счастлив, и шлагбаум вскинулся перед ним, как триумфальная арка. Фрррр... — взмыли из-под снега куропатки, улетающая вдоль Фонтанки-реки над крышами дач загородных. Волынский явился на дом к себе, велел Кубанцу баню жарче топить. И тут к нему прибыл важный Яковлев, что при делах Кабинета в секретарях обретался; вручил он пакет Волынскому.

— Отныне, — начал гугняво, — за особые заслуги...

Но Волынский его не слушал — уже впился глазами в бумагу, подписанную Анною Иоанновной, читал бегло:

«Любезный Обер-Ягермейстер наш Артемий Волынский чрез многие годы предкам нашим и Нам служил и во всем совершенную верность и ревностное радение к Нам и Нашим

интересам таким образом оказал, что его добрые качества и достохвальные поступки...»

Не выдержал — отшвырнул пакет от себя:

— Скажи одно, Яковлев: да или нет?

— Да, — внятно отвечал тот, — отныне вы назначены в кабинет-министры ея императорского величества, и прислан я, дабы присягу с вашего превосходительства по форме снять. А в присяге той со всей изящностью изъяснено вашей милости, что в случае нарушения ея вы будете казнены т о п о р о м.

— Постой молотить, — придержал его Волынский. — А другим министрам по присяжной форме тоже топором по шее сулили?

— Нет, вам первому грозят.

— За што мне такая особая милость?

— Не знаю. Так в Кабинете порешили, чтобы топором вашу высокую милость заранее припугнуть...

— Эх! — сказал Волынский, закатав рукава кафтана.

Развернулся он (уже на правах министра) да как треснул Яковлева — тот к стенке отлетел, об печку изразцовую треснулся, все передние зубы на персидский ковер и выплюнул.

— За што меня? — прошамкал кровавым ртом.

— Как! Еще спрашиваешь? — вскричал Волынский. — Меня государыня в Кабинет свой жалует, а ты, тля, топором грозишь?..

Вышиб кабинет-секретаря прочь и покатыл к герцогу. Бирон принял его запросто, пересыпая в ладонях горсти жемчужин редкостных и бриллиантов крупных (Бирон любил наполнять карманы драгоценностями и потом играл ими в разговоре).

— Друг мой, — сказал он Волынскому, — а теперь сообща подумаем, как Остермана власти лишить. Я знаю, ты его забодать способен... Между прочим, — вдруг посуровел герцог, — я говорил уже не раз открыто и сейчас повторю охотно. Когда с тобой, Волынский, имеешь дело, всегда надо иметь наготове камень, чтобы выбить тебе зубы, пока ты не успел выбить.

Бирон поднял на министра серые красивые глаза. Сунул руку за отворот кафтана и... в его руке оказался булыжник. Герцог захохотал — это была лишь милая шутка. Волынский скулы свел, даже лицом осунулся. Но себя пересилил и тоже улыбнулся.

А между ними, словно разгораживая этих людей, лежал грязный камень. Конечно, можно этот булыжник взять и с размаху выбить все зубы Бирону, но... Волынский вежливо улыбался герцогу.

В эти дни он трезвонил о своих успехах в письмах:

«Волынский теперь себя видит, что он стал мужичок, а из мальчиков, слава богу, вышел. И через великий порог перешагнул, или — лучше! — перелетел».

.....

От проспекта Невского доносились вздохи и стоны — это в лютеранской кирхе Петра и Павла заиграл орган, который Бирон водрузил недавно в церкви — в дар единоверцам своим. Со стороны усадьбы Рейнгольда Левенвольде, мота и шелапуга, неслась игривая музыка, приспособленная для кружения во флирте. В хлеву соседнего дома Апраксиных натужно мычали коровы. От храма Симеона куранты звонили, и била пушка с крепости. День был обычен.

Он необычен стал лишь для Волынского, который ногою смелой вступал сегодня в Кабинет ея величества как министр полноправный. Вот оно, скверное вместилище всех тайн управления государством: в кресле дремлет князь Алексей Черкасский, словно старая неопрятная баба, а в коляске, кутаясь в платок, приткнулся Остерман с козырьком на лбу... Между ними, властно локти по сторонам раскидав, уселся и Волынский. Три подписи этих людей, столь разных, заменяли по закону одну подпись императрицы. Волынский уже задал для себя первую задачу — сделать так, чтобы одна его подпись стала равносильна подписи царской...

Было тихо. Волынский, глазами поблескивая, ждал, что дальше будет. Остерман накапал из пузырька лекарства.

— Наверное, помру, — произнес он жалобно.

— Да ну? — с ухмылкой подивился Волынский.

— Совсем смерть приходит.

— Обещал ты, граф, уже не раз помереть, да все обманывал.

Черкасский открыл один глаз, оплывший жиром.

Голоса не изменив, тоном погребальным вице-канцлер Остерман продолжил:

— Вступили вы, осударь мой, во святая святых империи, где сходятся секреты политики внешней и внутренней. Зная характер ваш бестолковый, прошу слабости свои за порогом оставить. Вряд ли, — говорил Остерман Волынскому, — государыне приятно станется, ежели вы в Кабинете ея скандалы затевать учнете! Крикуны здесь не надобны: я и князь Алексей Михайлыч, мы люди уже не первой молодости, больные, одним лекарством дни свои продолжаем. Однако с государством справляемся...

Волынский поднялся. Руки на груди скрестил в гордыне:

— А мне-то что с того, что вы микстуры хлебаете? Я-то ведь помирать еще не желаю. Я за делом явлен сюда по указу ея величества... Коли что болит в гражданине русском — так это сердце! А ежели тебе, — сказал он Остерману, — надо задницу больную мазать, так это ты и дома делать способен...

Дверь адской преисподни России распахнулась — на пороге главная сатана явилась, сама Анна Иоанновна:

— Андрей Иванович, отчего тут крик такой?

Остерман микстуркой себя взбодрил и ответил кривясь:

— А это, ваше величество, Волынский министром стал. Вот и кричит на нас, яко на мальчишек...

— Петрович, ты зачем буянишь в Кабинете моем?

— У меня голос громкий, государыня. Министры, вишь ты, меня убедить хотят, чтобы я тихонькой мышкой сидел тут. А я так понимаю, что горячиться патриот по присяге обязан...

Черкасский молитвенно сложил пухлые олады ладоней.

— Андрей Иванович, — обратился он к Остерману, — а ведь ты, голубчик, не прав. На што ты нашего товарища молодого выговором обидел? Артемя Петрович явился к нам до дел охочим, а ты его от самого порога остудить пожелал.

— Не остудить — пригладить, — пояснил Остерман.

— А я лохматым ходить желаю! — снова забушевал Волынский. — Всю жизнь прилизанных да гладких терпеть не могу. По мне, так пусть человек растрепан будет, но чтобы душа в нем была!

— Тише вы! — цыкнула Анна Иоанновна. — Или мне спальню свою от Кабинета моего подалее перетаскивать? О чем спор-то хоть?

Остерман ровным голосом отвечал императрице:

— А я не ведаю, о чем изволит спорить господин Волынский... Я повода к спорам и не давал. Ваше величество, посмотрите на стол. Он еще чист. Дел не начинали. А уже, извольте, шум получился и ваши покои потревожены... Видит бог, не от меня!

— Шум от меня! — согласился Волынский. — Уж таков я есть, и меня едина могила сырая исправит. Ладно. Показывайте дела, которые на сей день по государству срочно решать надобно...

Остерман, понурясь, глянул на Анну Иоанновну:

— На сей день нету дел важных.

— Тогда все по домам ступайте, — велела императрица.

Волынский задержал ее в дверях словами:

— Ваше величество, обман усматриваю... Не может такая страна, как наша, занедуженная и военная, никаких дел не иметь! Или уже все тобой сделано, Андрей Иваныч? — спросил он Остермана.

— В самом деле, — построжала императрица, возвращаясь, — почему на сегодня дел никаких не числится?

— Не приготовили.

— А где готовят? — настырно лез на него Волынский.

— У меня... дома, — сознался Остерман.

— Эва! Час от часу не легче... Дела государственные, — говорил Волынский, — не могут в постели начинаться да на кухне твоей вариться. Они в самой России рождаются ежечасно, и то — грех великий, чтобы бумаги важные и секретные на частном дому содержать... Ваше величество, или не прав я?

— Ты прав, Петрович, — согласилась Анна. — Видано ли сие? Ты мне из Кабинета частной канцелярии не устраивай, — наказала она Остерману.

— У меня же канцелярия... на дому. Сам я больной, редко где бываю... Вот дома только и могу, страдая, дела решать.

Волынский взвыл, топоча ногами в ярости:

— Матушка! Решай и ты сразу... Патент на чин министра верну тебе, ежели порядки таковы продолжаться будут.

— Ты прислушайся, граф, — строго внушила Анна Иоанновна и указала Остерману на Волынского. — Он мужик дельный...

Из-под козырька Остермана выкатились слезы.

— А ты, Петрович, графа тоже не обижай, — вступился Черкасский за вице-канцлера. — Ты еще молод перед нами...

Остерман вернулся домой из дворца, кликнул жену:

— Марфутченок! Пожалей своего старика...

Марфа Ивановна закутала мужа потеплее, пожалела:

— Или тебя обидел кто, друг мой?

— Твоему Ягану, — сказал о себе Остерман, — скоро предстоит много двигаться. Они еще не знают, эти негодяи, что я совсем не ленив, как им кажется. Напротив — я верток, будто минога среди камней. Им и невдомек, что я умею прекрасно владеть собой. А вот враги мои не способны сдерживать порывы чувств своих, и оттого они будут мною в с е г д а побеждены!

Остерман точно нащупал слабое место в обороне Волынского...

Тем временем Волынский ехал домой, крайне негодую: «Зачем Остерман созвал Кабинет, ежели дел не было?» И понял: затем со-

звал, чтобы Волынский раскрыл себя, чтобы первую искру в бочку с порохом бросить... Артемий Петрович попал в клубок змеиный и всю дорогу размышлял, как бы ему вывернуться теперь, чтобы во благо отечества победить зло, без блага живущее.

Употреблю премного зол;
Пущу на них мои все стрелы;
В снедь птицам ляжет плоть на дол;
Пожрет живых зверь в произвол;
Не станут и от змиев целы.

Глава двенадцатая

В лето минувшее «Тобол» лейтенанта Овцына все же пробил ворота в забытое Мангазейское царство. Льды растаяли в этом году, и матросы, стоя на палубе, в рукавицы хлопали:

— Чудеса, да и только... Гляди, растопило как море!

Вышли они за Ямал, далеко за кормой осталась угрюмая заводь губы Обской (сама-то губа — как море безбрежное). И бежали дальше под парусом. Океан вздымал серые волны, с разлету сбрасывая «Тобол» в провалы меж водяных ухабов. Только днище плюхнется, трепеща досками, только сердце екнет в груди да мачты дрогнут.

Видели однажды большого кита, который проплыл мимо, паром из дыхла фыркая. Вдоль земли направились из Оби на Енисей, в устье которого маячок соорудили. С палубы не уходили лотовые матросы; они крутили в руках чушки свинцовые, кидали их далеко по курсу перед кораблем, глубину измеряя. С океана лдяного плыли вниз Енисей — великой реки.

— На Туруханск! — радовались в команде.

Тут и осень надвинулась. Заскреблась шуга, лед «блинчатый» забренчал в борта — до Туруханска не дошли и повернули обратно. Но главная цель многолетней экспедиции была исполнена: Дмитрий Леонтьевич Овцын доказал, что сообщение через океан меж реками сибирскими вполне возможно. Возвратясь в Березов, лейтенант начал готовить новый поход на край ночи, но его в Петербург вызвали...

— Куров, — сказал он любимцу своему, — и ты, Выходцев, сбирайтесь, мужики: до Петербурга отвезу вас на казенных харчах. Вам, волкам сибирским, вряд ли еще когда удастся столицу повидать...

Перед самым его отъездом умер канонир Никита Кругляшев, а в смертный час свой пожелал матрос лейтенанта видеть:

— Господин хороший, сколь лет я копил... Табаку не куривал, вина не знал. Семья в России осталась. Отдаю тебе, лейтенант, деньги мои великие. Уж ты прости на уговоре, но только не истрать на себя... Деньги-то, говорю, уж больно великие!

Было у него скоплено 4 рубля и 38 копеек. Митенька завязал их отдельно в тряпку узелком, глаза усопшему затворил. С тем они и отъехали. А когда добрались до почтового двора в Тобольске, Овцын приметил, что чиновники чем-то напуганы. В канцелярии вручил он подорожную на себя и людей своих — Курова и Выходцева.

А затем в горницу вбежал преображенец со шпагой:

— Клади оружие на стол... Ты арестован, лейтенант!

— Да я оттуда прибыл, где волков морозят, и знать не знаю ничего худого... А по какому указу меня берете?

— По указу Тайной розыскных дел канцелярии, — ответил ему офицер.

Овцын через окошко видел, как провели по двору друзей его березовских — атамана Яшку Лихачева да обывателя Кашперова. В цепи закованы, шли они под битье, и Яшка успел крикнуть:

— Митька, семя крапивно предало... Убью Оську Тишина, коли встретится гнида. А нас до Оренбурга ссылают...

Тобольский острог. Заточение. Цепи. Решетки. Один день — хлеб да вода. На другой горячими щами дадут согреться. Лейтенант Овцын думал: что же там случилось, в Березове?

.....
Катька только к Овцыну хорошо относилась, ибо любила молодца. А других-то людей она презирала. С нее и начиналась эта гнусная история... Катька Долгорукая нарочито братца Алексашку спаивала. И через год-два споила отрока так, что парень без водки уже и жить не мог. Случилось, что в отлучку Овцына березовский подьячий Осип Тишин снова начал под Катьку подкатываться:

— Уж ты красавушка, уж ты лебедушка... Христом-богом прошу, приласкай ты меня, и никто о том знать не будет.

Катька его ногой — да по зубам:

— Я с самим царем рядом лежала, а чтоб тебя... прочь!

Встал Тишин с колен и кулак свой показывал:

— Ну погоди, курвища московская. Лейтенанта пригрела, а меня в ранге титулованном не желаешь уважить?..

Скоро в Березове появился приглядный офицерчик Федор Ушаков, который от родства с начальником Тайной канцелярии отнекивался.

Был он умиленно-добр и ласков ко всем, шлялся по домам от ссыльного к ссыльному и каждому говорил, нежно слезы источая:

— Государыня наша така уж тихонька, така чувствительна. Вот послала меня о нуждах ваших вызнать... Нет ли здесь невинных?

Спрашивал про воеводу Боброва — не жесток ли? Про майора Петрова и жену его — не обижают ли? Обыватели всех хвалили. Ушаков приметил душевность березовцев ко всем ссыльным. Видел однажды, как старая вдова Анисья двух утят малых продала в остроге князьям Долгоруким... Уехал Ушаков, но вскоре в темную дождливую ночь подошла к берегу барка, вся в решетках, выскочили из нее солдаты. А впереди страшей — сам Ушаков, такой ласковый...

Но теперь он другим человеком оказался.

— Хватай всех! Разорай, — кричал, — гнездо вражье!

Березов-городок с 1593 года в тишине догнивал. Помнил он за свою давнюю историю всякое. Но такого разбоя еще не приводилось испытать. Ушаков зверем был (под стать своему дяде-инквизитору). Он бабушке Анисье за тех двух утят левый глаз выколол. Он всех забрал. Он всех грозил уничтожить. Плачем наполнился Березов... Майора Петрова с женой — взяли, воеводу Боброва с детьми — взяли, попа Федьку Кузнецова — взяли, дьякона Какоулина — взяли! Что ни дом в Березове, то беда. Долгоруких же в остроге рассадили по темницам. Для князя Ивана землянку кротовью на отшибе города вырыли и в ту нору его, согнутого в дугу, запихнули и кормить запретили...

Наташа как раз третьим ребенком была беременна. Когда Ивана брали, она Ушакова за ноги обняла, долго волоклась по земле.

— Не дам! — кричала. — Он мой... я детей от него породила. Оставьте вы его, люди добрые, что он худого-то вам сделал?

Взаперти сидя (тоже под арестом), Наташа солдатам свое горе выплакивала. А те, люди подневольные, так ей отвечали:

— И сами плачем, княгинюшка. Да что делать-то?

— Пустите меня... ночью. Когда зверь ваш уснет.

По ночам караульные стали выпускать ее из острога. С горшком каши горячей брела Наташа по берегу к землянке. А там в дырку, для дыхания оставленную, князь Иван руку высовывал. Кашу из горшка пясткой загребал, насыщался. Потом этой же рукой, в каше измазанной, Наташу по волосам погладит, и она с горшком пустым обратно в острог к детям спешит... Ох, жизнь!

Один только Осип Тишин беды не чуял — доносчик.

— Катьку-то, стерву, — намекал он Ушакову, — взять бы тоже. У нее, по слухам, книжка такая спрятана, в коей обряд ее сочетанья с императором покойным научно от Киевской академии обозначен...

Катька в эти дни пуще прежнего таскала вино к Алексашке.

— Ну, — внушала брату, — ты пьян, да умен. Вовек нам отселе не выбраться по-хорошему. Так хоть по-худому спасемся... Кричи!

И пьяный отрок заорал:

— Слово и дело!

Ночью потаенно отошла от берега барка. Наташа явилась к землянке, а там нора пустая — нет Ивана. Горшок выпал из рук, покатился под откос и всплеснул воду... Березов наполнился плачем. Почитай в каждом доме недоставало кормильца. Ушаков увез больше сотни людей на барке, и безглазая вдова Анисья ходила по городу:

— Видит бог, легчайше отделалась я, тока глаза лишилась...

Причитали бабы. Лаяли собаки. Гремела гроза под тундрой.

Вот как писала Наташа потом об этом времени:

«Да я кричала, билась, волосы на себе драла. Кто ни попадет навстречу, всем валяюсь в ногах, прошу со слезами: помилуйте, коли вы христиане, дайте только взглянуть на него и проститься! Но не было милосердного, ни словом меня кто утешил. А только взяли меня и посадили в темницу и часового, примкнувши штык, поставили».

В темнице и умер младший сын ее Борис, названный так в честь отца Наташиного — фельдмаршала Бориса Шереметева. И в темнице, по полу в крови ползая, родила она третьего, которого нарекла Димитрием, а солдату караульному сказала без радости:

— Все Михайлы да Иваны в роду Долгоруковском, и все они ныне страдальцы. Пусть хоть этот Димитрием станет: может, беда от него и отхлынет... Отвернись, солдат. Я грудь ему дам!

Следствие по делу березовскому вели в Tobольске два офицера вида бравого — Федор Ушаков да Василий Суворов.

— Каку бы нам муку для Ваньки Долгорукого умыслить?

Перебрали кнуты и плети, клещи и хомуты.

— Давай, — решил Суворов, — спать ему не дадим...

Князь Иван прикован к стене цепями, чуть двинется — все звенит. Окошка не было. Большая крыса ходила к нему воду пить. А чуть вздремнет Иван, на цепях провиснув, его сразу пихают:

— Не смей спать! Раскрой глаза...

Морозы на дворе трещали лютейшие, сибирские. А его из ведра колодезной водой обливали. И били при этом палками.

— Открой глаза! — кричали. — Не усни...

Бред уже становился явью. Чудилось ему Лефортово под Москвой, дворцы слободы Немецкой, где смолоду живал он сладко. Ох и царь же был! Друг-то какой... Охоты, вино, псарни, карты...

— Проснись! — орали ему в ухо.

Был пятый день, как он не спал, и тогда его потащили на допрос. В подземелье пытошном оголили. Ушаков зачитал донос Осипа Тишина, как ругательски ругал князь Иван царицу с Бироном, как страдал гневом общенародным противу придворной немецкой челяди.

— Было так? — спрашивали его.

— Так было.

— Еще что было? Винись.

— Невинен я. Дайте уснуть, а потом хоть казните...

Жесткие веревки обхватили руку. Завизжала дыба.

Вздыбили к потолку. А понизу — огонь.

Суворов локотком пихнул Ушакова, и оба засмеялись:

— Гляди-ка! Никак, он у с н у л?..

Зато пробуждение Ивана было ужасно: железной шиной, докрасна раскаленной, провели ему вдоль спины, и запузырилась кожа, лопаясь от жара нестерпимого... С пытки Иван Алексеевич Долгорукий сказал самое потаенное — о духовном завещании императора Петра Второго, которое писано на Москве в 1730 году подложно. Писано же оно дядьями его и Василием Лукичом.

— А кто подпись фальшивую за царя соорудил?

— Я, — сознался Иван, и снова упала его голова на грудь.

Развеселились тут допытчики, Ушаков с Суворовым:

— Ой, Вася, признание таково, что нас возблагодарят!

— Чаю, Федя, что мы чины раньше срока получим...

Стали они на радостях и дальше пытки изобретать:

— А как бы нам муку примыслить для отрока князя Александра, который спяна «слово и дело» кричал?

— А мы ему водки дадим. Он до нее горазд жаден...

Вошел солдат в камеру, принес бутылку с водкой:

— Пей, милоч. Это от начальства тебе.

Алексашке в ту пору шестнадцать лет было. Ребенком еще попал в ссылку за вины чужие, и жизни людской не видел он. В остроге вырос, а слаще водки больше ничего не знал.

— Эку посудину тебе дали, а закуси нет. — Солдат его пряничком одарил. — Не все пей сразу, и закусить надобно...

Ночью пьяного поволокли на допрос, а он веселился:

— Без нас нигде гороха не молотят... Давай тащи!

В пытошной у князиньки ноги и руки, будто стебли, болтались.

Ушаков ему тут еще стаканчик поднес.

— Давай чокнемся, — приятельствовал. — Да ты нам про Катьку расскажи... как она с лейтенантом Овцыным любилась в остроге?

Пьяного и понесло. Суворов писарю глазом моргнул:

— Записывай со слов его... не мешкай.

— А я много выпить могу! — бахвалился Алексашка.

— Мы видим, что ты парень-хват, — одобряли его. — Мы тебе и еще нальем. Для хорошего человека разве вина нам жалко?

Утром Алексашка проснулся в тюрьме. Бутыль уже убрали.

Протрезвел. Вспомнил, как поила его в остроге Катька, сестра родная. Как вчера его допытчики винищем накачивали...

«Господи, да что же я наговорил-то им?»

Ножом хлебным Алексашка глубоко распорол живот себе. Лишь под вечер заметили полумертвого. Вызвали лекаря, и тот зашил ему брюхо нитками.

— Не спеши уйти от нас, — предупредил парня Ушаков. — Жизнь каждого россиянина во власти государыни. А самовольно уйти из нее права ты не имеешь... Ишь какой шустряга нашелся!*

Митенька Овцын думал: «Лучше бы меня вместе с кораблем льда-ми раздавило...» И еще думал о тех 4 рублях и 38 копейках, которые ему канонир перед смертью доверил.

Завизжали ржавые запоры:

— Выходи!

Шел лейтенант через двор острожный и все примечал, как только моряки умеют. Нет, хотя и гнилой частокол, да высок. А коли сбежишь, еще и команду «Тобола» трепать станут... Самое главное — мужество! Отрицание всего. Не бояться! Вошел он в камеру, где пытки для себя ждал. А там в углу на корточках Осип Тишин сидит.

— Сейчас меж нами ставка очная будет, — шепнул подъячий.

Овцын улыбнулся ему как ни в чем не бывало.

* Князь А.А. Долгорукий (1717–1782) после вырывания ноздрей и ссылки был помилован и проживал в Москве, известный в обществе под прозвищем «князь с пороним брюхом»; пользовался всеобщим презрением родни и москвичей.

— Ты ж меня знаешь, — отвечал доносчику. — Я молодой и крепкий. Я все выдержу. А по закону, коли оговоренный молчит, тогда начинают доносчика пытаться... Ты, гнилье, разве выдержишь?

— Да меня не будут, — испугался Тишин.

— Плохо ты законы ведаешь наши. Обязательно будут!

— Да за што ж меня, господи?

— А... чтоб не паскудничал вдругорядь.

В пытошной на дыбе священник березовский Федор Кузнецов висел, вздыхал тяжело, плакал. Его били, пытая:

— А на исповеди-то князь Иван что сказал?

Признался поп, что Иван фальшивое завещание составлял.

— А ты что ему на это ответил?

— Ответил: «Бог тебе судья».

— Ах, пес худой! Почему не доносил с исповеди?..

— Да не пес я... по-христиански думал...

Его унесли влежку, полумертвого, взялись за Овцына.

На полу под лавкой медленно остывала раскаленная шина.

— Вот этой железиной, — шепнул он Тишину, — и поучают...

Начал речь капитан Суворов, к Тишину обратясь:

— Так поведай нам, доводчик, каково в бане при этом вот лейтенанте флотском князь Иван ея императорское величество, государыню и благодетельницу нашу «бляжиной» называл?

Тишин глаз от шины красной не мог отвести. Молчал.

— Молчишь?

— Дайте мне его, — сказал Овцын, — удушю сразу...

— Сами придушим, коли нужда в том явится.

Подъячий от страха совсем раскис:

— Пьян был, как и положено в бане... не упомню. Вы уж, ради Христа, побейте меня, коли хотите... тока не мучьте!

— А вот, — спрашивал его Ушаков, — ты же сам мне в Березове сказывал, что невеста порушенная, княжна Катька Долгорукова, любила в остроге... Так назови, с кем она любила?

— В свидетелях не был, — совсем померк Тишин. — Пьяным, это правда, почасту и подолгу бывал, а вот... не свидетельствовал!

— Да что ты в кусты уползаешь? — обозлились допытчики. — Вчера одно говорил, а сегодня... Да мы жилы из тебя вытянем!

Тишин от страха так ослабел, что на пол свалился, и его утащили.

Ушаков с Суворовым взялись за лейтенанта Овцына:

— Тебя-то мы как облуплена знаем. Учни с главного...

— С главного и учну, — отвечал Овцын охотно. — Матрос покойный Никита Кругляшев, из Арзамаса происходящий, велико наследство мне оставил. Четыре рубля и тридцать восемь копеек скопить сумел. Прошу вас, господа, денежки те не скрасть для себя, а...

— Федя, — сказал Суворов Ушакову, — дай-ка ты ему.

Дали. Овцын легко встал. Продолжил:

— Всю жизнь человек на флоте прослужил и больше скопить не мог. Не смирюсь я перед вами, пока не узнаю точно, что деньги канонира в Арзамас поплывут... Грех у покойника воровать!

Ушаков даже рот раскрыл:

— Да он, Вася, кажись, нас за дураков считает... Послушай-ка, лейтенант, мы тебя по делу сюда привели. Отвечай лучше, какие зловредные слова произносил ты на великогерцогскую светлость?

— Какие-какие? — спросил Овцын, вперед подаваясь.

— Про герцога ты что в Березове молол?

— А я и герцога никогда не видывал.

— Бирон, што ли, не знаешь?

— Вот те на! Рази же он уже герцогом стал?..

— Может, и от блуда с Катькой отпираться станешь?

— Враки все! — отвечал Овцын. — Она эвон была невестою царскою, а я лейтенант... на чужую мутовку не облизываюсь!

— А какая книга у нее была из Киева? Говори.

— Дура она! Не до книжек ей...

— А ты, умник, с чего смелый такой перед нами?

— На флоте трусов вообще не держат...

Допрос закончился страшным битьем. Герой-навигатор, ученый человек, валялся на полу, весь в крови, и одно думал о палачах своих: «Они ведь тоже русскими себя называют. Но... гляди, как за Бирона вступаются! Во как молотят... хорошо карьер делают. Быть им всем, подлецам, в чинах очень высоких!»

Он сам на ноги поднялся. Воды испить попросил.

— И закончим, с чего и начали! — сказал Овцын неустрашимо. — Тут канонир Никита четыре рубля с копейками поднакопил. Лихих людей на Руси много — как бы не сперли те денежки. Подозреваю, что вы эти финансы уже прижулили. Так вот и говорю...

Когда его отводили в острог, навстречу попался майор Петров, которого на пытку волокли. И майор сказал Овцыну:

— Плохо, брат. Ой, как худо мне... не выдержи!

Глава тринадцатая

В любой истории, как и в любом романе, встречаются места необходимые, места служебные — места скучные. Но избегать их не следует, ибо тогда не будет ясной дальнейшая связь событий...

Волынский столько лет подряд рвался переступить порог Кабинета, и вот он его перешагнул. Сел. Отдышался. Заявил себя к делу готовым. Напрягся в чаянии деятельности.

Теперь любопытно знать — кем он там расселся?

Карьеристом? Или... гражданином?

Кабинет, язви его в корень! Учреждение самодержавное.

«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй...»

По сути дела, вся несчастная Россия распята под властью этой адской канцелярии, где восседает главным Остерман...

Волынский был готов к исправлению службы по делам высоких предназначений отечества, но поначалу даже растерялся. Купцы тащили в Кабинет штуки парчи, Остерман с аршином в руках мерил их, просматривал кружева на свет возле окна, торговался о ценах, барышничал... Ладно. Царица ведь тоже б а б а, и одеться ей хочется, Волынский с этим согласен. Но при чем здесь Кабинет?

— Министры, — утверждал он, — существуют ради забот важных, а тряпки мерить и другие способны... только покажи — как!

— Не хочешь ты, Петрович, государыне услужить, — выговаривали ему Черкасский с Остерманом. — Ай, ай, не хочешь.

— Государыня не для того меня на службу в Кабинет призвала, чтобы я с аршином тут стоял.

Несли в Кабинет бумаги. Волосы от них дыбом вставали. Бог мой, чего тут только не было: доносы, апробации, жалобы, какие-то ветхие расписки... Надо и не надо — любую бумажку валили в Кабинет, как в помойку худую, и, конечно, лопатой тут уже не разгребешь.

— Вот натащили вы бумаг на себя, — ругался Волынский, — теперь и сами не знаете, как расхлебать! А ведь за каждой такой бумажкой живая судьба кровоточит. Может, там человек уж какой год терзается, ответа от министров выжидая... А вы разве способны ответ дать? Нет! Я и вас не вижу из-за бумаг этих...

Стал он завалы бумажные распахивать по коллегиям и канцеляриям разным — к исполнению скорейшему. Волынский освобождал главный фарватер для плавания корабля государственного. Очень это не понравилось Остерману: ведь он был силен в империи именно тем, что в с е дела, какие имелись, он с е б е забирал, и отнять их у него — значит дыхания лишить. Артемий Петрович разбирал Кабинет

имперский, как чистят захламленный дом, доставшийся в наследство от бабки скопидомной...

У него были свои планы, давно в сердце выношенные. Хотел он весь груз решений самодержавных перевалить на Кабинет, дабы для начала отнять у Анны Иоанновны силу царских резолюций. Но при этом желал добиться, чтобы самому стать в Кабинете п е р в ы м, — тогда и Россия пойдет иным путем (согласно его резолюциям!). Артемий Петрович давно раскусил, что Анна Иоанновна дура, простых вещей иногда постигнуть не может. Императрица не знала порой даже того, что любой регистратор коллежский ведает. Однажды он приволок к ней именные указы, в одну книжищу переплетенные, и сказала царица, эту книгу беря: «Сколь живу, а такой длинной резолюции еще не видывала...» С дурой, конечно, иногда хорошо дело иметь, ибо ее обманывать легче. Но с умной-то все-таки было бы лучше страной управлять!

Еропкину по дружбе давней он часто жаловался:

— Безмозгла она у нас. Апробации от нее не добиться путной. Что Бирон скажет, тому и верит. Для нее резолюцию проставить — как мне оду сочинить. В одном слове по три ошибки...

Волынский бывал в делах постоянно запальчив и гневен, а Остерман, неизменно тих и спокоен, нарочито вынуждал его к ссорам. Насмерть бились теперь в Кабинете две крайности несовместимые. Волынский хотел ослабить произвол власти высшей — Остерман же, напротив, гнет властей исподтишка усиливал. Волынский на дела людские и смотреть хотел человечно — Остерман лишь формально взирал. Один рвался из жесткого хомута бюрократии — другой еще сильнее его в хомуте том засупонивал.

Сам в прошлом казнокрадец и взяточник, Артемий Петрович плутовскую породу знал и жестоко ее преследовал, отлично все ухищрения воровские ведаю: вор от вора далеко скраденное не спрячет! Нужду народа Волынский тоже понимал и немало скостил с бедноты недоимок: указами свыше слагал он с людей «за их объявленным убожеством» долги старые и штрафы тяжкие. Остерман же каждый раз писал при этом «особое мнение», возражая ему, и передавал в конверте лично императрице.

— Народ-то! — вещал Волынский. — Его и пожалеть надо.

— Сие относится до усмотрения высочайшего.

— Да мы-то кто здесь? Мы и есть высочайшие министры.

— Я, — отвечал Остерман уклончиво, — выше самодержавной воли себя никогда не ставлю и вам совету поостеречься...

Коснулся Волынский и самой наболевшей язвы России.

— Пытки! — возмущался он. — До чего дожили мы! За любой грех, самый ничтожный, человека у нас сковороды горячие лизать заставляют. Какова же память в народе о нашем времени останется?

И своевольно указал в судах озаботиться, «дабы люди в малых делах напрасно пыток меж тем не терпели». В этом случае Артемий Петрович геройски поступал: любое послабление в муках тогда ведь значило для простого народа очень и очень много... Но, воюя с Остерманом, кабинет-министр был одинок, князь Черкасский дел боялся, а Бирон только подзуживал Волынского на борьбу, истощавшую силы души и тела. Остерман скоро научился доводить Волынского до белого каления своими ухмылочками, голосом тишайшим, мирроточивым, вежливостью унижительной... Так бы и вцепился в глотку ему, а негодяй спокойно наблюдает, как ты кипишь в ярости, но при этом сладенько так... улыбается, сволочь!

Драться с ним, что ли?

Из манежа на Мойке его подбадривал Бирон:

— Волынский, я в тебе не ошибся. Еще немного, и я буду иметь счастье слышать, как захрустят позвонки Остермана...

Взяв крутой разбег, Волынский уже не останавливался — пёр на рожон, топча врагов и сминая препоны разные. Раньше писали так: «приказано от гг. министров». Потом в указах по стране замелькали слова: «приказано от гг. министров князя Черкасского и Волынского». Наконец, настал блаженный день, когда на Россию излилось: «кабинет-министр Волынский изволил приказать».

Вот оно! Достиг... Но чего ему это стоило?

Остерман ни разу не ослабил напряжения схватки, окружая Волынского интригами, подвохами, клязумами. Журналы заседания Кабинета теперь были сплошь испещрены возражениями Остермана на резолюции Волынского. Против любой ерунды он выдвигал «особое мнение»...

Анна Иоанновна хотя и недалекого ума, но скоро начала понимать большую разницу между пламенным бойцом Волынским и полудохлым оборотнем Остерманом.

В один из дней, когда Остерман явился к императрице со своим докладом, она губы поджала и рукой махнула.

— Андрей Иванович, — сказала, — ты домой езжай, побереги здоровье свое. Скушны доклады твои. Тянешь ты их, тянешь... будто

килу какую через забор! Уйдешь — и мне всегда таинственно кажется: а чего ты сказать пришел? Отныне же, — распорядилась Анна Иоанновна, — я желаю не тебя, а Волынского выслушивать... Горяч он в делах и забавен в речах. Его доклады — недолги, экстракты и в скуку меня никогда не вгоняют... Уж ты не сердчай.

Опять виктория. Виват, виват!

Артемий Петрович писал в эти дни друзьям на Москву, ликуя и похваляясь: «Остерман оттого так с ходы сбит, что не только иноходи не осталось, ни ступи, ни на переступь попасть не может». Да, он пошатнул своего неприятеля. Одною собственной волей, уже плюя на Остермана, стал Артемий Петрович заводить в Астрахани шелководческие фабрики. Старался поднять тяжелую промышленность страны. Следил за голодом в губерниях. Он издал крепкий указ, чтобы 30 лучших кадетов, «которые из русских знатны», срочно отправили за границу кавалерами при посольствах, — пусть растут юные русские дипломаты! Вторым дельным указом повелел Волынский еще 30 кадетов «из российского шляхетства, но не знатных», со склонностью к рисованию и математике, передать на выучку к обер-архитектору Еропкину, — пусть будут и русские архитекторы! Страдая, как патриот, за национальное поругание России, он выдвигал только русское юношество (а немцев — не нужно, хватит!).

Но скоро по столице пошел зловонный слух, будто императрица сильно влюбилась в Волынского, как в мужика здорового, а потому Бирона в Митаву отправят — выдохся! Говорили, что его место при дворе в чине обер-камергера займет Волынский... Кто радовался, кто пугался. Герцог в злости оскорбленной долго грыз себе ногти, его красивые глаза заволакивали слезы.

— Какая глупость! — Он вдруг захохотал. — Это же ясно было сразу, что басню подлую пустил по городу Остерман... Ха-ха! Не дурак же Волынский, чтобы мне дорогу у трона переступить...

Пока он дороги ему не переступал, занятый по горло иными делами; его осеняло планами новыми:

— А почто пренебрежен Сенат? Коллегиальность — вот родник божий, из коего должны источаться руслу управления Россией...

Побывал он в Сенате и сделал вывод — ужасный:

— Вот он, порабощенный Сенат, в коем, по словам Тацита, молчать тяжело, а говорить бедственно... Господа Сенат, неужто затворены уста ваши? Ежели Кабинет виной тому, что Сенат придавлен, то, значит,

власть Кабинета надобно совокупить с властью Сената и коллегий, — совместная, глядишь, и породится и с т и н а!

Честолюбив и надменен, гордец Волынский умел, однако, ради блага отечества поступиться долею своей власти. Остерман же — никогда! И сейчас, прослышав о замыслах Волынского, он предупредил его тихонечко:

— Того бы делать не нужно.

— А тебе, граф, — отвечал Волынский, — и жена совсем не нужна! Как посмотрю на тебя иной раз, так думаю: чего ты с ней по ночам делаешь? Зато вот нам, радеющим до нужд разных, много еще чего надобно... Мы, русские, так и знай, до всего жадные!

И рукою властной начал Волынский проводить совместные заседания Кабинета, Сената и коллегий (всех за один стол рассадил). Коллегиальность — смерть для Остермана и всех бюрократов! Остерману легко было в одиночку справляться с лодырем Черкасским; пожалуй, поднатужась, смял бы он и Волынского. Но когда противу него вставала плотная, крикливая стенка русских сенаторов и президентов коллежских, он... поплакивал.

— Но я еще не все сказал! — торжествовал Волынский. — От Петра Первого образован в защиту правосудия надзор прокурорский за деяниями власть имущих. Где он теперь? Не вижу надзора за грехами нашими. Почему, по смерти Ягужинского и Анисима Маслова, никто даже рта не раскрыл, чтобы замену им приискали?

Волынский чуть ли не за волосы потащил Сенат из затишья болотного, ибо сенаторы «неблагочинно сидят, и когда читают дела, имеют между собою партикулярные разговоры и при том крики и шумы чинят... Також в Сенат приезжают поздно и не дела делают, но едят сухие снитки, кренделей и рябчиков...»

— Порядок надобен, — говорил он императрице. — А также нужен обер-прокурор Сенату наичестнейший. Слышал я, матушка, что желаешь ты Соймонова генерал-полицмейстером сделать. Разве можно такого человека, каков адмирал, на разбой бросать? Вот из него как раз прокурор хорош получится...

Соймонов заступил пост обер-прокурора. Ученый знаток отечества и экономики, суровый страж законности, Федор Иванович оказался на своем месте. И каждый, в ком билось русское сердце, мог лишь приветствовать небывалый взлет карьеры Артемия Волынского и Федора Соймонова...

Средь важных дел не оставлял Волынский и забот об охране русской природы — ее лесов и угодий дедовских, пастбищ и гор, жалел

зверье, птицу и рыбу. Самоучка, до всего опытом доходящий, Артемий Петрович очень много сделал, чтобы сберечь уничтожаемое от людей бессовестных. Ему хотелось: пусть все цветет, живет и множится на пользу потомству... Таков уж он был, сложное дитя века своего! Бабу волосатую вроде за зверя дикого считал, в заточении содержа ее, а человека желал со зверями сдружить... Карьерист не станет о птахах да зайцах сердцем болеть, — только гражданин и патриот способен страдать за природу родины!

Но...

В самый разгар карьеры своей кабинет-министр вдруг неожиданно замер. Что такое? Перед ним обнаружился загадочный простор. Никто тебя не толкает, никто не сдерживает. Двери, ведущие к царице, вдруг оказались перед Волынским открытыми.

Еще раз он осмотрелся вокруг себя в удивлении, словно не веря в чудо, — нет, Остермана нигде не было...

Виват, виват, виват!

Вот на этом-то он и попался, будучи не в силах разгадать подлейшей стратагемы Остермана.

Остерман не уступил — он лишь временно отступил.

Он забрался в свою нору и там вынашивал месть, лелея ее и нежа. Остерман терпеливо выжидал случая к мести, — так заядлый пьяница мечтает о празднике, чтобы напиться во искупление тяжких дней вынужденной трезвости... Пропуская Волынского впереди себя, Остерман словно подзадоривал его двигаться и дальше: «Я не стану более тебя сдерживать — стремись!» Это был коварный преднамеренный расчет. Много позже историки проделали научный анализ обстановки, в какую попал тогда Волынский; их вывод был страшен! Остерман оказался гениален в своей интриге... По сути дела, он ведь ничего не сделал. Он только отошел с дороги Волынского, не мешая ему приближаться к престолу. Остерман знал, что возле престола, охраняя его, Волынского будет поджидать Бирон! И если герцог хотел раздавить Остермана руками Волынского, то Остерман придумал новый вариант схватки: пусть сам герцог Бирон раздавит Волынского... Остерман напоминал сейчас опытного хищника, который заманивает охотника в первобытную чашу, чтобы там, в родимом для него буреломе, где не светит солнце, вцепиться в охотника мертвой хваткой.

Волынский этой интриги не разгадал!

Двери в покои императрицы были растворены перед ним настежь, и он широко шагнул в них, еще не ведая, что за ними клубилась туманами черная пропасть гибели...

...Так и пишутся самые скучные страницы русской истории.

Глава четырнадцатая

Вся зима 1738 года прошла у России в готовлении к походам. Армия окрепла и возмужала в баталиях — училась побеждать! В эту кампанию цель была ясная: победой убедительной внушить страх противнику, чтобы впредь ни Турция, ни Австрия, ни Франция не сомневались в справедливости русских требований. Что бы ни говорила Европа, но России в Крыму быть, на море Черном ей плавать! Последним санным путем фельдмаршалы разъехались по своим армиям: Миниху — идти на Бендеры, Ласси — брать Крым снова...

Весна была скорая, и санный путь развезло. Генеральный штаб-доктор армии русской ученый грек Павел Захарович Кондоиди, еще до Киева не добрался, как пришлось ему из санок в коляску пересесть. На окраине Чернигова зашел врач во двор постоялый, а там солдаты щи с солониной ели, у каждого был закушен в руке крендель анисовый. А на лавке врастяжку лежал солдат под тряпьем.

— Что с ним? — спросил Кондоиди. — Уз не цумка ли?

— Да нет, от чумы бог покеда миловал. Пытанный он! Замучали его палачи-прохвосты, вот и валяется где придется...

— *Ignavia est jacere*, — сказал солдат, поднимаясь с лавки, — *dum possis surgere. Mens agitat molen**.

— Я слышу латынь? — поразился Кондоиди.

Солдат поведал о себе доктору:

— Зовут меня Емельяном Семеновым, был я секретарем и тцецом при знатной библиотеке князя Дмитрия Голицына, я пытан по указу царскому за то, что знал многое из того, чего простолудству знать нельзя. Ныне же при армии состоять обязан, где мне бывать до скончания века в чинах самых высоких — чинах солдатских!

Фельдшеров в армии не хватало, любого чуточку грамотного в полковые цирюльники производили. Эти вот цирюльники, бывало, ноги инвалидам пилили, полагаясь на волю божию, даже гвоздем в ранах ковырялись, пули извлекают... Семенов с усмешкою битого сатира признался Кондоиди, что, кроме «Салернских правил», ничего из медицины не знает.

* Малодушие лежать, когда можешь подняться. Ум двигает массу (иначе: мысль приводит материю в движение).

— Ведаю еще, что гений Везалия обвинен был церковью в ерестичестве, ибо доказывал одинаковое число ребер у мужика и бабы... Но ведь Библия учит, что Ева из ребра Адамова сотворена бысть. Уж не значит ли сие, что у мужа одним ребром меньше, нежели у жены евонной?

Кондоиди отворил походную аптеку, где лежали штанглазы порцеленовые с лекарствами; велел названия их прочесть, и Емельян прочел их внятно, потом лопатку фарфоровую в руки взял.

— Этим шпателем, — сказал, — мази кладут на раны.

— Лозысь! — велел ему Кондоиди и кости прощупал солдату; кости целы оказались, зато спина еще в струпьях, а ноги имели следы пытки огненной. — Я тебя, цукина цына, вылецу, — сказал врач. — И в доцентуру твою возьму...

На выучке у штаб-доктора Емельян не гнушался туфли подать Кондоиди, к обеду стол ему накрывал. Вольноотпущенника такое лакейство ничуть не оскорбляло, и был Емельян почтителен с врачом и услужлив ему, как раб верный. Служить ученому — не барину прислуживать!.. Павел Захарович первым делом обучил Семенова, как надо зажимать сосуд кровеносный у человека, когда его оперируют. Артерии людские были скользкими и юркими от биения пульса, словно горячие червяки. Семенов держал их в пальцах, наблюдая, как раскрывалось перед ним внутреннее естество человека. Сосуды перевязывали женским или конским волосом. Шинами служила шкура угрей морских, способная к тому же кровь останавливать. А опытные воины сами на поход пыльюю от сосны или елки запасались — для присыпания ран свежих. Разрубы сабельные солдаты, как правило, деревенским медом смазывали...

А из далекой Мессины, где меньше всего думают о России, корабли уже везли чуму в море Черное; достаточно одной крысе сбежать из трюмов на берег цветущий — и чума уже в Молдавии. А оттуда, сусликом степным переплыв через Днестр, чума становилась главной гостьей на пиру смертном в компаненте армии Миниха.

Тогда и войны никакой не надобно — чума всех победит!

Люди покрывались шишками и вздутиями желез на шее, под мышками и в паху. Мучил их жар нестерпимый и боли сильные, отчего чумные в обморок почасту впадали, а иные даже в безумие приходили. Лица больных искажались до неузнаваемости. И лишь немногие, у которых были «шишки спелые» (гноем истекающие), умудрялись выжить. Всех остальных через три-четыре дня чума в бараний рог сворачивала, и мертвеца сжигали вместе с барахлом его.

В ограждение от поветрия (так назывались тогда эпидемии) карантин строили и брандвахты, возле них ставили виселицы. Кто рисковал прошмыгнуть мимо карантина, того вешали на страх другим смельчакам. Врачи на кордонах свидетельствовали всех проезжающих. Выписывали им форменные аттестаты в здравии, без которых в Россию никого не пропускали. Карантины эти отдавали на откуп, как и кабаки, целовальникам, которые крест целовали на той клятве, что станут жить без обману... Каждый карантинщик получал за постой по одной деньге с лошади, а с человека драл за одну ночь ночлега по копейке.

Кто мне скажет — где взять во времени том копейку?

Ох, грехи наши тяжкие!..

Герои времен царствования Анны Иоанновны...

Закрой глаза, погружаясь душою в темный век позапрошлый, и они явятся пред тобой, как живые. До чего же страшно иногда смотреть на них! Шатаясь, они опять идут через выжженные степи ногайские. Пудовые ружья с запалами кремневыми ломают им плечи. Руки мужицкие перевиты узлами вен, что разбухли от непомерной усталости. Лица — черны от ожогов солнечных. На ногах — опорки, а кто и бос шествует. Мундиры давно уже нараспашку, и видны кресты нательные на шнурках, а шнурки от пота истлели и рвутся...

Летом 1738 года плоскодонная флотилия Бредаля снова тронулась к берегам Крыма, неся на себе десанты казачьи и провиант для армии Ласси. Но возле Федотовой косы корабли русские не пропустили дальше флот турецкий, не давал им косу эту обогнуть. Тогда матросы и казаки прорыли спешно через косу канал судоходный. По каналу этому, в обход флота турецкого, адмирал Бредаль волоком протасил флотилию под огнем ядерным. Пошли они далее на Геничи без парусов, лишь под веслами, а мачты даже срубили, чтобы противник не разглядел их под берегом. С боями дошли до Сиваша, но и сюда в этом году забрался мощный флот неприятеля. Бредаль, совсем больной, сдал команду своим офицерам; на консилиуме коллегиальном офицеры порешили — из блокады флоту не выбраться, а посему...

— Уничтожим корабли! Иного выхода нам не стало.

В громадном зареве костром сгорела флотилия Азовская.

Ласси видел тот дикий пожар из сакли геничской.

— А теперь, — сказал он, — хотелось бы мне знать: как без помощи флота моя армия в Крым попадет? Мои солдаты — святые люди, но святость их еще не Христова, и по волнам пеши они не бегают.

Слова фельдмаршала заглушала хлопотня птичья; над Сивашом меркло небо от обилия пернатых — ястребы тут, пустельги, копчики, шулики, скворцы, орлы, удоды и сороки. К вечеру все птицы уснули, и генералы, окружив Ласси, держали совет.

— Через Перекоп, — говорили, — лучше нам не соваться. А место, где мы в прошлом году мост через Сиваш навели, турки теперь усиленно охраняют. Повторять же опыт прежний — побежденным быть!

К единому согласию не пришли, и Ласси спать лег пораньше. Средь ночи разбудили фельдмаршала, ввели к нему перебежчика крымского. Был он статен и рус. В одежде татарина, кизяком измазанной. Пахло от него кислятиной шерсти овечьей.

— Где взяли его? — спросил Ласси, свечи запаливая.

— С татарского берега сам приплыл...

— Развяжите меня, — попросил перебежчик по-русски.

— Ого! Ты, молодец, из каких же краев будешь?

Назвался тот Потапом:

— Сам я московский. Хуже рабства ханского ничего нет, оттого правды не утаю: из солдат я убежный... На Ветке жывал, да выгнан оттудова бригадиром Радищевым, мыкался по свету, пока в полон не угодил. Уже обасурманен я, в мечеть хаживал и аллашке маливался. Но в тоску впал лютую, домой желяю — хоть казните меня на родине. Увидел, как горят костры ваши, и... бежал к вам!

— Как же ты бежал... через море? — спросил Ласси.

— А здесь броды знатные, — отвечал Потап, от пламени свечей щурясь. — Я ране на проволочных работах был, а потом меня к Сивашу пасти овец послали. Места эти я изучил. Татары время для перехода через море всегда знают. Я за ними и проследил. Видно, как вода прочь убегает. Хотел еще в прошлом году убежать до своих, да татары нас, русских, к другому морю выселили.

— Развяжите его, — велел Ласси. — Ты, парень, своих земляков губить не станешь. Вот и помоги нам Сиваш перейти. Нам и пушки протащить надо. Не попадет ли вода в уши лошадям нашим?

— Можно и по колено в воде пройти, — сказал на это Потап. — Ветер сию ночь хорош. Но мешкать нельзя, иначе море обратно кинется, и тогда всю армию с головой накроет...

Ласси велел тревогу играть, а Потапа предупредил:

— От меня теперь ни на шаг! Проведешь армию — отпущу тебя с миром, погубишь армию — я тебя погублю тоже... Веди!

Поздней ночью на морское дно ступила армия русская* — с артиллерией, с обозами, с верблюдами, с фуражными телегами, с аптеками, с канцелярией. Впереди шагал, рядом с фельдмаршалом, полонник татарский — Потап... 65 000 человек раз окунулись в Сиваш, и, когда вышли на вражеский берег, Ласси обернулся назад, где Гнилое море с ревом вливалось обратно на свое мерзкое, просоленное ложе.

— Пересчитать людей и обозы, — наказал Ласси.

Доклад был утешителен: ни одного погибшего, ни одного дезертира, вся армия целиком, как один человек, уже строилась в фалангу на крымской земле. Лишь несколько повозок из арьегарда не успели за армией — их тут же гневно поглотило море.

— Теперь вперед — на Перекоп!

На этот раз русские выходили на Перекоп не со стороны России, не под хмурым совиным взором ворот Ор-Капу, а прямо и з н у т р и Крымского ханства — прямо в т ы л врагу! Крым за эти годы был опустошен беспощадно. Колодцы редкие загажены падалью. Но армия Ласси могучим броском уже вышла к Перекопу, и турки развернули пушки Ор-Капу н а з а д — внутрь своего ханства.

На предложение сдать паша прислал такой ответ:

— Гарнизон крепости поставлен здесь не для того, чтобы сдавать Перекоп, а чтобы охранять его от вашей милости...

Ласси сказал:

— Тогда пусть паша не обижается, если я учну ломать его цитадель ядрами пушечными, которые жалеть не стану...

Прекрасна сказка о загробном мире мусульман. Ждет всех эдем божественный, где правочерный будет обласкан толстыми блондинками — гуриями. Но сладострастием в раю награждены лишь те воины, что саблей зарублены или пулей убиты. Гурии отвернутся от того несчастного, кто угодил под ядро из пушки. Турок — стойкий солдат, но он бежит, когда его пугнут громом артиллерии...

Перекопский паша сдался под русскими пушками.

— Хорошо, что поспешили со сдачей, — сказал ему Ласси при свидании, — иначе резня была бы ужасна... Теперь я могу не скрывать, что мы сидели у в а с в бутылке. Нам бы не осталось иного выхода, как только погибнуть на штурме вашей крепости...

* Достоинo примечания, что в 1920 г., когда надо было сокрушить последний оплот белой армии — армию Врангеля в Крыму, красные командиры перед наступлением прослушали курс исторических лекций о походах Миниха и Ласси в Крым с его форсированием Сиваша, что и помогло им в проведении сложнейшей операции Красной Армии. Так история иногда служит современности.

Жара стояла дикая! Ласси созвал консилиум:

— По плану кампании мы должны идти на Кафу и достичь ее, дабы уничтожить этот многовечный рынок работорговли. Но флота у нас нет, припасов нет, а Крыма... тоже нет! Крым уже не прокормит нас, разоренный вконец, и солдата нашего встретит пустыня...

Генералы советовали: не уйти ли сразу прочь?

— Теперь, когда Перекоп в наших руках, — отвечал Ласси, — для ухода нашего домой дверь всегда открыта. Но сначала попытаемся постучаться в двери ханства татарского...

Однако с первых же верст пути в глубь Крыма всем стало ясно, что далеко они не уйдут. Безводье и бескормица. Жара и сушь. П е к л о!.. Гнать армию на гибель — это безрассудно, а Ласси, не в пример Миниху, солдат берег. С большим трудом армия выдержала натиск татарских полчищ. Сеча была страшная. Казаки побили тысячи татар, но и своих оставили в степи немало. Еще и кровь не запеклась на ранах, как слетелось отовсюду поганое воронье. Черные и жирные, садились вороны на раненых, и первым делом — ударами точными — выклевывали им глаза. Человек живой, и вылечить его можно, а он уже слепец безглазый!

Ласси круто развернул армию обратно — на Перекоп, которого и достигли. Петр Петрович говорил с горечью:

— Я уже стар. Виктории радостные еще могу сносить, но сердцу моему тяжело переживать ретирады недостойные...

Генералы стояли перед ним — перевязаны (некоторым удары сабель татарских рассекли лбы и лица). Молчали, подавленные. Ласси поднялся, подкинув в руке тяжкий жезл фельдмаршальский:

— Что ж, господа... Взрывайте этот чертов Перекоп!

В грохоте, оседая бурой пылью, рухнули крепостные валы. В частых взрывах разнесло на куски ворота Ор-Капу, и старая мудрая сова, видевшая столько людских страданий, перестала глядеть в желтизну вековых степен. Крепости Перекопа более не существовало! С тем русские солдаты, идя татарской сакмою, и стали отходить прочь от Крыма — ближе к своим квартирам. Солдат шатало от усталости...

Российская армия вернется в Крым сыновьями тех, которые сейчас его оставили. Великие виктории иногда рождаются от умения вытерпеть и дождаться своего часа. Через три десятилетия Российская империя уже созреет в могуществе настолько, что сможет удержать Крым за собой на вечные времена! Не унывай, солдат...

.....
Аудиторы походной канцелярии уже паковали в тюки архивы армии, когда фельдмаршал вызвал Потапа.

— Я не забыл о тебе, — сказал Ласси. — Армию мою провел ты через Сиваш славно. О том, что ты есть солдат убежлый, лучше помалкивай. Знаешь, как ныне жить надо? Нашел — молчи, потерял — тоже молчи... Дал я уже приказ, дабы для персоны твоей сомнительной новый пас выписали. Прозвища природного не спрашиваю, а велел в пасе новое начертать — П о л о н о в ты, благо из полона ушел... Эй, в канцелярии! Сундук еще не запечатали? Так дайте-ка сюда двадцать рублей — вот для этого молодца!

Потап бухнулся в ноги фельдмаршалу и зарыдал от счастья.

— Дурак! Чего реवेशь? Больше ста пушек чугунных, кои я в Перекопе взял, на Руси не двадцать рублей стоят... Иди с богом!

— Куда идти мне, господин ласковый?

— А куда хочешь... Иди... женись... расти детей.

Потап вскинул на плечо тошенькую котомку:

— Век не забуду милости вашей. Первенца, коли родится, назову по вас — Петром... Будет он Петром Потаповичем Полоновым, а с такими-то деньгами я в торговлю московскую ударюсь...

И ушел. Но недалеко. Степной шлях уперся в карантин. Вдоль кордона был ров копан. Денно и ночью костры тут горели.

— Раздевайся, — сказали и одежку его сожгли.

Трясли котомку. Деньги в котел с уксусом бросили.

— Вернете ли? — ужаснулся Потап.

Тут ему по шее дали и засунули в землянку. Одели в дранину с чужого плеча. Деньги потом вернули не все, конечно: товар такой, что к рукам целовальников липнет. Пас тоже вымок в уксусе, вонял, лист гербовый покоробился. Каждый час входил в землянку солдат с горящим кустом можжевельника и чадил вокруг.

— Нюхай! — орал он Потапу. — Нюхай, черт такой... Вдохни глубже — так, чтобы дым у тебя ажно из заду выбежал...

На караульне, где черный флаг висел, спросил Потап:

— Никак в разум я не возьму, от чего лечат меня?

— Не твое дело, — отвечали карантинщики. — Скажи спасибо, что не сожгли тебя вместе с деньгами твоими...

Потап притих. Сидел и робко ждал, когда выпустят.

Выпустили, и он пошагал радуясь: «Ныне я человек вполне свободный...» На дневках клал пас под себя, чтобы выровнялся лист гербовый. Всюду воняло уксусом. Он шел домой — на Москву.

Глава пятнадцатая

С мрачным видом Миних выслушал доклад о движении чумного поветрия, которое медленно ползло на Украину от Бессарабии.

— Карантинами зажать язву эту, — распорядился он. — До сел украинских не допускать ее, ибо хохлы хотя и лениво ездят, но далеко. А дабы войска от чумы обезопасить, пойдем на татар через Речь Посполитую, и в нарушении границ беру грех на себя...

С юга нехорошие вести приходили. Очаков был уже осажден турками, но гарнизон его держался молодецки. Среди трупов павших воинов в Очакове уже зашевелилась чума. Миних издали, рукою повелительной, швырял на укрепление Очакова свежие толпы новобранцев. Они уходили туда, как сухие дрова в жаркую печку — тут же в одночасье сгорали... Перед самым походом в ставку прибыл лейб-медик царицы Иоганн Бернгард Фишер, и фельдмаршал заявил ему сердито:

— Я здоров, как бык... Но кто мне скажет из ученых мира сего, каковым способом оградить армию от поветрия чумного?

— Никто ответа не даст вашему сиятельству. Чума — наказание свыше. Едино, что посоветую: пусть солдаты от мертвецов ничего, даже нитки, не берут... Также полезно амулеты носить!

— А где я сыщу столько амулетов для великой армии?

— Медицинская коллегия наша, вкупе с Синодом святейшим, уже озабочена этим достаточно...

Московская школа врачей опустела в этом году — преподаватели отъехали к армии. В столице, в Москве, в Воронеже и в Лубнах уже пришли в движение давилни заводские. Тяжелые кувалды прессов рушились вниз со сводов цеховых, плюща слитки бронзовые. Из-под давленен выскакивали горячие, как блины со сковородки, кругляши амулетов с изображением креста. Больше ста тысяч медалей амулетных для ношения их на груди поспешно отвезли к армии. Амулеты раздавали воинам бесплатно (во славу божию) через лекарей, через пастырей войсковых. Врачи дураками не были и знали, что крестом животворящим от чумы армию не спасти. Но писали они лукаво, мол, «употребление их для бодрости и надежды, которую оныя люди к тому иметь будут, в таком поветрии весьма имеет быть полезно».

В самый канун похода Миних велел:

— Господам офицерам приказываю вечером солдат своих от порток избавить, чтобы у голых проверить — нет ли у кого бубонов в паху. Подозрительных тащить на досмотр врачевный...

Нашли одного такого — потащили. Плакал он, убивался. И болтался на шее несчастного жалкий амулетик с крестом.

— Панталон толой! — велел архиятер Фишер, присев на корточки; осмотрел бубон, похожий на сливу, дождем обмытую, и сказал Миниху, что страшного пока ничего нет: это болезнь французская, которая и в степях ногайских часто случается.

Солдат в клятве целовал крест на амулете своем:

— Как пред Христом сущим, говорю — не был я во Франции этой, и гоните меня туда — не поеду... Мы же воронежские!

Но речь его была трудная, как у людей, выпивших много вина. К вечеру от умер. Тело его покрылось темными пятнами. Солдата сожгли вместе с ружьем его и амулет тоже в костер забросили.

— Цума! — точно определил Кондоиди...

Но война властно диктовала войскам свою волю. Миних вышел из шатра, тут ему поднесли большой кубок с венгерским вином:

— За викторию славную... Вперед — на Бендеры!

Армия тронулась, звонко брэнча амулетами, словно медалями. Казалось, все давно уже герои и все участники кампании награждены заранее. В степи на армию навалились снотворные запахи конопляников, и ароматы дичайшие клонили в сон ветеранов, как в могилу бездонную... Жестко и сухо стучали барабаны. Из густой травы вторили им беспечные кузнечики.

108 000 русских воинов из легиона графа Миниха, взломав чужие рубежи, двинулись через земли польские на Бендеры...

На Бендеры шли они в году этом! Австрийская армия застряла у стен Белграда сербского, и там ее громили турки безжалостно. Теперь Миних торопился сам, подгонял и армию, дабы Австрия не вышла из войны, оставя Россию в полном одиночестве... Срочно нужна победа, а Турция — враг опасный, живучий, стоглавый, сторукий. В ее мохнатых паучьих лапах сверкают многие тысячи кривых ятаганов. Она плывет в море Черном кораблями черными, просмоленными...

Миних ни в какие амулеты, конечно, не верил. Еще с юных лет, когда он жил в Париже, носил на груди кожаный крест с куском камфары, запах которой должен отгонять все хворобы и несчастья рока. Не болея сам, фельдмаршал не признавал права болеть и другим. Войска шли через цветущую Подолию, когда с пышной свитой явился в лагерь коронный гетман Речи Посполитой граф Щенсны-Потоцкий.

— Известно ли фельдмаршалу, — спросил он, раздуваясь от гнева, — что армия его идет по землям нейтральной Польши?

— Да, известно. Но сам неприятель, вступивший на земли польские, чтобы напасть на нас, и указал нам этот путь...

Потоцкий в разговоре из седла не вылез. Поникла седая голова Щенного, обвисли усы шляхетские на груди, крытой панцирем.

— Горе нам! — возвестил он. — Польша великая стала как проходной двор на окраине. Кто хочет, тот и шляется чрез нее! Прошу вас ласково, маршал, чтобы солдаты ваши поляков не обидели.

— Мы уйдем, — обещал Миних, — не тронув ни единой вишни в садах польских, мы даже оставим вам кое-что... вот увидите!

Слова его оказались пророческими. Не было раньше дезертирства, так теперь началось. Миних оставил на Подолии немало беглецов, и поляки дружно приняли их «до своего корыту». Вековечная вражда Москвы с Варшавой никак не задевала сердец народов братских, соседских. Драгун полка Миниха подымал теперь пашню польскую, как на родной Рязанщине, пекла ему олады черноглазая Зоська. Дело это житейское — дело любовное. Убежали — значит, здесь больше понравилось.

Армия текла дальше... И в этом году жара была сильная, но небо орошало армию дождями обильными. Сверху бил пламень солнца, а снизу квасилась земля. Из черноземных хлябей едва ноги вытаскивая, шагала армия на Бендеры. Тащила она провианту на целых пять месяцев. Волокли пушки. Бомбы. Ядра. Лазареты и аптеки, которые солдаты «обтеками» тогда называли.

Стычки с разездами татар уже никого не пугали. И никто не заметил, что ежели вчера напали пятьсот татар, то сегодня их уже тысяча. А завтра навалятся скопом в пять тысяч. И будут урывать куски от армии, как волки от тела павшего и разбухшего...

Рано утром Манштейн разбудил фельдмаршала:

— Возьмите трубку. Осмотрите горизонт по кругу.

— А что там? — заворчал Миних спросонья.

— Пространство в полтора лье покрыто татарами.

— Срочно отзовите в компанент фуражиров и скот.

— Отозвал. Боюсь, что далее пойдем с боями неустанными.

— Бояться не пристало нам. Ступайте...

С боями армия заструилась меж руслами двух речек — Молочицей и Белочицей, кои в Днестр впадали. Казачьи авангарды на Днестре уже побывали в наскоке смелом и вернулись с докладом:

— Коль до Днестра и дойдем, Днестра не перейти армии. Берега там круты, все в скалах желтых. А на ином берегу стоит табор вра-

жий — турецкий. Идут к нему на подмогу таборы сераскира бендерского и паши белгородского... Нам не пройти!

— Миних везде проходил и здесь пройдет, — получили они ответ от фельдмаршала...

Татары не однажды пытались встречную падь по ветру устроить, чтобы лишить русскую конницу кормов травяных. Но трава от дождей намочилась — не разгоралась, пожары гасли сами по себе. Армия вышла к Днестру и... ахнула. Не то что пушки переправить, тут и скотину к водопою не подогнать. На лодках плыли через Днестр янычары — молодые, крепкие, загорелые, нарядные. Лениво постреливая в сторону русских, они иногда кричали:

— Эй, поган урус! Вот где твой Миних... под хвост!

Александр Румянцев навестил фельдмаршала:

— Решаться надо, а медлить негоже... Вели-паша, генерал злющий и опытный, уже ниже нас форсировался. Раскиньте же ландкарт, ваше сиятельство, и узрите для себя опасность прямую. Края эти гибельны для армии, — не избрать ли нам новую дирекцию?

Миних стукнул по карте костяшками пальцев, усыпанных перстнями в бриллиантах. Из горячей трубки его просыпался пепел.

— Нехороший признак, — буркнул фельдмаршал.

— Хорошего тут мало, граф: нас окружают турки.

— Я не о том... Признак бедствия, нас подстерегающего, что солдаты разбежаться стали. Неужто мой корабль дал течь? Кто решится на дело, успех в котором невозможен, тот теряет право надеяться на помощь от сил всевышних... Не так ли, мой генерал?

В письмах к императрице он врал: «Рядовые чрезвычайно бодры и всякий желает сражения, дабы железо, свинец и порох в честь и славу вашего величества употребить». Но уже здесь, на крутом берегу Днестра, где, осыпаема пулями янычар, мокла под ливнями его великая армия, Миних осознал свое неумолимое поражение...

— Еще не поздно ретироваться, — подсказал ему Мартенс.

— Только не мне! — отвечал Миних.

Донские казаки, конница калмыцкая и войско запорожское, как самые подвижные, все время были в разъездах. Повсюду во фронте армии возникали опасные прорехи, чем и пользовался неприятель. Впервые русские столкнулись со стойкостью врага, почти непреодолимой. Едва успеют голову срубить у гидры вражеской, как новые две пред ними вырастают, еще злобнее. Гусары полка сербского ездил вдоль Днестра, отыскивая место для его форсирования, но возвра-

щались ни с чем — всюду овраги, скалы и камни. А враг наседал со всех сторон...

И постепенно Миних сатанел. Он, как всегда, начинал искать виноватых. Чтобы примерно наказать. Чтобы глаза отвести людям от своих же ошибок. Ему доложили, что турки уничтожили отряд сразу в тысячу фуражиров, пасших скот вблизи компанента.

— А кто командовал конвоем фуражирским?

— Тютчев... в ранге майорском.

— Жив? — спросил о нем Миних.

— Жив.

— Вот и расстреляйте его для примера...

Вывели майора перед армией, священник причастил его.

— Я умру, — сказал Тютчев, — но, пред присягой не согрешив, сын отечеству верный, я не согрешу и в истине. Запомните мои слова последние, люди: убийственное дело ждет всех вас! Пока не поздно, уходите прочь. А теперь... стреляйте!

Словно в подтверждение этих слов, Миних приказал:

— Начнем обманную ретираду, вгоняя турок в смущение изрядное, будто мы удобного места для переправы ищем...

Маневр невольно превратился в бегство постыдное. Обозы было не протянуть через бездорожье — их оставляли, поджигая. Спешно солдаты копали ямы, в которые навалом кидали пушки, ядра, бомбы. Посреди площадей базарных в местечках польских стояли брошены под дождем пушки русские. А в глотках их ужасных, водою наполненных, еще сидели ядра, к залпу готовые, но выстрела так и не сделавшие... Кто виноват? «Только не я!» — утверждал Миних.

От течения Днестра армия отвернула, и сразу началось безводье. А запасы той воды, что в бочках еще плескалась, скоро протухли. Заревел скот, умирая от жажды. Опять драгуны пошли пеши. Чума подкрадывалась к армии... Смертей повидали тут всяких. Люди умирали тысячами. Между павшими бродили полковые лекари, среди них и Емельян Семенов. Через развернутый табачный лист пытался фельдшер прощупать пульс. После чего листы табака сжигались. В шатре фельдмаршала неустанно горел огонь, на котором добела жарили большие кирпичи. Когда они раскалятся, на них струею лили едкий уксус. Кислейший пар, что исходил от кирпичей, вдыхал в себя фельдмаршал полной грудью с усердием небывалым.

— Я не пойму загадки этой, — говорил он врачам. — Одни винят в чуме собак иль кошек. Кто обвиняет блох, кто крыс. А я вот вас, врачей, виню... За что вам деньги бешеные платят?

— За то, что мы, — ответил Кондоиди, — смерть от цумы приемлем, как и все. Но не безропотно, а борясь с нею...

По пятам отступающей армии шла вражья конница. Татары ехали особой иноходью по названию «аян»; езда такая быстра и лошадь не выматывает, а для всадника «аян» удобен: хоть спи в седле. Армия Миниха стремительно таяла. Когда нет лекарств для больных, когда нет пищи и воды для изнывающих, — что тут сделаешь?

— Я сделаю! — бесновался Миних. — Я так сделаю, что солдаты побегут у меня сейчас... Пора бы уж привыкнуть им к повиновению.

И он издал приказ — исторический: п р и к а з ы в а ю н е б о л е т ь.

— Вперед! — призывал истошно...

А куда «вперед»? Под этот грозный окрик тремя каре отходила армия, пятась под ударами сабель татарских. И таяла, мертвела, самоуничтожалась. В потемках своего шатра, спотыкаясь о бочки с вином и деньгами, фельдмаршал громохал своим жезлом:

— Пастор, где вы? Молитесь ли вы за меня?..

Был серый день, тоскливый и ненастный. Казалось, даже воздух, насыщенный сыростью, и тот загнивал в груди. Лагерь поднимался от костров, чтобы двигаться дальше. Но многие с земли уже не встали.

— Пример их будет показателен для многих, — сказал Миних.

Он появился в лагере, вырос над умиравшими людьми:

— Встать всем и следовать, как велит долг...

Они лежали (безымянны и бесправны).

— Приказ известен мой: солдатам — не болеть! А коли вы не встали, значит, умерли. А коли умерли, вас закопают...

Был вырыт ров глубокий. Миних велел в этот ров кидать больных. Землекопы армейские боялись засыпать живых еще людей.

— Спаси нас, боже, душегубством эким заниматься...

— Копать! Иль расстреляю всех.

Армия тронулась дальше, а за нею еще долго шевелилась земля.

— Ну вот, дружище, — сказал пастор Мартенс, — ты привык на везение слепое полагаться. Но звезда твоя угасла в этом злосчастном походе... Что скажешь теперь, Миних, в судьбу играющий?

— Скажу, чтобы ты, приятель, убирался к черту!

И друга выгнал. В рядах войска бежали громадные своры собак, сопровождавшие армию на походе. Миних показал Манштейну на них.

— Вспомните! — с угрюмым видом произнес фельдмаршал. — Когда мы начинали поход, у собак ребра пересчитать было можно. А сейчас, гляньте, какие они толстые... Это свиньи, а не псы!

— Мой экселенц, собаки отожрались на человечине.

На подходе к рубежам России всех собак-людоедов перебили солдаты без жалости. От Буга русская армия тремя колоннами шла по землям украинским. Армия без песен отходила к порогам Днепровским — старой, унижительной для России границе...

— Итак, все кончено, — сказал себе Миних. — Слава моя разлетелась в дым, и хорошего для себя не жду более.

Он сидел в убогой мазанке, под ногами фельдмаршала бродили куры, в лукошке визжал новорожденный поросенок. Миних дописывал реляцию. Искал он в письме к императрице «апробации утешной» для поступков своих. Виделась ему в неудачах явная «рука божия». Характер Анны Иоанновны хорошо зная, Миних все на Бога и сваливал: мол, так было угодно вышнему промыслу... Письмо готово. Бомба — не письмо! Ведь ясно, что в Петербурге ждали победы небывалой. Такой, чтобы турки сами запросили мира скорейшего. А вместо виктории славной он дарит Петербургу ретираду подлейшую.

— Ладно, — отчаялся Миних. — Отсылайте с гонцом...

Гонца на полном скаку остановили возле карантина...

— Стой! Слезай... или стрелять учнем.

Вышли из кордона офицеры гвардии с чиновниками. Письмо фельдмаршала было прошито ниткой на манер тетрадки, и для красоты Миних обвил его ленточкой голубой, душистой.

— Возись тут с ним, — сказали карантинщики недовольно.

Первым делом распорол тетрадку. Нитку из нее, заодно с ленточкой, в печку бросили. Работали чиновники в вошанных перчатках. Перепрелый пар кисло шибал от чанов. Распотрошив письмо, безжалостно его совали в уксус. Потом листы реляции Миниха держали на вытянутых руках перед писцом. А писец, бумаги Миниха не касаясь, лишь взглядывая на нее, проворно снимал копию.

Копию он снял, и тогда оригинал письма Михина сожгли.

— Перекидывайте... теперь можно, — сказал чиновник.

Офицер гвардии взял копию письма и листы этой копии обмотал вокруг стрелы. Стрелу приладил к тетиве лука татарского — выстрелил. Стрела с певучим стоном перелетела через кордон. А там, уже по другую сторону карантина, письмо снова запечатали. Иной курьер вскочил в седло, сунул реляцию за пазуху и — поскакал!

А гонца от Миниха раздели всего, обкурили, в землянку черную засунули и дверь запечатали:

— Сиди, голубь!

Глава шестнадцатая

Обратный курьер от Анны Иоанновны сыскал фельдмаршала на подворье Киево-Печерской лавры. Небритый и голодный гонец вручил Миниху конверт и тут же свалился в непробудном сне.

— Созвать генералитет, — велел Миних.

Генералам своим он сказал:

— Россия, кажется, так и помрет перед Австрией всегда виновата. За все, за все мы виноваты. . одни мы! Даже за то, что турки под Белградом цесарцев беспощадно лупят. Вот письмо от ея величества, государыни нашей премудрой. В нем она указывает нам: срочно разворачивать армию обратно. Одним махом брать Бендеры и неприступную Хотинскую крепость, дабы плюгавых союзников наших из белградской беды выручать.

Он швырнул на стол жезл фельдмаршальский.

— Кладу перед вами самое дорогое, что имею, — объявил Миних. — Ежели кто из вас, генералы мои, возьмется армию в нынешнем ее состоянии с квартир зимних в поход поднять, кто развернет ее на Днестр, откуда пришли мы едва живы, кто Бендеры штурмовать станет, тому... Тому герою сразу вручаю жезл сей! А сам уйду в отставку, чтобы разводить куриц яйценоских и нумизматикой заниматься.

Генералы молчали, взвешивая меру отчаяния фельдмаршала. Румянцев все же решился взять жезл в руки, подержал его над столом, словно примериваясь к нему, удобен ли в ладони?

— Тяжеловат... — И положил жезл обратно.

Другие даже не глянули на эту короткую дубинку, дающую всемогущество и славу. Петербург не ведал, в каком гиблом состоянии выбралась армия на Украину, чума шла по следам, хватая солдат за пятки, в села и города уже вторгаясь.

Генералы пришли к согласному выводу:

— Неисполним приказ! Армию стронуть — армию погубить...

Миних хватко вцепился в свой жезл:

— Так и отпишу! Не мое то мнение — коллегияльное...

Россия в этой злополучной кампании лишилась двух флотилий, Днепровской и Азовской, сожженных моряками, чтобы врагу не достались. Очаков вымер — в стойкости! — от чумы, и Миних повелел форты его взорвать, а живым оставить крепость на произвол судьбы. Кинбурн тоже отдали туркам (не удержать было). Остался лишь один Азов... Страшно подумать! Выход к морю Черному, к которому издревле столь упорно стремилась Россия, о п я т ь п о т е р я н.

В этом году Россия вернулась к тем рубежам, с которых и начиналась эта война.

Анна Иоанновна еще раз перечла последнее доношение от Миниха; в нем, ссылаясь на общее мнение генералитета, фельдмаршал отказывался повторять в этом году поход, суля разгром и поражение; это письмо императрица показала Остерману.

— Запутались мы в политике, — произнесла печально. — Остался нам Азовчик, будто грошик последний в кармане. Сколько лет отцарствовала, всегда по твоим советам Вене кланялась, а Версалю издала кукиш показывала... А теперь мы должны к Версалю на поклон идти, сами уже невольны в войне и мире. Что делать, граф?

Остерман отвечал ей спокойно:

— Ну что ж. Станем готовить посла для Парижа...

Разговор велся во дворце Зимнем, скучном и неуютном. Бурный ливень затоплял улицы, в Неве клокотала вспученная вода. Медные драконы с крыши дворцовой низвергали громокипящие потоки из своих луженых пастей с красными языками. Анна твердо стояла посреди зала на трехцветных паркетах, в плашках которого были звезды изображены... Спросила:

— Кого же послать? Бестужев-Рюмин, что в Стокгольме посольствует, весьма хитер. Может, его в Париж перекинуть?

Остерман в колясочке раскатывал легонько между картин шпалерных — «Вирсавия купающаяся» и «Орел, голубя терзающий». В окнах зеркальных виделась ему окрестность дворцовая, неказистая и унылейшая: особняки-развалюхи, наспех строенные — тяп-ляп! — вельможами при Петре I, некрасивые ряды конюшен придворных, мастерские Адмиралтейства — в копоти...

Драконы неустанно гремели водой на крыше.

— При теперешних обстоятельствах, — рассудил Остерман, — когда в Швеции «колпаки» со «шляпами» воюют, опасно Бестужева из Стокгольма убирать. Не лучше ли нам переслать во Францию из Лондона князя Антиоха Кантемира, который столь знатен?

— Ладно, — согласилась Анна со вздохом. — Пушай мамалыжник в Париж едет. Да пиши ему, чтобы нижайше в Версале кланялся. И пусть добьется скорейшей присылки к нам посла из Франции, которому ты, Андрей Иванович, здесь тоже кланяться станешь...

Нет, Остерман никогда не изменит своей любви к Австрии!

Князь Антиох Кантемир, поэт и дипломат, скучнейше проводил дни в Лондоне, и все виды его строились теперь на походах графа

Миниха. Если русская армия освободит от турок княжество Молдаванское, то хотел он быть царем в Молдавии. А тогда уж «тигрица» Варька Черкасская с венцом не станет тянуть далее: пойдет под корону! Между тем время шло, и вокруг Антиоха забегали уже детишки — его дети, на стороне приبلудные. И дождался сатирик, о короне мечтающий, что Миних не только Молдавию у турок не похитил, но и прежде взятое растерял... Печальны были дела княжеские!

Для начала Остерман повелел Кантемиру вступить в приятельство с послом французским в Лондоне. И передать ему, что Россия согласна на дружбу с Версалем. Но все это выражать надо так, будто Кантемир с в о е й волей желает дружбы России с Францией, а Петербург пока об этом помалкивает. Получив приказ ехать послом в Париж, понял князь Антиох, что его ждет крутая перемена в жизни. И навсегда распростился со своей «тигрицей» в стихах, где Варьку гордую под именем Сильвии как следует дегтем измазал:

Сильвия круглую грудь редко покрывает,
Смешком сладким всякому льстит, очком мигает,
Белится, румянится, мушек с двадцать носит.
Сильвия легко дает, кто чего ни попросит...

«Такова и матушка была в ея лета!» — закончил Кантемир свое прощание с невестой и поспешил с отъездом в Париж, где князя порадовало известие от Остермана, что вдовая его свояченица стала женою принца Гессен-Гомбургского, — родственные связи поэта усилились, как бы готовя судьбу Антиоха к высоким предназначениям. Но французам, как видно, не польстило знатное происхождение поэта: верительных грамот от Кантемира они не принимали...

Наконец посол предстал перед мудрым старцем кардиналом Флери.

— Вы оставили в Англии немало друзей, — сказал он Кантемиру. — Боюсь, что вам придется забыть о них. Они будут плохими советниками для вас, если вы искренне желаете сближения Франции с Россией... А что у вас с глазами, друг мой?

— Больны. Я даже вашу эминенцию вижу как в тумане. Пребывание в Париже станет воистину благотворно для меня, ибо здесь проживает знаменитый окулист Жандрон...

Флери всмотрелся в смуглое лицо посла, изуродованное страшной оспой, даже губы поэта были в корявинах; из-под пышного парика, локоны которого были картинно разбросаны по плечам, за кардиналом

зорко следили глаза молдаванского феодала — черные и блестящие, как маслины.

— Да, — произнес Флери со вздохом, — даже по лицу видно, что вы нерусский... Как жаль! — уязвил он Антиоха намеренно. — Неужели Россия столь бедна талантами, что даже в Версаль не могла прислать русского?

Французские газеты в это время печатали авторов, которые утверждали, что настоящее правительство России недолговечно; оно столь ненавистно в народе русском, что... стоит ли вообще вступать с Петербургом в альянсы политические? Кантемир же настаивал на скорейшей отправке французского посла в Россию, и кардинал Флери донес об этом королю.

— Спешить не следует, — отвечал Людовик. — Пусть русские в полной мере испытают, что Франция в них мало нуждается. Турки пока побеждают; еще неясно, как образуются дела шведские... Впрочем, — сказал король, зевнув, — давно болтается без дела граф Вогренан. Подсуньте-ка его для приманки... И пусть он тянет со своим отъездом. Между тем мы подыщем для Петербурга достойного посла, чтобы всем немцам в России стало от него тошно.

Кантемир навестил Вогренана, стал убеждать его как можно скорее отправляться в Россию, где его ждут.

— Позвольте, — отвечал хитрец, — мне надо запастись всем нужным для жизни в Петербурге. Парижские газеты пишут, что в России страшный голод, там люди поедают трупы... А где я там достану мебель? Кто мне карету починит? У вас там лес и лес. И волки бегают по улицам городов... Скажите, разве у вас часы не из елок делают? О боже! За что наказал меня король, посылая в эту ужасную страну?..

Он хитрил. Поедет в Россию совсем другой человек.

Не человек, а пленительный дьявол в обличье маркиза!

Словно корабль, вернувшийся в гавань, Бенигну Бирон слуги разряжали от тяжести одежд пышнейших. Когда на герцогине не стало ни трещавших роб, ни лент, ни драгоценностей, ни даже парика, превратилась Биронша в иссохшую и сварливую бабенку с глазами в красных ячменях... Мужу своему она пожаловалась:

— Напрасно ты Волынского хвалишь — невоспитан. Я ему с кресла тронного две руки протянула, а он только одну поцеловал...

Затихал дворец Летний, в саду ветер качал деревья, в окна скоблились взерошенные черные ветви. Через бироновскую половину дворца проследовала в свои покои Анна Иоанновна.

— Ты сразу придешь сегодня? — спросила она Бирона.

— Сначала поднимусь наверх, — ответил он царице...

Накинув телогрей, герцог поднялся на башенку дворца, где стоял его телескоп. Через линзы Бирон разглядел Юпитер, что предвещало появление в эту ночь на свет новых епископов, губернаторов и банкиров. В золотом ободке ярко горела Венера, сулящая сегодня рождение прекрасных дам, аптекарей, портных, сукноторговцев, проституток и заядлых посетителей трактиров... Осенняя влага туманила линзы. Бирон в потемках башни листал перед собой рукопись древних астрологов, купленную им недавно у заезжего флорентийца:

— Что-то неясно мне сегодня в расстановке светил моих. И это гибельный поход Миниха... Почему так? Неужели кабалистика числ темных неверна? — бормотал он. — В предстоящем тысяча семьсот тридцать девятом году я не должен беды ожидать, ибо это число никак не делится на два. Но для меня зато станет опасен год следующий за ним — год тысяча семьсот сороковой... Да, очень страшен будет для меня год этот, который делится сразу на многие доли...

Бирон откинулся на спинку кресла, глядя в небо, и над ним холодно просвечивала бездна ночи, мерцающая галактиками.

— Нестойко положение мое! — сказал он.

Герцог спустился в опочивальню спящей царицы. Сначала со свечой в руке он заглянул в ночную посудину. В мутной, как прокисшее пиво, урине императрицы Бирон разглядел кровавые нити. Это внесло еще большее беспокойство в душу его. О боже, как непрочен мир! На чем же зиждется его могущество? Только на этой вот стареющей, полнокровной от сытости женщине, что ждет его в постели царской. Ему уже под пятьдесят, и скоро он служить ей столь угодно как мужчина не сможет. Правда, корона Кетлеров укроет его голову от позора, но...

Бирон размышлял. Но ведь случись, что Анны вообще не станет рядом, она помрет, и — как знать? — не свалится ли с головы его корона? Возникнет гнев. Возможны бунты... А как спастись от русских? Ведь не всегда бежать возможно...

Анна Иоанновна открыла глаза, подвинулась в постели:

— Ложись, Яган. Чего ты бродишь по ночам, как вор? И сам не спишь, и мне спать вволю не даешь.

— Прости, милая Анхен, — ответил Бирон. — Я сейчас был в башне у телескопа, а теперь мне надобно спуститься в подвал... Ты спи, мое сокровище, и дальше. О, как ты дорога мне!..

Спускаясь в подвал, Бирон продолжал думать. Ведь он может бежать из России лишь по земле или воде. Однако на дорогах и на морях его способны настигнуть. И только в воздухе, под пеленою облаков, он будет в безопасности... В подвале у него с в о и дела — ужасные дела!

...В народе русском долго жило смутное преданье. В нем память сохранилась о подьячем, который при царице Анне сумел под облака взнестись. И сказывали люди, будто Бирон отпустил летуна домой, в награду отсыпав ему целый сундук золота. А слуги герцога, завидуя чужому счастью, напали по дороге на подьячего и убили его ради богатой добычи. Такова легенда...

А — истина? Бирон замуровал летуна в подвале, велел уморить его голодом. Из прошлого дошли глухие отголоски, якобы воздухоплаватель не пожелал изобретением своим ни с кем делиться. А герцог сам хотел владеть чудесным способом летать. Однако, сколько ни старался Бирон, машина в небеса не поднималась. На помощь герцогу призваны были ученые академики; будто и сам великий Леонард Эйлер над «самолетом» этим безуспешно мудрствовал. Но уже никто не мог оторвать машину от земли, чтоб запустить ее под облака...

Вот тогда-то Бирон и закричал.

— Скорее вниз... в подвале разбивайте кладку! Если он еще дышит, зовите врача Дювернуа, чтоб жизнь ему вернул.

Ломы с грохотом обрушили кирпичную кладку. Бирон опоздал. Длинная борода, отросшая в заточении, уткнулась в грудь летуна-подьячего. А по телу уже ползла зеленущая плесень и бегали по лицу юркие мокрицы...

.....
Август III, сын Августа Сильного, курфюрст саксонский и король польский, позавтракав с шутами, облачился в халат, который и не снимал уже до вечера. Паштет ему привозили из Страсбурга, шоколад из Вены, угрей из Гамбурга, он курил табак турецкий. Время от времени из клубов табачного дыма вырывались слова Августа:

— Брюль, а есть ли у меня деньги?

— Полно, ваше величество...

Канцлер окружал своего повелителя картинами и музыкой, фаворитками и шутами. Целых два часа они выбирали парик для поездки в оперу. Выбрали парик фиолетового цвета, дополнительно присыпав его алмазною пудрой...

В опере Августа III напугал дерзкий смех молодого придворного, который не страшился аплодировать раньше курфюрста.

— Брюль, кто этот наглец? — спросил Август.

— Так может смеяться только граф Мориц Линар, выгнанный из Петербурга за преступную связь с малолетней принцессой Анной Мекленбургской... Прикажете удалить паршивца из оперы?

Август III велел звать Линара в свою ложу.

— Я должен вас огорчить, — сказал он ему. — Из Вены уже выехал в Петербург маркиз де Ботта, чтобы ускорить свадьбу вашей любовницы с племянником австрийского кесаря.

Линар взмахнул шляпой, украшенной аграфом и перьями.

— Ускорить свадьбу с принцессой Анной венская политика способна. Но никакая политика, пусть даже самая мудрая, не способна сделать женщину счастливой... Сделать ее счастливой могу только я!

Августа III потрясла самоуверенность красавца.

— Брюль, — повернулся он к канцлеру, — никогда не посылайте этого мота и ферлакура в Петербург... даже курьером!

— Курьером я и не поеду — у меня иная судьба.

— Вот как? Но если бы вас снова послали в Петербург, что бы вы там, Линар, делали?

— Что-нибудь...

— Этого мало!

— Граф Бирон сейчас тоже делает «что-нибудь», и поверьте, у него нет минуты свободного времени.

— На что вы намекаете! Это уже наглость!

— Это... политика, — отвечал Линар. — Разве вам, ваше величество, не хотелось бы, сидя на престоле Саксонии, управлять с моей помощью великой Российской империей?

— Но это невозможно...

— Но так и будет! — ответил Линар.

Эпилог

При дворе состоялся большой выход. Камергеры с золотыми ключами у поясов руководили порядком движения персон знатных. Выход же состоялся по случаю прибытия нового посла австрийского, маркиза де Ботта... Мужчины уже прошли перед ним. По рангам. Белые палочки в руках церемониймейстеров указывали, кому и за кем «брат шаг» (каждый сверчок должен знать свой шесток). Первым, конечно, «взял шаг» обер-камергер и его высокородная светлость — герцог Курляндский Эрнст Иоганн Бирон.

Дело теперь за дамами — им «брат шаг» в церемонии.

Анна Леопольдовна стояла неподалеку от Биронши.

Взмах палочки — п о р а...

И тут замухрышка Биронша «взяла шаг» раньше принцессы.

— Тетушка! — завопила Анна Леопольдовна. — Ах, как мне это все уже опротивело... До каких еще пор издеваться будут?

Церемониал придворного шествия оказался поломан.

Придворные остановились в недоумении...

— Чем ты недовольна? — спросила Анна племянницу.

— Эта горбунья старая взяла шаг раньше меня. Хотя ей, как статс-даме, шагать за обер-гофмейстериной положено.

Биронша надменно выпрямилась.

— Но я герцогиня Курляндии и Семигалии, — прошипела она.

Анна Леопольдовна в исступлении закричала:

— Вот там и бери шаг перед кем хочешь...

К женщинам подошел Бирон, крайне растерянный:

— Принцесса, к чему вы так обидели мою жену?

В ссору вмешался и принц Антон Брауншвейгский.

— В самом деле, — сказал он Бирону. — Моя невеста, как принцесса крови двора здешнего, вполне имеет право на первый шаг перед супругой вашей, происхождение которой не совсем ясно...

Бирон наорал на жениха, как на последнюю шавку:

— Принц, замолчите! Вы здесь самый маленький...

Анна Иоанновна, размахивая руками, вступилась.

— Довольно! — кричала тоже. — Довольно, говорю я вам. Чего не поделили? Кому шагать за кем? Так мы же, слава богу, не солдаты!

— Нет! — злобно разрыдалась Анна Леопольдовна. — Я знаю точно. Герцог и герцогиня желают мне зла... Я никуда не пойду.

Потрясенный всем увиденным, взирал на эту сцену непристойную венский посол, маркиз Ботта... Анна Леопольдовна плакала:

— Оставьте в покое меня. Ничего я уже для жизни своей не желаю. — И вдруг в толпе придворных она заметила Рейнгольда Левенвольде. — Это твой брат, — сказала она ему, — продал меня в Вене. Сам отравился, словно крыса, а других страдать заставил...

Горячая рука Волынского обхватила ее ладонь:

— Ваше высочество, о чем вы? Кто вас посмел продать?

— Я уже не маленькая, все понимаю. Густав Левенвольде за деньги царские продал меня в Вене за нелюбимого...

Анна Иоанновна грозным рыком пресекла распри:

— Тихо всем! Церемонию не ломать... (В тишине долго слышались рыдания племянницы.) Я вот тебе пореву... я тебе...

А после этого скандала — совсем уж некстати! — маркиз Ботта публично выразил желание императора Карла VI ускорить бракосочетание Анны Леопольдовны с принцем Антоном Брауншвейгским.

Раздался сочный смех — это хохотал Бирон:

— От этой Вены мы получаем одни анекдоты...

На улице карету Волынского нагнал юркий возок Лестока.

— Волынский, — сказал хирург, — действуйте же!

Кучер хлестнул лошадей, и карета министра, покрытая кожей и лаком, грохоча золочеными спицами колес, обогнала жалкую кошевку врача цесаревны. В зеркальном окне ее мелькнул профиль Волынского — гордый и надменный, почти медальный.

Впереди вельможного цуга молоденький фореитор звонко трубил в медный рожок. А на запятках кареты два гайдука в бледно-голубых ливреях покрикивали на люд уличный, люд столичный:

— Пади, пади, пади... сторонись — задавим!

Летопись четвертая КОНФИДЕНТЫ

О! Гибели день близок вам;
И быть чему, стоит уж там —
Тем движете, его вы сами...

Василий Тредиаковский

Меня обьял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой...
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти,
Их речь полна тщеты, напасти...

Михайла Ломоносов

Глава первая

Недавно в целях фискальных, как это повелось с татаро-монгольского ига, провели на Руси перепись населения. В стране проживали тогда 10 893 188 человек, из числа коих 8 миллионов были крестьянами или бобылями. Мужчин насчитали на четверть миллиона больше женщин, отчего, надо полагать, жениться в те времена было не так-то легко!

Чем дальше от столицы, тем оживленнее и шумливее были города русские. Провинция, подалече от властей, жила бойкой и деловой жизнью. Здесь и свадьбы играли повеселее.

Какие же города были самыми населенными в царствование «царицы претрашного зраку»? Москва или... Петербург?

Даже сравнивать их нельзя с Рязанью или Ярославлем, площади которых кишмя кишели народом. А Первопрестольная по числу жителей занимала лишь четвертое место в ряду иных городов России.

Петербург... Ну что такое Петербург?

Козьявка!

Зато вот Клин, Великие Луки, Алатырь, Нерехта, Козельск, Вязьма, Переславль-Залесский, Муром и Суздаль — вот это города! Каждый из них имел гораздо больше населения, нежели чиновная столица империи, где жизнь была во много раз дороже жизни в провинции. И уж, конечно, унылому Санкт-Петербургу было никак не угнаться за полнокровной, многодетной и лихой красавицей Вологдой...

Из одиннадцати миллионов россиян, как показала та перепись, дворян было всего около полумиллиона. Лишь немногие из них кое-как сводили концы с концами, остальные едва пробивались службою, и высший гнет над собою шляхетство перекладывало на плечи своих крепостных... Будто египетская пирамида вырастала над Россией храма подневольного рабства для всех россиян, а на самом верху ее посверкивала корона императрицы, вступавшей в кризис своей жизни.

Забрезжил над Россией год 1739-й, в котором Анне Иоанновне исполнилось 46 лет. Сколько было у нее любовников — Михаил Бестужев-Рюмин, принц Мориц Саксонский, Густав Левенвольде, князь Василий Лукич Долгорукий и прочие, но только Бирон сумел властно и до конца заполнить ее сердце. С возрастом еще сильнее привязалась она к герцогу и детям его.

Зимний дворец был только резиденцией для нее, а любила обитать в Летнем, куда и Бирона с семейством перетащила. Теперь два герба украшали фронтон — империи Российской и герцогства Курляндского. Бирон, слабость императрицы подметив, усилил к ней ласки и внимание. Благодарная за это, Анна Иоанновна любила его со всем пылом женщины, почуявшей канун старости. Привыкла она за стол с семьей герцога садиться, вникала в мелкие заботы о детях. Вне престола Анна Иоанновна становилась хлопотливой матерью и рачительной хозяйкой. Бирон теперь одну ее почти не оставлял. Если

же приходилось отлучаться, он поручал императрицу наблюдению шпионов своих. А самым главным шпионом была его жена-герцогиня; горбатая уродина понимала, что все величие и все золото проистекает от благоволения Анны Иоанновны к ее мужу. Потому Биронша эти отношения берегла...

И часто бухалась царица перед киотами в молитвах:

— Господи, не прогневайся на мя, грешную. Узри тягости мои и дай послабления... обнадежь... вразуми... не брось мя!

В спальне царицы — шкатулка, а в ней, как священная реликвия государства, лежала борода Тимофея Архипыча; еще не забылись выкрики его истошные: «Дин-дон, дин-дон... царь Иван Василич!» Умный был мужик Архипыч и по косточкам царицу раскладывал. Всю жизнь между благовестом церковным и лютостью Иоанна Грозного она проводила. От матери своей, вечно пьяной садистки Прасковьи Салтыковой, унаследовала Анна Иоанновна любовь к мучениям людским. А от деда, царя Алексея Михайловича, перешла к ней страсть к одеждам пышным, к беседам с шутами и монахами; от него же возлюбила и охоту со стрельбой, как средство к убийству чужой, незащитной жизни...

Среди умных людей Анна Иоанновна скучала. Зато всегда ей было хорошо среди конюхов, судомоек, калмычек, сказочниц, юродивых, потрясуней, скomoroxов, портных и ювелиров. Скворцы ученые и попугаи говорящие дополняли ее компанию. А двор царицы был роскошен, страшный двор и сладкий двор, от него сыпались казни, но проливались и милости. Анна Иоанновна уронила во мнении народа Сенат и коллегии, но зато подняла двор, который ошеломлял даже тех, кто бывал в Версале. И чтобы хоть прикоснуться к лукавому сиянию двора, вельможи шли на любую подлость... За стенами дворца царского — грабежи и правежи, разбои и пьянство, темнота и болезни повальные; там бушуют во мраке суеверия самозванцы, пророки, колдуны, лжесвидетели, «бабы потворенные» (то есть доступные), нищета и стенания. Но зато вот здесь — ах, благодать, и стоны наружные заглушались в хоре скрипок музыкой Франческо Арайя!

Через расходы на содержание двора Анна Иоанновна разоряла страну и народ русский. А дворяне, ко двору попав, начинали себя расточать, вгоняя крепостных в полное оскудение. Еще в недавние времена бояре завешали одежду свою в наследство сыну, от сына она к внуку переходила, служа поколениям. В стговорных бумагах к свадьбе не гнушались дворяне перечислять порты хлопчатые, полотенца холстинные, ложки оловянные; огарок свечной не выкидывали; чистый

листочек бумажки берегли свято. При дворе же Анны Иоанновны даже платье нельзя было во второй раз надеть — его выбрасывали, заводили новое; свечи палили нещадно, так что и печек не надо; портные и парикмахеры, поработав в Петербурге полгода, увозили за границу целые состояния...

Миних однажды при дворе воскликнул:

— Расширьте ворота дворцовые, ибо в них дамы застряли и не могут через них деревни свои проташить!

Прав он был: убор иногда стоил сорока деревень. А Биронша несла на своих одеждах драгоценностей сразу на несколько миллионов экю. При дворе Анны Иоанновны русский дворянин впервые прослышал, что есть такая зверюга страшная — м о д а. В жестокой схватке боролись во дворце две моды. Первая исходила от самого Бирона, который обожал нежно-пастельные тона — от розового до небесного, а Рейнгольд Левенвольде стоял на том, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом... В любом случае, какой ты моде ни следуй, все равно уплывут твои денежки к французам!

Но иностранцев, попавших ко двору Анны Иоанновны, внешним блеском было не обмануть. Они замечали, что на пальцах женщин много бриллиантов, зато под ногтями у них черно от грязи. Если роскошно платье статс-дамы, то шея у нее давно не мыта. Покрой одежд был уродлив. Бывало платье и хорошо, но в танце обнажались из-под него г о л ы е ноги (на чулки денег уже не хватило). Правила омовений суточных женщинами не соблюдались, а дурные запахи от тел своих они заглушали обилием крепких духов. Почти все люди тогда переболели оспой, и корявины на лицах красавицы густо шпаклевали румянами. Золота и серебра на столах было очень много, но руки иностранцев прилипали к посуде, плохо отмытой. Однако вся эта грязь обильно покрывалась алмазами, яхонтами, рубинами, бирюзью, сапфирами; все неустройство жизни русской застилало при дворе парчой хрустящей, шелками и муаром, поверх драгоценностей дивно сверкали сибирские меха...

А надо всем этим показным величием, всем повелевая, всех устрашая, господствовал владыка истинный — к н у т!

.....
Кнут на Руси — издавна предмет государственный, в законности он — доказатель вины наиглавнейший...

Молодых палачей брали на выучку палачи старые:

— Слушь! Поначалу ты кнут между двумя кирпичами прокатай. Затем дегтем его промасли. На улицу с кнутом выбеги и как следует

в пыли дорожной его обваляй. Концы треххвостки завей барашком. В молоке стельной коровы кнут размочи. На солнце высуши. Тогда концы, на ветерке усохнув, станут — что когти звериные... Осознал?

— Благодарю за науку... осознал. В самый это раз!

Учеба палаческая трудная. Мастерство пытошное немало секретов имеет. Сначала учатся без участия человека. Возьмут курицу, на лапах ее следки намелят и по избе курицу гулять пустят. Курица наследит мелом — каждый шаг в три черточки. Палач должен так ударить об пол, чтобы тройное охвостье плетки его легло точно в тройной следок курицы.

— Собери все следки на плеть! — учат старые палачи, и ученик, взмыленный от усердия, достигает такого опыта, что после ударов его плети пол в избе становится чистым...

Тогда старый палач ухмыльнется и велит ученику поймать муху. А мухе пойманной крылья обрывают. И кладут ее на лавку, по которой она, уже бескрылая, очумело ползает зигзагами скорыми.

— Стебай муху вмах, но так, чтобы жива осталась!

Это трудно. Ударить по мухе надо вроде бы очень сильно. А на самом деле удар обязан быть нежен, как дуновение ветерка. Чтобы муха, жива и невредима, дальше по лавке ползала. Когда и это совершенство достигнуто, старый палач говорит молодому:

— А ныне задача тебе самая простецкая. Вот кладу перед тобой доску, и ты ее с единого удара переломи пополам.

И доска с треском ломается (так учатся ломать человеку кнутом позвоночник). Есть еще тайны в мастерстве этом. Можно так выстебать жертву, что весь эшафот кровью зальет, а сама жертва — хоть бы что: встанет из-под кнута и возликует. Это удары легкие, только кожу трогающие. А можно и столь усердно бить, что мясо со спины кусками полетит от эшафота в толпу зрителей, а через рваное тело будут розово просвечивать кости людские.

Велика та наука кнutoбойская — древнейшая на Руси!

Палачи даже спят, с кнутом не расставаясь. Ибо они суеверны, а колдуны способны кнут их заморозить, чтобы он потерял свою страшную силу. Мудрые старики на Руси знают: если кнут всю ночь подряд парить на печи в отрубях пшеничных, тогда он становится шелковым. Но палачи спят чутко — у них кнута не скрадешь!

И твердо стоят они на эшафотах империи Российской, красуясь рубахами алыми, пошитыми для них из казны царской. По давней традиции палачи не держат кнут в руке, а зажимают его между ног.

Вот уже ведут к ним преступника. Кнут выдвигается между ног все дальше и дальше, подталкиваемый рукою палача сзади... Преступник возведен на эшафот и разложен.

Взмах! Только ахнул народ в ужасе...

И видно, как разомкнулись в полете хвосты кнута. Удар стремителен, как молнии, и в мгновение ока все три хвоста собрались воедино — в морковку. Следует выкрик:

— Берегись — ожгу!

Так начинается истязание.

Государство кнутом начинает доказывать людям, что человек постоянно не прав, а власть неизменно права будет...

Кнуты же, которые ныне в музеях хранятся, давно уже не страшны. За два столетия усохли они, превратились в мумии — это не кнуты, а жалкие хлястики. Таким кнутом даже кошки не высечь.

Глава вторая

Андрей Федорович Хрущов недавно в столицу из Сибири приехал, где он по горным делам при Татищеве состоял. Рода он был старинного, искусству инженерному учился в Голландии, был офицером флота, а в Сибири за рудными плавильнями наблюдал... Человек знающий! Приехал в Петербург, овдовев, с четырьмя малыми детишками на руках. Кабинет-министр встретил знакомого душевно, на дому его побывал; сам вдовец, Волынский по себе знал, как тяжело детишек малых тянуть без матери. За сиротами приглядывала сестра Хрущова — Марфа Федоровна, девица-перестарок, баба добрая. А над крыльцом дома хрущовского висел родовой герб «Саламандра» («свиреп зверок с простертыми крыльями, во огне бо живет несгораема Саламандра»).

— Может, и сгорю, — говорил Хрущов Волынскому. — Покуда Нюта моя жива была, я собою дорожился. А теперь ради дел выших готов и пострадать... Вижу! — говорил Хрущов. — Всю злость времени нашего вижу. Не по себе, так по другим чую... Шатает Россию, будто пьяную. То хмель дурной — кровавый! Быть бедам еще, но уже бесстрашен я к ним... Саламандра сама во огонь кидается!

Были они дальними свойственниками по Нарышкиным, и оттого приязнь дружбы родством умножалась. Волынский в доме конфидента много книг видел... французские, немецкие, голландские.

— Счастлив ты, — позавидовал он Хрущову, — что языки иные ведаешь. А я вот только по-русски читать способен. По секрету скажу, что ныне я занят писанием «Генерального проекта» о благоустройстве русском... О благе народа есть ли что давнее у тебя?

Хрущов стал перед ним сундуки открывать, а там — полно бумаг старинных. Немало там летописей и прадедовских хроник.

— Но есть одна книга, — сообщил, — которой днем с огнем не сыщешь. А знать бы ее тебе, Петрович, надобно... Не ты первый герой на Руси, который проекты разные пишет!

Посадил он Волынского в свои санки, повез прогуливать. Лошади бодро молотили копытами в наезженный наст. Через заброшенный сад Итальянский завернули к арсеналам части Литейной, от цехов пронесло жаром — там пушки отливали. Лошади вывернули санки на Выборгскую сторону — к госпиталям воинским. Ехали дальше, а бубенцы названивали к стуже морозной. Красное солнце медленно оплывало над затихшими к вечеру окраинами.

— Федорыч, куда везешь меня? Не повернуть ли нам?

— Повернуть всегда успеем... Ты погоди, — отвечал Хрущов.

Слева, на берегу Малой Невки, остался заводик сахарный. Завиднелось и Волчье поле, что тянулось аж до самой чухонской деревушки Охты; оттого оно Волчье, что при Петре I тут строителей Петербурга неглубоко закапывали; волки это пронюхали и ходили сюда стаями кормиться покойниками безродными... Выборгская сторона для человека вообще опасна: вкусив человечины, волки и на живых тут кидаются. Не доезжая до слободы батальона Синявина, Хрущов велел кучеру остановиться. Здесь под снегом одиноко стыл небогатый храм Сампсона-странноприимца.

— На што ты завез меня в эку глушь?

— Молчи, Петрович, сейчас все узнаешь...

Церковка затихла, пустынная. Вокруг безмолвие, только от слободы казарменной побрехивали псы. Возле ограды стоял крест, уже надломленный ветрами, из-под снега торчала одна его верхушка.

— Это здесь, — сказал Хрущов, начав молиться. — Покоится тут Иван Посошков, а по батюшке — Тихоныч... Молись и ты за претерпения его немалые!

Рука Волынского, поднятая ко лбу, вдруг замерла:

— Посошков... А кто он такой?

— Мужик из Новгорода. Торговал на Москве кожами.

— Так зачем мне за помин души его маливаться?

— Молись крепче, Петрович, ибо Иван Тихоныч крепкий был россиянин. Правды всенародной желатель, начертал он от разума большую книжищу, «О скудости и богатстве» названную.

— Впервые слышу о книге такой.

— То-то! — сказал Хрущов. — И вся Россия не знает. Вот ты сейчас генеральное рассуждение сочиняешь о реформах системы нашей. А Посошков-то раньше тебя постиг, что экономика есть главнейшая вещь в государстве. Хотел он древнюю неправду Руси искоренить... Вот и лежит под нами, неправдою сам побежденный!

Волынский снег на могиле разгроб, приник к кресту:

— А недавно умер... Что же с ним приключилось?

— Не умер, а замучен в темницах Тайной канцелярии. Ты проекты, конечно, пописывай, но вокруг поглядывай: как бы не пропасть...

Дал он прочесть Волынскому книгу «О скудости и богатстве», кем-то от руки тайно переписанную. Посошков смело бросал упрек царю Петру I за то, что не дал тот народу четкого закона, а завалил Россию пудами своих указов, которые и так и эдак прочесть можно. Пораженный, думал над книгою: «Не за то ли и судили Посошкова, что он государей поучать стал? Но вот странно мне: ведь об этом же и я хочу в Кабинете толковать — закон один для всех, вот такой нужен...» И еще увлекло министра одно мнение Посошкова: как бы ни был умен и деятелен царь, все равно монархия по природе своей малоспособна для управления государством — в работе государственной необходимы все сословия, даже хлебопашцы!

— Смел ты, Иван Тихоныч! — призадумался Волынский. — Не с того ли ты и лег раньше времени на погосте Сампсоньевском?..

Не знал он тогда, что эта поездка к Сампсонию была пророческой. Волынскому суждено лежать по соседству с Посошковым под красным солнцем на стороне Выборгской, издалека будут лаять псы из слободы батальона Синявина.

...Сейчас этих мест не узнать.

Мало-помалу обрастал Волынский семьей своих конфиденентов. По вечерам многие навещали министра... Вхож стал математик Ададуров, механик Ладьженский, архитектор Иван Бланк, захаживали на огонек ассессоры по разным коллегиям, врачи и садовники, офицеры армейские и флотские. Правда, не все гости министра были искренни в беседах — иные липли к Волынскому, как к персоне могучей, ласки от него фаворной и выгод прихлебных себе жаждая.

Артемий Петрович и сам сознавал, что такие конфидененты, как Соймонов и Еропкин, Ададуров и Хрущов, умнее его и чище помыслами; люди бескорыстные, они имели таланты, а он имел только фортуна завидную... Кубанцу честно признавался Волынский:

— Я ведь только мутовка, что масло попышнее взбивает. Придет срок, мутовку оближут и выбросят. А масло-то от меня останется и, дай бог, еще принесет пользу великую...

Скоро из Сибири нагрянул в Петербург и Василий Никитич Татищев, тоже заявился на дом к Волынскому, жаловался:

— Меня под суд отдают за воровство якобы. А я не воровал... только кормился! Говорят люди злые, будто я взятки брал, Оренбург перетасил на худое место. Герцог на меня злобится... Чтобы время проходило не зря, я теперь историю российскую сочиняю.

В кружке близких Волынского читал Татищев историю. Но от времен прошлых конфидененты в день сегодняшний обращались.

— Муки народа, — говорил Соймонов, — столь глубоко в тело вошли, что нужен хирург с ножиком, дабы вредную грыжу отрезал. Имеющий уши да слышит! Одно чаю: велик гнев в простонародье русском. Ударь клич — и полетят головы... Ох, покатаются!

Английский врач Белль д'Антермони, давний приятель Волынского, сосал трубку; закрыв глаза, слушал русских. Секретари Остермановы, Иван де ла Суда и Иогашка Эйхлер, оба холеные, в еде брезгливые, вилками в тарелках ковырялись, помалкивали; шпионы Волынского в Кабинете и по делам коллегии Иностранной, они умели молчать и слушать... Из-за стола поднялся Волынский:

— Это ты верно сказал, Федор Иваныч, только слова твои опасные. Коли в набат ударить, так народ и мне башку снесет. А я того, по слабости общечеловеческой, не желаю. Потому и говорю: перемены сверху надо делать, а низы до топора не доводить...

Ванюшка Поганкин робок был, но тут не смолчал.

— А все едино, — брякнул, — случись заваруха, от топора никто не убежит. Лес рубят — щепки летят... Тако!

Два архиерея, Стефан Псковский да Амвросий Вологодский, крестились при этом, по сторонам поглядывая: не донесет ли кто, вражья сила? А садовник Сурмин, плетью от царицы уже драный, все на двери поглядывал: не убежать ли пока не поздно?..

Белль д'Антермони выколотил пепел из погасшей трубки.

— Петрович, — спросил, — нет ли тут лишних?

— У меня все свои, — ответил Волынский.

Тогда врач показал глазами на Василия Кубанца.

— А раб твой? — спросил тихонько.

Но Волынский всех громогласно заверил:

— Раб и есть раб! Его дело — господину верно служить.

При этих словах маршалок взбил пальцами на груди своей жабо кружевное, поклонился конфидентам хозяина. И когда кланялся Кубанец, черная щетка волос заслонила ему глаза — всевидящие, торчали оттопыренные уши калмыка — всеслышащие.

— Вы можете говорить при мне вольно, — сказал он. — Я все равно ничего не слышу... Я все равно ничего не вижу! Р а б...

Опять склока с императрицей случилась... Волынский в лето прошлое устраивал облавы в лесах нижегородских, егеря живьем лосей и оленей излавливали. Удалось поймать шестьдесят животных. С бережением везли их под Петербург, чтобы в леса ижорские выпустить для украшения природы. Анна Иоанновна зверей этих к себе потребовала. Перед ней лося выведут, она его прямо в сердце стреляет. Ведут за рога следующего. И так в одночасье перебила все шестьдесят. Данила Шумахер, описывая этот случай в «Ведомостях», назвал царицу «порфиноносной Дианой», а Волынский на Анну Иоанновну в гневе обрушился:

— Ваше величество, ведь Россия еще не кончается. Кому-то и после нас жить придется. На што нещадно зверье губливать?

Анна Иоанновна надулась, зафыркала, обижена:

— О чем ты? Надо же и мне забаву охотную иметь. Или мне, императрице, с ружьем по болотам за зверем ползат?

— Да ведь не охота сие, а — у б и й с т в о...

Волынского смолоду преследовали идеалы несбыточные. Замыслы его трудно прикладывались к жизни сумбурной. Но там, где касался он дел житейских, там успевал много свершить полезного. Вот и сейчас он возрождал славянскую лошадь, не ведая, что позже от его опытов родится хваленый орловский рысак... В царствование Петра I поборы для нужд кавалерии уничтожили славную русскую лошадь, которой неизменно восхищалась Европа. Русскую лошадь извели, а взамен стали покупать коней «в Шлезии и в Пруссах». Теперь срамно было видеть, какой сброд войскам поставляли. Про мужиков и говорить нечего — не лошади, а мухи дохлые тащили сошки через ухабы... Волынского заботили луга в травах конских, конюшни светлые, лазареты и аптеки лошадиные, генеалогия рысаков породистых. Сколько он брани вытерпел, уму непостижимо. Мол, у нас люди нелечены помирают, а ты, дурак такой, лошадей вздумал лечить.

— Я вот пусть и дурак, — мрачно огрызался Артемий Петрович, — а кобылам своим на Москве аптеку устроил. Вы, смеющиеся

надо мною, имейте же о людях заботу такую же, какую я о животных проявил!

Мешал ему в начинаниях обер-штальмейстер князь Куракин, и Волынский злобно ненавидел этого человека, вечно пьяного. Куракин считался патроном Третьяковского, отчего Волынский, за компанию с князем, и поэта невзлюбил. «Клеотур! — гневался на стихотворца. — Губы-то свои мокрые по книжкам итальянским развесил... Доберусь до тебя, гляди! И з у в е ч у...»

Немецкое племя он не терпел. Министра бесила даже поговорка немецкая: *Langsam, aber immer voran* (медленно, но все-таки вперед). Он не выносил их прилежной усидчивости в труде, их поступков, всегда неторопливо-последовательных. Волынский не таков — взрывчат в деяниях, как бомба в руках отважного гренадера. По нему — или ничего не делать, на диванах валяясь, или делать так, чтобы все трещало вокруг... Посмотрел он однажды, как усердно клеят конверты фон Кишкили, и под глаза им фонарей наставил:

— Брысь отсюда, курвята митавские!

А вместо этих головотяпов, пользы не приносивших, принял в службу конюшенную двух мужиков. Мало того, министр мужиков этих, вчерашних крепостных, самовластно возвел в чины. Ибо они «лошадиную породу» дотошно ведали. Фон Кишкили снова в передней царицы плакались, и Анна Иоанновна выговаривала Волынскому, что он верных слуг ее обижает, второй раз челобитную на него несут...

Волынский ответил ей:

— Я не из тех, которые пожелают молчанием пользоваться, дабы жить спокойно, и на чужие плутни молчком глядеть не стану. Я ведь, матушка, не за себя, а за государство страдаю...

Говорил так, предрезостно, ибо верил в благоволение Бирона, и царица велела ему объяснительную записку сочинить. Не знал Волынский, что от записки его по делу Кишекелей пролегает прямая тропка — до погоста храма Сампсония-странноприимца, где забыто похилился крест над Посошковым, доброжелателем народа русского.

Глава третья

Дела русские в этом году плохо складывались. Очень плохо! Не к нашей выгоде. Прошлогодний поход Миних загубил, Вена терпела в Сербии поражения от турок, требуя для себя присылки войск русских. Швеция грозила России войной, королевский флот вот-вот мог появиться возле фортеций Кронштадта...

Получалось так, как писано у Тредиаковского:

С одной страны — гром,
С другой страны — гром,
Смутно в воздухе,
Ужасно в ухе!

Турция, укрепясь в успехе, вверила судьбу войны и мира французам. Дипломатия Версала была блестяща, и посол Людовика XV при султানে отныне представлял сразу три самые мощные империи — Францию, Австрию и беспредельную Россию. Ключи от дверей, ведущих к замирению, громыхали в руках мудрого кардинала Флери. Франция давно управляет политикой Турции, Францию же покорно слушается и Швеция...

Кампания предстояла трудная. Русской армии необходимо победы добиться. Воинский престиж России снова поднять и Австрию союзную из беды выручить. Надо мир выгодный приобрести. И любой ценой следует разрушить союз шведско-турецкий. Вена уже насытила Европу слухами, будто во всех австрийских неудачах виновата Россия, союзник плохой и неверный, помощи Австрии не дающий.

Были званы в Кабинет фельдмаршалы.

— Ежели мы, — утверждал Остерман, — в помощь цесарцам не явимся с ружьями, то цесарь венский, до крайности дойдя, может мировую с султаном заключить без нашего одобрения. Тогда нам худо станется. Посему и заключаю, что Вене войсками надо услужить!

Держал речь Миних:

— Я бы дал Вене денег, сколько ни попросят, а солдат русских не давал бы никогда — самим нужны! Главное — разорвать связь Царьграда со Стокгольмом, и это я беру на себя: через Европу муха не пролетит отныне без моего ведома.

Миних настаивал, чтобы в этом году Ласси опять в Крым забрался, а на Кубани пусть конница Дондукиомбу отважно действует. Ласси отказывался от похода на Крым, говоря справедливо:

— Флота-то у нас теперь не стало! А флот, по разумению моему, всегда был и будет первым и наиглавнейшим помощником армии...

Анна Иоанновна решила австрийцам уступить, для чего Миниху следовать с армией на Хотин, как о том цесарцы ее просят. Миних озлобленно ворчал, что он не мальчик на венских побегушках. Сообща договорились министры с фельдмаршалами: австрийцы корпус от России получат, но чтобы содержали его на своем коште. С тем и

отослали в Вену курьера, который быстро возвратился... Ответ императора Карла VI был таков: уж коли Россия согласна на одно доброе дело, так пусть она уступит Вене и во втором — русский корпус, за Австрию сражаясь, остается на русском иждивении.

Остерман сказал:

— Претензии Вены основательны — в Трансильвании товары дешевы, особливо мясо с крупами, так что все сыты будут...

Послали в Трансильванию кавалерию на конях добрых с отличной амуницией. Австрийцы и стали уничтожать ее! Чуть русский воин отъедет от своих, как пандуры и кроаты Карла VI тут же его убивали. Для того убивали, чтобы разжиться уздечкой, лошадьё, ружьем, сапогами. Русское снаряжение им нравилось...

В дипломатии русской дипломатам русским было уже не повернуться: отпихивали их Корфы, Кейзерлинги, Браккели, Кантемиры, Гроссы и Каниони... Мало русских послов сберегли свои посты при дворах иностранных. Но зато прочно, словно гвозди в стенке, засели в политику Европы братья Бестужевы-Рюмины — Алексей Петрович, посол в Дании, и Михаил Петрович, посол в Швеции. Первый изобрел бестужевские капли для успокоения души и прославил себя продажностью; второй брат ничего не изобрел, но продажностью не страдал. Анна Иоанновна обоих братьев хорошо знала, когда они в Митаве при ней камер-юнкерами служили, а отец их, старый вор и развратник, долго был ее любовником...

Михаил Бестужев-Рюмин сидел в Стокгольме, как сидят на бочке с порохом самоубийцы, высекая искру из камня, чтобы раскурить последнюю трубку в жизни. Холодное рыжее солнце заливало зимнюю столицу королевства. В подвалах русского посольства немало хранится золота — для подкупов, для интриг, для убийств. Политика, когда в ней женщины замешаны, особенно в деньгах нуждается... Трудно быть послом в стране, которая не забыла горечи Гангута и Полтавы. После поражений и разорения страны шведы решили уже не допускать королей до управления. Король сидел на престоле, но подчинялся решениям сейма. Шведы ограничили монархию, чего не могли сделать русские при вступлении на престол Анны Иоанновны. Прекрасные дамы в королевстве своей красотой, речами и любовью возбуждали страсти политические.

А партий было две — партия «шляп» и партия «колпаков».

Одни шведы желали отмщения России, и король сказал:

— О, какие боевые шляпы!

Другие стояли за мир с Россией, и дамы оскорбили их:

— Вы презренные ночные колпаки!

Перстни и табакерки дворян украсили изображения шляп и колпаков. Вражда двух партий перешла в бюргерство, от бюргеров — в деревни, и скоро все королевство передралось. Молодежь дуэлировала под взорами «партийных» красоток. Борьба «шляп» с «колпаками» взяла от Швеции столько жертв, сколько берет иногда война. Бестужев-Рюмин с тревогой наблюдал, что верх одерживают воинственные «шляпы». Через подкупленных членов сейма он узнал, что договор Стокгольма с султаном турецким уже готов. Скоро дублиеты ратификаций отвезут в Царьград, после чего флот шведский нападет на Петербург. Под окнами посольства слышались крики:

— Мы за принцессу Елизавету, дочь Петра... Мы не против русских, но мы ненавидим правительство в России! Анна Иоанновна влечет вас к гибели... укротите самодержавие ее, как мы укротили королевское самовластие!

Бестужев вынул, что ратификации к султану повезет барон Малькольм Синклер в майорском чине. «Мое мнение, — депешировал посол Остерману, — чтоб Синклера анлевировать, а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки... Я обнадежен, что взыскивать шведы с нас не станут за жизнь его!» Бестужев-Рюмин стороною вынюхал все о майоре Синклере. И нашел вскоре удобный случай повидаться с ним.

— У вас завидная судьба, — сказал посол дружелюбно.

На чистом русском языке ему ответил Синклер:

— Это справедливо. Жизнь моя есть чудесное сцепление замечательных случайностей. Я столько раз от смерти убежал! Тринадцать лет провел в плену русском, и вот... По вашим глазам, посол, я вижу, что вы не прочь бы и теперь сослать меня в Тобольск.

Бестужев рассмеялся, хитря напропалую.

— Нет, — отвечал. — При чем здесь я? Я говорю не от себя. А от имени прекрасной дамы, что влюблена в вас. Давно и пылко любит вас она. Но... безнадежно!

— Безнадежно? Отчего же? — удивился Синклер.

Со вздохом отвечал ему посол России:

— Увы, она имеет мужа. Но пылкость чувств желает отдавать не мужу, а таким, как вы... Меня она просила передать секретно, что ей желательно иметь ваш портрет.

— Но писание портрета времени потребует. Позировать художнику согласен я. Но времени-то нет для этого...

«Ага! Значит, ты и вправду скоро отъезжаешь в Турцию».

— Зачем писать портрет, который вешают на стенку? — ответил Бестужев-Рюмин. — Широкого полотна для любви не надобно. Дама, сгорающая от чувств к вам, желает видеть вас в миниатюре, чтобы изображение ваше ей было легче от ревности мужа укрывать.

— В миниатюре... я согласен! — воодушевился Синклер.

Портрет был сделан в медальоне на слоновой кости. Спрятанный на груди курьера, он срочно был доставлен к «прекрасной даме» в Петербург... Остерман передал миниатюру Миниху:

— Вот человек, которого следует опасаться.

Миних показал изображение Синклера герцогу.

— Анлевируйте его, — посоветовал Бирон...

Фельдмаршал вызвал к себе трех храбрых офицеров, крови давно не боящихся: барона фон Кутлера, Левицкого и Веселовского.

— Посмотрите на этот портрет и запомните лицо человека, которого следует вам найти и анлевировать. Документы его забрать! Посол наш в Дрездене, барон Кейзерлинг, уже предупрежден, и все бумаги Синклера переправит в Петербург. За это вас ждут чины. Деньги. Слава. Отпуск. Вино. Женщины... Что непонятно вам?

— Нам все понятно, фельдмаршал, кроме одного вашего слова. Объясните, что значит «анлевировать»?

Миних сердито засопел, отворачиваясь к окну.

— Убейте его, как собаку, — пояснил он...

Коварным планом убийства Синклера тишком поделились с Венною; император Карл VI просил императрицу заодно уж (если случайно встретится на дороге) убить и Ференца Ракоци — врага Габсбургов, пламенного борца за свободу Венгрии от ига австрийского. Пустынные дороги Европы рассекали шлагбаумы кордонов. Чума кружила по городам, жившим с закрытыми ставнями окон. Цокот подков глухо отдавался в тихих улицах. Почтовые тракты, карантинные, верстовые столбы, кресты на могилах и распятия Христа на дорогах... Какой большой мир окружал всадников, и в этом мире бесследно затерялся майор Синклер... Искать его — как иголку в стоге сена!

От дел внешних — к делам внутренним... Волынский по ночам жег свечи, сочинял для императрицы записку на доносы фон Кишкелей. Не казенная отписка у него получилась, а — страшно подумать! — п а м ф л е т на все устройство власти русской. Артемий Петрович не мог удержать пера в бешеном разбеге ярости — он вступал в полемику с самодержавием, держа речь иносказательную, как и положено в сатире

лукавой... Язык министра — тоже не казенный, он говорит языком общенародным, бойким (это был отличный язык того времени). Перо в муках творчества брызгало чернилами.

— Жарко мне! — и гнал свое перо дальше.

Самые страшные обвинения на паразитов придворных Волынский возвел в пункте, называемом «Какие притворства и вымыслы употребляемы бывают при монарших дворах, и в чем вся такая закрытая и бесовестная политика состоит». Мелких гаденышей фон Кишкелей министр даже забыл — ногою он попирал крупных гадов.

Кому ни прочтет Волынский, все только ахают:

— Да ведь это же про Остермана... про самого Бирона!

Нашлись охотники иметь копии с этой канцелярской бумаги, которая под пером автора стала художественной сатирой. От руки перебеленные, списки с памфлета Волынского по Руси начали расходиться — читали их грамотеи в провинции, воеводы и священники, чинодралы и патриоты истинные. А было доношение это секретно, для одной императрицы предназначено. Потаенно растекался памфлет по углам медвежьим, волнуя людей и тревожа. Чтобы еще шире прослышали о нем, министр Ададурова к себе привлек:

— Я немецкого не ведаю, Василий Евдокимыч. Ну-ка, перетолмачь с языка нашего березового на язык воистину дубовый...

В немецком переводе прочел записку и герцог Бирон; человек неглупый, он сразу смекнул — что к чему.

— Ха-ха! — смеялся Бирон, довольный (главного так и не разгадав). — Какой ты молодец, Волынский... Я сразу понял, что ты здесь Остерману могилу роешь! Хвалю, хвалю.

— Самоусладительно начертал, — ответил ему министр.

Коли хвалит Бирон, то и Anne Иоанновне хвалить бы пристало. Но императрица была недовольна:

— Я тебя о чем просила писать? Ты про Кишкелей здесь — ни слова, а в дела совсем не конюшенные залезаешь... Гляди, Петрович, философии эти никого еще до добра не доводили! Нашептали мне люди знающие, что ты Остермана моего не щадишь?

Остерман же был настолько хитер, что обиду утаил:

— Смею заверить ваше величество, что вы заблуждаетесь относительно оскорбления моего. Волынский может грязнить меня и дальше, сколько ему хочется... Что взять с сумасброда? И не о том печалюсь я, драгоценная наша и великая государыня.

— О чем же, граф?

— Автор сей негодный не меня — он ваше величество не пощадил, а вы, матушка, доверчивы к людям, того и не заметили.

— Или глупа я, по-твоему? — надулась императрица.

Остерман ловко строил свой д о н о с на Волынского.

— Мудрость вашего величества неопишима, — отвечал он спокойно. — Но прочтите еще раз пункт «О приведении государей в сомнение, дабы оне никому верить не изволили». Многие тут Волынский перенял от Макиавеллия, и, говорят, в библиотеке его еще более зловредные книги сыскать можно... Оттуда-то он брызжет ядом крамольным на власть вышнюю, коя от Бога венценосцам даруется!

Несколько дней Анна Иоанновна ходила сама не своя. На приеме придворном она от престола с «державным штапом» в руке вдруг ринулась прямо на Волынского:

— Ведаешь ли ты, министр, что порядок на Руси издревле таков: за писанное пером у нас рубят голову топором?

Неожиданно раздался голос Бирона:

— А мне нравится, как написал Волынский...

Анна Иоанновна сникла. Она подкинула скипетр в руке, как дубину неловкую, и, подпернув края золотистой робы, величаво вернулась под тень балдахина — к престолу. Снова расселась там...

Волынский глянул на Бирона, и тот ему подмигнул, как конфидент верный. Ничего страшного. Шведский флот сейчас страшнее. Ибо, как докладывал в Сенате Соймонов, за годы последние русский флот изволил высочайше с г н и т ь на приколе в гаванях...

С одной страны — гром,
С другой страны — гром,
Смутно в воздухе,
Ужасно в ухе!

Глава четвертая

Временами все спокойно. Но тишине верить нельзя. Не унялась жажда крови в царице — просто она осматривается по сторонам и... слушает! Анна Иоанновна всегда так поступала: казнит кого-либо, а потом утихомирится, выжидая ропота народного. Убедится, что бунта нет, и тогда довершает мщение. В казнях она следовала примеру Иоанна Грозного, который одного человека никогда не губил, а губил семьи. Но у семьи родичи были — значит, и весь род надо уничтожить. Ежели кто пожалел убитых, таких — на кол! Сородицей на кол посаженного повесить. Близких к повешенному сжечь.

И оставалось поле ровное... Анна Иоанновна кусты родовые тоже с корнем старалась выдергивать из почвы. Месть императрицы была замедленной, будто игра кошки с мышкой; она была осторожна, но неотвратима, как рок...

В застеночном «мешке» обители Соловецкой уже восемь лет сидел дипломат князь Василий Лукич Долгорукий. Борода седая до полу выросла, в ней вши шевелятся, а под рубахой акриды-сороконожки бегают. Редко во мраке отворится люк, куда пищу для него спустят на веревке... Много лет промолчал Лукич, задубел в горе и долготерпении. Ждал он (годами ждал), когда позовет его Нафанаил.

Прикидывал во мраке: какой год нонеча? Кажись, весна.

Дух-то какой доходит от моря тающего. Коли глотнешь из люка, воздух ножиком острым в ноздри впивается. Нет, не зовет его старец... Неужто помер уже Нафанаил?

Лязгнули запоры над ним — велели Лукичу вылезать. Монахи подхватили его из ямы, повели узника коридорами длинными в келью, где благодатно было. Стояла посередь чаша с водою чистою, в ней ветка почками распускалась. А на подоконнике голуби зерно клевали. Старец Нафанаил лежал, высоко и бестрепетно, на ложе жестком. Рукою указал Лукичу, чтобы сел ближе. Сказал, что умирает.

— Стены эти, — говорил Нафанаил, — помнят и ватаги Стеньки Разина, когда они тут от царя упрятывались. Ой, много тут людей схоронилось, от мира дурного отрешась навеки... Обитель Соловецкая есмь Ватикан российский, и немало мы соглядатаев и слухачей на Руси имеем, каждый вздох слышим... стоны собираем, как жемчуг, ведем счет летописный горестям и радостям.

Лукич смотрел, как голуби целуются, как прет из ветки сила сочной, молодой жизни, и... плакал.

— Плачь, князь, плачь горше. Родичей твоих в Березове арестовали, всему роду вашему погром учиняется жестокий.

— О проклятый Бирен! — вскричал Долгорукий.

На что Нафанаил отвечал ему в спокойствии мудрейшем:

— Бирона ты излишне не осуждай. Герцог виновен не более собаки, коя к волчьей стае пристала. Среди злодейств самодержавных злодейства Бирона даже не разглядеть... Но и вы! — сказал старец, на локтях с ложа поднимаясь. — Вы, бояре подлые, более всех повинны в мучениях народа. Не будь вашей грызни по смерти Петра Великого, и вся бы Русь иной дорогой пошла...

Долгорукий, сгорбясь, поднялся:

— Не такого свидания ожидал я, старче Нафанаил... К чему ты упрекал меня? Благослови хоть...

Черносхимник слабо перекрестил его:

— Благословляю ты на м у к и!..

Лукича солдаты заковали в цепи, и ворота обители распахнулись. Лед в гавани Благополучия уже сошел, зеленел свежий мох в камнях стен монастырских, солнце ослепляло узника, надрывно кричали чайки. Лукича спустили в баркас под парусом, поплыли в синь моря.

— Люди добрые, скажите, куда везете меня?

— Молчи, дедушка. Не вынуждай присягу нарушить...

Страшно было. Но иногда сладостно замирало сердце: может, простила его Анна Иоанновна? Ведь была же она в объятиях его... Бабье сердце должно бы помнить!

.....
Тихо было. Но в тишине этой большие гады шевелились...

Тоску душевную глушила императрица в вине, которое пила лишь в кругу персон близких, ею проверенных. И среди них первым являлся обер-шталмейстер князь Александр Куракин; человек ума острого, всю Европу объехавший, многие языки знавший, он в пьянстве беспробудном был ужасен, задирист, вязался в ссоры разные и безобразничал всяко.

— Брось пить, Сашка! — говорила ему императрица. — Отставок не бывает для дворян, а то бы я тебя отставила от службы.

— Не я пью, — отвечал Куракин, — то Волынский пьет.

— Как это понимать?

— Он порчу на меня насылает. Заколдован я врагом моим. И не хочу пить, а сила нечистая опять меня в пьянство вгоняет...

— О чем ты болтаешь, Сашка?

— Голову надо Волынскому за колдовство отрубить!

В защиту кабинет-министра вступался сам Бирон:

— Ферфлюхтер дум! хундфотт! шпицбубе! — осыпал он бранью Куракина. — Кому еще из русских могу я довериться, как Волынскому? Тебе, что ли, из блевотины вставшему и в блевотину ложащемуся?

Но князь Куракин не унимался, травил Волынского при дворе. Третьяковский недавно сатиру написал на вельможу самохвала, и Куракин читал ее всюду:

...за все пред людьми, где было их довольно,
Дел славою своих он похвалялся больно,
И так уж говорил, что не нашлось ему
Подобного во всем, ни ровни по всему...

На кого из вельмож написал поэт сатиру — не ясно, но Куракин трезвонил налево и направо:

— Это же про него — про Волынского нашего...

Волынский появлялся при дворе, а шуты ему кричали:

— Волянка идет! Дурная волянка всю музыку портит...

И наблюдательный Ванька Балакирев сделал вывод:

— Кому-то музыка волянки не по нраву пришлось.

Бирон, сочувствуя министру, спросил его однажды:

— Друг мой Волынский, не знаешь ли вины за собой?

— Какие вины? Ныне я не греховен.

— Однажды я тебя от плахи спас. Второй раз не спасти.

— И не придется, ваша светлость, вам меня спасти...

Волынский теперь не лихоимствовал, взятки не брал — жил на 6000 рублей, которые получал по чину министра. Это очень много! Но зато очень мало, чтобы при дворе бывать, и Артемий Петрович делал долги. «Я нищим стал», — говорил он, даже гордясь этим...

— Не надо ль денег тебе? — спрашивал его Бирон.

— У вашей светлости я не возьму, и без того немало сплетен, будто я клеатур ваш...

— Смотри, Волынский, — похлопал его Бирон по спине. — Будь осторожней, друг. Какие-то тучи стали над тобой клубиться.

Бирон частенько устраивал у себя приемы. К столу в изобилии подавались ананасы, персики, абрикосы, выращенные в подмосковной экономии императрицы — в Анненгофе. Звали всех — вплоть до Балакирева. Шут с женой являлся, такой махонькой, что она ему только до пупа доставала головой своей.

— Изю всех зол, какие существуют на свете, — пояснял Балакирев, — я выбрал для себя зло самое малое...

Бирон при гостях бывал любезен. Его суровый резкий профиль смягчал в пламени свечей, он был наряжен, красив — широкий в плечах, тонкий в талии. Совсем иначе принимала гостей его горбунья. Биронша сидела на возвышении — вроде трона. Недвижима. Пудрой засыпана. Вся в блеске бриллиантов. И только руку совала — для поцелуя.

Сажали гостей не по билетам, а кому какое место достанется. Пересчитали всех с конца, и один остался без куверта. Этим последним оказался Балакирев, конечно.

— Да не с того конца считали, — обозлился шут. — Пересчитайте, с меня начиная, и тогда лишнего на улицу выгоним.

Пересчитали снова гостей, и лишним оказался сам герцог.

— Ну, это уж слишком! — оскорбился Бирон. — Ты не завирайся, скотина. Тебе люди давно уже, как скоту, дивятся.

— Неправда! — возразил Балакирев. — Даже такие скоты, как ты, герцог, и те дивятся мне, как человеку среди скотов...

Над столом поднялся пьяный князь Куракин.

— Матушка! — воззвал к царице (и гости притихли). — Все великое, что предназначено дядей твоим, Петром Великим, ты уже исполнила. И даже повершила Петра в благодеяниях своих... Но в одном ты осталась в долгу перед своим заслуженным предком.

— В чем же не успела я? — нахмурилась Анна Иоанновна.

— Петр Великий, — говорил Куракин, — уже намылил веревку для шеи Волынского, ибо знал за ним дела опасные. Но государь умер, а дело сие препоручил историческим наследникам славы своей. Так заверши успехом предназначение царствования прежнего!

Раздался смех (не смеялись лишь послы иноземные). Исподтишка они взирали на Волынского, а он хохотал пуще всех, хотя кошки на душе скреблись. Смех утробный резко оборвал вдруг Бирон:

— Ты пьян, шталмейстер! Вон отсюда...

Когда гости разъезжались, они на все лады расхваливали стол герцога, особенно — вина. Анна Иоанновна упрекнула Балакирева:

— А ты, бессовестный, отчего не похвалишь вина хозяина?

— Ах, матушка, — отвечал шут, — уж сколько лет мы с тобой знакомы, а все никак тебе ума от меня не набраться. За твоим хозяином всегда немало вин сыщется, чтобы повесить его...

Вот тут герцог не выдержал и стал его бить. А поколотив, Бирон распорядился:

— Тащите его на кухню... Дайте, что ни попросит!

С кухни герцогской чета Балакиревых обрела немало объедков лакомых, едва тронутых зубами гостей. Даже два целехоньких персика достались (детिशкам). И отправился шут домой с крохотной женой своей, рассуждая по-хозяйски:

— Все же не напрасно я день сей поработал...

Небо над Петербургом было прозрачно. Весна, весна!

В прозрачном небе над озером Ладожским возник мираж, в который не хотелось верить. Вроде бы замок вырос над водой сказочный. Низко к горизонту присели его бастионы, словно крепость тонула в озере. Фасы ее были покрыты первою травкой, паслись там чистенькие козочки...

Лукич взмолился перед караульными:

— Да не томите боле меня... куды завезли, братики?

— Шлиссельбург, — сказали ему шепотком...

Первый, кого встретил здесь Долгорукий, был Андрей Иванович Ушаков — сытенький, добренький, с улыбкою ехидной:

— Постарел ты, Лукич, да и немудрено: сколь лет миновало, как на Москве остатний разок виделись мы...

А вокруг великого инквизитора — целый штат: писари, палачи, костоломы и костоправы, доводчики, скрепщики листов допросных, и все они стараются угодить инквизитору, будто черти в аду сатане главному. Кажется, будь хвост у Андрея Иваныча — подчиненные хвост ушаковский носили бы на атласной подушке...

— Неужто, — спросил Лукич, — истязать меня станешь?

Ушаков ответил князю Долгорукому:

— Мы здесь никого не истязаем, сии слухи ложные. Мы токмо правды изыскиваем. И ты, князь Лукич, сейчас приготовься...

Из ледяного озноба «мешка» соловецкого попал Лукич прямо в пламя пытошное. С дороги дальней даже передохнуть ему не дали. От жара он глаза зажмурил, уперся в беспамятстве:

— Не помню! Ништо не помню... изнемог, ослабел.

Ушаков беспамятству в людях не дивился. Поначалу все так говорят. И бесстрастным голосом продолжал по пунктам.

— Почто, — спрашивал он Лукича, — в годе тыща семьсот на тридцатом выражал ты пред императрицей намеренье подлое, дабы сиятельного обер-камергера Бирона она с собой на Москву брать не отважилась, а оставила бы его на Митаве прозябать?

Нет, ничего не забывала Анна Иоанновна — все она помнила и ничего не простила. Кричал в ответ Лукич с дыбы:

— От ревности я... сам любиться с нею желал!

— Добавь огня, — суетился Ванька Топильский.

Добавили.

— Каково умышляли вы, Долгорукие, власть самодержавную обкорнать и злодейски с Голицыными-князьями грезили, дабы на Руси республику создать с аристократией наверху, каковая сейчас существует во враждебной нам Швеции?

— То не я, не я... это Голицыны нас мутили!

Дверь темницы раскрылась, и увидел Лукич племянника своего, князя Ивана Долгорукого, который тоже привезен был сюда из Березова. Куртизана царского палачи на руках внесли, ибо ослабел от пыток Иван — не мог сам ходить.

Ушаков поставил вопрос такой:

— Поведай нам без утайки, как вы, Долгорукие, в гордыне непомерной и пакости, в том же году тридцатом составляли подложное завещание от имени покойного императора, чтобы царствовать на Руси порушенной невесте его — Катьке, девке долгоруковской!

— Оговор то, — отрекался Лукич.

Иван поднял голову, произнес тихо:

— Нет, дяденька, так и было... Вспомни, как мы писали сие завещание. О н и все уже про нас знают. Я сознался им. Сознайся и ты, миленькой... Лучше смерть, нежели муки эти!

Лукич задергался на дыбе — в рыданиях, в воплях:

— Нет! Нет! Нет! Неправда то... Ничего не было такого!

— Придвиньте его, — велел Ушаков.

Старого, почти безумного дипломата палачи подтянули к огню, и он там извивался, как червь. Кричал от боли.

— Ты не кричи, — внушал ему Ушаков. — Лучше скажи, как было все истинно, и мы огонь уберем. Отдохнешь тогда...

— Жарко мне! — вопил старый человек. — Отвезите обратно на Соловки... в ледяной «мешок» прошусь! Заточите снова меня...

А снизу — голос тихий, словно лепетанье ручья.

— Сознайся им, дяденька, — говорил князь Иван, — все равно слаще гибели ничего нет. Умрем, как уснем... Замучают ведь! Долгорукие Москву на Руси основали, но более не живать нам на Москве... Не дли страдания свои — сознайся им, дяденька!

Свозили громкофамильных Долгоруких отовсюду в крепость Шлиссельбургскую, и Лукич, словно в дурном сне, видел перед собой лики сородичей, о которых успел даже позабыть в темнице соловецкой... Он сознался! Сознался Лукич, и теперь уже сам кричал на родственников при ставках очных:

— Сознавайтесь и вы! Спешите, миленькие... В плахе и есть наше едино спасение от мук. Не спорьте... Так будет лучше!

На гнилом времени всегда гнилье и вырастает...

Вот и Гришенька Теплов не смог затеряться во времени том ужасном. Феофан Прокопович оставил сыночка, сообщив сиротинке полезные для жизни знания и внушив ему повадки волчьих. Теплов на вельможных хлебах произрастал. Кому к празднику кантатку сочинит для голоса со скрипкой, кому картинку на стене намалюет, при случае он и вирши для свадьбы напишет.

Волынский однажды Гришку тоже к себе залучил. Генеалогия рода Волынских, которую преподнес ему в Немирове патер Рихтер,

разбередила в душе язву гордости боярской. Теплов вошел в дом кабинет-министра с трепетом слабого человека перед сильным человеком... Стены обиты атласом красным, потолки расписаны травами диковинными. Зеркала в рамах золотых или ореховых. Много картин было. По углам оттоманки турецкие стояли. А на самом видном месте портрет Бирона красовался, писанный маслом заезжим на Русь Караваккием... В кабинеты юношу проведя, министр сбросил с плеч казакин камлотовый. Парик громадный на стул швырнул. А под париком — голова круглая с шишками, волосы кое-как ножницами обхватаны. Надел Волынский халат шелковый и всем обликом своим стал похож на сатрапа стран восточных.

— Ныне, — заговорил свысока, — я желаю экспедицию на поле Куликово послать. Ведомо ли тебе, тля монастырска, кого именно князь Дмитрий Донской в помощниках ратных при себе содержал?

— Не ведомо, — покорнейше склонился Теплов.

— Плохо тебя Феофан обучил, размазня ты архиерейска! А на поле Куликовом я задумал землю подыять через мужиков лопатами. Дабы взорам моим открылась та почва, на которой предки наши геройски с татарами бились. Наука есть такова, археологией прозываема. Влечет она! Правую же рукой Дмитрия Донского в битве предок мой прямой был — Боброк-Волынский, женатый на сестре того Дмитрия Донского... От них же и я произошел!

Присел Волынский напротив Теплова, глянул на ногти свои — крупные, все в ущербинах, как у мужика.

— В дому Шереметевых, — продолжал с завистью, плохо скрытой, — видел я картину, коя родословное древо изображает. Хочу и себе такую иметь. Мой род, — похвалился Волынский, — гораздо древнее Романовых будет, о чем и хроники ветхие сказывают... Изобрази же предков моих в золоченых яблоках, внутрь которых имена ихние впиши. Древо же генеалогическое веди вплоть до деток моих... Слышишь ли?

За стеною были слышны голоса детей, которые пели:

Запшегайце коней в санки,
Мы поедем до коханки.
Запшегайце их в те сиве,
Мы поедем до шенсливе.

— Боюсь, — ответил Теплов, — сумею ли угодить вашей персоне высокородной и столь прославленной?

— А не сумеешь, так я тебя... со свету живу!
Плясали и пели за стеной дети кабинет-министра:

Юж, юж, добраноц,
Отходим юж на ноц...

До чего же странный дом на Мойке, близ дворца царицыного! Говорил с хозяином по-русски, сидел на кушетке персидской, а дети пели по-варшавянски. И не забылась Теплову фраза, которую случайно обронил Волынский: «Мой род горазд древнее Романовых будет». Сказано так, что можно сразу под топор ложиться... Гриша мучился не один день: «Сразу донести? Или чуток погодить? Страшно ведь — не прост он: кабинет-министр, во дворец вхож...»

Не выдержал и посетил великого инквизитора.

— Ваше превосходительство, — доложил Ушакову, — страшно мне. Ног под собой не чую от томления, а сказать желаю.

И сказал, что слышал от Волынского. Андрей Иванович остался невозмутим. Губами пожевал и ответил:

— Ладно. Бог с тобой. Ступай.

А в спину ему добавил, словно нож под лопатку всадил:

— Ты походи еще к министру... послушай, понюхай!

Начал Гриша рисовать для Волынского большую картину. Примером в работе ему служило иваноникитинское «Дерево государства Российского», писанное к коронованию Анны Иоанновны; тут императрица была изображена громадной, а вокруг нее мелюзгою разместились все прочие цари.. Иван Никитин ладно разрисовал царицу, да не помогло: выдрали плетью и сослали! «Как бы и мне не сгинуть», — тревожился Гриша, выводя предков министра в яблоках родословного древа... Заодно с живописью расцветал в Грише еще один могучий талант — фискальный! Такой парнишка никогда не пропадет.

Глава пятая

День ото дня не легче! Нежданно-негаданно под самым боком России в разбое и кровожадности вдруг выросла сильная и гигантская империя... Создал ее разбойник — шах Надир!

Персия раскинула пределы свои по южным окраинам России, всех соседей ужасая, все заполняя и покоряя. Под саблей Надира оказались в рабстве Армения, Азербайджан, Грузия, Дагестан, Афганистан, уже грабили персы Бухару и Хиву... Весною до Петербурга дошло

известие, что Надир вторгся в Индию, предал ее полному разграблению; он вступил в Дели, столицу Великих Моголов, вырезал там всех жителей поголовно и уселся на «трон павлиний». Надир спешно вывозил в Мешхед неслыханные богатства Индии, каких не имел еще ни один владыка мира*. А теперь, по слухам, разбойник готовит нападение на Астрахань, желая покорить себе и народы калмыцкие, русской короне подвластные.

Индия, в которую так стремился покойный Кирилов — с дружбою, была предана осквернению «побытом грабительским». Страшен шах Надир в ослеплении своем! Если полчища его двинутся на Астрахань, России тех краев прикаспийских будет не отстоять. Сколько уже Остерман отдал Надиру земель на Кавказе, желая зверя задобрить, а все напрасно... Но сейчас, в чаянии похода армии к Дунаю, надо предупредить нападение на Балтике со стороны Швеции.

Никогда еще политика русская не была так запутана, так задержана, так бессильна. Остерман и присные его довели ее до истощения, сами тыкались из стороны в сторону, словно котятка слепые. А издали, из жасминовой тишины Версаля, наблюдали за потугами Петербурга зоркие глаза кардинала Флери.

Россия видела угрозу себе уже с трех сторон:

Чудовище свирепо, мерзко,
Три головы подьемлет дерзко,
Тремя сверкает языками,
Яд изблевать уже готово!

Как никогда России нужна была победа ее армий...

.....

Большие дороги Европы еще с давности сохранили такую ширину, какой хватало рыцарю, чтобы проехать, держа копьё поперек седла. Сейчас по ним скакали драгуны и почталыоны с офицерами. На постоянных дворах они искали Синклера или Ференца Ракоци, дабы их «анлевировать»... Русское самодержавие, чтобы выйти из тупика в политике, прибегло к наглому разбою на больших дорогах!

* Среди них и знаменитый бриллиант «Кохинур» («Гора света»), попавший в британскую корону. Алмазный фонд располагает сейчас двумя крупными бриллиантами, вывезенными Надиром из Индии: «Орловым», который входил в украшение скипетра, и камнем «Надир», которым Персия расплатилась с царизмом за убийство в Тегеране поэта и дипломата А.С. Грибоедова.

Чума уже проникла за кордоны европейские. На карантинах проезжих осматривали. Строго следили за постояльцами в гостиницах. Одинокий путник, одетый неприметно, остановился в бреславльской гостинице «Золотая шпага», где его сразу же навестил бреславльский обер-ампт — в гневе.

— Сударь, — спросил он, — известно ль вам, что чума, сшибая шлагбаумы, уже ворвалась в земли венгерские и польские? Но я не отыскал вашего имени в кондуктах карантинных.

— А разве вы знаете мое имя? — усмехнулся путник.

— Так назовитесь.

— Извольте. Шведский барон Малькольм Синклер, рожденный от генерала королевской службы и честной девицы Гамильтон.

— А может, вы чумной... откуда знать, барон?

Синклер протянул ему два паспорта сразу:

— Посмотрите, кем подписаны мои пасы.

Обер-ампт был поражен. Один паспорт был подписан лично королем Франции, а другой — лично королем Швеции. Чума отступила от блеска таких имен, силезский чиновник отступил от Синклера. Барон сел в карету и, в окружении почтальонов, трубящих в рога, поехал дальше. Синклер ощутил за собой погоню еще в землях голштинских, но там его не тронули. Силезия гораздо удобнее для нападения на посла шведского, ибо она подвластна Габсбургам...

Еще не улеглась пыль за Синклером, как в гостиницу «Голубой олень» шумно вломились три странных путника в плащах, за ними валили по лестницам драгуны и почтальоны. Три офицера — капитан фон Кутлер, поручики Левицкий и Веселовский — неохотно показали обер-ампту свои паспорта... Боже мой! Теперь на пасах стояла подпись самого австрийского императора Карла VI, и обер-ампт вконец растерялся, он просил об одном:

— Только не задерживайтесь долго в Бреславле.

— Сейчас мы перекусим и поедем дальше...

Они стали пить водку, приставая с вопросами:

— Не проехал ли тут до нас такой майор Синклер?

Обер-ампт (наивная душа) охотно им ответил:

— Учтивый господин! Он только что покинул город.

Офицеры сразу вскочили из-за стола:

— Седлать коней! Быстро...

Драгунские кони в галопе стелились над дорогой.

Мчались час, два, три...

— Карета, кажется, там едет.

— Верно! Я слышу, как трубят рога.

— Вперед, драгуны! Обнажайте палаши...

Внутри кареты сидел, забившись в угол, Синклер.

— Стой! — кричали всадники, заглядывая в окна.

Место было пустынное. Вокруг росли кусты, в которых пели соловьи. Блеяли в отдаленье овцы да играл на тростнике пастух.

Вид множества пистолетов не испугал Синклера:

— Если вы разбойники и ограбление путников служит вам промыслом для жизни, то я... Я готов поделиться с вами содержимым своего кошелька. Но позвольте мне следовать далее.

Кошелек его отвергли, у Синклера просили ключ:

— От этого вот сундука, что вы держите на коленях.

Майор отдал им ключ, а сундук они и сами забрали у него.

— Может, теперь его отпустим? — спросил Левицкий.

— Как бы не так! — огрызнулся Веселовский. — Отпусти его живым, так нам в Петербурге головы поотрывают...

— Я вас отлично понял, господа, — произнес Синклер, побледнев. — Язык русский мне знаком достаточно.

— Кончай его! — приказал фон Кутлер. — Руби!

В кустах затих соловей, и там раздался стон Синклера:

— О боже праведный... за что меня? За что?

Загремели выстрелы, из кустов выскочил Веселовский:

— Эй! Бросьте мне пистолет. Я расстрелял все пули.

Драгуны прикончили Синклера палашами. Кутлер разбил сундук об камни, ибо не смог разгадать секрета его замка; обнаружил потаенное дно в крышке, извлек наружу кожаную сумку с бумагами. Только сейчас он заметил, что почтальоны Синклера еще стоят на коленях посреди дороги. Кутлер прицелился в них из двух стволов.

— Нет! — закричал Левицкий, бросаясь грудью под пистолеты капитана. — Они здесь ни при чем. Уж их-то мы отпустим!..

...Барон Кейзерлинг сидел в своем посольском кабинете в Дрездене, когда к нему ворвался фон Кутлер с кожаной сумкой:

— Вот эти бумаги... скорее в Петербург!

Кейзерлинг взял со стола колокольчик, звонил в него так долго, пока в кабинет не вбежали все двенадцать секретарей.

— Курьера! — сказал им посол. — Пусть скачет как можно скорее через Данциг в столицу. И прочь отсюда... вот этого мерзавца! Я не желаю запятнать себя убийством грязным на дороге...

Секретари оторвали Кутлера от кресла, потащили его прочь из кабинета. Ноги капитана заплетались от счастливой усталости. Он улыбался блаженно. Карьера ему обеспечена.

— Боже, — бормотал Кутлер, — спасибо, что не забыл меня...

Словно буря пронеслась над шведским королевством. Стокгольм поднялся на дыбы, как жеребец, которого прижгли по крупу железом раскаленным. Вся ярость «шляп» вдруг совместилась с гневом «колпаков». В доме посольства русского разом вылетели все окна, к ногам Бестужева падали булыжники, запущенные с улицы.

— Посла — на виселицу! — редела толпа.

— Сжигайте в с ё, — велел Бестужев секретарям.

Из трубы дома посольского потекли в чистое небо клубы черного дыма. Бестужев-Рюмин поспешно уничтожал архивы, переписку с Остерманом, уничтожал бумаги о подкупках членов сейма. Казалось, война Швеции с Россией уже началась.

— Не мы! — кричали шведы на улицах. — Теперь уже не мы войны хотим... Д у х мертвого Синклера повелевает нами! Дух убитого Синклера влечет нас к мести благородной...

Санкт-Петербург был подавлен таким оборотом дела. Как мыши, притихли чиновники в остермановской канцелярии. Анна Иоанновна рукава все время до локтей засучивала, словно к драке готовясь. Ей доложили, что решение об «анлевировании» Синклера было принято в тесном кругу — Бирон, Миних, Остерман, а Бестужев-Рюмин из Стокгольма сознательно подзуживал их на это убийство.

— Круг-то тесен был, а теперь круги широко пошли...

Миниху к армии императрица срочно сообщила:

«...мы великую причину имеем толь паче сожалеть, понеже сие дело явно происходило, уже повсюду известно учинилось, и легко чаять мочно, какое злое действие оное в Швеции иметь может... Убийц Синклера самым тайным образом отвести и содержать, пока не увидим, какое окончание сие дело получит, и не изыщутся ли еще способы оное утолить».

Не было в Европе завалящей газетки, которая бы не оповестила читателей об убийстве Синклера на большой дороге. Иогашка Эйхлер знай себе таскал в кабинет Остермана разные ведомости — «Берлинские», «Галльские», «Франкфуртские» и прочие. А там им-

ператрицу обливают помоями, перед всем миром дегтем ее мажут... Делать нечего, и Анна Иоанновна сама стала писать в европейские газеты:

«Божию милостию, Мы, Анна, императрица и самодержица Всея Руси и пр. и пр., откровенно сознаемся, с неописанным удивлением узнали о случившемся со шведским офицером Синклером. Хотя, благодарение Богу! Наша Репутация, христианские намерения и великодушные Наши на столько в мире упрочились, что ни один честный человек не заподозрит Нас...»

Но императрице российской никто в мире не поверил.

Желая отвести угрозу новой войны, триумвират придворный, наоборот, эту войну приблизил к северным рубежам России.

— Устала я от невзгод нынешних, — призналась Анна Иоанновна Ушакову. — Пусть дале без меня в этом разбираются...

Ушаков заковал в цепи капитана фон Кутлера, награды ждавшего, арестовал и поручиков Веселовского с Левицким. Спрашивали они — за что их так усердно благодарят?

— Чтобы вы спяна лишку где не сболтнули, — отвечал Ушаков. — Государыня наша печатно передо всей Европой расписалась в том, что мы Синклера и в глаза не видывали.

Повезли убийц в Шлиссельбург, а потом пропали они на окраинах Сибири, до самой смерти не имея права называться подлинными своими именами. Сумку кожаную от Синклера подбросили через шпионов на площади в Данциге. Остерман так был напуган, что все документы ратификаций в эту же сумку обратно и запихнул.

— Устала я... ох, устала! — жаловалась Анна Иоанновна.

Но скоро на нее, помимо бед политических, обрушились невзгоды семейные — склочные, душераздирающие, сердечные.

Глава шестая

— Анхен, — умолял Бирон императрицу, — ради нашей святой любви, пожертвуй выгодами политическими, позволь я сына нашего Петра женю на племяннице твоей мекленбургской.

Анна Иоанновна хваталась за голову:

— Опять ты за старое? Не мучь меня... Ведь маркиз Ботта затем и прибыл из Вены, чтобы брак племянницы моей ускорить.

Но герцог в этот раз был особенно настойчив.

— Согласна я, — сдалась императрица. — А ты у племянницы согласия спрашивал? Она-то как решит?..

Если уговорил зрелую женщину-императрицу, то хватит умения обломать и девочку-принцессу. Анна Леопольдовна во время разговора с герцогом стояла в страшном напряжении, сжав руки в кулачки, и кулачки побелевшие держала возле плоской груди.

— Ваше высочество, — издалека начал Бирон, — ситуация в политике возникла такова ныне, что брак ваш с принцем Антоном, ежели он случится, укрепит альянс России с Австрией и удержит Вену от выхода ее из войны с турками...

— К чему все это? Мне и дела нет до войн ваших.

— Будем же откровенны. Мне, как и вам, тоже не по душе жених ваш. Я понимаю ваше презрение к нему...

— За принца Антона я не пойду! — выпалила девушка.

— Надеюсь, вы решили это здраво и твердо?

— На плаху лучше! — отвечала Анна Леопольдовна.

Получив ответ, какой и нужен был для него, Бирон осторожно доплел паутину до конца:

— У вас есть выбор. С императрицей я уже договорился. Она со мной согласна... да! А выбор ваш отныне таков: или вы, презрев не любовь свою, все-таки выходите за Антона Брауншвейгского...

— Я уже сказала, что не пойду за лягушонка венского!

— Или станете женой моего старшего сына Петра, который от меня получит корону герцогства Курляндского. Вдвоем вы править станете Россией и... Курляндией!

Анна Леопольдовна словно прозрела:

— Ах, вот как... Но я-то знаю, ч е й это сын. И знаю, кто вы сами! Если б не слабость моей тетушки, вы бы так и сгнули в Митаве не приметно... — Анна Леопольдовна кричала прямо в лицо ему: — Тому не бывать, чтобы я за вашего сопляка пошла!

Бирон погрыз ногти и, обозлясь, сказал:

— За что вы на меня накинулись? Я вас не гоню палкой под венец с сыном. Вот и ступайте за Антона, благо он фамилии старой.

— А за прыща фамильного я тоже не пойду.

Кулачками растворила она перед собой половинки дверные и жестом этим безумным напомнила Бирону ее мать — Дикую герцогиню Екатерину Иоанновну Мекленбургскую.

— Дура! — пустил ей вдогонку Бирон. — Да я из тебя, нога твоя собачья, еще колбасы фаршировать стану...

Остерман об этом узнал. Узнал и пришел в ужас. Незаконный муж русской императрицы, Бирон теперь желал стать законным дедом русского императора. Случись такое — и Остерману конец. Но этого сватовства Бирона боялись не только немцы — русские люди тоже не хотели допустить кровосмешения герцога с отпрысками династии Романовых.

Волынский уже пронизал жизнь придворную своими соглядатаями: служители при дворе ему обо всем доносили (кто за подачки, а кто и так — из любви к сплетням). Недавно кабинет-министр удачно привил шпионов своих и к «малому» двору принцессы. Среди немецких служителей появились в штате принца Антона русские хвататы-лакеи. Защебетала камер-юнгфера Варька Дмитриева, хитро вошедшая в дружбу с фрейлиной Юлианой Менгден... Волынский сразу проник в суть бироновских интриг и был напуган ничуть не меньше Остермана. Исчислить все бедствия России, какие возникнут от связи Анны Леопольдовны с сыном герцога, невозможно! Уж лучше тогда принц Антон — этого мозгляка и свалить будет легче! Бирон сейчас поперся к власти напролом, и Волынский тоже действовал напролом...

Анну Леопольдовну кабинет-министр застал притихшей и подавленной. Ее характера флегматичного хватило только на одну вспышку гнева. Надави сейчас на нее Бирон по сильнее, и она отступит перед ним, безвольная и вялая, как тесто. Вот и опять нечесана, халат затасканный на плечах принцессы. А на тощей груди видна цепочка золотая, на которой колеблется медальон таинственный. Открой его ключиком секретным, а под крышкою узришь красавца пламенного, жулика саксонского — графа Морица Линара.

— Плачу, — жаловалась она Волынскому. — Замучили меня. Хотела книжку почитать, как люди другие живут, так еще пуще расстроилась: все любовники, почитай, счастливо пылкостью наслаждаются... одна только я несчастна!

Артемий Петрович подумал и вдруг прищелкнул пальцами. Прощелся по комнатам гоголем. Каблуки туфель министра отбили пляс залихватский. От пряжек брызгало сверканием камней драгоценных. Кафтан он скинул, рукава широкие сорочки его раздулись. Ежели великий политик Ришелье плясал перед дамами ради идеалов высоких, то почему бы и Волынскому не сплясать?.. Хорошо ходили ноги вельможи, полвека уже прожившего, любовь и нелюбовь знавшего. Трещали под министром паркеты дворцовые. В шкафах тренькали

хрустали богемские и чашечки порцеленовые. Плясал Вольтер перед принцессой мекленбургской, которая ему в дочери годилась. Ясный летний день сквозил в окнах зеленых, тянуло с Невы ветром... Хорошо!

И улыбнулась ему Анна Леопольдовна:

— Ой, Петрович, с тобой всегда ладно... Утешил меня.

Он вывел ее в сад, где убеждал проникновенно:

— Коли вас политикой губливают, так вы политикой и защищайтесь. Когда же породите сына от принца Антона, вы титулом его императорским, словно щитом, ото всех невзгод себя оградите. Но ежели, — припугнул девушку Вольтер, — ежели за Петра Бирона пойдете, тогда... тогда беды не миновать! Быть бунту общенародному, кровавому. Гнев русский противу герцога и на вашу бедную голову обратится.

Принцесса сжала в руке цепочку от медальона:

— Не возьму в толк, Петрович: племянница я самодержицы российской, а любить того, кто желанен, не дают мне.

Вольтер со значением шепнул на ушко ей:

— Знаю, какому красавцу сердце свое нежное вы отдали. Через брак с Антоном и свободы добьетесь для любви свободной...

Поздно вечером, когда Анна Леопольдовна играла в карты с Юлианой Менгден, из темноты сада выросла фигура женская. Это явилась дочь великого инквизитора — Катя Ушакова, еще молодая особа, с лицом квадратным, жгуче горели глаза на ее рябом лице.

— А я от герцога, — сказала Ушакова, озираясь. — Герцог с императрицей спать не ложатся... Ждут! Последний раз изволят спрашивать: пойдете вы за сына герцога Курляндского?

Но теперь, после разговора с Вольтером, принцесса укрепилась в своем решении и отвечала посланнице с легкостью:

— Я жениха и без герцога давно имею. Так и передай тетушке, что иду за принца Антона и свадьбы с ним сама прошу скорой...

Ушакова вернулась во дворец, доложила об ответе принцессы. Анна Иоанновна, держась за поясницу, тронулась в спальню.

— Ну вот! — сказала Бирону. — Слава богу, хоть к ночи, но все же с этим разобрались... Устала я. Пойду-ка спать...

Ушла. Через весь дворец, потемневший к ночи, мимо зеркал высоких, мимо недвижных арапов, мимо фонтанов комнатных, что струились в зелени висячих садов, Бирон поднялся на башню.

— Еще не все потеряно, — с угрозой произнес он, задирая к небу трубу телескопа. — У меня осталась в запасе такая бомба, как

Елизавета Петровна... Девка эта курносая имеет на престол русский прав больше, нежели пищалка мекленбургская. А дочь свою Гедвигу я выдам за племянника Елизаветы, принца голштинского... Ну-ка, звезды! Рассыпьте мне ответы на все вопросы мои.

Течение светил на небосклоне сложилось так, что 3 июля надо было ждать страшного злодейства в широтах северных. Уж не готовится ли нападение флота шведского на Петербург?

День 3 июля 1739 года выдался очень жарким...

Жених был одет в платье белого шелка, расшитое золотом. Длинные локоны распущены по плечам. Антон Брауншвейгский выступал, как в погребальной церемонии, глядя в землю, и казалось, только не хватает свечи в его руках, чтобы отправиться на кладбище.

— Это жертва, — заволновались дипломаты. — Вы посмотрите, до чего он похож на агнца, обреченного на заклание...

Невеста была принаряжена в серебряную ткань, и от самой шеи спереди платье было облито бриллиантами. Волосы ей с утра заплели в черные косы, тоже украшенные бриллиантами. Поверх прически Анны Леопольдовны приладили крохотную корону.

К новобрачным подошел венский посол маркиз де Ботта:

— Советую вам искренне любить друг друга.

— Не беспокойтесь за любовь, маркиз, — внятно отвечал принц Брауншвейгский. — Мы уже давно вполне искренне ненавидим друг друга... Моллю Бога, чтобы свадьба без скандала окончилась!

Ветер с Невы, бегущий из-за стрелок речных, прошумел деревьями. Жених взял руку невесты в свою.

— Сударыня, — сказал ей Антон тихо. — Мы приневолены один к другому политикой. Не амуры, а тягости ожидают нас.

— Вы мне противны, — прошептала Анна Леопольдовна.

— Смиритесь хотя бы на этот день, чтобы люди не смеялись над нами. Я не навязываю вам чувств своих, и про страсть вашу к саксонскому послу Линару извещен достаточно.

— Я не рожала от Линара, а вот вы, сударь, от развратной Доротеи Шмидт уже завели младенца, — упрекнула его невеста.

— Оставим этот спор. На нас все смотрят...

Двинулись!

Дипломаты в процессии не участвовали, ибо не могли решить, кому шагать первому, а кому следом. Зато придворные тронулись на этот раз без свары. Великолепный экипаж открывал шествие свадебного поезда, а в нем сидели сыновья герцога — Карл и Петр Бироны;

по бокам от них шли скороходы царицы, тела которых накануне столь плотно обшили черным бархатом, что они казались голыми неграми (в бархате оставили только дырки для глаз).

За ними прокатил цугом сам Бирон, — мрачен он был сегодня, как дьявол на распутье! Бежали перед ним гайдуки, пажи и целый легион лакеев. Обер-камергер двора русского, герцог теперь имел своих камергеров, которые рысили рядом с его каретой. Невский проспект заполнили цвета курляндских штандартов.

Следом за Бироном показалась императрица с невестой. Сидели они, как сычи, одна напротив другой. Анна Иоанновна нарядилась сегодня скромнейше. Но «скромности» ее платья никто не заметил, ибо оно сплошь было обшито жемчугами.

За императрицей, воззрясь на толпу неистово, прокатила горбатая Биронша. В этот день от множества рубинов была она вся ярко-красная, будто сгусток крови, и платье рубиновое весило целых шесть пудов, так что ходить горбунья от тяжести наряда не могла, ее таскали на себе лакеи, а она — пыжилась...

И закрестились зрители в толпе простонародной, когда увидели дочь Петрову. В самом хвосте процессии ехала цесаревна Елизавета Петровна, в платьице розовеньком, вся в ленточках каких-то... Улыбалась! Она улыбаться умела, и это ей всегда шло на пользу.

Долгое шествие кортежа, суматоха устройства свадьбы начались в 9 часов утра, а закончили лишь к 8 часам вечера. Почти половину суток придворные провели без пищи, на адском солнцепеке.

— Дайте жевать хоть кусок какой, — взмолилась императрица. — Ноги меня уже не тащат, совсем сомлела...

Биронша в многопудовой робе провисла на руках гайдуков. Колом торчал из-под рубинов ее острый горб; по лицу герцогини, размазывая пудры и мази, обильно стекал пот, — тоже изнемогла. Всех звали к столам. Анна Иоанновна восседала отдельно — под тенью балдахина. Венгерского холодного отпив, она сказала:

— Сейчас молодых устрою и вернусь к гостям...

Мужчинам запретила она за собой следовать (ее окружали лишь доверенные женские особы первых трех рангов). Гурьбою они прошли в браутс-камору, где застали Анну Леопольдовну — плачущую. Брачная комната была обита зеленым штофом с золотыми галунами. Подле кровати уместился столик с конфетами и напитками. Десерт в тарелках был искусно выложен наподобие крепости. Живописцы потрудились над его составлением, изобразив из кремов «гениусов любви» (купидонов), которые бесстрашно

десертную цитадель атаковали. Минерва при этом великолепии держала мармеладное сердце, сахарной стрелой насквозь пробитое. И была сделана соответствующая надпись на торте: «A cette nuit l'attaque», что в переводе на русский означает: «В эту ночь состоится нападение».

Понимать надо так: нападение на невинность девичью...

— Не реви, дура, — сказала царица. — Раздевайте ее!

Молодую обнажили от одежд праздничных, облачили в ночной капот из белого атласа, украшенный голубенькими кружевами. Анна Иоанновна звучно и сочно поцеловала племянницу и велела:

— Где принц? Может войти. А мы оставляем вас, дети...

Она снова вернулась к столу и много пила. Был уже третий час ночи, князь Куракин давно под столом валялся, веселье угасло, не успев родиться, гости устали, и тут появился Ушаков. Инквизитор стал нашептывать Анне Иоанновне что-то на ухо. Императрица резко встала, вышла из-под балдахина.

— Что там еще могло случиться? — спросил ее Бирон.

— Сама разберусь...

Ушаков плелся следом за царицей, докладывая:

— Бродит по саду, а в браутс-камору не идет...

Летний сад был темен, от Невы свежело. В гуще подстриженных боскетов вспыхивали китайские фонари. Мелькнуло за кустами белое платье принцессы — девушка явно пряталась. Анна Иоанновна широкими шагами, как солдат, перемахивала через клумбы, давя цветы и робких светляков... Настигла племянницу в кустах:

— Ты чего тут шляешься, ежели с мужем быть надобно?

— Не пойду я к нему, — ответила Анна Леопольдовна. — Он мне мерзостен. Хотели брака, брак заключен. Но люблю я другого.

Анна Иоанновна повернулась к Ушакову:

— Андрей Иваныч, скройся... мы сами столкнемся.

Императрица безжалостно стегала невесту по щекам.

— Мне наследник нужен! — приговаривала. — Наследник престолу российску! Ступай к мужу и ложись в постель, дуреха...

Анна Леопольдовна, ожесточаясь, отвечала:

— На плаху тащите меня! На плаху лучше...

Тогда императрица вцепилась ручищами в ее четыре косы, и посыпались в мокрую траву бриллианты, которые сразу померкли в ночи среди светляков природных. Анна Иоанновна силой потащила невесту за косы в браутс-камору. Подзатыльником затолкала девушку внутрь спальни, где на постели, одинок, сидел принц Антон.

— Зачните с богом, — напутствовала царица обоих. — А коли еще раз сбежишь, — пригрозила племяннице, — так я, видит бог, солдата с ружьем к постели вашей приставлю... Ну!

А утром ее сгибало от боли в дугу.

— Где болит, ваше величество? — спрашивали медики.

— Вот тут... ох, ох! За што наказал Господь?

— Вы вчера, ваше величество, — заметил суровый Фишер, — напрасно много выпили вина. Учитесь мудрости воздержания...

Жано Лесток радостный прикатил в Смольную деревню.

— У ея величества, — сообщил цесаревне, — опять колики. Фишер сказывал, что урина нехороша... Готовьтесь!

Елизавета Петровна отвечала:

— Да не болтай, Жано, отрежут вот язык тебе. Да и мне пропадать с тобою. Вот зашлют в монастырь, а я девица еще молоденька, мне погулять охота... порезвиться бы еще всласть!

.....

За околицей деревни Смольной забряцали бубенцы, раздался скок подков лошадиных. К дому Елизаветы подкатил герцог Бирон, и цесаревна онемела в робости. А герцог преклонил колено надменное, рухнул перед девкой в поклоне нижайшем.

— Бедная вы моя, — произнес он с чувством. — Как вас обманывают люди... Доколе будет продолжаться несправедливость эта?

Елизавета покраснела:

— Не разумею, о чем говорите вы, герцог высокий.

Бирон раболепно целовал подол ее платья:

— Знаю, кто передо мною... Сама дочь Петра Великого, единая и полноправная наследница престола в империи Российской! Но ее оставили в стороне. Сейчас случают на потеху миру гниду мекленбургскую с лягушкой брауншвейгской и ждут, мерзавцы, что родится от этой ненормальной случки... Нет, — продолжал герцог, — я не могу долее молчать. Душою исстрадался я за вас...

Бирон встал с колен и заговорил деловито:

— Я предлагаю вам самый выгодный вариант из всех возможных. Становитесь женою сына моего Петра и ни о чем больше не думайте. А я найду способ, чтобы ублюдок мекленбургско-брауншвейгский престола русского и не понюхал. В а м, — сказал герцог, — предопределено судьбою Россией управлять... Ваше высочество! Красавица! Богиня! Вы сами не знаете, какое гомерическое счастье ожидает вас... Ну, говорите, — согласны стать женою сына моего?

Елизавета в унынье руки опустила вдоль пышных бедер:

— Таково уж счастье мое гомерическое, что я вся в женихах еще с детства купаюсь. Даже епископы лютеранские руки моей не раз прошили! Да вот беда... женихов полно, только мужа не видать! Петрушка ваш мальчик еще. На што я ему, такая...

— Подумайте, — сказал ей Бирон. — Если не желательно иметь сына моего мужем, то... Посмотрите на меня: чем я плох?

Елизавета покраснела еще больше. Ай да герцог!

Глава седьмая

В марш 1739 года вступили с винтер-квартир полки такие — Киевский, Санкт-Петербургский, Нарвский, Ингерманландский, Архангелогородский, Сибирский, Вятский, Луцкий, Тобольский, Тверской, Каргопольский и Невский.

Воодушевлял бой барабанный. И флейты пели солдатам...

Крепит отечества любовь
Сынов российских дух и руку;
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку.

Хорошее лето в этом году выпало, и что-то необыкновенное разливалось пред армией — в лесах, в степях, в реках отчизны. Какая-то радость, надежду будящая, чуялась в сердце воинском. А за солдатами шагали сейчас люди служивые — лекаря с аптеками, профосы с кнутами, трубачи с дудками, попы с кадилами, аудиторы с законами, гобоисты с гобоями, писаря с чернильницами, кузнецы с молотами, цирюльники с ножницами, седельники с шилами, коновалы с резаками, плотники с топорами, извозчики с вожжами, землекопы с лопатами, каптенармусы с ведомостями...

Литавры гремели, не умолкая!

Предводимая Минихом армия в самый разгар лета дружно развернулась и, топоча, пошла от Киева через земли Речи Посполитой, обходя — на этот раз — убийственные степи стороною.

К славе!

Обозы армии тащили за нею припасов на пять месяцев. Но армия вошла в места живонаселенные, где всякого довольства хватало. «Самой лучшей вол или хорошая корова ценою в рубль продавалось, а баран в гривну... и тако во оной изобильной земле, во время марша,

ни какой нужды не имели». Гигантская армада России не могла здесь валить напролом, как это прежде в степях ногайских бывало, — опасались, чтобы не потравить обозами пашен, не истоптать копытами посевы крестьян польских.

— Выход один, — решил Миних. — Армию разбить в колонны, которым следовать параллельно, в дистанции порядочной, шляхи попутные используя, в дирекции генеральной — на Хотин!

Вторую половину армии русской повел Румянцев... Пошли. Сколько уже легионов славянских разбились об неприступные стены Хотина! Лишь единожды в истории королю Яну Собескому, витязю удачи и отваги, удалось взломать эти камни и взять у турок не только бунчуки пашей, но даже священное Зеленое знамя мусульманства.

И вот дирекция дана — Россия следует на Хотин!

— Не робей, ребята, — говорил Румянцев.

Топорами вышибали днища из бочек казначейских. Оттуда тяжело и маслянисто сочилось тусклое сибирское золото. Армия щедро расплачивалась за потраву случайную, за хлеба потоптанные. Шли дальше — с песнями шли солдаты, играла всюду полковая музыка, и засвечивало над ними солнце яркое, солнце славянское.

Это солнце стояло высоко... выше, выше, выше!

Армия топала по местам живописным, углубляясь в те края, где лежали когда-то земли древней Червонной Руси, — свет тот древний еще не загас, он освещал путь из вековой глубины...

— Шагать шире! — по привычке порывкивал Миних.

За рекою Збруч колонны вновь сошлись воедино, как ветви сходятся к верхушке тополя. Миних развернул свою армаду на юг, повел ее на Черновицы, и войска вступили в буковые леса, отчего и страна эта издревле называлась Буковиною.

— Мой умысел таков, — сказал фельдмаршал. — Обойти горы Хотинские и армию подвинуть к Хотину с той стороны, откуда турки нас ожидать никак не могут... Путь славен, но опасен!

Особенно опасно было следовать в узких дефиле с артиллерией и экипажами. Здесь, в разложинах крутогорья, в балках тенистых, турки могли силами малыми задержать любые легионы. Но они рассудили оставить дефиле без защиты; враг сознательно заманивал русских под самые стены Хотина...

Миниха навестил Румянцев.

— Эки тучи клубятся, — сказал он. — Черно все... Не пора ли нам, фельдмаршал, обозы свои бросить?

Миних распорядился усилить марш-марш. Вагенбурги отстали от армии. Появился шаг легкий, дерзостный, над землею парящий. Солдаты несли теперь на себе хлеба на шесть ден пути, по головке чесноку и фляги. Более ничего! Чтобы маршу не мешало.

— Хотин... — говорили они. — Скоро ль он?

После переправы через Днестр хлынули дожди.

— Потоп! Ой боженька, дождина-то какая...

Под шумным ливнем плясали кони. Молнии частые распарывали небосвод с треском, словно серую мокрую парусину. Река взбурлила и снесла мосты, быстро уносимые вниз по течению. Медные понтоны, столь нужные армии, уплывали в Хотин — в лапы туркам.

— Лови! Лови их! — суетились офицеры.

Казаки скинули одежду. Голые, поскакали на лошадях вдоль реки. Где-то внизу успели похватать понтоны, притянули их обратно. Река в своем грохочущем половодье расчленила армию Миниха на два лагеря. Вот опять удобный момент для турок, чтобы напасть и разбить русских по частям. Но враг не сделал этого, заранее уверенный в победе под Хотинком.

На форпостах уже стучали выстрелы, внушая бодрость, словно колотушки сторожей неусыпных. Ночью гусары сербские почасту приволакивали сытых, хорошо одетых пленных, кисеты у которых были полны душистого «латакия». Однажды взяли гусары мурзу («у коего нога была отбита из пушки»), и Миних спросил его:

— Назови — кто стоит против меня?

Одноногий мурза трижды загнул свои пальцы:

— Пришли побить тебя сераскир Вели-паша со спагами, с ним белгородский султан Ислам-Гирей с татарами. И (да устрашится душа твоя!) славный Колчак-баша явился под Хотин, приведя сюда своих янычар-серденгести.

Миних развернулся в сторону толмача ставки:

— Бобриков, что значит «серденгести»?

— Это значит, что они головорезы беспощадные...

Шатер фельдмаршала был наполнен грохотом от падающих струй ливня. Миних откинул его заполог, и взорам открылся шумный боевой лагерь России.

— Смотри! — сказал он мурзе. — Разве плоха эта армия?

— Твоя армия очень хороша, — отвечал мурза. — Но стоит нам как следует помолиться Аллаху, как она тут же побежит от нас и больше уже никогда сюда не вернется...

За пологом шатра мелькнуло круглое лицо Манштейна, адъютант скинул треуголку, отогнул ее широкие поля, выливая воду из шляпы. Потом шагнул к фельдмаршалу, и — на ухо ему:

— Мы о к р у ж е н ы!

Где-то далеко, за потоками дождя, виднелась неприглядная деревушка, каких уже немало встретилось на пути армии.

— Как называется? — сердито справился Миних.

— С т а в у ч а н ы, — отвечали ему.

— Вот безвестное имя, которое сегодня станет для нас или прозванием славы, или позора нашего... Сжать каре!

Вели-паша уже огородил себя редутами. Колчак гнал своих головорезов от леса, его «беспощадные» спускались с гор. Спаги проскакивали на лошадях через фланги русские, искрясь в сабельном переплеске. Громадные таборы татар и ногайцев Ислам-Гирея довершали картину плотного окружения.

Русские стояли в трех каре — посреди долины ровная, войска российской утонули в цветочных лугах, где травы по грудь, все мокрые и пахучие, прибитые долгими дождями.

Их было мало! А врагов — тьма («как песок» они)...

Турки и татары давили со всех сторон. Не стало даже краешка малого в обороне, куда бы враги не напирали. Русская армия отныне уже не имела тыла, — в с ю д у, куда ни глянь, был для них фронт, сплошной фронт, звенящий стрелами над головами, реющий клинками губительных сабель...

— Сжимай каре! — призывали офицеры.

В три жестких кулака стиснулись каре армии. Плотность рядов солдатских, давка мокрых круп лошадиных, бешенство верблюдов, зажатых между лафетами, теперь были столь велики, что в теснотище этой не мог солдат нагнуться за уроненной пороховницей...

Миних созвал генералов.

— Ну, что делать нам? — спросил у них, дыша сипло.

Петушок уже отпел ему славу. А позор ставучанский ему приготовлен — за рядами бунчуков хвостатых зреет поражение небывалое. Из ножен Миниха с певучим звоном вылетела шпага. Он приник губами к ее лезвию, прохладно мерцавшему:

— Великий боже! Дай мне смерти легкой... Господа генералитет, кто скажет мне, что предпринять нам сейчас?

— Ломить вперед, — отвечал Аракчеев. — Басурман много, сие так, но сила русская есть сила необоримая.

— Я за то, что сказал генерал Аракчеев, — вставил Румянцев. — Хотя бы одна горюшка для артиллерии, ибо турки все верхушки обсели... Эвон отсель виднеется одна за болотом. Ежели в болото покидать фашиннику поболее, то пушки наши пройдут...

Лицо фельдмаршала было тусклым. Оно оплывало по щекам лиловым жиром. Нос Миниха бугром торчал среди суровых брылей, подпертых воротником мундира. Глаза его блуждали.

— Аракчеев, повтори, что сказал.

Генерал двинул складками низкого лба.

— Ломить напрямик! — повторил он. — Щи да каша, сухари да квасы — сила наша... Вот силой и возьмем турчина!

Три каре, как три кулака, елозили по равнине, по мокрым цветам, под ногами солдат звенели ручьи. Били по ним пушки турецкие. Били они час. Били они второй. И убили только одну лошадь.

— Чудаки! — говорили солдаты. — Туркам только бы саблей и махать, а прицелиться терпежу не хватает... Не то что наши!

Русская артиллерия клала ядра — точнее. Бахнет — и летят турки из седел вверх ногами. Еще раз шархнут из мортиры пушкари — бомба пропылит, рассеивая пред собой струи ливня, и уж обязательно башки две-три снесет с плеч вражьих...

Миних заключил консилиум словами:

— Кабинетом государыни нашей битва при Ставучанах не предусмотрена. Генеральная дирекция остается прежней — на Хотин! Но коли на пути нашем Ставучаны встретились, то через эти вредные Ставучаны мы и пойдем на Хотин!

Четыре года войны и походов не истощили сил армии, не убили в ней духа к победе. Сейчас, обложенная сотысячным войском сераскира, эта великая армия нерушимо стояла на равнине, среди моря душистых цветов. Стояла — не сетуя, не волнуясь, ожидая лишь одного — приказа...

— Ну, чего там начальники наши? Договорились?

Офицеры сходились кучками, переговаривались:

— А турка пока не особо жмет.

— Чего жать? Мы же — в кольце у них.

Грамотеи знающие припоминали:

— Кольцо таково же было единожды. Под Прутом, когда турки армию нашу, заодно с Петром Великим, на капитуляцию вынудили. Того позора России не забыть, а второму позору уже не бывать...

— Хоть семь пядей во лбу, а выхода нет.

- Ломить станем. Проломим.
- Куда проломим-то?
- А хоть в ад... Обрушим стенку турецкую!

В войсках возникло движение. Тащили доски и тяжелые шанц-коробы. Солдаты гатили болотистые берега ручьев, за которыми начиналось взгорье. Кричащие канониры покатали пушки через гаги — выше, выше, выше... Пальба мортирная вселяла веселость.

- Пошли! — махнул жезлом Миних. — Раскинь рогатки!

Три каре разом ошестинились рогатками. Колчак-баша послал вперед «беспощадных». С воем диким налетали они на русских, но лошади отпрядывали с разбегу перед стенкою каре, из которой торчали острые колья. Фальконеты добивали сброшенных с седел; из гущи войсковой, прямо из травы, отчаянно залпировали бойкие «близнята»... А в центре русской армии двигалась кордебаталия под командою генерал-аншефа Александра Румянцева. Со шпагою в руке шел генерал впереди солдат. Шляпу на глаза себе нахлобучил, и дождь обильно стекал с полей треуголки.

- Не спеши! — говорил он солдатам. — Все там будем...

Мерно идут солдаты в кордебаталии: шаг! шаг! шаг!

Визг янычарский был нестерпим. Полыхали клинки — в воде дождевой, в крови людской. Вот он, русский, — руби его. Но прямо в грудь янычару уперлась рогатка длиною в дерево, и острие ее жестью обито. А русский (из-за телеги каре) прицелился — трах!

- Еще один спекся...

На левом фланге грудью перли на врагов молодцы Аракчеева, и был генерал невыносимо страшен в бою. Жесткие волосы спадали ему на лоб, глаза свелись в две жгучие точки. И сейчас генерал Аракчеев был очень похож на тех же самых татар, противу которых он пер, противостоя врагу в ужасном единоборстве... Мушкеты били, как пушки, в страшной отдаче ломая ключицы солдатам. В руках фузилеров надсадно трещали фузеи, которые секли противника острыми кусками свинца.

— Л о м и! — орал Аракчеев. — Только лой, больше ничего и не надо от нас... Противу лому русского никто не устоит!

Сражение из стихии сопротивления уже обращалось в организацию боевого порядка. Определились фланги и направления. Теперь каждому стало ясно: иди на вершину горы, где засел Вели-паша, и сбрось его оттуда вниз, — сим победиши!

Восторг внезапный ум пленил —
Ведет на верьх горы высокой.

Миних больше и не командовал. Войска сами распоряжались своим маневром. Держа под локтем шпагу, будто трость, фельдмаршал шагал в центре каре. Вокруг него падали убитые. Из спин солдатских торчали хвосты стрел татарских. Великий честолюбец, он переступал через мертвецов столь же легко, как в трактире трезвый брезгун перешагивает через пьяных... Был пятый час пополудни, когда Колчак послал на русских ораву янычар и конницу спагов. На миг они остановили движение каре, но так и не могли взломать их стойкой крепости. Толпой нестройной колчаковцы выбегали из атаки, и мушкеты русские поражали их сотнями... Каре снова тронулись!

Три чудовищных дикообраза, могучи и громадны, ползли через холмы, окутываясь дымом, — все выше, выше, выше... Русские шли в гору — туда, где ставка сераскира, где ретраншементы вражды, где реют бунчуков хвосты кобыльи. За шагом — утверждение шага.

Шаг сделал, утверди его выстрелом — и дальше!
Кордебаталия — во главе армии. Непоколебима!

Во главе кордебаталии — генерал-аншеф Румянцев.

Шаг — выстрел.
Шаг — выстрел.
Шаг — выстрел...

Так можно пройти всю Европу.

— Л о м и!

Грохот. Русская артиллерия работает неустанно.

Она бьет на ходу. Прямо с колес. Сама в движении.

Пушки и мортиры следуют вместе с каре.

Они сокрушают все, что мешает армии ее маршу вперед.

А позади пусть догорают Ставучаны — буковинская деревушка, которая уже сегодня вписывается в историю русской славы.

Россия-мати! свет мой безмерный!
Позволь то, чадо прошу твой верный.

.....
Виват Россия! Виват драгая!
Виват надежда! Виват благая!

Сераскир Вели-паша, на горе сидя, дождался Колчака.

— Никто, — сказал, — не осудит барса, если он ушел живым из схватки со львом... Мы сегодня плохо молились Аллаху!

— Кысмет, — ответил Колчак, словно плюнул.

Вели-паша из кувшина ополоснул ладони розовой болгарской водой. Три мальчика-грузина подали ему полотенца, расшитые валашскими узорами. Под грохот пушек мысли сераскира текли лениво, как степная река... Человек бессилён, если обстоятельства против него. Каре русские нерушимы, и они уже подбираются к вершине, где он сидит на подушках, за рядами ретраншементов. Надо принять точное решение, и Вели-паша его принял:

— Пошлите гонца в Хотин — пусть вывезят мой гарем...

«Конечно, — размышлял он, — можно бы спасти и пушки. Но Аллах (да будет вечным его величие) создал женщину гораздо приятнее пушки. А потому и спасти надо сначала не пушки, а женщин...»

— Поджигайте лагерь, — велел сераскир.

Он легко и свободно поднялся с подушек. Мальчики умаслили ему рыжую бороду благовониями египетскими. Ах, как жаль, что сегодня любимая жена уже не понюхает его бороды.. Что делать? В мире ведь все так непрочно. «Кысмет!» Колчак, звеня кольчугой, видел с холма, как тяжело вползают в гору русские каре. Они лезут вместе с артиллерией, огня не прекращающей. Казалось, гяуры сошли с ума: они лезут в гору заодно с фургонами, с аптеками, там ржут лошади, мычат быки и режут коровы, над русскими каре торчат, щеря желтые зубы, озлобленные морды верблюдов...

К нему подполз толстый серденгест, тихо воя.

— Ты почему не в крови? — спросил его Колчак.

Наступив на янычара ногой, он одним взмахом сабли легко, словно играючи, отделил голову «беспощадного» от его тела.

— Если изранен я, то все должны быть в крови...

Вели-паше подвели коня. Он вдел ногу в стремя.

— Лев не виноват, — сказал сераскир, — если муравьи прогрызли ему шкуру... Я еду на Хотин.

Разминая тяжкой мощью вражьи ретраншементы, на лагерь турецкий напоззли, раздавливая его всмятку, три русских каре.

Отвага солдат — их мерная поступь.

Решимость офицеров — их утверждение поступи.

Ставучаны открывали Хотин...

«И тое славное дело 1739 года, августа 17 дня, в пятницу, после полудни благополучно скончалось и с нашей стороны зело мало урону было...» Вот так и надо воевать!

Турки покинули ставку столь поспешно, что даже палатки оставили нетронуты. Входи туда — еще дымится кофе, еще не загас жар в пепле табачном. Багаж был брошен — преобильный, пестрый, весь в клопах и блохах. На поле боя Ставучанском остались под дождем куртки и шаровары янычар бежавших. Все брошено турками — мортиры, пушки, арбы, лошади, припасы, трубы и барабаны военных оркестров...

— На Хотин! — радовались русские. — Идем немедля!

Было раннее утро, когда в подзорных трубах офицеров обрисовались генуэзские башни Хотина, внутри которых были скрыты глубокие колодцы. Виделся русским дивный город, где белели в садах прекрасные здания, а возле бань взметывало струи прохладных фонтанов. Хорошие мостовые пересекали Хотин, смыкаясь возле крепости, фасы которой были целиком вырублены в скалах...

— Тут можно шею сломать, — говорили офицеры.

Миних послал Бобрикова с призывом к капитуляции. Но Вели-паша уже бежал из Хотина, увлекая за собой армию. В крепости остались лишь ага янычарский да Колчак со своим гаремом. Баша с агой отвечали Миниху, что крепость они сдадут. Но Колчак боялся, что по дороге к дому валахи или молдаване убьют его. Бобриков доложил, что Колчак просит защиты у русских для своей особы.

— Конвой ему дадим, — ответил Миних, хохоча. — Только в иную сторону поедет Колчак — в Россию...

Драгуны махом перескочили через предместье города, шапки их выросли под скатами глянса. Ворота неприступного Хотина разъехались, из них на пегом жеребце вынесло Колчака.

— Неужели вы унизите себя до такой степени, что станете пленить нас с женами нашими? — спросил он Миниха.

Но гарнизон Хотина изъявил желание сдаться в плен с женщинами вместе. Мимо русского лагеря, визжа колесами, прокатили арбы обозные. Поверх тюков и тряпья разного сидели, судача о русских, глазами по сторонам стреляя, бойкие жены янычарские. А рядом с арбами шагали их суровые повелители. Каждый из них бросал на землю ружье, срывал с пояса саблю...

Колчак вручил Миниху связку ключей от города.

— Русских стало не узнать, — сказал он, утихнув. — Раньше десять турок гнали их целую сотню. А теперь сотне турок не справиться с одним русским...

Богатая сабля Колчака воткнулась перед русскими в землю, вся затрепетав, как лист осоки под ветром... Баша признался:

— Правоверный не пьет вина. Но если победители в чистую воду капнут вином, то я сегодня не откажусь осквернить себя...

Миних повернулся к Манштейну:

— Сделай наоборот: капни воды в вино и дай баше.

Солдаты гвардии повели через Польшу на родину обоз небывалый: жующий, поющий, хихикающий в рукава, строящий конвоирам глазки. Рядом с женами хмуро шагали в Россию янычары. Многие из них уже не вернутся обратно. Русская провинция примет их в свою жизнь, русская кровь, густая и сильная, растворит в себе кровь янычарскую, и внуки этих янычар уже не будут помнить, что деды их были когда-то «беспощадными»...

— Виктория! — Миних уселся на барабан, уплетая кусок горячего мяса, который обжигал ему пальцы. — Через Днестр перекинуть мост. Теперь можно идти нам и голыми руками брать Молдавию...

Дождь кончился. Наступил тихий и теплый вечер. Плоды зрели в садах цветущих Хотина, тяжелые и благодатные. Солдаты устало присели на землю, и в тишине мирной услышали они, как миллионы цикад и кузнечиков запевают в обширных полянах, где полыхали желтые лилии, где зацветали стыдливые тюльпаны.

Вот и все. Победа пришла.

Глава восьмая

Да здравствует днесь императрикс Анна,
На престол седша увенчанна...

Вот из-за этой «императрикс» вся жизнь Третьяковского сложилась весьма печально. Мало того, что сыщики из Тайной канцелярии усмотрели в слове латинском «уронение титула», мало того, что читателей невинных за стихи его пытали, так еще и поэта власти в подозрении оставили, яко афеиста-безбожника... Последние годы Василий Кириллович, что зарабатывал, все тратил бесплодно. Поэт скупал тиражи первой своей книжицы «Езда в остров любви», а книги сжигал в печке, кочергой их помешивая... Слово «императрикс», в огне корчась, сгорало.

Сколько он сочинял про любовь, а она — всемогущая! — не могла поразить его сердца. Но вот влюбился поэт с первого взгляда и занемог в усладительной сердечности. «Аманта» его была женою

солдата полка гренадерского. И солдат сей, из казармы воротясь, ежевечерне кулаками ее лупливал, чтобы она себя не забывала. А утром Наташка (так звали героиню романа) в огороде беспечно песни распевала. При этом пении профессор элоквенции чувственно вздыхал, стоя в тени забора, не смея огород с овощами перезрелыми пылко навестить...

Солдатку ту бойкую решил он погубить стихами амурными и читал иногда — через забор — с завываниями приличными:

Вся кипящая похоть в лице его зрилась,
Как уголь горящий все оно краснело.
Руки он ей давил, шупал и все тело.
А неверна о всем том весьма веселилась!

Велика сила подлинного искусства: Наташка покинула огород с огурцами и репой — бежала от солдата под кров поэта, под сень лирики его и нищеты праведной. Остался солдат полка гренадерского в доме на стороне Выборгской — одинок, как перст, имея при себе ружье, пулей заряженное, и штоф водочный стекла мутного. Ходил он по утрам с ружьем в казарму, где артикулы разные вытворял, а вечерами шлялся со штофом в заведения питейные.

У тоски своей зеленой часто спрашивал гренадер:
— Это как же так? Опять же, ежели она так, то я-то как?
Да. Можно солдату посочувствовать (опять же стихами):

И хотя страсть прешедша чрез нечто любовно
Услаждает мне память часто и способно,
Однак сие есть только
Как сон весьма приятный,
Кого помнить не горько,
Хоть обман его знатный...

— Убью, стерррва-а, — рычал солдат над штофом пустым...

С Выборгской стороны повадился он навещать по ночам остров Васильевский. Вышибал солдат двери жилья поэтического. Наташку свою Богом попрекал, обещая с жалования повойник ей справиться, если от поэта уйдет. ТрEDIAKовский в ночи осадные сидел ни жив ни мертв. Наташка тоже по чердакам пряталась. А снаружи бушевал солдат, и дверь плясала под могучим плечом гренадерским.

— Бога ты помнишь аль нет? — спрашивал он с улицы.

Под утро, обессилев в мрачном протрезвлении, солдат снимал осаду, ретировался в казармы. Чета любовная ложилась досыпать на тощей перинке. Солнце, забега в окно с чухонской Лахты, освещало парик поэта, распятый для сохранности на чурбане. Солнце заглядывало на дно котла, в котором кисла вчерашняя каша с грибами-маслятами. Маленький котенок нежной лапкой давил мух на подоконнике, прижимая их к стеклу.

— Наташенька ты моя... светик мой сладостный!

— Васенька, кормилец ты мой ненаглядный!

Так и жили. Было меж ними согласие полюбовное. Словно подтверждая недобрую славу афериста-безбожника, ТрEDIAковский о браке церковном не помышлял. От жизни творческой поэт усталости никогда не ведал: садился за стол смело — работа его не страшила.

Жизнь! Вот ее, подлой, он побаивался.

«Императрикс» пугала поэта, словно жупел.

В пламени печи корчились книги. Он жег их и плакал.

ТрEDIAковский еще не знал, бедняга, что слава его умрет вскорости, когда он будет еще полон сил и замыслов. Ставучаны и Хотин подкосили его... Беда пришла издалека.

Поражение пришло от победы!

Из недр земли Саксонской выходили в духоту ночи рудокопы с лампочками. Они строились в шеренги, нерушимой фалангой текли по улицам Фрейбурга, их шаг был тяжел и жесток. В линии огней, принесенных из глубин земли, мелькали белки глаз, видевших преисподнюю тверди. Город наполнялся миганием шахтерских лампочек, которые разбегались и строились, заполняя древние улицы, сжатые в узостях тупиками.

Впереди всех шагал рудоискатель с волшебной вилкой — ивовым прутиком, на конце расщепленным. Торжественно выступали, одетые в черный бархат, мастера дела подземного — бергмейстеры и шихтмейстеры. Шли берггвардейцы с факелами в руках, и пламя освещало подносы, на которых несли шахтеры богатства земли человеческой. Между горок серебра и меди, руд оловянных и свинцовых высились пирамиды из светлого асбеста. В бутылках несли, словно штандарты, купоросное масло. Ликующе звенели над Фрейбургом цитры и триангели. А на дверях домов и церквей, даже на могилах кладбищенских — всюду кирки, скрепленные с ломками: символы каторжного труда. Над столицей горного дела часто слышалось одно слово: «glückauf!» В слове этом все надежды на счастливый подъем из недр земли, чтобы снова увидеть блестящие звезды жизни...

Среди рудокопов шагали и три солдата студента, а с ними верзила здоровенный — Мишка Ломоносов. Они прибыли недавно из Марбурга, и фрейбургские власти известили горожан через глашатаев с барабанным боем, чтобы никто денег русским в долг не давал, ибо отдать они неспособны. На житие выдавали студентам по талеру в месяц, а жить трудно — и бумагу купи, и пудру, и мыло. А на какие шиши газету считаешь? Но сегодня, ради праздника, русские студенты, кажется, извернулись, и носы у них покраснели от пива. Виноградов с Рейзером несли на плечах молоты рудобойные, заигрывали с чопорными девицами, что стояли в раскрытых дверях домов.

Михайла Ломоносов песни-то пел, но весел не был: в Марбурге оставил он девицу добрую — Христину Цильх, дочь церковного старосты. Не как-нибудь оставил, а — беременной...

Дни студента проходили в трудах.

В лабораториях постигались науки «пробирные»...

Дороги в Европе гораздо лучше, чем в России, и Европа узнала о виктории русской армии намного раньше, нежели Петербург. Ломоносов перестал растирать вонючую сулему, воткнул в рот короткую трубку. Большие кошки шлялись по крутым черепицам Фрейбурга и не боялись свалиться. Он смотрел на них, а рука его невольно отодвинула ступку с сулемой... Ломоносов понимал, что значат для России Ставучаны, он оценил сердечно взятие Хотина.

Будто нечаянно сложились первые фразы:

Восторг внезапный ум пленил —
Ведет на верьх горы высокой,
Где ветр в лесах шуметь забыл...

— Мишка, ты куда это собрался? — спросил Виноградов.

— Не мешай, Митя. Пойду...

Он шел по улицам, рассеянно задевая прохожих.

Только бы не расплескать восторг на улицах Фрейбурга!

Не Пинд ли под ногами зрю?
Я слышу чистых сестр музыку!
Пермесским жаром я горю,
Теку поспешно к оных лику...

Только бы донести сосуд поэзии до стола, до пера.

Златой уже денницы перст
Завесу света вскрыл с звездами;
От востока скачет по сту верст,
Пуская искры, конь ноздрями...

Дома он отодвинул со стола диссертацию физическую — с такой же легкостью, как отодвинул сулему в лаборатории. Его пленял восторг внезапный — восторг поэтический. Виделась ему гора под Ставучанами, на которую ломились три несокрушимые каре российских воинов.

Славянское солнце стояло в этом году высоко.

Выше... выше... выше!

Ломоносов штурмовал сейчас высоты парнаасские, как солдаты штурмовали холмы ставучанские.

Он писал оду — «Оду на взятие Хотина», но писал ее Ломоносов совсем не так, как писали поэты до него...

Из памяти изгрызли годы,
за что и кто в Хотине пал,
но первый звук славянской оды
нам первым криком жизни стал.
В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
и дивный голос свой впервые
далеким сестрам подала.

Через воинскую победу Ломоносов, гордый за свое отечество, выковал для себя победу поэтическую. Осенью «Ода на взятие Хотина» на курьерских лошадях уже катилась в столицу. В предупреждении к ней Ломоносов сообщал академикам Петербурга, что оду его «преславная над неприятелями победа в верном и ревностном моем сердце возбудила». Холеные лошади русского посольства уносили вместе с одою в столицу и письмо Ломоносова «О правилах российского стихотворства». В этом письме молодой поэт бросал перчатку Тредиаковскому, вызывая его для боя на турнире поэтическом...

Христина Цильх благополучно принесла ему девочку.

Ломоносов в волнении выбежал на площадь Фрейбурга, близкую к часу вечернему. Женщины наполняли кувшины водой из фонтанов. Из-под Донатских ворот, от шахты «Божье благословение», возвращались в предместья измученные рудокопы. Они снимали шляпы,

приветствуя прохожих, и Ломоносов тоже кланялся им с обычным приветствием:

— Glückauf! — говорил он шахтерам. — Glückauf!

Он желал им благополучных подъемов из недр к солнцу.

И они тоже говорили ему «glückauf», как бы советуя подняться еще выше. Высокие горы окружали старинный Фрейбург..

Высокие горы окружали Хотинскую крепость.

Высокие горы окружали жизнь человека..

Приходилось штурмовать. Иначе нельзя.

Учитесь побеждать!

От грома Ставучан и от славы Хотина зародилась новая поэзия России — поэзия Ломоносова и Сумарокова, и ей еще долго жить.

Она долго будет насыщать восторгами души русские, пока не раздается глас свежий, глас ликующий — глас державинский.

Воспоет он тогда насущную радость жизни..

Люди, никогда не забывайте о Ставучанах!

Люди, хоть изредка вспоминайте о Хотине!

Глава девятая

Французский посол при султানে маркиз де Вильнев (пройдоха и хитрец, каких не бывало) едва попевал за турецкой армией. Турки гнали австрийцев перед собой, как волки гонят робкую лань. Истомленный жарой, искушенный блохами на ночлегах, де Вильнев с трудом нагнал армию визиря Эль-Хаджи под стенами Белграда. В азарте боевого успеха, жаждая добычи, женщин и крови, янычары султанские готовы были мухами влезать на неприступные стены..

Повсюду только и слышалось:

— Лестниц! Дайте нам лестниц..

Белград уже горел, но лестниц для штурма у турок не было.

Австрийский император Карл VI от огорчения заболел. «Неужели, — вопрошал он у дочери, — блеск меча принца Евгения Савойского был последним блеском германской славы?..» Владыка лоскутной Римской империи умирал, и одно только заботило его сейчас — «Прагматическая санкция», этот небывалый ордонанс Габсбургов, чтобы сохранить все владения империи неделимы. Для этого власть должна перейти к дочери — Марии Терезии; матрона эта добродетельна и разумна.

— Она даже слишком разумна, — говорил император. — Моя дочь настолько разумна, что ни разу не изменила своему мужу..

Пышные формы молодой Марии Терезии были втиснуты в клещи корсета. Наследница великой императрицы Габсбургов всегда страдала от усердия, от порядочности, от материнства, от подозрений. Сейчас ее тоже заботила «Прагматическая санкция». Ведь стоит отцу умереть, как сразу появятся охотники раздирать на куски необъятное «Австрийское наследство». А у нее — семья, дети, муж, врачи, акушеры (надо и о себе подумать!).

Тайком от своего отца Мария Терезия вызвала из Венгрии верного ей шваба — графа Рейнгардта Нейперга.

— Где сейчас турки? — спросила женщина сурово.

— Они без лестниц у стен Белграда, но крепость укреплена достойно нами, и можно почесть ее сильнейшей в Европе.

— Белград надо сдать, — сказала Мария Терезия.

Нейперг не понял.

— Мне нужен мир... м н е! — объявила женщина и выглянула за дверь (нет, слава богу, их никто не подслушивал). — Любой ценой вы принесете мне любой мир... Л ю б о й!

— Что значит «любой»? — обомлел Нейперг. — Неужели вы согласны отдать даже завоевания Евгения Савойского, принесшие славу нашей империи? Мы не имеем права заключать мир с турками сепаратно от России, нам союзной. Это кошунство было бы... И наконец, — заключил Нейперг, явно растерянный, — ваш отец-император отрубит мне голову, и он будет прав!

— Отец не успеет отрубить вам головы, — отвечала женщина. — Мой отец близок к кончине. — Она скромно всплакнула. — А я, вступив на престол, не стану рубить голову человеку, который оказал мне в трудный момент услугу... Сейчас я должна иметь руки свободными от этой войны. Когда я надену корону, мне и без турок хватит работы, чтобы драться с разбойниками, которые полезут в мой дом через все щели... Так поспешите, верный шваб! — наказала она графу. — И помните, что французы тоже торопливы.

Нейперг со слезами на глазах целовал ей руку:

— Я все сделаю для вас. Но не покиньте меня, когда я пойду на плаху. Я поспешу, конечно, в Белград. Но русские ведь тоже сильно спешат: их армия движется уже через Буковину.

— С русскими, — сказала Мария Терезия, — мне детей не крепить. Мне ли думать сейчас о русских? Вена и без того оказала много чести России, став для нее союзницей в этой войне.

.....
Франция готовилась к осени, к дождям... Король заранее осмотрел в гардеробе Версаля свои зонтики. Босоногие крестьяне уже давили

в провинции виноград. Скоро в подвалах королевства забродит легкомысленное и резвое вино, наполненное солнцем прошедшего лета. Кардиналу Флери исполнилось в этом году 86 лет...

— Ваша почтенная эминенция, — доложили ему, — человек, которого вы желали видеть, стоит сейчас на вашем пороге.

— Пусть этот человек переступит порог, — сказал Флери.

И хотя кардинал был очень стар, а посетитель слишком молод, Флери все-таки поднялся перед ним, ибо к нему входил сейчас л у ч ш и й дипломат французского королевства. Это был Иоанн Тротти маркиз де ла Шетарди — жизнерадостный туринец, гуляка, мот и ферлаккур, авантюрист и блестящий собеседник, стилист превосходный, пронира отчаянный.

— Как рад я видеть вас, безобразник! — сказал Флери, завидуя его красоте и молодости. — Садитесь ближе... Вы, наверное, уже извещены, что в Париже находится русский посол молдаванин принц Кантемир. Мы обещали Петербургу посла Вогренана, и он удачно разыграл роль, как в театре, затянув свой отъезд. Сегодня Вогренан дал ответ Кантемиру, что в Россию он не поедет, боясь жизненных неудобств... Дорогой мой маркиз! Ехать в Россию предстоит вам.

Они помолчали, исподволь наблюдая друг за другом.

— Мы долго ждали революции в России, — продолжал кардинал Флери. — Но скорее уж само небо рухнет на русских, сминая рабов и господ в одну лепешку, а восстания нам не дожидаться. Пришло время проникнуть в разбухшее тело России иглой, а затем протянуть через нее французскую нитку... Кабинет царицы всю политику русскую строил исключительно на альянсе с Веной, которая нещадно спекулировала на союзе с наивной, но могучей Россией. А русским нет причин восторгаться этой дружбой! К сожалению, связь Вены с Петербургом сейчас упрочилась браком принца Брауншвейгского с племянницей царицы, принцессой мекленбургской...

— Версаль посылал на эту свадьбу комплименты?

— Нет, Версаль комплиментов в Петербург не посылал. Франция никак не может приветствовать этот брак, ибо он противен нашей интриге, направленной против Австрии. Подчинение же Остерманом русской политики интересам венским будет продолжаться и далее, пока австрийцы платят деньги Остерману и его прихвостням.

Шетарди спросил кардинала:

— А разве Версалью так уж трудно их перекупить?

— Совсем нетрудно! — согласился Флери. — Мы уже давно под считали: Франция должна платить Остерману в три раза больше,

нежели он получает от немцев. Но, — прищурился кардинал, — мы подсчитали также, что игра эта не будет стоить свеч, сожженных за игрою, если Россию можно повернуть в другую сторону, совсем не производя таких затрат...

— Я согласен услужить королю, — сказал Шетарди.

— Но не думайте, — предупредил его Флери, — что вам предстоит только блистать среди русских красавиц. Франция посылает вас в Россию не только дипломатом, но и шпионом своим. Мало того, вы... заговорщик!

Шетарди лишь обрадовался этому предложению.

— Ваша эминенция, — сказал он, веселясь, — это как раз по мне. В чью пользу должен я устраивать заговор?

— Вам предстоит потрудиться на благо дочери Петра Первого, который долго добивался дружбы России с Версалем. Елизавета не забыла потуг отцовских и продолжает любовно относиться к нашему королю. Вельможи русские ее не поддержат, — за цесаревною стоят казармы, она авторитетна среди солдат и офицеров. Могу вас утешить: заговор в пользу Елизаветы уже существует. Сейчас в Париже проживает даже посол от этих заговорщиков — эмигрант Семен Нарышкин, но связи с Россией он давно потерял. Очевидно, сторонники Елизаветы также уповали на обиды древней фамилии Долгоруких, а карта эта оказалась бита! Долгорукие арестованы и скоро будут казнены... Момент для вашего въезда в Петербург сейчас весьма удобный: наш посол в Турции, маркиз де Вильнев, получил согласие Анны Иоанновны распорядиться заключением мира с турками.

Флери отворил двери в соседний кабинет. Там высился стол, заваленный грудями досье и фолиантов. Рука кардинала, сухонькая от ветхости, парила над связками бумаг, как над Этнами и Везувиями многих русских неурядиц.

— Здесь русские финансы, — объяснял он маркизу, — сведения о флоте и армии... о сторонниках Елизаветы... о Бироне и его прошлом... о родственниках императрицы. Вот тут лежат последние сведения о новом заговоре, который возглавляет министр Волынский, но вы, — предупредил Флери, — держитесь человека этого подальше. Тайный розыск в России доведен до совершенства, посол же короля должен остаться вне всяких подозрений... Садитесь и читайте!

— Что читать?

— Вот это все.

— Но здесь целая библиотека. Нужны годы...

— Я даю вам для прочтения считанные дни.

— Милосердия! Ваша эминенция, смилуйтесь.

— Садитесь и читайте. Как можно скорее. Ибо положение австрийской армии под Белградом скверно, и теперь — вот теперь-то! — воскликнул Флери. — Франция должна поспешить, чтобы вы въехали в Петербург как можно скорее. Мне известно, дорогой маркиз, какой вы замечательный повеса. А потому, — закончил кардинал, уходя, — вы уж не сердитесь, если я стану запираться вас на ключ...

Шетарди открывал по ночам окно, спускался по веревке на улицу, успевал за ночь навестить своих четырех любовниц, а утром кардинал заставал его погруженным в изучение русских бумаг.

— Какой вы умница, маркиз! Похвально ваше прилежанье... Начиная с Генриха Четвертого до сего дня, — говорил Флери, — дипломатия Франции не совершила ни одной крупной ошибки в шахматной игре политики. Я уже стою одною ногой в могиле и расцениваю вашу миссию в Россию как завершающий мазок кистью на великолепном полотне моего служения королю!

Пожары Белграда, многострадальной сербской столицы, освещали темную воду Савы багровым лаком; граф Нейперг на лодке переплыл реку и сдался на милость туркам. Посла австрийского забросили, как тряпку, в шатер великого визиря эль-Хаджи-Мохамеда...

Мудрый аскет с руками базарного фокусника, великий визирь даже не глянул на цесарца. Перед ним давно бурлил на огне кофейник. Две серые кошки играли посреди шатра туфлю с ноги визиря. Другая нога эль-Хаджи была обтянута белым вязаным чулком.

— Меня прислал, — заговорил Нейперг, — сам император.

Эль-Хаджи продолжал молча курить. Краем уха визирь слушал, как за стенкою шатра бунтуют янычары, снова требуя лестниц для штурма белградской твердыни. Визирь наслаждался успехом, следя за грациозною игрой своих любимых кошек.

— Мы вынуждены признать свое поражение, — сказал Нейперг.

И тогда визирь ласково отнял туфлю у кошек, лениво нацепил ее на босую ногу. Он не встал, а лишь приподнялся с ковров:

— Мы не приучены, чтобы наш позвоночник страдал на стульях, этих орудиях европейской пытки, а потому, посол (если вы посол?), можете сесть возле меня на землю...

Нейперг сел. Янычары выли ужасно. Трещали пожары.

— Вы дрожите? — спросил эль-Хаджи. — Я понимаю: ночи в Сербии холодные, и даже пожар Белграда не может согреть вас...

Нейперг предложил туркам Сербию и Малую Валахию.

Визирь зевнул:

— Мало!

Кошки, лишась туфли, играли со своими хвостами.

— Мы согласны отказаться и от Орсовы.

— Мало! — отвечал эль-Хаджи.

Кошки легли на животы; метеля по коврам пушистыми хвостами, они теперь издалека подкрадывались одна к другой.

— Тогда мы уступаем вам и... Белград!

Кошки прыгнули и, сцепясь в комок когтей и шерсти, с довольным визгом покатались в угол шатра. Эль-Хаджи, пронаблюдав за ними, рассмеялся. Нейперг повторил униженно, что Вена сдаст Белград, но прежде разрушит все укрепления и уберет пушки. Великий визирь хлопнул в ладоши. Кошки притихли. Явился в шатер начальник турецких обозов, и эль-Хаджи велел ему выдать лестницы для штурма (которых у турок ни одной не было).

— Я устал от янычарских воплей... Не мучай более моих воинов ожиданием. — После чего визирь схватил кошек и сунул их к себе за пазуху, нежно лаская; две ушастые головы с желтыми глазами внимательно следили за Нейпергом. — Мы, — сказал эль-Хаджи, — не желаем получать от вас скорлупу от ореха. Мы, турки, желаем сегодня скушать ядро ореха!

Прослышав о лестницах, Нейперг заплакал:

— Мне отрубят голову... в Вене.

Шатер раскинулся, и к ним вошел маркиз де Вильнев, посол французский. Он нежно обнял рыдающего посла цесарского.

— Мой друг, — сказал он с чувством, — я не советую вам долго спорить, ибо я видел сейчас, как янычары потащили куда-то лестницы... Великий визирь, — обратился он к эль-Хаджи, — вы можете звать писцов: Австрия уже выбита из войны!

Император Карл VI в один и тот же день принял сразу двух курьеров с пакетами. Сначала вскрыл первый пакет — от Миниха, который сообщал Вене, что Хотин взят, Молдавия ждет русскую армию, ворота яские раскрыты нараспашку, а русские авангарды уже стоят на Дунае... Карл VI вскрыл второй пакет и закричал:

— Как мы смешны! Как мы глупы! Графа Нейперга, едва лишь он появится в Вене, сразу тащить на плаху и голову ему рубить...

Мария Терезия подняла с пола уроненное письмо Нейперга.

— Ваше величество, но это мир! — сказала она отцу.

— Это презренный мир, каких еще не знала Вена. И я, старый император, вынужден принять его, ибо он гарантирован стараниями дипломатии французской... Какой позор! Как я унижен!

Верно, что позор. Нейперг так быстро состряпал мир для Марии Терезии, что даже не сличил тексты, писанные на трех языках. Турецкий отличался от латинского, а латинский не был похож на итальянский... Мария Терезия утешала папеньку:

— Стоит ли так огорчать свое величество? Французы пекут в Белграде пироги не только для нас. Ого! Мы еще вволю посмеемся, когда подгорит корка на пирогах российских...

Шетарди объявил о своей готовности к отъезду. На прощание кардинал Флери сделал ему подарок:

— Возьмите это непросыхающее перо, которое парижские остряки стали называть «вечным». Имейте его при себе постоянно. Перо может понадобиться вам, чтобы подписать союз наш с Елизаветой, который будет неожиданным даже для нее.

Шетарди взмахнул перед кардиналом шляпой:

— Ваша эминенция, я вступлю в Россию рыкающим львом.

— Но, — отвечал Флери, — вы не покиньте России трусливой лисой, спасающей от охотников свою прекрасную шубу.

— Ха-ха-ха-ха, — засмеялся Шетарди.

— Хи-хи, — прозвучал осторожный смешок кардинала.

Лошади поданы. Загремели рога почтальонов, и Шетарди тронулся в путь для переворота в России. Французская дипломатия и в самом деле была в ту пору самой безошибочной.

Глава десятая

Анна Иоанновна опять приболела. Врачам не ахти как доверяя, императрица доверилась одному палачу, который в пытках отлично познал все слабые места в человеке. Болезни палач угадывал «по жилам и по воде» (иначе — щупал пульс и мочу смотрел). Взлся он лечить государыню глазами раков речных, которых вылавливал по ночам с лучиной у берегов речек столичных — Мойки да Фонтанки («в раке в голове два камешка белые есть, и теи камешки истерти мелко и дати немочному»).

Реляции из армии, на Дунай вступившей, были бодры.

— Бог-то велик! — сказала царица Бужениновой, среди подушек на постели посиживая. — Недаром я молюсь ему почаству... Эвон

дела-то наши какво хороши! Теперь, что ни скажи мы агарянам, они любой мир с нами подпишут.

Шуты возились возле постели, придуриваясь. Князь Голицын-Квасник мычал невразумительно. Иногда, в прояснение придя, становился разумен он и доходчив. Но больше идиотствовал, и было не понять — то ли дурак, то ли притворяется дураком. Лейб-подъедала Авдотья Буженинова, до пупа обвешенная ворохами бус цветных, скрестив под собой ноги в шальварах, держала попугая на пальце.

— Матка, — просила она царицу, — озамужь ты меня.

— Не смеши ты нас, баба глупая... Где я мужа сышу на такую уродину? Уймись, бесстыдница! Подай-ка вот лучше моську.

Буженинова вскинула на постель к царице моську, попугай взлетел с руки калмычки, стал биться в стекла окон дворцовых. Квасник распахнул рамы оконные и птицу из неволи выпустил.

— Ах ты... враг! — закричала Анна Иоанновна. — Ты зачем же это птицу упустил? Твоя она, што ли? Ты разве платил за нее?

Моська, трясясь от ярости, облаивала курьера, застывшего в дверях покоев царицы и малость обалдевшего от увиденной им картины. Анна Иоанновна велела ему подойти к постели.

— Откуда ты, добрый молодец? — спросила ласково.

— Из Вены, матушка. Не спал, не ел — гнал лошадей.

— Давно ль выехал?

— За восемь ден отмахал...

Курьера повели в баню — мыть, а потом на кухни — кормить. Шутов из покоев выгнали. Анна Иоанновна насунула на ноги туфли, велела огня зажечь. Камер-лакеи затеплили двенадцать свечей, придвинули шандалы к столику императрицы. Карл VI писал, что он со слезами на глазах уведомляет ея величество о заключении его министерством невыгодного мира с великим визирем и об уступке Белграда, но что, тем не менее, необходимо сдержать слово, данное туркам... Анна Иоанновна кулаком по столу треснула, подпрыгнула песочница с чернильницей. Едва не плача, воскликнула:

— Да что ж они натворили там, бесстыжие? Не вольны они срамные прелиминарии писать, коли мы — главный противник Турции, мы эту войнишу от начала и до конца делали...

Скособочив рот, она завывала, как режут деревенские бабы. Немцы немцами, но честь России она тоже не забывала.

— Гей, гей, гей! Остермана сюда...

Но предстал не Остерман, а Иогашка Эйхлер:

— Его сиятельства вице-канцлеры больны сильно, совсем ног лишились, явиться к вашему величеству не способны сей день.

— Да он еще меня переживет, знаю я хвори его! Чтоб был здесь, не то велю гайдукам силком доставить... Ступай с этим!

Остерман прибыл, такой бедняжка. Даже голову на грудь свесил. Восковые пальцы российского заправили безжизненно покоились на коленях. Анна Иоанновна широким шагом подошла к нему и козырек сорвала с лица его. Прямо к носу ему прелиминарии венские подсунула тряся и спрашивала:

— Это кто изгадил нашу российскую милость? Твои друзья из Вены? Да где это видано, чтобы страну, которая столько кровищи пролила, теперь перед всей Европой за чужие грехи бесчестили? Вот... гляди! Это плоды политик твоих... не воротись, гляди!

Двенадцать свечей горели высоким трепетным пламенем. Остерман, козырька лишившись, глаза ладонями закрыл. Так, словно глазам его больно было от света яркого. А между пальцев взором настороженным продолжал за императрицей следить.

— Ваше величество, — невозмутимо отвечал он, — за Вену не поручусь, но зато всегда могу за вас поручиться... Вы же сами доверили Версалю вести переговоры о мире. И мир, как бы он ни был унижителен, вам предстоит за благо божие принять. Ибо соседний враг — Швеция — силен кораблями многопушечными, и вскоре следует нападения ждать... Я всегда был врагом Франции и всегда стоял за альянс с Веною. Спешу доложить вашему величеству, что флот короля Франции уже входит в море Балтийское. А... зачем?

Анна Иоанновна бессильно поникла:

— На что хоть надеяться-то нам?

— На благоразумие маркиза де Вильнева.

— Да благоразумие-то его не русское, чай, а версальское.

Лицо Остермана отразило молитвенное блаженство:

— Всевышний не оставит государыню, столь великую!

Императрица заплакала:

— Плачу, а надобно бы радость изображать... Миних-то армию далеко увел, гляди, как бы сгоряча в Турцию не въехал, потом его, упрямого, оттуда клещами будет не вытянуть.

— Миниха надо остановить, — сказал Остерман. — Французы теперь следить за нашей армией станут, чтобы мы далеко не ушли.

— Ну, дожили мы, Андрей Иванович... ай, ай!

И все двенадцать свечей — одну за другой — Анна Иоанновна загасила пальцами, даже не ощутив от волнения боли ожогов.

Казалось, что дорога на Царьград чрез земли славянские, земли зеленые, открыта... Армия русская больше не встречала сопротивления противника, еще вчера столь опасного. Прут к осени обмелел, гусары и драгуны шли вброд, разводя теплые воды реки грудями лошадиными. Для пехоты навели тет-де-поны, и армия маршировала, отчаянно галдя, встревожена той радостью, какую испытать дано только армии побеждающей... Легионы Вели-паши бежали за Дунай и дальше, грабя и убивая встречных, чтобы возместить багаж, утраченный при Ставучанах и Хотине! Шайки янычарские скакали на лошадях в поисках самого Вели-паши, дабы отрубить ему голову за поражение в битве с русскими...

Славянское солнце стояло в этом году высоко!

За маршами армий российских с упованием следили приневоленные народы балканские и карпатские. Чаяли они спасения от рабства через штык русский. По владениям Габсбургов и султана турецкого поднимались на борьбу народы и племена славянские, готовые соединить судьбу свою с судьбою России!

Прекрасны были доли молдаванские, буйно отцветала лоза виноградная, золотым руном вспыхивали по холмам ягнята бессарабские... Миних внимательно осмотрелся вокруг себя.

— Какая дивная земля! — сказал он пастору Мартенсу. — Она ничуть не хуже Лифляндии с ее жесткой репой...

А сам думал: «Киевское княжение вряд ли уступят мне, а вот царем молдаванским я бы побыл с великим удовольствием». Лазутчики донесли фельдмаршалу, что вассал турецкий Григорий Гика бежал из Ясс вслед туркам. Молдавия осталась без господаря.

Миних живо повернулся в седле к Мартенсу:

— Вы слышали, мой падре? Место господаря молдаванского свободно... Разве я не гожусь для престола в Яссах?

— Престол займет князь Антиох Кантемир.

— Куда ему, мизераблю такому... Сковырну!

Нетерпение его усилилось, и в кольце конвоя казачьего Миних поскакал на Яссы впереди армии. Он истерзал лошадь шпорами. А на всем пути армии, до самых Ясс, толпы селян встречали воинство русское, просили подданства российского. «Молдавские статьи, — отписывал Миних в столицу, — оказывали немалую радость, видя такую славную христианскую армию, которая, как они говорили, к их избавлению

пришла...» Ясские бояре в высоких барашковых шапках, безмолвные жены их, в шали закутанные, земно кланялись войскам российским. Буджайская орда бежала в степи очаковские, ничто теперь отныне покоя молдаван не тревожило. Они кричали от чистого сердца:

— Хотим с Россией — на веки веков!

Обедню торжественную служил сам митрополит. Звонили колокола храмов и били пушки цитадельные, когда «статы» молдаванские подписали договор о вступлении народа Молдавии в подданство российское. Миних глядел на Яссы, как на будущую резиденцию свою. Велел он планы с города снимать, пионерам фольварки возводить, на верках уже ставили пушки. Погожие дни прозрачно текли над холмами зелеными. Тонкие паутины осени плыли в воздухе, запутываясь в садах, отяжеленных плодоносяще, и в волосах красивой молдаванки, что держала в зубах яркую розу...

— Виват! — орали солдаты на улицах, и звонко проливалось на землю рубиновое вино, то сладкое, то кислое, пустели кувшины.

Офицеры — в ликовании успеха — рассуждали запальчиво:

— Ныне мы ногою твердой на Дунае и на Днестре уже встали. Будет тута для отечества нашего Рейн русский с винами шипучими... А даст бог, и в кампанию следующую развернем штандарты гвардии на столицу султанскую... Виват!

Последние петухи, отходя к ночи, кричали над Яссами. Возле криниц с водою вкусно скрипели «журавли» и стучали бадьи на коромыслах. Теплый вечер опускался на края благодатные, когда послышался мягкий топот копыт, тупо колотящих горячую пыль. Напротив хаты Миниха из седла почти выпал курьер петербургский, измученный долгой скачкой.

— Пакет... Миниху... от ея величества!

Фельдмаршал слушал чтение бумаг, сводя лоб в морщины, и вдруг лицо его стало серым, как гипс.

— Держите маршала! — выкрикнул пастор.

Манштейн, мощный геркулес, подхватил было Миниха, но не смог удержать его грузного тела. Фельдмаршал плашмя рухнул на пол мазанки молдаванской. Кровь отхлынула от его лица.

Не сразу он пришел в себя и встал, произнеся:

— Манштейн, читай уж до конца... один черт!

Манштейн прочел: австрийцы сами по себе, Россию даже не предупредив, заключили мир с турками. Остерман указывал Миниху остановить продвижение армии... В хату ставки набились генералы, рвали из рук Манштейна письма, читали, бранились:

— Позора мира такого нам не снести... Будь прокляты цесарцы! Неужто мы теперь уйдем из Молдавии?

Честолюбивые планы Миниха порушились: не бывать ему господарем молдаванским. Уронив голову на стол, фельдмаршал рыдал, как дитя, которого в конце скучного обеда обделили сладким блюдом. Парик свалился с головы Миниха, блестела яркая лысина, а злые турецкие блохи прыгали по столу среди чашек, графинов, стаканчиков и тарелок с объедками.

Все молчали. Но вот Миних встал и вытер слезы:

— Бить в барабаны и литавры! Объявляем поход. Следуем дальше — на Царьград! Господа генералитет, поднимайте армию...

Армию сорвали с бивуаков — двинули на Буджак, на Бендеры, завоевывая край, утверждаясь в нем. Миних депешировал в Вену:

«...н а м н е н а в и с т е н п о з о р н ы й м и р. Со стороны русских берут крепости, со стороны имперцев их срывают. Русские завоевывают княжества, а имперцы отдают неприятелю целые королевства. Русские доводят неприятеля до крайности, а имперцы уступают ему все, чего он захочет и что может умножить его спесь... Где же, я вас спрашиваю, этот Священный Союз?»

Манштейн прервал его писание, доложив:

— Экселенц! К вам прибыл атташе французский барон де Тотт, чтобы проследить за исполнением договора о мире.

— Пусть его покормят. Французу я всегда рад...

Миних схватил перо, в ярости закончил письмо Карлу VI:

«Если не захотят даровать нам мир на выгодных условиях и вознаградить нас за Хотин и Молдавию, то я с помощью божией буду продолжать враждебные действия!»

Но атташе Франции за тем и прибыл в ставку русскую, чтобы действия военные пресечь. И проследить за отводом русской могучей армии — прочь, назад, за Дунай, к рубежам прежним... Повелло ветром конъюнктур новых, сулящих новые выгоды, и Миних, винца подвыпив, увел французского посла далеко в степь.

— Когда увидите кардинала Флери, — сказал фельдмаршал без свидетелей, — передайте ему, что Миних всегда считал себя французом, лишь состоящим на службе короны российской...

Анна Даниловна Трубецкая вскоре принесла Миниху сына — Алексея. Осень стучалась дождями в молдаванские хаты. Пожухли травы на полянах, через луга пойменные шли по домам от холодных ручьев жирные гуси... Русские генералы, оскорбленные в своих жертвах, были с Минихом солидарны, и никакими силами их из Молдавии было не вывести. Приказ царицы не исполнялся: русские солдаты устраивались зимовать в деревнях молдаванских.

Крестьяне просили их жалобно:

— Вы уж не оставьте нас опять в неволе у турчина.

— Мы люди маленькие, — отвечали солдаты. — Мы бы вас и не оставили, нам тут с вами хорошо бы... Да как министры там?

Молдавия доцвела в печали осени поздней. Уходить было стыдно. Но уйти пришлось. На околицах деревень русских провожали плачущие молдаване. Последний раз потчевали солдат вином и брынзой.

— Прощайте, люди добрые! Даст бог, еще возвратимся...

— Придите, — отвечали молдаване. — Хоть к сынам нашим!

По улицам яским ехал юный музыкант на коне. Все в орлах, в бахроме и позолоте, висли по бокам его лошади гулкие полковые литавры. Конь ступал под ездоком — в грохоте, и громадные котлы российских литавр мощно гудели над покинутой страной, словно раскаты громов пророческих... Вот это было страшно!

Из войны русско-турецкой победительницей вышла... Франция.

Белградский мир стал для России едва ли не унижительней мира Прутского при Петре I. Но тогда унижение можно было оправдать, ибо армия русская попала в капкан армиям турецким вместе с императором и его женою. А сейчас подлый мир Австрии ударил ее ножом в спину на пути к новым викториям, и вместо лавров России достались чужие плевки.

Маркиз де Вильнев — от лица России — разбазаривал туркам завоевания солдат русских. Хотин, Яссы, Кинбурн, Очаков — все отдал! Возобновлять строительство города на Таган-Роге русские не имели права. От источника реки Конские Воды, впадавшей в Днепр, была проведена линия по карте до реки Берды, впадавшей в море Азовское, и эта линия стала новым рубежом России. По сути дела, Россия обрела от побед лишь небольшой кусок степей безжизненных, которые даром давай — не надо, ибо там, в степях этих, бродили разбойные таборы орды ногайской.

— Россия, — говорил де Вильнев туркам, — все-таки пролила немало крови в войне этой, и она не смирится, если кусок хлеба черствого мы не помажем ей маслицем... Что дадим им?

Турки и слышать более про Азов не хотели, они говорили маркизу: пусть русские забирают его себе, но крепость в Азове скрыть надо за подлицо со степью, чтобы там пустыня осталась.

— Азов, — доказывали турки маркизу, — стал за последние годы развратной куртизанкой, которая столь много раз меняла поклонников, что более недостойна иметь мужа верного...

Россия, согласно договору, обязана была свой флот разломать и никогда более не плавать в морях Черном и Азовском — даже под торговым флагом. Купцы русские имели право перевозить товары свои только на кораблях турецких. Блистательная Порта соглашалась пропускать через свои пределы беспрепятственно паломников российских, идущих в Иерусалим на поклонение.

В прелиминариях договорных турки Российской империю обозначали на старый лад, — как дикую страну Московию.

— А иначе и нельзя, — убеждали они де Вильнева. — Если скажешь «Россия», а не «Московия», народ османский не поймет, с какой страной мы воевали и с кем мир теперь заключаем...

— Боюсь, — вздыхал де Вильнев, — что русские возмутятся и царица не ратифицирует этой гадкой для России удавки.

Но паруса кораблей шведских, серые от дождей осенних, уже мерещились в окнах дворца Зимнего, и Анна Иоанновна поспешно апробовала трактат мира Белградского.

Только потом при дворе словно очухались:

— Батюшки святы! Про пленных-то мы позабыли...

Верно, о выдаче Турцией пленных на родину маркиз не проявил заботы. Анна Иоанновна тоже махнула ручкой:

— Ну и пушай околевают в полоне агарянском! Честные-то слуги престолу моему в плен добром не сдаются...

Елизавета Петровна, вступив на престол, до самого конца своего царствования будет выкупать из плена турецкого воинов русских, попавших в неволю басурманскую при Анне Иоанновне. Позже историки писали: «Россия не раз заключала тяжелые мирные договоры; но такого постыдно-смешного договора, как Белградский 1739 года, ей заключать еще не доводилось и авось не доведется! Вся эта дорогая фанфаронада была делом “танантов” тогдашнего петербургского правительства и дипломатических дел мастера Остермана...»

Андрей Иванович Остерман — мастер! — сказал:

— С маркизом де Вильневым за его услуги империи нашей расплатиться следует вполне достойно и величественно...

Анна Иоанновна послала в дар маркизу 15 000 талеров и орден империи — Андрея Первозванного. Захлопнув кошелек и опоясав себя голубым муаром высшей русской кавалерии, маркиз де Вильнев был предельно возмущен:

— Пора бы уж им знать, что я мужчина! Неужели Россия столь обнищала, что не может одарить и моей любовницы?

Анна Иоанновна послала фаворитке дипломата французского драгоценный перстень с громадным бриллиантом.

Так закончилась эта война*, стоившая России несметных миллионов и 100 000 людских жизней. Теперь (рассудили в Петербурге) надобно ждать, когда армия из похода возвратится, и можно открывать в столице парадные торжества по случаю наступившего мира.

— Лавров побольше! — приказала Анна Иоанновна. — Пушай каждый гвардеец станет лавреатом, яко в Риме Древнем. А для сего случая провести по домам обыски повальные. И весь лавровый лист, какой на кухнях домов частных същется, в казну ради торжества отобрать!

Древние греки лавровый лист не только вплетали в венки триумфаторам-лауреатам. Они еще и ели лавровый лист, дабы приобрести от него дар святого пророчества. В древности люди свято верили, что лавр спасает человека от нечаянной молнии.

Правительство Анны Иоанновны лавры вкушало изобильно, но дара пророческого не обрело. Молния справедливости исторической уж скопила свою ярость в тучах, над Россией плывущих, и разящий клинок молнии этой будет для многих неожиданным...

Глава одиннадцатая

Холодно стало. Нева взбурлила. Дожди секли.

Иван Емельяныч Балакирев, в тулупчике коротком, на колясочке ехал к службе во дворец царицы, чтобы дураков смешить. Сам-то он смеялся очень редко, а своим шуткам — никогда...

Через Неву пролегал мост, строенный недавно стараниями корабельного мастера Пальчикова. Хороший мост получился, разводной, он корабли через себя пропускал. А ведали им, естественно, офицеры

* Унизительный Белградский мир был аннулирован в 1774 г. Кючук-Кайнарджийским миром после громких побед над турками А.В. Суворова и П.А. Румянцева.

флота. На переезде всегда толчея была, люди и повозки в очереди ждали. Очередь тянулась медленно, ибо деньги собирали. С карет парами драли за проезд через мост по пятаку, с воза по две копейки, с пешеходствующих — по одной. Отдай — и не грехи! Пока проезжий, воров стережась, кошель распутает от завязок, пока монетку похуже выберет, пока ему сдачи мостовщики отсчитают — другие стоят и ворон считают. Балакирев ехал об одну лошадку, а потом три копейки бросил в казну флота российского. Как раз навстречь ему стражи через Неву человека закованного в крепость препровождали. Балакирев, конечно, не удержался — спросил:

— Эй, милый! За што тебя тащат-то?

— А я, брат, сволочь немецкую матерно излял.

— Пропадешь теперь, — пожалел его шут. — Облял бы ты лучше меня, и ничего бы тебе за это не было...

Стражи тут накинулись на Балакирева:

— Ты кто таков, чтобы советы советовать?

— А я... царь касимовский, не чета вам, дуракам.

И нахлестнул кобылу, чтобы везла его поскорее. Верно, что был Иван Емельяныч царем касимовским... Хороший городок. Просто рай, как вспомнишь. У заборов там громадные лопухи растут. Таких лопухов нигде нету. Когда окочурилась Фатьма, последняя ханша касимовская, Петр I сделал шута царем касимовским. А императрица Екатерина I, на престол восседши, все выморочные имения царей касимовских Балакиреву отдала*. Да, лопухи там громадные...

— Тпррру-у, — натянул вожжи Иван Емельяныч.

Во дворце было еще полулюдно, а шуту с улицы стало зябко. Он спустился в царскую прачечную, где еще с ночи кипела работа. Веселые бабы-молодухи из чанов кипящих палками тяжелые волокиты белья таскали. Балакирев присел к печке погреться, полешко одно подкинул в огонь, снял парик, обнажив седые лохмы волос.

— Гляди-ка, — смеялись прачки, — уже и снега выпали!

— Да, бабыньки, — согласился шут. — Снег уже выпал, и вам, коровам эким, уже не побеситься со мной на травке... Состарился я!

Через окно прачечной был виден простор вздутой от ветра воды невской; посреди реки ставил паруса корабль голландский, привезший недавно в Петербург устрицы флембургские. Свежак сразу набил

* И.Е. Балакирев и погребен был в Касимове в Егорьевской (Богоявленской) церкви, которая ныне охраняется государством как ценный памятник русского старинного зодчества. Городок Касимов на Оке был когда-то столицей Касимовского ханства, подвластного Московскому государству.

парусам «брюхи», корабль быстро поволокло в туманную даль устья, где гулял бесноватый сизый простор.

— Пойду-кась я, бабыньки, — поднялся Балакирев от печки. — Надо служить, чтобы детишки с голоду не пропали...

В аудиенц-каморе повстречался с Волынским.

— Како живешь, Емельяныч? — спросил тот шута.

— Живу! За дурость свою достатку больше тебя имею. Да какая там жизнь... На живодерню пора, а отставки не дают. Глупая жизнь у меня! Вчера вот я заплакал было, а вокруг меня все гогочут. Думали, ради веселья ихнего реву я...

Явился в камору еще один шут — князь Голицын-Квасник. Жалко было человека: в Сорбонне учился, пылкой любовью итальянку любил, и все заставили позабыть — теперь хуже пса шпыняли. Артемий Петрович страдал за Голицына, видел в насильном шутовстве князя умышленное принижение русской знати... Он ему руку подал:

— День добрый, Михайла Лексеич.

— Ave, — ответил Квасник по-латыни.

Балакирев слегка тронул Волынского за рукав, поманил:

— Петрович, поди-ка в уголок, сказать хочу...

Подалее от посторонних шут ему сообщил:

— Нехорошие слухи ходят, Петрович, будто ты в дому своем гостей собираешь. Проекты разные пишешь, како государством управлять. Остерман, гляди, в конфиденцию с герцогом войдет, они сообча без масла тебя изжарят с обоих боков.

— Ништо! Я теперь на такой высокий пенек подпрыгнул, откуда меня не сшибешь так просто. Да и Черкасский за меня!

— На Черепаху кабинетную не уповай надеждами, — отвечал шут. — Князь Черкасский тебя же первого и продаст, ежели в том нужда ему явится. А тобою Бирон недоволен, не любо ему, что государыня тебя слушается, а ты герцога слушаться перестал... Ведь я не дурак, как другие! Я-то понял тебя, Петрович: дружбу с герцогом ты в своих целях использовал.

— Ну, брось! — отмахнулся Волынский.

После доклада у императрицы он встретил в передних Иогашку Эйхлера, который важно шествовал в Кабинет с бумагами и перьями. Артемий Петрович шепнул кабинет-секретарю конфиденциально:

— Пуще за Остерманом следи. Что пишет? Что помышляёт? А вечером приходи и де ла Суду тащи... говорить станем!

На выходе из дворца столкнулся почти нос к носу с цесаревной. Платице бедненькое на Елизавете, но она распутшила его лентами,

будто королева плыла по лестницам. Ай, ну до чего же хороша девка! Так бы вот взял ее и укусил... Елизавета Петровна ценила Вольтерского, как человека из «папенькиного» царствования, и была неизменно к нему приветлива.

— Ой, Петрович-друг! Ну и ветер сей день гудит... Закатилось лето красное, боле не послушать мне арий лягушачих. У меня за деревней Смольной уж тако болотце дивное! Сяду на бережок в ночку лунную, лягухи соберутся округ меня и столь умильно квакают, что я слезьми, бывало, умоюсь. Куды там Франческе Араيه с его скрипичами до наших лягушек российских!

Вольтерский глянул по сторонам (нет ли кого лишнего?) и шепнул девке на ушко, как шепчут слова любви:

— Мы с вами еще всех переквакаем. Будьте уверены, ваше высочество, я вас помню и чту. Когда станете по закону величеством, я вас ублажу... Знаю под Балахной три болота чудесных — Долгое, Чистое и Боровое, вот там, как научно доказал мне Ванька Поганкин, плодятся лягушки — самые музыкальные в мире. Такие они там дивные кантаты сочиняют, что... ох, помирать не захочешь!

Елизавета Петровна поднялась на второй этаж дворца, проследовала через гардеробную. Здесь, среди шкафов и комодов царицы, ее случайно встретил Бирон. Замерли они на мгновение, и цесаревна сразу почуяла недоброе... Бирон схватил цесаревну в объятия. Стал целовать ей плечи, лицо. Стремился угодить поцелуем в пышные губы.

Елизавета отбивалась от ласк герцога:

— Пустите... что вы? Ваша светлость, не надо...

— Красавица, — бормотал Бирон. — Как я страдаю от вида твоей земной красоты... слышишь? Как ты нужна мне... прелестница!

Хлопнула дверь гардеробной, и Бирон отскочил от цесаревны, почуяв тяжесть знакомых шагов императрицы. Среди комодов, натисканных добром тряпичным, прозвучал ревнивый голос женщины:

— А чего это вы, милые мои, творите тут в потемках?

Елизавета в страхе громко икнула. Бирон шагнул вперед, улыбкой ясной обласкал императрицу:

— Как вы сегодня хороши, ваше величество... А цесаревна — с жалобой. Я думаю, что лавровый лист с кухни ее можно и не отбирать. Что ни говори, а все-таки она — принцесса крови!

— Принцесса блуда она... каяться ей надо. Молиться.

.....

После пожаров частых Петербург в деревянных строениях решили снести, а возводить каменно. Главным по перестройке столицы стал

Петр Михайлович Еропкин, и дружба его с Волынским была сейчас таким благом для будущего столицы, ибо кабинет-министр своего конфиденнта в градостроительстве поддерживал. Нет худа без добра, — на широком погорелище открылся простор для воплощения самых смелых фантазий. Погорельцев выселяли, халупы их солдаты ломали. Центр столицы складывался вокруг Адмиралтейства, и Еропкин мечтал, чтобы путнику, в Петербург въезжающему, с любой першпективы издали виделся кораблик на игле шпилья адмиралтейского... А за городом наметили место для казарм гвардии Измайловской, и Еропкин смело проложил третий «луч» к Адмиралтейству (будущий проспект Измайловский). Сады, бульвары, памятники, гроты, фонтаны, скульптуры... Чудился уже в снах Рим новый — Рим российский! Еропкин был счастлив в этом году, как никогда. «Ежели и умру, — грезил, — Петербургу далее по моим планам строиться, и от моих генеральных першпектив потомству уже никак не отвернуть в сторону...»

А по вечерам сытые кони увозили зодчего на дачу к Волынскому*. Первый снег был радостен и пушист. От Невского ехал лесной просекой — в глушь, в сугробы, в темноту. Кое-где стояли в лесу амбары, стлы дачи вельмож, заколочены, да чернели виселицы, ставленные здесь на страх порубщикам леса еще при Петре I... Вот среди дерев засветились теплые искры окон. Гостей встречал у порога дворецкий Кубанец, в покоях было жарко натоплено. Стены горниц обиты плотным выбеленным, а полы кирпичами выложены. Печки на даче Волынского — из кафеля цвета синего, красивые.

Здесь конфиденнты собирались. Замышляли!

Татищев был здесь со своей историей, плакался, что герцог губит его напрасно. Андрей Федорович Хрущов лучше иных конфидентов знал Никитича по службе на заводах и не любил его. Не мог простить ему палачества в деле Жолобова и Егорки Столетова, не забыл дыма костра, на котором Татищев заживо сжег башкира Тойгильду Жулякова, а детишек его в рабство свое закабалил...

— Все врет Никитич! — говорил Хрущов. — Взятки брал. Казну грабил. Какие были подарки ханам калмыцким назначены, так он и подарки эти себе заграбастал. На воровстве великий дом себе на Самаре построил, где в окна стекла зеркальные вставил.

Однако, человек честный, Хрущов и уважал Татищева как ученого. Потакая занятиям его историческим, он из дома своего приносил

* Дача Волынского находилась в пустынной тогда лесной местности, между нынешними зданиями Обуховской больницы и Технологического института на срезе Московского и Загородного проспектов.

Никитичу бумаги летописные... Волынский хаживал среди гостей по горницам, толкал коленями стулья, обтянутые лионским бархатом, грел спину об печки.

— И сожрут тебя, верно! — предрекал Татищеву. — Я бы и помог, да противу Бирона бессилен покуда. Остермана бы нам вконец разрушить, тогда бы петлю и на герцога вить можно... Что царица? Говоришь ей что, она своим колтуном трясет, а по глазам вижу — разум отсутствует. Она токмо о казнях в лютость себе да о шутах в забаву печется. О делах же худо ведает. То пришлые немцы за нее вершат. Нам же, русским, чести совсем не стало...

Соймонов поддакивал из угла:

— То так! Истинно толкуешь. Ежели б не доносы да пытки, труд не каторжный, а вольный, сколь много доброго мог бы народ наш свершить. Вот ты, Петрович, на даче своей говоришь сладко! А поди царице это все — не нам, а самой царице — выскажи.

— Думаешь, боюсь? Нет, Федор Иванович, не робок я. Я вскоре новую записку подам, где укажу ей, дуре, какие персоны гадкие близ престола обретаются. Коли словом зла не осилить, Бирона с Остерманом убивать надо... Без крови нам все равно не обойтись!

Из рук Кубанца со звоном выпал бокал хрустальный.

Волынский с размаху треснул маршалка по зубам:

— Эй! Убивать людей можно, но бить посуды нельзя...

В один из дней, назначив свидание в доме на Мойке, Волынский встречал гостей особо торжественно, взволнованный. Усадил конфиденентов рядом, раздвинул шкаф, стал из него бумаги вынимать. Клеенчатые портфели ложились горой один на другой.

— Здесь изложено мною о притеснении инородцев, а тут пишу о бесчинствах воевод и губернаторов... Вот экстракт о гражданстве... о дружбе человеческой... о том, какие суть граждане, честны и возвышенны, должны при государях состоять.

Вывалил все это на стол и притих.

— Петрович, — спросили его, — да что же тут у тебя?

Кабинет-министр приосанился, гордясь.

— Проект, — сказал, — над коим я много лет тружусь не напрасно. Ныне мы его честь и обсуждать будем. Совместно станем править его для блага отеческа. Важна здесь особливо портфеля вот эта: «Генеральный проект о поправлении внутренних государственных дел»... От него-то и учнем Россию из бед вызволять!

Распахнул он шторы зеленого бархата — взору гостей предстала библиотека богатая. Вся крамола собралась здесь: Макиавелли, Юст

Липсий, Боккалини, Бассель, Тацит и прочие... Над проектом Волынского конфиденты рассуждали по-всякому, часто слышались имена Бориса Годунова и Мессалины.

— Царица наша распутством такая же Мессалина, — говорил Еропкин. — Слостолюбие в ней сопряжено с жестокостью. Помните, как Мессалина любовника своего Гая Силия возжелала на престол возвести? Смотрите, дворяне, как бы и наш Бирон шапку Мономаха на свой парик не напялил.

— Годунова я не виною, — сказывал Соймонов. — Мудрый был и рачительный государь. Хотел он породнить дочь с принцами иностранными, так и... что с того? Греха нет. А кончилось тем, что изнасиловал ее Гришка Отрепьев... Вот и сейчас! Неужто не заметили? Бирон-то, новоявленный Лжедмитрий, начинает к Елизавете в Смольную подъезжать. Бабенка она легкая, как бы греха не вышло...

Волынский поднялся духом до того, что пограл в себе авторское тщеславие. С чистым сердцем отдал он проект свой для доработки совместной. И теперь каждый его «согласник» руку свою к нему старался приложить. У кого что болело, тот крик боли своей в проекте Волынского излагал. Явился и президент Коммерц-коллегии, граф Платон Мусин-Пушкин; финансист и заводчик, страшный ненавистник придворных немцев, он тоже в работу включился. Вот они! Врачи, переводчики, офицеры, механики, архитекторы, моряки, садовники, гвардейцы, монахи, — как их жгло, как их коржило... Как страстно желали они гнет чужеродный изломать, чтобы вывести корабль России из затхлого пруда на чистые, вольные воды!

Федор Иванович Соймонов из списков Адмиралтейства был исключен, но флота вниманием не оставлял. Обер-прокурор Сената, он издавал сейчас двухтомную лоцию по названию «Светильник моря», готовил учебник по навигации для штурманов корабельных. Сочинил для «Санкт-Петербургских ведомостей» статью большую «Известия о Баку и его окрестностях». Каспий был колыбелью его, не забылись ему огни бакинские, Соймонов писал о нефти с восхищением, как о чуде. А чтобы штурманам легче было правила судовождения запоминать, Федор Иванович правила эти в стихи укладывал, сочиняя длиннющие поэмы по навигации:

Кто, не зная компас или лентясь (курс) исправляет,
Тот правый безопасный путь свой погубляет.
Кто же и румб презирает, каким течет море,
Тот нечаянно терпит зло на мелях горе...

Как и каждый поэт, похвалы для себя желая, он стихи свои показал Третьяковскому, который стихи шутовские разругал по-нехорошему.

— Я пиит, наверно, некрасочный, — согласился Соймонов. — Но хулить себя не позволю. Ибо легче всего тебе о бабах да цветочках пописывать, рифмой бряцая, а ты попробуй формулу изложи!

В маленький дом адмирала на Васильевском острове друзья редко заглядывали, зная, что хозяин весь в трудах и мешать ему не стоит. Зато все моря России плескались по ночам в кабинете Соймонова, когда он разворачивал карты... Вот и новость: карта островов Курильских, составленная Шпанбергом. Соймонов разругал ее за ошибки в счислении с такой же яростью, с какой Третьяковский разбил его навигационные поэмы. Но все равно было приятно, что русские корабли уже подступались к загадочной Японии... Эх, если бы можно было из Петербурга растолкать Витуса Беринга!

При свидании с Волынским обер-прокурор доказывал:

— Петрович, как министр, рассуди сам — не пора ли Беринга за штат задвинуть, а на место его Мартына Шпанберга ставить?

Волынский всегда держал русскую линию:

— Почему Шпанберга, коли в экспедиции Беринга природный наш мореплаватель содержится — Алексей Чириков?

Соймонов был дипломатичнее министра:

— Чирикова нельзя, ибо... русский он, того Остерман не допустит, а Шпанберга можно отвоевать на смену Берингу, он моряк добрый. Курилы уже описал, к Японии плавал охотно.

— За что на Беринга гневаешься, Федор Иванович?

— Какой уж год спит командор.

— Да брось! Неужто так уж и спит все эти годы?

— Ей-ей, — поклялся Соймонов. — Как шесть лет назад в Сибирь отъехал, там лег на лавку, в доху завернулся и вот никак не добудиться его из столицы. Беринг ни на синь порошу пользы России не принес, а взял из казны уже триста тысяч! Эки деньги... Да с такими деньгами военную кампанию можно делать.

— Остерман горою стоит за Беринга, — отвечал Волынский. — Но я согласен в Кабинете выступить, чтобы Беринга отозвали домой и поставили взамен начальника нового — бодрого!..

Соймонов сокрушенно поведал ему, что из Тобольска вести пришли дурные: лейтенант Дмитрий Овцын в матросы разжалован и ссылается теперь на Камчатку — под команду Беринга.

— Совсем уж глупо, — огорчился Волынский. — Овцын больше всех сделал, а его убрали... Ну не дурни ли? Не надо было лейтенанту с Катькой царевой вязаться. Плавал бы себе!

— Молодость желает любить даже на краю света. И любовь, Петрович, казни не страшится... Мы с тобою уже состарились на службе и горячности страстной более не понимаем.

— Я не состарился, — сказал Волынский, подбородок вскинув. — За меня еще любая четырнадцатилетняя пойдет. Только помани!

Над Россией нависало предгрозовое затишье. Опытным людям, огни и воды прошедшим, жутко становилось от тишины этой. Волынский и сам — в ослеплении власти! — не заметил, как Черепаша-Черкасский от него отвернулся и прильнул к Остерману, а Остерман стал перед Бироном бисер метать. Герцог от Волынского отвращался, глядел косо, говорил, что Волынский обнаглел, спрашивал:

— Зачем министр желает мне дорогу переступить? Ему и так много дано, а он и в мою тарелку с ложкой своей залезает...

Что теперь герцог Волынскому? Он и сам мужик с башкой!

Противу реформ, замышляемых министром, выростала стенка.

Сверкающа! Титулована! Непрошибаема!

За этой стенкой, добрым чувствам невнятна, какой уж год отсиживалась, как в осаде, императрица.

Волынский целовал ржавый меч предков своих, найденный им на поле Куликова... Меч крошился в труху.

Глава двенадцатая

«Девка Катерина Долгорукова дочь» — так теперь именовали в указах невесту царскую. Снежная пурга бушевала за окраинами Томска, когда ее вывели из острога, всю в черном, гневную и непокорную. Караульный обер-офицер Петька Егоров указал, чтобы сняла с пальца кольцо обручальное, которое велено в Петербург отослать.

Порушенная царица руку вытянула, глазами блеснула.

— Руби с перстом! — сказала.

Егоров тянул кольцо с пальца, так что костяшки трещали. Но сдернуть перстня не смог. Из архиерейской канцелярии вышел иеромонах Моисей, а за ним — служки с ножницами. Из-под платка княжны Долгорукой распустили по плечам густейшую копну волос, и вся краса девичья полегла ей под ноги — яркая, быстро заметал ее снег. Великий постриг свершили над нею! Моисей при этом, как и положено, вопросы духовные задавал, но Катька губы в нитку свела — только мычала (так поступали все насильственно постригаемые). Офицер толкнул девку в санки, и Катьку повезли... В дороге выла она бесслезно!

Доставили ее в нищенский Рождественский монастырь, худой и забвенный, где монашенки с подаяния мирского проживали. В обители кельи «все ветхие, стояли врознь... монахинь семь — стары и дряхлы, и ходить едва могут, а одна очами не видит». Бедные всегда добрые! Обступили они молодую затворницу. Катька с ужасом видела их зубы редкие, между серых губ торчащие, под клобуками патлы седые, из рясок вылезали руки корявые — крестьянские. Мать-игуменья, старуха дряблая, в дугу к самой земле пригнутая, тянула пальцы свои костлявые к лицу Катьки, чтобы коснуться ее молодости, погладить красоту ее.

— Голубушка ты, касатушка, — говорили старицы. — Уж ты прими ласку нашу. Мы тебя николи не обидим. Лучший кусок тебе дадим...

— Прочь, курвы старые! — взвизгнула Катька. — Я царица русская, вы должны даже во тьме свет мой уважать... Не лезьте ко мне с ласками, гнилье худое! Презираю я вас.

Шелестя рясками, разбрелись по кельям старухи:

— Мы-то к тебе с добром, а ты нас опаскудила... За што?

Но есть-то надо! На всю Рождественскую обитель каждый год всего шесть рублей отпускалось — голодно, холодно. Вот и повадилась Катька по субботам выходить из обители. Шла в ряд с монахинями по улицам томским, возле дворов постыдно кланчила:

— Подайте, Христа ради, царице российской...

Ей никто не давал. А старухам давали: они, слава богу, царицами не были. Потом монахини с ней же, паскудой, еще и кусками набранными делились. Но с добром к царице порушенной более уже не подходили.

— Гадюка ты! — говорили они Катьке. — Как только земля тебя носит? Страшен час твой остатний будет... Ужо, погоди!

Едино развлечение было у Катьки — на колокольню залезть, взирать за лесные дали, за которыми навеки затворилась Москва белокаменная, ее счастье, богатство. Скоро к ней в келью солдата с ружьем поставили. Катька стала его класть рядом с собою, сама себя презирая за низость такого падения. Свет луны скользил по штыку ружья, прислоненного к стене на время часа любовного.

Итак, все кончено, и прежнего не вернуть. В указе сказано: «за некоторые вины» осужден. А вины те не упомянуты. Понимай так, что виноват, и этого достаточно... К острогу тобольскому, в котором

сидел на цепи лейтенант Овцын, в день воскресный, в толпе горожан тобольских, несущих подаяние для узников, явились в канцелярию сыскную матросы, а с ними подштурман Афанасий Куров.

— Содержится у вас начальник наш бывший — Дмитрий Овцын, сыне дворянский, дозвольте, — просил Куров, — повидать мне его.

— А на што он тебе? Не для худа ли?

— Не для худа, а для добра нужен...

Брякнули запоры темничные. Овцын с полу встал.

— Дмитрий Леонтьич, — сказал Куров, — изнылись мы по судьбе вашей. Из простых матросов вы меня к науке подвигнули. В люди вывели! А ныне я в чин вошел, офицером флота российского стал. Ото всей команды велено мне вам земно кланяться...

Подштурман опустил на земляной пол темницы, лбом коснулся пола молитвенно. Край одежды узника поцеловал.

— Афоня, — сказал Овцын, — за приветы спасибо. Укрепили вы меня. А теперь, коли встретимся, плавать мне под твоим началом: «за некоторые вины» разжалован в матросы я и на Камчатку еду...

Овцына повезли на восток, на окраине Тобольска сбили железо с ног. Дали матросу полушубок чей-то завшивленный, Митенька себе ложку из дерева вырезал. Хлебал пустые щи на ночлегах, бил вшей у печки. На допросах вел себя с мужеством неколебимым, и этим он спас себя. Сколько голов в Березове полетело, сколько людей казнили, замучили пытками, сослали по зимовьям и пустыням, а лейтенант удачно гибели избежал... Теперь матросом к океану ехал!

В Охотске уже много лет спал командор Витус Беринг. Адмиралтейство побуждало его отправляться к поискам острова сокровищ — к земле де Гаммы, уяснить, нет ли прохода между Азией и Америкой? Беринг, не вставая с постели, давал ответ: «По чистой моей совести доношу, что уж как мне больше того стараться, не знаю...» Полгода скакал курьер с письмом до Петербурга, через полгода возвращался обратно в Охотск. Беринг давал очередной ответ о своих «стараниях», и опять целый год наглейше дрыхнул. Честные люди ничего не могли поделывать, чтобы двинуть экспедицию в путь! Чириков изнылся, даже чахоткою заболел. А пока командор спал, офицеры дрались, пьянствовали и грабили население. Проснувшись, Беринг с удивлением обнаружил, что на дворе уже 1739 год, а он проспал целых шесть лет. Подивясь этому, он отправил в Адмиралтейство доношение, что за такие важные заслуги ему давно уже пора получить чин шаухтбенахта (контр-адмирала). Вместо этого из Петербурга его как следует

вздрычили! Экспедицию хотели уже прикрыть*, ибо деньги она жрала тысячные, а дела не видать на понюшку табаку. В довершение всего корабль Мартына Шпанберга прошел по морю насквозь через... землю Хуана де Гаммы, которой не существовало в природе, но зато она была нарисована на картах Делилевых.

— Это ничего не значит, — сказал Беринг. — Мы пойдем искать ее внове... На карте-то — вот она!

Овцын попал в команду «Святого Петра», под начало самого Беринга, а «Святого Павла» увел в океан Алексей Чириков. Долго елозили корабли по морю, ища земли мифической, ничего не нашли и навсегда расстались в океане. Беринг вывел «Святого Петра» к берегам Америки, возле которых и простоял десять часов на якоре. Десять лет ушло на подготовку этой экспедиции Беринга, а на исследование Америки Беринг потратил десять часов. Он так испугался этой Америки, что тут же велел паруса вздымать и спешить домой. Дня не проходило в пути, чтобы за борт покойника не выкинули. Полумертвые люди наконец увидели землю. Над горизонтом поднималась сопка. Стали сравнивать ее силуэт с силуэтом сопки Авачинской и радостно кричали:

— Она и есть! Похожа... Ура! Мы вышли на Камчатку...

На общем консилиуме Овцын дерзким тоном заявил, что протокола подписывать не станет; перед ними — не Камчатка, а все сопки тут похожи на Авачинскую, отчего хрен редьки не слаще. Тогда офицеры с матерным лаем стали его избивать и выставили с собрания прочь, яко матроса. Наперекор всем, избитый Овцын отказался ломать корабль на топливо — он считал, что «Святого Петра» еще можно с отмели сдернуть и починить, чтобы плыть дальше. Овцын утверждал:

— Нас выкинуло на землю безвестную и дикую. Дураком надо быть, чтобы сего не понять. Смотрите на зверье, сколь близко оно под-

* В советской печати уже не раз поднимался вопрос о роли Витуса Беринга, которая была попросту жалкой. Авторы прямо указывают, что на восточных окраинах России существуют «Берега Несправедливости» (остров Беринга, море Беринга, пролив Беринга). Историк И. Забелин недавно писал, что «слава Беринга настолько же искусственно раздута, насколько искусственно приглушена слава подлинного победителя Алексея Чирикова, бывшего, по словам М.В. Ломоносова, “главным в этой экспедиции”. Но тень Беринга затмила не только Чирикова... Виноваты в этом мы, ныне здравствующие, виноваты те из нас, которым важно на каждое событие иметь одну монументальную символическую фигуру». История не знает подобных примеров, чтобы сущий трус и бездельник, каким предстает Витус Беринг в документах, получил столько посмертной славы!

ходит к нам, гладить себя позволяет. Значит, человека они еще никогда не видывали. А на Камчатке зверь уже пуган!

Он был прав. Их выбросило на необитаемый остров. Беринг на зимовье снова уснул, чтобы более не проснуться. С п я щ е г о, его засыпало ночью песком... Овцын выжил! Но трагическая тень командора заслонила подлинных героев этой эпопеи, и они прошли по жизни, как пыль через пальцы, пыль просыпалась, и не стало ее.

...Овцын пережил свою березовскую любовь, которая не дала ему счастья... Они встретились еще один раз, когда Митенька снова плавал на Балтике в прежнем чине лейтенанта, а Катька стала уже графиней знатной Брюс и отвернулась от него в надменности. Перед смертью она сожгла даже наволочки со своих подушек, все рубашки ночные испепелила, чтобы никто не осмелился надеть на себя ее коронованные одежды. Овцын ушел из жизни тихо и неприметно, как опадает осенью лист с дерева. Но дело Овцына осталось живо в народе, и оно живет по сю пору!..

Зато вот от Катьки даже тряпок не осталось!..

Слушали в собрании генеральном сановники империи экстракт «О государственных воровских замыслах Долгоруких, в которых по следствию не токмо изобличены, но и сами винились».

Прослушав же, постановили — рубить головы!

Дипломаты в Петербурге встревожились. Казалось, из могил поднялись тени загробные. Помнились Долгорукие в аудиенциях прошлых царствований — олигархии надменные в холености, в фаворе знатном. Были они дипломатами, придворными, фельдмаршалами...

— Если Долгорукие и виновны, то отчего же девять лет молчало русское правительство? За что их осудили теперь?

Никто ничего толком не ведал. Но по Европе, кочуя из газеты в газету, ползли слухи шаткие о заговоре против немецкого засилия в правительстве. Передавали за верное, будто нити заговора тянутся далеко... до Версаля, и будто бы в Березове знали гораздо больше, нежели можно знать на краю света. Верить ли в это?

Андрей Иванович Ушаков по первопутку прибыл в Новгород, куда привезли и приговоренных к смерти. Последние допросы с пытками проводил он в тайне сугубой. У измученных людей огнем и кровью вырывались последние признания. Ушаков допытывался у Долгоруких «о злом умышлении, чтобы в Российской империи самодержавию не быть, а быть бы республике...».

В версте от Новгорода никогда не сохнет болото, которое от города отделено оврагом, а по дну оврага бежит Федоровский ручей. Место то гиблое, нехорошее. На болоте вечно гниет Скудельничее кладбище. Издавна тут открыты «скудельни» — ямы для могил общенародных, где зарывают мертвецов без родства и племени, странников, казненных и опившихся водкой нищих.

Близ этих мест заранее воздвигли эшафот. Народ не пришел — боялся! На казнь солдат пригнали. Ушаков в карете сидел, издали поглядывал. Поначалу семейству Долгоруких только головы рубили. Как тьпнут — отлетает с плеч, словно кочан капусты. Когда все уже безголовы лежали, дошла очередь и до князя Ивана Долгорукого... Много перепортил девок фаворит Петра II, немало людей собаками затравил в поле отъезжем, пьянством своим семью разорил, но все же не так уж виноват, чтобы его четвертовали.

— Начинай! — махнул платком Ушаков из кареты.

Самодержавие российское крест Андреевский изуверски в муку людскую обратило.

— Ложись в крест и не рыпайся, — сказали палачи.

Из двух бревен сооружено подобие креста, и князя Ивана стали на нем распинать. Баловень судьбы, в этот страшный час он смерть встретил с мужеством. Пока его палачи на кресте растягивали, Долгорукий внимательно на небо смотрел: «Ах, Наташа! Такие же облаци бегут и над тобою сейчас... над Березовом. Как хорошо там было-то, господи!» Был он тих и покорен. От боли не кричал. В преддверии часа смертного вроде даже стал ясен разумом. Смерть — это ведь не пытка: гибель снести легче, нежели мучительства. А палачи вовсю трудились под суровым оком великого инквизитора.

— Тяни его пуще... тяни!

Тянули, пока кожа на суставах не лопнула, и члены распятые потом палачи веревками к бревнам принайтовили. Небо было серенькое, сыпал снежок, из ближней деревни петухи кричали. «Ах, Наташа! Уж ты прости, что пил я и шумствовал, тебя обижая... Ныне уж прощения мне у тебя никак не вымолить».

Палач — вмах! — отсек ему правую руку, и князь Иван видел, как отбросили ее в сторону. Полетела она прочь с перстами, которые были широко раздвинуты от боли острой.

— Благодарю Тя, Господи! — заорал Иван истощно.

Подскочил второй палач — отнял ему ногу левую.

— Яко сподобил мя еси!

Третий палач рубил ему левую руку на кресте.

— ...познати Тя, Владыко...

Четвертый оттяпал ногу правую, когда Иван был уже без памяти. Палачи легко отделили ему голову от тела. Дружно уложили топоры в мешки, пошитые из шкур медвежьих, и, довольные, с разговорами они пошагали в царев кабак, где и гуляли три дня подряд...

Ушаков отъехал в столицу — для доклада царице.

С пруда осторожного лебеди давно улетели — искать тепла в Индии. Березов опустел. Наташа осталась одна с детьми малыми. Родным своим Шереметевым писала на Москву она, сама из Шереметевых: «Заверните мне в бумажку от крупicc, падающих от трапезы богатой, и я стану участницей благ ваших...» Но ни единая крупница не упала от стола хлебосольного, стола московского — боялись сородичи Наташи добрым делом императрицу прогневать!

Жались к ней дети, возле матери грелись, как котята возле теплой кошки. В один из дней Наташа вышла из острога к реке. Долго смотрела вдаль... Остались на Москве готовальни да книги. Руки теперь задубели от холода, от стирки, от печных ухватов, от пилы и топора. Женщина тронула на пальце перстень обручальный, и вдруг он легко скатился с руки — прямо в реку. «Наверное, Ивана уже нет в живых», — решила Наташа. Перстень лежал на дне, золотиною светясь под водой прозрачной. Она не нагнулась за ним, она из воды его вынимать не стала.

Сокройся в шумной глубине
Ты, перстень! перстень обручальной,
И в монастырской жизни мне
Не оживляй любви печальной.
Пошла обратно вдоль реки
Дочь Шереметева младая...

Наташа пошла обратно в острог. Было ей в ту пору всего 25 лет. А самые живые женские годы провела за стенами острога. Уложила на ночь детей, присела к столу и стала писать императрице: если жив муж, то прошу не разлучать с ним, а если нет его в живых, то пусть хоть постригают ее, детей же на Москву отпустите, за что им страдать тут?

Долго ехал почтарь до Петербурга и доехал. Анна Иоанновна распечатала письмо из далекого Березова.

— Эка хватилась! — сказала императрица. — Да мужа твоего, голубушка, давно по кускам разнесли...

Доносчику Осипу Тишину она в награду 600 рублей отсчитала. Но велела выдавать деньги в рассрочку — по сотне в год, «понеже, — начертала Анна Иоанновна в указе, — Тишин к пьянству и мотовству склонен». Проявила о доносчике заботу «матернюю».

Вскоре явились лейб-медики с поклонами:

— Ваше императорское величество, спешим обрадовать ваше величество: ея высочество, принцесса Анна Леопольдовна, племянница ваша высокородная, **п о н е с л а** от принца Брауншвейгского.

— Велик день для меня! Молитесь, люди русские. Во чреве племянницы моей объявилась самодержавная власть над вами...

Бирону эта беременность пришлась некстати.

— Надо же! — фыркал герцог. — А я-то, грешный, надеялся, что брауншвейгский выродок на такие дела не способен...

Зато Анна Иоанновна даже помолодела, ходила по дворцам шагом легким, пружинящим. Теперь цесаревну Елизавету можно не опасаться: место на престоле Романовых и далее будет занимать потомство от царя Иоанна Алексеевича... На радостях Анна Иоанновна разрешила Наташке Долгорукой вместе с детьми из Березова на Москву выехать, где и жить ей тихонько, никому ничего не рассказывая.

Долго добирался обратный гонец до Березова, и очень долго будет ехать на родину Наташа с детьми... О боже! Если бы только Анна Иоанновна могла знать, **в к а к о й** день совершится въезд Наташи в Москву... Но об этом после!

Глава тринадцатая

Москва, Москва, Москва!..

Здесь чудо — барские палаты,
С гербом, где венчан знатный род,
Вблизи на курьих ножках хаты
Да с огурцами — огород.

Нет тебя, Москва, краше и нет тебя гаже. Здесь царствует уже много лет сатрап отменный — Семен Андреевич Салтыков, дядя императрицы. Порядки при нем строгие, а какие — сейчас поведаем... Вот, к примеру, идет мужик по Пречистенке и тащит под локтем курочку-рябу с лапами связанными. Спокойно берут мужика за шкурку и ведут в сыскную канцелярию. А там его по-хорошему спрашивают:

— Скажи нам, кто таков и на што тебе эта курица?

Мужик дает ответ самый чистосердечный:

— Иду это я по Пречистенке, значит, с курочкой-рябой, несу ее, значит, на базар продать, вдруг меня... хватъ! И потащили...

Дело ясное. Курицу относят в котел и варят. Мужика кладут на лавку и дерут по спине «кошками» с когтями железными. А допрос чинится таков: не украл ли ты курицы и кто в твоих сообщниках состоит? Мужик клянется, что курицы не воровал, сам он из села Внуково, крепостной помещика Сибилева, а дома жена и детки плачутся, ждут, когда он курицу продаст и домой вернется... Семен Андреевич Салтыков выносит по делу мужика с курицей мудрейшую апробацию:

— Так оставить нельзя! Пушай мужик извинится за то, что столько волнения нам доставил, и вернуть его помещику под расписку...

Из Москвы тянутся во Внуково дроги крестьянские, а на них в гробу лежит мужичонка, так и не успевший извиниться перед мудрым начальством. Но это — народ простой, бесхитростный, безответный. Иное дело воры — зубасты, горласты, пронирыливы, с ножиками да кистенями. Каждую осень Москва исправно ими заполняется: воры едут запастись оружием, порохом, свинцом, иногда даже ядра пушечные покупают. Здесь же от немецких мастеров приобретают они чеканы для выделки монет фальшивых. Москва и паспорта фальшивые производит... Дети боялись играть на улицах. Воры крали их от родителей, увозили в провинцию и там выручали немалые деньги от продажи помещикам в крепостное рабство. Повоют матки на Москве, да делать нечего — и другого сыночка народят.

Доносы душили первопрестольную. Раньше русские люди тоже кулаками бились, воровали, «порчу» насылали, красного петуха соседу пушали, но все было как-то ничего. Мириться с этим можно. Но теперь за донос стали платить, как за дело геройское! Донос и пытка — вот два кремня главных, на которых цари высекали из народа искру подлости... «Слово и дело» пронизало насквозь жизнь русскую.

Иван, сын Осипов, по прозванию Каин, лежал сегодня в постели, а рядом с ним возлежала дева молодая с глазами зелеными.

— Хошь, я тебе пряничка подам?

— Нет, — отвечала дева, резвясь.

— Хошь, и платок подарю узорчатый?

— Не! — отвечала капризная...

Таракан, большой и жирный, упал с потолка. Ванька раздавил его меж пальцев, и заявил он деве блудной:

— Так какого тебе рожна ишо надобно?..

Тут в окно постучали. Явились воры московские: Яшка Гусев, Николка Пиво, Сенька Голый, Мишка Бухтей да Криворот Немытый. Рассказывали последние новости:

— Ныне молебны служить заказано от губернатора Салтыкова во здравие ея величества... Царица наша прихварывает!

Ванька Каин с постели встал. Свечечку у иконы поправил, чтобы набок она не валилась. Покрестил себя истово:

— Тока бы светик наша Анна Иоанновна не окочурилась!

Криворот Немытый за печку высморкался.

— Хрен с ней! — сказал. — Подохнет, дык што мне с того? Другую посадят. Нас, воров, этим никак не убьешь насмерть. Для нас все едино, кто наверху, лишь бы воровать не мешали...

Молод еще был Ванька Каин, а на челе его уже залегли морщины, плод раздумий горчайших. Сколь веревочка ни вьется, а конец всегда найдется. Воровская жизнь — хороша, да на плаху идти неохота. Как бы, думал он дерзостно, так извернуться ему, чтобы с властями подружить, а воровство свое продолжать? И чтобы власти, о воровстве его зная, тюрьмой ему не грозили... От иконы подошел Ванюшенька к зеркалу и гребнем частым себя причесал.

Простолюдству жить в беззаконии трудно. Но и купцам не легче. Потап Полонов, бывший Сурядов, это сразу понял, как в торговлю московскую сунулся. Купцов притесняли жесточайше. Только богатеи выживали в лавках своих, от набегов полиции откупаясь, как по табели расходов стихийных, — остальная шмоль-голь на едином страхе держалась.

От тех денег, что фельдмаршал Ласси в Крыму ему дал, Потап сначала рогожное дело затеял, и оно ему нравилось. Дело это липовое! Во-первых, липа хорошо пахнет, от лыка и грязи не бывает. Делай себе мочалу для бань, мастера кули для товаров сыпучих. Когда рогожи готовы, их надо связать в «бунтовку» весом обязательно в шесть пудов. А потом на плечи взвалил и пошел торговать... просто душа радуется! Дело липовое — дело самое чистое.

Но едва Потап первую деньгу от рогожи добыл, как явились два солдата и твердо заявили, что желают липовое дело охранять от воров и прочих погубителей, а ты нам кланяйся.

— Да на што мне охрана? Я и знать-то вас не знаю.

— Ты не спорь, — отвечали солдаты. — Мы тебя, хошь или не хошь, охранять все равно станем. А за это ты нам по рублю плати!

— Как это платить? Да я рази звал вас?

Позвали они капрала и втроем стали Потапа бить, пока он не доверился им для охраны. Получив по первому рублю, солдаты спяна лавку Потапа сожгли и чуть сами не сгорели (он же их, подлых, сам из огня и вытаскивал). Рогожное дело оставил Потап, ударился в пироги. На последние три рубля накопил муки, нанял бабку Акимовну, и она, мастерица искусная, очень вкусные пироги делала. На лоток их свалив, Потап кидался в толпы народные на Зарядье-московском, людей подзывая:

Эвон, люди, пироги горячи,
которы едят голодны подьячи...

И сбегался народ на призыв веселый, на запахи разные.

— А с чем они у тебя? — спрашивали.

Тут просто отвечать нельзя. Коммерцию надо так делать, чтобы тебя запомнили и полюбили. Потап отвечал нараспев:

Имеются с лучком и с перцем,
а также из собачьего сердца,
из телячьего, слышь, рожна,
да из русского нашего г...!

Вмиг лоток расхватывали. Потап несясь обратно домой, а там бабушка Акимовна уже запарилась, у печи стоя. Шквырело у нее тут все, фырчало в масле постном. Обжигаясь, дуя на пальцы, кидала бабка свежие пироги на лоток, осеняла их крестным знамением:

— Торгуй — веселись, подсчитай — не слезись!

Весело было Потапу. Только под вечер сунулся он за пазуху, чтобы выручку достать, а кисета с деньгами уже не было. С горя трахнул Потап лотком об мостовую. А за спиной кто-то смеяться стал над его горем. Обернулся — Ванька Каин стоит и кисет с его денежками за шнурок на пальце раскачивает.

— Твой? — спросил Ванюшка, подходя. — Ну, забирай. Пошутить я хотел. Для меня это не деньги... Ну, здравствуй, дяденька Потап, вот и привел Господь Боженька сповиданьце нам устроить.

— Ша! — отвечал Потап, кисету радуясь. — Ты больше не вруй у меня даже в шутку. А ныне я не Потап из деревни Сурядово, а Полонов прозванием... Вот расторгуюсь на пирогах, думаю баню открыть. Баня — дело прибыльное, а расход малый: дрова да веники. Я уже невесту себе приискиваю...

Пошли они по улице. Ванька Каин у господина одного прохожего достал табакерку из шубы его, понюхал табачку и обратно тавлинку сунул (прохожий этой ловкости даже не заметил).

— Я тоже уладил жениться, — чихнул Ванюшенька. — Да не дается мне, стерва, приходится с блудными девами пробавляться. Уж така красавушка писана... собою вдова солдатская будет, мужа ее татары в Крыму угрохали, а она цветет, словно маков цветочек. Всю душу мне иссушила. А зовут ее Ариною Ивановной, по-благородному же еще красивше — Ириной!

— Ты воровство брось, — говорил Потап. — Погубишься.

— Нет! — сказал Ванька Каин. — Я вить не ворую. На што? У меня в дому ныне в карты играют. Я немца одного нанял из Китай-города, он мне монеты на машинке стучит в подвале. Я эти деньги на стол игорный выпускаю, вот они по Москве и расходятся...

— Ой, погибнешь с тобою, — заторопился Потап. — У меня жизнь новая, хорошая. Ты уж, Ванька, не подходи ко мне более. Прощай!

— Прощай, Потапушка, — отвечал Каин. — Я вить добро твое упомянул навеки. Рази обижу когда человека хорошего?

Пошлялся Ванька к недотроге своей, вдове солдатской.

— Не мучь меня, — просил. — Уж ты ступай за меня.

— Была женою солдата честного, а быть воровскою женой не желаю. Ты уйди от меня, ворог, не искушай... Деньги ворованы — не деньги! От них прибытка и счастья не бывает.

— Дура! — отвечал ей влюбленный Каин. — Да ты смаку-то жизни и не ведаешь. Один день воровской десяти лет в нужде стоит. Будь моей, и тогда завертится жизнь наша в музыке.

— На што? Чтобы и мне ноздри потом вырвали?

Ванька уже привык к доступности женской, а тут все штурмы его отбивала вдова Арина Ивановна... Встретил он как-то Петра Камчатку, шел старый вор, спину сгорбив, сильно жизнью озабоченный.

— Я от полковника Редькина бежал, — сообщил. — Ныне дело воровское закончил. Иду вот. На парусную фабрику, где паруса флоту шью. Женился и живу ладно. Иглы швейные и крестики божии по деревням торгую, с того и сыт... Ты меня оставь!

Ванька Каин скоро попался на облаве, которую устроил в Москве на воров Иван Топильский, для этого случая из столицы прикативший. Хватали всех подозрительных, пытки начинали с десяти часов пополуночи и оканчивали их лишь в половине третьего часа пополудни. Крепкое, видать, было здоровье у воров. Но и крепкие были нервы

у допытчиков! Ванька Каин, страхов натерпясь, решил судьбу свою из застенка выкручивать. Для этого умным не надо быть — только крикни «слово и дело». Он его крикнул, а потом уже стал думать, что сказать сыщикам по «слову и делу».

Явили его пред светлые очи самого Топильского.

— Слово за тобой было, — сказал он ему, — теперь дела ждем...
Ежели дела не явишь, мы за пустые слова тебя расшибем!

— Хочу непорядочные поступки свои искупить правдою, как перед сущим, — отвечал Каин. — Мало того, в покаяние свое желаю реестр на московских воров составить. И впредь буду на них показывать, за что прошу сыщиков ваших меня более никогда не трогать.

— Гладко говоришь, — улыбнулся Топильский.

— А пишу еще глаже, — похвастался Каин.

— Да ну?

— Вот те крест! На том и стою, что грамотен...

Топильскому, плуту великому, Каин понравился. Почуял он в нем душу себе родственную. Велел цепи расковать, сказал кратенько:

— Вали на всех!

Тот и поехал:

— Есть на Москве вор Болховитинов, сам из дворян, академию воровскую содержал, учил, как воровать, а ныне жительство имеет в «печуре», как у нас зовется яма, под мостом вырытая. Есть и купеческий сын Елисей Буланов... Криворот Немытый, государыню нашу хулил злодейски, а людей ножиком губилвал...

— Мало ты знаешь, — покривился Топильский.

Каин и не хотел всех выдавать. Ежели крупных воров продать, то воровской промысел на Москве утихнет. В памяти выискивал знакомцев — кого бы не жаль? Вспомнил жулик молодость горемычную и людей, которые добро ему сделали:

— Вот и Петр Камчатка, вор дивнуший, ныне на парусной фабрике затаился, его на Балчуге сыскать мочно, где он иглы швейные и кресты нательные в лавках скупает... Вот еще человек в подозрении, Потап из села Сурядово, ныне Полоновым зовется, его в Зарядье пымать следует, где он пирогами торгует.

— Мало, — зевнул Топильский, равнодушничая.

— Так я вить к службе вашей тока примериваюсь. Погоди, господин хороший, я и до Макарьева розыск ваш протяну...

Ваньку выпустили с солдатами. Ходил он по городу и указывал, кого из воров брать. Взяли из-под моста «академика» Болховитинова, с ним и тетрадь была толстая, куда он вписывал, как бухгалтер, когда

и сколько с воровства выручил. Взяли и Петра Камчатку, от молодой жены и от фабрики навеки оторвав. Был схвачен на улице с пирогами вместе и Потап Полонов... Ванька Каин окреп, щеками залоснился, страхи прошли.

— В награду мне, — заявил он сыщикам, — арестуйте бабу Арину Ивановну, что ныне вдовствует, велите пытаться ее, яко злодейку, но вконец не замучьте, потому как я жениться на ней желаю.

Взяли вдову в пытошную с наказом от Топильского: «До дальнего дела ее не доводить». Выдрали красавицу бабу кнутами и за ворота Сысской вытолкали. На карачках, тихо воя, ползла солдатка вдоль забора, руки в снег упирая, похожа на собаку больную. Ванька Каин уже поджидал невесту на улице — с телегой.

— Ну как, Аринушка? — спросил ласково. — Поняла, сколь велика моя любовь к тебе? А не пожелаешь опять любиться со мною, так я мигну толечко — и тебя в Сысской кипятком ошпарят...

Завалил стонущую бабу на телегу, отвез Арину к знакомой просвирне, чтобы та спину ей подлечила. А потом венчался с испуганной вдовой в церкви Варвары-великомученицы. И была свадьба веселая, четыре дня подряд гуляли воровы и сыщики московские, Ваньку похваливая. Салтыков велел полиции той свадьбе не мешать. Ванька Каин, вином упившись, ястребом кружил по горницам в пляске дикой, реяла над столами его кумачовая рубаха, пузырями вздувались рукава широкие. Кровью горела она на пиру братоубийственном...

— Горько! — кричали воровы, уже запродавшие Ванькой чинам полиции.

— Горько! — надрывались сыщики, которых Ванька предавал тем же ворам, и воровы ножами их резали...

Весь в поту мелкобисерном, жених опрокидывал невесту свою, впивался в нее долгим и хищным каинским поцелуем.

— Сладко мне! — орал Ванька Каин, и рукавом рубахи вразмах обтирал себе губы, лез к бабе снова. — На што деньги нам, — кочевряжился он, — коли мы сами чистое золото.

Наутро велел Каин купцов соседних к нему тащить. Собрали их человек сорок. Ванька каждому купцу дал по одной горошине.

— А за подарок мой, — объявил он купцам, важничая перед ними, — должны вы теперь одаривать меня деньгами богато.

Купцы такого грабителя еще не видывали:

— За што нам тебя дарить? За горошину-то?

— Я ныне веселый. Веселому человеку много денег надо...

За каждую горошину он с купцов по сто рублей затребовал. Купцы побежали в Сыскную жалиться, но там дали им от ворот поворот:

— Иван сын Осипов, Каин прозванием, человек нам известный, и зря охулки не наложит... Проваливайте, куда сами целы!

Вот это жизнь! А те, кто жить не умеет, те пушай ползут в Сибирь по канату, пушай они, цепями брэнча, дышат ноздрями рваными.

Целая историческая эпоха заключена в этом парне. Ванька Каин весь, кровь от крови, вышел из царствования Анны Иоанновны, и порою кажется, что сама царица породила его в зачатые греховном. Еще не скоро отправится Каин на каторгу... Там и пропадет бесследно — в каменоломнях Рогервика, где от начинаний Петра I гавань для флота российского строилась до тех самых пор, пока не надоело строить, и тогда бросили ее строить... Ну ее к бесу!

Глава четырнадцатая

В нарушение всех инструкций, маркиз Шетарди задержался в Берлине, «увлеченный тщеславием, чтобы похвастаться блеском, которым намеревался ослепить Петербург и тем побесить своих берлинских врагов». Кайзер-солдат был уже близок к смерти, Европа обижала его невниманием, он принимал плац-парады и вахт-парады, сидя в кресле, обрюзгший ворчун и грубиян, раздутый от обилия пива.

— Мой сын радуется вашему приезду, как ребенок, получивший конфету, — сказал он маркизу. — Но пусть Европа не надеется, что мой Фриц будет для своих соседей так же сладок...

Кронпринц Фридрих признался Шетарди:

— Когда я стану королем, я перекуплю от России двух маршалов, Миниха и Джемса Кейта, а вас переманю из Франции на пост министра иностранных дел. Поезжайте в Россию, друг мой, это очень опасная берлога, куда может провалиться любое королевство...

Флери из Парижа дал хороший нагоняй маркизу за остановку в Берлине, и в самом конце 1739 года Шетарди снова тронулся в путь. Собеседником его в долгой дороге до Петербурга был лишь повар Баридо, слава о котором клубилась паром надо всеми кастрюлями и тарелками высшей знати. Баридо был поэт, он варил и жарил только по вдохновению, одержимый даром кухонной импровизации. Рецептов он не признавал — все рождалось гением на горячей плите, ошеломляя едоков бездной вкуса, аромата и гармонии.

Поезд французского посольства растянулся на несколько миль. Многочисленная свита сопровождала Шетарди: кавалеры, секретари, капелланы, камер-пажи, кулинары, парикмахеры, портные, каретники.

В тщательной упаковке везли в Россию 100 000 бутылок тончайших вин, из числа коих 16 800 бутылок были наполнены шампанским. От самого Кенигсберга до рубежей Курляндии поезд сопровождали прусские почталыоны, неустанно трубившие в рога.

На всем пути от Митавы были выстроены русские драгуны. Шетарди въехал в Ригу, где его встречал губернатор и свояк Бирона — генерал Лудольф Бисмарк. Отсюда уже начиналась Россия. Целый армейский корпус приветствовал французов на берегу Двины возле замка. Пехота, кавалерия, пушки. Войска троекратно стреляли из мушкетов, а пушки пробили 31 залп. Впереди кареты посла ехали всадники с литаврами. Отряд трубачей под эскортом рижской милиции, одетой в зеленое и голубое, пел маркизу хвалу на трубах, а швы на одеждах всадников были обшиты золотым позументом.

— Предлагаю заночевать в нашем городе — сказал Бисмарк послу. — Вам обеспечена полная тишина. Все переулки перекрыты для проезда. Собак мы удавили. За кошек же никто не может поручиться...

Караул grenадер преклонил перед послом знамена. Были устроены парад, банкет и бал. Говорились речи по-латыни. Шетарди были возданы почести, присвоенные лишь коронованным особам. А дальше — от Риги — путешествие превратилось в подлинный триумф. Войска стояли на всем пути, из городов выходили встречать посла депутации дворянства и купечества, Анна Иоанновна выслала вперед для конвоя лейб-гвардию. Шетарди, мот известный, рассыпал золото...

В карете посла докрасна калили печку — мороз стоял страшный. Наконец за окнами возка засветились дома бюргерской Нарвы, мимо проплыли ряды чинов магистратских с парадными цепями на шеях, — скоро и Петербург! Карету сильно швыряло на снежных ухабах. Прыгая возле раскаленной печки, словно матрос у пушки на корабле в бурю, Баридо готовил для маркиза походную яичницу. Он бухнул на сковородку одни желтки, посыпал их пармезанским сыром, обрызгал все вином, после чего поэт задумался, почти отрешась от бренности мира, и залил блюдо горьковатым соусом бешамель.

— Маркиз! Вот вам последняя ваша яичница...

Вечер сиренью обрызгало снега. Лес стоял глухой, непроницаемый. Изредка в отдалении вспыхивали, как искры, огни заблудших во мраке деревень. Просека раздалась — шире, шире, шире; побежали мимо карет низкие дворы, мазанки... Цель достигнута: посол в Рос-

сии! От имени императрицы встречные курьеры предложили маркизу торжественный въезд в столицу. Шетарди отказался:

— Не имею на то права, ибо русский посол в Париже, принц Антиох Кантемир, торжественного вшествия в Париж не имел...

Кортеж его был сказочно великолепен, когда посол отправился во дворец Зимний. Стужа лютовала такая, что мороз, казалось, через чулки сдирал с голени кожу. Француз едва оттаял лишь во дворце царицы. Девяносто печей, поставленных на золотые ножки, сжигали за день по 40 сажень дров березовых, прогревая 70 покоев Анны Иоанновны, ее гардеробы, театр и церковь придворные.

Вельможи и дамы, в чайнии аудиенции, строились в две шеренги, лицом одна к другой, словно готовясь к контрдансу. В проходе между ними тяжело обвисал малиновый бархат балдахина, под которым высилось седалище трона. Иогашка Эйхлер и де ла Суда прилипли, как пиявки, к спине посла, не отставая от него ни на шаг. Среди дряблых вельмож и воздушных красавиц Шетарди вдруг заметил старика, который всем своим видом вызывал отвращение.

— Как оказался здесь этот нищий? — спросил Шетарди.

— Это самый богатый человек в России, — ответил Эйхлер. А переводчик де ла Суда добавил:

— О! Это ведь наш великий оракул Остерман...

С первых же слов вице-канцлера Шетарди обнаружил, что оружием Остермана является не боевой клинок. Нет! Он пользуется тончайшим жалом недомолвок и взглядов, которыми без боли проникает в своего собеседника. С Остерманом можно проговорить вечность, но ты никогда не догадаешься, что он сказал. Остерман выпытает у тебя все — ты не узнаешь от него ничего...

Наконец, грузно двигаясь, из боковых дверей показалась императрица. Неся в руках скипетр с державой, удивительно прямая (чтобы не уронить с головы короны), Анна Иоанновна величаво проследовала к престолу. Поднялась по ступенькам трона и села. За престолом хищный орел распростер свои крылья, глядя по сторонам двухголово; трепетные красные языки торчали из их клювов, словно орлы империи выдыхали из себя злобное пламя.

Обер-церемониймейстер ударил в пол жезлом и объявил, обращаясь к трону, о прибытии посла Франции. Шетарди зашагал к престолу, неся в руках свиток верительных грамот, с которых свисали длинные печати с бурбонскими лилиями. Он был допущен к руке, и акт целования был проделан маркизом с удивительным изяществом. После

чего в притихшем зале звучала речь посла. В боковом зеркале Шетарди следил за собой, рассчитывал свои жесты. Маркиз был сильно огорчен, что пудра не спасла его носа от русских морозов и — вот беда! — кончик носа ярко алел... В конце речи маркиза Шетарди вдруг объяло теплом и негой. Почти невесома, воздушна и пушиста, на посла Франции была накинута камергерами богатая шуба. Шетарди растерялся от такого подарка. Анна Иоанновна сурово глянула налево, гневно посмотрела направо и с высоты престола послала улыбку прямо перед собой — маркизу.

— Пусть дружба дворов наших, — заявила ответно, — будет такой же теплой, как и эта шуба... Носите, маркиз. Это от меня. Дарю ее вам в залог взаимности к брату моему, королю Людовику.

Она встала, и за спиною Шетарди долго раздавалось шуршание парчи (это кланялись придворные). Анна Иоанновна жестом пригласила Шетарди пройти в аудиенц-камору. Там был приготовлен кофе, а через открытые двери виднелись анфилады спален. Императрица корону положила на подушку, громыхнула у стола скипетром и державой. С любезностью показала портрет графа Плело, поэта Франции, убитого в стычке под Данцигом.

— Я чту французов, — сказала ради вежливости.

Шетарди заметил по соседству с Плело темную бороду старца, закатившего к небу громадные бельма глаз, и спросил:

— А это, надо полагать, поэт российский?

— Блаженный он. Но чту обоих...

Франция признала Россию империей. Анна Иоанновна стала для Шетарди уже не царицей, а императорским величеством. Разговор за кофе ничего не открыл для маркиза. Но зато в шубе уже не было холодно, нестрашно было шагнуть снова на мороз.

И вот теперь, снова оказавшись на площади, Шетарди должен решить: к кому ему ехать? Если услужать императрице и ее немецкой партии, то со вторым визитом надо быть у семейства Брауншвейгского. Но не ради немцев, а ради русских прибыл он сюда... И, нежась в шубе, он повелел:

— Везите меня к принцессе Елизавете!

Кортеж посла завернул от дворца на Миллионную, где Шетарди показали дом Густава Бирона, брата временщика, который был женат на дочери некогда всесильного князя Меншикова, уже умершей.

— Это самый лучший дом в Петербурге, — сказали послу. — А значит, и самый лучший дворец в империи.

Дом был красив, украшен черными колоннами. Потом мелькнула вывеска казенной аптеки, распахнулся простор Марсова поля, где с угла стоял дом Елизаветы Петровны*. Здесь было все проще, а дворец цесаревны напоминал частный дом. В подъезде припахивало кошками. Шетарди встретили люди из штата Елизаветы — молодые, расторопные люди, Шуваловы и Воронцовы. Посол отметил их разумную скромность, бедноватые кафтаны, простые офицерские шпаги.

Елизавета ожидала посла посреди комнаты; яркое зимнее солнце освещало цесаревну через широкие окна. Шетарди только сейчас начал волноваться. По сути дела, ради этой женщины он и послан в Петербург, чтобы возвести ее на престол. Маркиз увидел перед собой дивное фарфоровое лицо с зелеными глазами. На один лишь миг Елизавета обернулась в профиль, и все очарование сразу исчезло. Цесаревна в профиль была похожа на простую курносую девку, каких уже немало встретил Шетарди на улицах Петербурга. Но более Елизавета в профиль не оборачивалась (она хорошо изучила себя и учитывала свой недостаток). За плечами цесаревны, молчаливы и сосредоточенны, стояли Шуваловы с Воронцовыми, и Шетарди сразу понял, что женщина станет сейчас говорить лишь то, что внушают ей эти мрачные молодые люди с дешевыми шпагами.

Елизавета сказала с улыбкой очаровательной:

— Я не забыла, что была невестой вашего короля, и Франция всегда была мила сердцу моему. Я дочь Петра, который долго добивался русско-французской дружбы. И с пеленок еще знаю, что России все дано, дабы стоять в первом ранге среди государств прочих. Жаль, что политики ваши России сторонятся, а Версалью с Петербургом в согласии все равно бывать!

Она покраснела и замолкла, очаровывая посла влажными глазами. Шетарди отвечал, изгибаясь перед ней в поклонах:

— Ваше высочество, я восхищен... вами и речью вашей. Вы рождены для Версаля! Вы способны повелевать мужчинами всего мира! Я ваш покорный слуга отныне, и я... я у ваших ног!

Он опустился на колени, целуя ей руку. Потом коснулся платья цесаревны и, слегка притянув его к себе, облобызал подол, пахнувший мускусом. Воронцовы и Шуваловы посматривали косо. За тонкими ширмами слышался тонкий писк: это разглядывали посла кухонные

* Дом Елизаветы находился тогда на том месте, где ныне расположено грандиозное здание Ленэнерго (бывшие казармы лейб-гвардии Павловского полка).

девки, портнихи и приживалки. Визит к цесаревне ничего не дал Шетарди, кроме приятного знакомства, но кое-что стало уже понятно...

Теперь он ехал к Анне Леопольдовне и мужу ее, принцу Антону Брауншвейгскому. Здесь двором заправляла фрейлина Юлиана Менгден, и маркиз отнесся к ней с полным вниманием, как к родственнице фельдмаршала Миниха. Супруги мекленбургобрауншвейгские только что, судя по всему, завершили очередной семейный скандал. К приезду посла они прихорошились, но лучше от этого никак не стали.

Напрасно трещал маркиз Шетарди, как заведенный, желая вызвать молодоженов на беседу. Немка по рождению, русская по воспитанию, Анна Леопольдовна взяла от жизни в России самое худшее — барскую лень. И даже сейчас ей было скучно. Шетарди заметил зевок принцессы, неумело ею скрытый. На столике лежала недочитанная принцессой книга о похождениях парижских ловеласов. Две шустрые собачки с деловитым видом пробежали через комнаты, попутно обнюхав чулки маркиза. Между супругами, словно столб, рубежи разделяющий, высилась Юлиана Менгден.

Принц Антон оказался гораздо живее своей жены. Натянутость в нем не исчезла, но зато он оживился при известии о берлинской жизни. Здоровье короля Пруссии его настораживало: в Европе надо ждать две смерти — в Вене и в Берлине, после чего возможна война за дежеж «Австрийского наследства»...

— Говорят, — любезно справился он, — у прусского кронпринца Фридриха чудесный повар Дюваль?

— Дюваль неплох, — охотно согласился Шетарди. — Но, ваше высочество, Дюваль лишь ученик моего Баридо...

От этого «малого» двора Шетарди испытал ощущение такое, будто ему подсунули на завтраке протухшую устрицу. Он завернулся в шубу, упал спиной на диваны кареты:

— Ну а теперь... теперь к герцогу!

Бирон принимал посла в своем манеже, убранство которого соперничало с роскошью дворца царицы. Желто-черные штандарты висли со стен, запахи пота лошадиного перемешались с ароматами духов. Бирон гулял с послом по манежу, беседа откровенно о кознях венских политиков... Потом сказал начистоту:

— Маркиз, у меня к вам деловое предложение. Я могу послать во Францию для продажи большую кипу русских мехов. А также китайские ткани и шелка персидские... Составьте мне комиссию. Сколько вы пожелаете иметь с этого дела процентов?

Шетарди сразу понял, что перед ним барышник.

— Благодарю за доверие, ваша светлость, — отвечал он герцогу с поклоном. — Но я не хотел бы закончить свою карьеру в Бастилии, куда принято сажать всех контрабандистов...

Но когда Шетарди пожелал купить русские меха для себя, то выяснилось, что мехов в России нигде не купишь! Все лучшие меха в стране императрица забирала для себя. В подвал. В сундук. И — на замок. А доступ к ним имел один лишь Бирон.

Вскоре «Санкт-Петербургские ведомости» оповестили:

«...изволил его высококняжеская светлость герцог Курляндский к обретающемуся при здешнем императорском дворе чрезвычайному послу его христианнейшего величества, превосходительному господину м а р к и де ла Шетарди для отдания обратной визиты с пребогатою церемонией ездить».

Шетарди стал держать открытый стол. Однако он напрасно ожидал, что в посольство французское хлынут гости. Россия — это не Европа, и тайная инквизиция стойко дежурила возле ворот «марки», чтобы уловить дерзкого.

«Слово и дело» задавило в русских искушение впервые в жизни отведать шампанского. Вдохновенный гений Баридо напрасно колдовал над плитами посольской кухни. Шетарди к такому одиночеству приучен не был. Сначала он удивился. Потом вознегодовал.

Он послан был сюда, чтобы вынюхивать, шпионить, красть секреты, заговоры устраивать. Но в пустыне переворота не произведешь.

Шетарди отправился к Остерману.

— Я прошу вас, — сказал он первому министру, — объявите всем придворным, что мой дом открыт для них ежедневно.

— Хорошо, — был ответ. — Я посоветую императрице, чтобы она п р и к а з а л а персонам навещать вас!

Появились в посольстве какие-то личности. На придворных мало похожи. По распорядку, с каким они являлись в гости, ровно чередуясь, Шетарди понял, что это сыщики Тайной канцелярии Ушакова, приставленные к нему. С испуганным видом они поглощали шампанское, от которого безбожно потом рыгали, ловко скрадывали со стола посольства вилки и апельсины. А принцессу Елизавету маркиз мог повидать лишь на торжествах по случаю Белградского мира...

Шетарди скучнел. Баридо не был оценен.

Мороз крепчал.

Эпилог

Ох и зима! С мостовых поднимали замерзших на лету птиц. Неву сковало плотно. Однако шуб солдатам в караулах наружных не давали; придет смена, а часовой стоит дубком: тронь его — звенит, толкни — валится, к ружью примерзнув. В полку лейб-гвардии Преображенском драка случилась. Бились секретарь полка Иван Булгаков и полковник Альбрехт, владелец усадьбы «Котлы», полученной за доносы еще в 1730 году. Победил на кулаках русский, но худо обошлась ему победа над немцем. Альбрехт предрек ему смерть.

— Эдак моих добрых слуг убивать станут! — решила Анна Иоанновна и повелела отрубить Булгакову голову.

На льду Невы был помост сколочен, выведены в строй полки гвардии. В день казни вдруг растеплело разом, будто чудо какое, и даже птицы зачирикали. Войска на льду невском в тот день по колону в воде стояли. Анна Иоанновна дежурила у окна, чтобы казнь видеть. Капель билась о стекла, повеяло вдруг весною, и дрогнуло ее жестокое сердце:

— Казнить не надобно. Наказать телесно и в деревню сослать. Альбрехту же за поругание денег дать...

Волынский накануне подал императрице еще одну записку, которую прежде обсудил с конфидентами. Давал он ее и некоторым немцам прочитывать, которые во вражде с Остерманом находились. Все записку его хвалили, один только Кубанец сказал Волынскому:

— Эту записку в руки ея величества давать никак не следует. Послушайте раба своего верного, иначе худо вам станется...

В черном цвете, красок не жалея, разрисовал Артемий Петрович бедственное положение и с т и н ы, которая давно погублена и попрапа людьми карьерными. Анна Иоанновна призвала Волынского к себе. Как только отменила она казнь Булгакова, так морозы опять схватили природу в ледяной плен. Во дворце жарко пылали печи. Через покои императрицы, тихо скуля, проползла на кухни убогая Дарья-безножка.

— Вот она убогая, — сказала Анна Иоанновна, — с нее и спрос короток. А с тебя будет велик спрос... Отвечай по совести: противу кого восстаешь ты? Кого в сердце держал, пища мне?

— Государыня, — выпрямился Волынский, — неужто мнишь ты, что одни мудрецы и правдолюбцы тебя окружают? Оглядишься вокруг

зряче, за мишуру кафтанов взором проникни... Разве не слышишь ты во дворце своем зловоние гнили падшей?

Анна Иоанновна подошла к столу. Закат полыхал за ее спиной. Разбухшим черным силуэтом застыла царица на красном фоне.

— Это ты в моем-то доме гниль обнаружил? — вдруг заорала она, вся напрягаясь. — А кого учить задумал? Государыню свою? Монархиню? Самодержицу самовластную? Да ведаешь ли ты, что цари ошибок не имеют? Все люди ошибаться способны! Но персоны, от бога коронованы, николи не ошибаются... Уж если я кого до особы своей приблизила, знать, свят человек сей! Возвысить любого могу, но и уронить могу так, что не встанет...

«Может, сейчас-то ей волосатую бабу и подарить? Нет, погожу еще... до гнева пущего».

— Ваше величество, — отвечал он с достоинством, — жалования министерского меня сразу лишайте, ибо служить и правду таить, тогда за что же мне деньги от казны брать?

— Горбатых на Руси могилами исправляют, — сказала ему Анна Иоанновна, от гнева не остывая. — Кишкили-то правы были: вор ты, погубитель! Не лести я прошу от верноподданных, а только покорности моей власти самодержавной. А ты непрост... бунтуешь?

Она вытянула руку, дернула министра к окну.

— Гляди на Неву, — возгласила в ярости.

А там, снегами заметена, чернея фасадами, стыла на кровавом небосклоне крепость Петропавловская.

— Видишь, миленькой? — засмеялась Анна.

— Вижу.

— И не страшно тебе?

— Нет.

— Ого! Может, не знаешь, что это такое?

Ответ Волынского был совсем неожиданным:

— Это родовая усыпальница дома Романовых...

Час бьет — отверзся гроб пространный,
Где спящих ряд всков лежит;
Туда прошедший год воззванный
На дряхлых крыльях спешит.

1739 год закончился. Волынский откланялся.

Мороз крепчал. Россия утопала в снегах.

Летопись пятая ЭШАФОТ

Все было бы хорошо, ежели б не надлежало умереть. Вот и Ахиллес умер, а ты почему помирать не хочешь? И так непременно идти туда надлежит, куда уже многие наперед нас пошли!

*Примечания достойная жизнь
графа Бонневаля*

Их из Содома виноград
И от Гоморры все их розги...
Их ягоды горька стократ,
Сок отравляет шумны мозги.
Змеина ярость их вино,
И аспидов злость неисцельна...

Вас Тредиаковский (Ода XVIII)

Глава первая

В старину государство о здравии твоём не печалилось. Хочешь — живи, хочешь — помирай. Это, мил человек, твоё дело. И потому народ сам о здоровье своём беспокоился. Из народа же выходили и врачеватели народные, которых «лечцами» звали. Лечцы эти были бродягами-странниками.

Европа тоже имела давний опыт бродяжьего врачевания. Города отворяли перед врачами свои ворота, как перед фокусниками; исцелители разъезжали с балаганами, сопровождаемы музыкантами. Врачи обладали большой телесною силой и даром поэтических импровизаций. Слуги несли перед ними знамена с успокоительным девизом: «Т о л ь к о з у б — н е ч е л ю с т ь!» При этом врачи, прежде чем зуб вырвать, должны были на площади произнести пылкую речь о своём искусстве... Это был праздник жизни, карнавал здоровья, победа над болью!

Русские лечцы пилигримствовали без знамен и без музыки. С древних времен славянские реки, что текли по великой русской равнине, несли в своих водах осадок, от которого в теле человека порождались зловредные камни. Оттого-то Руси и были нужны «камнедробители»; они издревле ходили по деревням и спрашивали, кто болен «камчюгом»? Без ножа, без боли, без колдовства — одними травами! — рас-

творялись камни в больном, и ледец выгонял их прочь из тела. Но пришло на Русь зловещее иго татарское, и секрет лечения «камчюга» был безвозвратно утерян. Лишилась его и Европа, в которой мрачное Средневековье раздавило науку, уничтожив многие врачебные тайны — от египтян, от римлян, от греков, от арабов...

Анна Иоанновна ложиться под нож хирурга отказывалась, но архиятер Фишер брался ее вылечить, только... в марте!

— Ваше величество, сыскал я рецепт старинный, по которому надобно в марте зайчиху беременную словить в лесу, зайчат из нее недоношенных вынуть, потом их высушить, в порошок растереть мелко и добавлять больному в вино хлебное.

— А сейчас-то январь на дворе, — отвечала императрица. — Когда еще твоя зайчиха беременна станет?

21 января 1740 года, как уже заведено было, при дворе отмечался всеобщий день Бахуса. Это был день восшествия на престол Анны Иоанновны, и гостей от царицы выносили без сознания. Горе тому, кто рискнул бы остаться пьяненьким или пьяным — каждый, дабы восторг свой засвидетельствовать, обязан стать распянувшим. Начинаясь же церемония Бахуса вполне пристойно: гость вставал на колени перед троном, а императрица вручала ему бокал венгерского (которое тогда заменяло на Руси шампанское). А потом уже начиналось пьянство грубейшее, пьянство повальное, лыка не вяжущее.

Бахус этот был парнишка каверзный — от винопития усердного императрица расхворалась. А вокруг ее постели, интригуя отчаянно, менялись лейб-медики — каждый со своим рецептом.

Боли в почках и особенно в низу живота были сильны по-прежнему, и она решилась:

— Пушай и христопродавец меня тоже посмотрит...

Явился к ней Рибейро Саншес; ученый муж, он бился над лечением болезней посредством русских бань. Русская парилка, где мужики целомудренно с бабами мылись, привела Саншеса в такой восторг, что он полюбил париться и сочинял трактат о банях, чтобы себя всемирно прославить.

— Ну, жид! — сказала ему Анна Иоанновна, до подбородка одеяла на себя натягивая. — Смотри мое величество...

Но одеяла снять не давала:

— Ты так меня... сквозь одеяло смотри!

Через лебяжий пух Рибейро Саншес прошупал императрицу. Определил места, при нажатье на которые императрица вскрикивала. Она сказала врачу, что глаза рачьи от палача знакомого мало ей по-

могли. Развязав на затылке черные тесемки, Саншес снял очки, просил продемонстрировать последнюю урину ея величества...

— Скажи мне, дохтур, чем вызвана болезнь моя?

— Врачу, как и судье, положено говорить правду, и только правду. Вы слишком много пили и жирно ели. Приправы острые повинны тоже. А сейчас ваше величество изволит вступать в период жизни, который для каждой женщины является опасным.

Анна Иоанновна сердито нахмурилась:

— Какая же мне опасность грозит, дохтур?

— Вы прощаетесь с женской жизнью, отчего органы вашего величества, самые нежные, склонны перерождаться, — ответил Саншес.

— Твое счастье, что я больна лежу. А то бы я показала тебе, как я прощаюсь... Пиши рецепт, гугнявец такой!

Рецепт отнесли в Кабинет, где его апробовали кабинет-министры — Остерман, Черкасский, Волынский. От Саншеса был прописан красный порошок прусского врача Шталя и обильный клистир для очищения организма царицы. Анна Иоанновна снова возмутилась:

— Чтобы я, самодержица всероссийская, тебе ж... свою показывала? Да лучше я умру пусть, но не унижусь!

Рибейро Саншес вручил клистирную трубку герцогу:

— А я могу постоять за дверью...

Бирон с трубкой остался наедине с императрицей.

— Анхен, — сказал он жалобно, — сочетание светил небесных неблагоприятно... нас ждет ужасный год! О, как страшусь я сорокового года, который можно разделить на два и на четыре... Мужайся, Анхен, друг мой нежный!

Его высокой курляндской светлостью был поставлен клистир ея российскому величеству. Врачи стояли за дверью.

Облик царицы в этом году сделался страшен. Заплывая нездоровым жиром, чудовищная жаба в грохочущих парчою робах, Анна Иоанновна хрипло дышала на лестницах дворцовых. Глаза ее (без единой ресницы) побелели; зрачки, когда-то вишневые, теперь купались в студенистой мути. Невоздержанна стала к сладкому; пихала в рот себе лакомства парижские, жадно чмокала языком. Возраст и болезни не умерили жестокости ее, а теперь мучила и тоска злобная; она выдумывала для себя новые забавы. В последний год Анна Иоанновна полюбила частные письма за других людей писать. Особенно — к женам, которые с мужьями в разлуке находились. Выбирала для забавы, как правило, семью счастливую, где супруги в согласии

проживали. Ждет, бывало, жена весточки от муженька ненаглядного и вот... получает: «Задрыга ты старая, ныне я тебя знать не пожелал, а сыскал в столице паненочку для нужд своих молоденьку и с нею беспечально играюсь...» Писал ей муж другое письмо — любовное, нежное, тоскующее. Но императрица велела его на почте изъять, а свое переслала на Москву дяденьке С.А. Салтыкову и велела ему указать: «...при отдаче онаго велите присмотреть, как оное (письмо) принято будет и что она (жена то есть) говорить при том станет».

Салтыков депешировал, что ревет жена от письма такого.

— Так вот ей и надобно! — радуется императрица...

Губернаторы российские к указам царицы уже привыкли. То захочет, чтобы ей белую ворону поймали. То велит всех седых баб остричь наголо, а волосы в Петербург для париков отправить. То коты ей «холостые» понадобятся, будто в столице все коты уже женаты. А то узнает, что в Сызрани дура проживает — такая уж дура, каких отродясь еще не бывало, и дуру велит к себе под конвоем доставить. Власти местные должны были в дурью башку втемяшить, чтобы дура не пугалась («зову не для зла, а для добра», — сообщала Анна Иоанновна).

Вот какие указы рассылала она в году этом:

«Уведомились Мы, что в Москве на Петровском кружале стоит на окне скворец, который так хорошо говорит, что все люди, которые мимо едут, останавливаются и его слушают, того ради имеете вы онаго скворца немедленно сюда к Нашей Милости прислать...»

Или — такой:

«В деревне у Василия Федоровича Салтыкова поют песню крестьяне, которой начало: “Как у нас в сельце Поливанцева де боярин-от дурак решетом пиво цедил”. Оную песню велю написать всю и пришлите к нам немедленно, послав в ту деревню человека, который бы оную списать мог...»

В этой песне боярин-дурак в решете пиво варил. Дворецкий-дурак в сарафан пиво сливал. Поп-дурак ножом сено косил. Пономарь-дурак на свинье сено отвозил. Попович-дурак подавал в стог сено шилом. А крестьянин-дурак костью землю косил... Вот и нравилось Анне Иоанновне, что ни одного умного там нет — одни дураки!

Это был год последний — год самый тягостный, год небывалых потех и великой пышности, год самых жестоких казней. В этом году разбойники столь обнаглели, что среди бела дня напали на Петропавловскую крепость, где из канцелярии забрали все деньги.

А морозы стояли тогда страшные!

Об этой исторической стуже писались тогда трактаты научные. Морозы жестокие начались еще с 10 ноября 1739 года и устойчиво продлились до 16 марта 1740 года (с короткой неестественной оттепелью в день казни Ивана Булгакова). Старые люди припоминали, что давно такой суровой зимы не бывало. В лесах даже зверье померзло. По ночам кошки бродячие скреблись в дома людские, прося пустить их для обогрева. Волки забегали в столицу из-за Фонтанки, от деревни Калинкиной, с Лахты чухонской — выли в скорби!..

Бирон указал царице на замерзшее окно:

— Смотри, как омертвела вся природа... не к добру.

— Не бойсь, — отвечала Анна Иоанновна, спиною широкой печку загородив. — Нам с тобою бояться не пристало...

Калмычка, крещеная Авдотья Ивановна Буженинова, еще с прошлого года приставала к ней, чтобы ее «озамужили».

— Да какого дурака обженю я с тобой?

— Матка, — отвечала калмычка, — или дураков у тебя мало?

Бирон рассеянно следил за потугами шутов к веселью.

— Вот князь Голицын-Квасник, — сказал. — Разве плох?

За переход в веру католическую, за женитьбу на итальянке уже поплатился князь жестоко, ослабел разумом от унижения. И немцы придворные больше других шутов его шпыняли. За его фамилию громкую, за ученость прежнюю, за титул его княжеский... Все это давно размешано в грязи и облито квасом в поругание!

— Квасник, — позвала императрица, смеясь, — звон невеста тебе новая... Оженить я тебя желаю. Рад ли?

— Ожени.

— Да на ком — знаешь ли?

— Знал, да забыл. Прости, матушка.

— Ты и впрямь дурак. Вот Буженинова... нравится?

— Хоть и косая баба, а добрая, — согласился Голицын. — И когда бьют меня, она всегда за меня вступится...

Анна Иоанновна уже зажглась новой забавой.

«...для некоторого приготавливаемого здесь маскарада выбрать в Нижегородской губернии из мордовского, чувашского, черемисского народов каждого по три пары мужеска и женска полу пополам и смотреть того, чтобы они собою не были гнусны, и убрать их в наилучшее платье со всеми приборы по их обыкновению, и чтоб при мужеском поле были луки и прочее оружие, и музыка какая у них потребляется; а то платье сделать на них от губернской канцелярии из казенных наших денег».

Одиннадцать губернаторов России получили такие уведомления от двора и встряхнули свои провинции к бодрости. Провинциями же заправляли воеводы, и они пошли рыскать по уездам на казенный счет, выбирая инородцев вида негнусного, с оружием, с музыкой... Всех привозимых в столицу сразу тащили в манеж герцога Бирона, где их кормили, мыли, ранжировали. Здесь и на Зверовом дворе репетировали «дурацкую свадьбу». Бирон в подготовку маскарада потешного не вникал. Мысли его были отягощены осложнениями жизни. Царица больна, а под боком завелся враг сильный, которого на своей груди он и вскормил. Волынский залетел уже высоко, сбить его будет трудно... Бирон вошел в конфиденцию с Остерманом и Куракиным; первый давал осторожные советы, второй обливал их слюною бешеной собаки. Герцог говорил:

— Надобно восстановить равновесие, которое пошатнулось от тяжести Волынского, для чего и желаю вызвать Бестужева-Рюмина.

— Михаила, что послом в Стокгольме? — спрашивали его.

— Нет, Алексея, что послом в Копенгагене, мы с ним старые приятели еще по Митаве. Будучи молодыми камер-юнкерами, сообщая девок на мызах портили, и долги у нас были общие...

Тишком от ревнивой императрицы Бирон частенько навещал теперь цесаревну. Елизавета Петровна пугалась откровенной дерзости герцога. Без тени смущения он предлагал ей себя в любовники. Хотел он переменить хозяйку, но суть жизни своей оставить прежней. Состоял при Анне Иоанновне — будет состоять при Елизавете!

— Нет, — отвечала цесаревна. — Не надо. Что вы?

Бирон злобился оттого, что Елизавета никак не шла в сети его хитроумной интриги. Однажды он взял ее подбородок в свои жесткие пальцы, стиснул его так сильно, что она даже вскрикнула.

— Голубушка, — сказал герцог, в глаза ей глядя, — с такой трусостью вам никогда не сидеть на престоле российском.

.....

Для свадьбы Голицына с калмычкой посреди Невы возводился Ледяной дом, — в такие-то морозы изо льда что хочешь можно соорудить! Ледяной дом настолько знаменит вышел, что название его стали писать с букв заглавных.

Для дураков он забавою был. Но только не для умных!

Мы, любезный читатель, станем относиться к нему двояко.

Как к высокому достижению народного разума.

Как к ловкому маневру заговорщиков против Анны Иоанновны.

Ледяной дом — это крепость, которую конфидентам следовало взять, засесть за его прозрачными стенками и — выстоять!

Глава вторая

Волынский тверд был до конца!..

Он важность гордого лица

Не изменил чертой боязни.

Рылеев. Голова Волынского

Враги злобствовали... Однажды утром Кубанец сорвал с дверей дома своего господина записку. Это было изречение из уст пророка Наума: «Несть цельбы сокрушению твоему, разгорется язва твоя; вси слышащие весть твою воспещут руками о тебе, понеже на кого не найде злоба твоя всегда». Понял тогда Волынский:

— Грозят мне бедами библейскими... не убоюсь их!

Он уже почуял холодок топора, над ним нависшего, но изменить верности гражданина не пожелал. Книги лежали на столе потаенные: «Камень опыта политического», «Комментарии на Тацита», «Политического счастья ковач» и прочие. Опасные книги!

А сколько желчи было излито в беседах вечерних...

— Ой, система, система! — говаривал Волынский друзьям. — От нее никуда не денешься, а менять бы надо поганую.

Белль д'Антермони снова предупреждал:

— Коли речь о системе государства зашла, так изгони прежде раба своего Кубанца от нас, чтобы он тебя не мог слышать.

— Раб есть, рабом и останется господину своему.

— А государыня у нас... — бранился Хрущов.

— То верно, — соглашался Соймонов. — Герцог Курляндский ныне осатанел предельно. Недавно ехал в карете по Невскому, на ухабе его качнуло так, что зубами шелкнул. Прилетел в Сенат, а там —

сенаторы. Он — им: «Развалю всех на дороге, вами же неисправные мостовые велю вымостить!» Сенаторы — ни гугу!

— Житье настало — хуже собачьего, — горевал Еропкин.

Главное, что двигало сейчас конфиденентов, это рассуждения над «Генеральным проектом о поправлении внутренних государственных дел». Все трудились над ним, и получался трактат политический, а Хрущов больше всех в проект от себя вписал, и говорил он так:

— Сочинение это будет полезнее книги Телемаковой...

Артемий Петрович проект на важные пункты разбил: об укреплении границ и силах воинских, о церковниках и шляхетстве, о купечестве и фабриках, о торговле и прочем. Открывался проект исторической преамбулой — от Владимира святого до Анны Иоанновны историю дотянули. Татищев тут во многом конфиденентам помог, Еропкин с Хрущовым тоже знатоками были в истории русской. В проекте Волынского осуждалась тирания Иоанна Грозного, живодерство его опричников, о Петре I и самой Анне Иоанновне писал Волынский с большой неприязнью. А таких царей, как Иоанн Алексеевич (отец нынешней царицы), Екатерина I и Петр II, конфидененты и вовсе не поминали, будто их отродясь на Руси не бывало.

— Россия, — высказывался Волынский, — страна недоделанная. Есть страны, как Голландия, где все давно в порядке, и оттого, полагаю, скучно там живет голландцам. А у нас на Руси такой кавардак, что скуки мы ведать никак не можем... Вот и правосудие, где оно? Царь встретил пьяного мужика и велел бить его, чему указ издан. Вывод — пьянство вредно! Потом царь Петр, сам будучи пьян, встретил и мужика пьяного. О чем тоже указ состоялся: мужика того царь кубком для пущего пьянства вознаградил. Вывод обратный первому — пьянство полезно! А указы государевы становятся законоположениями, по ним суд и расправу над народом учиняют. Так где же тут истину сыщешь, если на царей полагаться? Мало ли что им взбредет в голову? Нужны России не указы царские, а единый закон для всех, и закон этот должен составить книжечку невеликую и недорогую, чтобы всякий россиянин мог ее прочитать. Вот тогда лихоимство и крючкотворство в судах исчезнет!

Волынский с пылом раскрывал свою душу:

— Опять же образование! Где оно? Я грамотен, ты грамотен, вон даже Кубанца я обучил... А нужно образование всего народа поголовное. Чиновникам же экзамены делать, чтобы неграмотных к делам не подпускать. Мыслью я так, что немало мастеровых бы у нас было, ежели бы технические училища для народа открыть. А крестьян учить

надо в школах грамотности при их же деревнях и селах, близ церквей, от духовенства. Но главное, — возвещал Волынский, — главное, надобно в России создать у н и в е р с и т е т, куда принимать не только дворянчиков, но и любого парня, лишь бы он башковитым был. Вот тогда Русь окрепнет, тогда она в тело войдет, тогда свет из Европы к нам в Азию переместится...

Зашел к отцу сын, и Волынский поцеловал его.

— Вот, Петруша! — сказал при всех, мальчика благословляя ко сну грядущему. — Счастлив ты, что такого батьку имеешь...

К ночи оставались самые близкие ему: Соймонов, Еропкин, Хрущов и Платон Мусин-Пушкин. Тут уж говорили хлестко: как делать? Анну Иоанновну называли словом обидным, подзаборным. От брака Анны Леопольдовны с принцем Брауншвейгским тоже беды боялись.

— Случись что, — пророчил Еропкин, — и явится перед нею граф Мориц Линар, саксонский любитель, будет она с ним махаться, как наша царица с Бироном. А нам с того облегчения не ждать. Ежели что и делать, так надо делать сейчас.

— Сейчас нельзя, — рассуждал Волынский. — Белградский мир еще не отпразднован, гвардия не вся в столицу собралась.

Составляли они проскрипцию на тех, кого следует уничтожить первыми: Бирон, Остерман, Миних, Рейнгольд Левенвольде.

— А куда Лейбу Либмана денем? — горячился Мусин-Пушкин. — Он даром что фактор, а без его совета Бирон и шагу не делает.

Сообща было решено: Лейбу Либмана отдать народу на площади для растерзания. Принца Антона Брауншвейгского, благо он тихий и зла никому не сделал, выслать туда, откуда приехал. Анну Леопольдовну, если заартачится, тоже за рубежи отправить. Всех немцев разогнать, оставив лишь тех, которые к народу русскому относятся приветливо...

— Возводить будем Елизавету, — говорили конфиденцы.

Поздним часом заявился к ним Иогашка Эйхлер:

— Остерман вызывает из Дании Алексея Бестужева-Рюмина, а зачем он это делает — и сам догадаться можешь, Петрович.

— Да брось, — отмахнулся хозяин. — Не меня же свергать!

— Тебя и свергнут... Не знаю, — задумался Эйхлер, — к чему Бог ведет всех нас, к добру или к худу? Пропасть нам всем или быть на самом верху России и оттуда сверкать молниями?..

Сейчас кстати прихлась свадьба Голицына с калмычкой.

— На Ледяной дом я много уповаю, — говорил Волынский.

История умеет забывать... Она не сохранила имен тех умельцев, которые в краткий срок возвели на Неве ледяное диво. «Самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкой размеривали, рычагами одну ледяную плиту на другую клали и каждый ряд водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом...»

Льдины чуть-чуть были подкрашены синькою, и слов не хватало, чтобы выразить восхищение, когда при закате солнца сверкал Ледяной дворец, словно громадный кристалл драгоценного камня. Сооружали дом между Адмиралтейством и Зимним дворцом — как раз посреди Невы, и была такая давка от народа любопытного, что пришлось к дому караул поставить. Внутри запускали каждого, но следили, чтобы ничего не свортили и не уперли. А возле дома поставили баню для «молодых», которую мастера сваяли из ледяных бревен.

Потом фантазия строителей на морозе пуше разыгралась. Отлили они изо льда шесть пушек и две мортиры, изнутри которых каналы высверлили. «Из оных пушек неоднократно стреляли, в котором случае кладено в них пороху по четверти фунта, а при том посконное или железное ядро заколачивали. Такое ядро... в расстоянии 60 шагов доску толщиной в два дюйма насквозь пробило». Ворота дома украсили двумя уродцами губастыми — дельфинами, изо льда сделанными. Стекла отлили из воды на морозе — получились тонки и прозрачны. Косяки и пилястры обработали под зеленый мрамор, окрасив лед для них соответственно.

Во внутреннем убранстве столы, скамейки, камин и зеркала (тоже ледяные). Распустились в свадебном доме небывалые ледяные деревья и цветы в тонкой изморози; на ледяных ветках сидели там сказочные ледяные птицы. Шандалы и свечи — изо льда. Камин и дрова к ним — изо льда. Туфли и колпаки ночные — изо льда. Бесстыдно голая, излучая холод, стояла фигура ледяного Адама, который взирал на свою подружку — ледяную Еву, скромно закрывавшую себе лоно, курчавое от инея. «Сверх сего, на столе, в разных местах, лежали для игранья примороженные подлинные карты с марками».

Волынский был главным начальником при строении Ледяного дома и устройстве «потешного маскарата». Бирон с ним уже не разговаривал, глядел врагом, однажды гнев его даже прорвался.

— Неблагодарный! — он сказал. — Один раз я тебя из петли уже вытащил, но ты забыл о благородном поступке моем...

Анна Иоанновна, увлеченная новой потехой, к Волынскому пока мирволила. Он был вхож к ней, как всегда, и враги министра, втайне негодуя, с завистью наблюдали его фавор прежний. Но удар меча мог поразить неожиданно, потому и старался Волынский отвлечь внимание царицы от происков врагов своих. Ледяной дом день ото дня становился краше.

Волынский еще смолоду, когда в Персию ездил, кавказской нефтью интересовался, в России он стал п е р в ы м ее исследователем. Даже составил для Петра I особое «Доношение», в котором загадочную природу нефти излагал, гадал на будущее, каких выгод можно от этой диковинки ждать. Тогда же писал о нефти кавказской и сопутчик его по Востоку, врач Джон Белль д' Антермони... Не забыл нефти бакинской и Соймонов.

— А нельзя ли нефть по трубам перекачивать? — спросил Волынский. — Тогда бы иллюминацию нефтяную устроили.

— Попытка не пытка, — отвечал Соймонов. — Видывал я нефть, коя была чиста, как слеза младенца. А горела так — только успей отбежать подалье.

Возле Ледяного дома стоял ледяной слон в натуральную величину, из хобота он фонтан воды выбрасывал; на спине слона сидел ледяной персиянин. Пусть и дальше, решили, слон фонтанирует денно водою. Но теперь к слону подвели нефть по трубам, и ночью струю «нефти светлой» подожгли — настало зрелище дивное! То же сделали и с дельфинами — из распыленных губ чудовищ выкинуло вверх огненные струи... Дрова ледяные в каминах дворца тоже нефтью смазывали — они горели в печи, как настоящие, и даже тепло излучали. Однако расход нефти был велик — сотни пудов ее на дню сгорало. Для подачи нефти от крепости Петропавловской были по Неве трубы проложены, по которым нефть н а с о с а м и исправно перекачивалась. Такого смелого обращения с нефтью нигде еще не ведали — первый в мире нефтепровод заработал ради «дурацкой свадьбы»!

В завершение работ Волынский отвел Еропкина в ледяную баню, где в ледяной печи горела солома (не ледяная). Конфиденты забрались на верхний полок и стали париться, а поддавали на каменку квасом и пивом. Волынский хлестал себя веником (не ледяным).

— Царицу-то я, кажись, уже задобрил, — говорил он зодчему. — Не пропадем, чай. Нам бы только время выгадать, в этом Ледяной дом нам великую службу окажет...

Одеваясь в предбаннике, Артемий Петрович сказал:

— Михалыч! Надо вирши эпиталамные на свадьбу писать.

— Мне? — подивился архитектор.

— Зачем тебе мучиться? Поэт уже имеется.

— Какой?

— Един на всю Русь-матушку — Васька ТрEDIAковский, которого я видеть не могу за прихлебство его у Куракина. Однако других поэтов пока не сыскать. Вот и передай ему от имени моего, чтобы к свадьбе сочинял заранее оду шуточную!

— Ладно. Передам...

Но Еропкин з а б ы л это сделать, и его забывчивость сыграла трагическую роль во всей дальнейшей истории.

Глава третья

Правители негодные, которые от народа своего ругаемы и прокляты, всегда желают похвалы себе слушать. Не дай-то бог, ежели в таком времени быть поэтом... Пекли оды для Анны Иоанновны два немецких поэта Якоб Штеллин и Готлиб Юнкер, а ТрEDIAковский перетолмачивал их самым никудышным образом для употребления внутри государства — для россиян, которые, вестимо, этих од никогда не читали.

Но отказаться от службы ТрEDIAковский не мог, ибо «пиимы» его при дворе не нужны, а за переводы он 360 рублей в год получал. Попробуй откажись — тогда зубами о край стола наступишься. Опять же книги покупать надо? Надо. Газеты читать надо? Надо. Один кафтан всю жизнь не пронесишь. Вот и крутись как знаешь на чужеродных восхвалениях... Вообще элоквенция — наука сложная! И даром за нее денег никто не дает...

ТрEDIAковский давно уже признавался знакомцам:

— Напрасно министр Волинский на меня злобится. Я от князя Куракина одни подзатыльники да шпыньки имел. Это слава фальшивая, что он покровитель мой. Я сам по себе — пиитствую! Куракин тоже сам по себе — пьянствует! Ко мне при дворе как к шуту относятся, что тоже фальшью является. Я — не шут, вот князь Куракин — шут истинный и добровольно перед герцогом рожи всякие корчит...

Бедный Василий Кириллович! Только за столом, когда пишешь, тогда и счастлив ты. Оторвался от стола, восторги творческие студя, и жизнь бьет тебя... Ох, как бьет она тебя!

А кто ты есть, чтобы свинству противоборствовать?

Да никто! Всего лишь п и и т...

— Не поручик же, — говорила Анна Иоанновна.

И будет писать ТрEDIAковский, душою исходя вопельно: «Сжальтесь же обо мне, умилитесь надо мною, извергните из мыслей своих меня... Я сие самое пишу вам истинно не без плачущия горести... Оставьте вы меня отныне в покое!»

Нет. Не оставили. Поэт-то един.

Деньги берешь — так пиши, скотина!

Победа русского оружия под Хотинoм свершила ослепительный зигзаг по Европе: от Ставучан пронеслась до саксонского Фрейбурга и оттуда молнией блеснула над Петербургом, опалив ТрEDIAковского. Готлиб Юнкер привез из Фрейбурга «Оду на взятие Хотина» некоего Михайлы Ломоносова. А вместе с одою поступило в Академию и «Письмо о правилах российского стихотворства», писанное тем же студизом. Вот с этого и начался закат его славы!

Солнце, восходя, всегда луну затмевает...

Ломоносов написал оду свою — впервые в России! — ямбом четырехстопным, и это было столь необычно для слуха русского, что стихи ломоносовские пошли в копиях по рукам ходить. Василий Кириллович почитал себя в поэзии мыслителем главным. Не знал он того, что его «Способ к сложению российских стихов» Ломоносов давно купил и за границу с собой увез. Там он «Способ» этот штудировал всяко, исчиркал книжку грубейше, будучи с ТрEDIAковским не согласен. Академия «Оду на взятие Хотина» передала на рассмотрение математику Василию Ададурову и поэту Якобу Штеллину; ученые мужи тоже дивились небывалому ритму и звучанию оды. А публике стихи Ломоносова сразу понравились.

К чужой славе ревнуя, ТрEDIAковский негодовал:

— Чему радуетесь, глупни? Ямб четырехстопный к слуху русскому неприложим. Мой способ есть самый новый, я его утвердил...

ТрEDIAковский спутал новое с новейшим, и, встав против новейшего, он цеплялся за свое «новое», которое вдруг оказалось устаревшим. Но поэта подкосило письмо Ломоносова в Академию о правилах стихотворства, где Ломоносов — оскорбительно! — о нем самом и о его «Способе» стихи слагать даже не заикнулся... Сначала, чтобы желчь из себя излить, ТрEDIAковский сочинил на Ломоносова ругательную эпиграмму. Малость отлегло от души, и Василий Кириллович присел к столу, чтобы начертать во Фрейбург ответ достойный, которым надеялся сразить соперника наповал...

Скупердяй — тот из-за полушки одной удавится.

Поэт — согласен удавиться из-за слова.

ТрEDIAKовский дышал гневом. Рядом с ним, единым и несравненным, по 360 рублей получавшим, появился огнедышащий талантом соперник. Моложе его, задиристей и сильнее!

А за дверью дома поэта уже подстерегала беда.

Та самая, которая ломает людей, как палки сухие...

Раздался стук в дверь.

— Стучат, — подбежала Наташка. — Никак, гренадер мой?

ТрEDIAKовский послушал, как трясется дверь.

— Да нет, — ответил. — Твой солдат ближе к ночи барабанить повадился, а сейчас только шестой час на вечер пошел...

Открыл он двери, и внутрь ввалился, закоченевший с мороза, дежурный кадет Петр Креницын:

— Ты пиитом тут будешь? А ну, собирайся живо! Тебя в Кабинет государыни министры ждут не дождутся...

Сердце екнуло. Наташка даже присела.

— Господи, благослови, — бормотнул поэт и шагнул из дома в санки казенные, которые его возле подъезда ждали.

— Пшел! — гаркнул кадет на кучера, и они понеслись...

ТрEDIAKовский шубу распахнул, стал портупею шпаги к себе прилаживать. Будучи в «великом трепетании», думал: «Какие вины за мной сыскались, что в Кабинет везут меня?..» Ухнули санки с набережной — прямо на лед, лошади рвали в невскую стынью, пронизанную инеем, тяжело мотало в разбеге серебро их замерзших грив. Слева виднелся Ледяной дом, где народец толокся, ротозейничая, а санки бежали дальше и дальше — стороною от дворца Зимнего.

Учтивейше ТрEDIAKовский спрашивал у Креницына:

— Сынок мой! Уж ты скажи мне честно, куда везешь?

— На Зверовой двор, где слон обретается.

— Эва! — отвечал поэт, нос варежкой растирая. — Да на что же я зверью всякому понадобился?

— Приказано везти туда от министра Волынского...

Кабинет пролетел мимо судьбы, но страх после него остался. Василий Кириллович начал тут отроку-кадету выговор учинять «для того, что он таким объявлением может человека жизни лишить или, по крайней мере, в беспамятствие привести...».

— Ты, сынок, сам рассуди, как плохо поступаешь, Кабинетом матушки-государыни застрашав. Ведь я тоже не железный, а живой и чувствующий, отчего со мною мог в санках удар приключиться.

— Министру жаловаться на вас изволю.

— Ну, вези. Министр, чай, не глупей тебя... Поймет!

Когда к Зверовому двору подъехали, уже стемнело. Креницын сразу убежал для доклада Волынскому — в амбар, где слон стоял. ТрEDIAKОВСКИЙ за ним не поспел, чтобы жалобу раньше принести. Возле забора остановился и смотрел поэт, как толпится народ ради репетиции маскарада свадебного. Самоеды тут оленей гоняли, калмыки верблюдов за ноздри тащили, свиньи хрюкали, собаки лаяли, было пестро и шумно. Собрание красочных одежд иноплеменных, лиц раскосых и смуглых, музыка варварская — все это ошеломяло.

Из амбара, где слон в тепле сохранился, скорым шагом выскочил Волынский, за ним вприпрыжку семенил кадет. Кабинет-министр подошел к поэту и сразу треснул его кулаком в ухо.

— А-а, это ты! — сказал вместо «здравствуй» и в полный мах поправил ему голову с другой стороны. — Ты, гнида куракинска, почто приказов моих не исполняешь?

ТрEDIAKОВСКИЙ слова не успел сказать, как Волынский (мужик крупный и здоровущий) взялся охаживать его слева направо, только голова поэта моталась. Последовал заключительный тычок кулаком в левый глаз, и пестрота репетиции сразу померкла перед поэтом, наблюдаемая им лишь вполонину природного зрения...

Вот тогда Василий Кириллович заплакал.

— За што меня так? — спросил. — Какие приказы?

— Велено тебе стихи на дурацкую свадьбу писать.

— Не велено, — отвечал поэт. — Впервой слышу.

— Ах так! Креницын, вразуми его...

Теперь бил поэта кадет — юноша образованный, вида осмысленного, уже кончавший с отличием Рыцарскую академию. А кабинет-министр стоял, руки в боки, да приговаривал:

— Бей крепче, чтобы вредных стихов на меня не сочинял...

Не поэта ТрEDIAKОВСКОГО избивал Волынский, а князя Куракина, врага своего, лупцевал он в лице поэтическом. За поэтом видел министр пьяную рожу князя, и боль поэта — по разумению Волынского — должна на Куракина переключаться.

Но он ошибся: вся боль так и осталась в душе поэта!

После битья Волынский сказал:

— Я на тебе сердце отвел за врагов своих. А теперича ступай домой и чтобы к свадьбе дурацкой стихи были дурацкие!

Это избивание поэта наблюдали на Зверовом дворе чуваша, лопари, мешчеряки, вятчи, мордвины, башкиры, абхазцы, калмыки, остяки, камчадалы, финны, киргизы, чухонцы, самоеды, чукчи,

якуты, украинцы, татары, белорусы, черемисы — все народы великой России глядели через забор, как русская власть смертным боем лит е д и н с т в е н н о г о пока в России поэта!

Домой не отвезли, и через Неву долго плелся поэт, под шубой его порскала шпага, леденя бок, мороз пронизывал ноги через чулки. Закоченел так, что, когда Наташка двери открыла, Василий Кириллович посунулся в дом от порога.

— Да где ж тебя, сокол мой, разукрасили эго?

Василий Кириллович в сенях шубу на пол скинул, ковшиком пробил ледок на ведре, вволю напился. Отвечал Наташке:

— Министры до себя вызывали. Касательно поэзии...

На столе еще лежал не закончен ответ его на письмо Ломоносова. Горела душа. Ныло тело. И одним глазом источал он кровь, а другим — слезы обидные:

— Денег более меня во сто крат берут от казны, а дурацких стихов придумать сами не могут. Да еще бьют меня, одинокого...

Надо писать эпиталаму! «Сочинял оныя стихи, и, размышляя о моем напрасном бесчестии и увечьи, рассудил поутру, избрав время, пасть в ноги его высокогерцогской светлости пожаловаться на его пр-ство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости...»

Ждать герцога пришлось долго. Манеж еще не успели протопить с ночи, и было холодно. Помимо поэта, который с подбитым глазом скромнейше в уголку сжался, аудиенц-камору заполнили сенаторы, камергеры, факторы, дипломаты, генералы, портные и парикмахеры. Хотя свадьба дурацкая уже завтра, но Тредиаковский стихов для нее еще не сочинил, и неизвестно было — откуда взять вдохновение? Вскоре по аудиенц-каморе прошло некоторое лепетание, будто его высокородная светлость изволили ото сна пробудиться и скоро учнет просителей принимать.

И вдруг... вошел Волынский!

— Ах ты, сучий сын! Уже здесь? Ты какие тут яйца с утра пораньше высиживаешь? Или жаловаться умыслил? Так я тебе добавлю сейчас того самого товару, что вчера не довесил...

В присутствии всех, ждавших герцогской аудиенции, Волынский начал волтузить поэта, велел ему шпагу снять и кричал:

— Тащите олуха сего в комиссию и рвите его!

Ездовые сержанты поволокли поэта в «комиссию» при манеже, где по приказу Волынского стали «бить палкой по голой спине толь

жестоко и немилостиво, что, как мне сказывали после уже, дано мне с 70 ударов, а приказавши перестать бить, велел (Волынский) меня поднять, и, браня меня, не знаю, что у меня спросил, на что в беспамятстве моем не знаю, что и я ему отвечивал. Тогда его пр-ство паки велел меня бросить на землю и бить еще тою же палкою, так что дано мне и тогда с 30 разов; потом всего меня, изнемогшего, велел (Волынский) поднять и обуть, а разодранную рубашку, не знаю кому зашить, и отдал меня под караул...».

Сажая поэта под замок, Волынский спросил его:

— А ты дурацкие стихи сочинил ли?

— Когда же мне? — отвечал ТрEDIAKовский, стеная.

Дали ему бумагу и перья с чернилами в камеру.

— Пиши! — поощрил Волынский. — Чем смешнее, тем лучше...

Полумертвого от побоев, его оставили одного для творческого порыва. Свадьба завтра! С трудом опомнясь, плачущий, Василий Кириллович вывел первую строчку стихов эпиталамных:

Здравствуйте, женившись, дурак и дурка...

Во втором стихе с горя подпустил матерщиной. Ничего. Сойдет. При дворе обожают похабщину, и на этом месте царица станет гоготать, будто бешеная. Вдохновение так и не посетило его под караулом. ТрEDIAKовский не творил стихи, а делал их, принизывая строчку к строчке, словно кирпич к кирпичу прикладывал, — слова были тяжелые, они ворочались с трудом....

Вторичное избиение поэта Волынским произошло под крышею манежа герцога Бирона, и это обстоятельство, столь ничтожное в иные времена, сейчас значило очень многое...

Боль ТрEDIAKовского — это м о я же боль!

Это наша общая боль, любезный читатель.

Волынского оправдать никак нельзя.

И мы его не оправдываем!

Глава четвертая

Шутовская свадьба в Ледяном доме открывала российские торжества по случаю заключения Белградского мира.

Поезжане жениха с невестою начинали шествие от дома Волынского. Маркиз Шетарди приглашения от двора не получил и, оскорбленный, скорописью депешировал в Париж — для Флери:

«...забава вызвана не столько желанием тешиться, сколько несчастною для дворянства политикою, которой всегда следовал этот двор... Подобными действиями она (царица) напоминает знатым лицам, что их происхождение, достоинство, почести и звания ни под каким видом не защищают их от малейшего произвола властительницы, а она, чтобы заставить себя любить и бояться, вправе повергать своих подданных в полное ничтожество!»

Возглавлял процессию свадебного маскарада сам Волынский, а за каретою министра шествовал слон под войлочными попонами. На спине слона укрепили вызолоченную клетку с двумя креслицами — для жениха с невестою. Сколько было народов представлено в процессии, каждый играл на своих инструментах — кто во что горазд. Ехали весело «с принадлежащею каждому роду музыкалией и разными игрушками, в санях, сделанных наподобие зверей и рыб морских, а некоторые во образе птиц странных».

Поезжане остановились возле дворца, из церкви придворной вывели к ним жениха с невестой. По лестнице обрученных посадили на спину слона, Голицын с Бужениновой забрались в клетку, и свадебная процессия стала ездить по городу для показа молодых... Людей везли медведи сергачские и сморгонские, собаки меделянские, козлы и бараны крестьянские, хряки хохлацкие, олени тундровые, верблюды калмыцкие, а перед ними выступал озябший слонище, хвостиком своим виляя. Достоинно примечания, что столь разнородные животные, будучи в один кортеж составлены, среди разрывов ракет, в шуме пушечном и гаме музыкальном, вели себя вполне пристойно, и каждая свинья добросовестно в хомут налегала. Не было заметно в животных страха или дикости, никто из них не брыкался, и даже поросята, от мороза шибко страдая, церемонию не нарушали, только повизгивали.

Волынский ехал впереди процессии, указывая поезжанам, на какие улицы заворачивать. Поезд объехал все главные проспекты столицы, и тогда министр направил его к манежу Бирона.

— Выгружай молодых из клетки! — распорядился он...

Внутри манежа лошадиные плацы были заранее устланы досками. Вдоль протянулись длиннющие столы, наскоро сколоченные. И был приготовлен он герцогской кухни изобильный обед на

триста поезжан, причем калмык ел свою баранину с жиром, а для самоеда была сварена оленина с личинками оводов. Для питья было все — от настойки мухоморной для чукчей до пшеничной горилки для усачей-запорожцев. Никогда еще манеж Бирона не слышал столько языков и наречий, под сводами его еще не бывало таких забавных гостей. За столы поезжане садились вперемежку, и дипломаты иностранные отметили, сколько ласково и вежливо гости чинились друг перед другом, словно кавалеры версальские: остяк исправно услужал кабардинке, татарин вежливо ухаживал за камчадалкой...

Императрица появилась в манеже. На ней был телогрей пушистый, а на голове маленькая — в кулачок — корона. Для нее был накрыт отдельный стол на возвышении, и она там ела и пила с Бироном, веселясь небывалым зрелищем. А под ней тряслись в топоте доски манежа от плясок народных, за стеною в испуге бились копытами в стойлах бироновские кони. «Молодых» (которым вместе за 120 лет было) тоже плясать заставили.

Волинский заглянул в перечень комедийного действия, из коего явствовало, что пора выводить на сцену Тредиаковского.

— Пиит-то не сдох еще? Тащите его сюда с виршами.

Возле кабинет-министра толпились секретари его — Богданов, Арнандер, Гладков, Муромцев, Родионов.

— Нельзя тащить, — говорили они. — Худ он стал!

— А без него немочно. Весь праздник поломается.

— Вы из ручек своих столь побили его, что левым оком пиита не зрит, а личина Тредиаковского в синяках вся.

— А вы, — учил адъютантов Волинский, — умнее будьте. Наденьте на рыло пииту маску, какие на театрах актеры носят, вот синяки и скроются... Волоките его ко мне проворней!

В шутовской маске на лице поэта под конвоем привели из-под ареста «в оную Потешную залу, где тогда мне повелено было прочесть наизусть онья стихи насилу». Через прорези маски одним глазом видел Тредиаковский царицу с герцогом, видел столы с яствами разноплеменными, над которыми медленно оседала, словно снег пушистый, внимательная к нему тишина.

Он начал, обращаясь к царице с Бироном:

Здравствуйте, женившись, дурак и дурка*,
Еще..... дочка, тога и фигурка!
Теперь-то прямо время нам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам должно беситься.
Квасник — дурак!
Буженинова —!

Спряглись любовью, но любовь их гадка.
Ну, мордва, ну, чуваши, ну, самоеды!
Начните веселье, молодые деды.
Балалайки, гудки, рожки и волынки!
Сберите и вы, бурлацки рынки.
Плешницы, волочайки и скверные....!
Ах, вижу, как вы теперь ради...

Анна Иоанновна подняла ладони и трижды хлопнула, аплодируя: она была довольна (в радость Волынскому). Василий Кириллович унял рыдание и продолжил:

Свищи, весна!
Свищи, красна!

А в числе гостей были ямщики, привезенные из Тверской провинции. Всю жизнь на козлах сидя, лошадям насвистывая, они в свисте такое мастерство являли, что из ямщиков этих был особый хор обрцован, который «весной» назывался. Третьяковский сказал «свищи, весна!», и мужики поняли так, что настало время их выступления. Начали они тут такое выделять, будто и впрямь весна началась. Под сводами манежа запели соловушки, застрекотали щеглы, зазвенели малиновки и жаворонки, гулко перекликались кукушки в лесу душистом... Весна, весна!

Анна Иоанновна опять похлопала:
— Распотешили! Вот славно-то...

* «Сказание, говоренное Васильем Тредьяковским при дурацкой свадьбе», приводится нами в сокращении; сам поэт эти стихи в книги свои никогда не включал; они широко распространялись в обществе, переписанные от руки.

Слез поэта не видать под маскою шута; он читал дальше:

Спрягся ханский сын Квасник, Буженинова ханка.

Кому то не видно, кажет их осанка.

О, пара!

О, нестара!

Не жить они станут, а зоблить сахар,

А как он устанет, то другой будет пахарь.

Ей двоих иметь диковинки нету —

Знала она и десятерых для привету...

Закончив стихи, Василий Кириллович думал, что теперь его песня спета — можно домой идти. Но секретари Волынского обступили его на выходе и снова под караул отвели.

— Отпустите вы меня, — взмолился он.

— Того нельзя. От кабинет-министра велено тебя под замком содержать, а завтра еще разговор будет... Особый!

Брякнули запоры. Ушли. Краски маскарада погасали во мраке темницы, было слышно, как потрескивают от мороза жгучего стены караульни. Вспомнил он себя молодым. Пешком, пешком... до самого Парижа дошел! Юность кончилась... Он плакал.

В восемь часов вечера Шетарди получил от двора приглашение в манеж. Желая наказать императрицу за невнимание к послу Франции, маркиз приехать в манеж отказался. Было уже темно, по трубам от крепости качали нефть для иллюминации. Молодых снова усадили на слона, отвезли их в Ледяной дом. На льду Невы, приветствуя живого собрата, раздался рев слона ледяного, внутри которого музыканты сидели, на трубах играя. Из хобота слона рвался к нему фонтан горящий. По бокам от дома стояли пирамиды ледяные с фонарями. Народ толпился возле, потому что в пирамидах были выставлены «смешные картины» (не всегда пристойные, в духе брачных эпиталям Катутлла). Молодых со слона ссадили, повели их в баню сначала, где они парились. Потом их в Ледяной дом пустили. Двери налево из передней обнажали убранство спальни. Над туалетом зеркала висели, и лежали тут часики карманные, изо льда сделанные. По соседству со спальней была комната для отдохновения после утех брачных. Перед ледяными диванами высился стол ледяной, на котором посуда изо льда (блюда, стаканы, графины и рюмки). Все это было разукрашено в разные цвета — очень красиво!..

Михаил Алексеевич сказал новобрачной:

— Спасибо государыне на свадьбе. Все уже осмотрели, подарки получили, едем домой, Авдотьюшка, а то зуб на зуб не попадает!

Из Ледяного дома их часовые не выпустили:

— Вы куда наострились? От государыни императрицы велено вам всю ночь здесь провести... Ступай и ложись!

За ледяными стенами страшно кричал ледяной слон, выпуская нефть из хобота на двадцать четыре фута вверх. Дельфиньи пасти тоже полыхали нефтью, как геенна огненная. Салютовали молодым ледяные пушки, бросая вокруг ядра ледяные с треском ужасным... Дьякону из причта церкви Святой Троицы, который ради потехи с Выборгской стороны приволокся, башку с плеч таким ядром начисто скovyрнуло... Вот и потешился!

— До восьми утра... ни-ни! — сказала Анна Иоанновна. — Коли противиться станут, уложить их в постель насильно.

Старика со старухой раздели. На голову Бужениновой водрузили чепец ночной изо льда, кружева в котором заменял жесткий иней. На ноги Голицына приладили колодки ледяных туфель. На ледяные простыни уложили новобрачных — под ледяные одеяла... А в пирамидах всю ночь вращались подвижные доски смешных картин...

Катулл, где ты, нескромный певец восторгов первой ночи?

В восемь утра молодых вынесли — закоченевших.

Этой ночи — первой их ночи! — было им никогда не забыть. В согласии любовном калмычка Авдотья породила князю двух сыновей, которые род и продолжили...

Конец этой свадьбы оказался совсем не дурацким, и потомство князя Голицына было людьми здоровыми, активными, мужественными!

Тредиаковский провел эту ночь на соломе. Утром поэта вывели из заточения, но шпагу не вернули. Повезли на дом к кабинет-министру. Василий Кириллович снова Волынского узрел.

— Ну? Теперь-то понял, каково противу меня писать?

— Да не писал я на вашу милость. Своих забот немало...

— Ты не завирайся. Князь Куракин читал при всех в дому герцога стихи твои о самохвальстве моей персоны.

— То не про вас! — клялся Тредиаковский. — Осуждая самохвальство и себялюбие в эпиграмме, я личностей не касался, а лишь желал порок в людской породе исправить.

Волынский обругал его и сказал:

— Расстаться с тобой не хочу, прежде еще не побив!

Третьяковский просил министра сжалиться. «Однако не преклонил его сердце на милость, так что тотчас велел он меня вывести в переднюю и караульному капралу бить меня еще палкою 10 раз, что и учинено. Потом повелел мне отдать шпагу».

На прощание Волынский объявил поэту:

— Вот теперь ползи и жалуйся кому хочешь, а я свое с тебя взял и гнев на Куракина потешил вволю...

С этим караул от поэта убрали. Иди куда хочешь.

Пошел профессор элоквенции, шпагу под локтем держа.

Наташка дома заждалась, изнылась вся, любящая.

— Ох, милая! — сказал он ей. — Таких дорогих стихотворений, как вчера, не писывал я еще ни разу в жизни. И богато же расплатились за талант мой... Глянь на спину!

Он сел к столу и составил завещание: после побоев ему казалось, что не выживет. Из Академии прислали врача Дювернуа, который осмотрел увечья и заявил, что побои основательны, но не смертельны. С этим утешением Третьяковский и продолжил работу над ответом Ломоносову... Он боролся с ним, как старый гладиатор против юного, понимая свое неизбежное поражение.

Уж на челе его забвения печать,
Предбудущим векам что мог он передать?
Страшилась грация цинической свирели,
А персты грубые на лире костенели.

Свой ответ Ломоносову отнес в Академию, чтобы та на казенный счет переслала его во Фрейбург.

— Для пресечения, — сказал Данила Шумахер, — бесполезных споров отправлять критик не следует, да и деньги за перевод куверта по почте пожалеть для иных дел надобно...

Третьяковский вернулся к столу. Рожденный близ ключа Кастаньеского и помереть должен на самой вершине Парнаса! Нектар души своей он рассеял по цветам, которые увядали раньше срока. Третьяковский проживет еще очень долго, но счастлив в жизни никогда не станет... Не жизнь у него была — трагедия!

Глава пятая

Мороз — не приведи бог! А солдат русский, одетый по образцу европейскому, хаживал в мундирчике, не имея ни шинели, ни овчины, шляпа фасона глупейшего не грела голову, оставляя уши открытыми.

Чулки и гетры ног от холода не защищали... Немало народу померзло при торжественном вшествии армии в Петербург для празднования мира, славы не принесшего!

Анна Иоанновна загодя выслала навстречу лейб-гвардии запасы листа лаврового «для делания кукардов к шляпам». Возглавлял вшествие Густав Бирон, брат фаворита. «Штаб и обер-офицеры, так как были в войне, шли с ружьем, с примкнутыми штыками; шарфы имели подпоясаны; у шляп сверх бантов за поля были заткнуты кукарды лаврового листа... ибо в древние времена римляне с победы входили в Рим с лавровыми венками, и то было учинено в знак того древнего обыкновения». На армию лавров уже не хватило, и «солдаты такие ж за полями примкнутые кукарды имели из ельника связанные, чтобы зелень была». Пар от дыхания нависал над войском замерзшим. Гвардия и армия голенасто вышагивала в чулках разноцветных, топала башмаками в твердый, наезженный санками наст. Впереди со шпагой в руке трясся посинелый от холода Густав Бирон, за ним дефилировал штаб с носами красными — все под усохшими на кухнях лаврами, отнятыми у супов кастрюльных. Марш начался от Московской ямской заставы ко дворцу Зимнему, который войска обошли кругом, и видели они в окнах дворцовых расплющенные об стекла носы и щеки девок разных; на балкон в шубах пышных выходила императрица, ручкой им в ободрение делала. Солдаты прошагали от Адмиралтейства к Ледяному дому, дивясь немало на красоту рукотворную, с Невы же колонны завернули обратно ко дворцу. Тут запели трубы, и знаменосцы стали сворачивать полковые стяги в «крутени», которые сразу унесли в покои царские. Война закончена!.. Офицеров звали во дворец, где они перед престолом поклоны нижайшие учиняли. При этом Анна Иоанновна каждого из них бокалом венгерского потчевала, а речь ее была такова:

— Удовольствие имею благодарить лейб-гвардию, что, будучи в войне, в надлежащих диспозициях, господа офицеры тверды и прилежны находились, о чем я чрез фельдмаршала графа Миниха и подполковника Густава Бирона известна стала, и будете вы все за службы свои немалые мною не оставлены...

И с этими словами — уже при свечах! — офицеры были распущены, а солдат по квартирам на постой развели, где им никто не радовался, ибо постой эти обывателям в тягость были. Живет себе человек с женою и детишками, ничем не тужит, вдруг прутся в дом сразу восемь солдат с гранатами и ружьями. Теперь пой, корми их, ублажай всячески, а они кочевряжатся и жене твоей намеки разные

делают... Когда постой закончится, в доме твоём мебелишка истерзана, посуда поколочена, детишки слова скверные произносят, жена воеет, а девки брюхаты от солдат бегают...

Обижаться не на кого — казарм-то нет (только еще начали строить их). Вот когда казармы в Петербурге выстроят, тогда обыватель столичный заживет по-людски!

Вечером Анна Иоанновна надела парчовое платье, в прическу ей приладили корону бриллиантовую. Пушки раскатисто стучали с крепостей Адмиралтейской и Петропавловской; при барабанном бое по улицам разъезжали секретари, читая народу манифест о мире. Близился час великого «трактования», когда следовало царице многих отблагодарить за подвиги в войне минувшей.

Первым делом был ею «трактван» герцог Бирон...

Анна Иоанновна при всем дворе ему объявила:

— Высокородный герцог Курляндский и Семигальский! За твои потужения обильные в войне этой с Турцией жалую тебя деньгами в благодарение суммою в пять миллионов рублей...

Тихо стало во дворце. Низко склонились в поклоне фрейлины и статс-дамы, плечи голые показывая. Склонились и мужи государственные; низко упали, почти пола касаясь, длинные локоны париков, а концы шпаг вельможных высоко вздернулись... Тишайше было. При пяти миллионах шуметь не станешь, а только задумаешься.

Бирон отвечал императрице самым скромным образом:

— Нет, великая государыня! Я ведь на войне в храбрости не упражнялся. Правда... потужения к виктории я производил, но могу оценить их лишь в сто тысяч рублей, которые и приму от тебя!

Остерман решил повершить герцога в скромности. Для себя ничего не просил, а просил для сыночка своего кавалерию красную Александра Невского, которая и была дана, отчего сопляк остермановский сразу вошел в чины генеральские... Вообще скромность — это большая наука, не каждый умеет смирить свою алчность!

А над Невою горели пламенные транспаранты со словами:

БЕЗОПАСНОСТЬ ИМПЕРИИ ВОЗВРАЩЕНА

Но люди умные тому не верили. Порта уже вступила в альянс со Швецией, и теперь надо ждать войны новой — на Балтике. От двора же велено было домовладельцам, чтобы выставили на подоконники

не менее десяти свеч зажженных. Город, обычно тонущий во мраке, озарился огнями праздничной иллюминации. Пушки еще долго били с крепостей, в ушах звенело от пальбы их, гофмаршал раздавал иностранным послам памятные медали в знак Белградского мира. Иные выпрашивали себе и по две-три медали, ибо сделаны они были из чистейшего золота.

Миних был сумрачен. Война закончилась для него без выгоды. Даже губернатором на Украину посадили храбреца Джемса Кейта, а он остался при Военной коллегии, при корпусе Кадетском, при жене костлявой. Правда, Анна Даниловна в приход ему ежегодно по ребенку приносила, но дети эти не графы Минихи, а по отцу законному — князья Трубецкие... Вот, кстати, и отец их подоспел.

— Государыня, — сказал князь Никита, — до себя вас просят.

Миних протиснул свое грузное тело через двери в комнату туалетную. Анна Иоанновна от зеркала приветливо обернулась:

— Ну, фельдмаршал, проси у меня что хочешь... За службу твою награжу тебя по-царски... проси!

— Матушка, — брякнул Миних, — вознагради меня за походы мои великие крайним чином... генералиссимуса.

— Да в уме ли ты? — ужаснулась императрица. — Или забыл, что генералиссимуса имеют право иметь лишь особы царской или королевской крови! Как я тебе такой чин дам?

— Но Меншиков-то, матушка, был ведь генералиссимусом.

— Вольно ж ему... бысстыднику! Проси другое...

Миних вдруг опустился на колени, протянул к Анне Иоанновне руки с короткими, будто обрубленными пальцами.

— Тогда, — сказал, — хочу быть герцогом Украинским, дабы в Киеве престол свой иметь...

Тут императрица совсем ошалела.

— Бог с тобой, — отвечала. — Или пьян ты сей день?

Она вышла к придворным, жаловалась шутиливо:

— Миних-то мой до чего скромн оказался! Всего-то и пожелал корону киевскую. А я думала, что он великим князем Московским быть захочет... Доверься ему, так я бы на чухонском престоле осталась, а он бы на московском расселся...

Миних получил за эту войну в награду всего лишь чин подполковника лейб-гвардии полка Преображенского! Конечно, от такого «трактования» и заскучать можно. Исподлобья наблюдал Миних, как на сцене театра придворного два итальянских танцора изображали ревнивых любовников. Между ними крутилась в пируэте француженка-балерина,

предельно тощая и лядашая, вроде жены Миниха.. Вдруг подошла Анна Даниловна, шепнула с придыханием страстным:

— Что означает пируэт сей, друг мой?

— В танце этом запечатлена картина пылкая, как две голодные собаки из-за одной кости грызутся.

— Ох, как вы злы сегодня... — Трубецкая отошла от него.

Во дворце показался посол Франции, и фельдмаршал отвесил маркизу Шетарди заискивающий поклон (не уехать ли в Париж?). Потом явился посол Пруссии, барон Мардефельд, и Миних отпустил ему тяжелую, как гиря, берлинскую шутку (не махнуть ли в Берлин?)... Оглушая гостей могучим басом, нахальный и тревожный, крутился среди красавиц двора Бисмарк. В сторонке от гостей, нелюдим и подтянут, стоял, поскрипывая лосинами, одинокий фельдмаршал Петр Петрович Ласси — шотландец гордый. Гостей звали к столу. Миних локтями продрался ближе к балдахину, назло Бирону наглейше занял место подле императрицы. Фельдмаршал грозным рычанием велел лакеям придвинуть к нему серебряный поставец настольного «холодильника» с винами. Анна Иоанновна, недовольство Миниха ощутив, была с ним крайне любезна:

— Я ведаю, фельдмаршал, что покушать ты любишь. Гей, гей, гей! — прокричала она — Подать фельдмаршалу мое блюдо...

Миниху подали громадное блюдо из золота, в центре которого вечным сном покоился жирный заяц. По краям же от него симметрично расположились четыре кролика. А между ними в благоухании лежали полдюжины цыплят и голубей. Все это было щедро прошпиговано шафраном и перцем, корицею и каперсами, имбирем и гвоздикой. Фельдмаршал (потихоньку от соседей) кушак на лосинах распустил пошире и с возгласом: «Я медлить не люблю!» — вонзил вилку в зайца. Струя ароматного жира прыснула в глаз Миниху... А мимо него проплыли в сторону царицы и Бирона два белоснежных лебедя — грациозно кивали гостям их длинные шеи, только глаза были мертвы, и вместо глаз кулинары вставили по две жемчужины.

Война закончилась — двор наслаждался миром.

Глаза Миниха бегали между Мардефельдом и Шетарди.

Потсдам или Версаль? Кому продаться подороже?..

Пушки гремели не умолкая. Перед дворцом продрогшие музыканты били в литавры, играли на трубах. Время от времени ледяной слон на Неве извергал из себя массу огня, после чего издавал протяжный рев... Миних сожрал все, что ему дали на блюде царском.

— Я медлить не привык, — заявил он снова.

Один взгляд на Бирона — суровейший, другой на Остермана — уничтожающий. Эти тунеядцы сошлись сейчас в общей ненависти к Волынскому, а Волынский враг и Миниху... Миних же одинок.

Градусник перед дворцом показывал в этот день 30 градусов мороза. Гарольды разъезжали по Петербургу позади трубачей и цимбальщиков; за ними, чадя дымными факелами, следовал эскорт Конной гвардии. Секретари осипло читали народу манифест о мире, а унтер-офицеры из больших торб, перекинутых через седла, доставали пригоршни денег медных и швыряли их в прохожих.

Простолюдьё было звано ко дворцу, где с балконов метали в толпу памятные жетоны из серебра и золота. «И понеже сие в волнующемся народе производило весьма веселое движение, то ея императорское величество и протчие высокие особы чрез довольное время смотрением из окон веселиться изволили...» Иногда отворялись двери балкона, выходила с кисетом императрица, что-то кричала сверху басом, быстро разбрасывала деньги, снова скрывалась.

Истомленный ожиданием, народец стойко дрог на морозе.

Каплуны прочь, прочь африкански,
Что изобрел роскошный смак;
Прочь бургонски вина и шампански,
Дале прочь и ты, густой понтак.
Сытны токмо шти, ломть мягкий хлеба...

Народ ждал водки, а закуска уже была открыта взорам его.

Источали пар жареные быки, туши которых лежали на постаментах кверху ногами. До самого Летнего сада тянулись обжорные столы для «заедок». На столах были сложены громадные пирамиды из ломтей ржаного хлеба, помазанного икрой красной и черной. Всюду — вдоль Невы — навалом лежала вяленая осетрина и севрюжина, карпы копченые и всякие рыбицы. Снедь для народа была украшена луком репчатым и красными вареными раками. А меж столбами висел громадный кит, склеенный из картона: внутри кита помещались сушеные рыбы и псковские снетки. Поили бесплатно пивом и медом, квасами и пуншиками. Но люди на морозе ожидали главного...

— Кадысь водку-то вынесут? — волновались мужики.

— Не расходись, народы! За што воевали?

— Верно! Мы победили... Бают, что фонтан будет.

Перед дворцом забил винный фонтан, наполняя бассейн, к которому вели восемь крутых ступеней. Народ брал фонтан штурмом, а солдат у бассейна в схватке помяли, они с ружьями своими летели вниз от фонтана, боками ступени пересчитывая.

— Братцы, вино-то не наше — сладкое... Обманули!

А всюду полиция рыскала, дабы от начала пресечь «ссоры и забиячество». Кое-кого уже затоптали, один чужак старый уже плавал в бассейне, и ему было там хорошо, благо вино подавалось по трубам из дворца подогретым. Наконец показались капралы с носилками, на которые были ставлены большие ушаты с простым хлебным вином. Толпа надвинулась ближе ко дворцу, истомленно и жарко дыша... Над головами людей перекатывалось:

— Несут! Хосподи, никак несут?

И заволновался народ русский, народ недоверчивый:

— Хватит ли на всех? Кто его знает?

Вооруженный караул осаживал толпу назад:

— Не папай! Все твое будет. Успеешь нажраться...

Скоро вся площадь хмельно загудела. А трезвых брали на подозрение, яко смутьянов общества. Таких (злодейски настроенных) капралы сразу хватали и тащили их к плац-майорам. Майоры эти возле чанов с водкою бессменно дежурили, имея при себе ковши полуведерные. Трезвых людей майоры понуждали силою пить из ковша такого, отчего многие в палатках дежурных богу душу и отдали. Но зато беспорядку от трезвых не было, а от пьяных порядков и не ждали... Когда же умолкла пальба пушечная, стали над Невою фейерверки и «шутихи» в небеса запускать. А чтобы народу еще веселее стало, царица — ради смеха! — велела ракеты огненные прямо в народ выстреливать. «Произвели они в нем слепой страх, смущенное бегство и великое колебание, что высоким и знатным зрителям при дворе ее в-ства особливую причину к веселию и забаве подало...» Побило тут насмерть и пожгло многих под тем транспарантом, на коем торжественно начертано было:

БЕЗОПАСНОСТЬ ИМПЕРИИ ВОЗВРАЩЕНА

Но этим весельем торжества еще не закончились. Самое веселое ожидало народ впереди... Возвращаясь с праздника, много еще людей в драках погибло. А иных воры так пограбили на морозе, что они нагишом под заборами и околели. Под утробу все госпитали были

переполнены, и петербуржцы с трудом себя узнавали. Еще вчера был человек человеком, трудился в поте лица, а сей день...

— Охти мне! Вот нечистая сила... попутал лукавый!

Самая страшная водка для народа — бесплатная водка.

Праздник перекочевал из дворца царицы в манеж герцога. В галереях был накрыт особый стол для персон именитых и знатных; здесь же Анна Леопольдовна и Елизавета Петровна сидели; возле них пристроился Волынский, зубоскалил с ними, а на душе муторно было. Полон стол добра был, а есть не хотелось. В разговоре нервно играл вилокю для потрошения мозгов, половничком для разливания вин...

Увидев Бирона, кабинет-министр подошел к нему:

— Ваша светлость! Выражаю вам извинения свои за то, что в «комиссии» манежа вашего осмелился ТрEDIAКОВСКОГО побить.

Бирон глянул вкось, сказал по-русски одно лишь слово:

— Ладно...

В манеже были наскоро разбиты зимние сады, за одну ночь выросли тут кущи зеленые, средь померанцев и акаций похаживали послы иноземные... Шетарди встретил шведского посла, барона Нолькена, отвел его в кусты — подальше от гостей.

— Рад вас видеть, друг мой.

— Ваша цель прибытия в Россию? — отрывисто спросил швед.

— Разбить союз России с Австрией. А... ваша?

— Швеции надобно вернуть земли, потерянные в войнах с Россией при Петре Первом, и скоро мы это сделаем...

— В любом случае, — продолжал Шетарди, — у нас с вами один сообщник — цесаревна Елизавета Петровна. Я с нею еще не беседовал о делах престольных, но для подкупа русской гвардии Версаль обещал мне выделитъ миллион ливров...

Неожиданно кусты раздвинулись, и перед заговорщиками предстал нарядный молодой повеса — хирург цесаревны Жано Лесток.

— А я все слышал! — сказал он послам. — Но вам не следует меня бояться, ибо я из свиты той красавицы, о которой вы так нежно сейчас заботились... Миллион! — произнес Лесток. — К чему так много? Гвардия вернулась из похода, и она готова перевернуть престол за гораздо меньшие суммы...

— Вас подослала к нам цесаревна Елизавета?

— О, нет! Она трусиха. Я согласен подталкивать ее к престолу, если от миллиона на мой стол перепадет тысяч сто ливров...

Миних — по просьбе Бирона — отыскал Шетарди в саду:

— Маркиз, его светлость предлагает вам воспользоваться благами того стола, что накрыт в галерее для персон избранных.

Шетарди совсем не хотелось сидеть с министрами:

— Я не имею дурной привычки отягощать себя ужином.

— Вас не станут кормить насильно, — отвечал фельдмаршал. — Но не упустите случая, чтобы полюбоваться нашими принцессами.

Шетарди отвечал с галантностью кавалера:

— Благодарю! Если мне предоставлено лишний раз засвидетельствовать им свое почтение, то я не премину этим воспользоваться...

Елизавета и Анна Леопольдовна пили за его здоровье; рядом с цветущей и розовой цесаревной русской принцесса Мекленбургская казалась жалкой замухрышкой; беременность ее уже была заметна, но грудь Анны Леопольдовны едва-едва наметилась под лифом... «Принцесса Елизавета, к которой я прежде подошел, — сообщал Шетарди в эту же ночь Флери, — желала, чтобы я остался подле нее. Я взял стул и поместился несколько позади ее. Она не замедлила мне сделать честь еще раз выпить за мое здоровье. Такая доброта с ее стороны дала мне свободу выпить и за ее, что она восприняла самым любезным образом...» Сидя за спиною Елизаветы, вдыхая запахи здорового женского тела, ослепленный белизной ее пышных плеч, маркиз Шетарди решил немножко поработать на пользу Франции... Выбрав момент, он шепнул Елизавете на ушко:

— Мне интересно, что бы вы стали делать, если судьба вдруг вознесла бы вас на престол российский?

Ответ цесаревны превзошел все его ожидания:

— Боже! Да я бы тогда всю жизнь в мужских штанах ходила...

Бал открывался чинным менюэтом. В первой паре, на удивление всем, вышла Елизавета с маркизом Шетарди. Никто бы не догадался, что между ними вдруг вспыхнул роман.

Роман авантюрный. Роман любовный. Роман небывалый.

— Божественная... очаровательная, — шептал ей Шетарди. — Я схожу с ума... Вы меня окончательно покорили.

В это свидание с цесаревною Шетарди выявил в ней большую охоту к любви и полное отсутствие способностей к интриге политической. В этом смысле Елизавета была сущей бездарностью!

Глава шестая

Трепетные фон Кишкели (отец с сынком, зело умеющие конверты клеить) предстали пред грозные очи великого инквизитора империи Российской... Андрей Иванович Ушаков спросил их:

— А вот эти пятьсот рублей Волынский сам из канцелярии Конюшенной взял или поручал кому их взятие?

— Прислал за деньгами человека своего — Кубанца.

Ушаков вызвал Топильского:

— Ванюшка, дело тут новое заводится, в коем сама светлость герцогская заинтересована... Кубанец такой, — слышал? При дому Волынского маршалком служит. Ты его ни разу еще не нюхал?

— Нюхал! Кто говорит, что он калмык астраханский. А кто — татарин кубанский. Волынским выпестован для дел своих скрытных, грамоте обучен, господину своему служит лучше пса любого.

— Крещен?

— Во святом крещении давно обретається. Из басурманства был наречен Василием Васильевичем по купцу Климентьеву в Астрахани. А господину своему предан искренне... Я же говорю — аки пес!

Ушаков табачку в ноздрю запихнул.

— И ты, дурак, веришь в сие? — спросил чихая. — Учю я тебя, учю, балбеса, а все без толку... Нешто не понять, что раб никогда не может быть верен господину. Мужики, они умнее тебя, ибо ведают, что, сколь волка не корми, все равно в лес глядит. Тако же и раб — его хоть пастилой насыть, все равно он будет свободы алкать, и корка хлеба на воле ему слаще меда...

Выговорясь, сколько хотелось, Ушаков повелел:

— Этого Кубанца осторожно ко мне залучить.

— На што?

— Я в душу ему загляну и душу из него выну...

Ушаков знал людскую породу гораздо лучше Волынского!

Март прошел в спокойствии. Гриша Теплов разрисовал яблоки золотые в древе родословном Волынского, кисти собрал и, денежки получив, ушел... Все было пока тихо, но Хрущов предупреждал:

— Слышно в городе, что подзирают за нами, будто худо то, что по ночам к тебе, Петрович, съезжаемся...

Волынский за устройство свадьбы в Ледяном доме получил 20 000 рублей для покрытия долгов и опасения от себя отводил:

— Государыня ко мне милостива, а Бирон пускай злобится. Ныне вот гвардия в столицу вошла, так можно и начинать...

Петр Михайлович Еропкин советовал:

— Может, народу свистнуть, чтобы с дубьем сбежался?

Волынский отнекивался. Соймонов кряхтел, вздыхая:

— От таких дел важных простолудье не следует отвергать. Мы только на уголек горячий фукнем, а народ-то пожар дальше раздует так, что... ой-ей-ей!

Но Волынский народа боялся, говоря:

— До дел коронных людей подлых допускать нельзя... Не бунт нужен, а переворот престольный, какие во всех королевствах бывают.

Между тем Остерман не сидел сложа руки. Иогашка Эйхлер, ненавистник вице-канцлера, прибегал второпях, выкладывал, какие сплетни по городу ползают. Будто Волынский и его друзья по ночам сочиняют «бунтовскую книжищу», по которой учат народ бунтовать и всех немцев резать.

— Говорят, — сообщал Иогашка, — будто сам ты, Петрович, на место царское сесть вознамерился.

— Совсем заврались! Я наговоров злых не боюсь.

— А разве наговор, что ты пятьсот рублей из казны взял?

— Ну и взял... Ну и верну! Это фон Кишкели гадят... Опасней другое — битье ТрEDIAКОВСКОГО под гербом герцогским.

Слухи росли, будоража столицу. Говорили, что страшные пожары в Москве и Петербурге устроил Волынский, дабы этими поджогами власти устрашить. Выборг с Ярославлем сгорели тоже по его вине! Остерман щедро бросал в это злоречие все новые семена: Волынский подговорил башкир к бунту, отчего и родилось восстание на окраине империи... В сплетнях столичных Артемий Петрович представлял извергом и злодеем, который сознательно вошел в дружбу с Бироном, змеей прокрался в доверие доброй и жалостливой императрицы. Волынский и сам знал, что чистым перед правосудием никогда не был. Взятки брал, народец поборами грабил, случалось, и убивал кое-кого, чтобы жить ему не мешали...

— А они-то каковы? — вопрошал теперь в бешенстве. — Кто судит меня? Я хоть в зрелости совесть обрел, на одних долгах жизнь свою веду. А другие и в гроб за собой последнюю полушку из казны утянут... Нет! Сволочь придворная, меня хулящая, искупительной жертвы жаждет. Во мне они с е б я покарать хотят...

Пришел суровый друг Белль д'Антермони, долго тянул с локтей шершавые краги, шмякнул их на стол перед собой.

— Петрович, — сказал врач, — утихни пока. Скройся...

Волынский отъехал к себе на дачу, чтобы подальше от него вода мутная отстоялась. А на даче было ему хорошо. Здесь тишина и рай.

Среди лесов едва наметилась просека Загородного проспекта, что уводила в слободу Астраханскую и далее — до деревни Калинкиной, куда чины полицейские отводили в ссылку «баб потворенных». Проституция тогда по закону приравнивалась к ночному разбою, и промысел «потворенный» был опасен... На даче Волынского жили тогда шестеро англичан-спикеров, которые недавно привезли ему свору собак для продажи. Здесь же содержались и парижские псы, присланные в дар царице Антионом Кантемиром; псы эти были натасканы так, что умели под деревьями трюфели выискивать. Волынский среди собак всегда хорошо себя чувствовал, играл с ними в саду часами, окликая по именам нерусским:

— Отлан! Трубей! Гальфест... ко мне, подлые!

Собаки в дружеской радости беззлобно валили егермейстера в глубокий снег. А по ночам от дороги слышался скрип. Это качалась под ветром старая виселица. Клочок веревочной петли еще болтало по ветру, и под этот скрип поздно засыпал кабинет-министр. Снились ему сны — холодные, бесстрастные. Невестами он уже перестал заниматься, да и отказали ему в доме графов Головкиных:

— Молода еще невестушка... пушай подрастет.

Где же молода, ежели стара? Двадцать лет девке.

Не хотят родниться! Видать, карьера шатается...

Под скрипы виселицы он раздумывал: «Ништо! У меня в запасе на крайний случай волосатая баба имеется... Подарю ее царице, и все враги рядом умолкнут»... Виселица скрипела, проклятая.

Вокруг Бирона и Остермана сбивалась в масло рыхлая простокваша русской знати, униженной от немцев и оскорбленной, которая не могла простить Волынскому его высокого взлета... Князь Дмитрий Боброк, что выехал в XIV веке на Русь с Волыни, дав начало русской фамилии Волынских, потерял потомство свое в глухой чащобе времен давних. А в «Бархатной книге» о Волынских вообще сказано: «Сей род пресека...» Пресекался? Кто же он тогда, этот кабинет-министр, который шумит больше всех? За что ему такая фортуна завидная?.. Слухи о «бунтовской книге» Волынского перепугали вельмож. А сплетни о «Генеральном проекте» переустройства всей системы государства вгоняли вельмож в отчаяние. Привыкли уже воровать и грабить, насильничать безнаказанно. Случись, проект Волынского государыня одобрит — тогда прощай привычная жизнь. И русские стояли в карауле на страже Бирона и Остермана, готовые принять на себя нападение конфидентов...

— Вообще я сглупил с Волынским, — признавался теперь Бирон. — Это человек, которому прежде надо высадить все зубы камнем, а потом уже с ним разговаривать. Плуту один конец — веревка!

На Пасху святую разговляться к Волынскому придворные уже не ехали. В тоске лютой христосовался кабинет-министр с Кубанцем своим, с дворней, с дровосеками и конюхами. Конфиденты, ради осторожности, более не собирались в доме его. От стола с куличом и пасхой, оставив детей играть с «крашенками», Артемий Петрович махнул на лошадях прямо к Миниху — врагу своему! Косо они глядели друг на друга после кровавой осады Данцига, после бездарного штурма при Гегельсберге... Но Миних-то — враг и Бирона, потому Волынский просил у фельдмаршала заступы перед гневом растущим. Миних долго соображал, потом решил:

— Зла не таю, хотя ты, Волынский, немало повредил мне во мнении перед Бироном. Так и быть, заступлю слово за тебя перед государыней.

Анна Иоанновна на «заступление» ответствовала Миниху:

— Не пойму, из-за чего сыр-бор разгорелся? Волынского я знаю как облупленного. Вспыльчив и шумен, но служит настырно, охотно. Нешто я поверю, будто он Выборг и Ярославль поджигал? Глупцы гордят несуразное... Пусть он служит и не тужит!

Шпионы герцога кинулись сразу к Бирону с доносом:

— Волынский-то ужом извернулся, в дом Миниха пролез, милость себе сыскал у графа, теперь они сообща вашей высокой светлости у престола самого мерзничают...

Бирон поделился с Рейнгольдом Левенвольде:

— С Минихом, который силен в своем закоренелом невежестве, мне сейчас не справиться. Но с императрицей о Волынском всегда сталкиюсь. Кабинет-министр не так уж чист, каким рисуется ныне. Его грехи следует копать с Казани... по конюшням, по зверинцам!

От академического врача Дювернуа герцог потребовал точного протокола об избиении ТрEDIAKовского. Врач охотно подтвердил, что спина поэта измолочена палками от самого копчика до лопаток. К тому же левый глаз сильно отечен от удара кулаком.

— Вот и отлично, — сказал Бирон, протокол к себе забирая. — Поэты иногда очень нужны для дел прозаических...

Из далекой Дании уже ехал в Россию человек для Бирона нужный, Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, лакей угодливый, дружище бессовестный. Навстречу ему был выслан из Петербурга с гонцом указ: Бестужев заранее производился в действительные тайные со-

ветники. А это очень большая шишка! В таком же чине по Табели о рангах состоял и сам герцог Бирон — по званию обер-камергера. Два сапога — пара. Вот они столкнутся, что делать дальше...

В марте месяце, шума не делая, арестовали Василия Никитича Татищева, отвели его в Петропавловскую крепость на расспросы. Иогашка Эйхлер принес эту новость Волынскому.

— Я уже вызнал, Петрович: его о нас не пытаются. У него свои дела — по Оренбургу, по Самаре, по горе Благодати, дрался он с обер-бергмейстером Шенбергом, не давая ему Урал для Бирона разворовывать...

Татищев сидел под семью замками, изнемогая в борьбе непосильной, и печалился из заточения в таких словах: «...от злодеев мощных исчезе плоть моя, и вся крепость моя изсье, яко скудель...»

Молчи, Никитич! Ты себя уже с п а с!

В конце марта разом подобрела природа, повела зиму на уклон, солнце щедро обрызгало столицу. Под первыми его лучами начали таять купидоны на крыше Ледяного дома, намок и отвалился хобот слона, растаяла чалма белоснежная на голове ледяного перса, перс этот растолстел, расплылся, обрюзг и... не стало его. Ледяной дом всю весну простаивал настежь — входи и бери что хочешь. Но воровать не хотелось: что ни скради, а домой принес — одна лужа останется. Так вот, сама по себе, умирала под мартовским солнцем удивительная красота зимы русской и таланта умельцев русских...

Настал апрель, и зазвенели рассыпчатые ручьи.

Весна румяная предстала!
Возникла юность на полях;
Весна тьму зимню облистала!
Красуйся все, что на землях.
Зефиры тонки возвевают,
На розгах почки развивают.

Заботливые отцы семейств уже запасались свежими розгами для нравоучения чад любимых. До чего же хорошо сечь ближнего своего по весне, когда все в мире поет и расцветает, жизни радуясь!

Вот и кошки окотились в столице. Почасту ходили горожане по улицам, а из-за ворота шубы торчала смешная рожица котенка. Несли петербуржцы котят в забаву детям (под мышкой — пучок розог).

Весна, весна... Ах, как дышится весной!

Глава седьмая

9 апреля маркиз Шетарди отметил в письме к кардиналу Флери: «Волынский, третий кабинет-министр, накануне своего падения... двору известно вперед обо всем, в чем могли они его обвинить». В этот же день Бирон навестил императрицу. В руке герцога была челобитная, и он положил ее на стол ее величества. Большая жирная печать краснела ярко внизу бумажного свитка.

Анна Иоанновна пугливо указала на бумагу:

— Не хватит ли новые плодить? И без того тошно.

— Анхен, — отвечал Бирон, — я прошу суда над Волынским. Если не желаешь его судить, тогда... пусть меня судят!

Анна Иоанновна небрежно глянула на челобитную:

— Деретесь-то вы, а судить я должна. Про меня и без того газеты аглицкие пишут, будто все десять лет в крови купаюсь...

Бирон отстегнул от пояса пряжку с золотым ключом:

— Тогда... забирай! Ключ более не нужен мне.

— В уме ли ты! — возмутилась императрица.

— Да. Я возвращаю ключ своего обер-камергерства.

Ну, это уж слишком...

— Ах, так? — возмутилась императрица. — Может, заодно с ключом ты и корону герцогскую на стол мне свалишь? Ведь, если б не я, тебе ее нешивать бы!

Но короны он не свалил. Бирон заговорил официально:

— Ваше императорское величество, всегда был счастлив угодить вам по службе, но сейчас не могу. В вашей воле избрать, кого вам желательней при себе оставить — меня или Волынского?

— Да что он сделал вам, Волынский этот?

— Не мне, а вам! Он оскорбил ваше величество. В записках злоречиво указывал, что престол ваш окружен проходимцами и ворами. А кто стоит близ вас? Я... Остерман... Левенвольде... Корфы... Кейзерлинги... Менгдены... Разве мы плохо служим престолу?

Анна Иоанновна пихнула челобитную под подушку:

— Не хочу читать! Ежели и Волынского на живодерню за Неву отправить, так что обо мне опять газеты в Европах отпишут? Чай, не простого мужика давить надо — персону!

— А я разве уже не персона? — спрашивал Бирон. — Или никого давить нельзя, только меня можно?

— Уймись! Тебя никто и пальцем еще не тронул.

— Послы иноземные иначе отписывают ко дворам своим. Волынский позволил себе избить Тредиаковского в м о и х покоях. Под

моей крышей! Под моим гербом! И этим он нанес оскорбление моему герцогскому дому. Косвенно оскорбление и вам нанесено.

— Мало ли где на Руси людей треплют, — отвечала Анна Иоанновна рассеянно. — В каждой избушке свои игрушки...

Они расстались, не договорясь. Был зван Остерман:

— Андрей Иванович, а что ты о Волынском скажешь?

Остерман знал, что надо говорить о Волынском:

— Я к нему всегда по-хорошему, неизменно ласково. А он на меня рыком звериным, даже кулаком замахивался... Уж и не ведаю, — прослезился Остерман, — за что его немилость ко мне? Я к нему душевно, как к брату. Отговаривал не горячиться в делах государственных, послушать мнение людей опытных... А ведь Волынский еще молодой человек, при ином характере мог бы стать и полезнее! Смущает меня обращение его с чернокнижием... слухи тут разные ходят... Уж и не знаю — верить ли? Да и как не поверить?

Волынский приехал в Кабинет. Эйхлер выносил дела.

— Ну, как? — спросил Волынский, за ширмы глянув.

За ширмами никто не прятался. Иогашка шепнул:

— Не сомневайся, Петрович. Малость перетерпи, все перемелется, и мука будет. Ея величество дело твое при себе держит. Как всегда, под подушку сунула, как неудобное ей... Вынуть?

— Не надо. Еще попадешься. Пускай читает...

Вошел Жан де ла Суда с делами иностранными, нес под локтем парусиновый портфель по интригам шведского королевства.

— Ванька, — сказал ему Волынский, остро глядя, — а что ты в утешение мое скажешь? Что у Остермана колдуют?

— Все волнуются, что ты в проекте начертал. А пуще всего шум идет от твоих записок, кои ты, Петрович, в назидание царице подавал... о подлецах, ее окружающих!

Иогашка Эйхлер направился в секретную экспедицию, комнаты которой были рядом с Кабинетом.

— Жаль, — сказал на прощание, — что мы не отговорили тебя, Петрович, подавать записки эти. Ох, как от них бесятся!

— Один только человек советовал мне записок не подавать. Да и тот раб мой верный — Кубанец. Выходит, что раб-то умнее господ оказался... Ну, не беда! Мы еще не свалились...

Коты за разумность свою и чистоплотность похвальную издавна на Руси особым почтением пользовались. Цари московские так их жаловали, что заезжие живописцы даже портреты с котов царских писали.

Теперь смотрят они на нас, сытые усачи, с гравюр старинных — из глубины веков. Бывало, что коты и гнев монарший вызывали, ежели тащили со стола хозяина снедь царскую. Уловленные на месте преступления, осуждались коты на смертную казнь через повешение. Но в миг последний, уже под виселицей стоя, узнавали коты-герои милость царскую. Казнь заменялась котам пожизненной ссылкой. И, горько мяуча, уезжали коты под конвоем стрельцов в глухие деревни. А там они очень скоро забывали блеск и тщету мира придворного, заводили драки с соперниками в делах амурных, и вообще ж и л и... Со времен давних всех котов на Руси привыкли называть Василиями или — именито! — Васильичами.

Коли вельможа кота заводил, он его посильно ублажал. Оттого-то по дворам Петербурга ходили особые мужики, которых называли кошатниками. Они промысел верный имели, торгуя для котов сырую печенку. О приближении кошатников узнавали заранее, ибо мужики эти на улицах громко мяукали. Печень же на потребу котов барских шла непременно сырая, свежайшая, обязательно бычья.

— Мяу-у... мяу! Мрррр... мяу-у, — разносилось по утрам под окнами. — Купите для Васеньки... А вот печенка для Васильича! Мррр... мрррр... мяу! Не обидьте своего Васеньку...

Услышав такие призывы, Кубанец надвинул поперх парика треух лакейский, открыл двери на крыльцо. Бренча медью, хотел он — по чину маршалка — пропитание купить для любимых котов господина своего любимого... Кошатник сегодня торговал незнакомый.

— А дядя Агафон чего не торгует? — спросил его Кубанец.

— А чем я плох? — отвечал кошатник. Был он мужик ражий, с бородою черной, с искрою ума в глазах. — Эвон, — сказал Кубанцу, — отойдем к забору, а то лоток тяжел, прислонить негде ..

Отошли они подале от дома. Кубанец стал ковыряться в парных кусках бычьей печенки. А кошатник сказал ему:

— Вот этим-то лотком да по башке тебя...

— За что?

— А вот ежели пикнешь!

Подъехали мигом санки казенные, кошмами глухо крытые. Сильные руки втянули дворецкого внутрь возка, и санки понеслись. Два господина сидели по бокам от маршалка, предупредили:

— Ша! Теперича не рыпнись... Слово и дело!

Санки Тайной розыскных дел канцелярии дорог не признавали. Лошади смело ухнули на лед Мойки, мчали рысью до Фонтанки. А потом привычно завернули налево, неслись в ржанье и топоте вдоль

арсеналов пушечных, мелькали черные деревья Летнего сада, и вынесли сани в простор — на Неву! Кубанец даже обомлел — кони рвали грудью ветер, закидывали гривы набок, а впереди уже росла крепость Петропавловская. Санки со свистом пролетели под Петровские ворота, из ниш которых глядели Беллона с Минервою; вот и кордегардия, вот и караульни, вот и костры... Тайная канцелярия!

Ушаков увидел перед собой калмыка в богатом кафтане. Встретил на себе упорный взгляд глаз Кубанца — раскосых и хитрых.

— Да-а, — начал Ушаков издалека, — я вот таких кафтанов, какой у тебя, смолоду не нашивал. Сядь-ка, милый, послушь меня, старика... Бедный я, сиротинкой остался! Помню, четверо нас, братиков Ушаковых, без отца, без матушки возрастали. А владели мы — дворяне! — всего одним крепостным, коего, как сейчас помню, Анохою звали. И был у нас на четырех дворян и одного мужика токмо един балахон холстяной. В лаптях-семиричках я с девками по грибы хаживал, и теми грибами мы скудно кормились. Сушили их на зиму, солили... Бедность! А теперь, — сказал великий инквизитор, — Боженька почел за благо меня возвеличить... Сядь, не торчи!

Кубанец сел. Ушаков витийствовал далее:

— Ты как думаешь, парень? Коли в Тайную по «слову и делу» попался, так тебе сразу здесь кости расчлнять станут? Или утюгом горячим по спине гладить?.. Не верь, братец. Пустое! Это вредные слухи ходят. На самом деле, мы состоим тут по указу государыни для подаяния людям самой первой и самой неотложной помощи, чтобы на верный путь заблудших наставить...

Кубанец отмалчивался, весь в страхе. Но собою калмык хорошо владел, и это Андрею Ивановичу даже понравилось.

— Ты вот что, Василь Василич, — спросил он его, — отвечай мне по чистой совести: у тебя голова когда-нибудь болит?

— Нет, — кратко сказал Кубанец.

— А у меня иной день просто разламывается, — пожаловался Ушаков: запустил он пальцы под парик, гладил лысое темя. — Нуждаюсь я, — вздохнул он. — Нуждаюсь от жалости к людям... Эки они дурные и глупые, с ними забот не оберешься. С того, видать, и болит моя головушка, что уж больно люди глупые стали...

Ярко блестели глаза раскосые. Ушаков спросил:

— Ну, ладно. Расскажи, как далее жизнь свою строить будешь? Одет ты красочно. Сыт вроде. Не заморил тебя господин твой... Но по глазам вижу: нету счастья тебе, и не будет! Какое ж счастье в рабстве подневольном? А ведь мог бы ты... мог бы, — намекнул Уша-

ков, — жить по-людски. Тебе бы жениться впору... домок займешь... торговал бы... крупами, скажем!.. Детишек бы в люди выводил. Глядь, и в старости тебе утешение...

Кубанец разомкнул темные, как старая медь, губы:

— Рабства не дано избежать.

— Избежать единой смерти не можно, — отвечал Ушаков, доставая бумагу и перья. — А от рабства бежать легко, ежели с умом быть. Вот ты и садись теперь... садись и пиши!

— Чего писать-то мне? — обомлел Кубанец.

— Как пятьсот рубликов для господина своего взял на Москве после конгресса в Немирове... Какие книжки чёл господин твой... кто бывал у него... что говорили... Вот и напиши!

— А потом? — спросил его Кубанец.

— Потом из рабства высвободишься. И сто рублей получишь от щедрот наших. Как же! Я понимаю: без денег новой жизни не учнешь. Опять же, невесту приискать... домок построить...

Кубанец решительно окунул перо в чернильницу.

— Ваше превосходительство, — отчеканил он, — а я ведь знаю о Волынском даже такое, что он сам позабыл. И секретов от меня господин мой никогда не держал, ибо я раб ему верный...

— Теперь ты мой раб, — сказал Ушаков, смеясь. — Пиши, голубь, не спеша. Не размашисто. Время у нас есть, слова свои обдумай...

Волынский ходил по горницам, расталкивал коленями стулья, кидался на диваны, замирал в дремоте. Снова вскакивал:

— Кто мне скажет, куда делся Кубанец? Душа горит, а душу отвести не с кем... Где он, раб верный, друг милый?

— Не ведаем, — отвечала дворня. — Вышел воутресь, чтобы у кошатников печенки купить... Коты сей день не кормлены. Воют. А щец налили от челяди — носы воротят... Зажрались!

На лестницах раздался шаг гулкий, звенели шпоры, и вошел в покои сам великий инквизитор. Ушаков сказал Волынскому:

— По высочайшему повелению объявляю тебе, обер-егермейстер, что отныне, с этой Страстной недели, когда и Господь наш страдал, тебе запрещен проезд ко двору государыни нашей.

Повернулся и ушел. Внизу бахнула промерзшая дверь.

— Неделя Страстная, — сказал министр. — В страданиях...

Заметавшись, кинулся к Бирону, но тот его не принял.

От Мойки завернул лошадей на Зверовой двор, где много лет томилась взаперти редкостная «баба волосатая».

— Ну, Марья, — сказал Волынский, — пришла нам пора с тобой разлучаться. Бороду расчеши гребешком, и поедем...

Анна Иоанновна подарка не приняла, «бабу волосатую» отвели под караулом за Неву — прямо в Академию наук. Там ее изучали сначала географы, долго возились с нею и астрономы. После чего от астрономов перешла «баба волосатая» на изучение ботаников. Тут ее следы и затерялись на веки вечные...*

Наверное, вырвавшись из клетки зверинца, несчастная женщина, почувя свободу, просто бежала от ученых в деревню свою. А там состригла себе бороду и стала жить, как все люди живут.

Глава восьмая

Меч уже занесен над головою Волынского — надо теперь верно направить удар его по шее... Остерман заявил Бирону:

— Мы, немцы, не должны в этом деле рук пачкать. Про нас и без того в Европе слухи плодят, будто мы Россию изнасиловали... Нет, — подчеркнул Остерман, — с русскими пусть сами русские и расправляются! А мир увидит чистоту и справедливость нашу...

Бирон снова падал на колени перед императрицей.

— Волынский или я! — взывал он.

Князь Куракин кликушествовал в аудиенц-каморе:

— Великая государыня, исполни предначертанье дяди своего, Петра Великого: сруби ты кочан дурацкий с корня гнилого...

Бирон напоказ перед всем городом стал укладывать свои богатства в обозы, будто собираясь отъехать на Митаву для княжения, и тогда Анна Иоанновна, напуганная разлукой с ним, указала:

«Понеже Обер-Ягермейстер Волынской дерзнул Нам, своей Самодержавной Императрице и Государыне, яко бы нам в учение (*советы подавать*)... также дерзнул в недавнем времени в самых покоях, где Его Светлость владеющий Герцог Курляндский пребывание свое имеет, неслыханные насильства

* Издавна работавшие в России живописцы супруги Гзели написали с этой русской «Юлии Пастраны» портрет, находившийся в Академии наук; они же оставили нам и портрет самого А.П. Волынского, по заказу которого, очевидно, был писан и портрет «волосатой бабы», вполне годный для Кунсткамеры, где уже был портрет петровского великана Буржуа (Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР). Особо следует отметить, что содержание живых монстров при Академии было запрещено лишь в 1746 г. указом императрицы Елизаветы Петровны.

производить (*намек на избиение Третьяковского*)... многие другие в управлении дел Наших немалые подозрительства в непорядочных его поступках на него показаны...»

И повелела «того ради» особую Комиссию назначить!

Избрали в нее генералов: Григория Чернышева, Александра Румянцева, князя Василия Репнина, Петра Шипова и конечно же Андрея Ушакова. Из тайных советников выбрали Василия Новосильцева, Александра Нарышкина и Ваньку Неплюева, который еще с конгресса Немировского был злым врагом Волынскому. Добавили в судьи князя Никиту Трубецкого, мужа Анны Даниловны, и колесо фортуны человеческой завертелось в другую сторону...

Судьи все русские! Но что с того, что они русские?

Справедливо говорил покойный Тимофей Архипыч:

«Друг друга поедом они жрут — и тем завсе сыты бывают...»

Лучше бы немцы судили — все не так обидно!

Ушаков наложил на Волынского арест домашний.

— Сидеть тихо, — повелел он. — Пылинки в дому своем не смей сдунуть. А детей и дворню я тоже под замок сажаю.

В дом вступил караул, поручик Каковинский спрашивал:

— За что, господин высокий, гнев на тебя изливают?

— А за то, братик, за что и на тебя можно гневаться. Я против немцев в правительстве русском! А ты мне ответь — разве чужих людей в доме своем возлюбил бы ты? Рассуди сам, поручик, какая жизнь при дворе стала: приманят куском да побьют хлыстом...

Ввел он Каковинского в задумчивость. Пока солдаты досками окна ему заколачивали, Волынский детей своих позвал:

— Помогайте батьке своему...

Сын с дочерьми печи растапливали. Бросали в огонь бумаги отцовские. Волынский свой «Генеральный проект о поправлении России» на листы терзал, швыряя их на прожор пламени. А сам плакал, плакал... Сколько бессонных ночей, сколько восторгов пережил, сколько помыслов породил! Желал для страны родной блага, а теперь, словно вор, утаивать должен сочиненное.

Книги из библиотеки жечь — рука на это не поднялась:

— Пусть стоят! Хотя, сам знаю, книги не нашего времени. Их раньше или позже нас иметь можно. А сейчас крамольны они...

Не удалось сжечь только бумаги из сундуков, ключ от которых у Кубанца хранился. Караул загнал Волынского в кабинет с забытыми

окнами, возле дверей — часовые. С детьми министра сразу же разлучили. Просил он допускать до себя доктора Белль д'Антермони и тех нищих, которые с улицы подаяния просят. Но Ушаков велел нищих штыками от дома гнать, а врача обещал... дворцового!

Явился Рибейро Саншес.

— Что с вами? — спросил любезно, в глаза заглядывая.

В потемках комнаты трещали толстые сальные свечи.

— Душою мечусь... весь горю... Света жажду!

Рибейро Саншес сказал:

— Успокойте свое высокое достоинство. Или вы не знаете, в какой стране живете? Кто здесь меж нами безопасен?

— Волк среди волков — вот кому хорошо живется.

— Против вас, — шепнул ему Саншес, — собралась такая стая, в которой и волку не ужиться... Рецепт мой апробируют в канцелярии Тайной, я вам советую капли для успокоения природы.

— На что мне капли ваши? Дали б сразу яду.

— Капли хорошие... бестужевские! — сказал Саншес.

При имени врага, едущего из Копенгагена, чтобы его в Кабинете заместить, Артемий Петрович вскочил в ярости:

— От капель злодея сего не будет мне успокоения... Яду!

В шестом часу утра за Волынским приехала карета. С конвоем повезли министра в Литейную часть, прямо в Итальянский дворец, что строен был Петром I для своей Екатерины. Стыли под снегом оранжереи, в лед Фонтанки вморозило от зимы корабль, стоявший в гавани Итальянской; вокруг недостроенных фонтанов краснели груды битых кирпичей, неуютно здесь было...*

Волынский, увидев перед собой Комиссию, тихо удивился: в числе судей заседал и конфиденент его — Василий Новосельцев; а подле него подлый Ванька Неплюев сиживал в теплой шубе. Начали судьи, как водится, с восхваления мудрости Анны Иоанновны, которая сомнению подвержена быть не может. Зачитали вслух «предикту», и с голоса читавшего предисловие к процессу Волынский легко уловил знакомый штиль письма Остермана.

* На месте дворца и гавани в Итальянском саду Д. Кваренги позже создал возле Аничкова моста внушительное здание Екатерининского института (1804—1807), в котором сейчас расположен филиал Публичной библиотеки Санкт-Петербурга. Парк был ликвидирован еще в 1803 г., и тогда же были проданы с аукциона его старинные деревья.

В его сознании вязко осели подхалимские слова:

«...понеже, — писал Остерман, — весь свет с праведным прославлением признает дарованное от всемогущего бога ея величеству высочайшее достоинство и просвещенный разум, мудрость Анны Иоанновны и ея проницательность, то предерзостные рассуждения Волынского весьма неприличны и оскорбительны!»

Именем Божиим на Руси всегда престол заслоняли.

Тут Ванька Неплюев как с цепи сорвался и — полез.

— Отвечай нам, — кричал он министру, — что ты против Остермана имеешь и почто угождать ему не желал?

Волынский сел, но ему сказали, чтобы он встал.

— Ладно. Постую. А против Остермана я и правда что зло имею. Он только себя почитает способным для управления государством и других никого не подпускает. А когда я по чину кабинет-министра дела делал, то Остерман по городу ползал и всюду сказывал, что Волынский ему Россию испортит...

Ушаков улыбнулся хитренько:

— Скажи, Петрович, отчего ты рабу своему Кубанцу возвещал о материях непристойных, до государыни нашей касающихся?

Новосельцев, кажется, подмигнул. Или показалось?

Волынский долго молчал. Ответил Ушакову с горечью:

— Л ю б л я е г о... гаденыша!

Ушаков, премного довольный, засмеялся. Волынский тут сразу ощутил, что великий инквизитор знает многое. И от этого он малость заробел, но гордости не потерял. Подбородок холеный с ямочкой задирал перед судьями, взирая на генералов свысока.

Чернышев в бумажку фискальную глянул:

— Однажды Кубанец тебя спрашивал: «Что-де изволите сидеть печальны?» На что ты отвечал ему так: «Сижу-де я и смотрю-де я на систему нашу... Ой, система, система! Подохнем все с этою системой нашей!» Вот ты теперь и скажи Комиссии: какая такая система не по вкусу тебе пришлось и на што ты ее охаивал?

Ушаков вопрос генеральский дополнил:

— После же лая на систему монаршу ты Кубанцу хвалил системы, где власть венценосцев республиканством ограничена.

Волынский дерзко расхохотался в ответ:

— Я демократии не добытчик! А вы, коли назвались в судьи, так не все ловите, что поверху воды плавают...

От иных же вопросов Артемий Петрович даже отмахивался:

— Не желаю говорить! О том государыня от меня ведает...

А коли судьи настырничали, он вообще замолкал.

Никита Трубецкой из-за стола тоже на него потягивал.

— Отчего, — спрашивал, — ты считал, что страна наша, благоденствуя при Анне Иоанновне, в поправлении через твои проекты нуждается? Ведь ежели все хорошо, тогда к чему же исправлять?

Волынский отвечал князю Трубецкому:

— Спроси о том у Анны Даниловны своей, даже она ведает, что не все хорошо у нас, как это тебе сейчас приснилось...

— А зачем ты спалил проект свой? — спросил Ушаков.

Вопрос дельный. Волынский отговорился:

— Стало быть, уже не нужен он более...

Держался он молодцом, чести ни разу не уронил. Голову нес высоко. А судьи его спрашивали:

— Твое ли дело государыню в записках поучать?

— Ежели она герцога и Остермана слушает, — отвечал Волынский, — то я не дурее их себя считаю...

Ванька Неплюев, греясь в шубе, руками всплескивал:

— Страшно слушать мне слова твои бесстыдные!

— Истинно говорю! — давал ответ Волынский. — А тебе, холопу, видать, и правда что страшно честные слова выслушивать...

Генерал Чернышев завел речь об избииении Тредиаковского в покоех его курляндской светлости:

— На што ты герцога этим актом унизил?

Унижение же поэта в вину ему не ставили...

— Чую, — отвечал Волынский, — что пятьсот рублей и битва моя с Тредиаковским только претекстом служат для иных обвинений. И вы, судьи, сами знаете, что собрались здесь меня погубить... В паденье моем вы все легки рассуждать. А ведь я еще не забыл — помню, как вчера вы передо мною на задних лапках бегали!

— Ох, и боек же ты! — прищурился Ушаков.

Артемий Петрович по довольству его ощутил, что инквизитор карты свои еще не раскрыл. Пока что игра идет вслепую. Сесть Волынскому так и не позволили. Не доспал. Не завтракал. В полдень судьи удалились ради обеда, но его с собой не позвали. Допрос затянулся до двух часов дня. Покидая под конвоем дворец Итальянский, Волынский, не унывая, судьям рукой помахал:

— Вы это дело со мной кончайте уж поскорее!

На что суровейше ему отвечал Румянцев:

— Мы сами заседанию своему время избирать станем. Дома ты явись в скромность, а завтрава лишнего нам тут не плоди. Ответа ждем генерального и без плутований лукавых.

— Затаил ты злобу на Остермана, — добавил Неплюев.

— Плывет он каналами темными, — крикнул ему Волынский. — Без закрытия дверей Остерман даже с женою не общается.

На что ему угрожали судьи:

— Гляди! О таких делах, каково Остерман с женою общается, судить не пристало, и о том будет нами свыше доложено...

А пока Волынский в Комиссии пребывал, в доме его учинен был погром полный. Все книги забрали в Тайную канцелярию, увезли на возах. Бумаги из сундуков до последнего клочка выгребли...

Вечером Ушаков предстал перед императрицей:

— Матушка! Смотри, что мы нашли в дому Волынского...

Анна Иоанновна глянула и схватилась за сердце:

— Ах он... супостат такой! Пригрела я змия...

Десять лет прошло с той поры, как она в Кремле московском кондиции разодрала. Одним решительным жестом добыла тогда для себя власть самодержавную. Теперь же Ушаков снова тряс перед нею те самые кондиции, что должны ее власть ограничить.

— Слышала я, — сказала императрица, — что весел был сегодня Волынский в суде. Видать, на милость мою надеется. Но я таким кондициям не потатчица... Кто еще писал с ним проекты?

Ушаков вернулся в крепость. Увы, «Проект» был сожжен.

При обыске сыщики обнаружили только черновики к нему.

Велел доставить из заточения Кубанца.

— Сулил я тебе свободу от рабства и сто рубликов обещал. А теперь, — сказал Ушаков, — вижу из дела, что свободы тебе не видать. И не сто рублей, а сотню плетей от меня получишь.

Кубанец посерел лицом, глаза его забегали:

— Сушую правду показал на господина своего.

— Нам одного господина мало! Садись и пиши...

— Что прикажете?

— В с е, что помнишь, пиши мне...

Ваньке Топильскому инквизитор сказал:

— Соймонова с Мусиным-Пушкиным брать пока не след. Сейчас ты с солдатами поезжай и хватай Хруцова с Еропкиным. Кстати, вспомню я, что шут Балакирев плетет тут разное... Видать, мало мы его драли. Навести-ка его да припугни кнутом хорошим!

Хрущов на допросах держался спокойно. Ушаков от Кубанца уже знал, что инженер целые куски от себя в «Проект» Волынского вписывал. Но сейчас это отрицал.

— Собирались, верно, — признавал он. — Так не звери же мы? Чай, люди. А людская порода сборища обожает. Было у нас время-провожение весьма приятное и открытое. В бириби играли, о деревенских нуждах грустили... Да мало ли еще что?

— Ну, ладно, — ответил ему Ушаков. — Ты теперь не стремись домой скорее попасть. Посиди у нас да в темноте подумай...

— О чем думать-то мне в потемках ваших?

— Четверо детишек у тебя, — намекнул Ушаков. — Без отца, без матери трудненько им жить придется. Никто сиротинок не пожалеет.

Еропкин душою был гораздо нежнее Хрущова, и опытный зверь Ушаков сразу это почуял... Признавался архитектор:

— Это так, что Волынский проект свой читывал. Но не мне одному, а всем сразу. Даже девка одна была, помнится...

— Как зовут девку? — сразу вклинился Топильский.

— А что?

— Здесь мы задаем вопросы. Отвечай быстро!

— Девку-то как зовут? — кричал Ушаков.

— Варвара, кажись.

— Откуда взялась?

— Не помню.

Теперь на него кричали с четырех сторон комнаты:

— Вспомни! Быстро! Отвечай сразу! Не думая!

— Дмитриева Варвара... камер-юнгфера Анны Леопольдовны.

— Ага! — обрадовался Ушаков. — Ванька, ты это запиши...

Еропкин пристыженно замолк.

— Чего молчишь? Далее. Ну читали... Что читали?

— Читали, а я слушал. В одном месте даже поспорили.

— Из-за чего? — спросили сыщики.

— Зашла речь о царе Иоанне Грозном, которого Волынский в проекте своем прописал тираном народа и погубителем...

— Ванька, — кивнул Ушаков, — запиши и это!

Вообще Еропкин оказался болтлив; жизнь русская не научила его молчать, архитектор еще не дорос до престонародной мудрости, когда мужики и бабы, попав под «слово и дело», твердо держались одной исконной формулы: «Знать не знаю, ведать не ведаю». Добровольно, к тому не побуждаем, рассказал Еропкин допытчикам о своем разговоре с Волынским о строениях древнеримских:

— Вот-де неаполитанская королева Иоанна себе загородный дом велик построила, который в большой славе был, а ныне тот дом ее можно почесть совсем рядовым между простых домов нынешних.

Ушаков поначалу даже его не понял:

— Это ты к чему нам? Про дом-то заливаешь...

— А к тому, что все такое, что кажется современникам знатным и чудесным, позже в забвении обретается. Так и царствования иные: гремят немало по свету, а потом крапивою порастут.

Ушаков знал, как такие фразы в крамолу переводить.

— Значит, — спросил, — по разумению твоему, и царствование Анны Иоанновны нашей тоже в крапиве затеряется?

Зодчий понял, что его славливают на слове.

— Уж каки империи были велики! — ответил. — А... где оне?

— Откуда же ты взял эти опасные для монархии рассуждения?

— О королеве Иоанне всегда с поруганием писано.

— В какой книжечке? — не отлипал Ушаков.

Пришлось сознаться:

— У Юстия Липсия... Тех же времен автор, именуемый Голенуччи, о ней же писал, что она скверно живет, любителей при себе почасту меняет и более беспорядку от нее, нежели порядку.

— Вот ты мне и попался! — захлопнул ловушку Ушаков...

Неаполь далек от России, но сходство королевы Иоанны с русской царицей неспроста. Еропкин и сам понял, что попался.

— Отпустите меня, — заплакал. — В самый разгар жизни уловлен я вами. А лучше меня кто Петербург отстроит?..

Глава девятая

Куда делись его честь и гордость непомерная?

Боже, как низко он пал! Неужели слаб оказался духом?

— Бог разум затмил мне, а вы не имейте сердца на меня...

В зале дворца Итальянского, между судей своих, подлейшим образом ползал Волынский на коленях и молил жалобно:

— Прощения у вас прошу за дерзости свои...

От полу он хватал руку Ушакова, целуя ее.

— Виноваты только горячность, злоба и высокоумие мои, — говорил Волынский и в глаза палачу заглядывал. — Уж не прогневал ли я чем ваше превосходительство?

Чернышеву низайше в ноги он кланялся.

— Не поступай со мной в суровости, — просил его Волынский. — Ведаю, что ты в жизни тоже горяч бывал, как и я, грешный.

Перед Румянцевым униженно плакал:

— Ты ведь тоже деток имеешь. Подумай обо мне, отце заблудшем, и за это воздаст господь деткам твоим...

Ушаков опытнее всех судей был. За многие годы, в застенках им проведенные, он не раз уже наблюдал, как хитроумно изворачивается душа людская, чтобы тело от казни спасти. И... нет, не поверил инквизитор Волынскому! Ушаков понимал, что наступил продуманный перелом. Вчера в запальчивости был перед Комиссией один Волынский, а сегодня предстал другим, как хороший актер в разных сценах. Кабинет-министр сам несколько не изменился, а лишь переменил тактику боя... Волынский еще сражался. Но только другим оружием!

«Поглядим, что далее будет», — размышлял Ушаков...

А далее Волынский начал топить самого Ушакова!

Оговорил и князя Черкасского-Черепуху, выявил слова его хулительные о герцоге Курляндском.

Стал Волынский щедро клепать на других придворных.

Без жалости гробил их!

Судьи прыгали в креслах, все красные... Волынский называл их грехи прошлые, слова заугольные, власть порочащие. Ушакову он кричал (на коленях же перед ним стоя, весь в слезах):

— Вспомни! Или забыл, как ты Остермана втихомолку со мной порицал. А свидетелем того разговора был князь Черкасский...

Злоба прорвалась, когда к Ваньке Неплюеву он обратился:

— А ты, Иван Иванович, клеотур Остерманов. Всем ведомо, что готов ты порты у вице-канцлера выстирать. Словам же твоим Комиссия верить немочна, ибо мы в ссоре с тобою... Враг ты мне!

В одну навозную кучу свалил Волынский обвинения на русских и немцев, на всю сволочь придворную, которая сейчас мучила его, тиранила и унижала... Он не вставал с колен!

И, стоя на коленях, обвинял судей своих.

Ушаков испугался оговора:

— Врешь ты все! Не вводи в смущение, говори дело...

Неплюева колотило за столом от бешенства:

— Я слуга государыни нашей, а ты враг государев. Тебя еще Петр Первый палкой в Астрахани убивал на корабле и хотел в воду бросить. Тогда тебя, изверга, государыня Екатерина спасла...

И стучал кулаком, весь в ярости, генерал Румянцев:

— За поклепы язык вырвем тебе!

Комиссия с трудом направила допрос в нужное русло:

— Представлял ты в записках своих государыне нашей, будто вокруг престола ея собрались одни подлецы, лстящие ей бессовестно.

Но ведь каждый верноподданный стремится у престола выказать восторг свой и свою преданность, и это не лесть! Это долг каждого честного служителя монархии...

Русские, они издевались на русском, сами не понимая, что на д с о б о й же издеваются!

Втащили в залу Итальянского дворца Гришу Теплова:

— Какие гербы на родословном древе ты мазал?

Теплов показал, что мазал картину, себя от страха не помня. А кисть его закрашивала только те места, которые архитектор Еропкин карандашом ему наметил... Гриша был так угодлив в подобострастии своем, что его с миром отпустили.

— Еропкин уже у меня, — сказал Ушаков. — Я его спрошу, по какому праву герб государственный он на тщеславную картину перетащил... Скажи нам, зачем ты землю копал на поле Куликовом?

Отвечал на это Волынский:

— Желал иметь следы битвы предков наших.

— То дело богопротивное, — вступился Ванька Неплюев, перед Ушаковым услужничая. — Нешто можно тревожить грязной лопатой усопших во славу божию? Копание твое в земле — от дьявола!

— Дело не богопротивное, а вполне приличное, — отвечал Волынский. — Даже наука такая имеется, чтобы в земле ковыряться, о чем и в Академии за Невою люди ученые извещены должны быть.

— А кто тебя надоумил род свой от Дмитрия Донского выводить? Ты зачем в родство с государями залезал?

— В родство с Анною Иоанвною я не лезу. А род мой давний, пращурица моя была сестрою Дмитрия Донского...

Ушаков каверзно отомстил Волынскому за оговоры:

— Может, ты и на корону уцелился?

— Глупости-то к чему? Сие умысел недоказанный.

Ушаков сказал на это честно:

— Все не доказано, пока я доказать не взялся. Ты меня вот в хуле на графа Остермана обвинил, а я тебя в заговоре на государыню нашу уличу... Проект ты ловко спалил свой, да черновики в сундуках целы остались. Ключик же от сундуков — вот он, у меня! И прочел я из бумаг твоих, что великого государя Иоанна Грозного ты тираном называешь...

Тихо стало во дворце Итальянском. Волынский глаза на судей поднял, обвел их взором тягостным:

— Ежели бы добр был Иоанн, не звали б его Грозным...

— Велико преступление! — заговорили судьи.

Было особо доложено Анне Иоанновне, что Волынский царя Грозного тираном обзывал, мучительства его над народом описывал. Для начертания же проекта своего Волынский брал у Хрущева и Еропкина подлинные дела, изучал летописи ветхозаветные... Кровь веков прежних перемешалась с кровью века нынешнего!

Анна Иоанновна была искренне возмущена:

— Да как он смел термин скверный к царю применять? Помазанник божий людей не тиранит, а коли царь Иван Василич в гневю когда и являлся, знать, гнев этот был ему от Бога внушен...

Сколько лет минуло с той поры, но тирания Ивана Грозного оставалась еще под запретом. Обо всем с похвалой говорить можно — что Казань у татар воевал, что походы в Ливонию делал, что монастыри любил, но более того не смей! Нельзя сказать, что царь был сумасшедший развратник. Молчи, кто вонзал топоры в животы женщин. Забудь о том, что, когда въезжал царь в город, из каждого окна бабы должны были срамные части свои для поругания на улицы выставить... Волынский тирана и назвал тираном!

За это он тоже судим будет.

.....
Весною 1740 года Петербург рано гасил свечи в домах. Люди хоть и не спали, а в темноте сидели. Слушали, как стучат копыта лошадей, как ерзают колеса по мостовым. Коли повозка возле дома остановится, в страхе ждали стука в дверь, шагов по лестнице и слов ужасных: «Слово и дело!»

Жить было страшно. Волнения крестьян уже полыхали на Руси — за горами, за лесами дремучими. Бунтовали даже монастыри. На окраинах империи являлись в церкви самозванцы. Вещали с амвонов новое, «облегчительное» царство. Солдаты армии и гвардии роптали. Только шляхетство безропотно несло крест свой. На кого же роптать? На самих себя? Десять лет назад кто больше всех орал: «Хотим самодержавия... Казни и милуй нас, матушка, как хочешь!»? Тогда шляхетство горло свое в Кремле драло — зато теперь помалкивает.

Русское дворянство не могло породить Кромвеля...

Бирон желал погубить Волынского и торжествовал, губя его. Но Остерман в интриге своей был тоньше кончика иглы. Ведь, уничтожая Волынского, герцог невольно поднимал Остермана, который — с гибелью Волынского — заодно ослеплял и самого Бирона! При всем этом погубителем Волынского будет считаться Бирон, Остерман же укрылся в тени — незаметный и тишайший, как мудрый паук

в грязном углу кладовки... Такие сложнейшие комбинации может проделывать лишь очень опытный авантюрист!

И ни разу Остерман не прогневался. Никогда даже голоса не повысил. Добренький, тихонький, ласковый, вот-вот помереть готовый, он при дворе даже слезу пускал по Волынскому:

— Человек был карьерный, а сам все погубил... Жаль! Мог бы с честью государыне нашей услужить...

Ослепленный яростью к Волынскому, герцог уже не сознавал, что проливает целую Ниагару на мельницу, работающую в пользу Остермана... 19 апреля Бирон встретился с императрицей:

— Анхен, ты прочла мою челобитную?

— Нет.

— Я так и думал: Волынский тебе дороже меня.

— Друг мой, да нет никого ближе тебя и роднее...

— Это все слова. Но если раньше я просил суда над Волынским, то теперь прошу казни... Вот, выбирай!

Он положил перед ней две бумаги.

Это были черновики указов государственных о казни.

В первом указе перечислялись все вины Волынского — со слов Бирона! — и Волынский присуждался к смерти.

Во втором указе перечислялись все вины Бирона — со слов Волынского! — и Бирон присуждался к смерти...

— Дело за топором, — сказал герцог. — В воле вашего величества подписать любой из этих указов. Я уже говорил вам в прошлое свидание, что... я или Волынский!

Шлейф плаща герцога, словно хвост змеи, вильнул в дверях и скрылся за ними. Послышался шаг Бирона — шаг четкий, мужественный, удаляющийся от нее. Анна Иоанновна растерялась:

— Воротите его! Скороходы, бегите за ним...

Разбрызгивая лужи весенние, скороходы нагнали герцога.

Бирон вернулся и рухнул перед Анной на колени:

— Я, наверное, не прав. Но я собрался уехать.

— Куда? Опять в Митаву?

— Нет. Дальше — в Силезию...

Бирон упал головой в колени царицы. Умри сейчас она — и надо ждать перемен. Волынский может взлететь еще выше, а тогда голова герцога первой покатится с эшафота. Потому-то Волынского надо уничтожить как можно скорее. Пока императрица еще жива!..

Рука Остермана, хилая и немощная, направляла руку герцога. А рука Бирона, грубая и волосатая, двигала к чернильнице с пером пухлую руку Анны Иоанновны...

— Гей, гей, гей! Волынского — за Неву, в крепость!

Но по Неве поплыли, грохоча и сталкиваясь, громадные льдины. Временно Волынского и прочих поместили в крепости Адмиралтейской, где пытошных застенков не было. Ждали, когда пройдет лед, чтобы везти их за Неву... Именно там жили мастера пытошного дела.

Ванька Топильский сообщил радостно:

— Опять бумажки попросил. Я ему свечку и чернила в камеру велел подать... Пишет! Еще как пишет-то!

Кубанец писал, каждый донос начиная словами: «Еще вспомнил и всеподданнейше доношу...» По столице ездили черные возки, арестовывая людей. Дело Волынского и его конфиденентов отобрали от судей Комиссии и передали его в Тайную канцелярию.

Ванька Неплюев приставал к Ушакову:

— Андрей Иваныч, не дай тебя покинуть, родимый. Очень уж мне по вкусу пришлось дело следственное. Позволь, и я для тебя в деле Волынского добровольным усердником стану...

Ушаков «усердника» этого строго предупредил:

— Дело нелегкое! Предстоит и при пытках иметь присутствие. Иногда кровища тут... кал из людей выходит... вонища... вопли... пламя из горнов пышет... Выдержишь ли, Иван Иваныч?

На все готов «усердник», лишь бы Остерману услужить! Стали они трудиться на пару. Два Ивановича тащили под топор разных там Петровичей, Михайловичей и Федоровичей... Трижды прав юродивый Тимофей Архипыч — таким людям хлеба не надобно!

А из отдаления древности звучало: «Дин-дон... дин-дон... царь Иван Василич!»

Припелся во дворец старый, опытный шут Иван Балакирев. Было в жизни шута всякое, и устал он от жизни беспокойной. Балакирев уже побывал в зубах Тайной канцелярии, на одном лишь юморе из-под кнута палачей выскакивал. Но теперь... х в а т и т!

— Матушка, — стал он просить императрицу, — деревеньки мои захудалы больно, отпусти ты меня родину повидать.

— Уедешь, а кто меня потешать станет?

— Матушка, да я еще веселее вернусь обратно...

Она его отпустила.

— До деревень и — обратно! — наказала.

Балакирев спешно узлы увязал, сундуки набил, погрузил добро на телегу. Уселся рядом с мизерной женой и взмахнул кнутовищем над лошадьми. Это было бегство. Балакирев даже дом в Петербурге

бросил. Он понимал, что с делом Волынского заплачет по топору и его шея... Умный человек, он скрылся навсегда в глуши провинции. С этой весны 1740 года о Балакиреве — ни слуху ни духу. Больше в столице его никогда не видели. Даже год кончины шута остался для истории неизвестен.

Но сохранились смутные предания, будто Балакирева еще в царствование Екатерины II видели в Касимове... Старый уже, но веселый, с трубкою в зубах, он сидел возле дома в валенках, сушил свои кости на солнце среди громадных касимовских лопухов... А по улицам, наверное, проходили офени и торговали лубки красочные, на которых Балакирев был изображен молодым и отчаянным, с балалайкой в руках, пляшущим...

Слава о нем дошла и до дней наших!

Глава десятая

Волынский взял с собою в крепость из золотых вещей только часы, табакерку, кольцо, червонец и три запонки. Из серебра с ним было — кувшин, поднос, три ложки, два ножика и солонка. Из одежды взял шубу (овчина под сукном), два тулупа, чтобы не мерзнуть в камне, штаны атласные, балахон канифасный. Повез в каземат одеяло камчатное, пуховик, три подушки и бельишко нижнее. Расположась в камере, он кашу себе сварил...

Волынский двояким перед Комиссией уже побывал. Один гордец заносчивый, еще не веривший в закат своей судьбы. Другой в ногах у судей валялся, руки палачам лобызал. Те игрушки отныне кончились. Появился т р е т и й Волынский — самый непритворный, самый подлинный, который знал, что пощады ему не будет. И вот теперь Артемий Петрович в ы п р я м и л с я! Этот Волынский — третий — заговорил языком уже свободным, правдивым, поспешным. Был язык его порою крамольным, иногда даже богохульствующим.

— Теперь мне самый конечный конец пришел, и оттого единой правды от себя потребую...

Детей было ему жаль! Одни останутся. Не знали ласки материнской — отнимут у них и отцовскую. Да хоть бы и так, что одни, это еще ладно. А то ведь замучают их, гляди. Анна Иоанновна считала, что дети повинны за грехи родителей своих. Вместе с деревом она и плоды губила, в землю их втаптывая...

Ушакову при свидании Волынский прямо заявил:

— Ты перестань, генерал, о долге и присягах болтать. В застенке этом, где никто нас не слышит, я ведь много могу сказать... Вот по-

слушай: иностранцев изображают у нас, яко великих пополнителей интересов России. А на самом-то деле они вникнули в народ наш подобно гадам ядовитым. Наемщики сии платные вгоняют народ российский в оскудение и погибель... Неужели ты, русский, смолоду нищету темную познав, никогда о нуждах России не помучился? Неужто не стало тебе хоть единожды больно за народ свой страдающий? Нет, не страдал ты... не стать тебе гражданином!

И прямо в лицо инквизитору смеялся он:

— Погубить ты меня способен. Но никогда не сможешь ты слова мои до императрицы донести. На это смелость нужна...

Ушаков притих. Нет, не смог бы он!

— А вот я, — закончил Волынский, — я умру гражданином...

И шагнул он к дыбе ногою легкой:

— Пытай... Только напрасно все это. Ну, больно станет. Орать я буду. А правду теперь и без пыток говорить стану. Одна лишь просьба у меня: убери с глаз моих Ваньку Неплюева — не могу рожу его хамской видеть! Это не он, а Остерман глядит на меня...

Так рассуждать — смерти уже не бояться!

А весна брала свое. Резво бежали воды вешние по рекам и каналам столичным, хорошо пахло... Дыхание весны сочилось и в закут камеры, где Кубанец строчил исправно: «...а еще вспамятовал и всеподданнейше доношу...» По ночам крики слышались, возня сторожей, железные грохоты засовов темничных. Начинались истязания, волокли несчастных на дыбу, на огонь...

В казематах слышали, как Волынский кричал иногда:

— У-у, татарская морда! Я ли тебя не вскормил? Не я ли тебя в люди вывел? Будь проклято доверие мое к тебе...

Он выдернул из стенки гвоздь старый, стал забивать его в вены себе. Но караульные это заметили, гвоздь отобрали. Ушаков с Неплюевым ворошили бумаги его. Тут и письма к детям из Немирова, тут и рукопись иезуита Рихтера о родословии Волинских; через Иогашку Эйхлера было вызнано, как радовался Волынский, попав в кабинет-министры: «Надобно, коли счастье к тебе идет, не только руками его хватать, но и ртом в себя заглатывать!» Ушаков с Неплюевым жестами рук и движениями ртов своих изображали при дворе, как радовался Волынский, и радость эту тоже в вину ему ставили.

— Эка ненасытность-то! — говорила Анна Иоанновна...

Клеймо герба Московского, которое Волынский велел на своем родословии начертать, жгло императрицу каленым железом. Чернокнижия страшилась она... Господи, спаси нас и помилуй от философий разных.

— Шуточное ли дело! — гневалась она. — Ему, вишь ты, система моя не по нраву пришлась. Передайте Кубанцу от моего имени, что я прощу его, ежели он еще что вспоманет... более важное!

Почти всех конфиденентов уже арестовали, но Соймонов еще оставался на свободе, занимал пост обер-прокурора. Вот уж никогда не думал адмирал, что столь сильна окажется княгиня Анна Даниловна... Нажала баба на Миниха, и фельдмаршал подсадил мужа ее, князя Никиту Трубецкого, на пост генерал-прокурора. Когда это случилось, Федор Иванович понял, что не жилец он на белом свете, скоро его возьмут...

Рано утром Соймонова разбудила плачущая жена:

— Вставай, батька мой. За тобою пришли...

Арестовывали семеновцы под командой Вельяминова. Федор Иванович наскоро перецеловал детей, жену крепко обнял на пороге в разлуку вечную, и в «Тайную канцелярию онаго Соймонова означенной Вельяминов же привез, которой у него, Вельяминова же, и принят и отдан под крепкий караул...». Сразу — на истязание!

Первые листы допросов Соймонов подписывал рукою твердой, почерком крупным, под каждым абзацем оставлял он свой нерушимый подпис. Но пытка скоро исказила естество человека, замелькали неряшливые кляксы пером. Дрожащие после дыбы руки уже не могли управлять почерком... Ему зачитывали письма жены, отобранные при обыске. Слала она ему их в отлучке, упоминала Хрушова да Еропкина, а между дел домашних встречались слова любовные от «сердечно любящей, вашей покорной и верной жены». Слезы заливали лицо адмирала, обожженное ветрами морей многих.

— Чтите только дело, — просил у палачей. — Не мучьте меня словами любви моей! Все это прошлое... сладкое прошлое!

Он признался в «дружбе фамилиарной» с Волынским, как признали это и другие конфидененты министра. Пытки были усилены.

С пытки Еропкин л о ж н о показал, что Волынский желал переворот устроить, чтобы самому на престоле русском воссесть, оттого он и велел на «древе» начертать герб Московский*.

* Мне удалось найти следы этой злосчастной картины работы Еропкина и Теплова. В 1882 г. картина «древа» в хорошем состоянии находилась в сельце Артемьеве Мышкинского уезда Ярославской губ., где принадлежала владельцам села — Селифонтовым, которые были потомками Волынских. В каталогах Ярославского музея ныне она не числится. Не залежалась ли она где-либо в запасниках провинциальных музеев нынешней Ярославской области?

С пытки Хрущов ложно подтвердил: «Волынский хотел на Руси царем стать, а меня с дыбы поскорей снимайте, ибо терпезу от боли уже не стало».

С пытки же и Соймонов ложно винулся в том, что не донес ранее; когда и какими средствами Волынский хотел восстание начинать — от этого адмирал отговорился незнанием...

Позже всех взяли президента Коммерц-коллегии. Когда первый раз обожгли Мусина-Пушкина палачи плетью, он закричал.

— Кричишь, граф Платон? — спросил Неплюев. — А чего ранее, когда надо было доносить, ты тихим был... Почто не донес?

— Не доносил, ибо это подло, а Мусины-Пушкины в доводчиках никогда не бывали...

С пытки и Волынский признал за собой многие вины. Подтвердил, что хотел Бирона с Остерманом жизни лишиться. Анну Иоанновну в монастырь заточить, семейство Брауншвейгское из России вышибить и многих иностранцев еще хотел погубить за вредность. Но никакие мучения не исторгли из Волынского признания, что он желал быть царем на Руси... Его часто о цесаревне спрашивали:

— А какую участь вы Елизавете Петровне готовили?

Они престол ей готовили; Елизавета, в разумении конфиденентов, была последним шансом, чтобы вывести Россию из тупика... Упаси бог выдать ее.

Корчась от боли, Волынский показал фальшиво:

— Я не любил ее... ветрена и модница гульливая. Хотел я ее вместе с императрицей под монастырь подвести!

Он ее спас, но себя уже не спасет. Терзали его:

— Скажи, что хотел сам на престоле сиживать.

— Неправда сие, — отвечал Волынский.

— Как же неправда, — кричал Неплюев, — ежели конфидененты сие уже исправно подтвердили?

— Вы пытали их, — отвечал Волынский. — А с пытки человек любой оговор утвердить согласен.

Ушаков вмешался в допрос:

— Тебя мы тоже пытаем... так утверди и ты!

— Безмозглы вы все! — орал Волынский с огня. — Уже если я вознесся до желания царем быть, так на што мне сдались все эти вольности демократии? Дети малые и те понимать должны, что власть монаршая всегда враждебна республиканской...

— Все равно — сознайся! — требовали от него.

— А я не дурак, как вы, чтобы сознаваться в том, чего быть не может...

Он обрел крепость. Раньше возносился честолюбием — сейчас возносил себя гражданским мужеством. Мечи с поля Куликова бряцали перед ним в битве яростной — ко славе зовущие!

Майские ветры задували в горны пытошные...

Прощай, последняя весна жизни!

Шесть фаготов в последний раз исполнили «Свинский концерт» талантливого капельмейстера Пепуша. Фаготы столь удачно воспроизвели свинское хрюканье, что кайзерзольдат на миг развеселился. Но скоро смерть встала у его изголовься, и прусский король Фридрих Вильгельм I призвал к себе крон-принца Фридриха.

— Фриц, — сказал он ему, — я ведь знаю, что ты после меня все в Пруссии перевернешь на свой лад. Но я прошу... не ломай королевства сразу после смерти моей. Дай остыть праху моему. Я оставляю тебе твердые финансы и мощную армию, которая станет творить чудеса... Только не залезай со своими гренадерами в ту страшную берлогу, где лежит русский медведь.

Фриц взошел на престол Пруссии под именем Фридриха II, а в верноподданном потомстве он утвердился с титулом Велико-го. Когда старого короля не стало, придворные кинулись писать письма во Францию, чтобы французы скорее приезжали в Берлин, где сейчас ожидается веселая, порхающая жизнь... Фридрих II сказал на это:

— Пруссии предстоит очень трудная, боевая жизнь. Шуткам пришел конец, а сорить деньгами на балерин я не стану. Готовьтесь к испытаниям... А сейчас постройте потсдамских великанов!

Под теплым весенним дождем стояли на плацу великаны. Это были русские парни, запроданные в Пруссию Петром I и подаренные Анною Иоанновной... Фридрих вышел на плац.

— Здорово, длинные ребята! — заверещал он тонким голосом, взмахнув над шляпою тростью. — Знаете ли вы, что старый король умер, когда в Берлине осталось хлеба только на два дня? Сладкой жизни я вам не обещаю, и вы можете вернуться домой... Кто желает покинуть Пруссию — вперед... арш!

Потсдамские великаны грохнули ботфортами в плац.

Шаг. Шаг. Шаг. Замерли. Тишина.

Все, как один, пожелали на родину — в Россию...

Фридрих прослезился:

— Я вас не держу...

Потсдамские великаны (в основном — вологодцы и ярославцы) разулись и пошли домой, беседуя по дороге с детьми и женами по-немецки. От границы русской Анна Иоанновна приказала затолкать их всех обратно — за рубеж прусский:

— Они же проданы и дарены. Как их взять мне обратно?..

Фон Браккель с тем и навестил молодого короля.

— Чепуха! — ответил Фриц, посматривая с умом на посла. — И пусть Россия не стесняется забрать своих длинных парней. Кстати, прошу передать правительству Анны Иоанновны, что я союз с великой соседкой Россией почитаю наиглавнейшим союзом для Прусского королевства... Я уже послал комплименты приязни своему послу в Петербурге — барону Мардефельду!..

В один из дней Манштейн покинул дом фельдмаршала Миниха, где отдежурил сутки, как адъютант его, и отправился к себе. Был тихий теплый вечер в Петербурге, начинались белые ночи, можно уже не зажигать свечей... Дома Манштейн отцепил шпагу, бросил ее в угол; натужась, стаскивал с ног скрипящие ботфорты.

Легкая тень человека в черной одежде возникла у окна.

— Кто здесь? — вскрикнул Манштейн, потянувшись к шпаге.

Человек придвинулся ближе — тихий, как привидение.

— Вы очень забывчивы, сударь, — сказал он Манштейну с упреком. — Потсдам ждет от вас шпионских донесений.

— Назовитесь мне!

— Не обязательно. Меня прислал король, который, будучи еще кронпринцем, направил вас сюда, в Россию, чтобы вы стали шпионом прусским. Все эти годы мы следили за вашими успехами. Что ж, вы достигли многого на русской службе. Вас знают при дворе, вы награждены, обласканы от Миниха. Но... королю нужны сведения о России... немедленно!

Манштейн застыл с ботфортом в руке.

— Я думал, — он сказал, — что сейчас, когда столь близок к смерти император венский, внимание молодого короля Пруссии устремлено к Силезии, чтобы делить «Австрийское наследство».

— Россия также привлекает внимание молодого короля. Итак, беритесь за перо. Передавать донесения вы станете барону Мардефельду, который найдет способ переправить их в Берлин...

Мардефельд сообщал Фридриху II о деле Волынского в России. Он утверждал, что могущество Бирона мнимое: оно держится лишь на тонкой волосинке жизни и здоровья императрицы, «которая не оставит

его никогда, так как связана с ним самыми сильными клятвами...». Молодой король отвечал послу в Петербург:

«И тем не менее, лишь один умный и деловой человек, который бы сумел воспользоваться расположением умов в России, мог бы произвести неожиданную революцию...»

Такой человек уже был, и он работал...

Боясь перлюстрации, маркиз Шетарди лишь вскользь упомянул в депешах о деле Волынского; сознательно пропускал в своих письмах имя Елизаветы, чтобы не вызывать лишних подозрений. Зато посол Франции выказывал немалое презрение к знати вельможной.

«Знатные лишь по имени, — сообщал он кардиналу Флери, — в действительности же они рабы, и так свыклись с рабством, что большая часть их уже не ощущает своего низкого положения...»

Затрещали блоки, и Волынского подтянули выше. Так высоко еще не висел он. По обнаженному телу скользил обильно нехороший пот, едучий пот страдания...

— Дочь уберите от меня! — просил он. — На что ребенку, дитяти моему, ужасы звериные показываете?

Внизу, под ним, истязали дочь его старшую.

— Все сказал! — кричал Волынский. — Да, я был опасен для государыни! Да, замышлял убийство сволочей наезжих... Чего еще знать от меня хотите? Нет, не желал на троне сидеть...

Ванька Неплюев мытарил под ним Аннушку Волынскую:

— Говори, подлая, какие ты отцовы бумаги жгла?

— Не знаю... ой, дяденька, больно мне!

Раздался грохот. В блоках старых прогорели тросы, которые суставы растягивали. С высоты дыбы рухнул Волынский в черную пропасть застенка. Полетели прочь с лавки инструменты пытошные, все в крови и ржавчине... И палачи увидели, что рука Волынского выбита из предплечья. Искалечен он!

Артемий Петрович очнулся и увидел, что дочку увели.

— Кто же так пыгает? — простонал он, обратясь к Ушакову. — Ты же мне руку поломал... правую!!! Ломай теперь и левую, кат. Чем я тебе протоколы подписывать стану?

Более он н и ч е г о не подписал. Вешать его на одной руке было нельзя, но Ушаков и тут извернулся.

— Ноги-то целы, — сказал. — Вешай за ноги!

Опять завизжали старые блоки, вздымая его на дыбу. Вниз головой повис Волынский над смрадом пытошным...

— Выползок из гузна Остерманова, — шипел он сверху на Неплюева, — мне отсель плевать в тебя очень удобно...

Страшная матерная брань лилась с высоты. Иван Неплюев выстоял под ней, как под ливнем грязной блевотины. Он очень надеялся на повышение по службе... Получит его «усердник»!

...Палачи вырезали мясо из-под ногтей Волинского.

Глава одиннадцатая

Пройдет много лет, и станут писать о ней историки: «Имя княгини Долгорукой сделалось известным во всех европейских литературах; ее удивительная судьба, переносившая женщину из великолепных хором в Березовский острог, послужила предметом для многих романов и поэтических рассказов...» А ведь Наташа ничего замечательного не свершила — только жена, только мать!

Низкие тучи пролетали над кладбищем березовским. Взяла она на руки младшего, в подол ей вцепился старший, и пошла с сыновьями для поклона последнего к могилам.

— А вот здесь ваш братик лежит, — сказала она детям. — Борисом звали его, в честь дедушки вашего — фельдмаршала славного Шереметева. Вырастете постарше, многое поймете. А сейчас поплачьте со мной: более могил этих нам зреть не суждено...

По указу царскому разрешалось ей отъехать с пожитками. Наташа ничего брать из ссылки не захотела, чтобы вещи не бередили ей память прошлым. Раздала, что имела, обывателям березовским. Тронулась налегке — водою, на дощанике под парусом. Плыли они к Tobольску, и Наташа узнавала горы; знакомо и приветливо шумели леса, течение воды за бортом навевало старые песни, забытые с юности.

Из Оби дощаник вошел в Иртыш, — скоро и Tobольск.

Tobольск — столица всех пострадавших! Здесь много было ссыльных — плетьюми дранных, с ноздрями вырванными. Жены ссыльных, прослышав о приезде березовской затворницы, заранее в Сургут выехали — для встречи ее. И долго плакала Наташа, обнимая вдову майора Петрова, которому недавно палач голову отрубил. Петрова встречала Наташу с сестрою своею, графинею Санти, мужу которой язык был надрезан. Это был художник итальянский, его еще Петр I вызвал в Россию

для рисования гербов. Франц Санти, изящный старик красавец, тоже приехал в Сургут с женщинами; он держал перед собой тарелку, накрытую салфетками ослепительной чистоты. Живописец мычал, знаками показывая, что желает угостить детей Наташиных. А под салфеткою у него лежали хлебцы тобольские и два китайских апельсина...

В два часа ночи дощаник прибило к берегу. День следующий Наташа посвятила посещениям людей добрых, о жизни в России расспрашивала. Говорили ей, что брат ее на Москве, Петр Борисович Шереметев, сейчас в большой чести живет. А ныне женится на самой богатой невесте в России — «тигрице» известной, дочери кабинет-министра князя Черкасского. До того девка богатая в женихах копалась, что теперь и Шереметеву рада-радешенька.

— Варьку я помню, — отвечала Наташа. — Петя пускай женится. Богатство Черкасских велико, а мои дети совсем износились. Может, и нам крошки недоедены со стола братнего упадут...

Сыновья малые пугливо озирали тобольские дома. Казались они им — после хибар березовских — сказочными дворцами. Наташа целый день сынишек кормила: то рыбой, то пирогами, то пряниками. Дивились роскошеством тобольским.

— А в Москве дома еще выше, — говорила мать. — Вот у дяди-то вашего, Петра Борисовича, дом знатен... Увидите скоро!

От Тобольска трактом старинным поехала она на Соли Камские, и замелькали в пути березы, скоро побежали поляны русские, все в ромашках и васильках... В деревнях Наташу спрашивали:

— И кто же вы такие будете?

— Ссылные мы. Домой возвращаемся...

Жалеючи молодую вдовицу с детьми, одаривали ее мужики хлебом и яйцами. От подаяния мирского Наташа не отказывалась. В горе женщина многому научилась и поняла многое. Проста она стала, как и эти крестьяне, что ее жалели. На всем долгом пути от Березова ни разу она кошелька не развязала, даже копеечки не истратила. Добрый народ ее встречал, ямщики даром гнали своих лошадей, крестьяне перед ней избы свои отворяли, народ кормил ее с детьми. Никогда еще не извела Наташа столько ласки и почтения, как в этом путешествии до дому.

— Ты не горюй, — утешали ее бабы в деревнях. — Жизнь, она словно колесо у телеги: еще не раз туда-сюда обернется...

За городом Хлыновом на реке Вятке совсем хорошо ехать стало, и дети повеселели. Казань глянула золотом храмов, минаретами татарских мечетей, привольно раскинулась царственная Волга. Наташа

плакала часто, близость Москвы сердцем чуя. Жаркие дни стояли, дети загорели на солнце, волосы их побелели, шелковые.

— Матушка, а Москва твоя скоро ли? — спрашивал Миша.

— Скоро Москва, скоро...

Трепещи же, Анна! Страшен будет для тебя тот день, когда Наташа в Москву въедет.

Летний дворец замер. Часы близились к полуночи.

Караул во дворце несли кавалергарды...

Поручик Муханов зевнул в перчатку, брякнул эфесом.

— Ночь отмаемся, — сказал товарищам, — а воутресь спать по домам пойдем. Уж я-то славно выплюсь!

Муханов для порядка навестил Тронный зал, где возле престола застыл одинокий кавалергард с обнаженным палашом у плеча.

— Стоишь, Степан? — спросил поручик.

— Стою.

— Ну стой.

Муханов ушел. Часовой остался один. Тишина...

В отдалении царских покоев часы пробили двенадцать раз.

И вдруг двери залы Тронной со скрипом медленно растворились. Анна Иоанновна, одетая в черные одежды, неслышно прошествовала в зал. Постояла возле окна, бездумно глядя на деревья в саду, и часовой дернул сонетку звонка, вызывая к себе караул.

Над головою Муханова брякнул сигнальный колоколец.

— Караул, в ружье! — скомандовал он. — Стройся...

Императрица в Тронной зале, значит, ей нужна салютация.

Муханов выстроил караул, драбанты ружьями артикул метали, стуча прикладами. Муханов палашом просверкал и замер. Волоча за собой длинные черные шлейфы, Анна Иоанновна бесшумно двигалась через зал. Она прошла вдоль строя кавалергардии, но в глаза никому не глянула, и чем-то страшным веяло от мрачного облика императрицы...

Мороз вдруг продрал по спине Муханова. Он кинулся в покои герцога, поведал Бирону, что ея величество не спит, ходит — печальна — по Тронной зале, а голова у ней низко опущена.

— Не может быть, — ответил Бирон. — Я сам провожал ее до спальни, она покойна и здорова, убирает свою голову.

— Но я... салют чинил ей! — сказал Муханов.

Бирон пожал плечами, проследовал в спальню императрицы, а там, накрыта пудермантелем, расчесывала волосы Анна Иоанновна.

— Ты здесь, Анхен? Но тогда возле престола... кто?

Она его не поняла.

— Там, в Тронной зале, бродит женщина... самозванка!

— Не заговор ли? — испугалась императрица.

Отбросив пудермантель, Анна Иоанновна мужественно двинулась в Тронную залу. Руки в боки, императрица шла своим обычным шагом, тяжким и напряженным, от которого стонали паркеты. Бирон бежал за нею, ломая руки в ужасе, потя от страха.

— Анхен, мне страшно...

— Иди за мной!

— О-о, проклятый год сороковой, что делится на два...

— Молчи! Там мой трон... там регалии... не прощу! Это, видать, пьяная Лизка там шляется, примеривается к власти моей...

Зал. Тишина. Полумрак.

Караул стоял ровно, как и оставил его Муханов.

Руки драбантов — на приклад!

В замешательстве кавалергарды развернулись к дверям, дружно салютуя... в т о р о й Анне Иоанновне.

Две Анны Иоанновны стояли и смотрели одна на другую.

— Кто ты? — спросила та, что пришла сюда с Бироном.

Двойник ее скользил перед ней бесплотно.

— Стреляйте в нее! — велел Бирон караулу.

Вторая Анна Иоанновна шагнула вдруг назад, не оборачиваясь. И поднялась на престол. Медленно она опустилась на трон. Ее глаза усталились на царицу, светясь как-то дымно.

— Пошла вон, мерзавка! — вскричала Анна Иоанновна.

Ружья уже вскинулись, и тогда императрица странная поднялась в рост над престолом, выросла над балдахином во всю статью, и Бирон узнал в ней молодую Анну Иоанновну, герцогиню Курляндскую.

— Стойте! — завопил герцог караулу. — Не надо в нее стрелять. Вы убьете свою императрицу...

Но его императрица стояла рядом с ним, теплая, дышащая.

Ружья упали к ноге, грохоча прикладами.

Женская тень на престоле медленно растворялась в потемках Тронной залы, и Анна Иоанновна сразу ослабела:

— Это была о н а... смерть моя!

Стены дворца тихо потрескивали, словно таинственная самозванка проникла их насквозь, спеша наружу — прочь из этого проклятого дома в сад Летнем... Бирона колотило, зубы лязгали:

— Анхен, Анхен! Поскорей бы закончился этот год, а сорок первый год будет для нас с тобой уже прекрасен.

Анна Иоанновна резко повернула к спальням.

— Я не доживу до того года прекрасного, — сказала она...

.....

Легенда с этим призраком на троне удивительно живуча. Сатанинской жутью она осела в памяти потомства, призрак во дворце Летнем закреплен в книгах мемуаристами времен минувших. И это неспроста! Баснописец века прошлого Иван Дмитриев слышал такие рассказы от своих дедов, свидетелей царствования Анны Иоанновны; он записал: «С давних пор и поныне от одного к другому переходит предание... Эта с к а з к а, вероятно, выдумана была около двора и разглашена недовольными правлением императрицы».

В этом-то и кроется вся соль легенды!

Прежде смерти Анны люди уже облюбовали ее смерть.

Они ж д а л и... Я сейчас тоже жду этой смерти.

Глава двенадцатая

Каждый вечер, устав после трудов праведных, два Ивановича, русаки природные (Ушаков с Неплюевым), императрицу в свои дела кровавые посвящали. Перед самодержицей курили палачи фамиям застеночный, и Анна Иоанновна смрадом этим дышала, аки духами парижскими... Видано ль дело! Сколь лет отцарствовала, сколь вредных голов отсекла, а — гляди-ка — новые выросли. Да и где? Перед самым престолом. Почти возле ног ее...

— Выходит, Остерман-то и прав, что предостерегал меня от Волынского. А князь Черкасский, даром что черепаха, а тоже... за моей же спиной хулил герцога! Я ему ныне доверия не оказываю. Пущай уж Остерман один в Кабинете Россией правит...

Доложили ей Ивановичи, что — страшно сказать! — в составе судебной Комиссии тоже конфиденты Волынского сыскались. Василий Новосильцев во многих грехах замечен, а князь Никита Трубецкой, что женат на известной Анне Даниловне, даже Липсия читывал, бесстыдник эдакий. Новосильцева велено в Тайную канцелярию тащить и допрашивать. А князя Никиту императрица к себе на чашку чая звала и за этого самого Липсия в морду его сама же лупила.

— Легчайше отделался, — говорили в аудиенц-каморе, слыша через двери, как бренчат чайные чашечки, как потчуют за столом генерал-прокурора империи Российской...

В середине июня, когда погоды жаркие были, Ушаков с Неплюевым решили дело Волынского приканчивать. Главные виновники выявлены — и хватит того, а то ведь Ушаков по опыту знал, что можно без конца людишек таскать, каждый свое городит, дело растет, архивы пухнут, так можно и до смерти не управиться.

— Ну их! — сказал Ушаков. — Давай, Иван Иванович, объявим государыне, что и без того вин разных за всеми хватает...

Поехали они на лошадях в Петергоф, возле деревни Мартышкиной разморило их жарою, они в море, исподнего не снимая, купались. Свеженькие, как огурчики с грядки, предстали перед императрицей. Вогнали ее в скуку, обвинительный акт перед нею выложив.

— Сколько же здесь листов будет? Неужто читать мне все?

— Шестьдесят восемь листиков. Это экстрактно!

Экстракт носил торжественное название:

«ИЗОБРАЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЕЗБОЖНЫХ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ЗЛОДЕЙСТВЕННЫХ ВОРОВСКИХ ЗАМЫСЛАХ АРТЕМЬЯ ВОЛЫНСКОГО И СОБЩНИКОВ ЕГО ГРАФА ПЛАТОНА МУСИНА-ПУШКИНА, ФЕДОРА СОЙМОНОВА, АНДРЕЯ ХРУЩОВА, ПЕТРА ЕРОПКИНА, ИВАНА ЭЙХЛЕРА, ТАКОЖ О ИВАНЕ СУДЕ, КОТОРЫЕ ПО СЛЕДСТВИЮ НЕ ТОЛЬКО ОБЛИЧЕНЫ, НО И САМИ ВИНИЛИСЬ».

За окнами дворца искрило в глазах от воды прохладной. В кушач тенистых, пронизанных солнцем, птицы свиристели. Сливаясь с шумом водопадов, звучала в покоях царских игривая музыка Франческо Арайя. В соседнем зале камер-лакеи накрывали стол к ужину, оттуда звенело серебро, слышались бодрые, здоровые голоса.

— Истреблять зло надобно, — задумалась Анна Иоанновна над экстрактом. — Без Генерального собрания, чаю, не обойтись нам.

— Вестимо, — кивнул Ушаков.

— Премудро, — поддакнул Неплюев.

— А потому и велю созвать его, — повелела императрица.

Остерман такого созыва страшно боялся. Генеральное собрание обязано состоять из всех чинов первых рангов в империи. Значит, и он там должен быть...

— Марфутченок! — позвал Остерман жену. — Твой Яган опять помирает. Зови врачей, да скорее мне фиников сушеных... натрусь я, вроде желтуха у меня случилась... Ой, и тут кольнуло!

Из постели он рассылал указания всем немцам первых рангов, чтобы из дома не выходили. Ибо судить русских предстоит. Вот пусть русские их и судят себе на здоровье. А мы, добропорядочные германцы, судить русских не станем...

Русские персоны первых рангов отказаться от суда не осмелились. Только один смельчак нашелся — Александр Львович Нарышкин, который решил по стопам Остермана следовать. Тоже обильно натерся финиками, вроде бы желчь разлилась, и стал орать на весь дом:

— Помираю... Дохтура мне, дохтура...

Генеральное собрание Российской великой империи!

Вот ему и выносить приговор генеральный...

Были здесь русские сенаторы, были здесь русские генералы.

Всего 25 персон высших трех рангов!

Собрались они за столом воедино — все рабы, но рабы не простые, а вельми знатные, сами рабами владеющие. Перед ними лежали 68 страниц экстракта обвинительного.

Стали они судить-рядить над ним. Но каждый из 25 боялся первым о казни объявить. И все невольно косились на князя Алексея Черкасского — что он скажет? Ему бы и начинать слово милостивое, ибо по первой жене своей он приходился зятем Волынскому, а жена конфидента, графиня Мусина-Пушкина, была Черкасскому родная племянница... 25 человек смотрели теперь на князя и ждали, что он родную кровь проливать не станет. Отрыпнется от дела, не посмеет изрекать приговора сурового. Черкасский понимал, чего от него ждут...

— Плачу я, — сказал (действительно плача). — Тужусь сильно... Уж очень больно мне, как подумаю, что два сородича моих злодеями оказались. Я мыслю, что для облегчения чувств моих родственных Волынскому и Мусину-Пушкину языки надобно отрезать!

Тут и все другие облегчение почуяли — второму судить уже не столь страшно. Василий Иванович Стрешнев, камергер и сенатор, который Остерману шурином приходился, заговорил:

— Ой, как верно! Главный затейщик проектов Волынский немало болтал языком своим. И оттого полагаю, что язык ему более не надобен... Я за то, что князь Алексей Михайлович сказал.

— Справедливо! — заметил Ванька Неплюев. — А детей Волынского, кои порождены в преступности, заточить следует. Дочерей постричь навечно в монастырях сибирских, а сына до возраста пятнадцати лет заточить в темницу худую, а когда ему пятнадцать годков исполнится, из тюрьмы пожизненно в солдаты выпустить...

— Мудрейше ты советуешь, Иван Иванович! — похвалил его полицмейстер Петербурга — Иван Унковский в чине бригадирском.

Контр-адмирал Захар Мишуков, мужик здоровенный, побелел лицом и хлопнулся на паркет в обмороке.

— Ничего, — сказал Никита Трубецкой, — с кем не бывает? Мы его водичкой брызнем и оживим... Кто еще говорить желает?

Захотел поделиться мудростью тайный советник Наумов.

— Казнь легка, коли башку рубить, — сказал он. — А надо чтобы перед смертью человек еще помучился... подумал!

Квашнин-Самарин отвечал на это:

— Полностью согласуюсь во мненье сем важнейшем.

На что Неплюев тут спросил:

— А почто забыли у нас людишек на кол сажать? Мы тут все свои, русские... чужих середь нас нету... будем же откровенны!

— Про кол мы забыли, — огорчился Иван Унковский. — А ведь раньше обожали человека голой задницей на кол посадить. Иные, как помню, по трое дни на колу вертелись, пока им кол все кишки не прорывал, вылезая кончиком своим из горла наружу.

— Эта мука замечательная, — одобрил бригадира князь Черкасский с высоты своего величия. — Только, господа, не надо забывать, что кончик кола татары всегда бараньим салом смазывают.

Рыжий генерал Петр Шипов был мужик здоровый. Лицо его вдруг стало ярко-алым, как бурак спелый. И грохнулся он со стула — полет рядом с контр-адмиралом Мишуковым.

Второй не выдержал. Но суд продолжался.

— Ныне уж больно лето жаркое, — печалился Неплюев. — Чтобы Волынский сомлел на колу не сразу, можно его водой иногда поливать холодной. Тогда не сразу помрет, а вину восчувствует...

Итак, с Волынским все стало ясно. О нем договорились.

Сажать его на кол, прежде язык отрезав.

Генеральное собрание уточняло вопрос об языке:

— Вырезать язык ему или вырвать клещами?

— А как мучительней? — спрашивал Чернышев.

Мнения тут разошлись, а на пол грохнулся еще один генерал — Степан Игнатьев, тоже персоне важная. Разбирались далее без него. Одни стояли на том, что язык надо резать, другие крепко держались на выдергивании его клещами...

Судили долго, и наконец генерал-прокурор империи Никита Трубецкой зачитал «генеральное» решение об остальных:

Хрущова, Соймонова, Еропкина и Мусина-Пушкина — четвертовать через топор, после чего уже рубить им головы.

Иогашку Эйхлера сочли сильно виновным, яко допущенного по чину кабинет-секретаря к делам тайным, а посему было решено — Иогашку колесовать, а затем тоже отсекал ему голову.

Жан (или Иван) де ла Суда был с кроткою милосердностью осужден к отделению головы от тела безо всякого мучительства.

Дочерей и сына Волынского, которые надеялись (!?) занять престол российский, сослать, куда Макар телят не гонял...

Никита Трубецкой закончил:

— А имущество и имения осужденных, как движимые, так и недвижимые, конфисковать в пользу государыни нашей матушки...

Генеральное собрание, долг исполнив, расходилось.

Более крепкие на приговоры сенаторы вели под руки некоторых генералов, которых шатало. Многие, домой вернувшись, после суда этого еще очень долго болели... Никита Трубецкой сразу к императрице поспешил, стал клянчить для себя дом графа Мусина-Пушкина на Мойке, который славился богатством (в нем мебель стояла редкостная, а по комнатам заморские попугаи летали).

— Бери! — разрешила Анна Иоанновна. — Только, чур, огороды и оранжереи Мусина-Пушкина, где даже персики созревают, я для своей особы забираю...

Немецкая партия при дворе эту битву выиграла! Она победила, предводимая Остерманом и Бироном, не оставив на месте преступления своих отпечатков пальцев... Русские были судимы русскими!

— Не надо им хлеба... — говорил Тимофей Архипыч, мудрец народный, игравший под юродивого.

.....
Два дня шел дележ имущества осужденных. Налетели во дворец, как вороны на падаль, Менгдены, Бреверны, Минихи и братья герцога — генералы Бироны. Каждого не обидь — дай! Императрица давала. А всех крепостных, оставшихся без хозяев, с имен осужденных на свое имя переписывала. От одного только Волынского ей 1800 душ досталось... Опять она разбогатела!

Бирон во дворце Петергофа придворным показывал приговор и спрашивал:

— Вот вы, русские! Немцев я бы и спрашивать о том не стал. Но вы-то скажите — разве несправедливо рассудили в собрании?

Вельможи толстобрюхие отвечали герцогу, что более справедливых приговоров отродясь еще на Руси не бывало. Анне Иоанновне

следовало теперь на приговор апробацию наложить. Она перо в чернила окунула и заговорила басом — гневным, рокочущим:

— Да я же не зверь лютый! За кого они меня принимают? Нешто же я, вдова слабая, женщина православная, смогу такое злодеяние утвердить? Едино детей Волынского миловать не стану, а всех остальных прошая, яко добрая, примерная христианка...

И приговор жестокий она сделала мягчайшим:

1) Волынского на кол не сажать, а язык вырезать и оттяпать топором руку лишь правую, после чего рубить голову;

2) Хрущову и Еропкину — головы топором отсечь;

3) Мусину-Пушкину — весь язык не отрезать, а отрезать лишь кончик его, а потом Мусина сослать в Соловецкий монастырь, где и томить до смерти в подземелье без света;

4) Соймонова — бить кнутах нещадно, после чего выслать в сибирские рудники на каторгу вечную, где бы он тачку возил;

5) Эйхлера — тако же поступить с ним, кнутом избив, и отправить его в Жиганское зимовье на подводах ямских;

6) де ла Суду — не кнутом бить, а плетью...

На Сытном рынке столицы застучали топоры плотников. Начали возводить «амбон» для экзекуции, иначе говоря — эшафот. Солнце светило ярко, жара истомляла петербуржцев, по Неве плавали барские гондолы под веслами и лодки чухонские под парусами. На синий простор глядя, стояла в воротах Летнего сада белораморная Венус пречистая — олицетворение красоты женской, и часовые с ружьями стерегли ее, чтобы никто из прохожих не осквернил ее чистого тела... Казнь была назначена на 27 июня!

Это был день памяти святого Сампсония-странноприимца, который, будучи патрищем римским, познал искусство врачевания, дабы помогать страждущему человечеству. Сампсоний роздал нищим богатства свои, а на остатки состояния выстроил больницу бесплатную для путешествующих странников.

Это был день, когда 30 лет назад грянула Полтавская битва, столь целительна для России и чудотворна, когда побежал вспять швед гордый, а Карл XII спасался в плавнях на берегах днепровских...

Лучшего дня для казни не нашли!

Послам иностранным откуда-то стало известно, что Волынский решил с эшафота обратиться с речью к народу на площади... Дипломаты просили у царицы высочайшей аудиенции.

Анне Иоанновне они сказали:

— Мы не знаем, за что осужден Волынский и его конфиденты. Слухи ходили по столице разные, но в приговоре упомянуто, как вина главная, подавание Волынским записок вашему величеству. В записках этих Волынский указывал на обилие льстецов возле престола вашего и засилие проходимцев. В воле вашей, конечно, судить министра своего даже за такой пустяк, но...

Анна Иоанновна с нарочитым молчанием слушала дипломатов. Говорили ей послы иноземные, что отрезание языка Волынскому будет встречено в Европе с большим неодобрением.

— Мы все хорошо знали Волынского министром деятельным. Изменником он не был отечеству, и нам, аккредитованным при дворе вашего величества, стыдно даже отписывать ко дворам своим, что человеку, столь почтенному ранее, варварски язык отрежут...

Анна Иоанновна уста свои наконец разомкнула:

— Мнением дворов иностранных я дорожу вполне. И обещаю вам, что процедура эта, для Волынского весьма неудобная, произведена над ним не будет... Язык резать ему мы не станем!

Послы откланялись. Был зван Ушаков.

— Язык Волынскому о т р е ж ь ! — приказала Анна Иоанновна. — Но так отрежь, чтобы никто об этом и догадаться не смог бы!

— Матушка, да как же не догадаться?

— Ты не спорь со мною, а делай, как я тебе велю...

Глава тринадцатая

И этот язык не надобен —
Знал он дела еретические...

Добрыня Никитич

Итак, все еще впереди и ничто еще не кончается...

Петр Михайлович Еропкин из тюремной стены кусок известки пальцами выскреб. Чертил на полу темницы своей улицы новые, безмятежные и прохладные. Канализация занимала его! Чтобы в каналах проточных, под землю укрытых, было тихо, чтобы росли под землю ботанические бульвары, а воды сточные надо обсадить лилиями.

— Это уж так, — сказал он себе...

Коломну, где, по планам его, Садовая улица пройдет до деревни Калинкиной, где садам и огородам цвести, он уже в мыслях построил. Архитектор перешагивал через линии Васильевского острова. Нако-

пал тут государь канав грязных и забросил начатое — не получилось у него Венеции чухонской... Однако от линий канальных уже никуда не денешься. Так и останутся они — улицами!

— Простор на острове необходим, — бормотал Еропкин...

День был жаркий, с утра уже камеру духотой пронизало. Известь крошилась в пальцах. Чудился зодчему Елисиум Одиссеев, что расположен Гомером в конце вселенной. Там наслаждаются бессмертием Менелай с Ахиллом, никогда не бывает там бурь, а только веет постоянный зефир... Еропкин опустил на колени, рисуя на полу конец Васильевского острова — тупик гавани Галерной:

— Елисиуму петербургскому быть здесь!

Еропкин смело рассекал Васильевский остров широчайшею першпективой*, по которой впору мчаться колесницам российских триумфаторов на вздыбленных Буцефалах. Здания он ставил по бокам «кулисами», чтобы обзора местности они не закрывали. Мерещился полет чайки над волнами цветущих зеленой. Чистые воды протекали вровень с бульварами, в которых круглосуточно играла музыка, а фонтаны плескались водою разноцветной, как в сказке. Герои русской древности, народом излюбленны, с мечами и в панцирях стояли на цоколях мраморных...

Ансамбль будущего был прекрасен!

Лязгнули запоры темницы. И увидел Еропкин священника крепости Федора Листиева — старого, как мир, который входил к нему со «святыми дарами». Кусок известки выпал из пальцев зодчего. Еропкина затрясло в ужасе, стал он биться в объятиях священника:

— Господи, за что жизнь отбирают в самый лучший час ее?

Был ранний час истории российской. Артемий Петрович встретил рассвет на ногах. И вспоминался ему рассвет на поле Куликовом, когда он в прахе минувшего меч предка своего обнаружил...

— Ну вот я рожден. Ну вот я жил. Ну вот и погиб. Зачат в сладострастье, жил в грехах, а кончаюсь в муках... Удивительно сие! И восхищения все достойно. И рождение мое. И жизнь моя. И погибель моя. Кто бы услышал меня сейчас? Хочу говорить речь последнюю — речь высокую, неподкупную! О рождении человека, о жизни пылкой, о погибели лютейшей... Ах, смерть! До чего ты противна, безглазая,

* Гибель П.М. Еропкина не дала ему завершить переустройство Васильевского острова. По плану Еропкина, жители имели бы сейчас на Васильевском острове грандиозный, ни с чем не сравнимый в великолепии ансамбль садов и парков, намного превосходящий Елисейские Поля в Париже.

и почто николи не избегнуть тебя?.. Все забудут обо мне люди. И простят они грехи мои, ежели сумел отечеству полезен быть. Потому и останется после меня одно — г р а ж д а н и н р о с с и й с к о й, и другому Волынскому уже не бывать... Да! Ради сего и порожден был. Ради сего жил, борясь и скорбя. Ради сего и на плаху лягу — во славу России, что сердцу моему крайне любезна!

Это был его монолог, сказанный по-людски — я з ы к о м...

Был седьмой час утра, когда в крепость прибыли палачи. Прика- тили в колясках каты главные — Ушаков с Неплюевым. Волынский встречал священника Листиева такими словами:

— Вот просил я смерти себе, а как смерть пришла, так и умирать не захотелось... Что утешного скажешь, батька старый? Где уж тебе слов найти? Вот послушай, что я тебе поведаю...

И в час предсмертный рассказал пастырю притчу зазорную, как одна девица на исповедь в церковь пришла, а поп платье на ней задрал...

Духовный пастырь Тайной канцелярии плевать стал:

— Я тебе о Боге пришел сказать, а ты мне про девку...

— Давай и о Боге! — блеснул глазами Волынский. — Начертано в молитве Христовой тако: «...остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим...» Так что вышло? Я не оставляю долж- никам своим, а они мне... кто из них оставил?

— Не богомерзничай в час последний.

— Дурло ты старое! — сказал ему Волынский с сожалением.

— Я уйду, — пригрозил Федор Листиев. — И помрешь без отпу- щения грехов, а «святые дары» унесу с собой... Другие меня ждут!

Усмехнулся тут Волынский — кривенько:

— Давай, что ли... лизну!

Взял он с ложки дары эти, и тут же, с лицом перекошенным, он исхаркнул из себя обратно и кровь, и тело Христовы.

— Теперь моя кровь! — крикнул. — Теперь мое тело!

В проеме дверей показались каты с инструментами.

Ушаков сказал священнику:

— Ты, отец Федор, ступай. Более ты не надобен...

Волынский, голову низко склонив, вдруг побежал...

— Держите его!

Палачи схватили. Не дали ему голову об стенку разбить.

— А жаль, — сказал Артемий Петрович.

Ванька Неплюев суетно бегал вокруг него:

— Вяжите его... вяжите... заваливайте!

Волынский рвался из рук палачей:

— Не дам... не дамся! Убьюсь лучше с вами...

В костоломной давке хрустели кости. Дюжие палачи свалили его на пол. Зажали в тисках мерзких своих объятий.

Ушаков велел им:

— Зубы ему разоткните...

— Да никак! — хрипели палачи. — Он сцепил их.

— Скребок их... скребком... разжимайте!

Широко были выпучены в ужасе глаза кабинет-министра.

Железом раздвигали ему зубы, стиснутые в отчаянии.

Он издал стон...

— Начинайте же, — суетился Неплюев. — О господи, да сможете ли вы, как надо? Помочь вам, што ли? — у палачей спрашивал.

— Не надо, — те ему отвечали. — Сами управимся...

Три палача лежали на Волынском, не давая ему двигаться.

Был виден распяленный рот. А внутри рта — к самой глотке — подобрался язык Волынского, зябко дрожащий. О-о, сколько речей было сказано... слов любовных и обольстительных... немало брани выговорил язык этот! И богохульством язык Волынского заканчивал глагол жизни своей.

— Рвите! — крикнул Ушаков.

Палач уже забрался в рот Волынского с клещами.

— Сейчас, — сказал он. — Нам не впервой такое...

Клещами тянули язык наружу — длинный, весь в пене.

— Режь!

Один блеск ножа, и язык отлетел под ноги Неплюева, трепеща.

Палачи вставали. Отряхивались. Переводили дух.

— Рука расшиблена, а все равно здоров, черт!

Брякали в мешках инструменты палаческие, собираемы.

Волынский, суча ногами, уползал... дальше, дальше.

Заполз в самый угол. Вздрыгнул.

Он в ы л!

— Матушки мои милые, — ужаснулся Неплюев. — Ты смотри-кось, Андрей Иваныч, какво кровищи-то из него хлещет...

Ушаков взял министра за плечо, дернул к себе. Глаза Волынского смотрели осмысленно, а изо рта — буль, буль, буль — выхлебывало волны крови.

— Я же говорил, — произнес Ушаков. — Нельзя такого дела тайно воспроизвести. Обязательно видно будет...

Решили подождать... Может, кровотечение притихнет? Но Волынский продолжал извергать из себя волны горячей и яркой крови. Он весь плавал в крови... Ушаков поехал во дворец к императрице:

— Великая государыня! Нельзя Волынского на амбон тащить. Иностранцы сразу разглядят, что язык ему рван нами.

— А ты что? — отвечала Анна Иоанновна. — Или первый денек на свете живешь? Забей ему кляп в рот и платком перетяни.

Так и сделали. Палачи забили в рот Волынскому брусок деревянный. А чтобы он его как-нибудь не выпихнул, перетянули жгутом весь подбородок и стянули его крепким узлом на затылке.

— Все равно узнают, — махнул рукой Ушаков...

Теперь Волынский п и л свою кровь. Но глаза его смотрели на всех лучисто и здраво. Иногда он мычал. Его горло все время дергалось. Это от глотательных судорог...

27 июня — день удивительно жаркий был! Солнце лучисто сияло на багинетах гвардии, построенной вокруг «амбона». Эшафот был оснащен плахой, досками для четвертования людей, скамьями для сечения кнудом, которые называли «кобылами».

Палачи, в ожидании работы, похаживали лениво, красуясь перед народом рубахами алыми, как парусами праздничными. Задирали они девок в толпе, прикладывались к водке, которая светилась в казенном штофе. По улицам ходили барабанщики и глашатаи, заманивая народ на Сытнюю площадь, где на рынке имеет быть в восьмом часу казнь «некоторых важных злодеев» (а имен не называли). Манифеста о винах народу тоже не читали. Получалось непонятно — кого казнят и за что казнят?..

Секретари посольств иноземных загодя подъехали в колясках в Сытному рынку, но стояли от «амбона» поодаль, рассуждая:

— Очень важно, что станет говорить Волынский. Слава богу, императрица поклялась, что язык ему не вырвет.

— Я представляю, синьор, какая будет речь Волынского! Ведь он так ненавидит Остермана и Бирона... О-о, какой занимательный спектакль предстоит наблюдать нам сегодня.

Они ждали, кажется, бунта в толпе... Не потому ли глашатаи царицы и не назвали народу имен казнимых, не указали вины их?

— Везут! — слышались возгласы. — Везут злодеев...

Волынский плыл над головами людей. Голова министра низко уронена на грудь. Кровь проступала через тряпку, а он все глотал в себя кровь, глотал ее и глотал...

Кареты иностранных посольств сразу же отъехали:

— Языка нет, и речи не будет. Царица нас обманула!

Одна рука Волынского, выбитая на дыбе из плеча, болталась плетью. Это была правая рука, которую и станут отрубать ему пре-

жде головы. Он ни на кого не смотрел. Палачи приняли его от самой кареты, ввели под руки на «амбон» и стали готовить к смерти.

Артемий Петрович покорно крутился в их сильных руках.

Безъязыкий — бессильный!..

Был прочтен указ. Но в указе этом опять было сказано только о «милостях» великой государыни, императрицы Анны Иоанновны, которая, будучи кротка сердцем и нравом благодтна, повелела милостиво... милостиво... милостиво... В народе слышалось:

— Видать, отпустят.

— Кого? Их-то?

— Не. Никогда.

— Коли словили — все!

— Отпускать у нас не любят.

— Это уж так. Верь мне.

— Однако читали-то о милости.

— Да где ты видел ее, милость-то?

— Не спорь с ним. Он пьяный!

— Верно. Городит тут... милость!

Блеснул топор — отлетела прочь рука Волынского.

Еще один сверкающий взмах палача — голова откатилась прочь, прыгая по доскам эшафота, скатилась в ряды лейб-гвардии. Там ее схватили за волосы и аккуратно водрузили на помост.

— Ну, вот и милость! Первого уже приголубили...

Лег на плаху Хрущов, и толпу пронизал женский вскрик:

— Беги в деревню! Цветочки собирать станем...

Хрущов узнал голос сестры своей Марфы, которая должна заметить его детям мать родную.

— Беги в деревню, братик мой светлый! — голосила сестра. — Там ужо цветочки лазоревы созревают...

Матери Марфа Хрущова детям уже не заменит: тут же, на Сытном рынке, она сошла с ума, и теперь билась, сдерживаема толпою. А на плахе рвался от палачей ее брат. Инженеру голову рубили неудачно — с двух ударов, эшафот и гвардию забрызгало кровью. Еропкин отдался под топор с молитвами, с плачем... Удар был точен!

Послышался свист — били Иогашку Эйхлера кнутом, а де ла Суда, мелко дрожа, стоял возле и ждал, когда лавка освободится для его истязания. Рядом с кабинет-секретарем палачи люто терзали кнутом адмирала и обер-прокурора... Соймонов зубами грыз лавку, но молчал, ни разу не вскрикнув. А в людской толпе видел Федор Иванович свою жену. Дарья Ивановна пришла не одна — с детьми, явилась, чтобы

в последний раз на мужа глянуть, а рядом с ними стояла и вся родня соймоновская. Сытный рынок наполняли крики, рыдания, мольбы об обещанной от царицы милости.

Штоф быстро пустел. Кнуты уже намокли от крови.

Ушаков с Неплюевым нюхали табачок, взирая на толпу народную с робостью. День был очень жаркий, каких давно не бывало.

— Да кого ж убивают-то? — кричали в толпе.

— За что казнят их?

— А тебе не все равно? — отвечали из рядов гвардии...

Экзекуция закончилась, и Соймонов сказал палачам:

— Не тронь меня! Я сам встану...

Глаза жены пронизывали издалека его — жгуче. Он сделал усилие, но подняться с «кобылы» не мог. Однако — н а д о! Пусть видит Дарьюшка, пусть видят дети, что я жив... И адмирал встал. Он шагнул к самому краю эшафота, отвесил толпе нижайший поклон. Мимо него палачи тащили беспмятных Иогашку Эйхлера с де ла Судюю, но адмирал своими ногами сошел с эшафота.

В Тайной канцелярии его уведомили перед ссылкой, чтобы впредь «никаких непристойных слов, тако ж и о злодейственном своем деле ни о чем никому отнюдь не произносил, а ежели будет он об оном о чем ни есть кому произносить и рассуждение иметь, и за то казнен будет он смертью без всякия пощады».

На дворе Петропавловской крепости уже сажали в коляску Мусина-Пушкина, чтобы везти его в соловецкое заточение. Граф Платон тихо скулил — язык ему отсекли наполовину, но «амбона» позорного он миновал... Лошади тронули!

Сегодня на эшафоте российском побывали: министр, адмирал, горный инженер, архитектор, чиновник и переводчик...

Пять малых капель из моря людского — моря бурного.

Тела казненных еще долго лежали на эшафоте для устрашения всех дерзких. Потом на Сытную площадь приехал с дрогами причт храма Сампсония-странноприимца, и убиенных увезли они с собою. Робкой поступью шагали лошади, впряженные в покойницкие дроги. На ухабах бултыхало гробы дощатые, между ног мертвецов лежали их головы с глазами раскрытыми... Волынского с конфидентами захоронили, и их не стало.

Их не стало, а в каземате Тайной розыскных дел канцелярии еще долго тряс решетку неистовый Василий Кубанец (раб верный).

— Ой, дайте скорее бумаги мне! — зывал ко стражам. — Я еще вспамятовал и желаю всеподданнейше донести... Волынский, господин мой, почасту в календари смотрел. Выискивал он там, сколько лет принцу Голштинскому, внуку Петра Первого. В сем интерес злостный умысел усмотреть мочно!

Ушаков его выпустил, но сто рублей не подарил:

— А теперь ты, парень, скройся так, чтобы и духу твоего здесь не было. Попадешься на глаза — зашибем, как муху...

Кубанца отправили на житье в Выборг, и дальнейшая его судьба неизвестна. Неплюева же царица допустила до руки целования.

Иван Иванович в дневнике своем начертал для памяти потомства: «...по силе обещания императрицы Анны, награжден орденом святого Александра и немалыми на Украине деревнями, а именно: волостью Ропскою и местечком Быковым со всеми ко оным принадлежностями, в коих было более 2000 дворов, и пожалован я над всею Малороссиею главным командиром, отчего из Петербурга я и отъехал...»

Пройдет много лет, и, когда судей Волынского станут спрашивать, отчего они допустили такую жестокость в приговоре, почтенные старцы спокойнейше ответят молодому поколению:

— Такие времена! Вам не понять... Ежели других не пошлешь под топор, то и своей головы лишишься... Вот и выбирай!

Глава четырнадцатая

Анна Иоанновна бродила по садам и огородам Петергофа, плотно сцепив пальцы рук, сумрачная и задумчивая. Утешала ее только благополучная беременность племянницы. Было еще неясно, как протекут роды у Анны Леопольдовны, с ее бедрами неокрепшей девочки, и кто у нее родится — мальчик или девочка, царь или царица...

Бирон вышагивал рядом с императрицей, голенастый, в чулках нежно-сиреневых, стучал ногтем полированным по табакерке с алмазами. Жаркий ветер трепал букли его парика, разметывая парижскую дорогую пудру голубого жемчужного оттенка.

— Анхен, — спрашивал он, — отчего ты потеряла бодрость? Болезнь твоя есть только казус организма здорового.

— Ох, молчи, друг! — отвечала Анна Иоанновна, тяжело шагая меж грядок. — Не за себя я печалюсь — за тебя тревожусь. Умири я сейчас, и... что будет с тобою и детьми нашими? Ведь русские тебя, драгоценного моего, живо по кускам растащут!

Все десять лет была она щитом надежным, за которым герцог укрывался от гнева любого. Из-за щита этого вылетали в Россию

стрелы его, разящие недругов. Близость родов Анны Леопольдовны ошеломляла Бирона: он боялся, что появление наследника престола сразу возвысит семью Брауншвейгскую, а его герцогское сияние затмится в скорби и пренебрежении. Но пока он молчал. И в руке его, сильной и мягкой, покойно лежал пухлый локоть Анны Иоанновны, шагавшей через огороды петергофские.

Герцог любезно срывал для нее клубнику с грядок:

— Вот, Анхен, ягода... воистину достойная тебя.

Август месяц, плодоносящий и сытный, размочило вдруг дождями. Осень началась ранняя. Сады пригородные стояли в воде, шумные ливни поливали землю и море, запропал в туманах сырых Кронштадт, и Анна Иоанновна заторопилась в столицу.

— Хочу во дворец свой, — говорила. — Дома и солома едома, да и племянница вот-вот разродится. Присмотр бабий нужен...

В этом году, по совету Миниха, чтобы финансы поправить, она разрешила офицерам, кои двадцать лет отслужили, в деревни ехать. Будто из худого мешка посыпались в Военную коллегия рапорты об абшиде. У иных офицеров и деревень не было, а все равно — рвались со службы. Оттого это так, что слишком уж тяжела была служба. Иные дворяне, крепостных не имея, согласны были, как мужики, на себе землю пахать — только бы укрыться подалее от столицы, где гнет становился уже невыносим.

Анна Иоанновна спохватилась:

— Не давать абшидов более! Безобразники эки... Я думала, они с радостью мне служат. Я же из своих ручек венгерским их потчевала. А у них одно на уме — удрать от меня подалее.

Вокруг Петербурга усиленно строились слободы полковые, котрым суждено потом превратиться в целые районы города. Строили их солдаты, кладка была вековечная, казармы обширны, так что в дурную погоду весь полк сразу под одну крышу собирался. При дворе беспокойство было большое, ибо Швеция не унялась. Близилась война новая, а побеждать шведов Россия лишь на сухопутье была способна — флот уже догнал и развалился...

— Анхен, Анхен, — страдал Бирон, — только бы поскорей закончился этот проклятый сороковой год, который по-дурацки делится на числа четные... Зато в сорок первом мы заживем!

А скоро в Петербург приехал Алексей Петрович Бестужев-Рюмин и прямо с дороги завернул карету к дому герцога.

— Пусть он войдет, — сказал Бирон, доставая камень.

Вошел тот, веселый, сытый, крупный, нахальный.

— Садись, — сказал ему герцог, камень держа.

Тот сел, выжидая милостей и подарков.

Бирон размахнулся — ударил его камнем в лицо.

— Это не со зла, — сообщил он Бестужеву. — Это я забыл сделать с Волынским, так теперь заранее тебя предупреждаю...

Окровавленным ртом Бестужев отвечал ему:

— Благодетель мой... Друзья ведь мы, с юности близки были! Я ведь понимаю, что от добра вы столь усердны ко мне...

Сплюнул кровь и снова сел, выжидая подачек.

— Чего ты тут расселся? — спросил его герцог. — Ступай вон, невежа... Скоро ты понадобишься мне на более важное. Я тебя на место Волынского дрессировать стану... оцени!

На берегу Мойки стояла карета, где Бестужева поджидала жена его, Альма фон Беттингер, и по-немецки уже болтала с красивыми адъютантами Курляндского герцога.

— Поехали! — сказал Бестужев, садясь с ней рядом.

Карета тронулась. Бестужев дал жене кулаком в ухо.

— Ссссука гамбургская, — сказал ей с ненавистью...

Альма фон Беттингер изловчилась ударить его ногой в лицо. Карета уже катилась по Невскому, и от драки ее бултыхало из стороны в сторону, хотя мостовая была ровной, как доска. Но драки никто не видел и не слышал. Супруги возились внутри кареты молча, а шторы на окнах были опущены...

— Тпррру-у, — сказал лошадям кучер. — Приехали!

Бестужев-Рюмин сколачивал карьеру, как сколачивают корабли, чтобы плыть очень далеко. Он всю жизнь верно служил лишь тому, кто услуги его оплачивал. Такой-то подлец и надобен Бирону!

Дожди шумели в листве Летнего сада, воды бежали по канавам, низвергаясь в Фонтанку. Остерман и Бестужев-Рюмин играли в карты с императрицей. Анна Иоанновна слушала, как стучит по крыше дождь, ежилась в душегрее, сдавая карты рассеянно.

— Петрович, — сказала она Бестужеву-Рюмину, — распотешь меня анекдотцем заграничным. Да чтобы посмешнее!

— Отчего же и нет, великая государыня? Пожалуйста...

И вдруг императрица провела по глазам ладонью:

— Да что со мною такое, господи? Почудилось мне, будто я с Волынским опять сiju... И хотя ты, Бестужев, тоже Петрович по батюшке, но я не тебя, а его позвала!

Остерман захихикал дробненько:

— Ваше величество, с того света не вернется охальник.

Захохотал и Бестужев:

— Не прибежит от Сампсония с головою, под локтем зажатой!

Анна Иоанновна отбросила от себя карты:

— Как все красно в глазах... будто кровью облито.

Кабинет-министры утешали ее:

— Галлюцинации вредные бывают с каждым, но предчувствия тут не должно быть, ибо сие вне пределов божиего откровения...

— Нет, нет! — говорила Анна Иоанновна. — Я же не слепая, я ви-дела кровь на картах... ой, как страшно мне и тоскливо.

Шумели дожди. Легкой поступью вошел в залу Бирон, велел за-теплить побольше свечей. Императрицу он нежно гладил по руке:

— Не верьте галлюцинациям. Просто у вашего величества слу-чился маленький прилив крови к голове... Пойдемте, я провожу вас до опочивальни...

12 августа дворец Летний среди ночи осветился огнями. Анна Леопольдовна родила для русского престола наследника, которого нарекли — в честь прадеда — Иоанном, а по отцу Брауншвейгскому принцу Антону Ульриху дали ему русское отчество — Антонович.

Радость императрицы была безмерна.

— Слава Всевышнему! — ликовала она, часами простаивая перед иконами. — Слава, что дал Ты наследника вечному дому моему... Пробыл час мой торжественный: отныне спокойна я!

Ребенок, обмыт и закутан в соболя, был возложен на подушку атласную, которую держали на вытянутых руках четыре арапа.

— Убью, коли шелохнете не так, — сказала им Анна.

На этой подушке арапы сразу перетасили Иоанна Антоновича в покои императрицы, а мать с отцом от своего ребенка были отставле-ны. Бирона лихорадило, хотя наружно герцог обязан был радость вы-ражать. Ребенок родился вполне здоров (что тоже плохо для Бирона), большеголовый, он разевал свой розовый рот, охотно ловил крупные, как виноградины, сосцы бабищи-кормилицы...

Теперь начнется свалка при дворе! Остерману выгодно наследова-ние престола младенцем Иоанном Антоновичем; тогда он при мало-летнем императоре станет двигать Россию, как ему хочется. А враг его, герцог Бирон, к великому счастью Остермана, всегда враждовал с родителями ребенка, и от этого Остерману чуялись приятные конь-юнктуры. Но герцог Бирон тоже не дремал, подобно сытому коту над чашкою сметаны. У него в интриге придворной были свои конь-юнктуры — дерзновенные!

— Теперь ты мне особенно надобен, — шепнул он Бестужеву. — Я на тебя уповаю... верь мне — озолочу!

Ребенок лежал на подушках сверху сытым животиком, сучил ножками по атласу и пускал ртом счастливые пузыри. Сейчас он угрожал очень многим — герцогу Бирону, Елизавете Петровне, племяннику ее в Голштинии — принцу Петру Федоровичу, даже своим родителям был опасен этот выродок, что появился на свет божий от политической связи Вены с Петербургом... По сути дела, политическим отцом императора можно считать Остермана!

— Агу, — говорила внуку Анна Иоанновна. — Агушеньки... Ну-ка, сделай, Ванечка, нам потягушеньки...

По рядам гвардии прошло тихое шептание:

— По отцу отпрыск брауншвейгский, а по матке он мекленбургский, от России же в нем и всего-то... А сама-то императрица, ежели вникнуть, права на престол русский тоже не имела: ее верховники, не спросясь нас, на самый верх из Митавы вздыбачили... Худо нам!

Но эти шепотки тайные царицы пока не достигали. Она нянчилась с внуком, пока ее не стало хватать болью... Маркиз Шетарди спешно депешировал в Париж, что Анна Иоанновна «стала жаловаться на бессонницу. В конце сентября у ней явились припадки подагры, потом кровохаркание и сильная боль в почках. Медики замечали при том сильную испарину и не предсказывали ничего хорошего». Английский резидент Финч тоже следил за здоровьем императрицы, отписывая в Лондон: «То, что медики приписывали нарыву в почках, было не что иное, как вступление царицы в критическую эпоху в жизни женского пола; но оно сопровождается такими сильными истерическими припадками, что это очень опасно...»

6 октября Анну Иоанновну скрючило во время обеда. Кровь была в урине ее, а теперь кровью наполнилась и тарелка с недоеденной пищей. Лейб-архиятер Фишер отозвал Бирона в сторонку:

— Ручаться за будущее никак нельзя, и следует опасаться, что императрица скоро повергнет всю Европу в глубокий траур...

Бирон в растерянности кликнул скорохода:

— Беги к обер-гофмаршалу Рейнгольду Левенвольде...

Тот убежал — в красных сапожках, держа в руке жезл Меркурия, поверху которого — крылышки, как свидетельство поспешности. Скороход влетел в дом на Мойке, где Левенвольде беспечно нежился в саду с красавицей Натальей Лопухиной, звенел фонтан, и пели над любовниками райские птицы... Левенвольде выслушал гонца, велел

ему бежать обратно. Наташка по взгляду его потемневших глаз догадалась, что при дворе стряслась беда. Она спросила — что там, и обер-гофмаршал сумрачно ответил:

— Бирон спрашивает, что ему делать? Но я же не оракул, как Остерман... Я знаю лишь одно, что нашей безмятежной и счастливой жизни, кажется, приходит капут. Надо ехать во дворец...

Решено было срочно созвать Кабинет, но Остерман срочно заболел, чтобы в Кабинет его не звали, чтобы переждать это смутное время... Бирон бесновался, гонял к нему лейб-медиков:

— Когда нужно принять решение, он всегда поддыхает и никак не может подохнуть... Оживите его хотя бы на час.

Остерман, полумертвый, не шелохнулся. Он не явился!

Тогда герцог натравил на него графа Левенвольде.

— Рейнгольд, — сказал он, — ты же понимаешь: один неловкий шаг в сторону, и мы слетим с этой волшебной горушки... Спешите!

Левенвольде помчался за Адмиралтейство — в дом Остермана, речь вице-канцлера и первого министра была невнятна:

— ...поелику чины проходящи в заботах державных, то надо решать в Совете, а Иоанн порожден быть имеет от племянницы царской, и в воле собрания вышнего, Богом и природой назначенного, полагают верноподданные о мудрости ея величества не судить...

Левенвольде начал трясти Остермана в постели.

— Проклятый оракул! — кричал он на него. — Можешь ли ты хоть одно слово произнести по делу: кому бы ты был регентом? Кому быть регентом при младенце Иоанне, если умрет сейчас императрица?

— Я уже сказал, и еще раз повторяю, — бубнил Остерман, глаза закатывая, — что право наследства природного есть промысел божий, и тому быть, как власть вышняя определит в намерении ея величества, моей благодетельницы...

Левенвольде скрючил пальцы, сведенные в судороге ярости:

— Хоть на одну минуту, но выплыви ты из каналов темных! Говори дело, или я тебя задушу, проклятого мракобеса...

Остерман робко произнес имя Анны Леопольдовны.

Левенвольде топнул ногой:

— Выходит, негодяй, ты против герцога Бирона?

Остерман чуть ожил, задвигавшись на постели:

— А разве я не сказал, что герцог самая важная персона?

— Ты взмутил всю воду, но рыбки так и не выловил.

— Боже! — воскликнул Остерман. — Я всегда считал, что его светлость герцог Курляндский личность вполне достойная для того,

чтобы управлять Россией. Но нельзя же забывать и родителей Иоанна, которые тоже пожелают владеть Россией!

Во дворце все вельможи были в сборе. Шептались. Императрица охала в спальне, а младенец в колыбели радовался жизни. Бестужев-Рюмин перебежал от князя Черкасского к герцогу Бирону.

— Нельзя регентшей матери Иоанна быть! — вещал он. — Если Анна Леопольдовна при сыне своем малом Россией править учнет, тогда из Мекленбурга ее старый батька прикатит. А нрав герцога Леопольда Мекленбургского по газетам достаточно известен. Он в Мекленбурге своем, дня не проходит, чтобы головы кому не оттяпал... На Руси-то ему полное раздолье для озорства будет. Топоров тут — полно, а голов и того больше!

Бирону такие слова — как маслом по сердцу. Сейчас он сам подкрадывался к управлению Россией, и каждый кандидат ему мешал.

— Если Анне Леопольдовне нельзя быть регентшей, — говорил герцог, на Черепаху поглядывая, — вряд ли можно в регенты назначить и мужа ее, отца Иоанна, принца Антона!

— Никак нельзя, — охотно соглашался князь Черкасский, понимая, чего домогается Бирон. — Принц Антон, хотя и высокой фамилии, но боязлив и глуп, к России не приспособлен так, как успела приспособиться ваша герцогская светлость...

Имени регента так никто и не произнес: боялись!

По стеночке, держась за нее рукою, из спальни вдруг выползла императрица Анна Иоанновна, и заговорщики растерялись.

— О чем речь идет? — спросила она с угрозой, недобро глядя. — Или вы меня хоронить собрались? Смерти моей никто не дождется. Занемогла малость, но поправлюсь еще... Сейчас лейб-архиятер Фишер мне рецепт от подагры пишет, а Саншес твердит одно, будто не подагра у меня, а камни в брюхе...

Императрица оторвалась от стенки, пошла к младенцу:

— Запрещаю вам наследство мое делить, пока я жива!

За нею громко хлопнула дверь.

— Ея величество, — сказал Бирон, глядя в окно на дождь серый, — от болезни оправилась, и слава богу. Но забот о назначении регента мы оставлять не должны. Мало ли что...

Ясно! Черкасский с Бестужевым поехали к Остерману.

— Гляди, Петрович, — говорил Черепаха, — как герцог колеблетс-ся. И хочет укусить от регентства, да, видать, побаивается.

Карета министров катила мимо Адмиралтейства, за которым виднелись шаткие в непогоде мачты кораблей.

— Отчего же, князь, и не быть Бирону регентом? — отвечал Бестужев. — По воде ходя, воды не ищут!

Черкасский был вынужден соглашаться:

— Правда твоя, Петрович: уж больно герцог в делах искусен.

Остерман сказал кабинет-министрам:

— А зачем спешить? Надо думать. Много думать...

Он лежал в постели и думал. Явственно выразил Остерман лишь одно пожелание: быть при матери малолетнего императора С о в е т у, где и Бирон заседать мог бы... Бирона это возмутило:

— Как можно Совету быть? Сколько голов — столько и мнений. Но лучше одной головы ничего не бывает!

Он страдал: «Ну где же тот смельчак, который открыто объявит имя мое для регентства?.. О жалкие людишки!»

Глава пятнадцатая

За окнами повалил мокрый снег. Белой кашей он лепился к стенам дворца, к стволам черных деревьев Летнего сада, сиротливо зябнувших в чайники зимы. Тяжкий нечистоплотный дух насыщал апартаменты, где умирала Анна Иоанновна... Еще недавно жизнь была для нее сплошным праздником! Среди морозов трескучих цвели тут тропики садов висячих. Среди растений диковинных плясали аркадские пастушки-фрейлины, камергеры выступали словно маркизы... Сколько было музыки, ферлакурства!

В обнищавшей, ограбленной ею стране Анна Иоанновна была самой богатой. И умирала она сейчас не во дворце, а на сундуках. Ибо дворец императрицы напоминал сундук. Все годы царствования своего хажуисто и завистливо сбирала она богатства. В подвалы дворцов, уставленные сундуками, пихала Анна Иоанновна все подряд, что под руку попадало. Драгоценные камни, меха дивные, ткани восточные и лионские, целые груды алмазов, яхонтов, сапфиров, рубинов. Версты чудной парчи изгнивали напрасно, никем не ношенные. И вот теперь, лежа над своими кладовками, она умирала, бессильная забрать что-либо с собою в мир загробный.

А возле одра ее шла борьба за власть над великой страной. В аудиенц-каморе для этого снова собрались — Бирон, Бестужев-Рюмин, Рейнгольд Левенвольде и князь Черкасский; вскоре во дворце появился и Миних, отчаянно скрипя новенькими ботфортами. Бестужев самым наглым образом отдавал Россию вместе с народом ее под власть герцога Курляндского. Он первым заговорил открыто:

— Кроме вашей светлости, некому быть в регентах. Поверьте истинно, что в с я н а ц и я желает только вас!

Миних при этом скривился, словно ему обожгло губы, и отошел в сторонку, дабы не высказывать своего мнения. Но этот полководческий маневр не ускользнул от ока герцога.

— Граф! — резко позвал его Бирон. — Вы слышали?

— Нет. Я не слышу отсюда.

— Так идите ближе... идите к нам.

Миних подошел. Бестужев заговорил по-немецки:

— Правда, что в других государствах странным это покажется, отчего в регентстве мы мать с отцом обошли.

— Да, это будет странно, — согласился Бирон, бледнея...

Черкасский что-то нашептывал на ушко Левенвольде.

— Князь! Что ты там интригуешь? Говори громко.

— Доказываю я, что только ваша светлость может спасти нас и народ русский. Никого иного вокруг себя не наблюдаю...

Миних понял, что он остался один и надо догонять теперь тех, которые в карьере далеко вперед его обежали.

— О чем спор? — заявил фельдмаршал, надвигаясь пузом прямо на Бирона. — Если уж избирать кого в регенты, так никого, кроме вашей светлости, и не надо...

Но губы толстые еще кривил, завидуя (в р а г!).

Анна Иоанновна подписала манифест о наследовании престола малолетним Иоанном, своим внуком. Многие вельможи при сем акте присутствовали; когда они уже стали покидать большую, Миних задержался в дверях и произвел маневр, много выгод ему сулящий.

— Ваше величество! — заявил он твердо. — Мы уже пришли к согласию и просим вас подданнейше, чтобы регентом при внуке вашем Иоанне быть герцогу Курляндскому...

Анна Иоанновна ничего ему не ответила, а когда двери за Минихом закрылись, она Бирона спросила:

— Что мне сказал сейчас фельдмаршал?

Бирон пожал плечами:

— Он чего-то просил, но я тоже не понял.

Анна Иоанновна натянула на себя вороха жарких одеял.

— До чего же все сразу непонятливы стали... Одна лишь я, лежа вот здесь, все понимаю!

История разбойника Надира, который стал регентом при малолетнем шахе Аббасе, а потом свергнул его, занимала сейчас воображение Бирона. Впрочем, если вступить в любовную связь с Елизаветой, то эта девка вполне заслонит его от гнева русского...

Теперь он ждал, чтобы Анна Иоанновна освободила его:

«Смерть так смерть, но скорее к развязке. Сколько лет прошло, как у меня не было другой женщины, кроме этой... Да! Пусть она развяжет мне руки...»

Рибейро Саншес подошел к Бирону:

— Что бы ни говорил архиятер Фишер с тугоухим Каав-Буергаве, но они лечат не то, что болит. Я же считаю, что положение императрицы стало окончательно безнадежным.

Бирон прослезился.

— Однако я благодарен вам, — сказал он. — Мои глаза теперь открыты и видят истинное положение в империи.

В аудиенц-каморе показалось Брауншвейгское семейство — Анна Леопольдовна с принцем Антоном, оба заплаканные. Бирон встал перед ними, загораживая дорогу к императрице:

— К ея величеству нельзя, положение ухудшилось.

Анна Леопольдовна вскинула к лицу кулачки:

— Как вы смеете так говорить, герцог? Она не только императрица, но еще и тетка мне родная... Пустите!

— Нет! — ответил Бирон.

Теперь, когда роковой час пробил, Бирон допускал до Анны Иоанновны только свою жену, только своих детей, только своих креатуров. Принц Антон Ульрих стал убеждать герцога:

— Но мы ведь родители императора России... Как вы можете препятствовать нам войти в покои, где не только больная императрица, но и... н а ш сын? Пустите нас, герцог.

— Нет! — отказал ему Бирон со злорадством...

Остерман продолжал затемнять сознание и себе и другим. Он страшился сказать Бирону «нет», чтобы не пострадать потом, если герцог станет регентом. Он боялся произнести и «да», чтобы не пострадать от семейства Брауншвейгского, если регентшей над своим сыном-императором станет Анна Леопольдовна.

Наконец он прослышал, что, кажется, все уже решено без него, и тогда во дворце раздался скрип немазанных колес. Это въехал во дворец Остерман, «поправший смерть» ради конъюнктур спасительных. Коляску его катил сейчас кабинет-секретарь Андрюшка Яковлев, заменивший Иогашку Эйхлера; Остерман скромнейше возвещал о себе направо и налево:

— Я нерусский, и не мне судить о делах русских...

Бестужев-Рюмин мертвой хваткой вцепился в него.

— Как это нерусский? — кричал он на первого министра. — Ежели нерусский ты, так чего же десять лет Россию управлял? Бессовестно тебе от регентства герцога отворачиваться, когда уже все давно по-решили, кому в регентах быть!

«Неужели я опоздал?..» Обложенный ватой и мехами, подлинный владыка России был вкачен вместе с коляскою в двери царских покоев. Анне Иоанновне он сказал, что восстал от ложа смертного только затем, чтобы объявить ей:

— Лучше Бирона в регенты нам никого не найти.

— И ты так думаешь? — была поражена императрица...

Проект о назначении Бирона в регенты она засунула себе под подушку. Всех удалила мановением руки и велела остаться одному лишь Бирону... Без свидетелей она спрашивала его:

— Подумай! Разве так уж тебе э т о нужно? Езжай-ка, друг мой милый, обратно в Митаву... Залягают тебя здесь без меня!

Бирон промолчал, и она поняла, что герцог регентства хочет. Бирон же из ее спокойствия понял, что возражать императрица не станет. Бестужеву-Рюмину герцог строжайше наказал:

— Хоть ночь не спи, а составь челобитную от имени Генералитета и Сената российского. Чтобы генералы и сенаторы просили императрицу упрочить спокойствие империи через мое назначение в регенты над малолетним императором Иоанном... Ступай!

Наутро такая бумага была готова. «Вся нация герцога регентом желает!» Сенат и Генералитет в собраниях своих ее н и к о г д а н е ч и т а л и. Как же они подписали ее?.. Бирон отзывал к себе по два-три человека, прочитывал им челобитную вслух.

— Выдумают же! — говорил он, фыркая, вроде не желая регентства для себя. — Неужели в России, кроме меня, никого более достойного не могли сыскать?

На что спрошенные могли ответить ему лишь одно:

— Ваша светлость! Как мы можем сомневаться в ваших великих достоинствах? Челобитная очень хороша! Мы подписываемся... Позвольте лишь взглянуть, кто п е р в ы м подпис поставил?

Первым стоял «подпис» Бестужева-Рюмина. Сразу все становилось ясно, и перья вжикали под челобитной, умоляя императрицу скорее упрочить спокойствие государства назначением Бирона в регенты.

— Я никак не могу понять! — удивился Бирон, похаживая среди придворных. — Или все вокруг меня сошли с ума? За что мне оказывают такую честь? Можно подумать, что я гений...

Так вот постепенно, отзывая в сторону то одного генерала, то другого сенатора, он заполнил подписями всю челобитную.

— Мне теперь ничего не осталось, — сказал Бирон, притворно недоумевая, — как отнести эту бумагу к ея величеству...

Анна Иоанновна почувствовала облегчение. Сидела на постели, а девки комнатные волосы ей чесали. Бирон вручил челобитную.

— Любовь моя, Анхен, — говорил он, — прости, но я не в силах долее скрывать опасность, в которой ты пребываешь. Этих жестоких слов боятся произнести все, и только один я способен сказать их тебе. Не оставь меня, Анхен! В последний раз благослови меня и семейство наше... Одна твоя подпись сейчас может возвысить меня или свергнуть в нищету прежнее ничтожество.

Анна Иоанновна челобитную тоже запихнула под подушку:

— Не проси лишнего, друг мой. Не могу исполнить я просьбы твоей, ибо велика моя любовь к тебе... Как же я с высот горних мира нездешнего видеть буду мучения твои на этом свете? Уезжай в Митаву, и там ты будешь спасен...

Через кордоны герцога к ней прорвалась племянница. Анна Леопольдовна сообщила тетке, что к соборованию все готово. Анна Иоанновна в злости отпихнула ее от себя:

— Сговорились вы, что ли? Не пугайте меня смертью...

Она была еще жива, но уже казалась всем л и ш н е й. Все хотели скорее от нее избавиться, чтобы приветствовать восхождение нового светила. 16 октября Рибейро Саншес сказал, что конец недалек. Это же признали в консилиуме и другие лейб-медики. Анна Иоанновна сама почувствовала близость смерти и тогда позвала к себе Остермана. Они долго беседовали наедине (даже Бирон был изгнан). О чем шел их разговор — это останется тайной русской истории. Но когда Остерман выкатился прочь, рыдающий, словно заяц, которого застрелили собаки, тогда был зван в покои Бирон.

Анна Иоанновна лежала, высоко поднятая на пуховиках.

В руке она держала челобитную, и дальнозоркий Бирон еще с порога заметил, что она уже подписана императрицей.

— Ты этого хотел? — сказала она любимцу. — Так я это для тебя и сделала. Но чует сердце мое, что апробация моя добра не принесет... Здесь я подписала т в о ю г и б е л ь!

Бирон в гибель не верил. Он с большим чувством прижал к губам плающую руку женщины, которая дарила ему любовь, рожала ему детей. А сейчас она умирала, отдавая ему в наследство великую империю мира! Она отлетала сейчас в небытие, а русский Надир оставался с маленьким шахом Иоанном, который весело смеялся за стенкой... («Задушить бы его подушкой — сразу!»)

Все было решено келейно. Три немца и два русских вручили Россию пришлому человеку из митавской конюшни. Во дворце гулко хлопали двери, по апартаментам метался как угорелый Бестужев-Рюмин, крича надрывно в комнате каждой:

— Лучше Бирона не сыскать!

...Чистым снегом занесло могилу Волынского и его конфидентов, над храмом Сампсония-странноприимца закружила пурга.

Чистый снег засыпал и хоромы московские, лежал нарядно на крыльцах теремов старых. Снег был первый — праздничный...

17 октября Наташа Долгорукая въехала в Москву, обитель юности, где оставила готовальни и книги умные. Уезжала отсюда совсем молоденькая, веря лишь в добро, а вернулась матерью с двумя сиротами на руках, вдова обездоленная, несчастье познавшая.

— Вези нас прямо к Шереметевым...

Братец Петя встретил сестру с испугом:

— Вот не ждал тебя... Ну куда я вас деду? Нешто не могла ты, Наташка, прямо на деревню отъехать?

Разговор происходил в библиотеке Шереметева, и здесь же библиотекарь сидел — поляк Врублевский. Братец молол дальше:

— Я бы тебя, сестрица, и поместил в доме своем, да негоже ныне. Я ведь жених княжны Черкасской, а «тигрица» сия дочь канслера, кабинет-министра. Каково поступок мой на карьере тестя при дворе скажется? (Наташа плакала, дети, на мать глядя, тоже ревели.) Невеста моя богата и знатна, шифр бриллиантовый у плеча носит. Уж ты прости, сестрица. Денег я тебе дам, а более не проси... Не вовремя ты из ссылки возвратилась. Да и я только-только карьер свой взял, при дворе уже принят...

Он сунул ей кошелек. Наташа отбросила его и ушла.

Вспомнилась ей дорога от Березова до Москвы, на всем протяжении которой она копейки не истратила: народ ее поддерживал.

Ее нагнал на улице библиотекарь Врублевский:

— Добра пани! Грошей не имею, а сапоги дам...

Тут же, на снегу, разулся и бросил сапоги Мишутке:

— Маленький пан мерзнет...

В одних чулках вернулся он в роскошные палаты Шереметева.

Наташа переобула старшего сына в сапоги новые, полугодовалого Митю, которого родила под штыком, прижала к себе, и пошли они по Москве, наполненной гамом и толкотней людской. Девятилетний Мишутка бежал рядом, цепляясь за подол шубы материнской, а младший спал доверчиво, разморясь, и Наташа ощущала тепло детское и понимала, что жить стоит — ради детей, ради их счастья, чтобы выросли, зла не имеющими, и тогда старость навестит ее — как отдохновение...

Над первопрестольной поплыл тревожный набат колоколов. Медным гулом наполняло Москву от Кремля самого, ухали звоны храмов

высоких, заливались колоколята малые при церквах кладбищенских. Возле рогатки служивый старичок навзрыд убивался, плакал.

— Чего плачешь, родимый? — спросила его Наташа.

— Ах, и не пытай ты меня лучше... Беда случилась!

— А чего благовестят? День-то нонеча какой?

— День обычный, — отвечал служивый, — но прибыл гонец с вестью... Звонят оттого, что умерла наша великая государыня. Господь Бог прибрал касатушку нашу ласковую Анну Иоанновну!

По щекам Наташи сорвались частые слезы — от счастья.

Она и плакала. Она и смеялась. Легко ей стало.

— Не горюй, — сказала. — На что убиваться тебе?

Служивый слезы вытер и глянул мудро.

— Ах, сударыня! — ответил он Наташе. — Молоды вы еще, жизни не ведаете. А плачу я оттого, что боюсь быстро...

— Чего же боишься ты теперь?

— Боюсь, как бы ныне х у ж е на Руси не стало!

Служивый отворил перед ней рогатку. Во всю ивановскую заливались сорок сороков московских, будя надежды беспечальные. И шла Наташа по Москве, смеясь и ликуя. Целовала она детей своих, еще несмышленьшей.

— Вырастете, — говорила, — и этот день оцените. Для вас это будет уже гишторией, а для матери вашей — судьба...

Первопрестольная содрогалась в набате погребальном.

Благословен во веки веков звон этот чарующий.

Глава шестнадцатая

Вот, наконец, издохла она,
оставши в страхе
всех, которы при ней,
издыхающей,
там находились...

*Вас. Тредиаковский
Тилемахида*

Анна Иоанновна встретила смерть с достойным мужеством.

Она умерла гораздо лучше, нежели сумела прожить...

Глаза «царицы пристрашного зраку» медленно потухали.

Императрица умирала — в духоте, в спазмах, в боли.

Взглядом, уже гаснущим, она обвела придворных и заметила прямую, как столб, фигуру Миниха в белых штанах, с бриллиантовым жезлом в здоровенной ручище, обтянутой перчаткой зеленой.

— Прощай, фельдмаршал! — сказала она ему твердо. В этот последний миг она будто желала примирить Миниха с Бироном — двух пауков, которых оставляла проживать в одной банке. Иерархи синодские читали отходную, и дымно чадили свечи...

Потом взор Анны Иоанновны, медленно стекленея, вдруг замер на Бироне. Долго-долго смотрела она на своего фаворита, словно хотела унести в могилу память об этом стройном и сильном мужчине, который утешал ее в жизни.

И вот губы ее плачуще дрогнули.

— Не бойсь! — произнесла она внятно.

Еще раз обвела взором близких, лица которых плавали перед ней, как в тумане, колеблясь и расплываясь в свечном угаре.

— Прощайте все! — закончила Анна.

Голова ее дернулась, а глаза больше ничего не видели.

Анна Иоанновна умерла, прожив на белом свете 46 лет 8 месяцев и 20 дней. Десять лет русской истории, самой тягостной и унижительной, закончились...

«Не бойсь!» — это были слова ее политического завета.

Она внушала Бирону — не бояться России и народа русского, но сама-то всю жизнь прожила в самом гнусном страхе...

Прусский посол Мардефельд поспешно строчил донесение в Берлин — молодому королю Фридриху II:

«Все русские вельможи отправились в Зимний дворец поздравить регента, целуя ему руки или платье. Он заливался слезами, не будучи в состоянии произнести ни одного слова. Спокойствие в империи столь велико, что можно сказать — ни одна кошка не шевельнется!»

В душных покоях было невозможно дышать. Отбили замки и растворили рамы окон. Придворные толпились возле герцога Бирона, как послушные марионетки. В окна врвался свежий морозный воздух, и вместе с ним донесся до покоев дворца чудовищный, дерзновенный вопль с улицы:

— Уж коли на Руси самым главным Бирон стал, так, видать, он царицу по ночам здорово умасливал!

Крикун оказался монахом. Его поймали и привели.

— Любезный, — сказал Бирон крикуну, — ваше ли это дело рассуждать о высших материях власти? Вы позволили себе отзываться

обо мне дурно, а ведь вы меня совсем не знаете... Может так случиться, что я человек хороший и вам будет со мною хорошо.

Ушаков сделал выжидательную стойку:

— Куды его тащить прикажете? За Неву? В пытошную?

Массивная челюсть Бирона дрогнула:

— Зачем? Отпустите его. Я не желаю зла...

Два лакея подвели к регенту ослабевшего от рыданий князя Никиту Трубецкого, который спрашивал о распоряжениях по комиссии погребальной, о траурных пышностях, приличных сану покойницы. Любопытствовал князь Никита, сколько тысяч золотом ему на все это благолепие будет из казны отпущено.

— Не понимаю вас, — ответил Бирон. — О каких тысячах идет речь? В уме ли вы, прокурор? Для украшения гроба императрицы возьмите страусовые перья... от шутов! А что осталось в магазинах от дурацкой свадьбы в Ледяном доме — из этих запасов вы посилено и создавайте пышность.

Ай да Бирон! Хорошо начал! Прямо с ядом начал!

На тонком шпиге дворца Летнего дрогнул орленый всероссийский штандарт и медленно пополз вниз, приспущенный в трауре по кончине императрицы.

Но рядом с ним ветер с Невы трепал и расхлестывал над столицей России желто-черный штандарт Курляндского герцога...

Перед толпою льстецов Бирон следовал в комнаты нового императора России — Иоанна Антоновича. Регент почтительно склонился перед младенцем. Император, возлежа на подушках, пускал вверх тонкую и теплую струйку.

— Ваше императорское величество, — обратился к младенцу Бирон, — соблаговолите же дать монаршее распоряжение, чтобы отныне мою высококняжескую светлость титуловали теперь не иначе как его высочество, регент Российской империи, герцог Курляндский, Лифляндский и Семигальский...

Младенец катался на подушках, потом густо измарал под собой роскошные сибирские соболя.

— Его величество выразил согласие, — заговорили льстецы.

— Чего уж там! — подоспел Бестужев. — Дело ясное...

Миних сказал:

— Даже слишком ясное! Я это ощутил по запаху...

Статс-дамы и фрейлины уже обмывали покойницу. Анна Иоанновна еще долгих три месяца не будет предана земле, а для сохранения останков императрицу следует приготовить. Теперь, когда она уже

не себе, а истории принадлежала, тело ее брэнное вручалось заботам медицины.

Шествовали люди почтенные, мужи ученые — лейб-медики и хирурги... Сейчас! Сейчас они распотрошат ея величество. В конце важной и мудрой процессии врачей шагал и Емельян Семенов, который до сих пор царицы вблизи не видывал. И думал, шагая: «Теперь она тихонькая... А сколько мучений народ принял от нее, пока в ней сердце билось, пока уши слышали, а глаза виноватых выискивали...»

Заплаканная гофмейстерина остановила врачей:

— Сейчас ея покойное величество перенесут в боскетную, и лишь тогда велено вас до тела ея допускать...

Каав-Буергаве был на ухо туг, при нем состоял ассистент Маут, который на пальцах, как глухонемой, быстро втолковвал метру, что тело к вскрытию еще не готово. Кондоиди наказал лакеям дворцовым, чтобы тащили в боскетный зал побольше ведер и чашек разных:

— Я знаю — натецет з нее много зыдкости...

Семенов опустил на пол тяжелый узел, в котором железно брянули инструменты, для «трупоразодрания» служащие. И тут кто-то цепко схватил его за плечо, подкравшись сзади. Обернулся, — ну так и есть. Опять «слово и дело». Стоял перед ним Ванька Топильский в мышинном кафтанчике, живодед известный.

— А тебя не узнать, — сказал он Емеле с подозрением. — Ишь как принарядился ты... Отчего я тебя во дворце царском вижу?

— Стал я врачом подмастерьем, и ты меня не хватай... Не хватай... Ваше время ныне пошло на исход...

Топильский руку с плеча убрал, а ответил так:

— Н а ш е время никогда скончаться не может, ибо России без сыска тайного уже не обойтись. Машина сия хитроумная запущена, и теперь ее не остановишь. Только успевай кровушкой смазывать, чтобы скрипела не шибко...

Повели врачей в боскетную, откуда мебель и цветы уже убрали. Остался посредине большой стол, на котором лежала императрица. Дверь закрыли, снаружи ее поставили часового. Спотыкаясь о ведра, стоящие близ стола, врачи стали рвать платя с императрицы, словно тряпки с дешевой куклы, которую впору выбросить. При этом они разом раскурили трубки фарфоровые. Дым нависал столбом!..

Наконец был сдернут последний чулок, и глухой Каав-Буергаве грубо шлепнул Анну Иоанновну по ее громадному животу.

— Синьор, — сказал он Рибейро Саншесу, — потрошить брюшную провинцию мы доверяем вам. А вы, — обратился он к Кондоиди, — проникните в провинцию секретную...

Семенов глянул на Анну Иоанновну. Покажи ее вот такой народу — не поверят ведь, что эта расплывшаяся баба угнетала и казнила, услаждая себя изящными фаворитами, бриллиантами, венджинной, картами, стрельбой из лука, песнями и плясками, забавами глупейшими. Емельян Семенов брезгливо рассматривал императрицу...

Один глаз Анны Иоанновны приоткрылся, и жуткий зрачок его исподтишка надзирал за Емельяном.

Стало страшно! Как и в прежние времена. Под императрицу подсунули ароматические матрасы.

— Ну что ж, начнем... — заговорили врачи.

Саншес скинул кафтан. Натянул длинные, доходящие до локтей, перчатки из батиста. Вооружил себя резаком. Но прежде лейб-медики выпили по стакану вина и снова втиснули в зубы трубки.

— Пора! — суетился де Тейльс. — Приготовьте ведра...

Под ударом ножа раздутое тело императрицы стало медленно оседать на плоскости стола — словно мяч, из которого выпускали воздух. Саншес перевернул тело на бок, и теперь Семенов с Маутом едва успевали подставлять чашки.

— Осталось одно ведро! — крикнул Емельян.

— Это для требухи, — ободрил его Кондоиди.

Знание латыни всегда полезно, и сейчас врачи посадили Емельяна Семенова для записи протокола. От стола, где потрошили Анну Иоанновну, часто и вразнобой слышалось разноголосье врачей:

— В перикардиуме, около рюмки желтого вещества, печень сильно увеличена... жидкости три унции! Поспевайте писать за нами... Истечение желчи грязного цвета... В желудке еще осталось много вина и буженины... Ободошная кишка сильно растянута...

— Проткните ее, — велел Кондоиди.

Требуха ея величества противно шлепнулась в ведро.

— Вынимайте из нее желудок.

— Не поддается, — пыхтел Саншес.

— Рваните сильнее.

— Вот так... уф!

Кондоиди скальпелем разжал мышцы мочевого пузыря.

— Тут что-то есть, — сказал он, сосредоточенный.

И достал из пузыря царицы коралл ярко-красного цвета. Повертел его перед коллегами, показывая. Коралл был ветвистый, как рога

дикого оленя, с очень острыми зубцами по краям, величиною с указательный палец взрослого человека. Это и был «камчюг».

— Вот прищипана смерть, — сказал Кондоиди. — Броцьте!

Коралл звонко брякнулся в пустую вазу. Кондоиди вспрыгнул на стол. Присев над императрицей, он засунул руку в грудную клетку, шнурком шелковым стянул ей горло. Затем крепко перевязал грудные каналы, идущие к соскам.

— Цеменов, иди цуда с нозыком, — велел Кондоиди.

Емельян Семенов, на пару с Маутом, убрали из Анны Иоанновны весь жир. Саншес между тем кулаком запикивал в императрицу, словно в пустой мешок, сваренное в терпентине сено. Каав-Буергаве, мастер опытный, бинтовал императрицу, будто колбасу, суровой тесьмой, пропитанной смолами... Трудились все!

Кондоиди велел своему подмастерью взять ведро с требухой и вынести его куда-нибудь. Емеля подхватил тяжеленное ведро, вышел во двор. С неба ясного сыпал хороший, приятный снежок. За Фонтанкою дымили арсеналы, слышался грохот опадавших кувалд.

Жизнь текла, как и раньше. Бежали лошади в санках.

Потирая уши, прохожие шагали по своим будничным делам.

Емельян Семенов дошел до выгребной ямы. Еще раз брезгливо глянул он на осклизлые, синевато-грязные потроха Анны Иоанновны. И, широко размахнувшись, выплеснул в яму царскую требуху.

Пошел обратно, позванивая в руке пустым ведром.

День был чудесный. Погода настала хорошая...

Цари! Я мнил: вы боги властны,
Никто над вами не судья;
Но вы, как я, подобно страстны
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!

Эпилог

Велика мать Россия, и каждый найдет себе место в ней...

За горами — земли великие,
За лесами — земли богатые.

Близ озера чистого, за дебрями дремучими, со времен недавних поселился беглый с каторги бобыль, мужик еще не старый. Сам он был громаден и прям, плечищами — сажень косая, а ноздрей у него не было... Вырваны — так что кости видны!

Звали его Иваном, а родства за собою не упомянул.

Таился в лесу он целую зиму. По весне дом срубил, крепенький такой. Собачонку завел — шуструю. И топором тюкал. И силки на зверье и птиц ставил — с охоты этой и проживал.

Проходил мимо странник убогий, водицы испросил.

— Старче, — сказал ему Иван, родства не знающий, — ты, видно, немало по свету хаживал. Не ведаешь ли, где живут тут девицы незапятнанные? Скушно мне одному в лесу век вековать.

— А эвон, — кивнул странник, возвращая мужику ковшичек берестяной, — ступай, добр человек, тропкою этой, которою я на тебя из лесу вышел. Иди, иди, иди... долго идти надо! А там над речкою дуб растет — высокий же. И от дуба того сверни посолонь, как и я шел. Ступай далее — до камня великого... А там поселился мужик хороший, в бегах от помещика, у него — дочери!

Отправился Иван в дорогу — поискать невесты себе.

И лаяла на белок собачка его шустрая.

Дошел Иван до дуба приметного, от него повернул посолонь. Вот и камень ~~завид~~завиделся замшелый, под ним же дом стоял. Приняли Ивана, за стол посадили. Хозяин его убоинкой потчевал.

А за окнами долблеными лес вечерне шумел...

— Вот и рай! — сказал мужик Степан, тоже родства за собой не помнящий. — Никого округ на сотни верст нету: ни барина, ни воеводы, ни царицы, ни попов, ни сыщиков... Живем, мать твою в маковку! И будем жить, а после нас пускай другие живут...

Нацелил Иван свой веселый глаз на молодуху, которая, возле печи стоя, рукавом от него закрылась.

— Марьюшка, — позвал ее нежно, — ступай за меня. Ты не бойся. Ноздри мне на Москве вынули, это непригоже, верно. А души моей никто из меня вынуть не смог... Чиста она и крепка! Будем жить ладно. Я тебя вовек не обижу...

— А сам-то каких ты краев будешь? — спросили его.

— Моих краев не измерить, — отвечал Иван, родства не знающий. — Сам-то я русский буду... Был когда-то Потапом, по селу Сурядову и звался Сурядовым. На Москве свое житие имел. Оттуда в солдаты попал и на службе в Ревеле был, городок, прямо скажу, чинный и приятный, только мне там худо было. Затем вот в Кронштадте гавани бутыл... там тоже плохо мне было. Привелось и в Польше пожить, на Ветке, откуда к татарам попал. Но с армией господина

Ласси из Крыма я вышел... Всяко бывало в жизни моей, но, кажись, затишало! Теперь вот, думаю, пашню подымать надо.

— Трудно будет... без бабы-то! — причмокнул Степан. — Лес корчевать... беда прямо! Я-то свою уже поднял. На девках своих пропахал целину. Впрягу их в соху, а сам управляюсь...

Вернулся Иван к себе с женою. И забегали потом на опушке леса дети его — русоголовые. Парило в воздухе жирной, земною сытью. И шуршало в пальцах корявых первое зерно — струистое, как жемчуга драгоценные.

Не успели дети подрасти, как — глядь! — уже и не стало вокруг пустоши. Пришел другой народ, от неволи себе воли ищущий. Люди сообща раздвинули бор дремучий, слетались отовсюду грачи на черные пашни. И выросли избы — бревенчатые, душистые. Шли бабы по вечерам за водой, пряли старухи пряжу, и пели девки...

Проходил как-то мимо странник — из краев дальних.

— Люди, — спросил, — а какие же вы будете?

— Русские мы, — отвечал народ.

— Место ваше какво прозывается?

— И в а н о в о, — отвечали страннику, и, воды из колодца испив, пошел Лазарь далее по Руси, бренча кружкою...

А по весне всегда хорошо. Земля раскрывает себя, словно в родах. И охотно бежит соха за лошадкой, распахивая целину все дальше и дальше. С шелестом кладется зерно из короба крестьянского в землю российскую...

Растет мать Россия — раскидывает ее вширь!

Аж за тихий Керженец, в Сибирь, в глухомань самую...

Не мечом, так плугом, а России величиться!

Первые кресты отметили место первого кладбища.

В гробу теснущем положат в землю Ивана, и встанут над могилою его сыновья — уже статные парни. И завоюет над покойником патлатая Марья с глазами безумными от разлуки вечной. Сыновья молча оторвут ее от гроба отцовского. Прозвенит над ними колокол печальный, и звук этот растает не спеша над пажитями, над огородами, над скворечнями...

А потом зашумит здесь, заволнуется базарами город. И будут в утра морозные дымить трубы, побегут дети с санками. По улицам пройдут тысячи людей, торопящихся взяться за дело.

И никто никогда не вспомнит того, кто был первым зачинателем этого города...

А ведь первая его борозда и стала теперь главной улицей!

Никто не вспомнил о нем, ибо родства у него не было.

Но, как сказано в древней книге Иова:

«И ОСТАЛСЯ ОДИН Я, ДАБЫ ВОЗВЕСТИТЬ ТЕБЕ...»

Летопись последняя РОССИЯ НА ПОВОРОТАХ

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

Гаврила Державин

Сыны Отечества! — в слезах
Ко храму древнего Самсона;
Там, за оградой, при вратах
Почист прах врага Бирона.

Кондратий Рылеев

Анна Кровавая

Теперь, когда императрицы не стало, я испытываю некоторое облегчение. Мало того, я чувствую, что следует даже изменить форму общения с читателем. Если я раньше писал, то сейчас желаю привлечь читателя к собеседованию со мною. Соответственно, изменяется и архитекtonика последней моей летописи...

Прежде всего я хотел бы объяснить свое отношение к Анне Кровавой, времени которой посвящена эта книга. В каждой отрицательной личности я всегда пытаюсь найти черты, близкие к положительным, без наличия которых любое историческое лицо будет выглядеть сухой и надуманной схемой. Приступая к написанию этой хроники, я напрасно искал такие черты в Анне Кровавой, — я не нашел их! Это я сообщаю здесь к тому, чтобы читатель не заподозрил меня в умышленном очернении монархии.

Я как раз не принадлежу к числу тех людей, которые считают всех монархов круглыми дураками и мрачными злодеями, озабоченными лишь одной мыслью — как бы напакоstitь трудовому народу? Спору нет, русские самодержцы не принадлежали к лучшей части русского общества. Но все-таки нельзя не отметить боевой активности Петра I, стойкого патриотизма Елизаветы, дальновидности разума Екатерины II, даже в сумбурной натуре Павла I легко отыскать черты благородных порывов... Я не очернил Анну Кровавую, ибо трудно очернить то, что от природы является черным!

В моем понимании, Анна Кровавая — это грязная, глупая бабища, насыщенная злобой и пороками; все эти качества таились под спудом

в митавской тишине и поперли разом наружу, когда она достигла власти над миллионами рабов. Чванство и самодовольство заменяли в ней чувство патриотизма. Царствование ее как бы строго обвеховано двумя социально острыми моментами русской истории — «разодранием» кондиций в 1730-м и казнью «страстотерпцев» Волинского в 1740 году. Первый акт повернул русскую жизнь вспять — ограничить власть монархии феодалам-князьям не удалось. Анна КрОВАВАЯ явилась на троне подлинным воплощением классического самодержавия, страшного централизма власти своего Кабинета, который она превратила как бы в пристройку к своей спальне, и Россия была буквально задушена в осьминожьих объятиях бюрократии.

Когда судили Бирона, ему ставили в вину издевательство над человеческим достоинством. В обвинении говорилось «о частых (при дворе) заведенных до крови драках и о других мучительствах и безстыдных мужеска и женска пола обнажениях и иных скаредных меж ними, его вымыслом произведенных, пакостях, уже и то чинить их заставлял и принуждал, что натуре противно...».

Но обвиняли-то в этом деле Бирона напрасно! Все мерзости и весь тот срам, которые, как писали судьи, «объявлять нам стыдно и непристойно», придумала в забаву себе Анна КрОВАВАЯ, а фаворит при сем только присутствовал... По сути дела, Бирона осуждали за то, что свершил не он сам, а императрица вкупе с ним и ему подобными.

Анна КрОВАВАЯ — дикая барыня на престоле российском!

Прожорливая и жадная скотина, жаждущая низменных наслаждений, крови врагов, славословия поэтического и политического, желающая вина с бужениной и бесстыдной лестии... В своем роде — Салтычиха, только иных масштабов: Салтычиха владела деревеньками и забила насмерть 100 душ, Анна КрОВАВАЯ получила власть над гигантской страной и забивала верноподданных тысячами...

Впрочем, оставим ее лежать в гробу, над которым сейчас смехотворно колышутся украшения шутовских маскарадов.

Поговорим лучше о Бироне, который стал управлять Россией, не имея русского подданства!

Бирон и «бириновщина»

С этим господином у меня отношения гораздо сложнее...

За десять лет работы над его эпохой я ощутил гневное дыхание герцога, я увидел, как двигается он по дворцам, переливаясь парчой кафтанов, услышал и голос его в различных тональностях — то радости, то ярости. Бирон смолоду был тем, что ныне принято называть

«хулиганом». Да, он немало бузил, пьянствовал, задевал прохожих, был бит прусской полицией, говорят, что кое-кого даже обчистил ночью на улице. Неясно, как бы сложилась судьба этого курляндского вертопраха, если бы не один нежный взор тоскующей митавской герцогини, обласкавшей его статную и крепкую фигуру.

Один из правнуков Бирона, русский историк-архивист Федор Бюлер, писал о своем предке безо всякого уважения: «Это был тип наемника, извлекавшего выгоды из того положения, на которое его поднял слепой случай, и имевшего притом все пороки своей эпохи». Бирон явился в Россию робким и тихим малым, рассчитывая поскорее урвать свою долю от положения любовника богатой дамы и тут же смыться. Тогда он на каждый поклон отвечал двумя, а первые взятки брал с опаскою. Это не был еще тот Бирон, который чумою вошел в нашу историю. Но его подхватили и понесли вперед русские вельможи. Двор царицы развратил его, и Бирон вдруг с удивлением обнаружил, что бежать из России никуда не надо, а лучшей страны для грабежа и не найти. Русская з н а т ь — вот истинная виновница его возвышения! Это она, подхалимствуя перед ним, создала питательную среду для развития опасных микробов властолюбия и ненасытности герцога. Немцы лишь в какие-то редкие моменты поддерживали Бирона, он был не всегда удобен для них, как выскочка. Выдвигали же его в основном русские вельможи, и это надо помнить!

Но Бирон и не был прирожденным злодеем, каким его по традиции принято представлять. Сын жестокого века, он и был жесток в нормах своего времени. Рядом с ним находились русские баре, которые творили над крепостными гораздо большие зверства, нежели этот незванный пришелец. Я уверен: если бы Анна КрОВАВАЯ имела своим фаворитом не курляндца, а кого-либо из русских дворян, зверств было бы ничуть не меньше, а может быть, даже и больше... Восемнадцатое столетие вообще херувимов не порождало!

Меня устраивает оценка Бирона, которую дал ему великий русский поэт Александр Пушкин: «Он имел несчастье быть немцем; на него свалили весь ужас царствования Анны, которое было в духе его времени...» Пушкин прав! Бирон ведь — сущий младенец по сравнению с тем же Ушаковым, он в подметки не годится Феофану Прокоповичу, который «во славу Христа» истреблял при Анне толпы ни в чем не повинных людей и после этого еще вошел в школьные хрестоматии как «просветитель». Нелишне напомнить, что если русские вельможи угнетали свой же народ, то Бирон был ограничен во власти над народом, и гнет герцога ложился в основном на русских придворных, жестоко

преследуя тех же вельмож... Да, Бирон грабил народ русский, но вплотную с ним Бирон никогда не сталкивался. А кучера, истопники, лакеи, мебельщики, позолотчики, портные — это еще не народ. Придворные же, ощущая на себе повседневный гнет Бирона, и сложили верноподданническую сказку о том, что во всех бедах виноват один лишь Бирон, а сама императрица — душенька чистая и голубица кротчайшая. На самом же деле при объективном Суде Истории герцога надо пересадить на скамью свидетелей, а скамья подсудимых должна быть занята Анной Кротовой. Осуждая русское самодержавие, можно за компанию с ним осудить и Бирона, но не больше того!

Однако ни один историк не может пройти мимо оценки Бирона, который рисуется главной фигурой на общем фоне немецкого засилия. И каждый исследователь пытается установить степень преступности самого герцога. А некоторые историки договорились даже до такого абсурда, что иноземного гнета во времени Анны Кротовой вообще, мол, не существовало. Почему? Да потому, отвечает историк Я.Я. Зутис, что русский народ по своему складу столь революционен, что гнета терпеть никогда бы не стал и ответил бы революцией. Но, как известно из истории, ответ на угнетение последовал лишь через два столетия после Бирона... Так что вульгарный подход к этой эпохе никак не приемлем!

Установить же степень л и ч н о й виновности Бирона не всегда удается. И многие ученые (как прежние, так и нынешние) пытаются равномерно разложить ответственность за преступления на двух лиц — на Остермана и на Феофана! Один душил народ «светски», другой губил его «духовно». Я солидарен с этим мнением. Ведь уже давно на точных исторических фактах доказано неопровержимо, что правителем России был совсем не Бирон и не Лейба Либман, а подлый вестфалец Остерман, — именно он душил Россию!

А тогда... Тогда почему же целая эпоха в десять лет получила прозвание «бионовщины»? Это неверно. Но это объяснимо: паук Остерман таился в самом затхлом углу империи, прячась в тени престола, а постыдная роль Бирона при царице бросалась каждому в глаза, видная всем издалека. На герцога и сыпались все шишки! Самодержавие казнило народ, вымучивало недоимки, не выколотенные палкой еще со времен Петра I, а народ обвинял во всем Бирона, имя которого он увековечил даже в своих песнях:

И не царь теперь нами царствует,
И не русский князь отдает приказ,
А командует, потешается
Злой тиран Бирон из Неметчины...

Время царствования Анны Кротовой было бы правильнее называть «остермановщиной». Лишь после смерти императрицы началась кратенькая и маловыразительная полоска русской истории, которую можно по праву именовать «бионовщиной». Но сама «бионовщина» страшной не была!

Скандал в благородном семействе

Семейство это невелико: мама, папа и сыночек-император. Но вот при чем здесь Бирон — никто не понимал. Регент при младенце, к которому он никакого отношения не имел. К тому же, будучи опекуном императора-младенца, Бирон люто ненавидел его родителей. В свою очередь, бедные папа с мамой понимали, что от ненависти Бирона им никуда не укрыться на протяжении всех семнадцати лет, пока герцог будет состоять регентом при их сыночке... Вот превосходная фабула для Шекспира:

Проклята гордость, злоба, дерзость
В чудовище одно срослись;
Высоко имя скрыло мерзость,
Слепой талант пустил взнестись!
Велит себя в неволю славить,
Престол себе над звезды ставить,
Превысить хочет вышнюю власть,
На мой живот уж зубы скалит;
Злодейства кто его не хвалит,
Погрызнет скоро в мрачну пасть!

Так позже писал об этом времени Михайла Ломоносов...

Бирон дураком не был, и продолжать свое правление в духе Анны Кротовой не желал (можно своротить шею). Первым делом регент сбавил с народу налог — по 17 копеек с души, разослал гонцов во все концы России, чтобы приостановить казни по приговорам прежним; гонцы опаздывали в бездорожье, прибывая с указами, когда люди были убиты или мычали безъязыко. На постах мерзли в мундирчиках часовые, и Бирон разрешил солдатам в караулах надевать шубы. Наконец, регент взял ножницы и собственноручно перекроил глупую солдатскую шляпу в картуз с откидными полями-наушниками, за что Бирону можно сказать спасибо: картузы привились в русской армии и спасали воинов от простуды. Бирон стал жестоко преследовать роскошь при дворе, велел вельможам шить платье из материи не дороже 4 рублей за аршин. Но этого было еще мало, чтобы упрочить свое положение в России.

Анна Кровавая, прошипованная травами для задержки гниения, еще лежала в Летнем дворце, а Бирон прямо от гроба ее начал преследовать ласками Елизавету Петровну. Ибо — он понимал — она и есть законная наследница престола. Пусть же станет его любовницей, тогда он найдет способ выслать папу с мамой и сыночком в Вену, а цесаревну сделает императрицей. Елизавета пугалась...

Задабривая людей, регент дал поэту Тредиаковскому (в зачет побоев, принятых от Волынского) 360 рублей, что составляло годовое жалованье поэта. Дал он их, конечно, не из своего кармана. Бирон отсчитал денежки из имущества казенных конфидентов Волынского, и теперь читателю вполне ясен предел добра и зла этого человека!

— Нам осталось недолго ждать, — признавался регент жене. — Месяц ноябрь пролетит быстро. Останется отмучиться лишь декабрь, и этот проклятый год завершится, после чего наступит блаженный год сорок первый, который никак не разделить на два...

Медовые дни правления Бирона закончились, когда ушей регента стал достигать ропот. Он слагался из двух голосов, и самый мощный звучал от народа — с улицы, а слабенький и писклявый доносился от папы с мамой — из Зимнего дворца. С недовольством Брауншвейгского семейства регент справился очень быстро. Он прикатил к ним и устроил «фамилии» хорошую взбучку. На принца Антона Ульриха регент просто наорал:

— Если вы не измените своего поведения и станете высказывать свое мнение обо мне, то я выкину вас вместе с вашим приплодом обратно в Вену! А вы, принцесса, плохо следите за своим глупым мужем. Дайте мне слово, что не станете покидать своих комнат, иначе я вызову из Голштинии прямого наследника престола.

— Что значит этот выговор? — возмутился принц Антон.

— Это значит, что вы должны забиться в щель и носа не показывать на мороз русский... Всякие приемы я вам запрещаю!

Анна Леопольдовна плакала в платочек. Рука мужа ее тоже потянулась к платку и нечаянно задела эфес шпаги. Бирон воспринял этот жест как угрозу себе и сразу обнажил свой клинок:

— Этим способом я тоже могу разделаться с вами...

Офицеры гвардии были вхожи к принцу, и Антон науськивал их против регента. Он утверждал, что императрица не подписала назначения Бирона в регенты, что Бирон сам подделал ее подпись. Бирон же, в свою очередь, возмущал петербуржцев, рассказывая о «фамилии» самые достоверные вещи. Анна Леопольдовна русских иначе и не называет, как только свиньями и канальями. А принц Антон якобы

грозился, что весною всех генералов и сенаторов покидает в Фонтанку. Победил в этой домашней склоке конечно же регент... Принца Антона звали на вышний суд, где он сознался в желании самому быть регентом над собственным сыном. Заодно уж принц Брауншвейгский продал инквизиции своих конфидентов-офицеров. Ушаков крепко наседа на него.

— Ежели, — угрожал, — не покаетесь в изменах своих перед нами, вам предстоят суровейшие кары... Плохо вам тогда будет.

— Как же я, — спрашивал принц Антон, — будучи отцом русского императора, могу изменить сыну своему — императору?

Ушаков пасмурно глянул на Бирона и дал точный ответ:

— Неуважение к его герцогскому высочеству уже есть измена России и русскому императору, который по младости своих лет еще не изведал злодейств ваших...

Труднее было регенту справиться с недовольством улицы, а особенно — с казармами. Гвардия волновалась. Бирон пожелал раскассировать всю гвардию по гарнизонам провинций, а набрать в драбанты новых людей — из малороссов и курляндцев. Ходили слухи, что шесть линейных батальонов уже двинуты на Петербург. В столице начались сборища народные, вроде митингов. Солдаты ругали офицеров за то, что те не начинают. Офицеры бранили солдат за то, что те не бунтуют... Вождя не было!

Опорой герцога Бирона в пору его регентства были не немцы, а опять-таки русские вельможи. Гвардейцы составили заговор и доверили его тайну князю Черкасскому, который в ту же ночь всех заговорщиков выдал герцогу. Начались пытки! Вскоре возник второй заговор, но его предал Бестужев-Рюмин... Воистину — не надо им хлеба, сукиным детям! Особенно активен в защите Бирона был Бестужев: огнем лютым дышал на всех, кто стоял против герцога. Служил регенту верой и правдой, как служит пес за мозговую кость.

В один из дней на Васильевском острове собрались солдаты, а с ними был капитан Бровцын, который «плакал о том, что Бирон учинен регентом». Бестужев-Рюмин, взяв на себя обязанность полицейского, со шпагою в руке разгонял солдат, а за капитаном даже припустился вдогонку.

— Остановись, предатель! — кричал ему. — Я тебе за герцога башку оторву... Эй, люди прохожие! Хватайте его, изменщика...

Капитан Бровцын перестал плакать «о том, что Бирон учинен регентом», и с Васильевского острова побежал на Адмиралтейский.

Нева — в сугробах, меж ними кое-где тропки. Словно заяц, сигал капитан через Неву на другой берег, а за ним — кабинет-министр, его высокое превосходительство со шпагой:

— Убью, изверг, за благодетеля моего!

Бровцын взмахнул на берег, стал биться в первый же дом:

— Ой, пустите меня, люди добрые... убивают!

Дверь распахнулась, приняв утеклеца, и тут же затворилась за ним. Это был дом фельдмаршала Миниха, который хохотал:

— Небось ушла в пятки душа твоя капитанская?

Немец Миних спас русского офицера от русского же министра, который вступился за немецкого регента. Такие выкрутасы истории способна порождать только жизнь России того времени — жизнь путаная и жестокая, от которой голова кругом идет.

Во время «бионовщины» случилось наконец то, чего много лет добивался Бирон: Остерман был решительно задвинут за край стола и не имел больше никакого значения в стране... Надолго ли?

Миних не спит

А если и спит, то сон его тревожен. Как можно спать в такие дни, когда не он, а другие жуют что-то жирное? Хотел стать господарем Молдавским — не вышло; желал герцогом Украинским побыть — сорвалось; опять же в регенты не его, а Бирона пропихнули... Страшные ночные часы фельдмаршала! Костлявая ведьма-жена вздыхает возле него. За стенкою сын стихи строчит любовные, обращая их к Доротее Менгден, сестре Юлианы. Время от времени он садился за клавишны, тут же перекладывая свои мадригалы в любовные арии. В такие ночи можно запустить пальцы в сердце себе и рвать его ногтями в остервенелом огорчении:

— Дали бы мне хоть чин генералиссимуса... мерзавцы!

7 ноября 1740 года Миних представлял Анне Леопольдовне новых кадетов. Потом кадетов выгнали прочь, фельдмаршал остался с принцессой наедине, и женщина вдруг расхныкалась:

— Нет нам здесь жизни при жестокостях регента. Мужа моего совсем уже зашпыняли, я плачу... Решили мы, что лучше всего уехать нам в Германию, и пусть эта Россия сгорит вся!

— Я понимаю, — отвечал Миних. — Уехать всегда можно в Германию, забрав с собой вещи и сына. Но как вы можете покинуть Россию, если на голове сына вашего корона Романовых? Такой серьезный багаж никакие лошади не потащат... Вот этого я не понимаю!

— Но что же нам делать? — хлопала носом Анна Леопольдовна. — Вы же видите, каким издевательствам мы подвергаемся. Дело дошло до того, что из комнат на публику не выпускают. Говорить ничего нельзя... Вы бы хоть побеседовали с герцогской светлостью, он вас послушается. Тем более что вы, мой милый фельдмаршал, так усиленно помогали Бирону регентом стать.

— Поговорить можно, — надулся Миних. — Как раз завтра я приглашен к регенту на ужин. Вот и скажу ему!

— Уж я вас очень прошу... Пожалуйста, поговорите.

— Хорошо, принцесса. Это я вам обещаю...

Миних вернулся домой и, как опытный инженер, соорудил чертёж тюрьмы с замками. Такой образцовой тюрьмы, из которой бы никто не смог убежать. Манштейн спросил фельдмаршала:

— Что вы рисуете, мой экселенц?

— План дачи в дикой местности.

— Зачем она вам?

— Не мне. Тут один приятель у меня... ему такая дачка как раз подойдет. И главное, что он убежать из нее не сможет!

На следующий день, 8 ноября, Миних отправился в гости к своему приятелю. Бирон его встретил ласково. Они обнялись и облобызали друг друга. Миних весь вечер был бесшабашно весел, а регент чего-то вдруг запечалился. Говорил регент так:

— Не знаю отчего, но гнетут меня дурные предчувствия. Вроде бы мне предстоит дальнейшее путешествие без цели... Сегодня как раз пошел двадцать второй день моего регентства, а в этой цифре сразу две двойки подряд.

— Бывает! — поддакнул Миних. — Я предчувствиям верю...

Когда они стали прощаться, Бирон спросил:

— Скажи, фельдмаршал, тебе во время боевых походов никогда не приходилось принимать важных решений по ночам?

— Ну как же! Даже часто приходилось... Вообще, — признался Миних, — я люблю использовать крепкий сон своего противника.

О жалобах принцессы он вообще говорить не стал. Было 11 часов к ночи, когда вернулся домой. Манштейну он приказал:

— Меня не покидать. В полночь я принимаю решение...

Ровно в полночь он позвонил, и на пороге вырос Манштейн.

— Собирайся. Вели закладывать сани.

— Исполнено, экселенц!

Манштейн запрыгнул на запятки. Лошади взяли с места и понесли фельдмаршала к Зимнему дворцу. С адъютантом он прошел через гар-

дероб и велел фрейлине Юлиане Менгден разбудить принцессу. Тут же Миних поднял по тревоге дворцовые караулы, а принцессе сказал:

— Я беседовал с Бироном о вас, но эта митавская дубина не способна чувствовать нежно. Рекомендую вам поплакать перед караулом, что вы предельно измучены, как и все, от самоуправства Бирона...

Внизу дворца были построены солдаты.

— Ребята! — сказал им Миних так, словно позвал всех к обеду. — Пошли все за мной... Регента будем свергать!

В ответ раздалась возгласы радости:

— Веди нас, маршал! Мы того давно ждали...

За двести шагов до Летнего дворца отряд остановился.

— Манштейн, — распорядился Миних, — я посижу в санках, а вы, я думаю, и без меня отлично справитесь с герцогом...

Утопая по колено в снегу, уходил Манштейн со шпагою, ветер разметывал за его спиною длинный плащ. За ним шагали 20 солдат при одном офицере. Проследив, как эти люди проникли во дворец, Миних вспомнил, что забыл оговорить заранее условие для себя о присвоении ему чина генералиссимуса...

Манштейн велел солдатам и офицеру следовать поодаль от него:

— Иначе нашумим! Я пойду один, а вы поспевайте...

Караулы пропускали его без подозрений, ибо адъютант Миниха был достаточно известен. Манштейн миновал несколько комнат, где ему встречались сонливые лакеи. Он заблудился в темных переходах, но спрашивать о дороге до спальни герцога не решился. Манштейн случайно обнаружил одну из дверей, запертой изнутри, и догадался, что это и есть бироновская спальня. Дверь была двухстворчатая, а лакеи, видать, забыли сегодня запереть ее на верхнюю и нижнюю задвижки. Манштейн нажал на дверь плечом, и... половинки дверей разъехались перед ним.

На него густо пахло чернотой и теплом спальни!

Посреди большой комнаты, отделанной в китайском вкусе, стояли две кровати. На одной лежал герцог, на другой его жена; одеяло у них было белого цвета, расшитое громадными розами. Почти закрывая спящих, свисал над ними занавес голубого бархата, подбитого желтым атласом, на занавесе растопырились хищные курляндские гербы — в золоте. Чета спала так крепко, что не проснулась, когда Манштейн осветил их переносным фонарем. Пришлось толкнуть регента, и Бирон закричал:

— Кто тут? Зачем пришли?

Солдаты караула, как видно, заблудились. Манштейн решил действовать в одиночку. К сожалению, он оказался по ту сторону кровати,

где лежала горбунья. А сам регент спрыгнул с другой стороны и стал поначалу прятаться под кровать.

— Караул! — взывал он истошно. — Ко мне... спасите!

— Караул идет за мной, — ответил ему Манштейн.

По кругу комнаты, застланной красным ковром, он обежал весь альков и треснул Бирона по зубам. Удар могучего Алкивиада был столь силен, что регент отлетел к стенке. Но отчаяние придало ему бодрости. Он кинулся на Манштейна с кулаками и тут же попал в неразрывные клещи объятий Минихова адъютанта. Бирон кусал Манштейна, плевался в лицо ему, но Манштейн стойко удержал его до тех пор, пока не прибежали солдаты.

— Берите его... тащите! — крикнул он им.

Бирон еще оборонялся. Кто-то из солдат, недолго думая, двинул его прикладом по башке. Другой повалил его наземь, прижал к полу. Третий сунул в рот Бирону кулак, чтобы регент не орал.

— Давай платок, — сказал драбант-ветеран.

В рот регенту забили кляп. Офицер сорвал с себя шарф и связал им руки герцога за спиной. Бирон был в нижнем белье, обшитом кружевами-блондами. Манштейн одевать его по-зимнему не велел:

— Если сейчас замерз, так в Сибири отогреется... тащи!

До самых дверей дворца солдаты нещадно избивали регента. Вторично запутавшись в лабиринте комнат, солдаты проволокли Бирона мимо гроба, в котором лежала мертвая Анна Кровавая, держа в руках потухшие свечи. В давке и ругани гроб с покойницей чуть не свернули со стола. Герцогиня бежала следом, полураздетая, цеплялась за мужа. К саду уже подкатили санки с Минихом:

— Манштейн! Бегите арестовывать его братьев... хватайте всех негодяев, что помогли ему вскарабкаться на верх пирамиды: Бестужева-Рюмина... Бисмарка... брать всех!

Один здоровенный капрал схватил на улице полуголую Бенигну Бирон и кричал направо и налево, у всех спрашивая:

— Куды мне девать эту порхунью старую?

Миних, отъезжая в снях, махнул ему рукой:

— Отнеси ее обратно в комнаты! Не убежит...

На что капрал отвечал:

— Ну да! Стану я еще с этой стервой возиться...

Он размахнулся и столбиком воткнул герцогиню в снежный сугроб. А сугроб был столь высок, что из снега торчала лишь одна голова горбуньи. Вытащил ее оттуда, околевшую от холода, какой-то сердобольный прохожий. Да и тот, наверное, не знал, кого он спасает, а то бы так до утра и оставил...

Когда Манштейн брал под арест Бестужева-Рюмина, министр спросонья совсем обалдел и, как попугай, твердил только одно:

— Никак не пойму, за что на меня регент гневаться изволит? Я уж так хорошо служил Бирону, как никто...

К рассвету все уже было кончено (без жертв). Анна Леопольдовна выбралась, зевая, из спальни и увидела сияющего Миниха, который наглейше лакал кофе из ее чашки, помешивая кофе ее же ложечкой.

— Могу вас поздравить: великий Миних не спит — старается для вас. Отныне вы полноправная правительница Российской империи при своем малолетнем сыне... А у меня — первая просьба!

— Любую исполню, фельдмаршал.

Миних извлек чертеж тюрьмы, им искусно расчерченный:

— Эту тюрьму велите построить в Пелыме для Бирона и его семейства, и ручаюсь, что ни одна крыса оттуда не убежит...

Анна Леопольдовна заломила руки. Надо править Россией, а ей не хочется. Даже мыться — и то лень! Но к управлению Россией издавна приставлен Остерман, и она велела его звать. Обратный скороход сказал, что дела Остермана плохи — опять помирает.

— Сейчас мы его оживим! — Миних кликнул до себя Остерманова шурина, генерала Стрешнева. — Ты Бирона уже видел?

— Видел, — отвечал Стрешнев. — Я видел, какой он весь исцарапанный, и штаны на нем едва держатся.

— Так поди и расскажи Остерману, что он проспал самое веселое. Великий Миних превратил его врага в грязное ничтожество, а ты, Стрешнев, ошибся: герцога тащили солдаты вообще без штанов...

Остерман сразу ожил. Приполз. Сиял. Поздравлял. Этот конъюнктурщик постоянно примыкал только к сильным мира сего и присасывался к ним, пока не появлялась другая сила, ради которой он неизменно покидал ослабевшего. Сейчас его положение сложно!

Конец «бионовщины»

Бирон был приговорен к четвертованию, но Анна Леопольдовна рассудила его навечно заточить, а все богатства и имения конфисковать. Боязнь Бирона мистической двойки увенчалась цифровым казусом: за 22 дня регентства он поплатился 22 годами ссылки...

Москвичи уже поджидали герцога, чтобы заживо растерзать его на пути в Сибирь, но Бирон был спасен от «черни» конвоем. В Пелыме стоял дом, строенный для герцога по планам Миниха, с прекрасным видом из окна на жуткую тайгу. Внезапный переход от величия к ничтожеству свалил Бирона в черной ипохондрии, близкой к смерти.

Но в Пельме он прожил всего пять недель, после чего был переправлен в Ярославль, где и провел весь срок ссылки. Для жительства ему был отведен в городе каменный дом с садом на берегу Волги, в котором позже размещалось полицейское управление Ярославля. Помимо семьи с ним были лекарь, два повара, «арапка Софья» и «турчанка Катерина», которые от герцога сразу бежали и вышли замуж за лихих ярославских парней. Это бы еще ничего, но вскоре от Бирона убежала и дочь — Гедвига. Приняв православие, она заслужила прощение от Елизаветы Петровны, которая и выпихнула ее замуж за барона Черкасова, пострадавшего в царствование Анны Кротовой от самого же Бирона.

Надо знать политическое значение Бирона для России! Хотя герцог и был сослан, но русское правительство Елизаветы Петровны короны его не лишало. Если отнять у Бирона его титул, тогда Европа сразу выставит многих претендентов на обладание Курляндией, а народ латышский навсегда будет оторван от русского. Потому-то российские политики поступали весьма дальновидно и мудро, держа Бирона в Ярославле, а права на его корону как бы в своем кармане. Петр III в 1762 году вызвал Бирона из ссылки, а Екатерина II вернула ему власть над Курляндским герцогством. Понимая, что положение его целиком зависит от России, Бирон безоговорочно исполнял все просьбы Петербурга, был вассалом верным и преданным. В герцогстве он вызвал бурный гнев своего рыцарства тем, что старался ослабить рабство крестьян, а также покровительствовал евреям в финансах. Отголоски этой борьбы попали даже в поэму Байрона «Дон Жуан», где Байрон, не разобравшись в истинном смысле событий, вставал на защиту псов-рыцарей, выводя в поэме Бирона как душителя свободы. На самом же деле в данной политической ситуации Бирон выступал верным союзником русских интересов в Прибалтике, а реакционное курляндское рыцарство, закабалая балтов, враждовало против прогрессивных устремлений России.

Как раз в это время проездом через Митаву герцога навещил знаменитый оборотень, авантюрист международного класса Джованни Казанова, который оставил нам описание Бирона: «Это уже порядочно сгорбившийся, плешивый старец. Вглядываясь поближе, легко было увериться, что он, вероятно, когда-то был очень красивым мужчиной». Жена герцога в 1777 году выпустила книжку своих стихов. Бенигна Бирон не могла опомниться после путешествия в Пелым, где прямо в окна лезла темная тайга, а на «зибунах» трясин вырастали диковинные цветы. По возвращении в Митаву горбунья всю свою долгую жизнь

посвятила вышиванию колоссального гобелена, на котором была изображена богатая природа Сибири и представлены все типы кочевых инородцев. Гобелен этот, высокой художественной вышивки, вплоть до нашего века украшал стены губернаторских комнат в Митаве. Дальнейшая его судьба мне неизвестна...

А.С. Пушкин считал, что герцог Бирон «имел великий ум и великие таланты». И.И. Лажечников отметил эту фразу «непостижимо для меня о б м о л в к о ю великого поэта». Но если на службу истории поставить науку генетики, то в женском потомстве Бирона многое обстоит весьма благополучно. В культурном отношении женщины из фамилии Биронов всегда стояли намного выше мужчин. Среди многочисленных друзей Пушкина, Жуковского, Крылова, Гоголя, Вяземского мы встретим немало потомков первого герцога Бирона; как писал тот же правнук его, Федор Бюлер, «никто из русских никогда не выказывал недоброжелательства ни детям, ни внукам Бирона»... Кровь Бирона переварилась в его потомстве, которое раскинулось очень широко не только в России. Во втором и третьем коленах Бироны роднились с Гогенцоллернами в Пруссии, с герцогами д'Ачеренца в Италии, с Талейранами де Перигор во Франции, с Роганами и Шуленбургам в Австрии. Члены фамилии Биронов в XIX веке славились красотой, любовными авантюрами и многочисленными бракоразводными процессами. Они владели тогда в Европе пятью городами, ста сорока семью деревнями с населением в 67 000 человек, иные стали писаться герцогами Саганскими и Вартенбергскими. Но связей с Россией никогда не теряли, зачастую роднясь и с русским дворянством. В своей работе я добрался до потомков Бирона предреволюционного времени, но далее следы их для меня затерялись...

Зато немало хлебнул горя старый герцог от своих сынишек!

Еще при жизни своей, в 1769 году, Бирон передал корону своему старшему сыну Петру, который был неисправимым алкоголиком. Петр Бирон дважды был женат (вторично на русской княжне Авдотье Юсуповой), жен своих лупил смертным боем, отчего они и бежали от него из Митавы куда глаза глядят. Под старость герцог Петр Бирон женился на молоденькой курляндке Медем, которая, как говорят, сама его крепко поколачивала, отчего он малость поприших.

Младший же сын герцога, принц Карл Бирон, купил у Казановы некоторые секреты его ремесла и оказался самым настоящим жуликом. Приехав в Париж, он стал печатать фальшивые билеты английского банка и римского ломбарда, удивительно ловко подделывал подписи под векселями, за что в 1768 году по приказу короля Франции был

заточен в Бастилию. Выручила этого подонка из тюрьмы Екатерина II, которой он, в свою очередь, продал некоторые тайны мошенничества с печатями, с невидимыми чернилами и проч.

Россия зорко следила за тем, что творится в Курляндии, на самых рубежах. Дальше терпеть безобразия было нельзя. Графиня Медем стала уже добиваться для себя «регентства» над своим спившимся мужем. После раздела Польши курляндское рыцарство решило отдать Прибалтику под корону королей Пруссии, и тогда Россия ввела в Митаву свои войска. Состоялось воссоединение латышского народа с русским, и это был прогрессивный акт России, который навеки закрепил дружбу соседних народов. Екатерина II, словно в издевку, отобрав у герцога Петра Бирона корону, вручила ему золотой ключик своего камергерства. Это было явное оскорбление, нанесенное герцогу умышленно, чтобы навсегда выжить его из Курляндии. Петр Бирон так это и понял: он разругался с Екатериной и уехал в Силезию, где и умер в 1800 году. Так, выгодно для России, завершилась эта история с курляндской короной...

Первый герцог Эрнст Иоганн Бирон, после тридцати двух лет своего официального герцогства, скончался в Митаве в возрасте восьмидесяти двух лет в 1772 году (опять три двойки в этих цифрах!). Русский двор по его смерти наложил на себя восьмидневный траур. Наши деды и бабушки, читатель, еще могли видеть Бирона, как живого. Отлично забальзамированная мумия его хранилась в склепе Митавского замка. Проездом через Митаву все русские имели обыкновение взглянуть на Бирона, за что кистеру замка полагался один целковый. Бирон лежал в кафтане из коричневого бархата с нашитой на груди Андреевской звездой. Всех поражал его орлиный профиль, а череп Бирона, суженный кверху, расширялся внизу, делая нижнюю челюсть несоразмерно большой... Бирон даже мертвый еще возбуждал гнев русских. Государственный секретарь, известный археолог А.А. Половцев оставил нам такую запись: «При посещении Александром II Митавы была открыта для него гробница Бирона, и сопутствующая государю княгиня Юрьевская-Долгорукая ударила труп по носу и сломала ему нос в наказание за то, что Бирон сослал ее предка. Сохранилась снятая с Бирона фотография...» Вот как! Оказывается, герцога даже фотографировали, одну из таких фотографий я имею в своем собрании.

Последняя война с германским фашизмом смерчем прошла над бывшим Курляндским герцогством, в самой Митаве шли жестокие бои и мало что уцелело. Сейчас в Латвии проводится большая работа по реставрации дворцов того времени и памятников прошлой эпохи.

В Митавском замке, дивном создании Расстрелли, ныне размещена Сельскохозяйственная академия Латвии. Митава наших дней — чистенький, культурный городок новостроек, прекрасных кафе и хороших магазинов.

А Миниха-то обидели!

Утром после переворота, сделавшего Анну Леопольдовну правительницей империи, солдаты пришли к дому Елизаветы на Марсово поле и стали выкликать ее на балкон. Они ведь думали, что свергают Бирона для возведения на престол цесаревны. Жестоко было разочарование солдат, когда они узнали, что все осталось по-прежнему, только не было Курляндского герцога... В это же утро Миних вызвал к себе своего сына в кабинет.

— Я устал, — сказал он ему. — Бери перо и пиши, что я велю... Манштейну мы дадим чин полковника и поместья богатые. Главное же — я! Мне следует присвоить чин генералиссимуса... Записал?

Сын Миниха, мечтательный поэт, куснул перо:

— Но чина генералиссимуса желает принц Антон.

— Вот плюгавец! — забурчал Миних. — Раньше он мешал Бирону, теперь и я стал спотыкаться об этот венский прыщ...

— Отдайте принцу генералиссимуса, а для себя просите звание **п е р в о г о** надо всеми министра Российской империи.

— Но там же Остерман, желающий всюду быть только первым!

— Остерман, — напомнил сын, — давно уже к флоту русскому подбирается. Желает он, грязнуля, носить мундир белый.

— Верно, черт побери! — просил Миних. — Он еще у покойной императрицы просил флот ему дать, да она отвечала ему, чтобы он людей не смешил. Так и быть, дадим этому гнилому вестфальцу чин генерал-адмирала, чтобы не скулил много... «Ночная добыча» Миниха была велика! Анна Леопольдовна взяла себе от нее титул «императорского высочества». Под диктовку Миниха правительница вписала в указ слова, которые прозвучали для мужа ее — как звонкая оплеуха: «Хотя фельдмаршал граф Миних, в силу великих заслуг, оказанных им государству, мог бы рассчитывать на должность **г е н е р а л и с с и м у с а**, тем не менее он отказался от нея в пользу принца Антона Ульриха, отца императора, довольствуясь местом **п е р в о г о м и н и с т р а**».

Миних вызвал к себе гравера Вортмана, который искусно резал доску с его портрета для распространения гравюр по Европе; первый министр России величаво повелел мастеру:

— Под изображением моей персоны вы должны вырезать по-немецки вещие слова: «Только тот поистине велик, кто походит на Миниха; только тот и будет герой, друг человечества, величайший политик и безупречный христианин, кто осмелится подражать Миниху!»

Принц Антон и Остерман сразу сошлись в общей зависти к самовластию фельдмаршала. Остермана от дел политики и дел внутренних Миних отшиб, дали ему флот, но... что он будет иметь с флота? При дворе делили «ночную добычу». Черкасский стал великим канцлером. Ушаков, Трубецкой и Куракин получили ордена, хотя в ночь переворота крепко спали, ничего не зная. Левенвольде подарили «знатную сумму». Не забыла Анна Леопольдовна и подругу свою Юлиану Менгден; она отдала любимице на растерзание семь кафтанов бироновских. На раскаленном докрасна противне Юлиана испепелила их, и с противня стекло чистое золото, которого хватило на отлитие четырех шандалов, шести тарелок и двух золотых шкатулок. Как видишь, читатель, немало весили парадные кафтаны Бирона!

Миних круто забрал в свое ведение всю армию, все внутренние дела и дела иностранные. Застарелая ненависть фельдмаршала к Австрии была широко известна, а пронизательный король прусский Фридрих II умел учитывать все до мизерных мелочей. Он учел даже то обстоятельство, что дочь Миниха от его первого брака была за Винтерфельдом, адъютантом короля. Этого Винтерфельда король и послал в Петербург. Миних заодно со своим берлинским зятем потащил Россию прочь от союза с австрийцами — на новую дружбу с пруссаками, беспощадно сокрушая многолетнюю систему Остермана. Дипломаты писали, что Остерман «может быть в отчаянии, видя фельдмаршала первым министром. Должно думать, что Остерман в настоящее время считает себя обесчещенным на весь мир человеком, если не выйдет из этого положения посредством падения фельдмаршала...». Слепленный счастьем и высотой полета, Миних сверху поплевывал на Остермана, плевал и на принца-генералиссимуса. Принцу Антону он делал доклады о пустячках, а все важные решения по армии брал на себя. Между тем труп Анны Кротовой стал уже разлагаться, и 22 декабря (через месяц после свержения Бирона) императрицу предали земле, после чего правительница отменила траур. На беду свою, ненасытный Миних обожрался при отмене траурных строгостей. Первого министра империи прохватила такая слабость желудка, что на время он оставил всякие дела. Вот именно эта пауза в делопроизводстве его и погубила!

Остермана каждый вечер лакеи тащили к Анне Леопольдовне на носилках. Перед правительницей Остерман наговаривал на Миниха, что тот сплошной дурак, в иностранных делах ничего не смыслит, а вот он, великий Остерман, двадцать лет управлял политикой России и тогда все было хорошо. Потом генерал-адмирал уплывал на носилках дальше — к принцу Антону. Генералиссимусу он внушал, что Россия без союза с Австрией погибнет, что нельзя далее терпеть заносчивость Миниха, что принц гениален сам по себе, а Миних — грубая ольденбургская скотина, которая умеет только жрать и пьянствовать. Попутно, чтобы интрига была вернее, Остерман успевал поссорить мужа с женою, и, когда носилки с генерал-адмиралом утаскивали из дворца, между супругами начиналась дикая брань, в которую тут же вмешивались фрейлины, лакеи, адъютанты, врачи, приживалки, истопники, секретари и прочая шушера... Манштейн оставил запись об этом времени: «Караул удвоили по дворце, по улицам днем и ночью расхаживал патруль; за фельдмаршалом следовали всюду шпионы Остермана, наблюдавшие за малейшим его действием; принц и принцесса, опасаясь ежеминутно нового переворота, не спали на своих собственных кроватях, а проводили каждую ночь в разных комнатах».

Ранней весной Остерман доплел свою паутину до конца.

— Ваше императорское высочество, — убедил он Анну Леопольдовну, — империя уже близка к гибели. Еще один день, и Миних опрокинет Россию кверху килем. Я, как моряк, согласен оставить за собой чин гросс-адмирала русского флота, но... Но только верните мне дела иностранные и внутренние! Дайте мне спасти вас и страну!

Бирон в это время еще находился под судом. Как только дошли до него первые слухи о делах Миниха, так Бирон сразу же стал его топить. Бирон на допросах показал в эти дни, что никогда бы не рискнул принять регентства, если бы не Миних, который уговаривал его взять титул регентства. Из заточения в Шлиссельбурге герцог сумел жестоко отомстить Миниху за свое падение, предупредив судей:

— Ежели ея высочество Анна Леопольдовна чем-либо вызвала неудовольствие Миниха, то передайте ей от меня, что н ы н е о н а п о д в е р ж е н а с м е р т е л ь н о й о п а с н о с т и. Миних таков, что крови не убоится!

Предупрежденные об этом, супруги Брауншвейгские усилили свою бдительность. Каждый вечер они таскали свои кровати из комнаты в комнату. Никогда не ложились спать возле окон: а вдруг Миних прицелится со двора и выстрелит?.. Остерману уже не стоило труда спихнуть Миниха в яму. Скоро последовал указ: Миниху оставили только армию, но при этом Миних должен подчиняться принцу Ан-

тону, яко генералиссимусу. Ему оставили и звание первого министра, но распоряжаться страной он уже не мог. Миних пошатнулся, но тут же выпрямился, уверенный в том, что Россия без него провалится в бездну. А потому, дабы запугать своих противников, фельдмаршал легкомысленно подал рапорт об отставке... Манштейну он говорил:

— Мой рапорт вгонит всех в трепетную дрожь, и мелюзга во дворце Зимнем будет трястись еще очень долго, пока я не сжалюсь над ними и не заберу свой рапорт обратно...

Рано утречком Миниха разбудил барабанный бой, который обычно возвещал петербуржцам о казни или о поимке важного преступника. Под эту трескотню, рвущую уши, был зачитан коварный указ о том, что первый министр и фельдмаршал Миних «за старостию» от службы увольняется. Только теперь Миних понял, что допустил страшный просчет. Но, даже поверженный в ничтожество, он еще оставался страшен. Не знали во дворце — куда деть его? Остерман часто начинал плакать (и, кажется, на этот раз искренне плакал):

— Нельзя оставлять в России этого закоренелого злодея, а за границу выслать еще опаснее! Может, в Сибирь послать? Да нет, тоже нельзя: ведь Миних там всех казаков на бунт поднимет...

А пока что велели Миниху переехать для житья на Васильевский остров — за Неву, чтобы подальше от дворца. Фельдмаршал был уязвлен в самое сердце. Не он ли сверг Бирона ради этих негодяев? Не он ли отдал империю во власть Анны Леопольдовны? А что получил в уладу себе?.. Сохранилось смутное предание, будто в эти дни Миних явился к Елизавете Петровне и обещал ей устроить еще один дворцовый переворот, чтобы возвести ее на престол. Миних надеялся получить от Елизаветы то, что отняли у него сейчас. Но якобы цесаревна на все посулы Миниха отвечала так:

— Ты ли тот человек, который короны раздает кому хочет? Но я оную и без тебя получить право имею.

А сыщики генерала Ушакова хаживали по кабакам и слушали, как среди мужиков, солдат и матросов говорят уже открыто:

— Миних-то перевернул, да не таковски! Не по-нашенски... Ужо вот, гляди, мы доберемся — тогда все раком переставим!

Бирон попался в ловушку Миниха, а самого Миниха прогнали, как лакея, который не внушал своим господам прежнего доверия. Миних решил отъехать в Берлин, куда его звал король прусский. Но богатства фельдмаршала были столь велики, что сборы затянулись. Один раз его подвел понос, а погиб он потому, что не успел срочно собрать свои манатки!

Неужели «линаровщина»?

Дрезден — столица Саксонии... Канцлер граф Брюль вызвал к себе Морица Линара, изгнанного из России за связь с несовершеннолетней принцессой Анной Леопольдовной. На этот раз Брюль уже не рычал на красавца дипломата, а был с ним крайне любезен.

— Вы оказались правы тогда в своих пророчествах, — сказал ему канцлер. — Анна Леопольдовна стала правительницей Российской империи при своем сыне, и... вряд ли она забыла вас!

— Напоминаю вам, канцлер, что еще не было женщины, которая бы, побывав в моих объятиях, могла забыть меня.

— Тем лучше! — одобрил его Брюль. — В таком случае возвращайтесь в Петербург на прежний пост саксонского посла. И я надеюсь, что вы займете при Анне Леопольдовне такое же блестящее положение, какое занимал герцог Бирон при ее царственной тетке.

Линар поскакал в Россию и пал к ногам своей бывшей любовницы. Он не назвал ее по титулу, а сказал просто:

— Мадам, было время, когда вы были моей. Теперь времена изменились, и я целиком в а ш...

Остерман понял, что в этом наглеце таится бездна дьявольских наваждений. Линар для Остермана гораздо опаснее, нежели Бирон, ибо он — дипломат, знаток в политике, в которую скоро начнет вмешиваться. Принц Антон видел в Линаре лишь осквернителя своего брачного ложа, генералиссимус находил «утешение в радости, какую доставляли ему независимость и причастность ко власти, которые, впрочем, были скупо ему отмерены»... Желая поскорее стать новым Бироном, граф Линар всячески изображал перед Анной Леопольдовной неуголенную страсть. Пылкость красавца покорила Анну Леопольдовну, и в апреле 1741 года прусский король Фридрих II получил точное донесение посла:

«Граф Линар, впавший на днях в притворный обморок во время игры в карты с регентшею, с каждым днем все более подвигается вперед, так что об этом уже говорят в народе... Он нанял дом совершенно вблизи императорского сада, и с тех пор великая княгиня-регентша, против своего обыкновения, часто отправляется туда гулять».

После этих прогулок Линар в обмороки уже не кидался. Иностранные дипломаты сообщали своим дворам, что им случайно доводилось слышать, как фаворит указывал правительнице Российской империи:

«Не делайте глупостей!», «Могли бы и со мной прежде посоветоваться!». Так что картина управления Россией уже определилась: над несчастной страной вырастала тень нового Бирона.

Характер правительницы слагался из вялости и безразличия. Полная апатия к делам России, полное отсутствие интереса к народу русскому. Энергии хватило лишь на то, чтобы разогнать шутов, доставшихся ей от тетки. Открытые отношения с Линаром — это не от цинизма, это, скорее, от полного равнодушия ко всему, что окружало правительницу. Анне Леопольдовне не хватало по утрам бодрости даже на то, чтобы одеться. Она желала править Россией из постели, немыта, нечесана, с постоянным белым платком на голове. Рядом с нею неизменно находились Линар и Юлиана Менгден, она нежно соединяла их руки (по примеру своей тетки):

— Юлиана, вот тебе муж. Мориц, вот твоя жена...

В жаркие летние дни она ложилась спать с Линаром на открытом балконе. Подзорные трубы и даже телескопы скоро исчезли из продажи. В белые ночи охотники до пикантности через оптику обозревали нескромные сцены, в которых правительница России была податливой рабой опытного женолюбца Линара.

Всю власть над Россией забрал Остерман, ставший после свержения Бирона и Миниха могущественным, как никогда. Теперь ему никто уже не мешал! Европа печатала в газетах, что отныне это «настоящий ц а р ь России». Новое правительство Остермана спешило сделать все, чтобы срочно реабилитировать прошлое царствование Анны Кротовой. Покойную императрицу выставляли непогрешимой. Но тогда на кого же свалить всю гору свершенных преступлений? Козел отпущения был под рукой: все беды народа целиком переложили на герцога Бирона, благо, сидя на цепи, он уже не в силах был огрызнуться. Остерман еще теснее связывал союз России с Австрией. Митавский престол без Бирона пустовал, и скоро из Вены прибыл брат принца Антона — принц Людвиг Брауншвейгский, готовый надеть на себя курляндскую корону. Остерман этим актом надеялся убить двух зайцев сразу. Анне Леопольдовне он доказывал:

— У вас есть соперник — Елизавета Петровна, а чтобы от нее избавиться раз и навсегда, Елизавету надобно выдать за принца Людвиг Брауншвейгского, и пусть она тихонько сидит на Митаве. Приобретя корону курляндскую, Елизавета уже не станет претендовать на корону российскую, а вам... Вам, — намекал он Анне Леопольдовне, — до совершеннолетия сына было бы выгодно короноваться!

Коронуя принцессу Брауншвейгскую, Остерман желал лишить права на престол потомство Петра I, а заодно оставить Россию навсегда в политическом подчинении Австрии. Согласия Елизаветы на брак с Людвигом никто и не спрашивал: прикажут выйти за брауншвейгца — и цесаревна вынуждена будет пойти. Но скоро через Кавказ на Кизляр тронулась со стороны Персии громадная армия шаха Надира. По слухам, разбойник хотел захватить Астрахань и другие русские города. Многотысячная армия персов валила на Русь, волоча пушки и бряцая оружием; толпы боевых слонов бежали впереди персидской армады. Чтобы принять бой с персами, вперед выслали драгунские полки Апраксина. Страхи оказались напрасны — не армия Надира, а лишь посольство его двигалось в Петербург! Драгуны встали кордонами, и Апраксин заявил персам, что Россия прокормить такую ораву послов не способна. Через границу были пропущены только 2000 человек при 14 слонах, посылаемых Надиром в подарок Анне Леопольдовне.

Для прохождения слонов по столице заранее был отремонтирован Аничков мост, дабы не рухнул от тяжести. Слонам не понравилось питерское житие. Сначала они, «осердясь между собою о самках», драку устроили. Потом цепи оборвали и ушли на Васильевский остров, забрались там в густой лес, где чухонская деревушка стояла. Взались они за эту деревню и к утру разнесли ее всю по бревнышку, а жители в ужасе через Неву в столице спасались... Персидские послы сообщили, что Надир решил разделить с Россией добычу от победы над Великим Моголом Индии, и в покоях Зимнего дворца были рассыпаны массы бриллиантов из Дели. Какова же цель этой щедрости разбойника? Может, пожелал ослепить русских? Выяснилось, что послы — это сваты Надира, который просит для себя руки цесаревны Елизаветы Петровны, слава о красоте которой дошла до Мешхеда...

Елизавета была в отчаянии:

— Господи, да когда я избавлюсь от женихов разных? Каждый, кому не лень, руки моей просит...

В это лето при дворе было объявлено о предстоящем браке графа Линара с девицею Менгден. Юлиана решила сыграть при Анне Леопольдовне ту же роль, какую сыграла когда-то жена Бирона при Анне Кровавой. Линар при помолвке получил орден Андрея Первозванного. Наконец, точно следуя по стопам тетки, Анна Леопольдовна объявила Линара своим о б е р - к а м е р г е р о м — саксонец заступил пост, который десять лет подряд бессменно занимал до него курляндец Бирон... Русским все стало ясно! Анна Леопольдовна

и принц Брауншвейгский боялись теперь проходить мимо рядов солдатских. Их пугало страшное молчание войск... застывшие в немоте лица русские... стальной блеск солдатских глаз... гнев! Принц Антон, характером более живой и чуткий, нежели его жена, однажды спросил преображенца:

— Скажи, друг, отчего ты такой хмурый?

Ничто не дрогнуло в лице офицера, а глаза смотрели вдаль, словно принца не существовало перед ним. Антон торопливо сунул ему в руку 300 червонцев — большая милость! Преображенец деньги принял, но выражение холода не исчезло с лица его... гнев!

В один из дней Линар упал на колени перед правительницей.

— Умоляю! — взывал он к ней. — Если желаете быть счастливой, арестуйте цесаревну Елизавету. Иначе она арестует нас! Спросите генерала Ушакова — он вам расскажет, как мы все ненавистны в народе, а Елизавета одна ездит ночами по городу и никого не боится... О н и ее не тронут!

.....

Напряжение внутренней политики России усиливалось тогда небывалым напряжением политики внешней. 1740 год был для Европы почти роковым — в этом году, раз за разом, освободились три престола: берлинский, петербургский и венский. Историки уже давно заметили, что посмертная воля монархов уважается наследниками меньше, нежели воля простых смертных. Если сапожник, умирая, завещает свои колодки племяннику, то можно быть спокойным: колодки дойдут по назначению. Совсем иное дело — коронное наследство!

Коронную серию смертей открыл в Берлине кайзерзольдат, потом поехала в небытие Анна в Петербурге, а через три дня после ее смерти скончался в Вене и последний Габсбург в мире — император австрийский Карл VI. Он умер через 40 лет после того, как вымерла испанская ветвь Габсбургов, родственная австрийской, и теперь в силу должна вступить «Прагматическая санкция», чтобы грандиозное «Австрийское наследство» передать дочери покойного — Марии Терезии. Но Фридрих II, молодой король прусский, уже вдел ногу в боевое стремя.

— Я привык плотно завтракать по утрам, — сказал он. — Одной Силезии мне пока хватит, чтобы не быть голодным до обеда...

И сразу началась война. Европа даже не заметила, как и когда в Берлине успел вырасти молодой и сильный зверь — агрессивная армия Пруссии. 22 декабря 1740 года, без объявления войны взло-

мав пограничные кордоны, нерушимые фаланги Фридриха, объятые ужасом железной дисциплины, вторглись в Силезию, которую населяло тогда больше миллиона онемеченных чехов. Захватив страну в рекордный срок, прусский король написал в Вену, что Силезию он решил оставить под своей властью, но — честный человек! — он не грабитель, а потому согласен рассчитаться с Марией Терезией золотом за приобретенное мечом у нее... Таков был его дебют на арене Европы. Едва освоившись на престоле прусском, Фридрих II сразу же подал сигнал к череде губительных войн, провозгласив «полное изменение старой политической системы» в Европе. Теперь пожары, вызванные им, будут полыхать восемь лет подряд, а битва народов за «Австрийское наследство» закончится войной Семилетней, когда русские войска войдут в Берлин!.. Фридрих II признавался Вольтеру:

— Я начинаю большую европейскую игру и в случае выигрыша Пруссии обещаю поделиться долей и с Францией...

Модные писатели Парижа держали свои перья наготове, чтобы восславить новый гений Европы — прусский! Австрию стали безжалостно раздергивать на куски. Летом 1741 года две мощные армии Людовика XV форсировали Рейн; французы, объединяясь с баварцами, вступили в Чехию, а храбрый Мориц Саксонский, этот новый французский Тюренн, штурмом овладел Прагой... Казалось, что жадной Римской империи пришел конец, и Мария Терезия прибегла к волхвованию. Облачив себя в рубаху нищего, беременная матрона воссела на коня, и одним махом он внес ее на вершину Королевской горы. Из ножен она извлекла старый меч своих предков, который и простерла на все стороны света, проклиная врагов Австрии. С перекошенным ртом, рассылая вокруг себя плевки, Мария Терезия выкрикивала на горе древние заклинания Габсбургов; при этом она гнусно завывала, словно матерая волчица, у которой охотники разорили ее теплое, сытое логово... А после колдовской церемонии она заплакала:

— Я не уверена теперь, найдется ли еще место на земле, где бы я могла лечь и спокойно разрешиться от бремени?..

Помощь ей пришла из Петербурга — от Остермана, верного лакея Вены, от принца Антона Брауншвейгского, сына Вены, от графа Морица Линара, угодника Вены. Мария Терезия получила от них святое заверение, что русское правительство скоро вышлет ей в подмогу корпус в 40 000 солдат. Но тут начала распускать паруса кораблей Швеция, и Россия, увлекаемая немцами в битву за ненужное русским людям «Австрийское наследство», вдруг оказалась перед новой войной на два фронта — затяжной и опасной...

Шведский посол в России барон Нолькен отсчитал сто тысяч талеров и признался маркизу Шетарди, как союзнику:

— Все эти деньги Стокгольм разрешает мне истратить на любую из оппозиций, какие существуют в России. Я делаю ставку, конечно, на цесаревну Елизавету, как и вы, маркиз...

Елизавета плавала вечерами по Неве в гондоле, а хирург Лесток в одежде гребца трубил в рог, призывая Шетарди из сада для свидания с цесаревной.

Ночью в посольство Франции проник под плащом Михаил Воронцов, принеся записку от цесаревны, где она писала, что ей уже «нечего более стеснять себя, он может приходить к ней, когда ему заблагорассудится». Но Шетарди был испуган слежкой шпионов, и Версаль напрасно побуждал его к смелости. Шведский посол Нолькен оказался храбрее: он прямо заявил Елизавете, что Швеция готова ввести армию в пределы России, но потребовал от нее документа.

— Вот текст вашего обязательства, — сказал он, — в котором вы согласны возвратить Швеции земли, захваченные вашим отцом у нас.

Елизавета поняла, что в обмен на корону от нее требуют предательства русских интересов, и подпись дать отказалась. Но против русско-шведской войны она не возражала! В это время кардинал Флери усилил подготовку заговора в ее пользу, чтобы навсегда сокрушить австрийское влияние в Петербурге. В кафе де Фуа на улице Ришелье происходили таинственные встречи курьеров, из рук в руки передавались тяжелые кисеты с ливрами. Все делалось строго секретно, чтобы Версаль и король оставались вне всяких подозрений. Из кафе де Фуа деньги попадали в Петербург — к Елизавете, а от нее растекались по казармам полков столичной гвардии. Русские солдаты, вестимо, не ведали, что деньги идут из Франции, они их брали «от щедрот душеньки-цесаревны».

28 июня Швеция открыла боевые действия против России, чтобы вернуть себе финские провинции. Елизавета в эти грозные дни совершила непростительную ошибку — наивно доверилась в своих замыслах великому инквизитору Ушакову. В ответ Ушаков самым грубейшим образом отверг все ее посулы на будущее. Но теперь инквизиция схватила заговор за хвост! Анна Леопольдовна была о нем извещена. Елизавета забилась в щель, как испуганная ураганом мошка, и тишайше сидела в Смольной деревне. Даже бесстрашный пройдоха Лесток пребывал в ужасе, и «при малейшем шуме он бросался к окошку, считая себя погибшим». Однако перед отбытием

Нолькена из Петербурга Елизавета ухитрилась передать ему, чтобы Швеция войны с Россией не боялась, ибо русские солдаты воевать станут без всякой охоты, когда узнают, что Швеция вступает за нее, воюя против немецкого засилия в делах русских. Исходя из этого заверения цесаревны, Стокгольм издал манифест для «достохвальной русской армии». В этом манифесте было писано по-русски, что целью войны Швеции является только свержение иностранных министров в России, чтобы сбросить с русского народа немецкое иго. Таков был парадокс высокой политики! Шведский манифест навел страшную панику на все окружение Анны Леопольдовны. Остерман даже предлагал отдать шведам Финляндию.

— Хоть до самого Кексгольма, — говорил он...

Он уже разбазарил русские завоевания на Кавказе, а теперь согласен допустить Швецию под стены Петербурга, — лишь бы никто из-под его зада стул не выдернул!

Пора выбирать!

Время правления Анны Леопольдовны настолько невыразительно в истории нашего государства, что факт появления на русском столе картошки я осмеливаюсь отнести к наиважнейшим событиям... Близились осень. 12 августа двор отмечал год со дня рождения императора Иоанна Антоновича. По этому случаю из ботанического сада столицы ученые ботаники прислали ко двору «тартуфель» (картофель). На всех гостей, сколько их было при дворе, распределили всего лишь 1,25 фунта картошки (иначе говоря, около 500 граммов). Картофель был воспринят вельможами как невкусный деликатес, вызывающий брезгливость своим земляным происхождением, и тогда еще никто не подозревал в «тартуфеле» незаменимого продукта питания для народа...*

В канун свадьбы Линара Анна Леопольдовна ненадолго отпустила его в Саксонию, чтобы он привел в порядок свои дела на родине и уже окончательно переселился бы в Россию. От правительницы Линар получил мешок «сырых» драгоценных камней, чтобы отдать их ювелирам в Дрездене для обработки, и увозил с собой значи-

* Бытующая в народе версия, что родословная картофеля в России ведет начало от мифического мешка с картошкой, вывезенной Петром I из Голландии, не имеет никаких оснований. Впервые в русскую почву картофель был посажен лишь в 1736 г., а Петр I прислал в Россию не картофель, а топинамбур (т. е. земляную грушу).

тельные суммы русских денег, назначение которых для истории осталось загадочным. Дипломаты того времени полагали, что Анна Леопольдовна решила 9 декабря, в день своих именин, свергнуть сына с престола, чтобы самой стать русской императрицей; деньги эти якобы были выданы Линару на расходы по предстоящей ее коронации...

Перед отъездом Линар снова заклинал свою любовницу:

— Если вы не желаете заточить Елизавету в крепость, то хотя бы упрячьте ее в монастырь. Иначе наша гибель неизбежна...

Елизавете уже не раз снилось, что палачи стригут ее рыжеватые волосы, облачают тело в жесткую власяницу. Между тем в той тридцатилетней женщине, пухлой и кокетливой, не было «ни кусочка монашеского тела». Наблюдательный Миних давно заметил, что Елизавета бывала счастлива лишь тогда, когда переживала роман, а влюблялась она всегда напропалую, переступая все границы скромности. Сейчас ее глаза туманятся при воспоминании о маркизе Шетарди... По бедности носила она тогда дешевенькие платица из белой тафты, подбитые черным гризетом, но ее красили молодость, приветливость к людям. Елизавета отлично владела простонародным говором русских деревень, очаровывала всех обаятельной улыбкой. Русские вельможи издавна пренебрегали ею, считая цесаревну прибудной по рождению и блудной по образу жизни. А потому и друзей для себя Елизавета искала не при дворе, а в казармах гвардии, в мелкотравчатом дворянстве. Не гнушаясь нисколько, ездила цесаревна крестить детей на окраинах Петербурга, кумилась с солдатами, плотниками, поварами, садовниками. Эта наивная простота цесаревны, ее умение потолковать с людьми о жизни, поплакать с бабами на крылечке делали ее особенно привлекательной...

Скоро русская армия, предводимая Петром Ласси, разбила армию шведскую при Вильманстранде. Это был небольшой городок близ Выборга, но в нем стояла мощная крепость. Русские солдаты взломали ворота шведской твердыни и принудили гарнизон к сдаче. Вильманstrand был срыт с лица земли, а жителей города выслали внутрь России. Анна Леопольдовна оживилась, при дворе было большое празднество, а у челяди Елизаветы, среди ее сторонников царило уныние от этой нечаянной победы, ибо теперь любая виктория укрепляла немцев при дворе... В один из дней, когда Елизавета возвращалась из города, на запятки ее санок вскочили знакомые ей солдаты. Всю дорогу не слезали они с саней и пылко, исколов лицо цесаревны усами, они ее целовали и упрашивали:

— Уж ты поспеши, матушка! Ты тока учни, а мы за тебя все сами прикончим... Доколе же нам, россиянам, под немцем терпеть?

Каждый шаг ее проверялся инквизицией. Любой гость цесаревны сразу становился Ушакову известен. Скажи она кому-либо два слова — человек уже взят на заметку. Подозрительные связи с маркизом Шетарди тоже не ускользнули от взоров сыщиков. Наблюдение за цесаревной было доверено майору Альбрехту, который как начал паскудничать еще в 1730 году, так уже и не мог остановиться...

Остерман велел отнести себя к правительнице.

— Ваше высочество, — сказал он ей, — не будьте же долее равнодушны к тем козням, которые творятся вокруг вашего семейства. Положение в стране столь небывало, что обманчивая тишина может взорваться бунтом всенародным. Я жалею сейчас, что граф Мориц Линар отъехал не вовремя, — вот его бы вы послушались скорее!

В ответ на эти предостережения Анна Леопольдовна показала Остерману свое новое платье. Беспечность правительницы была все же сломлена натиском на нее Остермана и прочих приближенных Ушаков на фактах доказал существование обширного заговора в империи. В основном бурлила гвардия — преображенцы!

— Хорошо, — решил за жену принц Антон. — Эта война прихлась сейчас к стати. Я сделаю так, что гвардия завтра же выйдет из столицы и отправится в Финляндию для войны со шведами...

На следующий день при дворе был куртаг. Анна Леопольдовна встретила Елизавету, как всегда, с радушием. В гардеробной она долго показывала цесаревне богатые одежды для свадьбы любимицы своей Юлианы с фаворитом своим Линаром. Она даже всплакнула, скучая по любовнику, и Елизавета, неизменно чуткая ко всяким амурным проявлениям, всплакнула с ней за компанию. Среди шкафов, сундуков и комодов, набитых добром, стояли две женщины-соперницы. Одна — мать императора России, сама готовая стать императрицей, а другая — подруга солдат и офицеров, невеста Людвиг Брауншвейгского, шаха Надира и прочих искателей приключений... Но в самый разгар куртага Анна Леопольдовна решительно отвела Елизавету в соседнюю тихую комнату и плотно затворила ее двери.

— Нас здесь никто не слышит, — сказала правительница. — Я прочту вам письмо, которое прислал мне сегодня граф Линар...

Европа через шпионов хорошо знала обстановку внутри России, и Линар издалека раскрыл перед своей любовницей все тайные вождения французской политики. Он сообщал в письме такие факты

о Елизавете, о каких не имел понятия даже вездесущий дьявол Ушаков с его колоссальным аппаратом тайного сыска. Через грузинских девиц, что состояли в штате правительницы, но были преданы цесаревне, Елизавета знала обо всей переписке регентши. Но письма Линара поступали ко двору иными каналами, обходя грузинок, и удар этот был для Елизаветы неожиданным, страшным и роковым... Получилось так, что Анна Леопольдовна приперла цесаревну к стенке!

Елизавета, не дослушав письма, со слезами кричала, что больше не желает видеть маркиза Шетарди, что если Лесток на подозрении, то пусть его арестуют и пытаются. Она с плачем кинулась к ногам имперской правительницы. Анна Леопольдовна тоже разрыдалась, и две женщины, заключив одна другую в объятия, долго плакали... над кем? С а м и н а д с о б о й!

Расстались же они, как нежные подруги, ласково. Утром следующего дня в спальню к Елизавете стремительно ворвался Лесток. Он всю ночь пьянствовал в трактире у Юберкампфа, что на Миллионной улице, где подавали флиссингенские устрицы и где у него было немало друзей. Лесток казался безумен, он держал в руке лист бумаги.

— Все кончено! — закричал он. — Остерман уже велел выгнать Преображенский полк из столицы, а меня конечно же повесят...

Любопытная цесаревна спросила:

— Что за бумагу ты держишь там, Жано?

Лесток протянул к ней лист, и она увидела с е б я, сидящей на троне, цветущей и красивой, с короною на голове. Лесток быстро перевернул бумагу, и на другой стороне листа Елизавета снова увидела себя, но уже в монашеской одежде, а палачи раскладывали перед нею инструменты для пыток... Лесток сказал:

— Можете выбирать! Но выбирайте сразу — без промедления!

Дщерь Петрова

Весь день Елизавета провела на коленях в пылких молитвах. Согласно преданиям, именно в этот день она поклялась перед иконами, что, если судьба дарует ей престол сегодня, она во все время царствования не подпишет ни одного смертного приговора...

Снежный буран продолжался весь день. Вечерело. Под синей лунищей текли с шуршанием снегов темно-фиолетовые сугробы. Накануне она переслала в казармы свои последние 300 рублей. Больше у нее не было ни копейки. Ждали Лестока — от Шетарди; хирург примчался в Смольную и сказал, что маркиз денег не дает, говорит, что продулся в карты. Елизавета заложила свои драгоцен-

ности. Шуваловы и Воронцовы разослали по городу своих верных людей — узнать, нет ли тревоги возле домов Остермана, Левенвольде, Ушакова и Миниха. Те вернулись, сообщив, что в столице все спокойно, а окна спальни регентши во дворце не светятся (спит, наверно?). К полуночи собрались близкие цесаревны и родственники ее по материнской линии — Гендриковы, Ефимовские, Скавронские; среди них, полный мрачной решимости, вполпьяна шатался Алешка Разумовский... Явились солдаты из ближних казарм; не чинясь (даже грубо), солдаты объявили цесаревне, что, ежели она струсит, они потащат ее к престолу с и л о й...

Елизавета мелко вздрагивала. На нее накинута шубу.

— С богом, — сказала она, поднимаясь с колен.

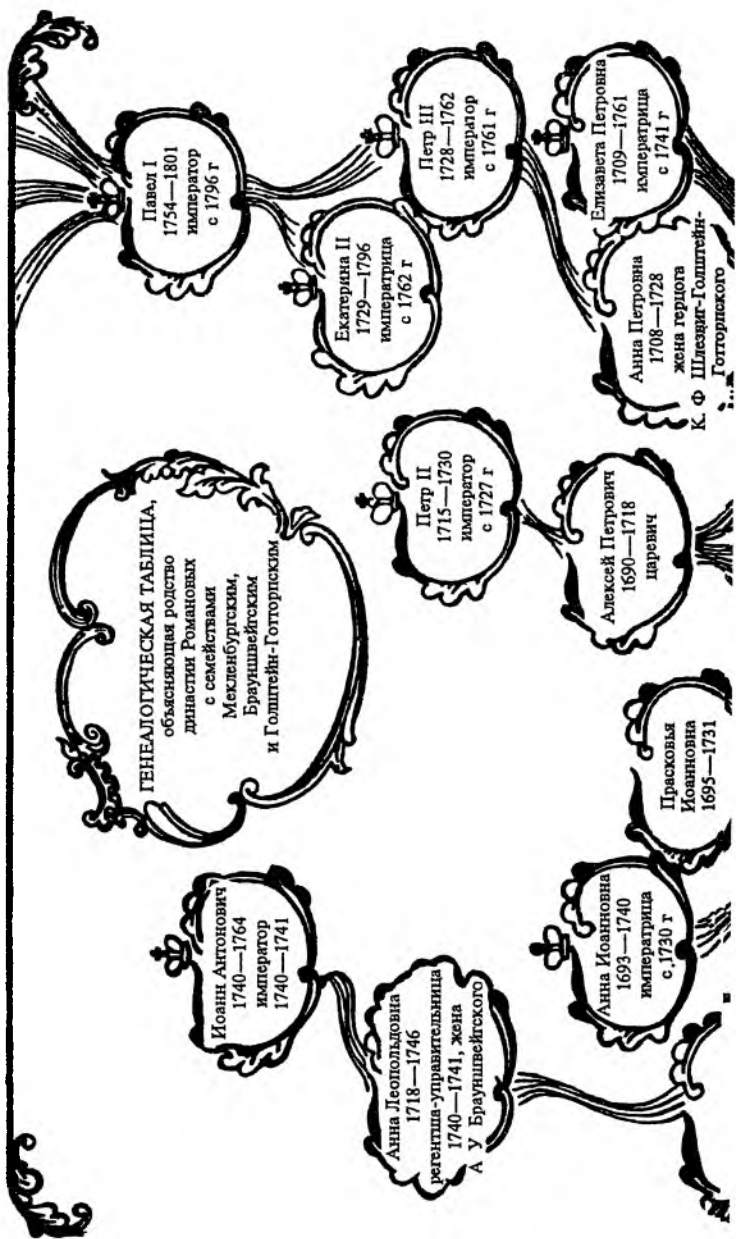
На шею ей нацепили орден Святой Екатерины, в самый последний момент в пальцы цесаревны вложили крест. Она всхлинула, двери отворились, внутрь хлынул мороз. Вся в облаке пара, Елизавета шагнула под звезды, уселась в сани. Запятки саней цесаревны были столь широки, что на них разместились все братья Воронцовы и Шуваловы. Во весь дух помчались они через пустоши заснеженных окраин Петербурга. Была историческая для России ночь — ночь с 24 на 25 ноября 1741 года... Сани остановились возле казарм лейб-гвардии полка Преображенского, где размещалась рота преданных Елизавете гренадер. Войдя в казарму с крестом, она сказала солдатам:

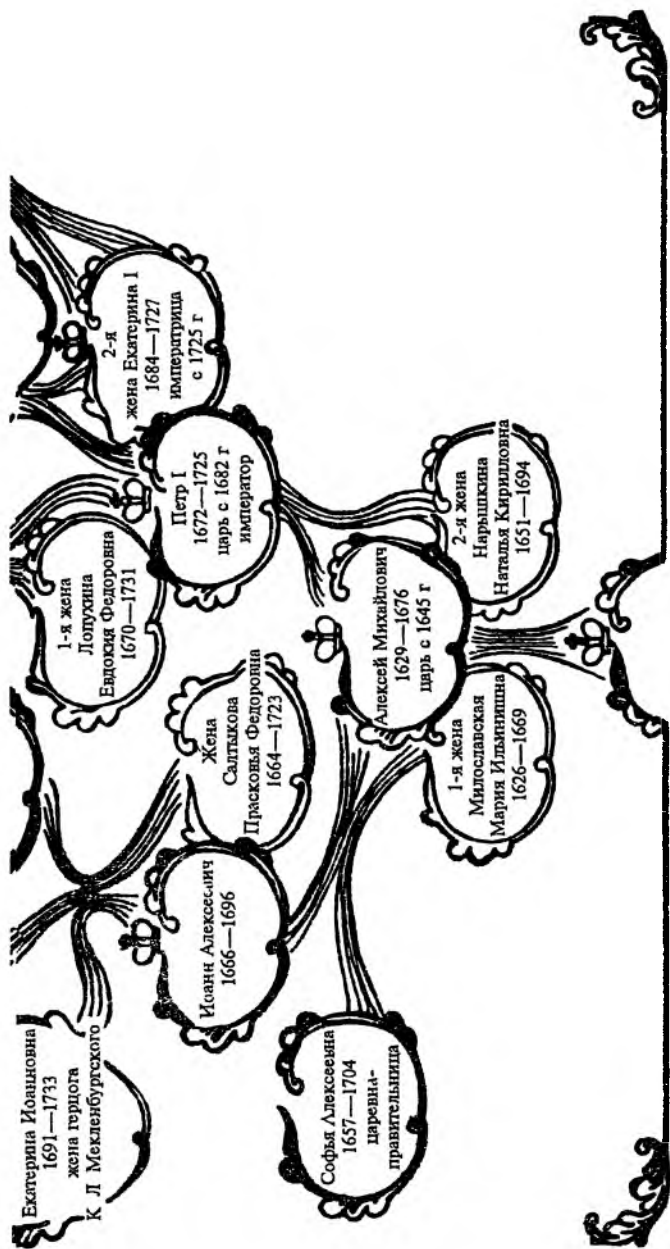
— Ребята, вы знаете, кто я такая. Худого вам не хочу, а добра желаю. Клянемся на кресте сем, что умрем за Россию вместе.

— Веди нас, краса писаная! Мы всех перережем!

— А тогда я не пойду. Крови было уже достаточно...

Целование креста — акт присяжный. Раздался жесткий хруст: это Лесток ножом испарывал кожу на полковых барабанах, чтобы никто не вздумал отбить тревогу по войскам. За женщиной вышли на трескучий мороз 300 гренадер — вчерашних мужиков. От Преображенских казарм до Зимнего дворца путь казался бесконечно долог. Французский академик Альбер Вандаль, описывая эту ночь, живописует: «Толстый слой окрепшего снега прикрывал землю, заглушая всякий шум. Гренадеры торопливым шагом следовали за санями Елизаветы, молча и полные решимости; солдаты дали взаимную клятву не произнести ни единого слова во время перехода и проткнуть штыком первого же малодушного». Невский проспект лежал перед ними — пустынен, темен и мертв, словно дикое ущелье. Скрип полозьев казался Елизавете слишком громким, и возле Адмиралтейской площади она вышла





из саней. Ее маленькие ноги в башмаках глубоко увязали в сугробах снега, и оттого Елизавета никак не могла поспеть за скорым и упругим гренадерским шагом. Тогда солдаты сказали ей:

— Магушка, так идти негоже. Надобно поспешить...

Гренадеры вскинули ее на плечи, и Елизавета закачалась между остриями штыков. От процессии молча отделились небольшие отряды — для арестования Остермана, Миниха, Левенвольде, а цесаревну внесли прямо в кордегардию Зимнего дворца.

— Дети! — обратилась она к солдатам в карауле. — Вам лучше меня ведомо, сколь наш бедный русский народ терпел от немцев всякие тягости. Освободим же Россию от этих притеснителей и грубиянов!

Офицеры в кордегардии колебались. Один из них обнажил шпагу. Лезвия солдатских багинетов сразу уперлись ему в грудь, но убить его Елизавета не дала, сказав:

— Он глуп еще. Оставьте жить для будущего разумления...

В сопровождении мрачных усачей, пахнущих чесноком и водкой, Елизавета, подобрав полы шубы, поднималась по лестницам дворца в спальные апартаменты правительницы. Все часовые, стоявшие на переходах, покорно складывали перед ней свое оружие. Она с улыбкой дружеской кивала им в одобрении. Тогда солдаты поднимали с полу ружья и присоединялись к ней...

Вот и спальня правительницы Российской империи. В отсутствие графа Линара в постели правительницы лежала ее фаворитка Юлиана Менгден. Под колпаками тихо догорали ночные свечи. Елизавета решительным жестом сбросила со спящих женщин одеяло.

— Сестрица, — сказала она правительнице, — хватит тебе спать, пора вставать... А где твой сын почивает сей день?

Анна Леопольдовна даже не поняла вопроса. Она умоляла лишь об одном — не разлучать ее никогда с Юлианой Менгден.

— Ладно. Но у тебя и муж есть, касатушка... Что ты все то с Линаром, то со своей Юлианой? Постыдись...

Из соседних покоев солдаты взяли под арест принца Антона Ульриха Брауншвейгского. Но рядом с ним жил его брат — принц Людвиг Брауншвейгский, претендент на корону курляндскую, искатель руки и сердца Елизаветы Петровны... Дочь Петрова велела и его братья за компанию с генералиссимусом.

— Ну, женишок мой! — сказала она ему. — Не довелось тебе погулять на свадьбе со мной. Теперь собирайся далече отъехать...

Арестованные во дворце как-то сразу безбожно поглупели. Всех их, заодно с младенцем-императором, отвозили из Зимнего на Марсово поле — в особняк цесаревны. Во дворце оставались еще знамена

трех гвардейских полков; Елизавета «захватила их с собою, зная преданность солдат этим чтимым эмблемам и зная, что в их глазах долг перемещался вместе со знаменем». Лестоку она наказала:

— Чаю я, что фельдмаршал добрый Пётра Ласси зла учинять нам не станет. Беги до него и скажи от меня, чтобы не пужался...

Петербург, встревоженный, пробуждался. Загорались желтые лики окон, хлопали двери домов и калиток, скрипел снег под валенками сбегавшихся отовсюду людей. Сенаторы и военные спешили на Марсово поле — припасть к ногам нового светила. Император Иоанн Антонович, разбуженный шумом, тоже был отвезен кормилицей в дом цесаревны. Елизавета взяла плачущего ребенка на руки, умилялась над ним.

— Бедненький ты мой! — причитала она с ласкою. — Обделался ты весь, а никто и не доглядит... Ну да ты не реви! Это все твои батька с маткою виноваты, а я к тебе всегда по-хорошему...

С улицы доносилось «ура». Народ затоплял площадь и близлежащие улицы. Возгласы толпы развеселили ребенка и, улыбаясь беззубым ртом, Иоанн Антонович запрыгал на пухлых и теплых коленях Елизаветы, радуясь. Вельможи, растерянные от столь быстрой перемены, сходились кучками. Тряслись от страха. Спрашивали потихоньку:

— Как же это случилось?

— Сам не знаю. Лакеи раньше меня узнали. Вот прибежал...

— Кланяться надо. Господа, кланяйтесь!

— Кому кланяться-то теперича?

— Да вон... Шуваловы показались.

— А кто они теперь будут?

— Не спрашивай, князь. Кланяйся — сюда Воронцов смотрит.

— Охти мне! А там-то кто?

— А это с а м... Разумовский... из свинопасов!

Шум с улицы перерастал в дикий вопль. Среди бряцанья шпор, под звоны шпаг и сабель похаживала Елизавета, вся в счастливых слезах, таская на себе сверженного ею императора. Наконец ребенок ей прискучил, надоев своим кряхтением, и она позвала гренадер:

— Возьмите младенца брауншвейгского и тащите его вместе с другими врагами... в крепость! А я народу должна показаться...

Из толпы выметывало чьи-то руки и ноги. Там уже трепали какого-то немца. Толпа жарко сдвинулась над его телом и прошла как стадо, затаптывая незваного пришельца насмерть. Несколько дней подряд, как в чаду, гуляла, кричала, пьянствовала и убивала у л и ц а... Убивали и грабили всех без разбора — голштинцев, вестфальцев, мекленбуржцев, силезцев, баварцев, саксонцев, пруссаков, курляндцев.

А заодно с немцами, плохо разбираясь в различиях народов, русские калечили голландцев, шотландцев, итальянцев, испанцев и прочих... Елизавета делала вид, что этой бойни не замечает.

Манифестом к народу она объявила себя императрицей.

Тредиаковский приветствовал ее стихами:

Давно в руках ей надлежало
Державу с скипетром иметь...
Матерь отчества Российска,
Луч монархинь и красот,
Честь европска и азийска,
Плод Петров и верьх высот.

Словно соревнуясь с ним, задорно восклицал Ломоносов:

Великий Петр нам дал блаженство,
Елизавета — совершенство...
Целуй, Петрополь, ту десницу,
Которой долго ты желал:
Ты паки зришь императрицу,
Что в сердце завсегда держал.

Соперничество поэтов продолжалось — даже в этих стихах!

Сияние снега взметывало над праздничным Петербургом...

Кто как закончил

Лучше всех закончил граф Линар: остался за границей, имея при себе мешок с бриллиантами и большими деньгами. Другие должны были расплачиваться... За все, голубчики, за все!

Начался стихийный отлив иноземцев прочь из России. Ушли тогда многие и стали впоследствии врагами ее. Дезертировал Манштейн, сделавшись адъютантом Фридриха II и главарем прусского шпионажа в России. Подался в Берлин и храбрый генерал Джемс Кейт — он погиб в Семилетней войне на стороне, враждебной русскому народу. Но лучшие все-таки остались на русской службе. До конца решил разделить свою судьбу с русской армией опытный фельдмаршал Петр Петрович Ласси и умер в почестях и в славе. Продолжал верно служить России и безбожный барон Корф; у него было куплено Академией наук богатейшее книгохранилище. Не покинули Россию почти все видные офицеры флота из иноземцев (моряки никогда не совались в дела придворные). На русских хлебах пожелал сидеть

далее и принц Гессен-Гомбургский, но однажды в темном коридоре дворца русских накиннули ему на шею петлю и стали давить принца, как давят худых собак; из петли принц сумел вывернуться, а более судьбу не испытывал — сразу же покинул Россию...

Виновных судили! Но за время следствия ни к кому из них не были применены пытки (исключительный случай). Обвинений же дельных не выбирали. Левенвольде, например, был осужден за то, что однажды, обходя стол при дворе, поставил куверт Елизаветы Петровны не туда, куда ей хотелось. Вообще весь 1741 год был посвящен мести за прошлое. Выпущенные из тюрем узники заняли при Елизавете пышные амвоны прокуроров. Из жестокости вышедшие, они и жестоки были немилосердно. Фельдмаршал старый князь Василий Долгорукий, всех сородичей потеряв, десять лет проведя в застенках, отсечение головы топором считал непростительной мягкостью.

— Отрубить кочан легко, — говорил он. — Помучить надо!..

Миниха судить было трудно. Если он и виноват в том, что содействовал избранию Бирона в регенты, то сам же Миних и сверг потом Бирона... В числе судей находился и князь Никита Трубецкой, а между ним и фельдмаршалом плавала нежная тень княгини Анны Даниловны. Вор, нажившийся на лишениях русских солдат, князь Трубецкой, став прокурором, настырно спрашивал Миниха:

— Признаешь ли ты себя виновным?

— Да! — отвечал Миних. — Признаю!

— В чем ты видишь вину свою?

— В том, что я тебя еще в Крыму не повесил, как вора...

Это достойный ответ. Миних — человек не мелочный: все качества, и дурные и положительные, выростали в нем до размеров гомерических. Другие подсудимые дерзить судьям не решались. Они вели себя омерзительно. Червяками ползали в ногах обвинителей. Особенно противен был Рейнгольд Левенвольде; еще вчера нежившийся в гаремах, среди блеска и злата, он превратился сейчас в грязную тряпку. По сравнению с другими его осудили жалостливо: башку долой — и дело в архив! Елизавета обещала солдатам, что освободит страну от всех иноземных притеснителей. Но в число судимых иноземцев попало немало и русских сановников, повинных в тиранстве времени Анны Кротовой; однако такие негодяи, как Ушаков и князь Алексей Черкасский, от суда благополучно улизнули...

В январе 1742 года на Васильевском острове сколотили эшафот из плохо оструганных досок; 6000 солдат, выражая восторг свой, окружили место лобное, а за войсковым оцеплением темно и пестро колыхался

народ. Никто в столице не остался в этот день равнодушным: к месту казни приплелись старики, с гамом набежали дети. Показались сани с Остерманом; на нем была старая лисья шуба, по которой ползали насекомые. За время отсидки под следствием у Остермана отросла длинная борода. Парик, прикрытый сверху бархатной ермолкой, и... борода! — это выглядело смехотворно. Зато приговор не располагал к веселью: Остермана будут сейчас рубить по частям и колесовать. Поднятый палачами на плаху, он потерял сознание...

Не таков был Миних, когда из саней увидел войска.

— Здорово, ребята! — прогорланил он и тронулся через строй, порыкивая: — Посторонись... Не видишь разве, к т о идет?

С утра он побрился. Надел лучший мундир. Поверху накинул шинель красного цвета — парадного! Бодро взбежал фельдмаршал на эшафот, взором ясным окинул пространство — нет ли где непорядка? Держался он так, будто сейчас ему дадут чин генералиссимуса. А за его спиной палач уже извлекал из мешка большой топор; приговор Миниху таков — рубить его четыре раза по членам, после чего — голову... Фельдмаршал, как хороший актер, давал свое последнее представление на публику. С эшафота он раздаривал палачам и солдатам кольца и перстни со своих рук, бросал в толпу табакерки с алмазами.

— Освобождайте меня от жизни с твердостью, — внушал он палачам. — Ухожу я от вас с величайшим удовольствием...

Остерману уже заломили руки назад, рвали рубашку с шеи, освобождая ее под топор. Спектакль был поставлен по всем правилам театрального искусства, и, когда топор взлетел, сверкая на солнце, аудитор объявил о замене казни пожизненной ссылкой. Но тут случилось такое, чего никак не ожидали режиссеры этой трагической постановки. Проломив ограждение воинское, зрители рванулись к эшафоту, из-за леса штыков тянулись к Остерману руки.

— Руби его! — кричали палачам люди. — Уважь нас... руби!

Остерман первым делом попросил палачей вернуть ему парик. Коли жизнь продолжается, надо беречься от простуды. Совсем иное впечатление произвело помилование на Миниха: нервы сдали — фельдмаршал разрыдался... Развезли их всех по ссылкам. Левенвольде ожидало захолустье Соликамска; бывший законодатель мод пристрастился там к ношению валенок и зырянского малахая; он умер в ссылке в разгар Семилетней войны, когда Россия была немецкую Пруссию, словно рассчитываясь с германцами за все прошлые свои унижения. Наташка Лопухина, любовница Левенвольде, за участие в австрийской интриге тоже пострадала: с отрезанным языком, битая плетью, она уехала пересчитывать остроги сибирские...

Остерман был сослан в Березов — туда, куда он отправил немало людей, ему неугодных. Семейства Меншиковых и Долгоруких надолго остались в памяти березовцев. Любители отечественной старины иногда заезжали в эту глушь, где собирали о них предания в народе. Но вот от Остермана н и ч е г о в памяти березовцев не сохранилось! Из отчетов полиции видно, что Остерман годами не вылезал из комнат, зарастая грязью, сочинял для себя духовные гимны, которые и распевал дребезжающим от злобы голосом. Березовцы запомнили о нем лишь два пустяка: ходил в бархатных сапогах и носил костыль. Куда делся костыль — неизвестно. Но история с сапогами мне знакома. Стоило Остерману помереть, как сапоги с него сразу стащили. Березовцы разрезали их на полоски, и местные модницы обрели немало ленточек для подвязывания причесок. Официально известно, что в Березове Остерман излечился от подагры, но, по слухам, его окончательно заели некоторые насекомые, которые облюбовали этого «оракула» еще в счастливые времена его жизни...

Миних отправился в Пелым — в тот самый острог, который сам же и спроектировал для Бирона! Одновременно с отбытием фельдмаршала в ссылку из Пельма отвозили в Ярославль и герцога. Два противника встретились в Казани на мосту через Булак, но летописцы казанские не донесли до нас тех ласковых слов, которыми они обменялись при роковой встрече... Пелым три месяца в году был наполнен мошкаррой, летящей с болот, а девять месяцев его сковывала стужа. Миниху на прокорм выдавалось два рубля в день. Большие деньги становились малыми, ибо провизию в Пелым везли за 700 верст из Тобольска. Однако Миних решил дожить до лучших перемен; живая кровь мужицкого внука претила ему сидеть сложа руки. Миних все 20 лет ссылки трудился как вол и трудом спас себя. Спасся от хворей, прогнал от себя тоску... Здоровье же свое он укреплял регулярным употреблением таежного меда! Властность этого человека — даже в заточении — была столь велика, что воеводы трепетали перед ним. Из Пельма он гневно рычал на губернаторов, цыкал на своих охранников, которые входили к нему, предварительно сняв шапки и низко кланяясь. Миних занимался в Пельме сочинением грандиозных проектов о переустройстве России, которые смело можно печатать, как... фантастические романы! Летом он вскапывал свой огород, уходил из города косить на лугах сено, ловил рыбу неводом, а в конце сенокоса пил водку с мужиками на копнах сена. В долгие сибирские зимы фельдмаршал занимался починкою неводов и мастерил курятники. В тюрьме своей Миних открыл школу, где учил пелымских детей

математике, геометрии, инженерным хитростям, истории древности. А больше рассказывал детям что в голову взбредет. Печальным видели его лишь однажды, когда умер его верный друг, пастор Мартенс, добровольно поехавший за ним в ссылку. По ночам пелымцы замечали в комнатах Миниха огонь — он работал, он спасал себя! Конечно, Остерман не стал бы косить сено с мужиками, а Левенвольде не рискнул бы собирать помет из-под кур...

Через 20 лет император Петр III вызвал Миниха из ссылки в Петербург. Товарищи фельдмаршала по службе давно превратились в дряхлых старцев — без зубов и надежд на лучшее. Они ожидали увидеть согбенную развалину былого Миниха, а перед ними вдруг предстал крепкий здоровяк, мужчина с румянцем во всю щеку, оглушавший всех раскатами смеха. За время ссылки в России подросло множество юных красавиц, и Миних первым делом начал влюбляться направо и налево. Женщины были от него без ума. Миних хвастал перед ними своей неукротимостью в делах альковных. Ему было уже 80 лет, когда он писал одной замужней красотке: «Нет на вашем божественном теле даже пятнышка, которые я не покрыл бы, любуясь ими, самыми горячими вожденными поцелуями...»

Главным объектом своей любви Миних вскоре избрал новую русскую императрицу Екатерину II; уж на что была опытная в любви дама, но даже ее Миних сумел поразить своими амурными ухищрениями. Его любовные цидулки к Екатерине печатать нельзя, ибо они наполнены словами, которые произносятся лишь пылкими любовниками в откровении бурной страсти. Екатерина отправила влюбчивого старца заведовать гаванями на Балтике. Иначе говоря — начальником каторги, обслуживавшей строительство гаваней в Рогервике. Неистощимое веселье не покидало Миниха и на этом печальном посту. Для встречи Екатерины он наряжал своих каторжан арабами, неграми, индусами и персами. Вымазанные с ног до головы смолой и ваксой, все в пуху и перьях, голые русские Иваны, родства за собой никогда не помнящие, впрягались в карету императрицы и везли ее заодно с Минихом для осмотра произведенных в гавани работ. Среди этих лошадей-Иванов обретался в то время на рогервикской каторге и Ванька Каин...

Ничем никогда не болея, Миних умер в 1767 году в возрасте 85 лет. Перед кончиною он велел секретарю читать вслух свои допросные листы перед ссылкой. И нашел в себе терпения не умереть, прежде чем секретарь не закончил чтения.

— Нет, я не подгадил, — сказал Миних, закрывая глаза...

Потомство Миниха, совершенно обрусевшее, сохранилось в России вплоть до самой революции, но никаких видных постов никогда не занимало. В моем авторском представлении Миних не был худшим представителем из числа тех немцев, которых поставляли для русской службы германские княжества.

Брауншвейгское семейство

В ночь переворота — по совету Шетарди — были задержаны в пути все гонцы, чтобы прервать связь России с Европой; шлагбаумы разом опустились и перед дипкурьерами. Елизавета утром переслала послу Франции записку, в которой спрашивала, что ей делать с принцем Иоанном Брауншвейгским (она уже не назвала младенца императором). В ответ Шетарди без колебаний советовал: «Надо употребить все меры, чтобы уничтожить даже следы царствования Иоанна!» Иначе говоря, в суматохе событий можно легко придавить младенца в колыбели, чтобы избавиться от опасного претендента на будущее. Но Елизавета убить ребенка не решилась, и все Брауншвейгское семейство, под надзором приставов, было выпущено за границу.

Однако, выгадывая время для раздумий, Елизавета указала везти брауншвейгцев как можно медленней, подолгу останавливаясь в придорожных корчмах. К тому времени как «фамилия» достигла Риги, она приказала задержать ее на границе, и правильно сделала... Фридрих II уже показал миру свои волчьи зубы. Пруссия становилась опасной соседкой России, а сверженный Иоанн Антонович, будучи родственником короля, мог стать козырной картой в политической игре Фридриха II. Брауншвейгское семейство заточили в крепости Дюнамюнде близ Риги, чтобы не выпускать его за пределы России.

Через два года капитан-семеновец Максим Вындомский получил от Елизаветы приказ отвезти их в Раненбург (Ораниенбург). Слабо разбираясь в географии, храбрый капитанище повез «фамилию» в Оренбург — совсем в другую сторону. Как пишет генеалог Н.Н. Кашкин, «когда ошибка обнаружилась, то досталось от Вындомского памяти Петра I, наградившего же чисто русский Рязанский край столь нелепым названием!». Со страшной руганью капитан все же доставил брауншвейгцев до этого нелепого города на Рязанщине. Впрочем, Брауншвейгское семейство пробыло в Раненбурге недолго. В 1744 году в Петербурге был раскрыт австрийский заговор в пользу сверженного императора, и тогда же Иоанна отделили от его родителей. Елизавета велела заточить всю «фамилию» на Соловках; они уже прибыли в Беломорье, но ледостав помешал переправке их на мона-

стырский архипелаг. Семейство временно разместили в архиерейском доме в Холмогорах, обнесли дом высоким частоколом, и получилась самая настоящая тюрьма. В этой-то холмогорской тюрьме они и стали жить постоянно. С ними была и Юлиана Менгден, которая в заточении превратилась в скандалистку и склочницу, сводившую «стенку со стенкой»; к тому же Юлиана в тоске стала увлекаться мужчинами из охраны...

Иоанн Антонович провел в Холмогорах 12 лет в полной изоляции; хотя родители пребывали за стенкой, но он их не видел. Охранявшие императора не имели права общаться с другими людьми. Холмогорцы даже не ведали, кто был заключен в архиерейском доме. Общее несчастье сблизило супругов, столь ненавидевших раньше друг друга; скоро их окружало большое семейство — два сына и две дочери (не считая Иоанна). Зачатые в остроге, вскормленные под штыком, воспитанные страхом, дети росли глухонемыми, рахитиками и полуидиотами. Анна Леопольдовна скончалась в родах, всего двадцати восьми лет от роду. Тело бывшей правительницы России вывезли из Холмогор и погребли отдельно от Романовых — в приделе Благовещенской церкви, что на кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

Принц Антон Брауншвейгский остался с детьми, рождение которых было строго засекречено от народа. Можно пожалеть этого пришлого неудачника, который силою политических обстоятельств был вовлечен в опасную игру брачных союзов. Архангельский губернатор имел по 15 000 в год на содержание «фамилии», но грабил ее так ловко, что принц по полгода не мог выпросить себе чашки кофе. От сидячей жизни принц растолстел, погрубел. Когда на престол вступила Екатерина II, она разрешила Юлиане Менгден выехать в Ригу, а принцу Антону дозволила покинуть Россию, но без детей. Старый, слепнувший человек решил до конца разделить неволю с детьми. Окончательно потеряв зрение, он умер в 1774 году, а могила его в Холмогорах была неслышно затоптана временем.

Дети его, вступившие уже в сорокалетний возраст, остались без отца. Но у брауншвейгцев, помимо Фридриха II, была еще знатная родня в Европе. Родная тетка их, королева Дании, хлопотала за них. Екатерина II рискнула выпустить брауншвейгцев за границу. Когда им сообщили эту весть, они дружно попадали на пол и долго тряслись от страха. При имени императрицы прятались по углам, как дикари. Знали они только русский язык, но объяснялись на нем скверно, прибегая к помощи мимики и жестикуляции. Весть о свободе была для них ужасна, они отвечали посланцам Екатерины:

— Мы не хотим никакой свободы и боимся ее! Если желают, чтобы мы стали свободны, пусть нас выпускают гулять за острог. Мы слышали, что там растут цветы, которых мы никогда еще не видели. Нам прислали от двора одежду, панталоны, корсеты и наколки, но мы не знаем, как их носить. Мы никогда не видели людей, кроме караульных, и мы не знаем, как выглядят иные люди на свободе...

Осенью 1780 года русский фрегат «Полярная звезда» после бурного плавания бросил якоря близ Бергена. Оттуда четырех брауншвейгцев (Екатерину, Алексея, Елизавету и Петра) перевезли в ютландский городишко Горсензэ. Напрасно датские родственники пытались растормошить своих сородичей, скованных страхом. Скудоумные невежды, они прятались от датчан так же, как раньше таились по углам от приставов. Им предлагали различные забавы, чтобы расшевелить их чувства, но брауншвейгцы признавали только примитивную игру в карты. Юмора и шуток они совсем не понимали. Заметив, что люди вокруг них смеются, они тоже начинали хохотать как бешеные, даже не зная причины смеха. Но пенсия от русского правительства была очень большая, и датская королева махнула на своих племянников рукой: пусть живут как хотят! Постепенно они вымерли. Но до самой смерти не забывали Холмогор и острога, постоянно сожалея, что покинули свою тюрьму, а последняя из Брауншвейгской фамилии, принцесса Екатерина Антоновна, еще в 1803 году докучала Александру I письмами, в которых выклянчивала разрешение вернуться в Холмогоры. Она умерла в дикой скуке в 1807 году и замкнула цепь несчастий своей «фамилии».

Елизавета Петровна старательно уничтожала следы императора Иоанна: была перелита заново монета с изображением младенца, переделаны все штампы печатей с его титулом, безжалостно сжигались на кострах многопудовые архивы тех лет, и в огне пропало для истории немало ценнейших документов. Все 20 лет Елизавета неизменно помнила, что в заточении подрастает сверженный ею соперник. Она вызвала из Голштинии своего племянника (Петра III), женила его на принцессе Ангальт-Цербстской (Екатерине II), она дождалась от них внука (Павла I), но покоя так и не обрела. Родственные связи Иоанна с королем прусским были особенно тогда опасны для России, а Манштейн работал...

В самый канун Семилетней войны Манштейн с согласия Фридриха II разработал хитроумную операцию по вызволению Иоанна Антоновича из Холмогор с доставкой его в Пруссию. Помочь ему в аванюре вызвались русские эмигранты-раскольники. Однако русская разведка Шувалова работала точно и упредила агентуру берлинскую.

По сути дела, Иоанн даже не был вывезен из Холмогор — его буквально выкрал оттуда лейб-компанец Санин, который и доставил юношу в Шлиссельбург для дальнейшего заточения. Инструкция стражам гласила: «Буде же так оная сильна будет рука, что опастись не можно, то арестанта умертвить, а живого никому его в руки не отдавать».

Это четкое указание и решило судьбу Иоанна в 1764 году.

Проведя всю жизнь в заточении, не зная родительской ласки, бывший император вырастал в тюрьмах своей империи, как бледный отросток гнилого корня в сыром подвале. Можно лишь удивляться, как он научился читать, никогда не имея книг, загадкой истории остается, откуда ему было известно, что он — император! Судьба Иоанна хорошо известна: его зарезали приставы, когда в Шлиссельбурге начался бунт поручика Мировича. Инструкция была соблюдена. Но многое в этом убийстве остается неясным. Существует предположение, что сама Екатерина II, боясь соперника, подговорила Мировича на «нелепу», дабы раз и навсегда избавиться от Иоанна. Мирович на эшафоте с улыбкою прослушал смертный приговор, до последнего момента не веря в его исполнение. Екатерина II была обольстительно коварна: она могла обещать жизнь, чтобы в последний миг топор палача пресек жизнь опасного свидетеля. Об этом убийстве императора Данилевский написал целый роман, а в Русском музее еще висит картина Бурова, изображающая Иоанна в момент свидания с Петром III... Страшнее его судьбы трудно придумать! Император Иоанн стал как бы загадочной «железной маской» России.

Не потому ли и была столь уродлива судьба Иоанна, что зачат он в насилии, коронован в беззаконии, сброшен с престола в пеленках. Наглядный результат семейной политики Петра I, который к дереву Романовых начал прививать гнилые ветки голштинцев, мекленбуржцев, курляндцев, вольффенбюттельцев и прочих... Брауншвейгское семейство — инородное тело в русском организме, который и выдавил его из себя, как болезненный осколок из раны. Но тут же в тело России проникла Голштейн-Готторпская династия, обширный метастаз которой был вырезан революцией лишь в 1917 году.

Вперед, Россия!

300 гренадер, вчерашних мужиков, возведших на престол дочь Петрову, получили от нее дворянство, имения, крепостных, гербы, стали называться лейб-компанией. Капитаном этой «компании» стала сама Елизавета, любившая щеголять в мужских панталонах в обтяжку. И показали лейб-компанцы, на что они способны... Столько насилий, столько грабежей, столько драк с применением оружия еще

не ведали суды! Приятели царицы возомнили себя пупом всей России, и творили они, что их левая пятка пожелает. По ночам вламывались даже во французское посольство, считая маркиза Шетарди своим «товарищем» по заговору, и одно было спасение от них — как можно скорее напоить лейб-компанию, а потом, мертвецки пьяных, за руки и за ноги повыкидывать из посольства... Елизавета Петровна, пока было можно, покрывала грехи лейб-компании, а потом разогнала приятелей по деревням. Там они, обретя рабов, стали зверствовать и запили горькую. Иных мужики сожгли вместе с усадьбами, а насильников сами бабы на вилы поддевали... Это дело прошлое!

В основном же престольный переворот в пользу дочери Петра I можно отнести к актам исторически прогрессивным, ибо Россия вступила в русло исконных национальных интересов. Елизавета не была умна, но она была здраво-рассудительна. Ключевский назвал ее «умной и доброй, но беспорядочной и своенравной русской барыней», которая умела соединять в себе «новые европейские веяния с благочестивой отечественной стариной». Всегда найдешь, за что можно обругать Елизавету, но всегда можно найти и причины, по которым ее следует похвалить. Взбалмошная натура, Елизавета была искренней патриоткой своей страны, и это искупает многие ее недостатки. Конечно, одна императрица ничего не могла бы сделать. Счастье Елизаветы, что ее окружали толковые и знающие советники, которые сразу же стали высоко ставить паруса русской политики...

Кабинет Анны Кроровой — это исчадь Остермана — был уничтожен с восшествием Елизаветы на престол. Вместо него стало подниматься значение Сената, который играл тогда немалую роль в государственной жизни России. Будучи еще цесаревной, Елизавета Петровна делала намеки Нолькену и Шетарди, что — в обмен на корону — согласна уступить шведам завоевания своего отца. Но, став императрицей, она велела продолжать войну со Швецией — до полной победы! Согласно договору Вена ждала от России присылки корпуса для своих нужд, и она бы получила его, если бы у власти стоял Остерман. Но теперь политикой заправляли Шуваловы и Воронцовы, которые сразу же в этот вопрос вмешались:

— Россия отныне будет воевать только за себя!

Елизавета сложила пальцы в очаровательный кукиш.

— Так я и дала венцам сорок тыщ! — сказала она. — Вот им всем от меня... Хватит! Попили уже нашей кровушки православной...

Пример царствования Анны Кроровой не прошел для Елизаветы напрасно, и за все 20 лет престолосидения она не подписала ни одного смертного приговора. Другое дело, что в судах

тянулась прежняя волокита, люди умирали под кнутом и без приговора смертного, но одобрения на казнь с «апробацией» Елизаветы мы не обнаружили ни на одном документе. Начало же ее царствования было сумбурно. Волна массовых убийств прокатилась по всей стране, задев и армию, где солдаты на штыках прикончили почти всех иноземных офицеров, не желая более им подчиняться. Два мощных людских потока прокатились по России: возвращались домой из Сибири ссыльные и спешно удирали на запад за рубежи люди пришлые...

Россия вступала в новую, громкую эпоху, которую смело можно называть эпохой Ломоносова. Это было время расцвета русской науки и русских искусств. Всюду основывались заводы, верфи и фабрики. По инициативе Ломоносова открылся первый в России университет в Москве, а на Неве распахнула двери Академия художеств, славный Морской корпус выпускал в океаны своих питомцев. Музы парили тогда над Невею, покрытой парусами торговых кораблей. После долгих лет унижения и кабалы иноземной русские люди словно торопились доказать всему миру,

что может собственных Платонов
И быстрых разумов Невтонов
Российская земля рождать!

Русский человек, отлично снабженный отечественным оружием, с боями прошагал до Берлина, учинив Фридриху II разгром небывалый. Восточная Пруссия была при Елизавете обращена в обычную русскую провинцию, а в Кенигсберге, этом старинном славянском Кролевце, воссел русский губернатор Суворов, сын которого двигался в рядах армии, еще не ведая своей великой судьбы...

Но это уже другое время, о нем я уже писал в своем романе «Пером и шпагой» и повторяться не хочу. Поедем в Сибирь!

Сибирский варнак

Второй уже год ездил капитан по Сибири, имея за пазухой указ императрицы Елизаветы о вызволении адмирала Федора Ивановича Соймонова из ссылки. Два года в седле, в колясках, в санях, чего только не повидал! Но никак не мог капитан отыскать Соймонова и уже собрался назад — в Петербург — поворачивать...

Вставал рассвет над морем дальним. В конторе Охотской соляной каторги капитан перечитал списки каторжных. Увы, и здесь имени Соймонова не значилось. Прошел офицер на кухни солеваренные.

А там бабка хлеба печет, пышет опара из-под грязных тряпок. Сел в унынии капитан на лавку. Ждал, когда хлеба в печи «досидятся». А в закуте темном, лохмотьями укрыты, цепями звеня, каторжные люди отсыпались после ночной работы.

— Чего задумался, сынок? — спросила офицера стряпуха.

— Да вот, баушка, второй годок, как семью покинул. Не могу, баушка, указа царицы исполнить... Нужен мне Федор Соймонов!

Опершись на ухват, пригорюнилась и бабка:

— Кажись, такого-то человека не кормила я хлебами. Ой, и много же прошло их мимо меня... много! А такого не упомяну...

Забренчали цепи в углу. Поднялся страшный старик варнак, заросший седыми космами, а в бороде его соль охотская сверкала.

— А на што вам Соймонов сдался? — спросил мрачно. — Вот я был когда-то Соймоновым, а ныне я варнак — Федька сын Иванов...

Такова живописная легенда. В народе сохранилось еще предание, будто Соймонову в Сибири была сделана пластическая операция на лице: искусный знахарь якобы нарастил ему ноздри, вырванные палачами. Поэт Леонид Мартынов в 1964 году выпустил о Соймонове поэму. «Соймонов щупает ноздрю. Слегка болит она; нет-нет да и кольнет. Там нерв задет. Когда-то вырвали почти ее палаческие клещи. Пришили ловко лекаря, но все же знать дает ноздря...» Это тоже легенда: Соймонов был бит кнутом, но ноздрей ему не вырывали. Освобождение его было торжественно...

В один из дней в Кремле московском глухо зарокотали боевые барабаны. Были построены войска, и собрался любопытный народ. Прочли указ о невинности Соймонова, чтобы никто более не осмелился ссылкой и кнутом его порицать. В полной тишине дрогнули знамена полков гвардии, и этими знаменами адмирал был накрыт с ног до головы, что означало возвращение ему чести! А шпагу, отобранную при аресте, вручили плачущему старику под пенью труб воинских.

После бурь московских, после службы сенатской, после эшафота и варниц охотских потянулась мирная жизнь серпуховского помещика. Белым цветом вспыхивали под окном его яблони; гогоча, уходили к реке по зеленой травке величавые жирные гуси; зрела малина под солнцем; кричали петухи на росных рассветах... Соймонов сделался в деревне историком, кабинетным ученым. В сельской тиши написаны им многие тома! Тяжелы были раздумья вчерашнего каторжника над судьбами своей родины. Свои произведения Федор Иванович подписывал таким манером: «Благосклонного читателя всепокорнейший слуга, Всероссийского Отечества всенижайший патриот».

Прошло 15 лет с того памятного дня, как в Кремле его накрывали знаменами гвардии. 14 марта 1757 года бывший сибирский варнак был назначен губернатором Сибири... Лучшего места для Соймонова не придумать! Честный и разумный администратор, передовой человек своего времени, он стал для Сибири хозяином добрым и строжайшим. Как и ранее на посту прокурора, Федор Иванович первым делом повел борьбу с лихоимством. Вызывает он сибирского чиновника:

— Стало мне ведомо, что отец твой имел кафтан цвета серого, шубу, корову, две свиньи да пять курочек. А ты при годичном жаловании в семь рублей займел двести крепостных... Где взял?

— Покупал, ваше превосходительство.

— Ага! Но деньги-то, братец, откуда взял? Сумеешь доказать — служи, не сумеешь — под суд явись...

Сибирь уже тогда называлась «золотым дном». Но совсем не потому, что богата она рудами и пушшиной, — в Сибири обогащались скорее, нежели в России. Любой крючок, приказный, который на Москве голые шти лаптем хлебал, здесь, инородцев ограбив и взяток нахапавшись, уезжал из Тобольска обратно в Россию новоявленным Крезом. Это особенно возмущало Федора Ивановича: как можно закрывать глаза на природные богатства и видеть в Сибири лишь область, удобную для грабежей? «Все лакомства управителей бессовестных надо разрушить!» — утверждал Соймонов... Он написал книгу «Древняя пословица “Сибирь — золотое дно”», где пророчески указал, в чем заключено истинное изобилие Сибири — в богатстве ее недр, лесов и вод, в деловой жилке активного населения. Адмирала тревожил вопрос малочисленности сибиряков: надо, чтобы россияне ехали в Сибирь на всю жизнь, а дети и внуки их почтут Сибирь уже своею отчизной и обратно в Москву ехать не захотят. Еще задолго до развития научной экономики Соймонов — впервые в России! — совершил попытку экономического районирования гигантских просторов. По его же почину в Нерчинске и Иркутске открылись две мореходные школы, где навигации обучались дети сибирских казаков, дети смешанных браков; Соймонов пролагал маршруты новых путешествий через тайгу, за моря в Америку, вниз по Амуру, пресекал попытки китайцев нарушить русские границы в местах отдаленных и нелюдимых. Хлеб и железо, корабли и тракты, почтовая гоньба и картографическое дело — всего коснулась его заботливая рука. Когда же в Тобольск приехал астроном, французский аббат Шап д’Оторош, Федор Иванович стал для ученого одним из первых помощников. Вместе с семьей, сидя у телескопа, старик губернатор

со всем жаром юности проводил научные вычисления... Поразительна жажда знаний в этом человеке, который в лаптях и с котомкой пришел когда-то на флот из Серпухова, теперь ему под 80 лет, а душа и разум не угасли после всего пережитого. В науке Федор Иванович был не дилетант, а вдумчивый и строгий наблюдатель. Из далекого Тобольска он посылает в Академию свои научные сочинения. Одно из них — «Астрономический Копеист» — Академия даже не решилась предать гласности. Соймонов в этом трактате сделался научным конфидендом Ломоносова, ступив на антиклерикальную точку зрения в астрономии, он защищал учение Коперника перед церковью.

Наконец годы взяли свое — Федор Иванович устал: с 1708 по 1763 год непрестанно проводил свою жизнь в трудах. Екатерина II отпустила его из Сибири; однако, разгадав в адмирале большой ум и многие познания, она назначила адмирала своим главным консультантом по сибирским делам. Дом же Соймонова сделался как бы сибирским землячеством, куда съезжались сибиряки, где проходило обсуждение нужд сибирских. По возвращении в Москву он был назначен в сенаторы. В эти годы он много читает, много пишет и немало издает своих сочинений. Его интересы прежние: флот, наука, гидрография, открытия земель неведомых на востоке России, облегчение тягостей и быта сибирских инородцев. Весною 1766 года он попросил отставку и получил ее с чином действительного тайного советника. Уважая его особые заслуги, Екатерина велела до дня смерти выдавать ему полное жалованье!

Федор Иванович вернулся на родину — в тихий и уютный Серпухов; желтела за городом рожь, синел вдалеке лес. Шли бабы с лукошками грибов и ягод. Тишина, тишина, тишина... Он передвигался уже с костылем. «От великого лому, — писал детям, — правый глаз совсем закрыло, которым уже ничего не вижу, а левый от лому освободился, только зрение много неясное имею, а паче, что ни на минуту от боли на свет глядеть не могу. Казалось, уже к о н е ц!

Но это только казалось... Именно в эти годы Федор Иванович активно продолжает работу над историей России. Он изучает былое времен Петра I, авантюрные походы Карла XII; одним глазом, закрыв ладонью другой, старик читает труды Дидро, Руссо и Вольтера. Мало того, Соймонов пишет стихи. Наконец, он еще и рисует иллюстрации к своим сочинениям... Да, крепок был этот добротный человечище! Будто и не стоял на эшафоте, считая удары кнута, когда мясо отлетало со спины кусками; будто и не он, обвешан цепями, таскал в Охотске тяжелую тачку с солью... 11 июля 1780 года вечный труженик, свиде-

тель почти всех событий XVIII века, Федор Иванович Соймонов опочил последним сном. Юная красавица правнучка расчесала ему белые, как соль, волосы. За гробом маститого сенатора шли его сыновья, внуки, правнуки и праправнуки, ставшие архитекторами, горными инженерами, гидрографами, писателями и поэтами. Адмирал не дождал всего лишь двух лет, чтобы отметить свое столетие! Его погребли в Серпухове за оградой старинного Высоцкого монастыря...

В наше время о Соймонове выходят книги, его имя с большим уважением поминается советскими моряками, на картах страны имя Соймонова закреплено дважды (на Каспии и на Тихом океане); в Москве существует Соймоновский проезд, а в Доме союзов — Соймоновский зал, возле Перми работает еще Соймоновский рудник, им открытый.

Волынский и самодержавие

Когда человек обращается к истории, это вовсе не значит, что от настоящего он пытается бежать н а з а д, презирая будущее. Историк проникает в г л у б ь познания своего народа, работая над прошлым ради будущего. И вот, когда мы заглядываем в темную пропасть XVIII века, оттуда, из этой мрачной и сырой глубины, загадочно и притягательно мерцает для нас облик Волынского... Кто он, этот человек? Такой же вопрос позже ставил перед собой и В.Г. Белинский: «Как историческое лицо, Волынский и теперь еще загадка. Одни видят в нем героя, мученика за правду, другие отрицают в нем не только патриота, но и порядочного человека».

Заглядывая в прошлое, никогда не следует думать, что русский человек XVIII века был глупее нас. В наше время лишь расширился круг познаний, недоступных пониманию людей давнего времени, но предки наши были умственно хорошо развиты — в пределах информации своей эпохи. Проходя через залы музеев, надо внимательнее всматриваться в лики прошлого. Давайте сразу отбросим кружева и жабо, мысленно закроем кафтаны и мундиры, снимем ордена и парики. Оставим перед собой только лица пращуров, и тогда перед нами восстанут одухотворенные лики, несущие на себе заботу и напряжение мысли тех невозвратных времен...

Личность Волынского была ярким выражением времени, в котором он жил. Его казнь — это тоже выражение времени, жестокого и грубейшего. Волынский в канун ареста свой «Генеральный проект» уничтожил, инквизиции достались лишь черновики, обрывки его замыслов. Если историки хорошо разобрались в запросах дворянства

1730 года, то они порою встают в тупик перед планами Вольтерского. Нет бумаги, подтверждающей его мнения... Но, как блуждающие колдовские огни над сумеречными болотами, еще долго бродили над Россией призрачные идеи Вольтерского. Когда в 1754 году Петр Шувалов подавал проект реформ в России, в его проекте неожиданно воскресли мысли Вольтерского. И, наконец, некоторые замыслы Вольтерского заново вспыхнули под перьями дворянских публицистов века Екатерины II, в речах депутатов при составлении известного «Наказа».

Вольтерский никогда не был противником самодержавия. Вольтерский никогда не был сторонником умаления монаршей власти. Авторы конституций 1730 года в этом смысле политически стояли гораздо выше его! Вольтерский — только патриот-реформатор; он страдал за Россию, желая блага и просвещения народу своему, но почвы под ногами не имел. Реформы его никогда осуществлены не были и остались на бумаге, а сама бумага привела его на эшафот. Начиная борьбу за честь попранного русского имени, Вольтерский желал опираться лишь на свое положение министра и борьбы не начал, пока не достиг высшей власти. У него не было никаких связей с народом, не было связей даже со шляхетством. Он не был близок и с гвардией! Елизавета оказалась в более выгодном положении — ее несли через сугробы храбрые гренадеры, ее поддерживали версальские интриги и деньги. А кто шел за Вольтерским?.. Лишь группа конфиденентов, людей умных и толковых, но раздавить эту «партию» первоначальной русской интеллигенции самодержавию было легко. Никто даже не пикнул в их защиту, ибо в народе их вовсе не знали... В этом глубокая трагедия Вольтерского — и личная, и общественная!

Елизавета Петровна сразу же сняла клеймо преступности с Вольтерского и конфиденентов, она обелила их потомство, но далее этого не пошла. Поминать прежние злодеяния монархов тогда не было принято, и о Вольтерском вообще помалкивали. Это нарочитое замалчивание крупного политического процесса продолжалось вплоть до воцарения на престоле Екатерины II, и вот здесь начинается очень любопытный момент в истории русского самодержавия.

Подле Екатерины II находился один из умнейших людей России того времени — дипломат и политик Никита Панин, тайком от правительства изучавший русскую историю по архивным документам. Это был очень хитрый противник Екатерины, считавший ее узурпатором, и ему же в 1764 году (в год убийства Иоанна) Екатерина поручила изучить процесс Вольтерского... Панин, мужчина холерный и полнокровный, вдохнул в себя смрад застенков Ушакова, вчитался в стоны пытошные, и... от ужаса его чуть было не разбил паралич!

В дневнике педагога Семена Порошина с протокольной точностью зарегистрированы изречения Панина о деле Волынского, как о деле, сфабрикованном на пытках конфидентов. «Никита Иванович, хотя и признавал, что Волынский был человек свирепой и жестокосердой в партикулярной жизни, однако говорил при том, что имел многие достоинства в жизни публичной, был разумен, в делах весьма знающ, расторопен, бескорыстен, верной сын отечества...» Панин в назидание царице предложил Екатерине с а м о й прочесть дело Волынского!

Она прочла его. Вывод был совсем неожиданный — Екатерина составила п о л и т и ч е с к о е з а в е щ а н и е. «Сыну моему и всем моим потомкам советую и поставляю (в правило), — наказывала она, — читать сие дело Волынского от начала и до конца, дабы они видели и себя остерегали от такого беззаконного примера». Как раз в этот период возле Екатерины находился консультантом адмирал Соймонов, — этот человек, сам конфидент Волынского, вполне мог способствовать такому одиозному решению императрицы. Екатерина II писала далее, что «Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, однако не изменник, но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего отечества!».

Наконец, что особенно важно, Екатерина в своем завещании коснулась насущного вопроса XVIII века — с к а з а л а о п ы т к а х :

«Еще из того дела видно, сколь мало положиться можно на пыточных речей, ибо до пыток все сии несчастные утверждали невинность Волынского, а при пытке говорили все, что злодеи их хотели. Странно, как роду человеческому пришло на ум лучше утвердительно верить речи в горячке (т. е. в страданиях) бывшего человека, нежели с холодною кровью. Всякой пытанной в горячке и сам уже не знает, что говорит».

Читали ли цари кровавое дело Волынского? Исполнялся ли ими политический завет Екатерины? На подлиннике пытошного дела сохранились пометы царских рук в чередe романовских поколений. Вот как складывалось отношение к делу Волынского в семье Романовых:

П а в е л I (1796–1801) — убит буквально за изучением дела Волынского, весь его кабинет был завален пытошными листами;

А л е к с а н д р I (1801–1825) — не читал;

Н и к о л а й I (1825–1854) — читал в 1833 году;

А л е к с а н д р II (1854–1881) — не читал;

А л е к с а н д р III (1881–1894) — не читал;

Н и к о л а й II (1894–1917) — в 1900 году, как раз на грани XX века, исполнил завет своей прапрапрабабки — ознакомился с делом Волынского, но никаких выводов для себя, кажется, не сделал...

Так-то вот дело Артемия Волынского, начавшееся при Бироне, дотянулось почти до дней революции и косвенно сыграло даже положительную роль. Но, оправдав Волынского в глазах самодержавия, Екатерина II ничего не сделала, чтобы реабилитировать Волынского всенародно. Робкая историческая наука того времени не простиралась далее изучения времен Годунова и Лжедмитрия. А народ сохранил о Волынском только сказки — как о колдуне и лошадишке: будто Волынский умел проходить сквозь стены, умел повелевать собаками, которые считали его своим собачьим царем; в народе считалось, что на эшафоте 1740 года топоры палачей рубили поддельную тряпичную куклу, а сам Волынский сумел исчезнуть в Сибири... Народу он запомнился как кудесник!

Самодержавие, легализировав для себя Волынского, хранило его дело, как тайну, за семью печатями в имперских архивах. Слово теперь за писателями! Но как Волынский прорвется теперь через царскую цензуру? Каким он предстанет перед читателем?..

Волынского стали поднимать декабристы.

Конфидент декабристов

Волынский не был для них далек по отошедшему времени — они разделены исторически кратким промежутком всего в 80 лет.

Он стал очень близок декабристам по духу. Сами заговорщики, они и полюбили в Волынском заговорщика, борца против тирании. Кондратий Рылеев — образец человека, в котором гражданин стоял выше поэта. Он и был первым писателем в России, поднявшим имя Волынского на щит борьбы за свободу. Рылеев обрел себе славу на писании «дум», в которых воспевал патриотизм предков... Святослав, Дмитрий Донской, Курбский, Марфа-посадница, Ермак, Иван Сусанин, Богдан Хмельницкий, Яков Долгорукий, Наташа Долгорукая, Державин! Но такого высокого накала, такой звонкой страсти, как в «Думе о Волынском», Рылеев нигде еще не достигал. Там, где перо декабриста касалось Волынского, поэт становился неузнаваем...

Декабристы всегда пристально вглядывались в героику прошлого. В самые трагические моменты истории вдруг распрямлялись гигантские силы русской нации. Порождались ратоборцы и страстотерпцы, увлекая за собой народ мечом или словом. Вся передовая литература декабристского периода была литературой исторической. Рылеев шел в этой же фаланге... Его «Думу о Ермаке» запел народ: «Ревела буря, дождь шумел; во мраке молнии блистали; и беспрерывно...»

Волынский! Рылеев поднял его «до уровня высокого революционного символа эпохи декабристского движения. Волынский в его изображении прежде всего образец любви к отечеству священной,

борец против тирании, пламенный патриот, сын России, символ политического мученичества». Рылеев в горниле вдохновения выковывал Волынского таким, каким Волынский никогда не был, но какой был нужен декабристам в целях пропаганды восстания. Изобличая самодержавие, Рылеев противопоставил ему образ Волынского:

Вражда к тиранству закипит
Неукротимая в потомках —
И Русь священная узрит
Власть чужеземную в обломках.
Так, сидя в крепости, в цепях,
Волынский думал...
Любовью к родине дыша,
Да все для ней он переносит
И, благородная душа,
Пусть личность всякую отбросит.

Грамотный читатель понимал, в кого запущены рылеевские стрелы. Здесь каждое слово сигнализировало о предстоящей схватке с царизмом. Каждая строфа взрывала бурю гражданских чувств в читателе. Рылеев достиг того, что имя Волынского стало знаменем... Думу о нем он напечатал в 1822 году. И тогда же садится за новые стихи о Волынском. На этот раз «слова-сигналь» отброшены — декабрист бросает обвинения прямо к престолу. Рождаются стихи «Голова Волынского (Видение императрицы Анны)», и здесь Анна Кровавая предстает как главный виновник всех преступлений...

Однажды пир шумел в дворце,
Гремела музыка на хорах;
У всех веселье на лице
И упоение во взорах...
Царица в Тронную одна
Ушла украдкой от шума...

Да, словно полуночный сыч, она любила блуждать по темным комнатам, прислушиваясь ко всему, приглядываясь...

«Я здесь! — внезапно зазвучал
По сводам Тронной страшный голос...
Она взглянула — перед ней
Глава Волынского лежала
И на нее из-под бровей
С укором очи устремляла...

Кровь! Всюду кровь. Весь престол залит кровью.
«Посинелые уста» Волынского вопрошают ее:

Что медлишь ты? Давно я жду
Тебя к творцу на суд священный;
Там каждый воспримлет мзду;
Равны там царь и раб презренный!

Конечно, такое цензура пропустить не могла. А вскоре поэт вышел на Сенатскую площадь... Его постигла казнь — такая же жестокая, как и казнь его любимого героя. Когда декабристы строились в каре на площади, они подлинного Волынского не знали. Их вдохновлял и д е а л ь н ы й образ гражданина-патриота, и потому в день восстания Волынскому было суждено как бы незримо воспарить над декабристским каре...

От рылеевского образа Волынского, служившего целям революционной пропаганды, Волынский уже самостоятельно шагнул в русское искусство! Консерваторы его обходили стороной, Карамзин его полностью игнорировал. Но Александр Пушкин и Николай Тургенев изучали процесс Волынского. Декабрист Сергей Глинка написал историю Волынского, а драматург Владислав Озеров еще раньше разработал план трагедии о нем. Это было время, когда «декабристы разбудили Герцена»; Огарев вспоминал:

Везде шептались; тетради
Ходили в списках по рукам;
Мы, дети, с робостью во взгляде,
Звучащий стих, свободы ради,
Таясь, твердили по ночам...

Волынский скоро появился в театре, драма о нем долго не сходила с императорской и провинциальной сцены. Писемский написал о Волынском пьесу, Волынский ожил в исторической повести Булкина «Сыщики», в романе Зарина-Несвицкого «Тайна поповского сына». Хочу напомнить читателю о больших живописных полотнах академика живописи, гарибальдийца Валерия Якоби; художник почти с документальной точностью воспроизвел эпоху Анны Крாவой, а Волынский на картинах Якоби — как струна, дрожащая в напряжении ярости... Наконец, в 1900 году была поставлена опера Арсения Корещенко «Ледяной дом», где кабинет Волынского для первого акта

был расписан знаменитым А.Я. Головиным, а партию герцога Бирона пропел молодой тогда и красивый Федор Шалапин...

Но меня сейчас волнует другое. Стихотворения Рылеева о Волынском оказались вдруг на столе квартиры директора училищ Тверской губернии. Здесь, в тенистой тишине старинных лип и вязов, за простым рабочим столом, писался роман «Ледяной дом». Тогда был 1833 год. Автору исполнилось 40 лет.

Дом ледяной и уважение к Тредиаковскому

Ивана Лажечникова называли русским Вальтером Скоттом, и Волынскому под его пером пришлось пройти через дебри иноземной «вальтерскоттовщины», где на первом месте стояла занимательность.

Предстояло пройти Волынскому и через цензуру Николая I.

Наконец, время, в котором писался роман, время, уже разбуженное выстрелами декабристов, оно тоже фильтровало роман через себя.

Все это надо учитывать при чтении «Ледяного дома».

В романе действуют Анна Иоанновна и... сам Николай I, которому автор иногда отпускает верноподданнические комплименты. Двор «царицы престрашного зраку» говорит у Лажечникова языком двора николаевского. Намечая историческую перспективу, романист пишет: «Самоваров тогда еще не было!» История в романе отсутствует заодно с теми же самоварами... Даже такое важное событие, как сама казнь патриотов, происшедшая в летнюю жарынь, перенесена Лажечниковым в зимнюю стужу, ибо автору захотелось продемонстрировать все ужасы первозданных морозов того времени. Морозы в Петербурге, по словам Лажечникова, при Анне были гораздо сильнее, нежели при Николае I (опять комплимент: в царствование Николая Палкина даже климат страны намного улучшился).

Первый, кто разругал Лажечникова за этот роман, был Александр Пушкин, который изучал труды Соймонова, знал Тредиаковского, уважал конфиденгов Волынского. Пушкин сразу же по выходе книги честно заявил Лажечникову, что история в романе искажена до неузнаваемости: «...истина историческая в нем не соблюдена, и это со временем, когда дело Волынского будет обнародовано, конечно, повредит вашему созданию».

Артемий Петрович представлен в романе идеальным рыцарем добра, что в корне неверно. Волынского нельзя приукрашивать! Советский академик Юрий Готье указывал грубо, но справедливо, что в этом человеке «отлично уживаются отъявленный взяточник, не уступавший

лучшим тогдашним образцам этого рода, и искренний патриот, мечтавший о благе своей родины». Лажечников все изъяны Волинского прикрыл флером уникального благородства. Сильному искажению под пером Лажечникова подвергся и отвратный образ императрицы, которую автор нарядил в ангельские одежды. По роману выходит, что Анна Иоанновна — добрейшая душа, но она, бедняжка, постоянно болеет от забот государственных и только потому не может замечать вандализмов своего фаворита. Но вот нашелся такой герой, как Волинский, принес к престолу правду-матку, царица от этого еще больше занемогла, а Бирон воспользовался ее хворобой, и, пока она там болела, Волинского с конфидентами уже казнили. Как говорится, императрица отсутствует в злодействе «по уважительным причинам».

Имена конфиденентов в романе сознательно затемнены анаграммами: Щухров — Хрущов, Перикин — Еропкин, Сумин-Купшин — Мусин-Пушкин, Зуда — де ла Суда. Можно встретить в романе и «пиковую даму», которая явилась к Лажечникову из... повести Пушкина. А кто желает познакомиться с отцом А.И. Герцена, тот пусть прочтет страницы, посвященные Хрущову — Щухрову, — здесь Лажечников отобразил Ивана Алексеевича Яковлева с его тремя польскими собачками, с халатом на мерлушке, с красной шапочкой на темени, помешивающего в камине дровишки... Все это из александровской эпохи Лажечников опрокинул на сто лет назад — в другую эпоху!

Белинский отметил «Ледяной дом» обширной рецензией. «Самым лучшим лицом в романе» Белинский признал молдаванскую княжну Мариорицу, любовницу Волинского. Белинский пропел ей восторженный дифирамб: «...дита пламенного юга, дочь цыганки, питомица гарема, дивный цветок востока, расцветший для неги, упоения чувств и перенесенный на хладный север...» Конечно, все это было бы очень хорошо, если бы такая цыганская дочь когда-либо существовала! Но дело в том, что никакой Мариорицы и в помине не бывало. Она, чтобы читателю не было скучно, поселилась в «Ледяном доме», придя в Россию оттуда же, откуда и многие иные детали, — из Вальтера Скотта!

Но особенно обидно за образ Тредиаковского... Жаль, если наш советский читатель воспримет поэта таким, каким он изображен в романе. Пушкин ставил Тредиаковского в русской поэзии гораздо выше Ломоносова и Сумарокова, он был *з а ч и н а т е л е м* всей русской поэзии. Это был замечательный человек своего века, преданный забвению еще при жизни, осмеянный при дворе и умерший в нищете, до последнего вздоха трудясь на благо русской словесности...

Вот как Лажечников описывал Третьяковского:

«О! По самодовольству, глубоко протоптавшему на лице слово „педант“! — по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Третьяковского. Он нес огромный фолиант под мышкой. И тут разгадать нетрудно, что он нес, — то, что составляло с ним: я и он, он и я Монтеня, свое имя, свою славу, шумящую над вами совиными крылами, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нес “Тилемахиду”...»

Сразу же выбросим отсюда «Тилемахиду», которую поэт никак не мог нести под мышкой, ибо эта поэма в ту пору еще не была им написана. Под пером Лажечникова поэт превратился в полуидиота, бездарного педанта, забитого и жалкого, который заранее обречен на унижение и тумачи. А между тем, как писал Н.И. Новиков, «сей муж был великого разума, многого учения, обширного знания и беспримерного трудолюбия... Полезными своими трудами приобрел себе славу бессмертную!». И первым, кто вступился за честь поэта, был опять-таки Пушкин: «За Василия Третьяковского, признаюсь, я готов с вами поспорить. Вы, — писал он автору, — оскорбляете человека, достойного во многих отношениях уважения и благодарности нашей. В деле же Волынского играет он лицо мученика...» В тон Пушкину позже вторил Белинский: «Бедный Третьяковский! тебя до сих пор едят писаки и не нарадуются досыта, что в твоём лице нещадно бито было оплеухами и палками достоинство литератора и ученого и поэта!»

Во время работы над романом я — по долгу своего ремесла — обязан был вчитываться в стихи Третьяковского. Не скажу, чтобы это занятие было праздничным. Иной раз приходилось продирааться через столкновение кратких взрывчатых слов, не всегда понятных. Но порою словно открылось чудесное окно, и тогда я пил чистый ветер истинной поэзии и гармонии, каким могли бы позавидовать и современные мне поэты... Третьяковский был кристально прозрачен для людей века XVIII, которые не спотыкались на чтении его стихов, которым был понятен язык поэта — язык их времени, язык «разодрания» кондиций, язык пожаров Бахчисарая и Хотина, язык курьезных свадеб и потешных маскарадов. Все несчастье Третьяковского в том, что он был только творцом, но не сумел быть бойцом за права писателя, какими стали позже Ломоносов, Сумароков, Державин... Третьяковский одновременно и прост, и сложен, как Маяковский, от

него и тянется заманчивая тропинка русской поэзии, уводящая нас в трепетные гущи блоковских очарований!

Лажечников же, вольно или невольно развил в своем романе тему презрения к поэту, начало которому положила императрица П. Как доказал Юрий Тынянов, она боялась в «Тилемахиде» не слога поэтического, а политического смысла поэмы, бьющего прямо в нее, как в мать российского Гамлета. На шутейных куртагах в Эрмитаже Екатерина, издеваясь над поэтом, заставляла провинившихся вельмож или выпить стакан воды или прочесть в наказание строфу из «Тилемахиды». Традиция презрения к Третьяковскому была утверждена авторитетом Лажечникова, этим узаконенным презрением русская публика приобрела себе право не читать его стихов.

Но, как бы то ни было, роман «Ледяной дом» в русской публике встречен был хорошо. Не одно поколение судило (и продолжает судить) об эпохе Анны Кротовой именно по Лажечникову. Антиисторический роман, благодаря интересу к нему читателей, все же имел прогрессивное значение. Кстати, того же добивался и либеральный автор, который строки Рылеева хотел проставить эпитафией к своему роману. Но Рылеев в глазах Николая I был преступен так же, как был преступен Волынский в глазах Анны Кротовой, и цензура этот эпитаф сняла. Зато комплименты николаевскому режиму остались...

Очень прошу читателя не подозревать меня в соперничестве с Лажечниковым. Здесь я не внес ничего нового в критическое отношение к его роману. Все это сказано задолго до меня! Примерно так же пишут и солидные историки — авторы предисловий к советским изданиям «Ледяного дома».

Забывтый памятник

Среди множества улиц Петербурга — Петрограда — Ленинграда есть одна — улица-ветеран, которая в череде бурных изменений, вот уже более 200 лет (!), сумела сохранить свое историческое название. Это переулок Волынского.

Дом А.П. Волынского стоял примерно на месте нынешнего ДЛТ, от него же к Мойке и тянулся переулок. Но памятник Волынскому следует искать в другом месте города...

Не все ленинградцы знают, что в их городе находится памятник Волынскому. И немудрено — надгробие это совсем затерялось среди величия славных монументов прошлого... Ищите его на Выборгской стороне! Памятник стоит напротив улицы Братства, возле стен древнего храма Сампсония, а за ним шумит парк, посаженный нашими отцами, когда они были молоды. На пьедестале еще можно разглядеть факелы, олицетворяющие неугасимую правду, они обвиты оливковой

ветвью — символом примирения нового с прошлым. Муза истории, божественная и мудрая Клио, держит в руках развернутый свиток, на котором отчеканены слова декабриста Рылеева:

И пусть падет! Но будет жив
В сердцах и памяти народной...

Пройдем же за ограду, читатель, где при вратах храма опочил прах российских патриотов. Постоем над могилою, отрешаясь от звонков трамваев и шуршания шин по асфальту. Итак, снова век осмнадцатый. Опять леса, костры, жуть. Синие вьюги клубятся над несчастной Россией, замело снегом Петербург... Елизавета Петровна вызволила из монастырей и тюрьмы дочерей и сына Волынского. Петр так и угас, ничем не отличившись, а дочери стали блистать при дворе. Елизавета выдала их за своих близких родственников: Марию — за графа Ивана Воронцова, Анну — за графа Андрея Гендрикова. Дочери Волынского и водрузили первый памятник отцу и его соратникам. Казненные были людьми рослыми, крупными, мужиковатыми. Их было трое. А плита на могиле столь мала, что едва могла накрыть место одного захоронения. Тут какая-то некрополическая загадка, которую я разрешить не берусь.

Екатерина II позднее велела обновить памятник. За счет казны на старой плите, положенной дочерьми Волынского, был воздвигнут цоколь из желтого плитняка. На цоколе — колонна из серого мрамора, которую венчала урна белого мрамора. Ходили тогда слухи, что если сдвинуть верхний цоколь, то под ним можно обнаружить слова: «Казнены невинно». На самом же деле такой надписи там никогда не было...

Когда вышел роман Лажечникова «Ледяной дом», и начались удивительные демонстрации читателей к забытой могиле. «Ограда храма Сампсония-странноприимца сделалась местом любознательного паломничества. Обоего пола жители столицы начали посещать до той поры почти никому не ведомую могилу Волынского». Тысячи петербуржцев с детьми шагали на далекую Выборгскую сторону, чтобы поклониться праху патриота, вспоминая строки декабриста Рылеева:

Отец семейства! — приведи
К могиле мученика сына,
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина...
Вражда к тиранству закипит
Неукротимая в потомках —
И Русь священная узрит
Власть чужеродную в обломках!

Один из петербуржцев века прошлого, которого еще ребенком водили родители на могилу Волинского, решил посетить ее в старости — в 1883 году. Цоколь уже обветшал, урна свободно вращалась на заржавленном стержне, а желтые лишайники ползли из щелей мрамора, наращивая сглаженную временем надпись:

Зде лежить Артемей...
Ту же погребен...
Андрей Ф...чь
Хрушовъ и... тръ
Еропкинь

Духовенство причта церкви Сампсония относилось к памятнику варварски. Оно устроило для прихожан «большой общественный ретирадик (т.е. уборную), весьма грязно содержавшийся у самого входа в церковную ограду, всего лишь в нескольких шагах от могилы Волинского». В печати появились статьи, напомнившие о прошлой трагедии. Журнал «Русская старина» выступил с призывом ко всем потомкам лиц, пострадавших в царствование Анны Кротовой, «равно всех ревнителей старины и почитателей памяти знаменитого исторического деятеля Волинского присоединить свои пожертвования на возобновление памятника». В числе жертвователей были военные, историки, купцы, крестьяне, потомки декабристов и конфидентов Волинского. В списке жертвователей мне встретился и Петр Михайлович Еропкин — не только однофамилец, но и тезка по имени-отчеству славного зодчего. Самый большой взнос с 1000 рублей редакция журнала получила от Софьи Селифонтовой — побочной потомкицы А.П. Волинского, род которого к тому времени окончательно вымер. Деньги на создание памятника шли отовсюду — даже из-за рубежа.

Собранная сумма позволила редакции «Русской старины» не только обновить старый памятник, но и соорудить новый. В проектировании его принимал участие академик Н.Л. Бенуа. Автором памятника стал академик архитектуры Михаил Щурупов, выходец из народа, ныне забытый художник, а в XIX веке имевший всеевропейскую известность. Барельеф к памятнику взялся вылепить Александр Опекушин, автор памятников А.С. Пушкину в Москве и М.Ю. Лермонтову в Пятигорске. Вырубка монолита, гальванопластика, художественнаяковка, изготовление ограды и разбивка цветника вокруг надгробия были распределены по мастерским Петербурга, которые в большей части выразили готовность трудиться бесплатно. Созданный

на добровольные пожертвования, без участия царского правительства и санкции духовенства, памятник Волынскому и его конфидентам можно почесть по д л и н н о н а р о д н ы м п а м я т н и к о м.

Он был открыт в декабре 1885 года. Под монолитом был размещен саркофаг главного героя, а ниже выступали из каменной массы еще два саркофага; затухающие факелы, обращенные пламенем книзу, как бы освещали имена Еропкина и Хрущова... К р е с т а н е б ы л о, и этим подчеркивался гражданский смысл подвига патриотов! На обороте же монолита был сделан контур с изображением старого памятника, а также высечена «адамова голова» (череп со скрещенными костями). Две новые надписи украшали памятник: «Волынский был добрый и усердный патриот и ревнителен к полезным поправлениям своего Отечества», а ниже был запечатлен страстный призыв Рылеева ко гражданам свободной России:

Сыны Отечества! — в слезах
Ко храму древнего Сампсона!
Там, за оградой, при вратах
Почует прах врага Бирона...

Так уж получилось, читатель, что д е с я т ь л е т царствования Анны Кротовой взяли у меня д е с я т ь л е т жизни для его описания.

В жизни любого человека это срок немалый...

Мне надо жить: еще во мне
Горит любовь к родной стране.

Я позволяю себе закончить летопись на старинный лад:

«За сим аминь, мой любезный читатель; перо мое изнемогло, а дух мой, не надеясь еще другой весны дожидаться, во возвращенный моими попечениями сад пользоваться спешит...»

Это случилось со мною в 1971 году мая месяца 30 дня.

Российского читателя всепокорнейший слуга —

Валентин ПИКУЛЬ

Ленинград — Рига

КОММЕНТАРИИ

Роман «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица пристрашного зраку» и «Мои любимые конфиденты». События, описываемые в романе, относятся ко временам дворцовых переворотов, «верховников» и печальной памяти страшной «бироновщины».

Валентин Саввич Пикуль любил поднимать целинные и залежные пласты отечественной истории, что и определило выбор темы. Именно середина XVIII века, как считал автор, была обделена вниманием наших историков и писателей-романистов. Работа над романом-хроникой длилась около десяти лет.

«Жене Веронике — за все, все...» — такое посвящение своей помощнице и верной спутнице, ушедшей из жизни в 1980 году, начертил Пикуль на рукописи романа.

Договор с Лениздатом на выпуск книги датировался 1965 годом, но роман после долгих злоключений увидел свет намного позднее: первый том вышел в 1974 году, а второй — в 1975-м. Роман прошел тернистый путь всяческих согласований, рецензирования и консультирования. Особенно постарались в выверке «идейного» курса и «исторической правдивости» рукописи критик В. Оскоцкий и историк Ю. Афанасьев.

«Литературная Россия», делая экскурс в прошлые публикации («Год за годом») и вспоминая год 1975-й, писала:

«Удивительный все же человек, критик Оскоцкий. Огромная статья “Уроки ленинской партийности”. Вот тут есть все — и Маркс, и Ленин, и Брежнев. А повод для написания — семидесятилетие статьи Ленина “Партийная организация и партийная литература”. Там еще писатель уподобляется колеснику партийной машины...»

Да, не вписывался В. Пикуль в оскоцковский образ писателя. Не крутился он, беспартийный, ни колесиком, ни винтиком в этой машинке. Значит — не писатель!

И на «Слово и дело», как и на любой новый роман В. Пикуля, Оскоцкий, став в позу Станиславского, изрекал: «Не верю!» И вся аксиома.

Следует отдать должное Оскоцкому, который одним из первых заметил нарушение Пикулем «ленинских критериев» двух наций и двух культур — незыблемой методологической основы современных воззрений на историю...»

Трепал пикулевское «Слово и дело» историк Афанасьев, проповедовавший «принцип партийности, предполагающий четкость социально-классовых критериев в отношении к прошлому...»

Не предвидя будущего, мысля только в рамках сиюминутных событий, они нечаянно, сами того не подозревая, закрепили за Пикулем писательский приоритет в понимании реалий истории и действительности.

В той же публикации «Литературная Россия» заметила:

«У героя одного из романов, мальчишки, который писал стихи к разным датам, была кличка — Принц Датский. В этой табели Оскоцкий вполне может претендовать на графское достоинство».

А Пикуль — он был просто писателем Пикулем. И роман 13 лет не переиздавался. Но со временем становилось все меньше юбилейных дат, оставалось меньше людей, полномочных заказывать музыку.

В 1988 году, когда книга стала уже библиографической редкостью, издательство «Современник» выпустило тиражом 250 000 экземпляров четырехтомник, в который вошел роман «Слово и дело». В том же году роман-хроника был переиздан Краснодарским книжным издательством.

Заслуживает внимания литературно-художественное издание, выпущенное ленинградским ПТО «Росвидеофильм», в котором использован иллюстративный материал из личного архива писателя. В обращении к читателю выражена воля автора, чтобы часть средств от издания книги была направлена на создание фонда помощи Исторического архива СССР, на восстановление памятников истории и архитектуры, способствуя тем самым приумножению духовных ценностей нашего великого народа.

В 1990 году с готовых диапозитивов издательство «Современник» вновь выпустило в свет двухтомник. А в 1991 году, во время процветающего плюрализма и подпольного рынка, самовольно, без каких-либо договоров, было осуществлено еще несколько изданий, в том числе издательствами «Художественная литература» (Ленинград) и «Советский писатель» (Москва).

...Присмотримся ко временам царствования императрицы Анны Иоанновны, проникнемся драматизмом борьбы русских людей против могущественного фаворита Бирона и засилия иноземцев и сквозь слезы унижения почувствуем гордость за предков.

Нет! Не только плетью писалась история России. Великая держава продолжала мыслить и копить силы. Она не топталась на месте, скованная страхом. Вспомним, что именно в эти тяжкие годы была осуществлена Великая Северная экспедиция, творил писатель Третьяковский, раздувались горны первых предприятий на Урале, граверы создавали карты молодой России.

Роман густо населен героями: здесь царица и вельможи, мужики и чиновники, офицеры и генералы, палачи и воры.

Но главные герои романа — это люди, которые, не боясь казни, поднимали народ на борьбу против иноземщины и рабства, обессмертив свои имена в истории нашего государства.

Великий патриот России, Артемий Волынский, умный и честный, собирает вокруг себя талантливых и преданных идеалам возрождения Отечества соратников. Конфиденты видят в нем авторитетного вождя и следуют за ним, чтобы дать смертельный бой имперской надстройке, начав тем самым новую эру истории великой России.

СОДЕРЖАНИЕ

Книга 2

МОИ ЛЮБЕЗНЫЕ КОНФИДЕНТЫ

Летопись первая	
НА РУБЕЖАХ.....	5
Летопись вторая	
БАХЧИСАРАЙ.....	116
Летопись третья	
ДЕЛА ЛЮДСКИЕ.....	213
Летопись четвертая	
КОНФИДЕНТЫ.....	317
Летопись пятая	
ЭШАФОТ.....	413
Летопись последняя	
РОССИЯ НА ПОВОРОТАХ.....	512
КОММЕНТАРИИ.....	573

Литературно-художественное издание

Полное собрание сочинений

Пикуль Валентин Саввич

СЛОВО И ДЕЛО

**Роман-хроника времен
Анны Иоанновны**

Книга 2

МОИ ЛЮБЕЗНЫЕ КОНФИДЕНТЫ

Выпускающий редактор *В.И. Кичин*

Корректор *Н.К. Киселева*

Верстка *И.В. Хренов*

Оформление обложки *Е.А. Забелина*

ООО «Издательство «Вече»

Адрес фактического местонахождения:

127566, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1.

Тел.: (499) 940-48-70 (факс: доп. 2213), (499) 940-48-71.

Почтовый адрес:

129337, г. Москва, а/я 63.

Юридический адрес:

129110, г. Москва, ул. Гиляровского, дом 47, строение 5.

E-mail: veche@veche.ru

<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 10.02.2015. Формат 84 × 108 1/2.
Гарнитура «Таймс» Печать офсетная. Бумага газетная.
Печ л. 18 Тираж 5000 экз. Заказ № 10165.

ООО «Имидж Принт»

300041, г. Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 70, оф. 129.

Отпечатано в ООО "Тульская типография"
300600, г. Тула, пр. Ленина, 109.



Роман «Слово и дело» состоит из двух книг: «Царица пристрашного зраку» и «Мои любезные конфиденты». События, описываемые в романе, относятся ко времени дворцовых переворотов, периоду царствования императрицы Анны Иоанновны. Роман передает весь драматизм борьбы русских людей против могущественного фаворита царицы Бирона, а также против засилья иноземцев.



ISBN 978-5-4444-2938-9



9 785444 429389

